ВИКТОР БЛИЗНЕЦ

ДРЕВЛЯНЕ

ВИКТОР БЛИЗНЕЦ

ДРЕВЛЯНЕ

Роман
Повести

Авторизованный перевод с украинского
Веры Беловой

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

ББК 84. Ук7
Б 69

Художник МАКСИМИЛИАН ШЛОСБЕРГ

Б $\frac{4702590200\text{-}115}{083(02)\text{-}84}$ 344-84

© Послесловие, состав, оформление.
Издательство «Советский писатель»,
1984 г.

ПОДЗЕМНЫЕ БАРРИКАДЫ

Роман

ТРЕХЛЕТНЯЯ ВОЙНА ОХРАНКИ

Это случилось в сентябре 1908 года, в субботу, около шести часов утра. Околоточный надзиратель Христенко[1] обходил кварталы Предместной Слободки. Он прошел 1-ю Экипажескую улицу и уже повернул к Военному базару. Было сыро и влажно, немного пасмурно, однако Христенко еще издали заметил человека, который стоял у сторожевой будки, а затем неожиданно исчез. Это показалось ему подозрительным. Он слегка кашлянул, поправил портупею и задумался: идти туда или немного повременить? Может, там целая банда. Христенко по опыту знал — лучше не спешить.

Больше никто в переулке не появлялся. Хмуро стояла невысокая цилиндрическая будка, сложенная из красного кирпича. Когда-то она была оштукатурена и выбелена, теперь потрескалась, осыпалась и стояла такая же понурая и скучная, как и рундуки на базарной площади. Христенко вспомнил разговоры в полиции. Были слухи, что на этом месте градоначальство собиралось поставить памятник в честь «Святого Николая» — первого судна, построенного на Ингульской верфи. Но со строительством памятника почему-то замешкались — выросла сторожевая будка, которая оказалась никому не нужной, разве что забегал туда мелкий базарный люд, и то по нужде. Правда, одно время городская управа нашла употребление этому сооружению, на будке вывешивали торговые объявления, но после шестого года полицмейстер Иванов строго-настрого запретил расклеивать афиши и другие бумаги на окраине города, потому что чья-то разбойничья рука писала на тех объявлениях непристойные слова — против Иванова, градоначальника и даже против самого Петра Аркадьевича Столыпина.

Слободка еще спала, переулок как будто вымер, и успокоившийся Христенко, сам сонно позевывая, отмерил еще шагов двадцать. Он шел аккуратно, так, чтоб не очень звенеть шпорами. Подойдя к будке, остановился, скользнул взглядом вверх и в удивлении выпятил губу. На стене что-то белело — не то афиша, не то объявление. Но какая может быть афиша, какое объявле-

[1] Христенко — лицо не выдуманное. Околоточный надзиратель 1-й Адмиралтейской части николаевской городской полиции, не раз производил обыски на квартирах большевиков.

ние? Не разрешено законом, это во-первых. А во-вторых, Христенко проходил здесь вечером — и никаких объявлений не висело. «Позвольте!» — произнес Христенко, он внезапно сдвинул брови и, придерживая рукой саблю, подался грудью вперед, так, словно пробирался сквозь толпу. Задрал голову вверх, чтоб рассмотреть, что же висит на стене, а тут и небо немного прояснилось, на улице стало светлее, и надзиратель прочитал: **«БОРЬБА».**

Слово «Борьба» было напечатано крупно, большими четкими буквами. Христенко понюхал уголок бумаги: ощутил горьковатый запах льняного масла — настоящей типографской краски.

Околоточному сразу не понравилось это слово «Борьба». От него пахло уже не краской, а чистейшей политикой. Он поднялся на цыпочки, уткнулся носом в бумагу. И когда пробежал глазами буквы помельче, те, что стояли под заголовком, то сначала оглянулся, а потом оторопело присвистнул. «Орган Николаевского комитета Рос. Соц. Дем. Раб. Парт.»,— медленно повторил по складам Христенко, не очень сильный в грамоте, но достаточно тертый и ученый, чтобы понять, какой гром свалился на его голову.

— Большевистский листок! — произнес Христенко и еще раз оглянулся. Не было ничего, слава богу, и вот те на — «Борьба»! На его участке! Когда и откуда она взялась?

Христенко откинул голову немного назад, еще раз внимательно оглядел «Борьбу». Так он обыкновенно смотрел на арестантов, с удовольствием при этом причмокивая: «Ну-с, политика, руки вон из карманов! Сейчас будем обыскивать!» Заметил новые детали. Рядом с заголовком набрано: № 4 (крупно!), цена 2 копейки и тут же дата — сентябрь 1908 года.

Выходит, свеженькая листовка. Недавно выпущенная. И расклеили ее, как видно, этой ночью. Околоточный припомнил, что он еще издали увидел человека, стоявшего возле будки, наверное того самого, кто клеил или читал эту запрещенную прокламацию. Невольно ему представилось, как по городу, словно подхваченные ветром, разносятся слухи, подозрительные разговоры, перешептывания: «Борьба», листовки, большевистский комитет, Слободка... Много ли темному люду надо? А уж если разнесется, обязательно докатится и до ушей полицмейстера Иванова. Христенко стоял, собираясь с мыслями. Что-то муторное и недоброе назревало в нем. Вдруг где-то неподалеку протарахтел экипаж, кажется — на противоположной стороне базара. У Христенко забегали глаза, взмок от холодного пота ободок фуражки. Ему показалось, что сюда пожаловал сам полицмейстер Иванов. Только под их благородием, а они весят полных восемь пудов, так тяжело грохочут колеса. Страшная мысль мелькнула в голове Христенко: сейчас Иванов подкатит и рыкнет диаконским басом: «Как? Прокламации? И где? В твоем квартале, сонное рыло!»

Это грозное «в твоем квартале!» словно уже пронеслось над головою Христенко и привело его в чувство. До сих пор он стоял, запрокинув голову вверх, в позе стороннего наблюдателя. А тут резким движением натянул пониже фуражку, сказал: «Позвольте!» —

и вырвал из ножен шашку. Взял ее за оба конца, как берут длинный струг, и провел острием по стене, счищая большевистскую листовку. Да-а, вот теперь стало понятно, что приклеили ее не утром, а, пожалуй что, в полночь, и очень старательно. Бумага крепко присохла к кирпичу, и если отдиралась, то узенькими полосками. Христенко скоблил саблей по стене, а кирпичная пыль сыпалась ему на мундир, попадала в глаза. Он сплевывал, ругался и, пыхтя, с еще большей злостью сдирал листовку. Когда же на кирпиче остались только маленькие кусочки бумаги и следы его шашки, он спокойно сплюнул, закурил и на всякий случай решил осмотреть будку с обратной стороны.

Там тоже висела «Борьба».

Христенко хмуро молчал. Затянувшись цигаркой, так и стоял он с открытым ртом, и дым медленно, осторожно сам выползал из его нутра. Снова прогремел экипаж, на этот раз, по-видимому, только в его воображении. Христенко бросился к стене, заработал притупленной саблей, но листовка не сдиралась, и пыль снова засыпала ему глаза. Околоточный сердился, бубня себе под нос, что мало их судили, мало в тюрьмах гноили, слишком много прощали, надо было с корнем, с корнем, вот так, саблей их, всех этих разумных и нечесаных!

Третью листовку он нашел возле бакалейной лавки Макарова, на 6-й Слободской, где обыкновенно собирается много народу, особенно заводского. Листовка лежала на столике, прижатая куском рельса. Христенко хотел ее сразу порвать на мелкие кусочки, но вовремя остановился. Развернул. Листовка состояла из четырех страниц, причем текст был напечатан и на одной и на другой стороне.

«Орган Николаевского комитета Рос. Соц. Дем. Раб. Парт.»,— внимательней прочитал Христенко и взглянул на заголовки: «Товарищи!», «Капитал наступает», «Письмо в редакцию», «Революция в Турции», «Отчет Николаевского комитета РСДРП». Настоящая типографская краска и настоящий типографский шрифт.

Это было что-то новое.

Не первый год служит Христенко в полиции. Пережил он и страшное потрясение в своей жизни: эсер-террорист бросил на его глазах бомбу в экипаж его высокоблагородия ротмистра Иванова, после чего полицмейстер заболел острым расстройством желудка, и если бы не Христенко, то как знать, встал бы его высокоблагородие на ноги. Околоточный Христенко буквально выходил Иванова — ни за что не догадаетесь чем — свежими раками. Зять у Христенко служил у рыботорговца Филонова в коммерческом порту, и Христенко имел каждое утро ведерко свежих раков. История с Ивановым вошла в анналы николаевского градоначальства под названием: «Дело о покушении на николаевского полицмейстера Иванова». Там есть такие строки: «15 июня сего года (события относятся к 1905 году. — *Авт.*), в период наиболее острого проявления в г. Николаеве забастовок рабочих на местных заводах и в связи с этим народных волнений...» и так далее. Потом не-

сколько слов о том, что полицмейстер Иванов проезжал мимо редакции газеты «Южная Россия», где увидел толпу народа. И вот: «Желая лично предложить толпе разойтись...» (этот момент навсегда остается в памяти Христенко), «желая лично предложить», полицмейстер Иванов — человек борцовского веса и телосложения — соскочил на ходу с подножки экипажа и голосом, от которого зазвенели стекла на Соборной площади, покрыл толпу в три этажа, и вдруг... Прямо под ноги бомба! Упала, завертелась, густо задымила фитильком. Раздался шипучий треск, поднялось облачко дыма, а взрыва нет. Иванов стоял на мостовой, весь черный от копоти, рукою тер глаза, и видно было, как он ужасно побледнел и весь дрожит...

Таких потрясений на долю Христенко за последние годы выпадало не мало. Он поседел на службе, но не сбежал и не спрятался, а в меру сил и возможностей стоял на защите закона и порядка. Он был удостоен чести обедать за одним столом с Ивановым, усмирял бунты на Слободке и на Французском заводе. Короче говоря, он многое пережил и многое помнит. Одного только не может припомнить Христенко: чтоб когда-либо большевистский комитет размножал свои прокламации типографским способом. Воззвания и листовки, написанные от руки, Христенко читал и срывал не раз. Отпечатанные на гектографе уничтожал сотнями. Но чтобы размноженные на типографском станке — нет, такого, если не изменяет ему память, после усмирения, кажется, еще не было. Здесь пахло большой политикой. И Христенко подумал, что это дело не его надзирательского ума и даже не полицмейстера Иванова, а, пожалуй, самого начальника охранного отделения жандармского ротмистра Фокина.

На минуту Христенко представил себе его превосходительство Фокина, к которому предстоит пойти с докладом, и досадливо поморщился. Страшно мстительный, въедливый офицер. За малейшую провинность он муштровал и распекал своих подчиненных, был беспощаден к себе и другим. На таких, как Христенко, и на всех николаевских он смотрел как на тупиц и полных ничтожностей. Жандармы дрожали перед ним. Полицейские чины избегали его, больше любили свое начальство, Иванова — этого откровенного грубияна, крикуна, обжору. Изругав подчиненного, Иванов мог тут же как ни в чем не бывало похлопать его по плечу и пригласить на шкалик водки. Фокин не повышал голоса, он культурно выворачивал подчиненному внутренности и уничтожал его одним взглядом.

Христенко тяжело вздохнул. Он знал — хочешь не хочешь, а идти надо. И немедленно, сейчас же, чтобы не опередил кто-нибудь другой. Доложишь первым — и ты на коне, упустишь момент — и подозрение может пасть даже на тебя. Теперь недолго и за полицейским углядеть, что он в заговоре.

С тяжелым сердцем поплелся Христенко в центр города, на Глазенаповскую. Быстро написал рапорт, приложил «Борьбу» и поспешил на прием в жандармерию.

Когда Христенко вошел в кабинет, Фокин вскинул нервно-сухие, зеленоватые глаза, оглядел слободского надзирателя с ног до головы. На раздраженном лице его выразилось нетерпение: «Ну-с, с чем пожаловали? Докладывайте, и побыстрее!»

Надзиратель протянул «Борьбу», руки у него почему-то дрожали, язык заплетался, когда он рассказывал, при каких обстоятельствах нашел прокламацию.

Ротмистр перебил его, взял протянутую листовку, развернул один раз, потом другой, пробежал глазами от начала до конца, повернул на обратную сторону (все это он проделал как-то резко, нервно и торопливо); казалось, одним взглядом пробежал все написанное и на обратной стороне, а потом посмотрел на Христенко так, что тот сгорбился и с ужасом подумал, не брякнул ли он случайно что-нибудь лишнее и невпопад.

— Ваша фамилия Христенко? — неожиданно спросил Фокин, и тон его не обещал ничего хорошего. — Так вот, милостивый Христенко, вы хоть в какой-то мере знаете разницу между прокламацией и газетой? Вы можете, наконец, за пять лет смуты и неразберихи отличить, понять, что такое газета и что такое прокламация? Вы принесли не прокламацию, разве не видите? Вы принесли газету, газету принесли, печатный большевистский орган, и издается он у нас, в Николаеве, понимаете, у нас с вами, милостивый Христенко! Посмотрите на тираж — пять тысяч экземпляров! Вы понимаете, что это значит?

И снова Фокин — резко, нервно, быстро — развернул газету. Еще раз пробежал глазами первую страницу, начало передовой статьи.

«Товарищи!

Проходит время усталости и отдыха после пережитых побед и поражений. И снова сознательный рабочий приступает к своей обычной борьбе с капитализмом, к борьбе за освобождение рабочего класса. И снова на пути его стоит все то же препятствие, все тот же исконный враг — царское самодержавие...»

Сдержанные, крепко сколоченные слова били, хлестали Фокина по лицу:

«Разозленный и опозоренный... этот враг стал еще кровожаднее, еще подлее, чем прежде.

Понастроены новые тюрьмы. Свирепствуют военные суды. Переполняется каторга. Воздвигаются виселицы.

На помощь казенным шпионам, жандармам и казакам наняты добровольцы из отбросов самого рабочего класса, из недоучившихся дворянских сыночков, из бесчестной и продажной сволочи...»

Казенные шпионы и жандармы... Бесчестная продажная сволочь... Фокин, по привычке, выхватил из стаканчика красный ка-

рандаш и дважды резко подчеркнул эти строки. Ладони у него вспотели, в руках набухала злая неукротимая сила, он вспомнил, как в шестом году сам допрашивал таких разумников, политических подстрекателей, как прижимал их к стенке. «Ничего! — постучал карандашом по газете. — Мы еще с вами встретимся, господа революционеры, мы еще подискутируем».

Фокин взял трубку телефона. О Христенко он совсем забыл или сделал вид, что не замечает его. Надзиратель немного постоял у стола и, все еще не придя в чувство, откланялся и быстро исчез за дверью.

Христенко и не представлял себе, что он принес начальнику охранного отделения.

Он принес мину, бомбу, которая может «взорваться» в любой момент... Что может быть страшнее для офицера, чем уличение его в нечестности? А выходило так, что Фокин, вольно или невольно, обманщик. Два года подряд в отчетах ротмистр ежемесячно докладывал в Петербург, в департамент полиции, что большевистская типография разобрана, закопана и не действует. Два года он уверял: техника[1] под нашим надзором, ведем наблюдение, в случае попытки пустить ее в действие — накроем заодно с преступниками. Два года утверждал: социал-демократическая организация в Николаеве ликвидирована, имеются на местных заводах небольшие тайные группки, и те уже прекратили свою деятельность, за ними установлен строжайший надзор, никаких действий с их стороны не будет допущено. Нарисовать такую благодушную картину — и вот «Борьба». Как, откуда, кто выпустил? Безо всяких объяснений департаменту полиции станет ясно: техника снова в руках социал-демократов (а Фокин уверял: под контролем охранки); в Николаеве действует целая организация (а Фокин говорил: небольшие тайные группки); в организации есть свои деньги, бумага, явочные квартиры, связные, подготовленные люди, если они выпускают газету, не воззвание, не отдельную листовку, а именно газету, на четырех страницах, сделанную вполне грамотно и квалифицированно, как в хорошо оборудованной типографии. И что больше всего настораживало — тираж. Пять тысяч! Фокин поставил под сомнение такую внушительную цифру. Но пусть даже тысяча экземпляров, и то невероятно. По плечу только машинной печати; ну кто бы смог кустарно, вручную набрать и отпечатать кипы газет! Такой оборот дела — свидетельство того, что существует большое, хорошо законспирированное партийное подполье (а Фокин писал: ликвидировано, под строжайшим надсмотром, никаких действий не допустим).

Фантазер, обманщик, лжеинформатор — разве не таким он предстанет в глазах департамента полиции!

Все это промелькнуло в мыслях Фокина, но вскоре им овладело другое чувство — мстительности и презрения к тем, кто, по

---

[1] Техника — на конспиративном языке в то время — подпольная типография.

его мнению, своей инертностью, равнодушием довел Россию до краха, а в Николаеве так запустил государственную охрану, что даже сейчас, спустя три года, нельзя было докопаться, откуда, сквозь какие щели просачивается здесь, в Николаеве, это поветрие, этот неистребимый дух политического брожения и недовольства.

Словом, Фокин вспомнил своего предшественника Ерандакова, и невольно родилось сравнение: в Петербурге — граф Витте, в Николаеве — Ерандаков. Фразеры, салонные дамы, политические банкроты. Заигрывали, пожимали руки мужичкам, а когда зашаталась земля под ногами, встали и разводили руками, беспокоясь только о благородстве жестов. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в решающий момент борьбы не выступили другие люди, люди действия: в Петербурге Столыпин (и снова сравнение, только в глубоко затаенных мыслях), а в Николаеве — он, Фокин. Витте, граф в белых перчатках, удалился в тень, дальше — можно было идти только по трупам. И черновая работа истории выпала на долю Фокиных, строевых офицеров, на долю генерал-губернаторов, военно-полевых судов. Грязная, выворачивающая душу работа, с кровью и смрадом, однако только так, считал Фокин, можно было выбраться из хаоса.

А Ерандаков? На посту начальника розыскного пункта он с удивительным, просто преступным спокойствием наблюдал за тем, как вооружается толпа, как множатся партии. При нем же и завязался тот узел с тайной типографией, который теперь, словно петля, сжимал горло Фокину.

И началось все это в декабре шестого года.

Во время подготовки к выборам в Думу революционное подполье выпустило сначала один, потом еще два номера нелегальной газеты «Борьба». Комитет вскоре провалили, однако аресты провели так неумно и поспешно, что не только не конфисковали технику, но даже не напали на ее след. Техника исчезла, и это еще полбеды. Главное, через глупое пристрастие Ерандакова к рапортам и донесениям типография оказалась на контроле министерства внутренних дел. Ерандакова от работы отстранили, николаевский розыскной пункт преобразовали в жандармское охранное отделение, Фокин возглавил внутреннюю полицию, и тут из Петербурга, с методичностью ударов молота, посыпались на Фокина запросы: где типография? Что сделано для ее розыска и ликвидации?

Понятно, с годами следы затерялись, и если сразу не обнаружили технику, то сейчас найти ее куда трудней. Хотя бы потому, что все более или менее близкие к политическому движению лица находились в тюрьмах и в ссылках, а с ними — и ключи к бывшему подполью. Нехитрые рассуждения подсказывали Фокину (и это подтверждалось агентурными данными): после ряда беспощадных ударов и разгромов социал-демократическая организация Николаева уничтожена в корне, окончательно и навсегда; за весь 1907 год в городе не появилась ни одна, даже рукописная листов-

ка. Значит, еслн и сохраннлась где-то техника, то она бездействует.

Так роднлась вполне обосиованная версня о том, что большевнстская тайиая тнпография разобрана, спрятана н не представляет иикакой опасностн.

Эту версию Фокин повторял из отчета в отчет в теченне миогнх месяцев. Правда, он понимал, что иачальинка всероссийской охраикн ннкак не может удовлетворить обтекаемая стереотипиая фраза. Да н самому Фокниу ответ ие нравнлся; он был ннертным, не отражал процесса понска, неуклониого приближения к цели, к техннке. Прншлось дополнить версию, внести иекоторые корректнвы; а коль началось движение, то оио уже приобретало свой виутреннн́й смысл, свой объектнвиый характер. А Фокиму до зарезу нужно было движеиие, ход, первый выигрыш. Прошел всего год, как он возглавнл охраику; департамент следил за ним, подстегивал его, ждал от иего решнтельиых действий. Весь свой опыт н гибкий ум Фокнн положил на то, чтоб распутать ераидаковский узел. И вот теперь тайная тнпография ожила у иего иа столе, все больше и больше разоблачала себя, шла к полнейшей гибели.

Переписка с Петербургом, рапорты, жандармские доиесеиия подтверждают, как шаг за шагом Фокии приближался к цели.

Осеиь — зима 1907—1908 годов. Департамеит полнцни: «В каком состояиии иаходится разыскиваемая типография Николаевского комитета РСДРП?» Фокии: «После ликвндацин Николаевского комитета РСДРП в августе 1907 года типография спрятана в разобранном состоянин, местоиахождение пока еще ие устаиовлеио». («В разобраииом состояиии» говорит о коитроле, а «местонахождение пока еще ие устаиовлено» подает иадежды.)

Март 1908 года. Департамент полнции: «В каком состоянии находится разыскнваемая типография?..» Фокни: «После ликвидации комнтета тнпография разобрана, закопаиа в землю и ие действует». (Есть успех! «Закопана в землю».)

Май 1908 года. Департамент полнцин: «В каком состоянин находится тайная тнпография?..» Фокии: «Типографня зарыта на окраине города и бездействует; в случае попытки снова запустить ее в дело, будет немедлеиио ликвндирована, поскольку моя агеитура близко стоит к руководству с.-д. партии». (Успех значительиый, но Фокин явио хватил чрез меру; по его же сообщенням комнтет РСДРП в Николаеве повержеи окончательно и бесповоротио, а тут уже существует партия и агентура близко стоит к ее руководству.)

Июль 1908 года. Тревога в охранке. От агентуры поступают сведеиня, что николаевские социал-демократы хотят ввезти техиику, по всей вероятности, из Одессы. Телеграммы, переписка по этому поводу между охраиными отделениями Одессы, Николаева, Херсоиа. Слухи ие подтвердились.

Август 1908 года. Департамеит полицни: «Какие прииняты меры к выявлеиию и уиичтожению типографии РСДРП?» Фокин: «По имеющимся даиным, типографня Николаевского комитета

РСДРП спрятана в Портовом районе, в одном из ближайших сел. За районом установлен постоянный усиленный надзор и в случае...» (Еще одни крупный успех!)

И вдруг...

Сентябрь 1908 года — выходит в свет газета «Борьба».

Крах!

Версия, которая развивалась два года подряд, ставшая такой очевидной и вероятной, что в нее поверил и сам Фокин, неожиданно лопнула. Несуществующая типография выпустила в свет газету. Ее передавали из рук в руки на заводах, расклеивали по городу, кто-то повесил даже на фонарном столбе как раз напротив канцелярии градоначальника. (А в очередном отчете в Петербург Фокин докладывал: типография зарыта, не действует, в противном случае... и так далее.)

Фокин расстегнул воротник. «Ну, Ерандаков! — сказал, задыхаясь, и с треском воткнул перо в забрызганное чернилами пресс-папье. — Попался бы ты под горячую руку!» Большего врага, чем Ерандаков, у него сейчас не было. Ротмистр все сильнее склонялся к мысли, что Ерандаков нарочно, злонамеренно запутал и провалил дело с типографией, чтобы насолить Фокину, испортить ему кровь, подставить ножку в самом начале карьеры. Это единственное, на что способны мелкие озлобленные ничтожества после своего банкротства!

Сорвав зло на Ерандакове, Фокин несколько успокоился и застегнул воротник.

В конце концов, речь шла не о карьере, а о чем-то большем. В интересах России надо было спокойно и подробно разобраться, почему именно случился просчет. Как жандармерия могла допустить выход большевистского органа сейчас, в восьмом году? Ведь по всей империи не то что социал-демократические газеты, наиболее крайние, но и вся либеральная, оппозиционная пресса задавлена и уничтожена в зародыше. Если и выходила большевистская газета, то только за границей, в Женеве («Пролетарий»), и службы жандармерии и полиции всей мощью и силой своей следили за ее проникновением в Россию через досмотры и кордоны. Тем нетерпимее, подумал Фокин, будет считаться случай, который произошел в Николаеве: 1908 год, Столыпин, тишина и спокойствие в многострадальной России и вдруг на фокинском участке — прорыв! Нелегальщина, массовая большевистская газета.

«Жестче! — сказал сам себе Фокин. — Закрыть все ходы и выходы, все мельчайшие лазейки! Я вытряхну душу из охранки, а все равно найду!» Он быстро встал из-за стола и по длинному коридору поспешил в секретную часть, в архив.

В полуподвальном помещении с низкими решетчатыми окнами было темновато. Вдоль стены стояли шкафы, сейфы, несколько открытых стеллажей, заваленных снизу до потолка бумагами.

И хотя вся часть называлась секретной, она делилась на отделы и подотделы — особые, совершенно секретные, самые секретные. К отдельным папкам имел доступ только Фокин, в частности к спискам тайной агентуры. Всю глухую стену занимали полки с архивом, Фокин называл эти полки «ерандаковщина». И не потому, что в старых документах сам черт голову сломит, а потому, что Ерандаков, человек весьма слабый и безвольный по натуре, страшно любил делопроизводство и накопил целые горы бумаг. Фокин прошел в боковое отделение. Поздоровался с дежурным офицером, который сидел возле входа. Тот быстро вскочил на ноги, но Фокин жестом руки показал: разрешаю, сидите...

Это уже его, фокинская, секретная часть.

Тут порядок. Шкафы запломбированы, в них все самое необходимое. Дела опасных политических преступников, за которыми ведется негласный надзор; сведения об их неблагонадежности и совершенных злодеяниях; фотоснимки, дневники внешнего или адресного наблюдения за партийными явками и квартирами; секретные сообщения с мест. Вот небольшая сафьяновая папка — уже обработанные сводки агентурных донесений. Не шесть партий, за которыми гонялся, разрываясь на части, Ерандаков, а только одна, по существу, сейчас под контролем Фокина. Давление властей свое дело делает! Меньшевики незаметно растаяли, они официально объявили в Николаеве о своем роспуске. Партия анархистов, и без того малочисленная, окончательно распалась, часть ее слилась с уголовным сбродом. Трудовики притихли, а если и выступали, то в поддержку правительственных реформ. Развалилась партия эсеров, хотя ядро ее еще сохранилось в подполье. Единственная сила, которая перенесла удары охранки, это большевики. Потрясающая живучесть! Фокин иногда с удивлением и оторопью замечал: чем жестче меры, тем яростнее поднимают они головы. Вот и в Николаеве: в год по три, по четыре раза поголовные аресты, самые строгие меры наказаний, самые мрачные карцеры и дальние ссылки, но минет месяц-два — и доносит агентура: на Слободке снова неспокойно, замечены тайные сходки, действует комитет...

Фокин, однако, был уверен: в Николаеве он мог бы заткнуть все опасные щели, чтоб и духом революционным не пахло. Мог бы!.. Если бы не попустительство судебных палат и не вопиющая халатность тюремного управления. В то время когда Фокин с таким трудом выслеживает и вылавливает остатки революционного подполья, когда он парализует на месте малейшую их политическую деятельность, из тюрем и ссылок выпускают на свободу преступников пятого года. Более того, целая армия политических заключенных (сорок тысяч! — только по официальным данным) совершает побег, находится на свободе, и выловить их на бескрайних просторах России почти невозможно. Вся эта масса закоренелых преступников и агитаторов через самые незаметные щели проникает на фабрики и заводы, тайно восстанавливает разгромленные ячейки. А потом на имя Фокина летят из Петербурга

возмущенные запросы: кто и как печатает газету «Борьба»?.. Надо ли спрашивать — кто? Ясно, здесь не обошлось дело без тех особо опасных лиц, которые сбежали из ссылки. А чтобы поименно назвать их...

Фокин развернул папку: «Сведения о преступной деятельности членов Николаевской Социал-Демократической Партии». Первым в списке стоял: Чигрин Иван Андреевич, слесарь, член партии РСДРП с 1901 года, руководитель рабочей забастовки в Николаеве в те тревожные июньские дни, когда восстал «Потемкин». Кандидатура наиболее вероятная, но... Чигрина охранка выследила и арестовала сразу, как только он вернулся в Николаев. И выслала за пределы города.

Ровнер...

Фокин немного задержал взгляд на этой фамилии. Подумал и дважды подчеркнул ее карандашом. О, это давний знакомый! Вытащил карточку. Прочитал скупые, но выразительные строки:

> *«Ровнер Пинхус Лейзерович, слесарь, 32 года.*
>
> *Известен охранному отделению с 1903 года как член Николаевского комитета Российской социал-демократической рабочей партии и в том же 1903 году был арестован за распространение нелегальной литературы* (выпуск газеты «Наше дело». — *Авт.) и принадлежность к названной партии.*
>
> *6 августа 1906 года Ровнер снова был задержан в числе 13 человек на сходке в доме № 20 по 1-й Экипажеской улице, за что был подвергнут в административном порядке аресту сроком на 3 месяца, а по отбытии наказания выслан в Олонецкую губернию».*

Резко, размашисто Фокин написал на карточке: «Дополнить!»

Поступали новые сведения о том, что Ровнер бежал из ссылки, вернулся в Николаев и что ему удалось даже устроиться на один из судостроительных заводов. Фокин не принимал в расчет те шифровки, в которых говорилось о его умении переодеваться и гримироваться, о частой смене фальшивых паспортов и так далее: в тех сообщениях многое было от агентурной фантазии. Одно ясно: убежденный социалист, техник, который не раз брался за выпуск нелегальной газеты, не мог оказаться в стороне от «Борьбы».

Итак, Ровнер. Далее Фокин подчеркнул фамилии Бориса Козловского, Григория Кащевского, Ивана Грабова — большевистское ядро, революционеры, которые недавно вернулись в Николаев,— именно с них он собирался начинать розыск.

...Фокин не заметил парадокса: он не давал спуску жандармам, с присущим ему темпераментом и сарказмом высмеивал своих подчиненных за тупоумие, ограниченность, за косность и трафаретность мышления. И сам тут же впадал в обыкновеннейшую рутину. Сейчас его мысли замыкались в кругу: Чигрин — Ровнер — Козловский, то есть в кругу самых известных, самых опытных членов социал-демократического комитета старого скла-

да. Он рассуждал так: газета издана серьезно, технически грамотно, в статьях — ясная мысль, твердая программа, дух наступления. То есть работа не кустаря, а опытного подпольщика, теоретически подкованного революционера. Фокин даже и не подозревал, что здесь все обстоит чуть-чуть иначе. Что непосредственно за выпуск газеты взялись не профессионалы, не умудренные опытом подпольщики, не комитетчики, а люди, казалось бы, очень далекие от партийной печати: три заводских парня — слесарь, техник, котельщик. Мало того, и образования у этих печатников было не густо, не больше двух-трех классов, и возраст у них не ахти какой: одному девятнадцать, другому двадцать два, третьему — двадцать четыре года. Словом, на политическую арену Николаева выступила новая, всецело пролетарская революционная смена — три брата Петровы, сыны потомственного рабочего и сами рабочие с юных лет — истинная плоть и кровь заводской Слободки.

По инерции охранка все еще искала «политику» в средних, полупролетарских, либеральных слоях общества, попутно вербуя провокаторов из числа разочарованных, таких, как бывший поэт и оратор студент Валерьян. Вот почему охранка и не заметила появления Петровых, недооценила их — выходцев из заводских низов. Нет, не мог даже подумать Фокин, что именно три слободских парня, полусироты из большой голодной семьи, зададут работы ему и всей николаевской охранке на целые годы! Позже Фокин спохватится. За Петровыми будет установлен строжайший надзор — адресный, агентурный, общий. Филеры и шпики день и ночь будут сидеть на чердаке Крижов, владельцев кирпичного завода, и вести круглосуточное наблюдение за домом Петровых, фиксируя в дневнике внешнего наблюдения каждого человека, входящего в их двор. Но произойдет что-то невероятное, наверное, единственное в истории большевистской подпольной печати: таинственную типографию жандармы так и не найдут. Она снова и снова будет возрождаться и напоминать о себе и в 1910-м и в 1912 годах. Подпольная типография «Маяя» просуществует до Февральской революции 1917 года. Три заводских парня, которые совсем недавно не были связаны с подпольем, окажутся непревзойденными конспираторами: десять лет будет храниться под землей техника, на которой печатались «Борьба» и запрещенные листовки, и за все десять лет вымуштрованная царская охранка так и не найдет к ней подступов.

Но Фокин оставит нам аккуратно подшитые документы: нацарапанные неграмотной рукой доносы, рапорты околоточных, протоколы арестов, «сведения о преступной деятельности» и самое ценное — все номера газеты «Борьба». (В условиях террора и преследований рабочая революционная газета и могла сохраниться для нас только в архивах Фокина.) Словом, полицейские и жандармские архивы помогут нам проследить главные моменты жизни Петровых — от их побега из Олонецкой губернии и до новой ссылки на Север, до трагических событий в тюрьме.

«...И отправили нас на север Олонецкой губернии в село Черная Слобода. Там нас собралась целая колония из Николаева: я, Ровнер, три брата Петровы и другие».

(Из воспоминаний Виктора Т-ко)

«1908 год. Глубокая зима. В лесу, по дороге, звеня бубенцами и отбрасывая назад искрящиеся комья снега, лихо мчится тройка почтовых.

Три седока, зарывшись глубоко под одеяло, молча прислушиваются к веселому переливу бубенцов.

Позади, за убегающей вдаль дорогой, осталось село Черная Слобода с бревенчатыми, почерневшими от дыма и времени избами, дворами, банями и овинами, с узкой, но быстрой порожистой речкой Кемой. Далеко позади остался пристав, урядник и надзиратель с рыжими веснушками и лопатообразной бородой. Как в далеком прошлом вспоминаются рев озверелой толпы зажиточных крестьян, треск кольев и свежие кровавые пятна на светлых обоях горницы.

Там же остались товарищи и друзья, ждущие своего освобождения.

Трое седоков похожи друг на друга: у них белокурые волосы и светлые глаза. Они еще молоды. Младшему из них не больше семнадцати.

Это братья Петровы. Они едут на родину из Олонецкой губернии, где отбывали ссылку».

(И. Петров, «Маня», 1932)

Вниз по заснеженному склону кони побежали быстрее.

Зашуршала над санями сухая поземка (крепчал мороз), понеслись мимо темные кусты можжевельника, замелькали стволы сучковатых, ветрами покрюченных карельских берез.

Пожалуй, только за высоким холмом стало заметно, что уже смеркается. Небо и скалистые холмы, сельги, как их называют местные жители, затянуло серо-морозною мглою. Сугробы, слепившие днем глаза ярким светом, померкли, словно замерли и насторожились. Сумерки медленно обступали долину, что раскинулась внизу у кручи.

Угасал короткий зимний день.

Над суровыми сельгами, в холодном северном небе, потянулись на восток маленькие темные точечки. «Чайки,— подумал Иван.— На Соловки летят». Он слышал от карелов, что птицы перед оттепелью улетают к Белому морю, на острова. Но сейчас о потеплении и речи не могло быть. Давал о себе знать сухой карельский мороз. Однако птицы, видимо, как-то чувствовали раннее приближение весны.

Сани понесло со склона, застучали комья под полозьями.

— Огой! — крикнул возница, любивший быструю езду. Глаза у него выглядывали из-под меховой шапки, как у барсука, — живые, острые, сверкающие. Он отпустил вожжи. — Оле! Антакаа! [1]

Сани подкинуло, занесло в сторону, сено посыпалось на дорогу, а трое парней, крепко обхватив друг друга руками, весело переглянулись и расхохотались. Видимо, им по душе была такая езда.

Только лохматые карельские лошаденки, кажется, понимали, чем грозит им лихой спуск с горы. Едва ли не вылезая из хомутов, они тяжело дышали, храпели и упирались, чтоб как-то удержать сани. А иногда даже скользили на животе, подгребая под себя снег. Но вскоре, почувствовав почву под ногами, рванулись и уже спокойнее понеслись долиной.

В сумерках выстукивали и выстукивали подковами крепкие гривастые лошаденки. Дорога укачивала, можно было и подремать, но Иван — в который уже раз сегодня — вспомнил Ингул, белую церквушку на горе подле Адмиралтейства, а в ярах и на пригорках свой рабочий поселок, тесные дворы и дворики, которые он облазил и обшарил с раннего детства вместе с веселой разбойной заводской ребятней. Бывало, и на Кеми закрывал глаза и, как живую, видел перед собой родную Военную улицу и мог бы без ошибки сказать, у кого из соседей оборваны петли на воротах, а у кого вырван или искривлен гвоздь в заборе. Жадно все вбирает ненасытная детская память, чтоб потом в ссылке мучить томительно-сладкими снами и грезами воспоминаний. Но сейчас Ивану больше всего хотелось заглянуть к себе на завод, на многолюдный «Наваль», или, как его называют в Николаеве, Французский завод, полюбоваться, как стучат топоры на стапелях, как разлетаются во все стороны щепки, как кипит работа на строительстве одного или сразу двух пароходов. «Интересно, где сейчас Ваня Чигрин? — мелькнуло в его мыслях. — А Грабов? Долетела ли до них весточка об указе сената? О том, что военное положение в Николаеве отменили?»

Позже, через много лет, Иван писал в своих воспоминаниях, что весело, с бубенцами, на роскошной почтовой тройке возвращались они домой. Можно подумать: отбыли срок и мчатся открыто на санях. Паспорта у них проштампованы, право на въезд в центральные губернии получено. И теперь сам черт им не брат!.. Но что это за тревожные детали в его рассказе: рев озверевшей толпы, багровые пятна крови на светлых обоях в горнице? Может, какая-то случайная сценка, что-то из того, что промелькнуло перед глазами на долгой северной дороге?

В биографической справке, присланной из Москвы в партийный архив Николаева, об Иване Петрове сказано: «Был арестован вместе с Ровнером и выслан в Олонецкую губернию. В ссылке организовал кружок, а потом побег».

[1] Антакаа — выкрик «давай!» *(финск.)*.

Словом, они возвращались, только не так беззаботно и лихо, как потом, через много лет, все это вспоминалось ему — с той доброй и чуть-чуть грустной улыбкой, с которой и вспоминаем мы жизнь свою и события безвозвратной юности...

— Огой! Фю-у! — посвистывал возница, сани мчались, с хрустом разрезая слежавшийся наст.

Иван огляделся вокруг.

Равнину обступал горный кряж; внизу над потускневшими снегами простиралась густая подсиненная темень, а вверху было немного светлее, там еще горел и сиял холодный блеск вечернего неба. Вдоль горизонта возвышались скалы, а дальше — в холодных застывших просторах снегов — терялись мягкие контуры запорошенных инеем Олонецких гор.

От холода и долгого сидения стали деревенеть ноги, Иван подвигал ими и на правах старшего укрыл Шуру одеялом, поворчал на него, потому что Шура и здесь выставлял на ветер свою грудь. Сказано, молодость!

Снова тяжело и размеренно заскрипели сани. Начинался крутой подъем. И вдруг сквозь морозное поскрипывание снега Иван услышал приглушенный звон колокольчиков. Резко повернул голову и замер. С кручи, где они недавно едва не опрокинулись, неслись по их следу чьи-то сани.

— Хлопцы, погоня! Наверное, те самые, когуты!

В груди Ивана потеплело, опасность всегда горячила его кровь, напрягала каждый мускул. Он уже почувствовал хмельной вкус схватки, но про себя твердо решил: не встревать!

Холодно улыбнулся, дернул ездового за воротник полушубка:

— Давай, борода, выручай. Погоня!

Возница-карел, сухой, обожженный ветрами мужик-однодворец, отвернул ухо меховой шапки и прислушался: в шорохе снега он легко уловил ровное и частое позванивание бубенцов, так переливаются колокольчики на свадебных подводах или у пьяных мужиков, которые до смерти загоняют своих лошадей.

Прищуренные глаза карела видели не хуже оптического прибора.

В густых сине-морозных сумерках он ясно различил человека, который стоял во весь рост в розвальнях и без конца разрезал батогом воздух.

Сухое, красное лицо карела сразу стало суровым.

— Оле, — сказал он приглушенно. — Мой-твоя будет ружье стрелять.

— Давай, борода! Режь по коням!

— Нэ, ваше благородие. Эй[1], — закачал головой возница. — Конь беда, дорога худой, бежать не может.

Только мужик умеет так ловко и невинно прикинуться простачком, затеять выгодный для себя торг, и это не первый раз за до-

[1] Эй — нет *(финск.)*.

рогу. Если до сих пор Иван терпел, то сейчас сердито сверкнул на возницу глазами.

— Послушай, борода,— сказал, едва сдерживая раздражение.— Лучше не торгуйся. Не время. Догонят — всех нас разделают под орех.

Возница повернул голову, и братья увидели обветренное, давно не бритое, скривившееся в недовольной гримасе лицо, что, по всей видимости, означало: «На кой бес связался я с вами, господа арестанты! Плата за транспорт — гроши, а я уже и так загнал своих бедных лошадок и заехал с вами черт знает куда, аж до Выгозера, а тут, того и гляди, догонят пьяные каретники и снова — ни за понюшку табака — огреют палкой по шее!»

Возница с сожалением покачал головой, похлопал себя руками по груди, потом снял правую рукавицу и показал три растопыренных пальца:

— Колмне[1]! Трешню!

Ясно было и без слов: без «трешни» кони не пойдут, хоть убей. Устали, выбились из сил. И как раз в тот момент, когда сзади все отчетливее и угрожающе позванивали колокольчики.

— Когуты! — с какой-то веселой, жутковатой оторопью воскликнул Иван. — Видели: не подбрось медяка, будет ждать, пока не настигнут погромщики и не прибьют палкой. Повесится за копейку, хуторской стяжатель! — Он повернулся к возице: — На, борода, трешницу! Только не умирай, слышь! А теперь жми! Ты и так у нас все гроши вытряхнул!

Ездовой по-хозяйски упрятал трешницу в рукавицу, проверил, надежно ли спрятана, потом благодарно крякнул, как после доброй чарки, свистнул на коней и сразу стеганул их батогом. Сани рванулись с места и понеслись. Низенькие лохматые лошаденки, только что трусившие мелкой рысцой и устало пофыркивавшие, теперь словно почувствовали, что дорогу подмаслили — подбросили хозяину на «сугрев», а им на овес. Они вдруг пригнулись, напряглись, разбросали по ветру гривы и побежали с неожиданной быстротой.

Когда Петровы нанимали подводу, карел говорил им не зря: у него такие лошадки, что никакие жандармские рысаки их не догонят. И в самом деле, отмахали уже сотню верст, и не трактом, а лесными чащобами, по заносам, льдистым перепадам, и хоть бы что. Неслись и сейчас ровно, размашисто, даже казалось — ускорили бег.

Задние сани стали заметно отставать, крики и звон колокольчиков, доносящиеся из темноты, тоже заметно утихали. И вдруг грохнул выстрел из ружья. Стреляли, как видно, вверх, для острастки. Над снегами, в густом морозном воздухе покатилось эхо.

— Проклятые «союзнички»[2],— с веселой злобой произнес Иван. — И что им надо? Ведь поговорили уже по душам!

[1] Колмне — три *(финск.)*.

[2] «Союзниками» после революции 1905 года называли черносотенцев, членов так называемого «Союза русского народа».

...Это случилось утром, после долгой утомительной ночной тряски. Братья выбрались на опушку леса и увидели перед собой занесенное снегом небольшое озеро, дальше крутую скалу, а под самой скалой несколько черных бревенчатых строений.

Лошади, обвешанные льдистой бахромой, остановились и жадно хватали снег, тыкались мордами в сугробы. Замерз возница, замерзли братья, потому что ехали целую ночь, все дрожали от холода и голода.

Постояли, молча посмотрели на деревушку, на багряно-красный блеск стекол против солнца, на дым, клубившийся из труб. И наверное, не только у Ивана ожила в душе затаенная тоска по теплу, по домашнему уюту, по человеческой ласке и доброте. Брань, обыски, мрачно-враждебные стены ненавистных казарм,— казалось, до сих пор все это преследовало их.

Заехать, попить чаю? Но кто знает, нет ли там кордона, не засели ли стражники?

«Вы останьтесь, браточки-арестанты, в лесу,— сказал карел,— а я съезжу разузнаю, чем там пахнет».

Возница уехал.

Без саней, без того тепла, которое братья оставили в сене, стало совсем неуютно и холодно. Их продувало насквозь. Хорошо было бы разжечь костерок, но опасно: близко дома, даже слышно, как что-то приглушенно стучит в одном из дворов, словно работает там паровой молот.

Братья мерзли на ветру и настороженно посматривали на хаты, разбросанные под горой. Шура отправился в дорогу в кожаной фуражке, правда утепленной, на вате, но все равно не для этого сурового края, и теперь натягивал ее на уши, кутался в воротник, стучал зубами.

Карел вскоре вернулся.

Еще издали братья заметили на его лице улыбку: дескать, не беспокойтесь, господа арестантики, все в порядке!

Пока братья поудобнее устраивались в санях, он рассказывал обо всем услышанном и увиденном. Село, кажется, раскольническое, живут там, если не наврала девчонка, которая шла по воду, какие-то беспоповцы. Но хотя они и беспоповцы, самогон, видно, свято почитают, потому что слышно и бубен, и веселый шум, доносящийся из-под горы, дворов там не больше десяти — двенадцати. Крестины или обручение у людей, кто их поймет, одно можно с уверенностью сказать: заняты мужики выпивкой и на случайных проезжих могут не обратить внимания.

Выслушав возницу, Иван все же заколебался.

В глухом лесном краю еще сыздавна, словно осы в гнездах, замкнуто и потаенно ютятся старообрядцы, или раскольники. С такими лучше не встречаться. Народ этот суеверный, люто фанатичный и к тем, кто приходит к ним со стороны, относится зло и враждебно. Иван это знал, его предупреждали товарищи. Но, посмотрев на серое, помертвевшее от холода лицо Шуры, на угрюмого Михаила, он понял, что братьям надо погреться.

— Заедем! Минут на десять — пятнадцать,— сказал Иван.

Сани покатили вниз по склону, потом прямо через озеро.

Теперь все явственнее виднелись крайние дворы. Высокие, рубленные из бревен избы, понурые и почерневшие от времени, стояли под защитой горы, а засыпанная снегом гора была окружена лесом. Крепкая, удивительная добротность села как раз и не пришлась по душе Ивану. Он заметил, что заборы поставлены словно навечно — доски подогнаны плотно одна к другой, не найдешь ни единой щели, вверху заострены — совсем как в остроге. В каждом дворе — длинные сараи, копны сена, стоят штабелями дрова, под навесами — целые склады колес, балок, разрисованных спинок фаэтонов. По-видимому, село каретное, то есть живут здесь мастера-каретники, какими славится прионежский край. Все яснее стало слышно, как под горой, домов через пять, выбивал бубен и кто-то из мужиков отчаянно, басовито выкрикивал: «Эхма, подсыпай, Игнатий!» Вряд ли, чтобы это были старообрядцы. Наверное, обыкновенные хозяйчики, которые не прочь тряхнуть лихом о землю. Братья прислушались к веселой гульбе и, видимо, вспомнили свою Слободку, слегка заулыбались: «Знакомое дело! Веселится народ!»

Карел уже подогнал сани к первому двору и бубнил себе под нос, что сейчас было бы кстати попить чайку, что если печенке тепло, то и ногам не зябко.

Оставили лошадей у ворот, а сами, стряхивая снег, поспешили к дому. Шура плелся последним. Ноги у него так окоченели, что он их не чувствовал, вернее, чувствовал, но так, как будто ступал на толстые подушки, и стоило коснуться земли, как сразу тысячи иголок вонзались в спину.

Ковыляя, он тащился за братьями.

Постучали в дверь. Карел остановился у порога и перекрестился, глядя на красный угол,— там висела тяжелая лампада с двумя горящими свечками.

Вслед за карелом вошли в хату и братья.

Почему-то им казалось, что в доме застанут немолодую женщину, хозяйку-олонянку. Уж если в селе гулянье, то все мужики, наверное, заняты брагой. Но ошиблись. Встретил их — и встретил неприветливо, злым удивленным взглядом — сам хозяин. Он сидел за столом, крепкий, коренастый, подвязанный фартуком. Ему уже было, пожалуй, за шестьдесят, лицо крупное, нос широкий, приплюснутый, волосы рыжие, лохматые. Борода и шевелюра словно были окрашены темно-красной охрой — волосы топорщились во все стороны и отсвечивали медным багряным огнем. «М-да, этот даст погреться!» — подумал Иван.

В одно мгновение хозяин смерил гостей откровенно враждебным взглядом. Потом кашлянул, сдул со стола опилки, убрал струганок. Кивком головы показал: проходите!

И только тогда, когда Михаил (он был старше Ивана на два года, правда, ниже ростом, немного пощуплее его, и поэтому люди

часто ошнбались, иазывали старшим не его, а более крепкого, плотного телом Иваиа), только когда Мнхаил стащнл с головы шапку и причесал волосы пятерией — хозяин ожнл, удивленио и будто даже с завнстью посмотрел на парня. На застывшей его физиономии словно было иаписаио: «Вот это да! Я рыжнй, я опаленный, но такого красавца еще ие вндал!» В самом деле, у Миханла были роскошные золотнсто-светлые волосы, цвета пшеннчной соломы. Онн очень шлн ему: простое добродушио-открытое лицо, голубые глаза, большне, по-мальчишечьи толстоватые губы и эти теплые солнечные внхры, которые, казалось, пахлн пшеннчной сториовкой. Из-под золотнстого чуба Мнханл ласково поглядывал на людей, с чуть-чуть припрятаииой улыбкой, немного неуверенно, всегда пропуская вперед Иваиа, человека твердого и решнтельного во всем.

Хозяин окинул Михаила ревннвым взглядом, отметнл, вндимо, для себя, что пришелец ие нз здешинх мест, а скорее из южиых, где много солнца н где растет настоящая пшеница, золотая, налитая, не такой убогнй жнтиячок, как в Олоиецкой губернии. На этом нитерес к приезжнм у него пропал, н он недовольно пробормотал:

— С чем бог послал? Только быстро, иедосуг у иас,— и кивиул на брусок, который только что обстругивал.

Карел словно ждал вопроса. Он стал тороплнво объяснять, что едут онн из Погоиского лесозавода, заработков там ннкаких, по грошнку на деиь, едут в Каргополь за инструмеитом...

Рыжнй выслушал и иеприятио сморщнлся. Вндимо, нн одному слову ие повернл. Более того, как-то сразу потяжелел, иахмурился, глаза упрятал поглубже. Братья не зналн, что телеграф, а потом коиные гоицы уже разнесли по всей губернни весть о побеге политическнх из Черной Слободы. Вчера н сюда заезжал урядник, предупредил мужнков: еслн только появятся подозрнтельные — немедлеино взять нх, связать и доставить под коивоем в уезд, за это будет царская благодариость и соответствующая награда — каждому по пять фунтов охотничьего пороха. Трудно сказать, что сейчас вндел хозяин, глядя из-под рыжнх нахмурениых бровей: пять фунтов казениого пороха нли портрет высочайшей особы, который оплевалн н загрязнили вот такие бродягн, буитовщики, смутьяны; место нм в ледяной полынье, а оин, внишь, захотелн побаловаться чайком.

Мужик тяжело дышал, червь уже точнл ему душу.

— У иас не чаевничают! — с глухнм прндыхом отрубнл он.— Не положено! Ежелн только реповый квас. Извольте побыстрей — н с богом.

Встал раздраженно, толкнул иогой табурет и иехотя пошел в сени за кувшнном.

Братья удивленно переглянулнсь: вот это да! Какой же он раскольннк? Скорее разбойиик, сыч лесной! Надо иогн иа плечи н быстрее бежать, пока ие поздно!

И словно в подтверждение их подозрениям хозяин сердито и глухо заговорил с кем-то в сенях, может, с дочерью, а может, с прислугой. Под окнами тут же мелькнула женская фигура — в белом кожушке, голова повязана платком. Похоже, что рыжий за кем-то послал.

Как перед выносом покойника, в хате стало тоскливо и тихо.

От высокой печи тянуло теплом, сушилась рыба, подвешенная под самым потолком, потрескивала и скручивалась в барашки сосновая стружка на полу.

Скрипнула дверь. Хозяин принес кувшин кваса. Неприветливо пододвинул: пейте! Братья и возница без особого желания стали пить холодный и неприятный на вкус реповый квас. Терпкий, горьковато-кислый, от него пахло бочкой, плесенью и еще чем-то гнилым и затхлым. С похмелья, может, и пьют его, а с мороза, да еще натощак...

Надо было встать, откланяться и сразу же удалиться. Но молодость, ребячье упрямство что-нибудь да значат! В двадцать лет если и отступают, так с удалью, украсив себя синяками и гордо утирая кровь под носом. В общем, братья спокойно, как люди степенные, важные, потягивали прокисший вонючий квас, хвалили его, расспрашивали хозяина, как же изготовляют такой удивительный напиток. А между тем краем уха прислушивались: не доносится ли топот со двора?

Больше всех переживал карел: мял на коленях шапку (подвел-таки братьев-арестантов!), то и дело кивал Ивану, показывая на дверь: «Антакаа! Мой-твоя догоняй!»

Но братья словно и не слышали его немых просьб, а Шура вообще расстегнул ватник, выпятил грудь и с отчаянным вызовом посматривал на хозяина: дескать, ты смотри, борода, не того... лучше не связывайся с нами. Шура обычно первый засучивал рукава, он твердо знал, что за спиной у него надежная опора — Ивана и Михаила кулаки.

Молчание затянулось, это чувствовали все: сейчас что-то должно произойти. И в самом деле, вскоре послышался шум, удары бубна, скрип снега под окном, чьи-то пьяные крики.

Непрошеные гости схватились за шапки. Карел кинулся к порогу. Но было уже поздно.

Топот, гул, крепкие мужские голоса заполнили сени. Распахнулась дверь, и в избу протиснулись: шапки, лица, всклокоченные бороды. Взгляды у всех пьяные и возбужденные, в глазах — хищный огонь: бей! Арестантов, каторжников — кольем!

Иван знал, на что способна разъяренная толпа собственников, когутов, как он называл их, одичавших в глухих медвежьих углах. Он ринулся на пьяное скопище. И наверное, потому, что шел напролом,— заехал в морду хозяину, а потом еще одному бородачу, да так, что у того появилась кровавая пена на губах,— толпа отшатнулась, раздалась. «Айда!» — крикнул Иван. И двинулся, развернув плечи, мимо кожухов, мимо разгоряченных самогоном

мужиков, мимо их злобного шипения. За Иваном прорвался Михаил. Но Шуру оттолкнули, кто-то из мужиков крякнул, замахнулся палкой, да в тесноте промахнулся и влепил в ухо своему хозяину-земляку. Тот завыл, завертелся, как юла, схватился рукой за щеку, сквозь пальцы его сочилась кровь. Мужики навалились на Шуру, на карела, который весь побледнел и растерянно топтался у порога, не зная, как спастись. Их били кто кулаком, кто валенками, мужики толкались, в горячке раздавали тумаки и друг другу. А белый толстомордый мальчуган стоял с бубном в руках, испуганно взирал на это зрелище и повторял: «Так их! Так! Дайте! Дайте им еще!»

Карел свернулся калачиком, его били ногами. Шуре рассекли уже бровь, кровь залила ему лицо.

Всегда сдержанный, Иван вдруг побагровел и бросился назад. Он быстро раскидал мужиков, освободил Шуру, вытолкнул во двор карела. И гневно, зло закричал:

— Да вы что? Сдурели? Или от браги лишились рассудка? Вот! Глядите, гады! Паспорта! С печатью! — и начал совать в заплывшие глаза пьяных мужиков старые потрепанные паспорта (фальшивые, добытые в засланческом бюро). — Раскройте зенки, видите: из артели мы, сезонники!

Паспорта, да еще с печатью, произвели на пьяную толпу впечатление. Наступило мгновенье гипноза, какого-то оцепенения, а может, замешательства; оторопелые мужики смотрели друг на друга и на приезжих. Это был удобный момент, момент неуловимо короткий — и братья с карелом, тяжело дыша, попятились к выходу, быстро забрались в сани. Карел рванул что было силы за вожжи, и лошади с места взяли в галоп.

Долго потом не могли они прийти в себя. Только в лесу, когда отъехали далеко, стали вспоминать эту встречу и, перебивая друг друга, смеясь, рассказывать, кому и сколько влетело, как хозяину причесали ухо, как беломордый мальчуган подзадоривал: «Дайте! Дайте им еще!» — и, наверное сам того не замечая, стучал колотушкой в бубен. Звонко и раскатисто смеялся Михаил, качал головой и повторял: «Ну и квас! Ну и богомольцы! Ну и сычи! Расскажу на заводе, хлопцы животы надорвут!»

Вытерли Шуре на щеке и под глазом кровь, рана на морозе затянулась и тут же засохла.

К вечеру словно и забыли об этой глупой драке с бородачами; да и время было и остынуть и забыть: отмахали не менее сорока верст, к Выгозеру, на юг. И вот тебе — погоня: сани, крики, позванивание колокольчиков в темноте. Неужто пьяная орава, опомнившись, бросилась догонять? А может, известили урядника и тот приказал «изловить» их?

Сейчас, когда оторвались немного от погони (позади еще дважды прогремели ружейные выстрелы), Иван подумал: не жалеет ли Михаил, что решились они бежать с Кеми? За младшего брата Иван не беспокоился, знал — тот согласен на любой риск,

только свистни; Шуре и море по колено. А вот Михаил, этот тонкий, рассудительный, к тому же не в меру впечатлительный и деликатный парень (чудак, везет из ссылки тетрадь своих стихов), он мог бы и пожалеть, что согласился на побег. Да и когда — едва ли не перед самым концом срока, за три месяца до освобождения.

Только надо же знать, какими были бы эти три месяца. Три месяца видеть красную, тупую морду старшего надзирателя Шурубы, который наскакивал, как правило, ночью, неожиданно, с целой оравой стражников, и начиналась такая дикая и унизительная процедура обыска, что мало кто спокойно выдерживал ее до конца. Сначала обшаривали все углы, перетряхивали белье, проверяли каждый листик. Искали оружие и запрещенную литературу. А когда ничего не находили, Шуруба рычал на политического, приказывал раздеться, и стражники рылись в белье. Кое-кто из вспыльчивых ребят не выдерживал, вспыхивал, ногой или кулаком толкал стражника, а этого момента как раз с нетерпением и ждал Шуруба: тут же доставал браслеты-наручники, чтобы с превеликой радостью упечь политического за «нападение» сначала в этап, а потом на каторгу.

Три месяца шурубовщины... А дальше — кто знает, только ли три? Срок заканчивался как раз в весеннюю распутицу — в бездорожье, когда Кемь и все прилегающие к ней озера разливаются, села затапливает шугой и талыми водами, и люди живут среди сплошного моря на маленьких островках, надолго отрезанные от мира: ни единого транспорта не бывает до спада весенних вод. Вот так из трех месяцев получалось едва ли не полгода. Еще полгода неволи, тоски, бездеятельности. Тогда и созрел план побега, который и позвал их в дорогу.

...Они жили и в ссылке тесной группой, землячеством. Почти все — рабочие, свои, заводские ребята и единомышленники. О них так и говорили: николаевские. Самая боевая группа. Их избегал и садист-надзиратель, разрешал им то, чего другим ни за какие деньги не разрешил бы... Собирались они тайно по вечерам, это были сходки партийных друзей, на которых сообща договаривались: после возвращения — снова на завод, в свои цеха, налаживать связи и создавать большевистские ячейки. На одной из таких сходок Иван впервые и услышал о подпольной типографской технике, зарытой как будто бы во дворе у одного николаевского мещанина. Если бы разговор шел о нелегальной технике вообще, Иван наверняка пропустил бы его мимо ушей: печатью занимались другие люди, более подготовленные, а у него — живая агитация в порту, среди грузчиков. Но Ровнер, говоря о технике, назвал: восемь пудов шрифта. Восемь пудов! Это было что-то значительное, настоящий подземный клад (и он гнил где-то в земле без дела!). У Ивана проснулся дремавший до поры до времени, впрочем, как, наверное, у каждого из нас, инстинкт кладоискателя: скорее вернуться, немедленно откопать технику и запустить

ее в работу. Будет настоящая типография! Можно весь Николаев наполнить агитационной литературой. А Ровнер и дальше возбуждал любопытство: говорил, какие у него имеются связи и что он сам попытается напасть на след давно и почти безнадежно исчезнувшей типографии. С этого времени Иван потерял покой: ему по ночам снились шрифты, техника. Он уже видел ее у себя во дворе. Снова и снова мысленно возвращался к своей идее, подробно обдумывал и все больше убеждался: именно им, Петровым, надо браться за это дело! Именно им! Ровнера, а тем более Чигрина, Грабова каждый шпик в Николаеве знает, а они, Петровы,— люди в организации новые, никаких за ними серьезных подозрений нет... Восемь пудов шрифта достойной ношей словно легли уже на Ивановы плечи...

Это и подхлестнуло давно затаенную мысль: бежать; друзья — Ровнер и Филя Андреев — сказали ему, что будут пробираться к морю с восточной стороны, а потом на санях по Онежской губе. Иван с братьями выбрал другой путь — на юг, в направлении олонецких хребтов, которые должны были вывести их к Каргополю, а там — на архангельскую чугунку.

...В сгустившихся сумерках проскочили они мимо дорожного столба, на котором висела какая-то надпись, возница крикнул братьям, что сгоряча хватанули немного левее и заехали на земли архангельского лесозаводчика. Чувствовалось, что дорога стала ровнее, горы отступили, а навстречу сплошной стеной надвигался лес.

Еще какое-то время за их спинами слышался отдаленный звон колокольчиков. Потом раздался еще один выстрел, на прощанье прокатилась убористая ругань, и все затихло. Мастера каретных дел повернули обратно. Кто знает, что остановило их? Может быть, подумали: до соседней губернии гнали — и хватит! Перед богом и перед урядником совесть чиста. А может, остановила их темная ночь и зловещий сосновый лес?

Уже совсем стемнело, когда подъехали к какому-то полустанку. Среди сугробов чернело строение, напоминающее деревянный склад, над ним высвистывал в телеграфных проводах ветер, а рядом круто выгибалась и резко сворачивала в лес насыпь железной дороги. Братья попрощались с карелом, окинули взглядом сани, на которых лежали одеяло, сено, тревожно застыли в снегу у насыпи: что их ждет впереди? Когда прибудет поезд, с какими злоключениями повезет он их? Боль и щемящая тревога в сердце: как там мать? Ходит ли она, не разбил ли ее совсем паралич за эти долгие полтора года?

Молча двинулись к полустанку, где не светился ни один огонек.

Теперь дорога вела их через всю Россию, на юг, к корабельному городу над Бугом, к заводской Слободке.

РАБОЧАЯ СЛОБОДКА

«В департамент полиции
Совершенно секретно

Доношу вашему высокоблагородию, что, по имеющимся сведениям, типография Николаевского комитета Российской социал-демократической рабочей партии поставлена на краю города в Слободе, где наружное наблюдение вести весьма затруднительно...

12 ноября 1908 года.

Начальник Николаевского
охранного отделения
ротмистр Фокин».

Старый, еще екатерининский Николаев планировали военные топографы. Не мудрствуя лукаво, с военной прямотой чертили они под линейку кварталы и улицы.

Город вырастал на высоком холмистом полуострове, там, где сливаются реки Ингул и Южный Буг. Этот полуостров, вытянутый в одну сторону длинным рукавом, топографы и расчертили параллельными полосами улиц, которые тянутся строго с севера на юг, и пронумеровали их так: 1-я Слободская, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Слободская улицы. В другом квадрате, отведенном когда-то для солдат гренадерского полка, которые строили судостроительную верфь и ютились в землянках, по тому же принципу было спланировано двенадцать Военных улиц. Территория вокруг верфи, заселенная сплошь мастеровыми людьми, застраивалась по цеховому принципу: здесь возникли улицы Плотницкая, Купорная, Конопатная, Котельная. Некоторым переулкам не хватало названий, их обозначали просто буквами — переулок А, переулок Б — или именовали их как улицы Безымянные.

Молодой южный город привязывался к судостроительному заводу. Привязывался не только планировкой улиц, но всем духом, всем строем жизни. Собственно, сначала по приказу князя Потемкина была построена корабельная верфь в устье Ингула как основная судостроительная база Черноморского флота, а уже потом от Адмиралтейской верфи и вокруг нее начал расти город.

Рождался город Николаев в громе барабанов, в топоте солдатских сапог. Из Украины и Центральной России сюда под конвоем сгоняли рекрутов, казенных мастеровых, крепостных крестьян, солдат, матросов гребного флота. Плотники, столяры, такелажники, кузнецы — вся рабочая рать делилась на роты, позднее на экипажи, тянула по команде «носок», стояла в карауле, отбывала наряды, словом, жила казарменной жизнью: муштра, розги, гауптвахта и — повальная смерть от тифа и чумы. Дух солдатчины и казарменной жизни отразился на всем облике дореволюционного города.

Центром Николаева, его архитектурной и административной сердцевиной была Соборная улица, построенная строго и точно по компасной стрелке — с севера на юг. От Ингула она открывалась широкой площадью, где все называлось соборным: Соборная площадь, Адмиралтейский собор и, наконец, сама Соборная магистраль.

На аристократической Соборной и на улицах, которые ее пересекали или прилегали к ней, сконцентрирована была вся власть, величие и гордость южного Петербурга, как иногда называли Николаев. Здесь находились городская дума и управа, за ними — полиция с высокими, обитыми железом воротами, которые в нужный момент открывались и выпускали на улицу конную полицию и городовых. Немного дальше — зал городского собрания; там в звоне бокалов и заздравных речей пировал в честь победного вступления в город деникинский генерал Слащов и тут же, на банкете, подписал приказ о расстреле шестидесяти одного коммунара у стен Адмиралтейства. В одном из особняков на Глазенаповской скромно, без вывески расположилось Николаевское охранное отделение, где ротмистр отдельного корпуса жандармов Фокин, позже подполковник, принимал тайных агентов и филеров, под расписку вручая им сребреники, добытые ими в горьких трудах.

До полуночи не утихала работа в типографии братьев Белолипских, где выходила ежедневная, легальная, солидная «Николаевская газета»: как раз напротив этой типографии и бросил эсер-террорист бомбу в полицмейстера Иванова.

Культурная жизнь сосредоточивалась вокруг театра Я. Шеффера, в котором выступали действительно великие артисты, от Панаса Саксаганского до Софьи Комиссаржевской, и в котором по сообщению охранки в департамент полиции в марте пятого года, во время представления пьесы М. Горького «Дачники», было разбросано большевистское воззвание «Начало революции в России...».

Но сейчас нас интересует не так центр города, как его отдаленная окраина за Адмиралтейством, где начинаются рабочие кварталы. Здесь Ингул круто выгибался, и на холмистом островке, в буераках и камышовых зарослях давно уже одичало вырастало рабочее поселение, так называемая Дальняя Слободка. Она славилась тем, что здесь не было ни одного фонаря, и приземистые хаты слободчан утопали в непроглядной темноте, здесь не было ни единой мощеной улицы (зато существовал «бассейн» — огромная яма посреди рабочего квартала, из которой брали глину для кирпичного завода и которая была заполнена зеленой дождевой водой); и не было здесь ни одного городового. Словом, Дальняя Слободка обрела самую горькую славу темной окраины, и, собираясь в ларьках и кофейнях Соборной, добропорядочные мещане рассказывали о ней невероятные истории: об убийствах, грабежах, разврате.

Три года подряд, с тысяча девятьсот первого по девятьсот третий, в газете «Южанин» печаталась повесть «Танькина карьера, или В дебрях Дальней Слободки». Повесть имела большой успех среди уважаемой публики, была, можно сказать, бестселлером тех лет. В «Танькиной карьере» образованные паиночки и высокопоставленные отцы города находили подтверждение собственным мыслям о том, что творится на одичавшей окраине,— грязь, темнота, общее растление и пьянка; причем втягиваются там в распутство и воровство с самого детства.

«Юноши блаженных палестин Дальней Слободки — Ослиной горки, Бомбаровки, Костогрызовки,— не без юмора повествует газета,— начинают развлекаться.

Развлечения этих юношей — живоглотов, живорезов, как их называют мирные обыватели тех же палестин, носят характер совершенно своеобразный.

Головорезам Дальней Слободки скучно.

Надо же чем-нибудь заняться, убить свободное время.

Сидят великовозрастные Федьки, Сеньки, Ваньки вечером на завалинке и от нечего делать изощряются в произнесении отборных ругательств. Настоящие слободские. Что ни слово, то грязь. И сами импровизируют, и от отцов перенимают...»

«Идет компания слободских живорезов. Идет, по обыкновению перебранивается, невозможные песни поет. Кругом тишина, только собаки лают. Вдруг какой-нибудь Федька или Ванька говорит:

— А давайте-ка стекла побьем. Вот перепужаются!

Дзень, дзынь! — летят стекла, а живоглоты гогочут.

Дети у взрослых учатся. По вечерам устраивают капканы для прохожих. Протянут через дорогу веревку, сами притаятся в укромных местечках и ждут дармового представления. Идет ктонибудь по улице, наскочит на веревку и шлепнется. Покряхтит и невольно выругается.

А сорвиголовам-малышам первое удовольствие.

— Дикость, батенька, у нас, глушь, особый, совсем особый мирок... Только перейдешь за Военный рынок — и вы уже в дебрях Азии...»

Об этом рассказывалось в газете в 1901 году, когда по той же Слободке босой и весь исцарапанный бегал Шура Петров, поуличному Буц, а старшим братьям Ивану и Михаилу было двенадцать — четырнадцать лет. То есть все они трое принадлежали к шайке «живодеров». И если верить «Южанину», то им, как и героине «Танькиной карьеры» девице Валюковой, была уготована одна дорожка — от мелкого воровства и попрошайничества до организованного бандитизма и грабежа.

Но послушаем еще одну сцену — в корчме. «Танька,— обратился отец к девятилетней дочери (он только что бился об заклад на полштофа, что его дочь «все может»). — У соседки Ивановны курица в курятнике; дверь на веревочку запирается. Ты можешь

иам сейчас курнцу предоставить? У Ивановиы собаки есть». — «Могу». — «Молодец, Таиька! Жарь! Нет супротив ее другой такой! Огонь!» Таиька мигом приносит ворованиую курицу. «Вот она, Танька-то моя! — крнчнт пьяиый Антип. — Ежли сказала — могу,— сделает! Молодец!» (Растрогаиный отец подносит девочке шкалик водки и предлагает выпнть.)

Сразу заметим: иесколько иной жизнью жили Шура, Иван и Михаил Петровы в старенькой хате, крытой драикой, недалеко от зиамеиитой Ослииой горки. Несколько иными заботамн жила и вся молодежь рабочего поселка, где крепко врастала корнями в жизнь и закалялась в труде пятиадцатитысячиая армня промышлениого люда Николаева, которые строили корабли, плавили чугун, переправляли через порт н железную дорогу тысячи пудов хлеба со всего юга Украины.

В подслеповатых приземистых хатах рабочей Слободки текла своя особенная жизнь, затаенная, ио не отупевшая, не воровская, какой она казалась беллетристам и репортерам из «Южаиина».

...Настойчивые, басовнтые гудки будят Дальнюю и Предместную Слободки. Просыпается рабочий люд. Тяжелым потоком двнжется по темным улнцам, утопая в жидкой весенией грязн. Одии рукав людского потока сворачивает на Адмиралтейскую верфь и к пакгаузам воеииого порта. Это совсем близко, за Ослииой горкой; порт и Адмиралтейство можио увидеть со двора Петровых. А осиовная масса рабочих идет дальше, на противоположную стороиу полуострова, иа так изываемые Пески. Там иад Бугом раскииулись корпуса двух промышлениых гигантов Николаева — Французского и Чериоморского заводов.

Оглашая соиные улицы кашлем, шумом н руганью, движется бесконечный поток к Бугу: кто пешком, кто подъезжал на коике, которую недавио пустили и о которой уже сложеи куплет: «Конка везет за пятак, а Иваи шмаляет так».

Молчаливая, озлобленияя масса входит в заводские ворота, где ее ожидают новые потрясения — каждый третий будет освобожден от работы в связи с экономическнми трудиостями. Глухой ропот, топтание возле коиторы, иаряды полиции... А Фокии глазамн своих агентов и провокаторов сопровождает человеческую толпу в цеха, всматривается в хмурые лица заводских рабочих: где подстрекатели, где те, о ком предупредили его из департамеита полиции? Несколько новых сообщеиий из Петербурга: с Севера и из Сибнри, несмотря иа запрещение, возвращаются политзаключеиные, оии стараются всякими правдами и иеправдами проникнуть иа заводы, разжечь старый, потухший огоиь.

«Кто же из иих?» — всматривается Фокни в угрожающую и одноликую для него массу. А тем временем...

...Позванивая бубеицамн и отбрасывая назад искрнстые комья снега, быстро мчится тройка почтовых.

На рассвете, еще до первого гудка, когда темень, кажется, только начинает сгущаться, тяжело окутывая землю, кто-то осторожно постучал в окно.

Мать проснулась сразу.

Тишина, и над тьмой или в ней будто что-то прозвенело, отлетел звук и замер, оставив в воздухе тонкий и неясный след.

Мать, ничего не разбирая со сна, уставилась глазами в потолок, прислушалась: не повторится ли звук? Потом вскочила, набросила платок на плечи и тяжело пошаркала к дверям. Может, послышалось, мелькнула мысль, постарела уже, часто в ушах звенит в непогоду. Сослепу не то от волнения долго не могла отыскать щеколду, сердилась, что-то бормотала, пока не отворила дверь. В ноги ей бросилась черная кудлатая Жучка, весело и суетливо ластилась, скулила и клубком откатывалась назад, от радости не находя себе места, дескать: гляньте, кто пришел!

Словно на старой потемневшей картине, встали перед матерью три фигуры. Как будто чужие. Темным контуром — длинные пальто, шапки, а на меньшем, кажется, легонькая фуражка. Три человека молча, удивленно и нетерпеливо, с затаенной радостью, что вот-вот вырвется из груди, смотрели на старенькую женщину и ожидали, что скажет она.

— Так я и знала! Это вы! Горе мое приблудное! — всплеснула руками мать и кинулась обнимать сыновей.

В их семье слез, нежностей не любили; детей на Слободке жалели по-своему: наплодил их в грехах и тоске — корми, сам работай, пока ноги таскаешь, и детей приучай к этому сызмальства. Встал ребенок на ноги, в сушильню пускай бежит, на кирпичный завод, это недалеко, на берегу Ингула, там набирают малышей складывать кирпичи, может, добудет себе какую-нибудь копейку. «Смотри только, руки себе не обожги, слышишь!» Вот и вся жалость. Главное, чтоб руки берег, на этом каторжном свете они еще пригодятся.

Сейчас мать торопливо, словно стыдясь ласки, обнимала Ивана и Михаила, немного дольше задержала руки на шее Шурика, он страшно замерз и не мог унять дрожь. По голосу, по сухим, скрюченным работой рукам сыновья почувствовали: прибавилось матери хвори, постарела она за эти долгие полтора года.

Теперь надо остановиться и сказать несколько слов об отце Петровых и об Елене Федоровне, которая наконец дождалась домой своих сыновей.

Отец Петровых, Василий Алексеевич, был человеком быстро и круто сменяющихся настроений. Он мог вспыхнуть из-за самого пустячного повода, нагрубить любому, кто подворачивался ему под руку, в первую очередь своей жене, и тут же отойти, смягчиться душой и даже неожиданно прослезиться. Был он совсем неграмотный, не знал ни единой буковки и даже, казалось, гордился этим или просто куражился, показывал, что ему наплевать

на всех этих господ ученых. Он говорил, что грамота — это нечто вроде болезни. «Грамотный человек — червивый, это я вам точно говорю!» — любил повторять он в слободской компании. Признавал Алексеевич только одну работу, мускульную, лошадиную, до надрыва печенок и сердца. Он работал тяжко, таскал чугунные заготовки на Адмиралтействе, в получку мог развернуться на всю ширь души, набраться до чертиков в своей заводской компании, и тогда слободские улочки становились ему слишком узкими и тесными.

Был Алексеевич горяч в работе (и вскоре надорвался на заводе), горяч в гулянке и выпивке; когда он приходил домой под хмельком, сгребал в охапку свою сухонькую жену, ставил посреди двора на бочку и кричал прохожим:

— Смотрите! Все смотрите! У меня Елена — золото! Брильянт драгоценный! Душа! Хотите, ноги ей поцелую? Да, поцелую, и наплевать мне на вас, фармазоны!

Жена тихо умоляла: «Вася, Васенька, не надо! Что ты делаешь!» Алексеевич вытирал сухие глаза, а за забором толпился народ, скалил зубы, смеялся, пока Петров не хватал шкворню и не кричал: «Вы чего? Кто вас звал сюда? Уходите прочь, фармазоны, это вам не сходка!»

Как в работе, Петров-старший ненасытным был и в любви. Его внучка Прихненко-Подгурская вспоминает: «Мой дед Василий Алексеевич был русским, родители его выходцы из России, а сам он родился в Николаеве. Бабушка Елена Федоровна, украинка, тоже николаевская. После женитьбы было у них двадцать четыре души детей. Однако выжило только пятеро, а остальные умерли в двух- или трехгодичном возрасте. Самый старший из них — Василий Васильевич, отец мой, артист малорусского театра, потом Михаил Васильевич, Иван Васильевич, Александр Васильевич (Шура) и самая младшая Аня».

Елена Федоровна верила в бога, в ее хате висели три иконы с лампадкой, но пусть кто-нибудь только сказал бы, только посмел бы сказать, что ее сыновья преступники, что они шляются по тюрьмам, она бы распялась за сынов, она бы изрекла кровью души: «А наша работа — не каторга? А наша жизнь — не тюрьма?»

Мать тоже была совсем неграмотная, путала святых и праведников, но твердо знала: не от добра люди идут на каторгу.

Внучка Прихненко-Подгурская, которая живет сейчас в Фастове, вспоминает:

«Дед наш надорвался на верфи и после продолжительной болезни умер. Осталась Елена Федоровна с пятью детьми, самому старшему, моему отцу Василию Васильевичу, едва исполнилось тогда четырнадцать лет, остальные — мал мала меньше.

Семья жила в постоянной нужде. После отца только и остался, что старый домик, покрытый дранкой (построенный еще прадедом Алексеем), и клочок земли.

О беспросветной нужде можно судить хотя бы по тому, что в большой комнате пришлось сорвать с пола доски и продать их; потом так и не собралась наша семья настелить новые. После смерти мужа Елена Федоровна тяжело заболела, от нервного потрясения у нее отняло ноги, и она долгое время не могла подняться с постели...»

Травами, натиранием — а в целебных таинствах трав Елена Федоровна хорошо разбиралась — мать сама себя немного подлечила. И жила после этого на кухне. Там стояла ее старая железная кровать, там она кухарничала и спала и всегда ставила возле себя на ночь баночку с мазями — не хотела, чтоб дети видели, как ночью ей судорога сводит ноги и как приходится по утрам расправлять поясницу. Когда мать, приготовив завтрак, тихо заходила в комнату, где сыновья спали последним, самым сладким утренним сном, когда будила их, насмешливо ворча: «Ишь, спят, басурманы, будто маком их посыпали!» — ее веселые насмешки, ее хорошее настроение ребята воспринимали как должное. И никто из них не догадывался, что перед этим мать хваталась за стены, чтобы встать на ноги.

При детях Елена Федоровна не позволяла себе стонать.

Такой и осталась она в памяти сыновей — ворчливая, добрая, в вечных трудах и заботах. И что удивительно: за стиркой, за кухней, за бесконечными хлопотами она успевала примечать все, что творилось в жизни вокруг нее, и на все по-женски остро откликнуться — словцом, смехом, едкой иронией. Смеялась она над собой, над сыновьями, над своей нищетой и этим, часто горьким смехом отбивалась от вечной нужды. «Ничего! — говорила Елена Федоровна. — Не умерли в пеленках, не умрем и в дерюжке!»

Спустя много лет Иван вспоминал о ней:

«Небольшого роста, уже в летах, но бодрая и подвижная женщина. Серые глаза ее глядели спокойно и твердо. Все лицо ее, порезанное тонкими морщинками, выдавало в ней твердый характер, закаленный в нужде и лишениях».

С платком на плечах, босая, Елена Федоровна кинулась к сыновьям. Иван преградил ей дорогу, с досадой сказал: «Да вы бы, мама, на улицу не выходили, холодно». Он всегда говорил глуховато; с детства осел у него голос от простуды, а сейчас, после такой тяжкой морозной дороги, когда в груди у него гудело, словно в заиндевелой кадке, Иван охрип совершенно.

Закрыв мать от холода, все вместе через сени прошли на кухню.

— А вы, мама,— сказал Иван, как только они оказались в темной комнатке матери с одним окном на Ингул,— а вы, вижу, стали еще больше прихрамывать.

Сказал и умолк, с горечью почувствовал: кто же во всем виноват? Его поразило, что кругом витал дух не жилья, а скорее казармы; плита холодная, словно лед, давно, видно, не топилась;

кто знает, готовила ли она себе что-нибудь поесть? Наверное, живет, как и раньше: по целым дням на заработках, моет полы, штопает, кухарничает, у людей и кормится, а дома только ночует... Это скитание по найму, эта бедность, уготованная им словно самой судьбой, отравляли жизнь и матери и им, однако Иван с болью подумал: ничем, дорогая мама, мы тебе не поможем. Такая у нас «планида», как говорил дед Федор. У политических, бежавших из ссылки, две дороги: либо нелегальное существование — домашнее или бурлацкое, либо на каторгу.

...А ведь могло все сложиться совсем по-другому. Еще немного терпения — и законная свобода: возвращайтесь, братья-арестантики, как говорил карел, на рабочие места. У Михаила иного плана и не было. Он так рвался на Французский завод, так тосковал по прежней работе, по своим товарищам, что можно было подумать: рвется в рай, а не в котельный цех. Лирик по натуре, сочиняющий для души длинные, корявые, трогательные стихи, он как-то неожиданно привязался к профессии котельщика, «глухаря». Это была одна из самых тяжелых профессий на судостроительной верфи: вдвоем или поодиночке мастеровые гремели молотами в огромных паровых котлах, оглушая все и всех громоподобным чугунным звоном и гулом. Через три-четыре года котельщик почти полностью терял слух, становился, как говорят, «глухарем». Наверное, именно потому, зная зловещую цену своему труду, котельщики были самыми сильными и самыми сплоченными пролетариями Николаева. Объявляя забастовку, они до конца стояли на своем и почти всегда добивались победы: знали, штрейкбрехеров не будет, не много найдется охотников лезть в котел, чтоб навсегда изувечить себя. Братья Петровы слыли людьми мастеровыми. Иван — слесарь по металлу, Шура — токарь, маляр. Если бы только они захотели, развернулись бы — и имели бы в доме и хлеб, и соль, и какие-то деньги. Пусть хоть один день мать от наймов отдохнула бы. Но нет... Эта таинственная типография! Восемь пудов шрифта лежали где-то, зарытые на окраине города, и, словно магнитом, притягивали к себе. Они заставили братьев бежать с Кеми и круто перевернули их жизнь: здоровые, истосковавшиеся по работе парни должны были притаиться дома, оглядеться, присмотреться, что творится в городе, а там уже — на связь, на поиски техники...

Поохав и потоптавшись возле сыновей, Елена Федоровна стащила с них холодные заскорузлые пальто, растерла Шуре щеки и уши, подумала: глупенький, в фуражечке вырвался — и в такую даль! Поворчала на него: «Ты доиграешься! Простудишься смолоду, будешь мучиться потом, как твоя мать».

Она хотела засветить лампу, но Иван осторожно остановил ее: не надо, в потемках посидим. И сразу притихла мать, с тревогой подумала: видно, и у ее сынов начинается такая же жизнь, как у чигиринского Ивана. Жизнь по чужим углам, по укрытиям.

Уставшие и промерзшие до костей, посидели немного на кухне, поговорили в темноте. Братьям так хотелось подробнее узнать

у матери: и как оиа бедствовала в одииочку, и где сейчас сестра Аия, и что слышио от старшего брата Василия, и что творится в Николаеве? Но Шура, видно, очень крепко простыл, так сильно его зиобило, что Иваи сказал: иадо отдохиуть, согреться после дороги, а завтра уже обо всем и поговорим.

Они вошли в свою комиату, все еще не веря, что накоиец дома, что Кемь, стражники, иочлег в степи — все это уже позади.

Мать осталась одна. Сон как рукой сияло. Ватиником укутала ноги и долго сидела, опершись о спинку кровати. Задумалась. Перед глазами стояли сыновья — такие, каких она видела иа пороге,— три высокие молчаливые фигуры. Стоять бы с иими еще и четвертому, Василию, но судьба у иего иная. Где-то колесит далеко с театром. И снова удивленно мать спросила себя, как уже не раз до этого спрашивала: в кого оии пошли? Дети такого грешника, каким был ее муж,— и вдруг столько ума и талаита у каждого! Ее Алексеевич был наделен одним талаитом: до хруста костей работал и пил, ие обходил и греховодных мужских услад. Он умер, так и ие иаучившись читать по складам. А дети, словио наперекор отцу и самой судьбе, круто и упрямо свернули иа другую дорогу. Хоть бей их, хоть не давай им сапог, все равно выскользиут из твоих рук и босиком убегут за детьми в приходскую школу. Там оии по чужим киигам и иаучились грамоте, закоичили по два-три класса. А дальше — мать и сама ие могла объяснить себе: как, почему все это случилось — вознесеиие ее детей? Может, по-своему мать и поиимала, что во всей рабочей Слободке произошли какие-то иовые, грозные перемеиы, что дух буитарства и непокориости миогим открыл глухие сердца и иевидящие очи, и что-то иовое и грозиое, прокатившееся иад Слободкой, вихрем подхватило миогих, особеиио горячую и честную заводскую молодежь, и кинуло в пучину человеческой борьбы — столько людей за правду пошло иа муки и смерть.

У Петровых все иачалось с Василия, со старшего сыиа. Началось будто с обыкиовеииого: прорезался у париия голос, дискант. Определили Василия в церковиый хор, а когда подрос и пошел на завод — взяли в «просвитский»[1] кружок. И кто бы мог подумать (пускай легонько икнет человек!), что выйдет из иего иастоящий певец, таицор, актер, который с театральиой труппой будет выступать в рабочих бараках Николаева, а потом — во всех городах и местечках южиой Украииы.

А вскоре «плаиида» указала перстом и на Шурика. Этот быстрый, остроглазый мальчишка шатался везде, дрался, прииосил домой сиияки и ободраииые локти, и мать уже думала — хлебнет она с иим горя. Ее успокаивало только одно: любил Шура петь,

[1] «Просвита»— либеральные культурно-просветительные организации на Украине, которые занимались распространением науки, литературы, музыки средн широких масс народа.

научился у Василия играть на гармошке и гитаре, очень хорошо выщелкивал на глиняной дудочке, но все давалось ему легко и просто, не трогало его сердце. Шура, как и прежде, дрался, дружил с малолетними босяками (о них и писал «Южанин» как о юных живодерах), и уличная беззаботная жизнь его продолжалась до того дня, пока в порту, куда носил обеды Ивану, не встретился с инвалидом-маляром. Кто знает, чем приглянулся он этому человеку? Может, острыми глазами, может, своей общительностью, товарищеской удачей или дерзким слобожанским видом: нос облезлый, фуражка козырьком назад, а из-под нее выбивался и торчал во все стороны выцветший золотистый чуб. Словом, как бы там ни было, а маляр-инвалид приковылял на костыле в Слободку и сказал Елене Федоровне:

— Слышьте, отдайте вашего сына мне в обучение. Сообразительный хлопец. Не бойтесь, дорого не возьму. Если выстираете когда сорочку да испечете на праздник гречневик — и за то спасибо скажу. Я — одинокий, в Порт-Артуре, как видите, ногу мне подкоротило, живу сейчас в будке возле причала и занимаюсь вот каким ремеслом,— мужчина открыл чемоданчик и показал матери кисточку и набор акварельных красок.

С того дня и стал бегать Шурик к бывшему матросу в торговый порт, вскоре научился малярничать, а между делом перенял у него и длинную, печальную песню, которая начиналась словами: «С далеких твердынь Порт-Артура, с кровавых маньчжурских полей», а заканчивалась суровым напевом:

Ни слова солдат не промолвил,
Лишь к небу он поднял глаза.
Была в них великая клятва,
А в будущем — месть и гроза.

И первое, что сделал Шурик дома,— разрисовал матери стены на кухне. Только не простыми цветами, а тревожным разгоревшимся пламенем, из которого вырастали красные лепестки, похожие на буйные гривы, а может, на морской прибой, на что-то такое порт-артуровское.

Стали приглашать его и соседи, и он разрисовывал им то ставни, то сундуки, брался за работу и посложнее, на лубках и картоне пытался рисовать портреты. Шура, конечно, даже и не представлял себе, что пройдет несколько лет — и малярная школа сослужит ему добрую службу в подполье: заглавие большевистской газеты «Борьба» будет выгравировано его руками. Но пока что он Шура-гитарист, слободской маляр. По вечерам зажигал лампу и отгораживался планшетом от Михаила и Ивана (те допоздна сидели над книгами, которые им давал Чигрин или Ровнер), рисовал кисточкой на картоне, сердился, тайком вздыхал и спрашивал себя: неужели он так никогда и не нарисует настоящей картины?..

Мать сидела на кухне, а перед ее глазами, все еще неподвижно, стояли три фигуры: Шура, Михаил, Иван. Три сына, и все та-

кие разные, и самый беспокойный для нее Иван. Среди братьев именно он, ее третий сын, как-то сразу выделился и стал словно за хозяина дома. С детства он был крепкий здоровьем, ширококостный, выносливый в работе и в горе, рано пошел на завод, и рано легла ему на лоб резкая, безжалостная тень задумчивости. Своей прямотой, резкостью и, возможно, внешней сухостью он причинял иногда огорчения и матери. Она с горечью думала: «Что иссушает ему душу? Что мучает и сердит? Кажется, и детства не было — так рано обездолил он свое сердце». Только потом, много позже, поняла Елена Федоровна: музыку, песни, гулянье — все это он сознательно отбросил и до конца отдался одной страсти — ненависти. Он люто возненавидел обман, грабеж, глумление над рабочим человеком. Там, где проходили массовки и митинги, где схватывались заклятые враги, мастеровые и предприниматели, там всегда был Иван. У него сразу загорались глаза, две резкие складочки разрезали переносье, а в суровом взгляде появлялся грозный вопрос: «До каких пор? Сколько можно терпеть?» Предчувствовала мать, что уготована ему дорога такая же трудная и дальняя, как и чигиринскому Ивану: из Бухтеевки [1] по сибирскому тракту.

Сидела в полутьме и тревожилась Елена Федоровна о судьбе сыновей, а за стеной в кровати ворочался Иван, озабоченный своими мыслями.

Когда братья вошли в большую комнату и Шура на мгновение зажег спичку, все удивленно переглянулись: три кровати стояли аккуратно застеленные, покрывала свежие, белые подушки взбиты и уложены, как всегда, острыми рожками вверх. Казалось, мать постелила им вечером, будто знала — вернутся сыновья сегодняшней ночью. Братья быстро разделись, и каждый с какой-то детской радостью юркнул под чистое мягкое покрывало. Домашняя постель! После ветров и морозов в тамбурах, после скитаний по вокзалам — такая благодать: дома, в чистой постели! Накрывшись с головой, Михаил и Шура немного покашляли, поворочались в кровати и уснули. Иван лежал с открытыми глазами, в комнате понемногу рассветало, а его все одолевали мысли: как быть дальше?

Положение братьев было очень шаткое. Убежать из заключения и вернуться домой,— казалось бы, это противоречило здравому смыслу. Но кое-что было и в их пользу. Главное — та неразбериха, хаос, сумятица, которые захлестнули весь город, когда их схватила полиция. Арестовали братьев Петровых в октябре 1906 года. На заводах прошли перед этим последние забастовки, в Николаеве было объявлено военное положение,— волна повальных обысков, хватали всех подозрительных и нередко случайных

---

[1] Бухтеевка — тюрьма в то время в Николаеве.

людей; без суда и следствия, просто по списку большие группы политических высылали из города.

В такой суете и неразберихе полиция и накрыла их, трех братьев Петровых, на тайной сходке. Сходка состоялась на конспиративной квартире, где Петровых знали только по кличкам,— их, младшую смену, едва начинали вводить в подпольное ядро. Когда дом окружили «крючки», Иван успел подозвать братьев и сказать им: полный молчок! Ребята поняли — на следствии не называть настоящую фамилию, ссылаться на подставные имена и адреса. Конечно, их легко можно было раскрыть при серьезном расследовании дела, но все кордегардии в Николаеве, Бухтеевская тюрьма, полицейские участки до отказа были забиты арестованными, поэтому полицмейстер Иванов дал распоряжение: «Немедленно разгрузить!» — и началась массовая высылка. Очевидно, охранку не особенно интересовали три заводских парня, таких бунтарей было тысячи, а на столах у жандармов лежали дела, как им казалось тогда, куда посерьезнее: арестована вся руководящая верхушка эсеров вместе со складом оружия и литературы, раскрыта группа анархистов «Черный ворон», под следствием группа «бомбистов», которая готовила покушение на градоначальника. Братьев Петровых спешно присоединили к очередному этапу и тут же отправили в Олонецкую губернию с простым расчетом: виновные или невиновные, пускай проветрятся. Головы не помешает остудить.

Значит, если департамент полиции объявит розыск политических, бежавших с Кеми, то в списках фамилия Петровых не должна вроде бы значиться...

Все это так, думал Иван. Но есть еще одно обстоятельство: сколько же им придется искать связь со старым подпольем, связь с людьми, которые спрятали технику, ведь они, как известно, неплохие конспираторы. Месяц или два? И все это время прятаться в своем доме? На Слободке народ особенный. Здесь полицию, мордоворотов-жандармов ненавидят всей душой, ненавидят все, от дворовых собак и до мальчишек с самопалами. На Слободке закон: своего, заводского, никогда не подведут и ни за что не выдадут. Но есть на Слободке и чужой, довольно цепкий и хищный пророст. Это хозяйчик кирпичного завода Криж, его каменный домина торчит среди серых халуп; есть семья весовщика, есть кое-кто из черносотенцев. От людей не спрячешься, и затворническая жизнь братьев Петровых может сразу вызвать кое у кого подозрение. Как же им быть? Может, лучше, думал Иван, пока он будет искать подступы к технике, Шуру и Михаила отправить куда-нибудь подальше от дома на заработки, в Херсон или в Одессу?

Рассветало. Согревшись под теплым одеялом, Иван засыпал. Одна мысль все яснее и тревожнее овладевала им: наверное, не так просто и скоро получится с техникой, как это казалось ему в дороге...

Приблизительно в те же дни произошли два события, которые ворвались бурей в беспокойную жизнь Николаевского охранного отделения.

В полицейское управление пришел немолодой мужчина, лет сорока семи, назвавшийся Фомой Кривулей, агентом губернской охранки; он начал требовать, чтобы были немедленно проведены в Николаеве аресты по указанным адресам. Полицмейстер Иванов, толстый и с виду грозный мужчина, в служебных делах был чрезвычайно осторожен и нетороплив. Сдержанно выслушав агента, он сказал, что рад служить, предложил ему папироску и тут же отправил на Глазенаповскую к ротмистру Фокину, пусть, мол, сначала разбирается охранка в своих делах и предписывает, что делать ему, Иванову.

Ротмистр Фокин принял Кривулю в своем кабинете.

То, что херсонская агентура орудует в Николаеве, Фокина нисколько не удивило. Не только губернская, но и соседняя, одесская охранка работала здесь, и кто знает, за кем она больше вела наблюдение, за политическими преступниками или за деятельностью его, фокинской, агентурной службы. Конфликты и стычки на этой почве бесили и бросали в бешенство честолюбивого и вспыльчивого Фокина.

В общем, Фокин принял губернского агента, на что тот и рассчитывал, обращаясь непосредственно не к нему, а по инстанции. Когда Кривуля зашел в кабинет, ротмистр окинул его взглядом и по привычке, моментально сложил словесный портрет: «Брюнет, рост средний, лицо продолговатое, небольшие темные усы. Немного сутулится. Руки длинные и узкие, держит их по швам. Одет в сюртук, панталоны, в серую поношенную шляпу, туфли типа «бульдог».

Словом, перед Фокиным стоял или один из выходцев разорившихся дворян, или же чиновник среднего достатка. Люди такого сорта в это смутное и тревожное время бросались в крайности — то в революционный бунт, то в биржевую спекуляцию, то в черносотенство. Фокину не нравилась некоторая наигранность в жестах и поведении Кривули: он легко и свободно вошел, непринужденно поздоровался, в глазах светилась страсть, энергия, желание немедленно действовать. Жандармский офицер имел особый нюх на пройдох и проходимцев. Деловито-энергичный вид Кривули его насторожил. Но то, что с первых слов сообщил Кривуля, заинтересовало Фокина сразу, и ротмистр пригласил его сесть.

Кривуля сказал, что завтра в одиннадцать часов вечера в трактире на Херсонской улице собираются на первую сходку политически неблагонадежные лица, а именно социал-демократы, которые были высланы из Николаева и сейчас легально или тайно возвратились в город. В трактире будет шесть-семь человек, то есть ядро организации, кое-кто из них близко стоит к технике, к бывшей подпольной типографии. Речь, по-видимому, пойдет

о том, чтобы достать технику из потайного места и запустить в дело.

Фокин слушал внимательно: эта бестия била в точку, безошибочно, била по самому больному месту. На столе у жандарма лежал очередной методически ровный, но убийственный запрос из Петербурга: где типография означенного комитета? (А между строками читалось: господин Трепов ждал большего, подписывая приказ о назначении вас начальником охранного отделения в Николаеве.) Фокин не мог спокойно слышать слова: «техника», «большевистская типография» — от них его кидало в тупую бессильную дрожь.

Уже заинтригованно он окинул взглядом узкоплечую, немного сутулую фигуру Кривули. Этот тип, безусловно, что-то знал. Хотя бы о трактире. Старая одесская выдра Левдиков[1] давно предупреждал Фокина, что трактир на Херсонской — излюбленное место партийных сходок. Когда Кривуля назвал имя Ивана Грабова, Фокин, сам того не замечая, резко вскинул брови. Грабов! Второй после Чигрина партийный лидер в Николаеве. Приметы — хромой. Агентурная кличка по наблюдению — Убогий. Трижды арестовывался и высылался. Ротмистр мог бы тут же вытащить из ящика карточку «Сведения о преступной деятельности», но краткую запись о Грабове он знал почти на память:

> *«Грабов Иван Данилович, николаевский мещанин, слесарь, 23 года, православный... Вошел в Николаевский комитет Российской социал-демократической рабочей партии, где играет видную роль, называя себя убежденным социал-демократом. Семейные и родственные связи — мать Прасковья — 49 лет, сестры: Татьяна — 20 лет, Мария — 18 лет, Анна — 10 лет, братья: Григорий — 15 лет, Василий — 12 лет».*

Большевистская семейка. Четверо побывали уже под следствием. А в халупе, где они жили, сидя буквально на голове друг у друга, были найдены гектограф, воззвания, брошюры запрещенного характера.

Как раз на днях Фокин получил несколько сообщений от тайной агентуры: Грабов снова появился в Николаеве на Дальней Слободке, вдвоем с Чигриным они организовывают боевую дружину и собираются выследить и уничтожить тех провокаторов, которые провалили комитет в тысяча девятьсот шестом году.

К подобного рода донесениям Фокин относился несколько скептически. Он знал: филерам и агентам, которых посылают на ночное дежурство в рабочие кварталы, всегда чудятся ножи и веревки; призраком террора и расправ они запугивают себя и всю агентуру. Психология дворовых шептунов, которые больше всего дрожат за свою шкуру.

---

[1] Левдиков — начальник Одесского охранного отделения.

Если и заинтересовал ротмистра этот тип, глядящий на него так лихорадочно и преданно, то только словами «техника» и «сходка в трактире». Фокин был игрок, игрок азартный, нередко любивший сыграть и ва-банк.

— Хорошо,— согласился он. — Готов поверить вам и помочь. Но все карты на стол: ваш план и ваши условия.

У Кривули план был весьма незатейливый. Правда, иногда именно прямой и нехитрый ход и приносит выигрыш. По словам Кривули выходило: кое-что он уже разузнал о технике: типография находится на окраине города, в Портовом районе; она зарыта в сарае одного кочегара-сезонника. Среди тех, которые завтра соберутся в трактире, есть у Кривули свой человек, он и введет его в кружок социал-демократов под видом портового рабочего, шлюпочника, который берется перевезти технику в город. Словом, для застольной беседы в трактире и других расходов нужна определенная сумма — где-то около сотни...

Фокин так и знал, что разговор закончится деньгами, только не думал, что этот субъект истребует сотню. Еще раз посмотрел на крепкие, но покореженные ботинки, на поношенный сюртук и подумал: «Мелкий шулер? Проходимец? Но — сарай... Портовый район... Шлюпка для переправки техники... Сезонный рабочий-кочегар... Неужели эта, как говорят, весьма далекая от интеллекта голова могла придумать такие точные детали? Тем более кое-что совпадало с тем, о чем уже сообщала и собственная агентура...»

Фокин забарабанил пальцами по столу, прикидывая, сколько осталось у него еще в запасе времени, и сказал:

— Приходите завтра, во второй половине дня. Мне надо обдумать. — И тут же категорически предупредил: ни на какую сотню пускай господин Кривуля не рассчитывает. У него, у ротмистра Фокина, деньги казенные, и за каждый полтинник приходится отчитываться перед департаментом полиции.

Сошлись на сорока рублях.

Кривуля ушел, оставив на паркетном полу мокрые следы от подошв.

Разговор этот происходил поздно вечером. Фокин сразу же запросил телеграфом Херсонское охранное отделение, что им известно о Фоме Кривуле, и лишний раз убедился: пробить чиновничью тупость и неповоротливость абсолютно невозможно. Если Российская империя из-за чего-нибудь и погибнет, то только (это было твердое убеждение Фокина) из-за пропойной чиновничьей морды, которая на все смотрит сонными глазами. Ответа он не получил ни ночью, ни утром, не пришла шифровка и к обеду, а тут появился Фома Кривуля, во взгляде — нетерпение и азарт: деньги, деньги, иначе дело может накрыться! И Фокин, махнув на все рукой (пан или пропал!), отвалил Кривуле, правда, не сорок, а тридцать пять рублей новенькими ассигнациями.

Это был, наверное, самый постыдный проигрыш Фокина. Ротмистр потом долго не мог произносить имя Кривули без брезгливости и омерзения.

Худой, длинноногий субъект и в самом деле понесся в трактир на Херсонскую (Фокин послал проследить двух своих филеров), где его уже ожидало теплое и веселое общество. Но когда филеры посмотрели на те плотоядные захмелевшие морды в углу за столом, то им ничего не осталось делать, как только присвистнуть: плакали фокинские денежки! Партийной сходкой здесь и не пахло, это сидела тесная компания скорее одесских контрабандистов. Дружки встретили Кривулю с радостным ревом и гулом, сразу же заказали водки, пропили вскоре фокинские, а потом и свои или, может, где-то таким же способом добытые деньги. Кривуля, выглядевший в кабинете жандарма сутулым, сгорбленным, в трактире даже как будто раздался в плечах и был настоящим застольным фатом — без конца пил, смеялся, уминал за обе щеки еду и смачно рассказывал о том, как обвел вокруг пальца матерого жандармского волка.

Прожорливая компания одним махом уничтожила все, что было на столе, и, едва держась на ногах, вывалилась на улицу. Наняли «ваньку», потом еще одну пролетку и со свистом и смехом покатились в темноту по ночной улице, оставив на пороге трактира возле фонаря двух филеров. Те так и стояли с раскрытыми ртами, не осмеливаясь гнаться за бандитами, ибо заметили у них под плащами «шпалеры»,— как видно, братия готова была пулями проложить себе дорогу, если бы кто-нибудь попытался ее остановить.

Только на третий день, утром, пришла шифрованная телеграмма из Херсона. В ней сообщалось, что Фома Кривуля известен охранному отделению как авантюрист-самозванец.

Фокин старался скрыть, сдержать в себе крайнее раздражение, но не мог. Он ходил из кабинета в кабинет, готовый на ком угодно сорвать злость. При его появлении все сидевшие за столами сразу замолкали и склонялись над бумагами. Ротмистр только изредка ловил чей-нибудь быстрый, трусливый взгляд, брошенный мельком куда-то в сторону. Нижние чины, унтер-офицеры тайком, затравленно переглядывались за его спиной, они, конечно, злорадствовали, и Фокин, который душил их невероятной холодностью и беспощадной требовательностью, который знал их трусливое нутро и ненависть к себе, платил им тем же, а сейчас просто не мог спокойно смотреть в эти наклоненные, чисто выбритые затылки. Низкое, жалкое притворство! Глаза смотрят как будто на бумагу, а жилы (посмотрите на их бритые затылки) вздулись от сдерживаемого смеха и напряжения. Злорадство лакеев!

Ротмистру казалось, что и сюда, в охранку, просочился дух толпы, который следует немедленно вышибить, и он поклялся это сделать самым решительным образом.

Кривуля, авантюрист Кривуля!.. Его мелкое шулерство не выходило из головы. Но если афера Кривули уязвила только самолюбие жандармского ротмистра, то следующий удар оказался

куда ощутимее: под угрозу была поставлена вся тайная агентура охранки.

В чайном трактире набрался до белой горячки еще один подлец, но уже настоящий агент охранки Адамский, под кличкой Сыч. Безликий и бесхребетный, он всегда делал то, что ему говорили, а тут вдруг взорвался. Наверное, от винных паров (и не без влияния общих брожений и колебаний в обществе) в нем взбунтовалась рыбья кровь. Как рассказывали свидетели, Адамский дней пять подряд пил, а затем ввалился в трактир, едва держась на ногах, глаза его бессмысленно бегали, от вина на губах — рыжая пена. Здесь он поддал себе еще «пару», разошелся и пьяным языком понес такое... Ни официанты, ни закадычные дружки не могли его остановить. Начал он с того, что сейчас же пойдет и плюнет в физиономию своему благодетелю (то есть ротмистру Фокину). Что, дескать, Фокин и не кто иной — расхититель государственной казны, держит, мол, своих людей в черном теле, а сам завел какие-то темные шашни с номерными из Театральной гостиницы, где свил себе теплое гнездышко и куда приходят молодые пташки из театра Шеффера (Фокин заскрипел зубами: откуда это быдло разнюхало про его интимные связи!). А дальше понес о том, что он, Адамский, не хочет продавать свою шкуру за медный грош, пойдет на завод (наверное, имел в виду Французский), выдаст Грабову или еще кому-нибудь из боевиков всех провокаторов, пусть, мол, этих доносчиков и трусов растерзают сами же рабочие. Намекал он и на технику, знает, мол, кого за нею послали следить...

Такого подлого и предательского удара Фокин не ожидал.

Он еще раз убедился: расхлябанность проникает все глубже и глубже — в армию, в тайные службы, в государственный аппарат — и только решительные, безотлагательные меры способны спасти положение...

На другой день немного протрезвевший Адамский с ужасом вспоминал о своем пьяном бунте в трактире (бунт на коленях, как отметил Фокин); он испугался, у него не хватило сил с покаянием явиться на глаза Фокину, и он передал, что болен и ничего не помнит о вчерашнем, что то была горячка, полное отключение разума и что он раскаивается во всем... «Ну-с, нет! — сказал Фокин. — Такими штучками у нас не играют; в отбой!»

Фокин кинулся спасать свое детище — агентурную сеть, которую создавал годами. В тяжелом раздумье он просидел вечер, набросал план экстренных мер, а за предательство Адамского твердо решил: «Убрать его». Произнес он эти слова хладнокровно, словно приказал дежурному унтер-офицеру: убрать чернильницу.

В тот же вечер в ресторане Зорина, в одной из изолированных кабин, Фокин встретился с мещанином Манько. Если бы речь шла о личных отношениях, ротмистр не подпустил бы к себе эту особу и на орудийный выстрел: громила, психопатический тип, после одного из домашних скандалов поджег дом, в котором жила его жена с детьми; семья чудом спаслась, а Манько отбыл

каторгу, вернулся в Николаев, стал патриотом, членом «Союза русского народа», пел «Боже, царя храни» и громил еврейские лавки. Но в жандармской работе и такими людишками приходилось не брезговать.

Фокин сидел за столиком, сервированным на две персоны. В назначенный час пришел Манько. Тяжеловесный, черноволосый, плечи и грудь как у грузчика. Смотрит исподлобья, глаза неспокойные, бегают — куда бы спрятаться от света, от чистоты и роскоши, от блеска погон на плечах жандармского ротмистра.

Остановившись возле порога, низко поклонился. В руках — шапка.

— Манько,— спросил Фокин, не приглашая его подойти к столу,— вы знаете Адамского?

— Да,— хрипловато произнес тот, в горле у него пересохло, видно, побаивался жандарма.

— Вы слышали,— сухо и начальственно продолжал Фокин,— что позволил себе сказать Адамский в трактире?

— Слышал,— ответил Манько, и глаза его испуганно забегали.— Сволочь он,— прошептал в кулак Манько, но так, чтобы его возмущение докатилось и до ушей ротмистра.

— Вы знаете, что положено по нашим неписаным законам за такое предательство?

— Знаю! — тяжело вздохнул Манько; резким жестом он сжал рукой собственное горло и с хищническим наслаждением показал, что надо сделать: вот так! — и еще крепче сжал клещеватые пальцы.

Фокин неприязненно поморщился: ему была противна мясоубойная работа, но он пересилил в себе чувство брезгливости и достал новенькое портмоне.

— Вот что, голубчик,— Фокин и сам удивился, как хватило у него выдержки назвать Манько «голубчиком»,— возьмите красненькую,— протянул десятирублевую ассигнацию.— Утешьте свою грешную утробу... Знаю, знаю вашу любовь к зеленому змию. Только условие: чтоб завтра или не позднее послезавтра я больше не слышал об Адамском. Вы поняли?

С червонцем в руке Манько посмотрел на жандарма тяжелыми, налитыми кровью глазами. Он был готов на все и качнул головой:

— Слушаю, господин ротмистр! Сполню, что надо...

...Адамский жил в районе, трудном для агентурной работы,— Экипажеская улица, подступы к Дальней Слободке, к большевистским гнездам: дом Грабова, цепочка к Филиппу Андрееву, к братьям Петровым, о которых ему удалось уже кое-что разузнать. Еще немного времени и терпения — и Адамский вытащил бы бредень с первым уловом. Но тот пьяный вечер в трактире!.. Адамский кусал себе локти и теперь сам скрывался на тех засекреченных агентурных квартирах, откуда вел наблюдение за социал-демократами.

Разбитый, готовый ползать на коленях и просить у Фокина прощения, Адамский притаился в одном из своих укрытий вблизи Морского госпиталя. Поздно вечером к нему кто-то постучался в окошко. «Пришли! Убьют на месте!»— обожгла страшная мысль. Но потом — вздох облегчения. Манько, давний приятель Адамского, в прихожей, без света, обнял его, стал успокаивать, рассказывая, как сегодня утром он был у Фокина и умолял жандарма простить Адамского: ну, выпил человек, потерял рассудок от вина, незнамо что спьяну наговорил,— с кем такое не бывает! Долго упирался ротмистр, грозил «не ждите пощады», а потом все же перекипел, смягчился и, махнув рукой, сказал: «Ну хорошо, в последний раз! Прощаю! Только ради вас, Манько!»

Словом, Манько немного успокоил Адамского, вытащил его из квартиры, радостно предложил:

— Айда к Марфе, на Экипажескую, там хоть отведем душу!

Холодная ранняя весна. Ночь. По воде, по грязи бредут они вдвоем проходными дворами, и такой предсмертный страх, такой ужас охватил Адамского, что он слепо шел в темноте и с тупым безразличием повторял название Марфиной пивной: «Зайди — не пожалеешь!», «Зайди — не пожалеешь!», «Зайди...»

Манько вышагивал сзади, как конь, тяжело и горячо дышал Адамскому в затылок.

«Зайди — не пожалеешь!»

Вдруг Адамский почувствовал, как что-то грубое и холодное коснулось его горла. Он еще успел потрогать пальцами: веревка! Веревка на шее! «Манько!.. Не надо!.. Пожалей!» Хриплый крик вырвался из груди и замер: в глазах блеснула молния, затем наступил мрак, что-то опрокинуло его навзничь, перевернуло и ткнуло лицом в грязную лужу...

Утром на Экипажеской, в одном из дворов, полиция нашла труп Адамского. Вызвали городовых, Иванова, жандармов — начались обыски во всех ближайших рабочих кварталах.

Фокин попросил, чтобы его соединили с редактором «Николаевской газеты». Когда в трубке послышалось неуверенное «слушаю», ротмистр сухо и четко произнес:

— Говорит начальник охранного отделения ротмистр Фокин.

Слово «Фокин» подействовало на редактора, по-видимому, как электрический ток. Молчание, глухое потрескивание в трубке и наконец мягкий торопливый голос:

— Да, да, я вас слушаю, господин ротмистр!

— Вы слышали об убийстве на Слободке?

— Ужасно, ужасно! Мне только что рассказал репортер Нарцисов, он побывал там и сейчас пишет...

Фокин грубо оборвал этот мягкий бархатный голос, готовый рассыпать слова и каждое слово будто бы аккуратненько заворачивать в вату. Тоном человека официального, обремененного государственными делами, ротмистр бросил:

— Что там напишут ваши репортеры, ие знаю, только я прошу,— слово «прошу» Фокин выделил достаточио четкой интонацией,— я прошу подчеркиуть в газете: это ие простое убийство, это политический акт. Возвратилась группа преступииков, рецидивистов из числа социал-демократов, они создали так изываемую боевую дружииу н сейчас убивают честиых, предаиных нам людей. Так вот, подчеркиите: Адамский был активиым членом «Союза русского народа». Расшевелите, черт возьми, этот союз, мы его создавали ие для того, чтобы он устраивал молебны и благотворительные вечера с таицами!

— Слушаюсь! — молниеиосио ответил редактор «Николаевской газеты», словио ои и в самом деле был виновеи в том, что «чериая сотня» мало делает погромов.

— Наконец,— твердо произнес Фокин,— дайте несколько разгромиых статей, направлеииых против иашей Вандеи, против так называемой рабочей Слободки. Направьте общественную мысль: ведь это ие просто гиездо баидитизма, о иет! Это злокачественная опухоль. Мы не должны повторить ошибок пятого года. Пока мы либеральничали и уговаривали взбуитовавшихся рабочих, подстрекаемая смутьянами Слободка не спала — она точила иожи н вооружалась. Целые склады литературы, оружия, своя типография, иакоиец — своя оргаиизованиая армия. И где — у нас под боком! Если бы не решительные меры Столыпииа, а у нас здесь военного губернатора н моей охранки, мы бы с вами, господии редактор, болтались бы иа одной виселице. Вот о чем нам ие следует забывать, если мы хотим остаться в живых, спасти себя и страну. Об Адамском иапишите в сегодняшнем номере и не жалейте красок, расскажите, как его растерзали рабочие иа Слободке... Вам ясно?

НА СВЯЗЬ

Март, 1908 год. Сводка агентурных донесений: «Вернулся из ссылки Иван Чигрин... Организовывает боевую дружину и ведет охоту за всеми подозрительными и за всеми провокаторами».

Сведения подал «Часовой».
(Из архива охранки).

Иван проснулся рано. Вскочил с кровати, посмотрел в окио: на дворе было еще темио, едва забрезжил рассвет. Торопливо нащупал рукой сапоги. В душе какая-то иеясная тревога: не проспал, ие опоздал? Быстро оделся и только тогда вспомнил — не иадо иикуда торопиться. Улыбнулся, ясио представив, как Шура вчера нашел в каморке фоиарь, почистил его, иалил керосина, приладил новый фитиль и поставил на стульчике возле своей кровати. Словно бы собирался утром идти иа работу. И у себя и у братьев Иван заметил одну перемену: оии возвратились домой, и словно от слободского воздуха, от самого духа в домашних сте-

нах ожили в них прежние привычки, унаследованные с молоком матери; ожили, отозвались сладкой томительной мукой: хотелось что-нибудь делать, резать, точить, поправлять в доме и во дворе, найти такое занятие, которое дало бы радость рукам и душе, истосковавшимся по настоящей работе.

Как по гудку, Иван просыпался теперь в два-три часа ночи. Подходил к окну, открывал форточку, чтоб подышать свежим воздухом. Вот и сейчас стоял у окна и слушал: капает с крыши. Оттепель. Набухает сырое дерево, и кажется, что в мокром тумане что-то скрипит, оживает, топорщится. С улицы доносились густые, приглушенные голоса, слышалось покашливание, хлюпанье подмерзшей грязи у кого-то под ногами. В темноте, смешанной с туманом и изморосью, плыли желтые луны — окружности огней, — это в первую смену шли рабочие с фонарями, поругивались и курили. Мысленно Иван представил хоженую много раз знакомую улицу; в лужах, в вязкой грязи, с мостиками через ямы и канавы, с дорожками, усыпанными шлаком, с простуженным собачьим лаем, который сопровождает тебя едва ли не до самого завода. А разговоры! Иван физически почувствовал, что он сейчас там, в заводской толчее; толпой идут слободские, обходя бугры и лужи, тянется грязь за ногами, и извечный, бесконечный разговор в дороге: о цехе, о мастерах, о собачьих расценках, о махинациях с аккордными листами...

Ивану даже почудилось, что он услышал голос своего тезки — Вани Кондарева, котельщика с «Наваля», самого лучшего Михайлова друга и напарника. Только вряд ли, чтоб это был Кондарев. Он, кажется, еще не вернулся из ссылки.

Хриплое покашливание, огни, хлюпанье грязи под ногами, голоса — все это откатилось вскоре дальше, в глухие переулки. Торопливо прошли последние группки рабочих, где-то за базаром протарахтела конка, и снова на Слободке воцарилась тишина. Холодный весенний туман еще сильнее окутал землю. Стоять возле окна было прохладно, Иван протянул руку и закрыл форточку.

Елена Федоровна видела: помрачнел Иван. То книгу брал в руки, то вытаскивал ящик с инструментами, чтобы чем-то заняться и скрыть свое раздражение. Он привык ко всему, только не привык бездельничать и прятаться. А тут пришлось не один день с оглядкой, словно он здесь чужой, сидеть дома или молча слоняться по двору. И еще тайком поглядывать на улицу, нет ли там кого. Это почти то же самое, что находиться в тюрьме.

Прекрасно составленный Иваном план начал в первые же дни разваливаться. Почему-то ему казалось: приедут домой — и сразу в подполье. А там быстро на связь, и техника будет в их руках. Но это был не девятьсот пятый и не девятьсот шестой год...

Споткнуться пришлось на первом же шагу.

В тот день, когда они вернулись домой, подремав немного с дороги, ранним утром Иван постучал в окно к Чигрину. Можно понять его нетерпение: почти два года не видел друга. Друга, которого любил всем сердцем, друга детства, вожака, гордого и не

знающего страха, который сказал на собрании, когда принимали Петрова в партию: за Ивана я ручаюсь головой. На Слободке, в партийном кругу, поручиться головой — это больше, чем называться братом...

Дом Чигриных стоял недалеко, на той же 11-й Военной улице за каменным заборчиком. Когда Иван постучал к ним, в сени вышел дед — старый, сухонький, в полотняных штанах и сорочке. Он почесал седую бородку, наклонился, всматриваясь в гостя.

— А-а, это ты, Ваня! Здравствуй, сынок! Вернулся из Сибири?

— Нет, мы, дед, из Олонецкой губернии.

— Одна сатана. Кандалы да мороз.

Иван, наверное, и не узнал бы чигринского отца, так он похудел и состарился, совсем стал дряхлым, но была у старика одна добрая метка — зубы впереди выбиты. Это оставили ему память Христенко и Корецкий, когда вытаскивали сундук с литературой и забирали Ивана.

Дед стоял в сенях босой и расстегнутый, покашливал, ежился от холодного ветерка и не приглашал соседа в хату. Иван понял: что-то у них произошло. Спросил о Ване: где он сейчас?

Старик закашлялся, вытер рукавом глаза и стал рассказывать:

— Наверное, ты ж слышал, что на Слободке приключилось. Убили какого-то Адамского. Убили или зарезали, лях его знает. Только, видать, это был очень золотой человек для нашего батюшки-царя. Потому что жандармы и полицейские весь квартал обшарили, все дворы перетрясли. А потом пришли к нам и спрашивают: где твой Иван? Все приметы, мол, показывают, что он убил Адамского. И свидетели вот подтверждают. А я им и говорю: «Мой сын не мясник. Мой сын революционер. Это вы словно из бойни...»

Дед вдруг поморщился и засмеялся, аж слезинки выступили на его мутноватых глазах. Иван не понял, что так рассмешило деда.

— Да вот! — сказал Чигрин и раскрыл рот. — Третий зуб мне вышибли. Видишь, внизу. За бойню, выходит. А я им и отвечаю: у меня четыре сына и три дочки, и если за каждого будете выбивать по три зуба, то чем я, старик, буду жевать мякиш перед смертью?

Дед снова закашлял и засмеялся, а Иван подумал: «И умрет дед, вот так насмехаясь над этим подлым житьем». Говорят, сколько ему ни доставалось, а он все тот же — все сносил с простодушным упрямством и терпением. Сорок лет проработал на Адмиралтейской верфи вместе с отцом Петровых, имел золотые руки — занимался плотничеством и столяричеством, но дальше подмастерья так и не вышел, выгнали за язвительный язык и какое-то спокойное, неистребимое упрямство.

Иван пожалел, что нигде не разжился махоркой. Хотя бы угостил старика, ведь знал же, что он заядлый курильщик.

— Ты, сынок, к нам пока не приходи,— уже серьезней произнес Чигрин. — Целыми днями у нас гости в хате: урядник и городовой. А то, случается, и ночуют; видать, чтобы нам не скучно было. Ивана поджидают. Вот они сидят на скамье, а я на лежанке. Молчим.

Смотрим друг на друга, как индюки. А потом я спрашиваю: «Скажите, паны хорошие, кто из нас глупее: или вы вместе, или я один? Неужто вы думаете, спрашиваю, что раз я старик, то уже совсем из ума выжил и отдам своего сына вам на растерзание? Да у него, говорю, в каждом дворе друг и товарищ, который умрет за него, а не выдаст вам моего Ивана. А вы, говорю, можете сидеть, скамью не пересидите, да только жаль — напрасно казенное сукно протираете».

На прощанье дед еще раз напомнил:

— Пока не наведывайся к нам. Могут и за тобой изуверы увязаться. Ищи, сынок, что тебе надо, через других...

И дед пошаркал в хату. Иван с грустью и удивлением окинул взглядом его узкую сгорбленную спину, отметил про себя — да, покачнуло старика! Постоял с минуту в раздумье, затем побежал к Грабову. Торопился: людно становилось на улице. Туман начало разгонять, рассветало, грохотали подводы по мерзлым комьям,— видно, подвозили бревна к судостроительной верфи. Просыпался, сновал во дворах люд. На Экипажеской, в тесном, захламленном закутке, Ивана остановила какая-то молодая женщина:

— Вы к Грабову?

Иван удивился. Женщину он видел впервые. Подумал — не иначе как из портовых работниц. В сапогах, в темном костюме из грубого сукна, подвязана поясом. Статная и вполне, может быть, недурная с виду, только какая-то чересчур высокая.

От этой незнакомой женщины услыхал Иван еще одну историю.

После убийства Адамского стреляли в другого провокатора, в Червинского. Это было под вечер, как раз напротив лавки Макарова. Тот, кто стрелял, убежал. Червинский остался жив, его лишь ранили в плечо. Подоспела полиция. И Червинский как будто сказал, что покушался на его жизнь Грабов. Конная полиция мигом влетела к Грабовым во двор — и сразу обыск. В соседних домах также. Ни оружия, ни Ивана Грабова не нашли. Погнали под конвоем его сестер и младшего брата — Григория. Заперли в кордегардии вместе с несколькими рабочими. А у Грабовых устроили засаду. Три дня сидели полицейские. Разговоры, слухи поползли по городу: кто стрелял — Грабов или Чигрин? На допросах избили в кровь Григория; паренек с кулаками бросался на полицейских. И тогда, по рассказам арестованных, пришел в Адмиралтейскую часть какой-то молодой рабочий из военного порта, ученик слесаря, лет семнадцать ему. Он сказал приставу: «Это я стрелял в Червинского. Вяжите меня. И не только в Червинского, а и в вашего подлеца Адамского. Так что не трожьте Грабовых! Отпустите их». Потом на допросах он как будто многое что-то путал, от дела Адамского отказался, но на покушении на Червинского настаивал — его работа. Жандармам заявил: он не эсер, не социал-демократ, а просто человек, который ненавидит каинов, христопродавцев и, пока жив, будет стрелять, давить продажную сволочь...

«Кто знает,— добавила женщина, торопливо передавая все эти новости Ивану,— что здесь правда, а что от случайных слободских

слухов. Но доля правды, видимо, есть. Те рабочие, которые вернулись из полиции, рассказывают: своими глазами они видели паренька, стрелявшего в Червинского. Остроносый такой, худой и очень вроде нервный малый; ходит в очках, замкнутый... И еще одно, очень примечательное обстоятельство. Засаду в доме Грабовых сняли. Сестер и Григория отпустили домой. Наверное, «крючки» занялись пареньком из военного порта — в кварталах сейчас спокойнее. Но все-таки, знаете,— озираясь, быстро произнесла женщина,— я бы вам не советовала в ближайшие дни заходить к Грабовым. Пускай утихомирится немного».

Иван пожал руку женщине и, набросив на голову парусиновый плащ, быстро повернул обратно. Он даже не спросил, кто она. Ему достаточно было и того, что она соседка Грабова и что у нее большие, карие и добрые глаза.

Из дворов, сквозь прогнившие калитки и заборные щели, медленно, тягуче выползал сырой промозглый туман; ветер подхватывал его и стягивал длинными полосами к Ингулу. Звонил церковный колокол, приглашая к заутрене прихожан. Совсем уже рассветало на улицах.

Иван вернулся домой не в лучшем настроении. Зябко передернул плечами и сказал: «Погодка! Просто омерзительная. Морось такая, вроде душу разъедает!» С тем же чувством затаенной злости на кого-то или на что-то рассказал братьям о том, что услышал сегодня у Чигриных и на Экипажеской. Сухо прибавил: «Обстановочка!» Для него обстановка в городе оставалась неясной. Можно было только догадываться, что плетется какая-то сложная паутина; плетется она вокруг большевиков, которые первыми вернулись в Николаев. Попахивает, кажется, грязными, грубо подстроенными провокациями. Но как все это дальше повернется, куда пойдет, трудно было сейчас предугадать. Неизвестно, вернулся ли Аким Ровнер или кто-нибудь из олонецких. Если вернулись, то где они, как с ними теперь связаться, когда квартира Грабовых в осаде, а договорились возобновить связь через Ваню Грабова.

Эта оторванность, неясность и беспокойство подхлестывали Ивана, и вечером он направился к старому рабочему Павлохе, который жил на Красной горке. С Павлохою они когда-то работали вместе в механической мастерской; в его сарае Грабов и даже сам Иван прятали иногда литературу. Может быть, и сейчас Павлоха что-то знает, или слыхал, или поддерживает связь с кем-нибудь из подпольщиков.

Павлоха — усатый, уже в годах, довольно блеклый и потертый жизнью мужчина — как будто бы и обрадовался, увидев своего давнишнего дружка, но было заметно, что вместе с тем он растерялся, что-то вроде испугало его. Он долго откашливался и наконец отрубил прямо:

— Старый я стал, Иван, в политику лезть; куча детей, и все мал мала меньше. А сейчас так — страх, гниль, паскудство кругом. Как эта погода на улице. Узнают только, что я связался с тобою, выгонят с треском. Из нашего цеха, чтоб ты знал, уже поло-

вина за воротами. Вот так. Извини, брат,— и Павлоха грузно, со вздохом пошаркал в комнату.

...А он думал: лопату в руки, как Бонавентура,— и скарб, типографская техника, будет лежать в ихнем дворе. Сразу, немедленно хотел все сдвинуть с места. А здесь не то что к технике, дорогу даже к соседям, к ближайшим друзьям болотом затянуло. Гнилая ранняя провесень. На улице и — в душах людей. Кругом морось.

Он шел от Павлохи с таким чувством, словно плюнули ему в душу. Свой, рабочий человек — и сдался, отступил. Куча детей! Надо судорожно держаться за работу! Даже тогда, когда тебя гнут к земле, как скотину? Такого смирения, такой рабьей покорности Иван не мог понять и не мог простить ни себе, ни кому-нибудь из рабочих!

В каморке Иван отодвинул старый деревянный сундук, в котором хранились когда-то театральные костюмы Василия и его жены Марии. Потом отковырнул от стены кусок штукатурки и вытащил из тайника тяжелый сверток. Принес в комнату, развернул на столе и бережно выложил два револьвера системы «смит-вессон». Они пролежали в тайнике с тысяча девятьсот шестого года, с того дня, когда Иван с боевыми дружинниками патрулировал Слободку. «Вессоны» были хорошо смазаны, ничуть не поржавели. Иван разобрал их и принялся протирать каждую деталь. Подошла Елена Федоровна, молча, с некоторым страхом посмотрела, чем занимается ее сын. Она все понимала и принимала, только боялась, когда сын брал в руки эти черные грозные «цацки».

В немом оцепенении смотрела она сейчас на Ивана. А он сосредоточенно стоял, склонившись над столом, и протирал револьвер. Его горбоносое широкое лицо хмурилось, в крепко сжатых толстых губах чувствовалась воля и упорство. Для матери простое и открытое лицо Ивана было красивым, может самым красивым в мире, но только нахмуренное и такое горько-серьезное ей не нравилось! «А дети, а невестка, а внуки? А жить-то когда тебе, сын? И как жить, если ты замкнул, заневолил свое сердце и сжигаешь себя черным огнем?» — вздыхала и спрашивала не раз его мать. Иван сейчас словно услышал тайные вздохи матери, поднял голову и слегка улыбнулся. Улыбка его была скупая и сдержанная, однако всю серьезность на его лице словно рукой сняло. Иван не хотел говорить матери, зачем вытащил «вессоны». Вчера и сегодня, когда бросался то к Чигриным, то к Грабовым, ему показалось, что он заметил за собой «хвост». Ничего глупее нельзя было бы и придумать, как привести филера к своему дому — и это в первые дни, когда они только вернулись.

Елена Федоровна постояла возле Ивана, посмотрела, как он озабоченно протирает свои револьверы, медленно перекрестилась и пошаркала на кухню. Забот у нее хоть отбавляй. Целую гору грязного белья нанесли из города, кто знает, когда она теперь успеет перестирать все и высушить!

В эти хмурые мартовские дни, которые можно назвать днями неудач и мучительных ожиданий, в дом к Петровым нежданно-негаданно заглянул весенний луч. К бабушке привезли внучку. Девочка оказалась настоящим бесенком, до крайности озорным и неугомонным: она бегала, щебетала, никому не давала покоя. Появление внучки внесло столько оживления и перемен в однообразную и тоскливую жизнь Петровых!

...Старшего сына Елены Федоровны Василия, артиста украинской труппы, выслали по приказу губернатора за пределы Херсонской губернии как неблагонадежного. Приказ пришел категоричный — выслать в течение двадцати четырех часов и без права возвращения. Василий выехал из Николаева вместе с женой, тоже артисткой, молодой красивой итальянкой Марией Иосифовной, которую дома все звали просто Маней. С бродячей труппой известного тогда антрепренера Бродерова Маня и Василий перекочевали сначала в Чернигов, а затем, через многие города и села Подолья и Волыни, в Польшу, потом снова на Украину — на сахарные заводы, фольварки, в рабочие поселки. В дороге родилась у них дочь; в честь Елены Федоровны ее назвали Аленкой. «Я родилась в Ровно, крестили меня в Золотоноше, детство провела в театральной корзине, в которой перевозили костюмы и которая служила мне и люлькой и кроватью. Словом, выросла я на театральных подмостках, и первое, что увидела в жизни, это суфлера в будке, украинских парней и девчат, которые задорно поют и танцуют». Так вспоминает о своем детстве Елена Васильевна Прихненко-Подгурская, дочь Петровых.

Случилось так, что с бродеровской труппой Василий и Мария Прозоровские (таков был театральный псевдоним молодых актеров) направлялись на гастроли в Балту и заехали по дороге к матери, чтобы на весну, а может, и на все лето оставить у нее дочь.

И вот худенькая светло-русая девочка, похожая личиком на отца, а кокетливыми локонами-завитушками — на мать-итальянку, проснулась в доме Петровых. Дитя сцены, увидев перед собой трех высоких дядей и бабушку Елену, заметив в их глазах благоговейное удивление, радость, восхищение, сразу решила, что перед нею зрители и что их надо немедленно сразить своим талантом. Она стала в позу на краю кровати, прикоснулась тоненькой ручкой к груди и театральным голоском пропела из «Наталки Полтавки»:

— Петро! Петро! Где ты теперь? Пускай на тебя посмотрят глаза мои еще раз и навеки закроются!..

Новоявленная Полтавка закрыла живые голубые глазенки и замерла перед бабушкой и тремя дядями с видом невыносимого страдания.

Дяди так и покатились от смеха. Все это вышло у девочки удивительно серьезно, неожиданно и вместе с тем комично. Елена Федоровна оторопела, такого дива она еще не встречала.

— Артисточка! Ну как есть артисточка! — заохала до глубины души расчувствовавшаяся и обрадованная Елена Федоровна.

Шура начал подыгрывать девочке. Он ходил на все спектакли с участием Василия, смотрел не раз «Наталку Полтавку» и некоторые сцены показывал потом в домашних спектаклях. И сейчас Шура откашлялся, моментально превратился в защипанного паныча-провинциала и слащаво, с тем выспренним канцелярским косноязычием, с которым умел говорить только Возный, обратился к Аленке:

— Благоденствия и мирного пребывания тебе! То есть то, как его, желаю из уст твоих услышать еще что-нибудь, сообразное моему чувствованию.

Но выпад Шуры — Возного нисколько не смутил маленькую Полтавку. Она уставила ясные глаза на дядей, вспомнила нужную реплику из пьесы и снова печальным голосом, по-детски звонким и высоким, пропела:

— Петро! Дай мне руку! Над несчастьем нашим пусть не потешатся враги. И моей жизни конец недалек.

Снова смех, снова восторженные ахи. Смеялся даже Иван, которого трудно рассмешить; Елена Федоровна замерла от счастья и начала вытирать фартуком слезы. А юная актриса победно стояла перед публикой, и ничто не шевельнулось в ее напряженном серьезном личике. Однако было видно, что она довольна: глазенки горят, а губы крепко сжаты, чтобы не вырвался смех.

Представьте себе: девочка только что проснулась, на ней белая ночная сорочка, примялись вьющиеся волосы на головенке — стоит после сна такой юный, чистый, словно выточенный ребенок, кажется, пахнет еще материнским молоком и вдруг — эти трагикомичные позы и жесты. Девочка, видно, и подбирала именно такие слова из пьесы, чтоб показать всю серьезность и глубину своей актерской подготовки. В заключение она окончательно решила сразить публику: подобрала слегка сорочечку и церемонно поклонилась в две стороны, отдельно дядям и отдельно бабушке.

Фурор был полный!

С этого дня Шура уже не отходил от племянницы. Он любил детей, в нем давно и постоянно жило, как боль, как шрам на сердце, воспоминание о меньшем брате, которого они похоронили совсем маленьким, пятимесячным... Каждую минуту Шура открывал для себя все новые и новые таланты в юной артисточке: тоненьким голоском она так чудесно пела из «Маруси Богуславки», делала на носочках смешные акробатические па, выбивала «казачка». Она видела карету, на которой приезжал в Киев царь, и показывала Шуре, какой из себя Николай Второй: вот такой нос (жест на полметра вперед), вот такие уши (жест в обе стороны, словно растягивает гармонь), вот такие ноги (пробежала от порога в другую комнату). Словом, император в изображении Аленки был чем-то средним между церковной колокольней и африканским баобабом.

Бегая по комнатам, девочка нашла за столом коробку с акварельными красками.

— А это что такое? — спросила она Шуру и потащила его в угол.

Шура ответил, что это краски и что ими рисуют.

Ага, вот оно! Аленка, казалось, только этого и ждала! Она проявила характер чисто женский: настойчивость (топ ногой!) и немного с манерным капризом («А я хочу!»).

— Нарисуй мне Волка и Красную Шапочку!

Шура не смел ей отказать. На стене, прямо на обоях, нарисовал страшного Волка и маленькую Шапочку.

Девочка долго и критически рассматривала рисунок, даже прикусила губку.

— Волк очень серьезный. На дядю Ваню похож. А Шапочка... А Шапочка плохая! У нее тоненькие ножки.

Почему вдруг ей, такой хрупкой и крохотно-прозрачной, не понравились худенькие ножки Шапочки, было совсем непонятно. Но Шуре пришлось сделать все, чтоб Шапочка «пополнела».

— А теперь нарисуй меня!

— Хорошо! — согласился Шура и с радостью покорился этому настырному бесенку. — Садись на стульчик. Только сиди спокойно, не вертись, а я буду тебя рисовать.

Взялся за кисточку, посмотрел на девочку. Ну как ты нарисуешь ее? Как передашь красками ее живые озорные глаза, которые так и горят, так и бегают по комнате? Как нарисуешь это нежное маленькое личико, с родинкой, с ямочкой на щеках, в котором столько жизни — и хитрость, и лукавство, и каприз, и нетерпение, и интерес ко всему на свете? Как передать тени от косичек, от светлых завитков на висках? А потом, как ты будешь ее рисовать, если ей не сидится на месте, крутится, глазенки бегают, как у мышонка. Словно перед кем-то оправдываясь, Шура спросил сам себя невесело: а где, у кого и когда было ему учиться, чтобы хоть что-то подобное не то чтобы нарисовать, а просто осмелиться, попробовать всерьез? Вдруг он посмотрел на «Катерину» Шевченко, репродукция висела у Михаила над кроватью. Лицо Катерины... Удивительно, только сейчас заметил Шура: лицо Катерины было чем-то похоже на чистое и невинное личико их племянницы. Конечно, у Катерины оно более взрослое, но в мягком овале, в нежных и плавных чертах — поразительное сходство. И как точно все схвачено, как передано — до чистых слезинок на ресницах, до трепета губ, до солнечных лучиков на белой кофточке.

— Талант, вот он, талант! — по-доброму позавидовал Шура. — Что значит дан человеку настоящий талант!

...Елена Федоровна заметила, что не только у Шуры, но и у старших ее сыновей ожили, повеселели глаза после приезда этого маленького бесенка. «Ты будешь у нас артисточкой!» — с любовью не раз говорила Елена Федоровна внучке и, наверное, сама не думала, что слова ее станут пророческими: всю свою жизнь, но уже в другие, немыслимо новые времена Елена Васильевна Петрова, потом Прихненко-Подгурская посвятит театральной сцене. Она посвоему повторит театральные одиссеи своих родителей.

Неповторнмое время — третий-четвертый час ночи, особеино еслн вы находитесь где-то в дороге или сидите в лодке на Иигуле. В природе наступает какое-то непрочное, настороженное равновесие. Затихает ветерок, умолкают листья на вербах, иичто ие шелохнется. Даже вода у берегов и та замнрает в дремотной тиши. Покой, темнота, глубокий сои окутывают землю и иебо. Одиако это равновесие только на одно иеуловнмое мгновенне. Еще секуида — и возьмет разгон из глубины ночи совсем новый, предрассветный ветерок. Сначала ои незаметный; едва виднмое движение, потом какой-то легкий шорох в вербах н, наконец, мелкая рябь на воде. И сразу же тянет сыростью, прохладой, росой с лугов. А вскоре — свежий порыв, иамного сильнее прежиего. Это уже ветер — вестник рассвета. Пробежится камышамн — и все словно вздыхает, просыпается, приходит в движение. Плывет н расходнтся над водой поволока тумана, четче н яснее выступают берега Ингула. И тогда осторожио иачииает белеть иа востоке; кончается иочь, приходит новый день. Но это еще не рассвет, это только раиний предрассветный час.

В такой момент, когда после глубокого покоя и тишины со двора потянуло ветерком, ночной прохладой, когда задвигалась дремотная темнота, Иван как раз стоял у окиа, наблюдая рождение бунта в природе. Ои бы н сам не мог объяснить, почему по ираву ему вздохи земли, этот ветер, что врывается в ночь, этот дерзкий вызов пробуждения, это противоборство на грани ночи н дня.

Братья спали, намаявшись за день; сладко прнчмокивала во сие Аленка. В открытую форточку повеяло прохладой, резкнм ночным морозцем. Иван тряхнул плечами — не заметил, как продрог у окна.

Неожиданно среди тишины он уловил какой-то звук, будто где-то треснула льдинка, потом послышались чьн-то шаги возле их изгороди. Шлн не двое, не группа, кто-то одии, и то чересчур осторожно, крадучись. У Иваиа сразу окатнло грудь огнем, мышцы с готовностью напряглнсь. «Кто?» — припал он к окиу, пытаясь разглядеть, что за птица разгулнвает возле нх двора. Может, какой-нибудь воришка? Однако вряд лн отыскался бы такой дурак, чтобы лазить по рабочим дворам. Если здесь и разгуливает кто иочью, так совсем другие гостн, казенные.

Готовый ко всему, Иван напряженно прислушивался к малейшему шороху иа улице. Прохожий остановнлся и тихонько подергал калитку. Иваи услышал, а возможно, ему показалось, как тот, с улицы, просунул руку в щель между плаиками н откинул засов.

Мешкать дальше было нельзя.

Быстро разбуднл братьев. Оии то ли ие спалн, то ли сразу почувствовалн — тревога! Мигом оделнсь — н уже иа иогах. «В спальню!» — произнес шепотом Иваи. Объясиять не надо, договорились заранее: если полиция иагряиет, Шура и Михаил выбегают в маленькую спальню, к окну, где спала сейчас племянничка (раму там давно раскленили, чтобы можно было ее свободио открыть),

через тыльное окно прыгают в сад, к Николайчукам, а оттуда — к Ингулу.

Братья выскочили в спальню и притаились. Тихонечко, как мышонок, спала в чистой постельке артисточка, и Шура даже затаил дыхание, чтобы не разбудить ее. Про себя подумал: «А сейчас? Грохот, ругань, выстрелы?..» Представил сонное перепуганное личико ребенка, в глазах — слезы и ужас, и от этих мыслей так тошно стало, что он готов был на все, только бы ничего дурного не случилось с племянницей.

В большой комнате остался один Иван. Достал из-под подушки «смит-вессон», взвел курок, встал у окна. И в это мгновение...

Осторожно скрипнула и открылась дверь. В комнату вошла Елена Федоровна. И до этого случая и потом Иван не раз удивлялся: ну как она чувствует (ночью, сквозь сон!) сыновью тревогу, сыновью беду; догадывается, что дети ее не спят, и сама тут же просыпается, бежит выручать своих «бурлаков»? Елена Федоровна, набросив платок на плечи, застыла у порога. Глухим после сна голосом сказала как будто сама себе: «Сыро и так тянет кругом». И от холода поежилась. Посмотрела на тень Ивана у окна и все поняла. Тихонько откашлялась, прислушалась, и впрямь словно кто-то ноги вытирает во дворе.

— Ваня, иди туда, слышишь,— прошептала мать и показала ему на спальню, а потом недовольным, но мягким голосом: — Только спрячь свой револьвер, не люблю, когда в руки его берешь.

Во дворе послышались шаги, и кто-то, словно раздумывая, стучать или не стучать в дверь, дернул за щеколду.

Иван прислонился к раме. Было темно, слепо уставилось дуло револьвера в стекло.

— Ваня, иди к ребятам,— уже настойчивее сказала мать, хоть знала — не пойдет, не послушает ее.

В дверь постучали, негромко, но настойчиво.

— Сейчас, сейчас! — ответила сонным голосом мать, вздохнула, словно бы тяжко поднимается с кровати, и пошла в сени.

Иван знал, мать не будет спешить открывать дверь. Станет расспрашивать: кто, откуда, зачем так рано, до первых гудков?.. Так и вышло. Но голос у Елены Федоровны подобрел, она засуетилась, быстро открыла дверь и кого-то пропустила в сени. Еще мгновение — и на пороге комнаты, в двух шагах от Ивана, выросла крепкая, немного сутулая, невысокая фигура с густой шевелюрой. Человек, непрошено ввалившийся в дом Петровых, всматривался в Ивана, на лице его сияла едва заметная в сумраке улыбка.

— Грабов! — вскрикнул Иван и бросился к другу. — Черт кривоногий! Откуда, какими ветрами?

Из спальни выскочили братья, повисли у Грабова на плечах, начали на радостях толкать его в бока. И сразу посыпались вопросы: где он скрывался от полиции, что здесь происходит, кто есть из наших, с кем уже установили связь?

Грабов пожал братьям руки, весело посматривал то на одного, то на другого. За полтора года он страшно соскучился по друзьям.

Без веселых Буцов, как называли на Слободке Петровых, которые приносили на улицу и на сходки дух актерства и комизма, жизнь его за эти годы была какая-то постная.

Об Иване Грабове, с которым придется нам встретиться еще не раз, надо сказать хотя бы несколько слов.

Вырос Грабов в темной приземистой хате на Экипажеской, которая выделялась своей убогостью среди других слободских халуп. Еще в раннем детстве он заболел ревматизмом, болезнь поразила его правую ногу, и, в отличие от своего отца — заводского кузнеца Данила Грабова, человека незаурядной физической силы, Иван рос хилым пареньком, а потом стал и хромым. Уличная кличка Кульгавый[1] прилепилась к нему навсегда. Под этой кличкой он вошел в партийное подполье.

Бедно одетый, в пиджачке, в стоптанных сапогах, в неизменной рабочей фуражке (недаром охранка дала ему кличку Убогий), к тому же с заметным прихрамыванием на правую ногу, Иван не особенно стремился попасть людям на глаза, да и на сходках он отсиживался где-то в уголке или за спинами других. Эта постоянная, разъедающая душу бедность и давняя болезнь не могли не отразиться на его характере. В глубине души он остро чувствовал свой физический недостаток, страдал от этого, хотя надо сказать — напрасно: никого так не любили в заводском товариществе, как Ваню Грабова. А если говорить о внешности, то Грабов был настоящий красавец. У него было умное, мягко очерченное лицо со слегка смугловатым отливом кожи, широкие, дугой выгнутые брови, густые черные волосы и эти удивительные глаза — карие, всегда согретые печалью, всегда задумчивые, большие выразительные глаза, наполненные внутренней жизнью и добротой.

На сходках Ваня, как правило, отмалчивался. Сидел и слушал других. Но как он слушал! Лицо его горело тем внутренним одухотворенным огнем, который делает человека еще красивее, еще чище. И сколько доброты, преданности, любви было в его грустных глазах, как он гордился товарищами, силой и блеском их разума, тем, что и сам принадлежит к заводским рабочим! Чувствовалось: Иван готов был обнять каждого, как брата, и за каждого отдать жизнь. И это была не временная вспышка, не скоротечный порыв доброго и отзывчивого сердца — так жил Ваня Грабов всегда и повсюду: в тюрьмах, в ссылке, в подполье, так он потом и погиб, отдав жизнь за друга...

Поздоровавшись, помяв немного друг другу бока — ничего, есть еще сила в руках молотобойцев! — все рассмеялись, а Шура тем временем зажег свой заводской фонарь и поставил его под стол, чтоб огонь чуть-чуть светился в комнате. Когда пожелтевшие, пригасшие пятна света упали на стены, на лица, Иван сразу посерьезнел и спросил у Грабова:

— Слушай, а как ты узнал о нас? От кого?

---

[1] **Кульгавый** — хромой.

Грабов ничего не ответил, только сдержанно и виновато улыбнулся. Глаза его потеплели, налились нежной грустью. Он поднял палец вверх, как бы говоря этим: «Нюх, нюх у меня! Сильнее, чем у фокинских агентов».

Ивану было не до шуток, ему хотелось скорее расспросить о том, с чем они столкнулись на Слободке. Убийство Адамского, покушение на какого-то Червинского, засады у Чигрина, арест сестер и брата Грабова. В этом было что-то сложное и запутанное, и ему трудно было понять, в чем же тут дело? Где зарыта собака? И потом — неужели до сих пор не сняли засаду в доме Грабовых, если он стучится к ним в четыре часа ночи?..

О своем раннем визите Грабов долго не распространялся. Грустно и добродушно улыбнулся, развел руками:

— Вы немного отстали, браточки. Новая тактика! Шпики привыкли, что собираемся мы по вечерам. И если припоминаете, все облавы устраивали в двенадцатом, в первом часу ночи. Вот я и поменял тактику, теперь обхожу товарищей перед самым рассветом, как раз в то время, когда городовых с постели за ноги не стащишь. А если говорить серьезно, от кого узнал о вас...

Грабов повернулся к Елене Федоровне, сделал заговорщическую мину на лице, словно спрашивая: «Выдавать им секрет или нет?»

Не иначе как они сговорились! Елена Федоровна, конечно, встретила кого-нибудь из Грабовых на улице и успела шепнуть: пусть, мол, заглянет к нам Ваня, новость есть. Она ведь слышала разговор о связных, знала, что в доме у Грабовых засада, понимала, что не смог сын туда пробраться, видела, как слоняются ее «бурлаки» в полутемных комнатах, ждут чего-то, прислушиваются, в книгах что-то ищут. Мать сердцем понимала, что им необходим добрый совет, настоящие люди. И сделала то, что должна была сделать,— помогла встретиться с Грабовым.

Иван посмотрел на «заговорщиков», покачал головой. И снова подумал о матери: это просто счастье, что она такая! В этих стенах было бы пусто и холодно без нее, без ее голоса, ласки и шуток.

Елена Федоровна пошла на кухню готовить на завтрак картофельный суп, неизменное блюдо за последнее время, а парни остались одни.

Пододвинули поближе к скамье табуретки, по-братски, поудобнее устроились и, чувствуя тепло и прикосновение рук друг друга на коленях, возбужденно заговорили, перебивая один другого. Грабов сразу сообщил самую приятную новость: все олонецкие вернулись — и Аким Ровнер, и Филя Андреев, и Виктор Т-ко...

— О-о! — удовлетворенно прогудели братья.

Они вспомнили длинную и страшную дорогу: Шура отморозил тогда щеки, до сих пор шелушится и облезает кожа. Сейчас они поторапливали Грабова: как добрались олонецкие, каким транспортом, какими дорогами? Завязалась оживленная, несколько путаная и сумбурная беседа, когда сразу обо всем хочется узнать,

расспросить, и потому разговор сбивался, переходил с одного на другое.

Больше всего братьев интересовало: где сейчас Чигрин? Что это за слухи о какой-то боевой дружине, которая якобы выслеживает провокаторов? И что означают убийства на Слободке таких «патриотов», как Адамский? Кто провоцирует эти убийства? Эсеры? Или какие-нибудь другие горе-герои?

Грабов поднял вверх руку, словно защищаясь от вопросов, оглядел внимательно Шуру, Ивана, Михаила, улыбнулся и сказал:

— Не торопитесь, братки! Не все сразу... Вы знаете: тактика индивидуального террора — не наша тактика. Мы не стреляли в провокаторов и не будем стрелять. Пускай этим промышляют эсеры. Мы будем убивать их другим способом. Словом своим! Презрением! Так вот, братки, послушайте: в наших руках есть серьезный документ,— Грабов прищурил глаз и повторил: — Серьезный документ. Список провокаторов, слышите! Больше того, есть шифрованные доносы и ключи от шифров. Как вы считаете, братки, нужно ли нам стрелять в эту мерзость или лучше выпустить листовку, обнародовать список платных доносчиков, застукать их на горячем да еще показать образцы их подлых доносов? А?

— А как же это? Я о списках спрашиваю? Где же вы их взяли? — почти с детским простодушием удивился Шура, пораженный тем, что услышал.

Грабов грустно и тепло посмотрел на него и произнес с мягкой улыбкой:

— Революция, Шура, борьба! Она во всех душах, во всех порах и клетках общества. А где борьба, там найдется даже среди жандармов хотя бы одна честная живая душа, которая сочувствует угнетенным. Есть у нас, Шура, и среди фокинских службистов свои люди. Есть! И очень близко стоящие к их канцелярии. Фокин наблюдает за нами, а мы наблюдаем за его паучьей работой, за тем, как он плетет свои сети... Нет, Шура, мы не такие слепые и не такие простачки, как думает начальник охранки. Нам надо немного времени — и мы потрясем жандармское гнездо. Сейчас готовим списки провокаторов, а дней через двадцать отпечатаем их и пустим на заводы, в порт. Увидим, как запрыгают фокинские вьюны на сковородке. И как будет сам Фокин пожирать своих же доносчиков, всех, кого мы раскроем. К битым шестеркам он безжалостный...

Братья жадно слушали Грабова, ведь они изголодались по новостям, по николаевской жизни. На них повеяло жестокой борьбой — и куда более сложной, чем они уже испытали: это была не уличная схватка лицом к лицу, как в дни декабрьских забастовок, а скрытая, завуалированная и еще более ожесточенная борьба с затаившимся врагом, невидимая война в подполье. Наверное, каждый из братьев сейчас в глубине души жалел, что они до сих пор были вдалеке от настоящей работы.

Почти в один голос Иван и Михаил спросили: а как все-таки обстоят дела с Чигриным? Где он сейчас? Почему так остервенело

охотится за ним охранка? И почему жандармы приписывают ему дело Адамского?

Братьям хотелось побыстрее узнать про Ваню Чигрина, потому что было ясно — над их другом и вожаком нависла серьезная угроза.

Грабов посмотрел в окно и вздохнул. В комнате Петровых будто и не начинало рассветать; долгий серый мартовский рассвет чуть хмуро брезжил за вспотевшими окнами. Вслед за Грабовым примолкли и братья. Сейчас каждый словно увидел Ваню Чигрина. Его гордое открытое лицо с бакенбардами, небольшие усики, брови с широким разлетом, весь он — дерзкая, веселая, вызывающая уверенность,— Чигрина хорошо знали в Николаеве не только друзья, но и враги. Не один раз выступал он на массовках, на революционных митингах, когда сотни рабочих собирались с женами и детьми на обрывистых берегах Ингула. Горячие, крепкие, обжигающе страстные речи Чигрина всегда поражали людей, сметали с трибун жалких болтунов и соглашателей, которые театрально поднимали руки вверх, призывая к осторожности и осмотрительности. Каждое выступление Чигрина обсуждалось в хатах слобожан, за семейным столом; николаевские столяры, такелажники, котельщики, спускавшие на воду «Князя Потемкина-Таврического», с гордостью объясняли детям: «Видите, кто мы такие! Мастеровые! Рабочие! Вот — из нашей плоти и крови и выходят такие, как Ваня Чигрин!»

Грабов, который всегда гордился и восхищался своими друзьями, в Чигрина был просто влюблен. Он ходил за ним буквально по пятам, оберегал на митингах, прикрывал на улице во время столкновений, уверяя всех, что таким умом и бесстрашием не каждого и не так часто одаривает жизнь.

Вот и сейчас, когда братья Петровы вспомнили о Чигрине, Грабов с какой-то особенной теплотой и любовью произнес: «Чигрин действует. Правда, вынужден все время менять квартиру, прятаться, филеры не дают хода, но он действует. Создал уже инициативную группу, связался с заводами, теперь у него новые планы — месяца через три созвать городскую партийную конференцию».

Да-а, вот это работа!.. Конференция, выборы, комитет, стачки, выпуск революционной газеты. Шура представил, как забьет ключом жизнь, и сердце его застучало сильней, ему уже виделись баррикады и бои, он наступал в одном строю с братьями (а впереди Чигрин со знаменем в руках); Шура и дальше рисовал бы картину схваток, но голос Грабова привел его в себя.

— Чигрин сейчас, братки, в тяжелом положении, в клещах.— Грабов нахмурился, откинул назад всклокоченные волосы и начал рассказывать.

Охранка сразу пронюхала, что революционное подполье набирает силу, что руководит им Чигрин. И что именно от Чигрина тянутся нити на заводы. Фокин ударил в набат, поднял на ноги охранку: немедленно, чего бы это ни стоило, погасить пламя! Но

как? Чигрин — стреляная птица; схватить его можно, а где доказательства? Никаких улик, никаких подпольных связей, никакой запрещенной литературы и подозрительной деятельности. То есть все это имеется, только напасть на след не удается. Обыски, засады, агентурное прощупывание — и в результате ни одной бумажки, ни одного серьезного подтверждения. Чигрин — это такой человек, которого голыми руками не возьмешь. Доказательства, доказательства нужны! И тогда, как стало известно в подполье, Фокин приказал: дискредитировать большевистского вожака! Пришить ему уголовное дело! А там — кандалы и Сибирь!

Кто убил Адамского — неизвестно. Это мог быть кто-то просто случайный, из портовых ухарей или из мастеровых, озлобленных на жизнь. Много ли на Слободке надо, чтоб мужики прихлопнули какого-то фокинского холуя?..

— Но я даю голову на отсечение,— поклялся Грабов,— жандармы и сами не верят, чтобы большевик, да еще такой опытный, как наш Чигрин, ударился в террор. Не верят! И нагло врут, бессмысленно и подло приписывают ему какое-то темное ночное убийство. Расчет здесь простой: запрятать его в тюрьму, а заодно — бросить тень на всю организацию. Видите, братки, какая грязная тактика: Чигрину шьют Адамского, а мне Червинского. Полюбуйтесь, мол: банда заговорщиков; вся верхушка у николаевских большевиков — уголовные элементы. Так задумано Фокиным: оттолкнуть от нас легковерных и запугать массы. Только, братки, у них с Червинским ничего не вышло, обожглись.

— Вот-вот,— подхватил Иван, с большим вниманием слушавший друга,— я на Слободке слышал о каком-то слесаришке из военного порта. Говорили, лет семнадцать ему, очкастенький; сам пришел в полицию и сказал: я стрелял в Червинского. Что это за герой-одиночка? Ты что-нибудь знаешь о нем?

Иван был уверен, что Грабов знает этого парня, потому что тот на первом же допросе с юношеской лихорадочностью, доходившей до слез, требовал отпустить домой сестер и брата Грабовых, что, мол, ни сам Грабов, ни его родные ни в чем не повинны! Добровольный защитник, да еще такой вспыльчивый, возбужденный, говорил на следствии о революционере Грабове по меньшей мере как о Марате или о Кромвеле.

Грабов засмеялся, услышав о Марате, и только развел руками: хоть он и Марат, но об анархисте почти ничего сказать не может. Видел его один раз, и то случайно. В кордергардии во время ареста. Тогда группу рабочих посадили за стачку. Вечером привели еще одного связанного и избитого мальчугана. Худой, зеленый, в очках, сдвинутых на нос, стекла разбиты. Он смотрел на пол, куда бы присесть (людей было много), подошел к Грабову и вдруг спросил: «Вы Грабов?» Иван кивнул головой — да, я. Парнишка сел рядом. Сгорбился и сосредоточенно молчал. Из носа текла кровь, а вытереть ее не мог, потому что руки были связаны. «За что тебя, браток?» — спросил Грабов. «Так! — отмахнулся парнишка, и нервная дрожь побежала по лицу. — Мать работает служанкой у горо-

дового. А он, гад, как есть распутник! Пьяный! Приставал к ней... Я у него портупею содрал».

Грабов развязал парнишке руки. Тот до утра молчал и все время поглядывал на Ивана — с клятвенной преданностью в глазах, с немым лихорадочным вдохновением. Утром его вызвали. Он встал, пожал Грабову руку и сказал: «Я знаю вас. Слушал на митинге. Если нужен вам буду, позовите! Все, жизнь и кровь до капли отдам... хоть сейчас, клянусь!»

Грабов вскоре забыл этого расчувствовавшегося подростка, пока тот сам не напомнил о себе. Когда началось дикое и озлобленное гонение на большевиков, не выдержал, наверное, парнишка вранья и грязи (хоть и сумбурный, но оказался честный малый), пришел и публично нанес жандармам сокрушающую пощечину. Уже было сфабриковано дело Аркадия Червинского, и сам пострадавший как будто подтвердил — покушение на него совершил Грабов, а тут объявился очкастый и все отверг: не врите, не марайте своей продажной кровью социал-демократов! Я стрелял в Червинского и буду стрелять, только я не большевик, другие у меня убеждения...

Засаду в доме у Грабова сняли, провокация не удалась. Однако убийство черносотенца Адамского все еще приписывают большевикам и продолжают гоняться за Чигриным; дело раздувают как политическое убийство, как месть социал-демократов за свои поражения.

...Из кухни выглянула Елена Федоровна. Сидят ее «бурлаки». Под столом мигает фонарь, свет его понемногу бледнеет и меркнет, потому что уже начинало по-настоящему светать. В углу тени и сумерки, четыре склоненные фигуры, головы вместе, о чем-то самозабвенно разговаривают. Ни тюрем, ни Фокина для них сейчас не существует. Они в царстве свободного духа, как говорят философы.

— Пора,— предупредила мать. — Я вас сейчас накормлю, да и расходитесь.

Грабов посмотрел в окно и заспешил:

— Нет, нет, я пойду. Засиделись!

— Так у нас не полагается! — погрозила ему пальцем Елена Федоровна. — Бежать! Поешь нашего картофельного супа и пойдешь. Нигде тебя таким не угостят, ей-богу. На свяченой воде и соли сварен, чтобы ты знал! Я уже целую неделю кормлю этим супом своих хлопцев. И утром, и в обед его подаю, и вечером, а они едят и говорят: не суп — роскошь! Правду говорю, сыны?

Елена Федоровна усадила всех за стол, даже где-то по сухарику раздобыла и положила перед каждым. Парни хлебали горячую юшку, а она подсела к Грабову и спросила:

— Как там ваша мать Параська, как сестры? Пускай бы Таня как-нибудь к нам забежала. Передай, я ей что-то хорошее на весну связала.

Елена Федоровна догадывалась: обо всем на свете расспросят сыновья, о царе и о Столыпине, а вот о матери Грабовых, о Тане, о невестах своих забудут. Забили голову себе политикой!

— Ну, как вы там? — не отступала она от Грабова и еще положила ему сухарь.

— Нормально! — с аппетитом хлебая суп, ответил Грабов. — Живем, не горюем!

Такой ответ был очень характерным для Ивана. Никогда не любил говорить о себе.

— Какое там нормально! — покачала головой Елена Федоровна. — Я же знаю, святым духом живете.

Для нее не было секретом: после того, как нашли у Грабова гектограф и склад литературы, на всю их семью наложила полиция зловещее клеймо: преступники! Шесть братьев и сестер — и никого на завод не берут. Разговаривать даже не хотят с ними. «Вон за ворота!» — вот и весь разговор. Девушки, те хоть могут наняться мыть котлы в приюте или полы в казармах. А для ребят и такого заработка нет. Шесть пар молодых рук — и хоть отруби, не нужны. Меньший брат Ивана, пятнадцатилетний Григорий, спрятал однажды за пазуху самодельный наган и сказал дома: «Пойду на «Наваль», с директором сквозь дуло поговорю. Пусть дает, гад, работу!» И, наверное, пошел бы, у парня характер вспыльчивый, да вовремя Иван остановил его, а то бы натворил беды.

...Быстро поев, парни подобрали со стола крошки, поблагодарили за завтрак: вкусно! Без капельки масла, без жареного лука приготовить такой суп — это надо, как заметил Грабов, колдуньей быть.

Угодили матери. Она даже слегка покраснела.

Братья вышли за Грабовым в сени.

В открытую дверь со двора повалил туман, густой и влажный, напоенный сыростью талого снега, холодком подмерзающего болота, изморосью. Скверная погода. Грабов натянул на голову фуражку, поежился. Пообещал, что свяжется с Ровнером и передаст, когда соберется первая сходка. А сходка должна быть скоро, товарищи торопят, все рвутся к работе.

Простились. Иван быстро накинул куртку, решив проводить Грабова через сад.

За хатой над Ингулом повисла влажная серая пелена — какой-то моросящий, ускользающий утренний сумрак, сквозь который с трудом просматривался шпиль Адмиралтейской церкви.

— И в самом деле, Ваня,— глухо произнес Петров (чувствовалось по голосу: приготовился к этому разговору — и потому сейчас начал как-то скованно и сухо). — Пускай зайдет Таня, слышишь? Полтора года не виделись. Как она там после тифа?

Грабов, наверное, ждал, когда Иван спросит о Тане, и все равно долго молчал, прежде чем ответить. Таня для него была не просто сестра, а вся его жизнь, двойник, неразлучная его тень. Он ничего не обдумывал и не предпринимал без сестры. Вместе они печатали листовки на гектографе, вместе отправлялись в рискован-

ные поездки в далекие города и села, где доставали чистые паспортные бланки,— у них в доме было нелегальное паспортное бюро. (С их паспортом Ровнер уже определился на завод, только Грабов об этом умолчал сегодня, ничего не поделаешь — этого требовала конспирация.) Везде и во всем Таня помогала брату. И так же, как и он, не мыслила своей жизни без него. Когда Грабова схватили и погнали в Елисаветградскую тюрьму, Таня пошла за ним, пошла за тюремным конвоем (ей тогда было семнадцать лет), устроилась в незнакомом городе на ситценабивную фабрику и каждый вечер подолгу стояла на холме, чтобы хоть издалека увидеть окно, за решеткой которого сидел ее брат, и помахать ему рукой. Узелочки с передачами, короткие, ободряющие записочки... Кто знает, может, именно она и спасла Грабова тогда от чахотки и кровохарканья, потому что бросили его в самую плохую камеру, полуподвальную, где стояла вода и рыскали крысы.

Потом Грабова погнали этапом в Тобольск, и Таня опять пошла за ним по трудному сибирскому тракту; снова заработки, узелочки и главное — встречи, свидания, ее грустная, согревающая улыбка, ее добрые, ласковые слова: «Ваня, как ты похудел! Я тебе попытаюсь достать молока...»

Да, они были как бы двойниками: по доброте, по терпеливости, по взаимной любви и привязанности; у обоих большие глубокие глаза с печальной поволокой, которые смотрели на людей с влажным карим блеском, смотрели так грустно и проникновенно, что взгляд их надолго западал в душу.

Из Сибири Таня вернулась больная тифом; дома она ходила, покрывшись платком, потому что у нее посеклась и вылезла роскошная черная коса, которую она так любила заплетать.

— Таня сейчас дома, немного поправилась,— сказал наконец Грабов, сказал как-то невесело, нехотя. — Передам, прибежит к вам на днях.

Иван был рад, что так неожиданно заглянул к ним Грабов, что есть теперь окошечко в мир, есть первая тропинка к друзьям. Он слушал, расспрашивал Грабова, а сам думал о своем: как повстречаться с Ровнером? Время уходит, надо скорее договориться о технике или же предпринять что-то другое, его душа рвалась к настоящему делу!

— Вам лучше всего встретиться у меня. На сходке. Будет и Аким, будет вся наша боевая группа. Несколько дней потерпите, браточки, я вам передам, когда собираемся.

Тепло и печально кивнув другу, Грабов торопливо пошел садовой дорожкой, а Иван остановился посреди двора и почему-то сам себе улыбнулся. Будто мир вдруг раздвинулся, будто стало светлее в Слободке. Набрав полную грудь воздуха, с радостью почувствовал — легко дышится и кровь по телу бежит молодо, весело.

Утро, гудки, это над Ингулом. Переливы колоколов. И эти глаза. Карие, с влажным чарующим блеском. Они так грустно, тепло и преданно смотрели, что Иван еще раз улыбнулся. Таня Грабова.

Таня... Как она? Полтора года не виделись. Сильно ли изменилась после болезни? Не забыла ли слободскую песню «Ой высоко, высоко клен-дерево от воды»? Как давно это было, когда собирались они на Слободке, когда пели и играли вместе, в веселой заводской компании...

ПАСХА В НИКОЛАЕВЕ, ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕЛЕГАЛЬНАЯ

Пригревало солнце. Время от времени с Ингула доносились гудки охрипших за зиму пароходов; военные и коммерческие суда (в Николаеве их называли утюгами) пытались вырваться, освободиться от рыхлого, вздувшегося берегового припая; они разворачивались и маневрировали по черной весенней воде, раздвигая льды. На Слободке чувствовалось оживление. Во дворах гремели ведрами, шумно здоровались, подолгу говорили о ценах на базаре. Веселее кудрявились дымы, разносился из кухонь запах наваристых холодцов, грушевых компотов, пряных куличей.

Короче говоря, Слободка готовилась к пасхальным праздникам.

Наискосок от дома Петровых стоял в переулке ларек Моргулисов. Соня и Давид снова заняли свои места на деревянном крылечке, где обычно сидели они в позах древних скифов — и так каждый год, лет двадцать подряд. С потеплением Соня и Давид зашевелились, завезли на праздник мыло, керосин, крупу, пряники, а тайно — и водочку.

А что происходило в доме Петровых? На пасху дверь к ним с утра до вечера не закрывалась. Толпами и поодиночке бежала сюда детвора, чтобы поздравить Елену Федоровну, свою крестную мать. В узелках несли куличики, бублики, пасхальные яйца, бойко христосовались и с замиранием сердца ждали ответных подарков. Несмотря на бедность, Елена Федоровна запаслась на такой случай дешевенькой, ярко размалеванной деревянной посудой: тарелками, ложками, мисками. Дарила каждому ребенку, кто бы ни пришел. А приходило много. Потому что всех этих чумазых Танек и Ванек принимала от рожениц не кто-нибудь, а тетка Елена.

Попросту говоря, была Елена Федоровна фельдшером не фельдшером, акушером не акушером, а одной-единственной женщиной на всю рабочую Дальнюю Слободку, мало-мальски сведущей в очень непростом и нелегком деле — родильных таинствах. Как и почему она стала повивальной бабкой, трудно сказать. Возможно, потому что сама родила двадцать четыре ребенка и хорошо знала муки и радости материнства. Может быть, имело значение и то, что частного врача надо было вызывать из города, а пойдет ли он ночью да еще по слободской грязи, да и брал он дорого, а здесь под боком женщина, готовая прийти к вам на помощь в любую и, самое главное, в тревожную для вас минуту.

За многие годы акушерства уяснила для себя Елена Федоровна несколько простых секретов. Собираясь к роженице, она чисто и опрятно одевалась, брала пузырек водки, новое полотенце. Приходила к роженице на день, на полтора раньше, дежурила всю ночь, и, когда наступал **тот** решающий час, она по-хозяйски спокойно приступала к делу: мыла руки водкой, по-своему готовила беременную женщину: разговаривала с ней, успокаивала, давала советы, подбадривала, а потом несколько страшных минут или часов борьбы не на жизнь, а на смерть, и Елена Федоровна подносила на руках красное, сморщенное тельце новорожденного, вытирала пот с лица и говорила:

— Сынок родился! (Или: дочка!) А какие мы крикливые, а какие шустрые мы родились!

Счастливая сама, она показывала новорожденного измученной, слабо улыбающейся матери.

У Елены Федоровны, как говорили в Слободке, была легкая рука, она не хуже местных фельдшеров, среди которых было немало и коновалов, принимала роды, ее будили среди ночи, звали из дальних и близких мест. Зато, когда наступало рождество или пасха, в доме у Петровых не было отбоя от детворы; с раннего утра бежали к ним мальцы с узелками.

Братья сами любили эти веселые суматошные праздники, с шутками и смехом встречали детвору. Но на этот раз Иван подумал: гурьба малышей — это лишние глаза. Невинные, симпатичные глазенки и личики, однако сейчас лишние. Поскольку малышей не остановишь, братья договорились: Шура и Михаил пойдут на Красную горку, к сестре Ане, дом которой сейчас стоял пустой, и там побудут до вечера. А Иван закроется в спальне, у него есть кое-что почитать.

Так и сделали: Иван разбудил братьев пораньше, еще в потемках, и отправил их через сад Николайчука, оврагом, вдоль Ослиной горки к сестре, а сам остался в большой комнате, заперся на крючок. Осмотрел полочку на стене, где сыздавна стояли у них дешевые «шпионские» издания о Нате Пинкертоне, Нике Картере и Шерлоке Холмсе. Обложки выгорели и порыжели, а олеографические рисунки словно соревновались, какой из них имеет больше пятен густого багрово-кровавого цвета и на каком из них страшнее физиономия убийц. Иван улыбнулся: неужели они читали когда-то такую литературу? Неужели тратили время на эту ерунду? Но спасибо Пинкертону и за то, что потом он прекрасно служил для конспирации. Между переплетом книги Иван часто проносил прокламации в порт и на заводы.

Была в доме у Петровых и своя нелегальная библиотечка.

В правом углу, возле дверей, горела лампадка, освещая святые лики Иисуса и Марии. Иван встал на скамейку, снял икону Марии и из-под картонки, черной и скользкой от сырости, вытащил тоненькую брошюру. Подул на нее, стряхивая влажную пыль. Даже не верилось, что лежала брошюра с шестого года. Ему почему-то захотелось снова полистать ее!

Иван поставил Шурин фонарь на стол и склонился над брошюрой. Называлась она «Тактика уличных боев». Желтые, влажноватые страницы кое-где слиплись. На полях давнишние пометки Ивана, сделанные карандашом: «Так!», «И нам надо!», «Вот — самовооружение!» Как далеко, подумал Иван, откатились мы назад от пятого года и как решительно продвинулись вперед! Уменьшились, поредели наши ряды, зато — полная ясность в голове. Иван вспомнил студента Валерьяна, поэта и оратора на всех митингах. Как же он красиво говорил, стервец, как потрясал руками над головой! А как аплодировали ему на сходках не только студенты, но и заводская, рабочая молодежь! Одно время даже Михаил восхищался им. И, может, не столько его речами, сколько стихами, красивыми призывными его словами о том, что надо идти вперед, что баррикады, мол, в огне и кровь клокочет в наших сердцах. Михаил тогда и сам пытался писать стихи и каждый раз слушал Валерьяна затаив дыхание. И что же? Где Валерьян, где его обжигающие речи? На Соборной стал Валерьян репортером в солидно-махровой газете. Бьет себя в грудь и доказывает: революция в низах угасла, массы подвели интеллигенцию, теперь вперед — только через нравственное очищение масс, через духовную голгофу. Да! Валерьяны «ушли», и сейчас в пролетарских низах полная ясность: все эти меньшевистские, эсеровские, энесовские герои-бунтовщики распинаются и страдают, но только до первого выстрела. А дальше — один пролетариат и с ним его партия, большевики. На них — кулак репрессий, на них жалобы, доносы разочаровавшихся Валерьянов: видите ли, втянули их, спровоцировали, не туда повели.
«Полная ясность!» — повторил Иван.

Он листал давно пожелтевшую брошюру, не однажды им читанную, и прислушивался к топоту в сенях. Входила детвора, здоровалась с матерью. И что им мать говорила — кто знает, только неожиданно таким звонким детским смехом отзывались стены в комнатах, что Ивану самому захотелось встать и посмотреть: что у них там за концерт?

Время тянулось долго, и все с нарастающим беспокойством Иван посматривал на улицу. Наступали сумерки, зажигались огни в домах; шум, песни, крики разносились по Слободке. Народ веселился. По всему городу бурлили сейчас приемы, карнавалы, массовые гулянья. «Христосуются господа,— улыбнулся Иван. — Ничего. Сегодня и у нас, у подпольщиков, праздник».

Грабов сообщил: вечером, в одиннадцать часов, когда на улицах будет много людей и пьяного крика, решено созвать собрание. Здесь же, на Слободке, в грабовском доме. Момент очень подходящий.

Нужно ли говорить, с какой радостью встретили эту новость Петровы. Однако радость их была отравлена другой вестью: Чигрина на собрании не будет. Все же охранка его выследила и арестовала — за несколько дней до праздника. И это было тем более неприятно и жестоко, что сходку подготовил Чигрин, искру жизни

вдохнул он в мертвое подполье, и вот когда только начиналась работа — его арестовали.

— Ну нет! — сказал Иван, выслушав рассказ Грабова. — Я-то им так в руки не дамся! Я им заплачу горячим свинцом.

Вспомнив сейчас об этом, Иван снял со стены заряженный «вессон» и с хмурой решимостью запихнул его за пояс рубахи, словно тут же собирался выскочить на улицу и рассчитаться со всем шпионским отродьем за то, что они выследили Ваню Чигрина.

Петров и раньше знал: в социал-демократических кругах страны Николаев снискал себе дурную славу города, нашпигованного провокаторами. Очевидно, это объяснялось тем, что на заводах, а особенно в торговом порту и на станции каждый сезон много скапливалось бродячего народа; грабежи, темень, отчаяние, безработица — вот то золотое дно, откуда охранка набирала себе почти даровую агентуру.

Обидно было, что провал произошел так быстро. Не успел вернуться Чигрин в город, как его тут же выследили шпики. Значит, надо проверить свои ряды. Кто-то, наверное, орудует уже в самом подполье.

И снова подумал Иван о типографии. Он твердо решил: сегодня же! После сходки надо обязательно побеседовать с Ровнером, конкретно и серьезно обо всем договориться. Газета высвободит многих связных и организаторов, никого не подвергая риску немедленного провала. При том условии, конечно, если техника и редакция будут строго законспирированы. Да, дальше откладывать нельзя. Сегодня же!

На улице совсем стемнело. Где-то пьяно выкрикивали мужики, пела и смеялась молодежь. Иван отложил брошюру и стал ходить от одного окна к другому — никак не мог дождаться десяти часов.

А чем жил в это время официальный Николаев?

Заглянем в дом Феруза, на Спасской, вблизи Соборной. Здесь издается ежедневная, хорошо осведомленная «Николаевская газета», по соседству и в добром согласии с полицейским управлением. Она обо всем знает. И, судя по ее публикациям, в Николаеве на этих днях произошли и должны будут произойти важные события.

Канцелярия николаевского градоначальника оповещала, что сегодня в первый день Христова воскресенья его превосходительство градоначальник приглашает к себе господ начальников и служебных лиц на торжество. Форма — парадный вицмундир.

Николаевский отдел «Союза русского народа», то есть черносотенцы, которые грабили квартиры «демократов», а позднее убили молодого рабочего Брагинца и тем самым всколыхнули весь Николаев, напоминал своим друзьям погромщикам, что в зале Зимнего морского клуба состоится музыкально-литературный вечер.

Сообщалось:

что в театре «Иллюзион» на Спасской грандиозное представление «Очарованный князь, или Сила черной магии»;

что в ресторане Зорина на праздники подают шницель по-министерски, судак орли, супрем де воляй;

что в церкви во имя Касперовой божьей матери после литургии состоится освящение и поднятие шести крестов на купол алтарной части храма;

что доктор Тейле лечит внушением (гипнозом) от пьянства, нервные и внутренние болезни;

что в столовой попечительства народной трезвости (на углу Соборной и Севастопольской) в 6 часов вечера состоится чтение для народа лекции с теневыми картинками; слово «Вход господа Христа во Иерусалим» оглашает священник Григорий Швачко.

Николаевское правление благотворительного общества объявляло, что по разрешению его превосходительства градоначальника в городском саду состоится массовое праздничное гулянье.

И только на внутренней странице «Николаевской газеты» мелким шрифтом было напечатано, что на бирже некоторая паника, снова подскочили цены на хлеб и что в рабочих кварталах вспыхнули инфекционные болезни — оспа, брюшной тиф и т. д.

Если не обращать внимания на эти «незначительные мелочи», Николаев в праздничные дни 1908 года жил вполне добропорядочными веселыми заботами. Газета еще раз напоминала, что пасха пройдет при торжественном звоне всех колоколов Адмиралтейского собора.

Правда, не все чины и должностные лица надели парадные вицмундиры и не все готовились к торжествам. Даже на Соборной не все жили праздничными настроениями.

Наоборот, тайный агент Весенний чувствовал себя весьма скверно. (Под кличкой «Весенний» скрывался бывший буфетчик Лева из морского клуба, побитый и выброшенный матросами за мошенничество и доносы и пригретый потом охранным отделением.) Каждый раз, когда приходилось ему надевать выданный в охранке костюм мастерового (грубая чужая ткань смердела и жала под мышками), буфетчик Лева брезгливо морщился и дрожь пробегала по его телу.

Так было и на этот раз. Соборная гремела от музыки и танцев, а ему надо тащиться на 1-ю Экипажескую, в темные переулки, дразнить собак. Ларек Макарова, магазинчик Моргулисов, слободские пивнушки. Там ему толкаться, прислушиваться к разговорам и пьяным перебранкам. Фокин требовал: глубже, глубже внедряйтесь! Большинство социал-демократов, из тех, кто тайно вернулись, уже под наблюдением, но кое-кого, особенно на Слободке, никак не удается взять! Нужны новые имена и адреса! Адреса и имена! Буфетчик Лева понял: придется ему не одну и не две ночи просидеть в подъездах, в нужниках, а то и просто на улице, под заборами, скорчившись в три погибели, и присматриваться, разглядывать каждого прохожего ночью.

Он натянул на себя взопревшую от пота и жирную от мазутных пятен спецовку, застегнул верхнюю пуговицу и вдруг поморщился: туго, сдавливает горло! Перед ним возникло хмурое тяжеловатое лицо Адамского, которого нашли там же, на Экипажеской, с веревкой на шее. Уже однажды побитый матросами,

агент Весенний только на миг представил себе пьяный визг и скопище народа на Слободке, как тут же словно почувствовал, что кто-то схватил его за горло.

И еще один тайный сотрудник охранки должен был встретить пасху, дразня ночью собак. Это был недавно завербованный Проня Мульгин (Часовой), агент, на которого Фокин делал особую ставку.

Жандармский ротмистр сам нашел Часового: без копейки в кармане, весь в прыщах и фурункулах, Проня умирал, валяясь под мешковиной, в рабочем бараке. Что прочитал Фокин в его помутневших глазах, трудно сказать. Но только вчерашний батрак из села, вчерашний слесарь, выброшенный с завода, согласился служить Фокину за двадцать рублей. Ротмистр «подсадил» его на «Наваль», и Мульгин, по-мужицки хваткий и осмотрительный, не спеша взялся за дело: организовал группу социал-демократов (конечно, с ведома жандармов), смело повел пропаганду и через третьих, четвертых лиц связался с Рудобородым, тоже слесарем. И вот первое ошеломляющее открытие для охранки: слесарь Рудобородый — это Ровнер!.. Мульгин все сделал, чтобы приблизиться к Акиму Ровнеру: выполнил несколько его поручений, возродил партийную кассу, был зачислен в инициативную группу, где и напал на след Чигрина.

В эту ночь Мульгин должен был выполнить особое задание охранки — проникнуть на тайную сходку социал-демократов. Уже как свой, доверенный человек.

Он ждал наступления темноты и волновался не меньше Ивана Петрова.

Ударили колокола на Спасском соборе. Вспыхнул над Бугом праздничный фейерверк. Торжественно началась в соборе вечерняя служба. Иван Петров на Слободке, Мульгин-Часовой в порту почти одновременно переступили порог своих домов, чтоб встретиться... у Грабова.

Когда Иван вышел из дому, его окружила такая плотная, сырая весенняя темень, что он весело чертыхнулся и сказал: «Смотри, как мазут!» Немного постоял, свыкаясь с темнотой, и молодым жадным взглядом вскоре заметил и звезды над головой, и черную стену забора вокруг двора, и слабые огоньки в слободских избенках. Ночь, лужи под ногами, голоса и переборы гармошки где-то за Адмиралтейством, лай собак, дружно откликающихся на чужие шаги. Не угомонился народ, гуляет допоздна. За Бухтеевской тюрьмой, где-то над Соборной площадью, небо слегка подсвечивалось — в центре города зажглись яркие иллюминации.

На ощупь отыскал Иван калитку в николайчуковский сад и пошел со двора не улицей, а своей потайной дорожкой: пустырем, неровным коряжистым оврагом вдоль Ослиной горки, затем дворами на 1-ю Экипажескую. Дорогу он знал хорошо, но в темноте все равно можно было поскользнуться, зацепиться за какую-

нибудь старую железку, гнилую чурку или камень. Под ногами что-то шуршало, хлюпало. Когда уже поднялся на гору и его взору открылись темные ряды дворов, вдруг услышал, что вроде бы кто-то тяжеловато плетется следом. Остановился, с напряжением вслушиваясь в темноту. Нет, кажется, никого. Но только тронулся с места, опять зачмокали сзади по грязи чьи-то сапоги. Снова остановился — тишина. Только доносятся откуда-то издалека голоса и музыка. Иван схитрил: потоптался на месте и замер. Ага, теперь есть! Кто-то за ним все-таки идет, а сбоку еще не то один, не то два человека. Ивану даже почудилось, что он слышит, как те двое или трое тихо между собой пересвистываются. «Неужто хвост?» — с досадой подумал он. Значит, из-за этих сволочей придется опоздать на сходку? Иван сплюнул: «Сейчас поговорим! За себя и за Чигрина!»

Остановился, громко откашлялся. Потом отмерил несколько шагов назад, в темень, откуда слышался шум.

— Эй! — крикнул глуховатым голосом. — Кто там? А ну, сюда! Быстрей, полицейские шкуры, стрелять буду!

Достал пистолет, щелкнул затвором и быстро пошел на того, который плелся сзади, а теперь замер на месте, слившись с черной стеной обрыва. Не успел Иван сделать несколько шагов, как преследователи — и тот, что брел сзади, и те, что находились сбоку,— мигом бросились в разные стороны, разбрызгивая грязь.

— Вот так бы сразу! — крикнул Иван.

Он повернул к Ингулу, был уверен: если это «крючки», то они снова прицепятся к нему. Страшно навязчивая сволочь.

Чтобы побыстрее отвязаться от филеров, Петров побежал с горы мимо каменной ограды Морского госпиталя; прошел старое глинище и между кустами дерезы, что стояли, словно стога почерневшего сена, выскочил к речке. Ингул и ночью тускло поблескивал, слегка освещенный праздничной иллюминацией. На берегу было просторнее. Вскоре отчетливо услышал за спиной топот. Бежало несколько человек, шумно и тяжело дыша.

— Стой! — теперь уже кричали Ивану «крючки».

Раздался выстрел, пуля пролетела высоко над его головой.

«Ага, они думают, что я шучу!»

— Ну,— сказал Иван, переводя дыхание. — Стою! Подходите.

Вытер об рукав руку, вымазанную в грязи, взвел курок «вессона». Выстрелил наугад — туда, где стояло двое или трое, сморкаясь и отсапываясь.

Кажется, теперь они поверили! Дали стрекача кто куда; один сгоряча вскочил даже в яму с водой, потом поспешно выбрался и шмыгнул в кусты. Для страховки Иван взял левее, прошел мимо сушильни кирпичного завода и, только убедившись, что никто за ним теперь не идет, повернул на Экипажескую.

На улице было темно и безлюдно, лишь где-то на окраине Слободки надрывалась гармошка. Возле грабовского двора, под акацией, Иван заметил одинокую фигуру. Человек стоял и курил. Иван понял — свой. Подошел поближе и узнал: еще один тезка,

Иван Кондарев. Тот, что называл себя на допросе старообрядцем и чуть ли не дедом, хотя было ему не больше двадцати и не верил он ни в черта, ни в бога. Друг и напарник Михаила, котельщик с «Наваля». Дежурит. И не один; человека три, а может, и больше охраняют дом.

Негромко поздоровались.

— Иди. Тебя уже ждут,— сказал Кондарев.

Иван шагнул из темноты в тесный старенький домик Грабова; в комнате было душновато, на столе едва мигала керосиновая лампа. Иван снял фуражку, хотел поздороваться, но его остановил веселый смех.

— О, глядите, пропуск! Городовой печать поставил. На право ночных хождений.

Все смеялись искренне, по-дружески, кое-кто закрывал рот ладонью.

Иван притронулся рукой к щеке — и впрямь грязь. Присохла к коже. По всей вероятности, вымазался в овраге.

Реплику о печати бросил Аким Ровнер, или просто Аким, Старик, Пиня — на сходках никогда не называли настоящих фамилий, даже подпольные клички и те часто меняли. Остроумный, живой, нетерпеливый, Ровнер обычно ни минуты не сидел без дела; он и сейчас перекладывал на столе какие-то бумажки, подкручивал фитиль в лампе, давая этим понять, что пора начинать.

Иван посмотрел на скамейку. Он знал, что Чигрина не будет, но как-то не верилось. На подоконнике стояла деревянная пепельница; там он сидел, там он должен был сидеть, среди товарищей, и все тянулись бы к нему — пожать руку, перекинуться словцом. Не было Чигрина, словно кто-то вырубил прогалину в их и без того поредевшем содружестве.

Но зато (Иван даже руки развел) собрались почти все олонецкие, они сидели по трое, по четверо на одном стуле, и Михаил уже втиснулся туда; северная коммуна знаками показывала: сюда, сюда, Ваня, давай к нам! Порывистый Филя Андреев, николаевский гусар, сорвиголова, изо всех сил подмаргивал Ивану, чтобы тот пробирался к нему, и оттеснял от себя широкоскулого соседа с незаживающими язвами и прыщами на лице (Иван оглядел его и подумал: что это за незнакомец?).

Видно было, что Петрова несколько минут ждали.

И сразу — к делу. Постановка работы в подполье.

Но не торопитесь, товарищи. Мы всегда торопимся, большие и малые дела нас подгоняют, и некогда нам спокойно, без суеты посмотреть друг другу в лицо, обмолвиться словом, улыбнуться и запомнить тот живой огонек в глазах. Разве не чувствуете вы, как неумолимая история уже отмерила вам всем дни и минуты для жизни и борьбы, и у многих из вас это время трагически короткое. Ты, Пинхус Ровнер, Старик, как тебя называют друзья (потому что им по двадцать, по двадцать два года, а тебе — страшно подумать даже! — тридцать два); ты, опытный подпольщик, который имел на Мещанской типографию, выпускал первую в Ни-

колаеве большевистскую газету и уже дважды побывал в ссылке,— подожди. Знаешь ли ты, что на твою долю придется еще один арест (и совсем скоро), ссылка в Вологодскую губернию, и еще арест, и до сих пор не виданная в мире революция, и, наконец, жестокая смерть под саблями озверелых солдат, когда ты с документами Николаевского комитета партии большевиков будешь переходить румынскую границу, скрываясь от деникинской контрразведки. Ты, Филя Андреев, солдатский сын, как именуют тебя в полицейских протоколах, под агентурной кличкой «Ракетный», черноглазый красавец с цыганской шевелюрой, сердцеед, сама энергия и неукротимость, ты, что раздобыл из-под земли бумагу для типографии, оружие для товарищей, газету «Пролетарий» через немыслимые связи с Петербургом, мог ли ты думать в этот вечер, что как представитель Николаева попадешь за границу в партийную школу Лонжюмо, будешь разговаривать и дискутировать с Лениным, потом беспокойные суровые дни на посту председателя губчека, бои, рейды в тылах, Кронштадтский фронт, где тебя догнала эсеровская пуля. А ты, Ваня Грабов? Ты так грустно улыбаешься в углу, словно заранее знаешь, что через десять лет и совсем недалеко отсюда, под Николаевом, упадешь, растерзанный белогвардейцами. А ты, Михаил Петров? (В подполье ему дали кличку «Тарас Бульба», но ничего монументального в нем не было, так и остался он лириком, немного неуклюжим, застенчивым на людях.) Знаешь ли ты, Михаил, что ожидает тебя в подземной типографии и в новой ссылке на Севере, где усть-сысольский тюремщик умышленно бросит тебя в ледяной карцер?

Эти юноши, пришедшие на собрание к Грабову, чувствовали ли они, что время и неумолимая история уже предрешили их судьбу? Знали ли они, что каждому отпущено так предательски мало дней и минут жизни? Нет, они были молоды, они торопились, и, если бы им кто сказал высокопарное слово про Время и грозную Историю, они просто от души посмеялись бы. Потому что собрались здесь люди заводской закваски, ярые противники громких речей.

В цеху, среди шума и мазутного чада, если и перебрасывались они словом, то только простым и коротким, как железный обрубок.

Поэтому Ровнер коротко и деловито сказал:

— Начнем, товарищи. У нас полчаса времени, а обсудить, как вы знаете, надо очень много.

Не будем выдумывать разговоры и дискуссии на сходке, не будем говорить о сложной борьбе и нечеловеческом напряжении сил и страстей. Лучше всего дух того времени, живые детали обстановки передает документ. Борис Козловский, один из участников сходки, в своих воспоминаниях писал:

«В декабре 1907 года было снято военное положение в Николаеве, и наша публика, раскиданная по всем уголкам России, стала возвращаться... Партийная организация к этому времени

была разгромлена, хотя на заводах еще сохранилось много рабочих-партийцев, которые не действовали, главным образом, из боязни перед провокацией... Настроение у рабочих было среднее, прежнего революционного рвения не чувствовалось. Другое дело наблюдалось среди интеллигенции. Тут уже царила полная реакция. Если раньше не было отбоя от всяких юнцов и девиц, жаждущих деятельности, не было нехватки ни в квартирах для явок, ни в адресах для переписки, то теперь уже все обстояло иначе. При встрече иные просто не узнавали нас, а тот, кто узнавал, всячески уклонялся от какого-либо разговора на политическую тему. Особенно терроризировали интеллигенцию «союзники» (члены «Союза русского народа»), которые занимались уличными погромами и даже убили рабочего с завода «Наваль» Брагинца... Группа, вернувшаяся из ссылки, решила созвать собрание наиболее активных рабочих для обсуждения одного вопроса: о постановке работы. Собрание состоялось на пасху в 1908 году; на собрании присутствовали: я, Андреев, М. Харитонов, Грабов, Мульгин (провокатор), Петров М. В., Кондарев и еще несколько товарищей. Среди нас не было ни одного интеллигента. (Кстати, в секретном циркуляре департамента полиции, присланном немного позже в адрес охранного отделения, 11 августа 1908 года, тоже подчеркивалось: «Повсюду наблюдается одно общее явление: интеллигенты массами покинули организацию (социал-демократическую), и вся работа, даже пропагандистская, почти исключительно ведется самими рабочими».) Из обмена мнений,— пишет дальше Козловский,— выяснилось, что все мы твердо стоим на прежней революционной точке зрения.

Собравшиеся объявили себя большевистской группой РСДРП, о чем и сообщили на заводах особо выпущенной листовкой на гектографе. Во второй листовке был список провокаторов. Эту листовку набрали типографским шрифтом Ровнер и Андреев, затем набор положили на зеркало, а на разостланную на него бумагу садился кто-нибудь из товарищей и таким образом получали оттиск. Способ оказался неудачным, пришлось от него позже отказаться».

Вы обратили внимание: среди участников сходки был провокатор Мульгин.

Он сидел тихо и скромно, как подобает человеку простому, еще неискушенному и мало известному в революционных кругах. Не выскакивал без нужды, но и не отмалчивался, когда требовалось возразить или поддержать других. Говорил не от себя, а от лица слесарей цеха: рабочие так считают, рабочие просят... Вышколенный палкой и ремнем (еще в батраках), Проня Мульгин имел завидную, можно сказать, деревянную выдержку. Он лишь тогда немного сник, подтянул живот, когда речь зашла о Чигрине, об аресте, о платных предателях. Но еще больше съежился, когда встал Ровнер и сказал: Дума и столыпинское правительство ассигнуют тысячи рублей на полицейский аппарат, на шпи-

онство и провокации, то есть на развал, деградацию, растление общества; затем — об отступничестве в самой революционной массе, а потом, неожиданно для Мульгина, стал четко, словно разрезая словами воздух, зачитывать список провокаторов, раскрытых в Николаеве: Червинский, Хилько, Рыбаков... «Не я, не я, не я!» — повторял Мульгин, покрываясь бурыми пятнами, следами недавних язв и прыщей. Список вдруг прервался, фамилия «Мульгин» не прозвучала, и провокатор с жаром произнес:

— Какие мерзавцы, а? Кто бы мог подумать?!

— Вот здесь мы спокойно и поговорим, — сказал Ровнер и пропустил Ивана вперед. — Сюда, в подвальчик!

Крутыми, выщербленными ступеньками они спустились в тесный погребок, который находился под чайным трактиром. Сели вдвоем за столик, сбитый из грубых досок. Над головой висел огромный якорь-подсвечник, весом, наверное, пуда в два, цепями прикрепленный к потолку.

Ни в трактире, ни в этом тесном погребке Иван никогда не бывал. Подумал: что это? Склад или маленький винный зал на троих-пятерых посетителей? Весь угол и глухая стена напротив заставлены до самого потолка бочками, по-видимому из-под вина. Через потолок, из верхнего зала, доносились топот, восторженные выкрики, звуки рояля. Дамы и ночные кавалеры продолжали еще праздновать пасху.

Не успел Иван с Ровнером сесть, как к ним подошла женщина в белом передничке, вытерла тряпкой стол, густо закапанный воском, и спросила:

— Вам чаю?

— Чаю, и самого крепкого, — попросил Ровнер. — На дворе сыро и холодно.

Иван окинул взглядом незнакомую женщину. Подумал: красивая, лицо — с густой, какой-то восточной смуглостью. Она была уже немолодая, полноватая, но чем-то напоминала Таню Грабову. Может, глазами и толстой косой, закрученной узелком.

Женщина, не вступая в разговор, чем-то озабоченная, вышла.

— Своя. Не беспокойся, — бросил Ровнер в сторону хозяйки.

Иван улыбнулся. Если его что и беспокоило, то совсем другое.

Хозяйка принесла две чашки чаю, окинула Ивана пытливым, еще молодым взглядом карих глаз, затем спросила Ровнера:

— Вас закрыть?

— Входные двери, Дора, закрой на ключ, а те, на черный ход, пускай будут приоткрыты.

Дора вышла, щелкнув замком. Ровнер взял чашку, отпил немного и сказал:

— Слушаю тебя, Ваня.

Впервые за последние месяцы Петров видел Ровнера так близко — за столом, да еще и при хорошем свете стеариновой свечки. Аким заметно похудел, стал вроде бы жестче лицом и резче го-

лосом; больше седины появилось в коротко остриженных волосах, больше усталости и землисто-серых морщин под глазами. М-да, видать, нелегко Акиму прятаться, жить под маской, прикидываться на заводе простачком с бородой — все это не так для него просто. Да и дел немало свалилось на его плечи.

Иван сразу сказал, зачем он встретился с Ровнером. Речь идет о технике. Настало время! Хотел бы поточнее узнать: где она, как ее достать?

Ровнер помешал ложечкой чай, посмотрел в угол, словно что-то припоминая, и спросил:

— А ты твердо убежден, что именно вам, Петровым, надо браться за типографию? Все-таки вы политзаключенные. Не подвергаем ли мы технику большому риску? Может, нам подыскать подставное лицо, какого-то интеллигента или рабочего, скромного и незаметного для полиции? Устроить у него типографию и...

Все это Иван уже слышал не раз еще в ссылке; он и тогда с этим не соглашался, а теперь — тем более. Что значит найти «скромного», «благонадежного» интеллигента или рабочего? И как раз сейчас, когда даже заводские ребята затравлены полицией, штрафами, немедленными увольнениями с работы? Пока будут искать — время идет, драгоценное время, жизнь не простит ни задержек, ни волокиты. И наконец, кто сказал, что «скромный», «благонадежный» хлюпик, кисель гарантирует от провала? Все сто процентов — за них, Петровых: здесь не надо хотя бы уговаривать, морально и политически готовить к риску.

— Мы готовы. Хоть сейчас,— закончил Иван.

Прямота Ивана и резкость его характера всегда нравились Ровнеру. Он выслушал его, снова наклонился над чашкой: жестковатое лицо Акима немного согрелось и подобрело — от чая, от тишины в подвале, от запальчивости Ивана.

— Хорошо! — согласился Ровнер, немного помолчав. — Только я тоже хотел бы конкретно знать: где и как вы собираетесь установить технику?

Опершись о стену, Иван весело рассмеялся:

— Аким! Мы с тобой как цыгане! Еще не купили кобылу, а уже жеребенка продаем! — Потом отодвинул чашку и серьезно сказал: — Разреши откровенно. Где и как мы установим технику, я никому не скажу. Даже тебе. Серьезно. Только три-четыре человека, только те, что непосредственно станут печатать листовки, и будут знать. А больше никто. Ты понимаешь, чем это вызвано.

— Ладно,— сказал Ровнер. — Согласен. И нисколько не обижаюсь!

А про себя отметил: «Что ж, он прав. Арест Чигрина, осада всех нас шпиками, увольнение из цехов не кого-нибудь, а именно тех рабочих, которые связаны с подпольем... Какая-то подозрительная последовательность. Кто-то словно точит нас изнутри».

Вы, конечно, помните: у Грабова на последней сходке присутствовал Мульгин, слесарь, организатор партийной кассы. Тот же Козловский писал в воспоминаниях: «...Мульгин входил в число организаторов апрельского собрания.

Он так хитро вел свое дело, что... охранка в два счета ликвидировала всю организацию». В два счета — это преувеличение. Нет, охранка долго еще выжидала: она надеялась проникнуть глубже в организацию и напасть на след тайной типографии. Но сейчас для нас важнее другое: в комнате Грабова был Мульгин, который тоже «пострадает» за революционную деятельность: охранка его арестует, посадит в тюрьму, в кандалах отправит в ссылку, и там он будет... шпионить и доносить на социал-демократов.

На сходке Мульгин сидел недалеко от Петрова. Нельзя сказать, что Ивану понравилось или не понравилось его твердое скуластое лицо; ничего подозрительного в нем он не заметил — обыкновенная физиономия заводского парня. Нет, не присутствие Мульгина толкнуло Ивана отозвать Ровнера в сторону и сказать: «Надо с тобой поговорить. Один на один». Уже тогда проявилось у Ивана удивительное чутье конспиратора, позже он даже поставит условие: «На заседания комитета ходить не буду. Связь — через Филю Андреева». Что-то будто подсказывало ему: заслала охранка в комитет своих людей.

— Итак, ты спрашиваешь, где техника? — вернулся Ровнер к прежнему разговору.

В нескольких словах он рассказал сложную и запутанную историю большевистской типографии, которая исчезла осенью девятьсот шестого года. Обычная ситуация: арест, обыски, комитетчики в тюрьме, замешательство среди тех, которые сочувствовали, тревога подставных лиц: куда сбыть небезопасное имущество? Типографию разобрали на части, переносили из одного двора в другой, затем ее тайно купил бывший бундовец, но вскоре перепродал в другие руки. Одним словом, Ровнер через своих людей напал на след затерявшейся типографии: она у какого-то Васильчикова. Закопана во дворе, едва ли не в центре города...

Из донесения начальника Николаевского охранного отделения в департамент полиции: «По имеющимся сведениям, типография Николаевского комитета РСДРП спрятана в Портовом районе, за городом, в одном из ближайших сел».

— Близко, почти в центре города. Взять ее можно хоть сейчас. Но еще неясно одно: не агент ли охранки тот Васильчиков? Как будто был социал-демократом, отошел от работы, притих, теперь занимается перепродажей дров; необходимо выяснить: зачем он приобрел два ящика гарнитуры и типографские валики. Зачем они перекупщику? Есть тут какая-то загадка...

— А может, и нет ее? — заметил Иван. — Вы же знаете, Аким, психологию мелкого хозяйчика. Шепнули ему: пропадает добро,

бери, за бесценок отдаю; добро небезопасное, спрячь, года два полежит, глянишь — и капитал наживешь; слышишь — революцией пахнет? Взял и боится, видит — не скоро покупатели придут.

— Может быть и так,— согласился Ровнер. — Только не будем рисковать. Не прямо, а обходным путем подъедем к нему. Хочу послать Дору, в таких делах она незаменима. Пускай поговорит, поторгуется с ним — от имени, так сказать, портовых контрабандистов. Проследим, как он себя поведет. Лучше день подождать, чем год отсидеть в тюрьме, да к тому же ни за понюшку табака. Ты согласен?

Они допили чай. Из свечки на стол натек кружочек белого воска. Дора будто бы чувствовала, что разговор закончен, повернула ключ в двери и вошла в погребок.

— Спасибо за крепкий чай,— поблагодарил Ровнер. — Малость согрелись.

— Заходите. У нас гудаутская заварка, ароматная; говорят, лечит...

— От чего?

— От долгой холостяцкой жизни.

Дора улыбнулась одними глазами и задержала взгляд на Иване. Здоровый горбоносый парень с толстыми губами, серьезный и нахмуренный, чем-то ей пришелся по душе. Возможно, тем, что весь он был как бы сам в себе, сосредоточен на одной какой-то мысли. «Хорошая молодка!»— думал тем временем Иван; он ощутил тепло ее быстрых белых рук, которые убирали чашки, и такое же тепло разлилось в его груди. Только теперь он, кажется, по-настоящему почувствовал, какой запах у гудаутского чая.

Расстались с Ровнером на улице. Город уже спал. Моросил холодный дождь, небо затянулось тяжелыми тучами. Аким крепко пожал Ивану руку и полушутя сказал:

— Готовь, Ваня, фургон. Скоро поедем. Нет, не сюда, не к Доре, видел, как ты посматривал на нее! За техникой, Ваня, поедем. Когда — передам через Грабова.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Весь апрель — ожидание. И нудное, томительное домашнее затворничество. Хотя были, конечно, и светлые минуты, были и радости, на то и весна колобродила и звонче, сильней светила в окна, чтобы люди выходили из своих зимних углов и радовались теплу и жизни. Шура, тайком от Ивана, по вечерам выскальзывал незаметно из дома и где-то часок-другой пропадал; Иван уже догадывался: бегает, наверное, на вечеринки, к девчатам, к своим заводским друзьям-товарищам. У Михаила и у матери были тоже свои радости и свои тайны: наконец, хоть в эти дни, они могли от души поговорить, побыть вдвоем...

Ничем и никогда не выделяла Елена Федоровна своего старшего сына, любила Михаила так же, как и остальных детей. Но

случались в ее жизни такие минуты, когда сердце сжималось тяжело и горько, когда поделиться своими женскими обидами и тревогами она могла только с одним человеком, с Михаилом. Он садился тогда перед нею на скамейку, подбирал рукой густой золотистый чуб, спадавший ему на широкий открытый лоб, и, сутулясь, мягко и проникновенно вглядывался в мать. В его фигуре, кряжистой и немного неуклюжей, чувствовалась доброта и, возможно, не совсем уверенная сила, в глазах никогда не угасало беспокойство: так ли он понимает мать и не нужно ли ей в чем-нибудь еще помочь?

В ссылке Михаил все время думал о матери. И теперь ни на шаг от нее не отходил. Накинув на плечи старый заводской пиджачок, он как-то неумело и тяжеловато топтался возле матери, словно остерегался, чтоб не опрокинуть что-нибудь, плечом не задеть, не уронить, потому что был намного выше матери и головой доставал до икон и до пучков травы, которую она подвешивала сушить на потолок. Михаил подбил на кухне немного покосившийся косяк, отыскал в чулане надколотое зеркало без рамы, обрезал выщербленный кусок стекла и принялся сбивать тумбочку: будет домашнее трюмо! Делал он все это или в комнате, или во дворе, только обязательно возле матери, и не забывал спросить ее: что еще починить? Вместе они принялись поправлять плиту, в которой перегорели колосники, и надо было видеть, с какой любовью трудились они вдвоем, как при этом тепло и задушевно беседовали! Словно хотели исповедаться за все дни разлуки, словно чувствовали: недолго им быть рядом. Они были счастливы вдвоем, без конца разговаривали, и, возможно, больше взглядами, добротой и ласковостью глаз, нежели словами. Вдвоем, вполголоса, принялись петь, сначала «Зозуленьку», которую переняли от «бабы Ядзи», полячки, матери Елены Федоровны, а потом затянули украинскую печальную: «Раскопаю да гору высокую». Не раз в порыве нежности трепала мать Михаила за густые волосы и говорила: «И где ты чуб такой золотой да роскошный взял! Вырастал ты у меня в горе и нужде!» Наедине с матерью Михаил читал ей свои грустные тюремные стихи, и она украдкой смахивала трогательную слезу.

Эти минуты останутся самыми дорогими воспоминаниями в короткой жизни Михаила.

Ивана немного удивило, когда после пения, растроганного перешептывания с матерью на кухне старший брат вдруг подошел к нему вечером нахмуренный и сказал:

— Поговорить мне с тобой надо. Не здесь. Там. — И он кивнул на дверь.

Лицо Михаила, всегда такое добродушное, открытое, с доверчивой улыбкой в уголках губ, сейчас выглядело усталым; какая-то тень грусти, настороженности лежала у него под глазами.

Вышли во двор, остановились возле сарайчика. На улице было темно и слегка подмораживало.

— Закурить бы,— сказал Михаил.

Иван совсем не курил. Шура и Михаил изредка, и то когда что-то у них не клеилось. Но курили они как-то чудно, могли тут же бросить и месяцами не думать о табаке.

— Что у тебя, Михаил, говори? — спросил Иван и посмотрел на брата, который заложил руки за куртку и стоял так, согнувшись и нахмурившись.

— Понимаешь,— тяжело вздохнул Михаил,— на завод мне надо, в цех, на работу.

— А почему тебе? Почему не мне, почему не Шурику?

— Ты не сердись. Ты лучше послушай. Сколько можно сидеть дома. Без работы. Мне не лезет в горло тот хлеб, который мать своими руками зарабатывает. Пойми...

— И мне, Михаил, не лезет. Я думал, быстрее все обернется...

— А потом... Мать просто скрывает, насколько серьезно она больна. Я вчера ночью проснулся и через сени услышал: стонет она и пытается подняться. Бросился к ней. Ты знаешь... Ноги ей свело, не могла даже согнуться, дотянуться до скамейки, где стоит ее мазь. Когда я подскочил, она растерялась и говорит: «Михаил, ну чего ты? Иди спать, я одна управлюсь...» У нее, Ваня, то, что после отца было, не прошло бесследно... Я о параличе говорю...

Разбередил Михаил и без того больную рану Ивана. Ведь тот и сам понимал, в каком они сейчас глупом положении: мать, больная и старая, зарабатывает на них стиркой и починкой белья, а они, три здоровых парня, ничем не могут ей помочь, разве что мелким домашним приработком — ремонт швейных машин, за который взялся Иван, изготовление слесарных инструментов на продажу... Но другого выхода пока что Иван не видел. Он решил ждать, не раскрываться, чтобы уйти потом в подполье, в типографию, на нелегальное положение. Может, тогда деньгами помогут как-то товарищи, а если нет, стянут потуже ремень и будут терпеть. Главное — типография.

— Ну, и что ты предлагаешь? — спросил уже с каким-то раздражением Иван.

— Отпусти на завод. Пойду в котельный цех, немного подзаработаю, а вы тем временем с Шуриком...

Это прозвучало так наивно и трогательно: старший брат просил у младшего отпустить. Обращался, словно к отцу. Братья привыкли к диктату Ивана, подчинялись ему без всяких возражений, вот и сейчас Михаил думал: как скажет Иван, так и будет. Безусловно, Иван припомнит: «Помнишь, Миша, о чем мы договорились на Кеми? Ничего личного, никаких «хочу» и «надо». Всю энергию в один удар, в подпольную работу. Только так можно пробить стену. Вот мы о чем говорили...»

Михаил понимал: все это так, все это верно. И все же с надеждой поглядывал на брата.

— В котельный цех меня бы взяли. Я им там самые никудышные, прогоревшие котлы чинил. И вам с матерью легче было бы...

— Михаил, ты как ребенок! Разве ты не понимаешь: на корабельный завод ни тебе, ни мне нельзя! Не возьмут нас без проверки. А проверка — это наш побег и, значит, немедленный арест, гласный или негласный надзор за домом. Так все задумали красиво, так готовились — и вдруг провалить? Михаил! Давай подождем. Немного еще подождем! А если хочешь, давай сделаем по-другому. Поезжайте с Шурой на неделю-вторую к Ане в Кременчуг. Там пойдете на приработки, только в среду рабочих, и присмотритесь: кто есть из большевиков. Связи нам с Кременчугом очень пригодятся: транспортный узел, можно будет литературу переправлять. Ну, как ты, Михаил, согласен? Я давно думал об этом...

Михаил молчал, с отрешенным видом глядя под ноги и закусив губу. Видимо, он все еще был в плену мыслей о заводе, о котельном цехе, о своем молчаливом друге Ване Кондареве. Рябой Ваня — так называли Кондарева на заводе — был очень заметной фигурой в цехе: высокий ростом, тонкий, лицо у него словно выжжено, почерневшее от оспы. Совсем рябое, как будто побитое дробью. Так хорошо с ним работалось в котельном, до одури, до сладкого изнеможения и немоты во всем теле.

Михаил отвернулся и тяжко вздохнул. Мысленно он уже согласился. Если нельзя в свой цех, что ж, поедет на неделю-другую в Кременчуг.

Сейчас ему очень хотелось закурить. Потянуть с досады разок-другой крепкого табачку и затоптать бычок в землю, чтобы захрустела под сапогом остекленевшая к вечеру от мороза грязь. «Революционер не имеет права на личную свободу и личное желание, он — только порох, он кидает себя сознательно на самосожжение в огонь борьбы». Кто это сказал? Эсеры или еще какие-то запуганные мелким заговорщичеством горе-герои?

Сестра братьев Петровых Аня жила отдельно, недалеко от Ингула, на так называемой Красной горке. Рано, еще совсем молодой, она вышла замуж за еврея-выкреста Лейкина, родила ему двоих детей, двух черненьких хорошеньких девочек. Лейкин был много старше Ани, служил мелким чиновником в суде, зарабатывал мало, часто болел, и потому семья скоро познала нужду. В те годы один за другим закрывались мелкие мастерские и заводы, цены на базаре баснословно росли, толпы голодных и безработных наполняли город. Чтобы как-то прокормить семью, Лейкин один остался в Николаеве на службе, а жену с малыми детьми отправил в Кременчуг. Там у него жили старики, мелкие ремесленники, на железнодорожной станции служил старший брат. Брат этот занимал довольно высокий пост — был начальником службы пути. А это означало, что имел он приличный заработок, казенный дом с лошадьми и экипажем (для объезда служб на линии), имел связи и немалый авторитет среди местного начальства.

Иван обратился к Лейкину. Как чиновник, который больше всего боится за свою репутацию и за свое место, зять-выкрест обходил Петровых, умел все подстроить так, чтоб и Аня не часто наведывалась к матери. Однако, когда Иван обратился к нему, не отказал, пообещал, что подумает и поможет; голод не тетка, это Лейкин хорошо знал по собственному опыту. А потом, Петровы, как ему казалось, брались, видимо, за ум. Он подумал, списался с братом-начальником и договорился, что тот заберет к себе Шуру и Михаила, устроит обоих на подсобные работы в депо или в железнодорожные мастерские. Кроме того, кременчугский свояк-начальник обещал, что он поговорит с паровозными кочегарами, и те бесплатно будут подвозить ребят домой до Николаева на выходные дни и потом обратно. В подпольной работе, к которой готовились братья, это имело немаловажное значение: быстро приехать в Николаев и, в случае необходимости, так же быстро исчезнуть.

...Довольные, что все так хорошо устраивается, Шура и Михаил собирались в дорогу. Они хотели выехать из дому незаметно, ночью. Братья, конечно, не знали, даже не подозревали, какая неожиданная перемена произойдет в скором времени в их жизни.

Елена Федоровна сидела на кухне, прислонившись спиной к плите. Разглядывала Шурин пиджак, невесело вздыхала и сама у себя спрашивала: «Ну как и что здесь чинить?» Пиджак и в самом деле весь износился и, как тонкое сито, насквозь просвечивал на спине. Прищурив глаза, глубоко запавшие под поседевшими, иссеченными бровями, мать начала вдевать в ушко иголки нитку, тыкая ее куда-то мимо. В это время тихо приоткрылась дверь и на пороге выросла... Таня Грабова.

— Таня! Голубушка моя! Слава богу, что ты пришла,— хватаясь за поясницу, встала Елена Федоровна; она вся сияла от радости, пошла ей навстречу, предложила табурет.— Садись, садись, дочка! Нам вот столько невесток надо в хату!

Таня, невысокая ростом, стройная и смуглая, в темном кожаном пальто, подпоясанная широким поясом, что придавало ей некоторую суровость и напоминало матери одну из молодых учительниц женской гимназии, остановилась на пороге и как-то неуверенно посмотрела на пол, потом на свои сапожки. Обувь у нее была изрядно обрызгана рыжей слободской грязью.

— Да проходи, проходи, не бойся, Таня, я подберу. Чего ж ты так долго к нам не приходила? Я тебе давно рукавички из белой шерсти связала, уже и холода проходят, а тебя все нет. Но ничего, на следующую зиму сгодятся, правда? А ну, посмотри, хорошие получились?

Елена Федоровна быстро открыла нижний ящик сундука, покопалась там и вытащила белые шерстяные рукавички. Сразу было видно — сделаны они с большой любовью: вязка густая и ровная, скромно украшенная черным узором.

— Примерь! — сказала Елена Федоровна.

Таня все еще стояла у порога. Она смотрела на Елену Федоровну нежно и понимающе, но одновременно с легким укором: «Елена Федоровна! Зачем? Не надо! Не морочили бы себе голову. И без того знаю ваше доброе сердце. А руки... Руки у меня закалены на сибирских морозах. В Тоболе, на реке, приходилось стирать арестантские лохмотья даже в ледяной проруби. На сорокаградусном морозе. Пальцы замерзнут — не сожмешь в кулак. Но ничего, выжила...»

Таня взяла рукавички, примерила, сказала — в самый раз пришлись, спасибо. И замолчала, вопросительно поглядывая на дверь.

— Ты, я вижу, куда-то торопишься,— догадалась Елена Федоровна. — До хлопцев на минуточку забежала? Правда?

— Точно, на минуточку. Позовите, пожалуйста, Ивана.

Елена Федоровна накинула платок на плечи, поковыляла через сени звать сыновей.

— Идите сюда, отшельники! Здесь невеста пришла, а вы чем занимаетесь? Все бы вам книжки читать да строгать-мастерить. Так и состаритесь без любви, без женской ласки, горе мне с такими сыновьями!

Братья сгрудились у двери. От приятной неожиданности они подняли удивленно брови, заулыбались, заговорили все сразу, перебивая друг друга:

— О-о, Таня!..

— Здравствуй!

— Пришла наконец.

Девушка покраснела, окинула быстрым взглядом братьев, и чувства, переполнившие ее, отразились на ее тонком смуглом лице: были здесь и радость, и растерянность, и скрытая грусть о чем-то невозвратном. Но взгляда в сторону она не отвела. С напряжением, с особенной печалью и добротой посмотрела на Шуру, потом на Михаила, на Ивана, снова залилась румянцем и произнесла:

— Я вас такими и помнила. Всегда вместе. Всегда втроем я вас и вспоминала.

— Три богатыря! — добавил по привычке Шура и кулаком постучал в свою худую узковатую грудь.

Теперь Таня улыбнулась непринужденно, с тем влажным и радостным блеском в глазах, который делал ее красивой и особенно привлекательной, озаряя чистым пламенем молодости. Елена Федоровна заставила девушку снять пальто и кожаную шапочку. Таня уселась на скамью в белой блузке, в длинной узкой юбке, тоже подпоясанной широким поясом. Постороннему человеку, по-видимому, трудно было бы представить, что эта невысокая смуглая горожанка с мягким и будто нерешительным взглядом — революционерка, двадцатилетняя подпольщица, которая уже успела побывать и в Бухтеевке, и на Холодной Горе, и в «Крестах», вслед за братом прошла по каторжному тракту в Сибирь и обратно на Украину.

Но стоило только присмотреться повнимательнее — и можно было увидеть в тонких Таниных чертах, в тайниках нежной девичьей души характер, и характер особенный. Такая самоотверженная преданность, готовность любить вас, страдать, идти за вами, находить и свое счастье в любви, в страдании, в самопожертвовании, искренность и доброта светились в каждой ее черточке, присутствовали во всем ее облике. О ней можно было бы сказать: это тот же Ваня Грабов, только по-своему, может глубже, молчаливее, застенчивее, предана она людям и борьбе.

Легким кивком головы Михаил указал Ивану: смотри, мол, у Тани нет уже косы, видно, после тифа отрезала. И в самом деле, некогда длинные, густые волосы Тани теперь были коротко подстрижены, ровным ободком облегали голову, шея была открыта, и это придавало ей совершенно новый, какой-то гимназический вид.

— Извините,— обратилась Таня к матери. — Бегу! С Ровнером встреча... Ваня, выйди на минутку, мне надо сказать тебе пару слов.

Они подошли к глухой калитке в саду, которая вела к Николайчукам. Остановились. Таня еще в комнате застегнула пальто на все пуговицы и словно бы сразу замкнулась в себе, заметно было, как она волновалась и старалась собраться с мыслями. Всем своим существом она чувствовала, что рядом стоит Иван, высокий, без шапки. Ветер легонько ворошил волосы Ивана, а он както тяжело сутулился, ловил ее взгляд и затаенно, одними глазами спрашивал: «Таня, скажи, там, в Сибири... хотя бы иногда, в минуты одиночества... вспоминала ты этого черствого, недостойного тебя отшельника? Ему, этой аскетической натуре, так неуютно жилось на Кеми... без добрых твоих, печальных глаз».

Таня смотрела в сад на темные крупные капли, срывающиеся с деревьев; потом быстро провела ладонью по щеке, словно прогоняла ненужные мысли, и сказала:

— На днях Ровнер хочет встретиться с тобой.

— А что? Возможно, прослышал что-то новое о технике? — сразу оживился Иван.

— Может быть, и о технике,— согласилась Таня. — Ровнер уже встречался с каким-то Васильчиковым, вел переговоры, но сказалось обоюдное недоверие: мы думаем, что Васильчиков провокатор, а он, наверное, боится, не провоцируем ли мы его... Есть еще и другие дела,— напомнила Таня. — Арестовали Чигрина, и кое-кто потерял уверенность, надо ли созывать конференцию именно сейчас, когда наступает реакция. Ровнер предлагает идти всем боевикам в порт, на завод Донских, идти на те предприятия, где есть социал-демократические группы. И терпеливым словом, разъяснением подымать дух у людей, серьезно готовиться к городской конференции. Одним словом,— сказала Таня,— Ровнер хочет встретиться с тобой в порту на конспиративной квартире. — Таня назвала адрес и, не обращая внимания на слегка улыбающиеся глаза Ивана (потому что он знал Портовый район как свои пять

пальцев), начала подробно объяснять, как и где найти ему глухую улочку за крайним причалом. Дважды повторила пароль, чтоб лучше запомнил. И посмотрела прямо ему в глаза. Неожиданно для себя она отметила, что Иван крепко сжал губы, однако на его лице притаилось нечто похожее на ироническую улыбку. Таня как бы с обидой сказала:

— Ты меня несерьезно слушаешь, друг мой. Или догадываешься, что сейчас я скажу приятную для вас новость.

— Кажется, я догадываюсь. Говори. Видишь, я совсем серьезный.

Таня еще раз посмотрела на Ивана быстрым, печальным взглядом, зарделась вся и сразу же насупилась, как бы предостерегая, чтобы не перебивал ее. То, что она сообщила, для Ивана было и в самом деле неожиданным и приятным. Через своих людей Грабову удалось узнать: в списках политических беглых фамилии Петровых нет. Департамент полиции разыскивает — и об этом объявлено в полицейских розыскных ведомостях — Акима Ровнера, Филю Андреева и еще нескольких николаевских, а братья в «беглых преступниках» не значатся.

«Значит, у нас развязаны руки,— обрадовался Иван и подумал: — Арест и отсидка без следствия, потом спешка при высылке, наши подставные фамилии — все это, по-видимому, здорово нам помогло!»

Теперь он слушал Таню с удвоенным вниманием и удивлялся: как проник Грабов в жандармское отделение? Да, Ваня Грабов просто незаменимый человек для подполья! У него не только секретное паспортное бюро, он вообще, как никто из товарищей, знал все тонкости конспирации. Таня сказала, что брат считает: Петровы вполне могут покинуть подполье. Ибо длительное затворничество может только вызвать подозрение. Но, выйдя на улицу, тоже не следует привлекать к себе внимания. Надо играть роль раскаявшихся. Отбыли свое, обожгли на морозе доверчивые души и опомнились. Никакой политики, никаких социалистов, просто живут тихо, по-христиански, зарабатывают на жизнь. Как правило, полиция не копается в старых судебных делах, у нее по горло сегодняшних забот — следить, чтобы у тех, политически неблагонадежных, никто не собирался и чтобы они, неблагонадежные, тоже не объединялись между собою.

— Ну нет, здесь я гарантирую! — засмеялся Петров. — У нас никаких сходок не будет!

Таня взволновала Ивана и своей новостью, и этой простой человеческой заботой. Наверное, не один вечер она разговаривала с Ровнером и с братом, как получше устроить Петровых. А сейчас стояла перед Иваном немножко суровая и замкнутая, смотрела на мокрый сад, и ее маленькая рука уже лежала на щеколде калитки, чтобы открыть ее... Иван взволнованно подумал: как все кстати! Только что они с матерью договорились — не позже завтрашнего дня! — отправить Шуру и Михаила в Кременчуг, отправить тихо и скрытно, но теперь все будет по-другому: не надо

прятаться! Братья поедут открыто, чтобы все видели в Слободке. Возможно, даже втроем покажутся на люди! Прекрасная маскировка. Лучше и не придумаешь! Возвратились они (вчера или позавчера, кто на Слободке будет присматриваться), а в городе тяжелая безработица, не нужны никому твои рабочие руки. И остается единственный выход — ехать в Кременчуг, к сестре, там свояк обещает хороший заработок. Логично? Вполне логично. И хорошая отговорка на случай, если они откопают типографию и уйдут в подполье, тогда можно будет объяснить, почему они то появляются дома, то исчезают. Сейчас сотни таких: батрачат, все время на колесах, подрабатывают где-то на стороне, в Кременчуге, а то и подальше. Дома бывают только наездами...

— Ты умница! — подал Иван руку Тане. — Расцеловал бы тебя за прекрасную идею, да знаю, ты пуританка, отгородишься Фейербахом, Плехановым. Или нет? — Он посмотрел ей прямо в глаза, с веселым вызовом, и она вся покраснела, хоть и знала, что Иван шутит и не переступит без серьезных чувств ту границу, которой строго определялись их отношения и вообще ссыльная, тюремная, кочевая жизнь самых близких партийных друзей, когда подчас любовь, само существование и смерть до трагического стояли рядом.

Ни в самом себе, ни в тех, кто его окружал, не признавал Иван простоватого тона, молодцеватости и панибратства, а потому сжал губы, сразу посерьезнел и сказал характерным для него глухим и хрипловатым голосом:

— Передай Ровнеру, что завтра вечером я буду у него. — Он поглядел в сад, куда смотрела Таня, и вдруг произнес уже другим голосом: — А вообще, Таня, мы с тобой как те поезда. Встретились на станции, окликнули прощально друг друга и разъехались в разные стороны. Только потом в снегах или в ссылке вспоминаешь: слово жило, хранилось в тебе годами, а ты впопыхах, в спешке забыл, не успел его сказать там, на полустанке...

Таня подошла к калитке, тихо уронила: «Опаздываю! Ровнер меня ждет!» — и быстро побежала садом, затем растерянно оглянулась и словно сказала ему грустной улыбкой: «Позже, позже, Ваня, поговорим!» Хотя и сама, наверное, чувствовала, что это тоже один из полустанков, что они еще встретятся раз или два второпях, на бегу, а потом жизнь и борьба разбросают их в разные стороны и чугунные колеса истории каждому отстучат свою судьбу.

...Братья уехали. Вся Слободка видела, как они прощались с матерью. Темный холодный вечер застал их на станции. Иван передал дорожный сундучок Шуре. Сам пошел на железную дорогу, договорился с паровозниками, и те за полтора рубля согласились взять Шуру и Михаила в товарный вагон. Кутаясь от ветра, они стояли на шпалах; Иван глуховатым голосом давал последние советы на дорогу: долго не задерживаться на одном месте, устраиваться на временную работу, а как только выяснится что-либо с

техникой, он сообщит в письме условным знаком — возвращайтесь!

Мимо Ивана прошли, громыхая, пустые товарные вагоны, и он, проводив Шуру и Михаила в глухую холодную ночь, поднял воротник пальто и в сырой ветреной темноте, по шпалам, через проходные дворы, а дальше ночной околицей направился в порт, где его уже ждал Ровнер.

С этого дня Иван жил недалеко от коммерческого порта, на так называемых Песках, у одного своего товарища. Изредка ночевал в пустом доме Ани, когда уезжал Лейкин по судебным делам в провинцию, иногда, правда осторожно и не так часто, по ночам заходил домой, чтобы проведать мать, поговорить с нею. Им было хорошо вдвоем, на кухне, без огня, а уходя из дому, он тихонько старался засунуть под скатерть хоть какой-нибудь рубль; из рук мать не возьмет, а будет убирать — найдет, головой покачает и тихонько скажет: горе мое, не сыны! Себя не жалеют ничуточки!.. Новая работа в порту, нелегальная, пропагандистская, увлекла Ивана, но он не забывал о типографии и не случайно встречался частенько с Ровнером. Через три недели отправил в Кременчуг письмо; написано оно было от лица матери; Елена Федоровна писала Ане, что она жива и здорова и высылает девочкам, своим дорогим внучкам, на платьишки два метра голубого ситца. Это был сигнал для братьев: есть техника! Возвращайтесь!

...Через два дня Шура и Михаил ввалились в хату, на улице было еще темно; с ними отчаянно и с шумом ворвались в помещение свежие ветры с поездов, гром жизни с далекой станции, запах смазочного масла, ключей, гаек,— словом, горячей работы. Братья были возбуждены; раздеваясь, наперебой рассказывали о Лейкине-чине, кременчугском князьке, о железнодорожной мастерской, куда их взяли, о своем начальнике, который был крепкий телом, настоящий паровоз, а по натуре сатана, ломал и гнул людей в бараний рог, о том, как Шура сразу же схватился с ним (тут Иван оборвал Шуру: никаких забастовок! Нам еще придется проситься в мастерские, это прекрасное для нас прикрытие!).

Наговорившись вдоволь, братья выложили свой скарб. А привезли они из-за Днепра целое богатство: мешок гречневой муки, сушеную рыбу и в придачу — деньги.

Ужин был, как никогда, на славу. Елена Федоровна даже стол покрыла нарядной скатертью, сама аккуратно причесалась и, довольная сыновьями, шепнула в угол святой Марии: «Дай-то боже, чтоб почаще так, собирались вместе — с хлебом-солью в хате». Много говорил Шура и без конца шутил за столом, рассказывая кременчугские новости.

После ужина Иван подошел к окну, посмотрел на круглую красную луну, висевшую низко над Слободкой, и вдруг, обернув-

шись к Шуре и Михаилу, произнес вслух то, что давно не давало ему покоя:

— Что ж, хлопцы, начинается для нас новая жизнь. Большая и трудная. Поедем выкапывать технику. Завтра ночью. А теперь — на боковую, надо отдохнуть, а то кто знает, будет ли потом хоть одна спокойная ночь.

Луна освещала окно, и Шуре казалось, что длинные и темные тени от оконных рам тревожно отражаются на стене, так же как в Кеми когда-то от полярного сияния отражались тени чугунных переплетенных решеток на стенах барака. Ласковым, добрым сердцем он почувствовал, что в их беспокойной жизни наступает еще одна резкая перемена, бросаются они в такую пропасть, которая, наверно, закрутит их и поглотит с головой.

«ТЕХНИКА В НАШИХ РУКАХ!»

Пока все складывалось так, как уговорились. На Адмиралтейском соборе колокол пробил двенадцать часов ночи. Иван вышел из подъезда, прислушался к глухому стуку капель воды; крупные редкие капли падали с крыш и разбивались о кирпич мостовой. Темно, душновато, город словно вымер. А вот, кажется, и они! Из бокового переулка послышался скрип подводы, которая направлялась к Ивану. Петров ждал ее с нетерпением и про себя ругался, если стучали колеса о камень, фыркал конь или копытом бил о мостовую. Ночь стояла теплая и сырая, скрип подводы терялся в нескольких шагах в набухшей темноте, однако Иван подумал: быстрее бы ехали и потише!.. Он увидел, что подвода одноконная, впереди сидел какой-то незнакомый крупный мужчина, за ним чернела чья-то приземистая фигура. Наверное, Ровнера.

Иван еще раз, инстинктивно, посмотрел в черный провал двора: кажется, нет никого. Можно не беспокоиться, все идет с надлежащей предосторожностью. С Филей Андреевым они здесь дежурили с самого вечера. Обошли все дворы в квартале, заглядывали в подъезды, в подворотни: нет ли где засады? Теперь Филя пошел патрулировать на тот конец улицы, а Иван остался здесь, возле двора Васильчикова. Что-то его мучило, угнетало, он поглядывал на двухэтажный дом с балкончиком, там светилось окно; за шторой, Иван знал, находилась Таня и, может быть, вязала платок. Она пришла к подруге еще днем и сидела у окна; если бы заметила кого-нибудь подозрительного на улице, то вышла бы к Ивану. Однако не выходила. А он с мальчишеской тоской посматривал на окно и сам на себя сердился.

Через час они снова с Филей прочесали квартал. Во дворах было тихо и спокойно, последние шаги на ступеньках, последние голоса на кухнях, гаснет свет в окнах, город погружается в сон, и понемногу исчезает подозрение к Васильчикову: нет, наверное, не провоцирует...,

Подъехала подвода.

Иван почувствовал тяжелый горячий запах вспотевшего коня и ременной сбруи. Ровнер спрыгнул на землю, быстро прошел мимо Ивана, бросил на ходу:

— Все в порядке?

— В порядке,— ответил Иван.

Так же поспешно Ровнер зашагал в подъезд. Не иначе как на последний торг с Васильчиковым.

Иван подошел к подводе. На ней лежало что-то громоздкое, похожее на бочку, а на передке, как туча, понуро сидел извозчик. Кивком головы Иван поздоровался с ним, посмотрел на темное, закрытое воротником лицо, затем осторожно пощупал бугорчатую поклажу на подводе,— это были мешки с сеном.

— Ваня, иди сюда,— тихо позвал Аким.

Возле каменной стены, в темном углу двора, на ощупь возились двое: Ровнер и еще один мужчина, по-видимому немолодой. Тяжело дыша, они оттаскивали в сторону большой противопожарный ящик с песком. Иван бросился им помогать. Ухватился снизу за скользкие мокрые доски, потянул на себя, подгнившее дно затрещало. «Эх, черт! — рассердился Иван. — Давайте, я один». Нагнулся, подпер плечом и юзом потащил ящик, чувствуя радость человека, который может, если потребуется, сдвинуть гору. Он любил такую работу — мужскую, проклятую, до хруста в косточках, до вспышки крови в разгоряченных жилах. И этим походил на отца. «Фу!» — сказал он, довольный, что наконец управился с ящиком. Неповоротливый хозяин сунул ему в руки лопату. Начали копать землю. Хозяин тяжело и нервно дышал, наверное от страха. Почему-то Иван именно таким и представлял себе Васильчикова: мешковатым и суетливым; даже одетым вот так — в кожушок-кацавейку.

— Сколько он денег содрал? — тихо спросил Иван Ровнера, оттеснив спиной хозяина.

— Потом, потом поговорим об этом, не сейчас,— торопливо произнес Аким, оттаскивая в сторону какую-то фанеру.

Иван всадил лопату на полный штык — она заскрежетала, уткнувшись во что-то железное.

— Наконец-то! Господи благослови, разгребайте! — тяжело вздохнул хозяин и, возможно, перекрестился в темноте; от него несло горячим потом, он суетился, торопил, желая поскорее все закончить и отделаться от опасного клада.

Сняли несколько листов жести, затем сгребли влажный войлок, с резким запахом плесени. Под ним нащупали что-то грубое, ящики или коробки, присыпанные сверху землей и кое-как обложенные старым тряпьем.

— Шрифты! — сказал вспотевший хозяин. — Вытаскивайте!

Вот они, эти шрифты, эти восемь пудов, которые не давали покоя Ивану! Думал ли он, что находятся они совсем недалеко от Слободки, в старом неприметном дворике, под стеной, в земле?

Из донесения ротмистра Фокина в департамент полиции: «После ликвидации Николаевского комитета РСДРП в августе 1907 года тайная типография была разобрана и закопана в землю; в настоящее время она откопана и установлена за городом в одном из ближайших сел, но в каком именно, пока еще не установлено. По агентурным сведениям, прокламации будут доставляться в город на шлюпках».

Иван взял первый ящик, вытащил его из ямы и удивился: «Тяжелый, словно свинец!» Тут же вспомнил, улыбнулся своей наивности, потому что и в самом деле в ящике был свинец, наборный материал, штука на вес не очень легкая. Взвалил груз на плечи и понес к подводе, едва разбирая дорогу в темноте. Бросив на сено ящик, сказал Ровнеру, который бежал следом с какими-то приспособлениями:

— Укладывайте шрифты на подводу, а я остальное притащу.

За три раза Иван перенес все подпольное имущество — шрифты, какой-то вал, еще что-то громоздкое, металлическое. Все это запихали в мешки, затолкали в сено, и Ровнер сказал:

— Поехали!

Подвода покатила по неровной булыжной мостовой, сильно затарахтела; Иван весь съежился, со злостью подумал о вознице: где он достал такой шарабан! Но вскоре подвода свернула за угол дома на грунтовую дорогу, скрип и тарахтенье стихли.

Васильчиков стоял у подъезда, грудь нараспашку, весь вспотевший, тяжело дышал. Он окинул взглядом подводу и, теперь уже не прячась, перекрестился. «Доволен, старый сыч, что отделался и на чай заработал»,— посмотрел на него Иван. Этих спекулянтов-подпольщиков Иван ненавидел всей душой, однако сейчас подумал: спасибо старику и за то, что сохранил технику.

Как договорились, Петров на подводе не поехал. Он остался покараулить, понаблюдать за Васильчиковым. Огонь в двухэтажном доме, находившемся напротив, погас. Таня закончила свою вахту. А старик постоял еще немного у подъезда и направился во двор. Там он долго сопел, загребал лопатой вскопанную землю, затаптывал ногами следы тайника. Потом вытер руки о кацавейку, отряхнул ее. Еще немного постоял. Затем глуховато крякнул и медленно, с оглядкой потопал к крыльцу, стал подниматься к себе наверх, старое дерево отзывалось на каждый его шаг.

«Ну, вот и все как будто! Дед поднялся в свою комнатушку». Иван посмотрел в темный переулок, где скрылась подвода. Там тоже ничего подозрительного, никто не сверкнул огоньком вслед шарабану. Кажется, проскочили благополучно.

«Пора и мне!»— подумал Иван. Он перемахнул через плетень и напрямик, вдоль канавы, быстро зашагал по пустырю. Они с Ровнером договорились, что он догонит его за Военным базаром.

У Петрова были свои потайные дороги в городе — по-за дворами, через сады, калитки и проломы в заборах. И никогда его не

трогали собаки, он хорошо знал собачью психологию: надо идти с палкой, идти напролом, не оглядываясь. Тогда Рябой или Серко, проснувшись, только лениво и растерянно проводит глазами человека, который по-хозяйски мелькнул по двору, держа в руках сыроватый тяжелый дрын. Может, пес для порядка и прохрипит лениво вслед (ночь, темнота, а тут кого-то носит!), но никогда не бросится под ноги и не зальется бешеным собачьим лаем. Псы благоразумны и осмотрительны, как и полицейские,— в темноте, один на один ни за что не вылезут из будки. Пробираясь этими потайными путями, легче было избежать и ночных обходов фараонов и городовых, которые шастали больше всего по освещенным улицам, не углубляясь в рабочие окраины, и всегда гурьбой, стаей, большими группами. Правда, случалось, ночью налетала полиция и на рабочую Слободку, поэтому Иван всегда носил с собой «вессон».

Он шел вдоль садовой канавы, торопился. Молодые ветки деревьев, выбросившие первые листочки, хлестали его по лицу. Удача подгоняла Ивана и горячила кровь: наконец-то в руках техника! Три коробки шрифтов, валики, рамы и прочее снаряжение, о котором Иван совсем не имел представления, что это такое и для чего оно предназначается. Ему хотелось сейчас же, немедленно разложить дома технику, потрогать, протереть все детали и части и тут же — в дело. Запах металла, смазочного масла — вот то, о чем так истосковалась его душа. Все эти полтора года он жил в напряжении, много читал, думал и спорил, но та жизнь, пускай и напряженная, все-таки была для него какой-то неполной — без рабочего пота, без запаха опилок, без дымка из-под резца.

От радости и удачи тело Ивана сейчас наливалось плотной, упрямой силой, он легко перепрыгивал через канавы, доски, заборчики. Ему даже не верилось, что все так удачно сложилось. Ровнер — голова, пошел на риск. Можно было бы, конечно, найти другой путь, менее опасный. Связаться, скажем, с Одессой, с эсерами или даже с анархистами и через них контрабандой достать типографский инвентарь. Но потеряли бы еще полгода. А потерять сейчас полгода... Нет, это недопустимо!

Иван шел торопливо и все время думал о подводе с техникой: а вдруг там, у Адмиралтейства, наткнется Ровнер на наряд полиции! Глубокая ночь, тихо, безлюдные улочки, окутанные сумраком дома. И вот топот коня, поскрипывание подводы. Кто, почему так поздно? Свисток городового, и тогда...

Иван зашагал еще быстрее. Миновал хмурые стены Бухтеевской тюрьмы, издали заметил фонарь над воротами. Это освещалась уже «своя» 1-я Адмиралтейская часть, где пришлось побывать и братьям Петровым и едва ли не всей бунтовавшей Слободке. Под фонарем торчала неуклюже толстая, опоясанная ремнями фигура часового. Не спят «крючки»!

Задворками Иван прошел к оврагу. Здесь, у мостка, его должен ожидать Ровнер. Но... что это такое? Что случилось? Возбуж-

денные голоса, ругань, сопение, чьи-то навстречу шаги. В сырой липкой тьме замаячили фигуры двоих не то троих человек. Один вроде бы похож был на возчика. Он сердито выкрикивал:

— Не трожь, не тащи меня, говорю! Видишь, без твоих понуканий иду. Отпусти!

«Неужели нарвались?» У мостка темнела застывшей копной повозка, и, кажется, кто-то суетился возле нее.

— Аким, это ты?

Наверное, от неожиданности Ровнер на какое-то мгновение замер на месте, в полусогнутом положении. Но, узнав Петрова, обрадованно крикнул:

— Ваня, сюда! Быстрее!

В два прыжка Иван оказался возле Ровнера:

— Что случилось? Налет полиции?

— Бери мешки и за мной!

Взвалили на плечи мешки и, согнувшись, куда-то потащили вдоль изгороди. Свернули вниз, в овраг, на колдобистую дорогу. Под ногами чавкала грязь. Вскоре показалась какая-то глухая улочка, миновали две или три хаты, и перед глазами возникла черная глиняная стена.

— Кидай в сад,— сказал Ровнер. И первым перекинул свой мешок через высокий забор. Затем тяжело вздохнул, вытер пот ладонью. Иван тоже бросил свою ношу через мокрую стену, даже не спросив, чей это двор. А Ровнер уже побежал назад рысцой, кинув на ходу Ивану: — Полиция сейчас может нагрянуть.

Чтоб перенести всю технику, пришлось сделать еще два рейса туда и обратно, в суете, в нервном напряжении.

Наконец, уставшие, испачканные грязью, остановились возле подводы, чтобы перевести дыхание, и Ровнер досадливо не то улыбнулся, не то выругался:

— Глупейшая история! Ей-богу, глупее трудно придумать!

И надо ж такому случиться (словно нечистый попутал!): слетело колесо! Слетело как раз напротив госпитальной будки. Они принялись шплинтовать, а темно, хоть глаз выколи, и вдруг слышат: кто-то спешит к ним. Приплелся какой-то сторож и поднял крик:

— Стой! Кто такие? У кого воз украли?

Когда возчик услышал это охальное «украли», весь задрожал. Мужик, видно, был вспыльчивый, с бешеным характером, как есть ломовой извозчик; он схватил сторожа за грудки:

— Кто украл? Это я украл? Да меня с детства никто вором не обзывал, собачья твоя душа! Это моя подвода, моя собственность. Ясно?!

Сторож испугался, видимо понял — не на того напал, но отступать не собирался:

— Видали таких! Не орать! А вы что, не слышали, как прошлой ночью украли на Одесской фургон со свечами, которые везли для собора? Велено задерживать всех! Чего делаете ночью, если честные люди? Чего крадетесь? Айда в полицию!

Чтоб урезонить сердитого подметалу, Ровнер пустился в дип-

ломатию: «Давайте добром все порешим. Если надо, идите с возчиком в полицию, выясняйте, а я воз покараулю. А то мешки сопрут».

Отправил их, а у самого мгновенно созрел план: недалеко возле оврага живет слесарь-подручный с «Наваля», парень надежный. Вот и решил он свалить груз в его двор!

Через минуту темные переулки наполнились отборной бранью. Это возвращался хозяин подводы и торжествующе отчитывал, во всю ивановскую ругал сторожа:

— Ну что, выкусил, холуйская твоя душа! Да у меня купчая на дом, на транспорт, на коня, бумага с печатью, таракан ты херсонский! А ты меня в полицию!

Сторож что-то бормотал, оправдывался, что он, дескать, не сам, околоточный требует, но возчик с полным правом победителя теперь покрикивал на него:

— А ну, берись за воза, помогай! Выше, выше подымай! Та-ак, сейчас колесо вставлю, зашплинтую. Бесова душа, куда делась чека?

Вскоре колесо установили, зашплинтовали, и подвода тронулась потихоньку на Слободку. Иван постоял, пока она не проехала два квартала, осмотрелся вокруг. Нет, никто за ними не увязался. Сторож побрел себе на гору к госпиталю, и вновь над предместьем повисла сырая весенняя тишина. Иван кинулся догонять подводу.

В ту же ночь, уже под утро, техника была доставлена во двор Петровых и перенесена в сад, под яблоню, где Шура еще днем выкопал небольшой, едва заметный погребок...

...На днях Фокин сообщил в департамент полиции, что его агентура проникла во временный большевистский комитет и теперь вся верхушка николаевской социал-демократии раскрыта и находится под его наблюдением. Это уже была не кабинетная версия, а сущая правда, первый серьезный успех Фокина. И вдруг — срыв. Тот же Часовой (Мульгин) принес новую листовку — список провокаторов. Фокин развернул его и почернел от злости. В листовке, которую распространяли большевики, назывались имена его тайных агентов. Причем назывались совершенно секретные агентурные клички работников охранки, указывалось, на какие предприятия они подосланы. Для самолюбивого деспотичного Фокина это был удар в самое сердце; несколько дней он ходил в подавленном состоянии, курил папиросу за папиросой. Ротмистр представил себе, какой переполох вызовет в Петербурге большевистская прокламация. Спросят: почему агентурные списки попали в руки социал-демократов? Как это понимать: преступная неосторожность? Или, может быть, еще хуже — утечка тайных сведений из самой охранки? Все может простить департамент полиции, только не посягательство на святая святых, на секреты внутренней службы. А что у Фокина? Целым списком десяток агентов выбрасывается на улицу, в толпу, имена их склоняют и поносят на всех заводах, на каждом перекрестке. Можно поду-

мать, что охранное отделение — публичный дом, куда можно всякому заходить!

Фокин кипел от глухого гнева и раздражения. Созвал весь штат, учинил бурный разнос, совал каждому под нос большевистскую листовку, требовал объяснения: что сие означает? Потом закрылся в кабинете, хмуро и желчно ненавидя все и всех, и решил: немедленно пустить в ход жандармерию и полицию, изъять листовки, изъять по возможности все до единой и сжечь; в департамент полиции пока не сообщать, а если не будет специального запроса — вообще умолчать.

Снова и снова просматривал Фокин злополучную листовку, размноженную на гектографе, и убедился: в списке называются информаторы в основном старой, ерандаковской школы. Это еще раз наводило на мысль: здесь что-то подозрительное, попахивает интригами, подсиживанием, если не самого Ерандакова, то его ставленников. Фокин перебрал в памяти всех своих чинов, прикинул, кого немедленно выгнать, а за кем установить свой, внутренний надзор.

В эти дни, в дни смятений и беспокойства, горьких, отравляющих душу размышлений, ротмистру донесли, что объявился еще один предатель, Сучатов. Не могло быть сомнений, на всю охранку угнетающе подействовало скандальное разоблачение нескольких агентов, и потому кое-кто метнулся в кусты. Сучатов панически заявил: с него хватит этой сволочной работы, этого дерьма, он готов выйти на площадь и высечь себя публично. Фокин приказал: изолировать его, тихо и незаметно убрать. На этот раз Фокин был помягче; он поступил не так круто, как с Адамским. Сучатова арестовали ночью на его квартире, заковали в кандалы и бросили в каторжную тюрьму: дорога оттуда ему была только на Сахалин.

Постепенно все утихло. Фокин вернулся к своим ежедневным обязанностям. Приказал вызвать Мульгина.

Готовясь к предстоящему разговору, вытащил из сафьяновой папки последние донесения Часового. Просмотрел шифровки: наблюдение за Чигриным и его арест; собрание у Грабова; деятельность партийных групп на заводе «Наваль». Фокин заметно оживился, удовлетворенно потер ладони: ну-с, какие козыри есть у нас сегодня? Во время пасхальной сходки у Грабова Мульгин напал на след главарей николаевской социал-демократии. Четким, каллиграфическим почерком ротмистр выписал на отдельной карточке фамилии тех, за кем велось уже внутреннее наблюдение:

Аким Ровнер (агентурная кличка «Ключевой»),
Филипп Андреев (агентурная кличка «Ракетный»),
Иван Грабов (агентурная кличка «Убогий»),
Иван Кондарев (агентурная кличка «Рябой»).

Как докладывал Мульгин, на сходке было несколько неизвестных лиц. Напасть на их след пока не удалось. Среди тех, которые особенно заинтересовали начальника охранки, были двое. Один значился в донесении под кличкой Ерш. Приметы: высо-

кий, толстогубый, светло-золотистые рассыпающиеся волосы, глаза голубые. Второй — Ус. Светлый шатен, с виду — серьезный и замкнутый; пришел на собрание с опозданием, а потом незаметно исчез. Мульгин допускал, что эти двое или родственники, или случайно похожие друг на друга, но то, что они оба заводские рабочие, Мульгин не сомневался: одежда, внешний вид, манера держаться — все свидетельствовало об этом.

Настало время вплотную заняться ими.

Как всегда, Мульгин тихо прошел в кабинет Фокина и уселся в кресло напротив стола жандарма. Положив кожаную фуражку на колени, он молча уставился на Фокина. Начался не разговор и не допрос, а подробный и нудный расспрос. Фокин требовал: детали, побольше деталей о тех двоих! Мульгин страшно напрягал свою память. Глаза у него ввалились, неподвижное скуластое лицо, серое от недосыпания, то покрывалось пятнами и испариной, то каменело, а губы вытягивались, казалось: вот-вот он что-то скажет — и никак!

Про себя Фокин отметил: что-то в нем твердое, закаменевшее. Никаких фантазий, никаких отвлеченных мыслей и переживаний; спит, наверное, мертвецки, без снов. Но зато умеет втиснуться, слиться, приспособиться, растолкать локтями; крепкая хватка во всем, глаз острый... Нужно только направлять, суметь выжать, что надо, из таких людей. И Фокин уговаривал, наставлял, требовал: вспомните! Вспомните о двоих неизвестных: об Усе и Ерше. Кто они, откуда? Если с завода, то с какого? От кого посланы? Может, на сходке у Грабова кто-нибудь в разговоре случайно назвал их конспиративные клички? Все это было крайне важно. Фокин мог дать голову на отсечение: среди тех, что собирались у Грабова, кто-то знал или близко стоял к запрятанной технике. Неужели на заседании ни Ровнер, ни Грабов не обмолвились словом о тайной типографии? А эти двое? Возможно, они и есть те самые рабочие с шлюпками, на которых намекал в свое время аферист Кривуля?

— Вот! — сказал наконец Мульгин. — Вспомнил! Петро! Одного кто-то назвал, кажется, Петром. Было это в коридоре, когда мы все выходили.

Смятый и измученный Мульгин вытер ладонью лицо и устало потупился под цепким взглядом Фокина. На его широком носу, раздвоенном, с ямочкой посредине, блестела капелька пота.

Фокин написал карандашом на карточке: Петро. Подумал и дважды подчеркнул написанное. Интересно, интересно! Имя это или фамилию такого рода он уже вроде бы где-то слышал. Ага, вот оно! На столе у ротмистра лежало недавнее сообщение из департамента полиции. Гриф — «Совершенно секретно». И дальше:

«На адрес Николаев Херсонской губернии, судостроительный завод, чертежнику Ельфимову, для Петра Петрова, высылается издающаяся за границей газета «Пролетарий», орган фракции большевиков РСДРП».

Легким почерком, красивым и чуть витиеватым, как у древнего каллиграфа, Фокин вчера поставил на этом донесении резолюцию: «Установить адресное наблюдение». Но сейчас он понял, что этого мало. Между Петром, который присутствовал у Грабова на сходке, и Петром Петровым, на имя которого высылается заграничная газета, как будто уже наметилась какая-то внутренняя связь и потянулась тоненькая ниточка. Фокин быстро просмотрел старые донесения «бунтаря» Адамского и в безграмотной его писанине, нацарапанной вроде заскорузлой лапой дворника, также отыскал фамилию Петрова. Это заметно усложняло дело. Газета «Пролетарий» высылалась в Портовый район, а упомянутый Петров или, вернее, несколько Петровых, как следовало из пьяных донесений Адамского, жили в противоположном конце города, в рабочей Слободке.

— Вот что, Мульгин,— мягче обычного, но все же с начальственной сухостью промолвил Фокин,— займитесь-ка вы портом, чертежником Ельфимовым. Чувствует моя душа, там кроется что-то важное. А на Слободку я пошлю кого-то другого. Поглядим, что это за компания Петровых.

...Волнение и радость царили в доме Петровых. Едва Иван с Михаилом втащили подпольное добро в комнату, как вдруг в одной из тяжелых коробок прорвалось намокшее скользкое картонное дно, и на пол посыпался мелко порубленный металл. «Шрифты!» — сказал Михаил, глядя на сверкающие оловянные буквы. Братья кинулись сгребать руками шрифты, пришла с веником мать, слегка прихрамывая, а в окно заглядывало весеннее солнце, словно кто-то подсматривал, что происходит в комнате.

— Шура! — позвал Иван. — Пока мы здесь возимся, беги во двор, покарауль, чтобы никто нас на горячем деле не застукал.

Шуре тоже хочется повозиться с техникой, никогда он не видел, что это за штука — типография, но, если Иван сказал «беги», надо бежать.

Снял со стены гитару, натянул фуражку. Вышел во двор, где вовсю кочегарило солнце. Благодать на улице! Звон, гудки пароходов на Ингуле, теплый ветерок треплет и сушит вывешенное матерью белье. А вон Соня и Давид дремлют себе на скамейке. Настоящее лето пришло на Слободку. Шура сел на завалинку, фуражку положил по привычке под себя. Подул на гитару — слетело облачко пыли. Как мать ни бедствовала, а гитару и балалайку не променяла на базаре, так и висели они за печкой, дожидаясь братьев с Севера. На полочке сохранилось еще с пяток окарин — глиняных дудочек, которые Шура сам сделал, сам выжигал и сам на них так мастерски высвистывал.

Шура провел пальцами по струнам. Гитара рассохлась, давно расстроилась, потому и зазвучала глухим, богопротивным, как сказал бы старший брат Василий, дребезжанием. Шура склонился над декой, светло-русый чуб упал на глаза, и начал серьезно и

сосредоточенно натягивать струны, сначала одну, потом другую, третью; ухо его улавливало наималейшую фальшь в звучании: перетянул ли он или не довел струну хоть на долю ноты. Взял аккорд, почему-то даже пробежала по телу сладкая дрожь: ах ты, черт возьми, откликнулась, зазвенела гитара! И где-то в глубине души заныло, защемило, отозвалось что-то далекое и забытое: боль, радость, тоска и вздохи по девушкам. Казалось, сейчас подсядет целая капелла слободских гитаристов — вечер, гомон заводской молодежи, летний сумрак с поцелуями,— и ударят они по струнам «Выйду я на реченьку», потом бесшабашную:

А барыня, лебедь бела,
Мне жениться не велела!

Шура настроил гитару, подумал, слегка прошелся по струнам — для вдохновения, как говорится, для души. Еще звенели в воздухе всколыхнувшиеся звуки, а Шура уже почувствовал: неожиданно вошло в его музыку нечто иное — что-то суровое, похожее на начальственное звяканье шпор. Посмотрел на улицу и остолбенел. За калиткой стояли собственной персоной: околоточный надзиратель Христенко, тот, что раками лечил всех больших николаевских чинов, и пристав Корецкий, бог и царь слободской полиции.

Уж кого-кого, а Корецкого, можно сказать своего крестного отца, Шура, если бы и захотел забыть, никак не смог бы: вощеные усы, маленькие, веселые глазки и эти... волосатые, хорошо оттренированные кулаки. Пан Корецкий не единожды вправлял Шуре зубы в полиции за политику и упрямый норов.

— А-а! — протрубил Корецкий, обрадовавшись, словно наконец увидел своего блудного сына. — Кого мы лицезрим! Арестанта! На гитарке дрынкаем! Славно, славно! Извиняйте, забыли поздороваться,— и не без иронии пристав козырнул Шуре. — Здравия желаем, с прибытием вас домой!

— Здравствуйте,— ответил спокойно Шура. — Рад видеть высокую власть в полном здравии и силе.

— Гм!.. Спасибо. А что, один вернулся или братья-каторжники тоже прибыли?

— Все вместе!

Шура говорил неестественно громко и озорно, чтобы Иван и Михаил услышали его голос.

— Отсидели свое? Нажарили на морозе филейные места? — допытывался Корецкий.

— Отсидели и нажарили, ваше благородие!

— Не захочется бунтовать, телячьи головы?

— Никак нет, не захочется! — быстро ответил Шура. — За ум взялись!

— То-то же, смотрите! У меня, мармыжники, не побунтуете! Сейчас уже не то, сейчас вам спуска не будет, как в пятом году! Вмиг ребра переломаю! Вот бренчи себе на гитаре, разрешаю, это

не вредно, учись у брата своего Василия, хороший человек Василий, артист, голос, голос у него золотой, и жена красивая, говорят, и ребеночек есть, а вы что?

— По кривой дорожке пошли! Против закона и порядка! — прибавил надзиратель Христенко и вмиг покраснел до ушей, наливаясь праведным гневом.

«Крокодилы! — сплюнул Шура. — Теперь Василия расхваливают. Готовы слезу пустить. А кто ж его под конвоем из города выдворил, как не вы, пан Корецкий!»

На какое-то мгновение Шуре показалось, что Корецкий не просто стоит, упираясь пузом в калитку, а нащупывает рукой засов, чтобы пропихнуться во двор. У парня поплыл истомный жар по телу. «Гитарой! По голове его!» — сверкнул глазами Шура, не сразу даже сообразив, насколько это смешно и глупо — бросаться с гитарой на вооруженных полицейских. Да, могло произойти что-то непоправимое, но, слава богу, Корецкий с наслаждением высморкался, подкрутил седые навощенные усы и скучным взглядом посмотрел вдоль улицы, словно спрашивая: когда будет на этой каторжной Слободке порядок?

— Ага! — вспомнил Корецкий. — А где сейчас твои братья? Что они делают?

— Что они делают? — с тихим раздражением переспросил Шура. — То и делают, что работу ищут. Разве вы не знаете, сколько сейчас голодающих в Николаеве, сколько батраков идут из сел, а сколько безработных толкается на бирже и в конторах в поисках заработка?

— Ну-ну! — слегка согнул побагровевшую шею Корецкий и зло окинул взглядом Шурика — не ожидал от него такого норова. — Смотри! Без лишних разговоров тут! Научились! Я быстро мозги вправлю! Чтоб сидели тихо, как мыши, слышишь! Так братьям и передай: смотрите у меня, сибирские соколики! Ишь, мармыжники!

У Корецкого всегда выходило так: начнет с шуток, как бы с добродушных издевочек, с насмешек, а кончает тем, что топает ногами, кричит, задыхается, сует под нос увесистые волосатые кулаки. Сегодня до этого не дошло. Он только с угрозой посмотрел на Шуру и запыхал, как самовар, от гнева и ярости, потом повернулся и нехотя поплелся по слободской улице. Христенко осторожно шагал за ним, боясь щелкать шпорами.

Шура проводил их глазами и, все еще ошеломленный, стремглав кинулся к хате. Влетел в сени и тут же натолкнулся на мать. Она стояла за дверью, слышала весь разговор и беспокойным, встревоженным взглядом смотрела на Шуру: «Ну как? Пронесло грозу? Ушли?» Прислушиваясь к голосам, она готова была, если потребуется, выйти во двор, чтобы выручить сына.

Из комнаты выглянули Михаил и Иван. Тоже как бы растерянные, но улыбаются, черти, весело им, оба размазывают по щекам черный от мазута пот: пока Шура беседовал с полицейскими, они успели всю подпольную технику, уже наполовину разобран-

ную, мигом сгрести и перебросить через окно, а потом упрятать в сарай. Руки и лица их, вымазанные жирной технической смазкой, блестели.

Но это еще не все. Не обошлось у братьев и без курьеза. Когда Михаил с узлом торопливо полез в окно, то зацепился вдруг за что-то, наверно за гвоздь, который словно ножом полоснул его по брюкам — распорол их до колен. Михаил упал, закрыл рот рукой, и страх брал обоих, и смех душил, едва сдержались от хохота.

Суета, тревога, как пыль с быстро убранного и подметенного матерью земляного пола, вскоре понемногу улеглись. Петровы собрались на семейный совет.

Михаил подпер кулаком щеку, хотел сурово посмотреть на Шуру, чтобы тот не надоедал со своими веселыми расспросами, но суровости этой у него сейчас не получилось, глаза его добродушно блестели, лицо ласково светилось под снопом золотистых волос. Однако шутки шутками, а братья порядком забеспокоились: зачем все-таки пожаловала полиция?

Иван смотрел на Шуру и Михаила, словно ждал ответа. Под его требовательным взглядом Михаил посерьезнел и сказал в раздумье: «Как бы не пронюхала полиция о той подводе, которая сломалась ночью, а потом свернула к их двору; сторож мог донести».

Иван промолчал. Он сидел, слегка нахмурившись, пальцами тер переносицу (такой был у него характерный жест), о чем-то раздумывал. Его заинтересовала одна деталь: почему Корецкий назвал их сибирскими соколиками? Случайно? Или Корецкому, может, все равно, где кто сидел: в Сибири или в Олонецкой губернии, главное — каторжники, арестанты, преступники, которых полно на Слободке, хватает в каждом доме, и его забота строжайше следить за всеми бунтовщиками. Если сегодняшний визит — обычный гласный надзор полиции, то это еще полбеды.

— Ладно,— сказал Иван,— не будем паниковать, посоветуюсь с Ровнером или с Грабовым, и тогда что-нибудь придумаем.

В тот же день задворками он двинулся на Экипажескую к Грабовым. Дома застал одну только Таню, которая окапывала деревья в маленьком дворике. Здесь, под белой, буйно цветущей акацией, они постояли немного в одиночестве и, как видно, тепло и задушевно поговорили, потому что, когда вернулся Иван домой, братья не узнали его: в русых волосах их «диктатора» было полно белого цвета акации, к тому же Иван словно захмелел от весны, он широко раскрыл дверь в комнату, стукнул по столу кулаком и сказал сбитым с толку Михаилу и Шуре:

— Айда, хлопцы, в трактир! Пьянствовать! Дадим волю казацкой душе! — Обвел братьев горячим, словно уже хмельным, взглядом: — За мной! Туда, где пропивают и прожигают жизнь!

Шура и Михаил переглянулись: «Ну и ну! Что это с ним?» Они не приняли всерьез того, что сказал Иван; конечно, это была

шутка, театральная проделка, но если и шутка, то совсем неожиданная для их «диктатора».

— Слушай,— осторожно спросил Михаил,— что с тобой? Таня поцеловала? Или, может, полицейский... случайно тебя шашкой огрел по голове? Расскажи толком.

— Что со мной? Ничего со мною не случилось! Я вас спрашиваю: разве мы не люди? Разве мы не имеем права нарезаться так, чтоб вся Слободка, весь Николаев видел, какие мы пьянчуги, громилы, босяки и как от нас и полиция и демократы разбегаются во все стороны? Я вас спрашиваю: имеем мы право?

Теперь Михаил кое-что понял. Наверное, Иван придумал какой-то новый маневр, но какой именно и для чего, пока еще было не совсем понятно.

— Ты голову нам не морочь, Иван. Ты сначала расскажи, в чем дело, а потом пойдем.

— Нет, нет, айда! Айда, братки! Быстрее собирайтесь! Расскажу потом, по дороге!

В Ивана и в самом деле как будто вселился какой-то веселый бес и забуянил с такой силой, что ни отговорить, ни помешать ему было нельзя. «Это отец, Алексеевич наш, такое вытворял, царство ему небесное»,— с холодком в душе подумала Елена Федоровна, не веря и даже в страхе радуясь, что сын, может, позволит себе хоть какое-нибудь утешение. Нет, сейчас он круто повернет и скажет: «Хватит! Пошутили, и за дело!»

Однако Иван весело вытолкнул братьев из комнаты. Шура поддержал его первым, и вот, обнявшись и покачиваясь, они втроем протолкнулись сквозь калитку. Здесь их ожидала Таня. Она улыбнулась, увидев «пьяных» братьев.

— Таня! — сказал Иван. — Ну пойдем с нами! Хоть раз в жизни потанцуем! Когда ты была в трактире в приличном обществе? Когда подавали тебе пунш и судак орли?.. Вот видишь, а отказываешься! Пойдем! Сегодня такую цыганочку отколю, аж пол треснет! В первый и, может, в последний раз в жизни.

— Нет,— сказала Таня и посмотрела на Ивана серьезно и грустно, пряча в себе ласку и признательность за столь рыцарское приглашение. — Ты знаешь, Ваня, я и так опаздываю.

Ее простое «нет» сбило Ивана с залихватского тона. Махнув рукой, он с досадой произнес:

— Наверное, родились мы, чтоб только встречаться в тюрьмах. И то если повезет. Мы птицы, которых гонит и гонит буря. — Потом он повернулся к Шуре и уже «диктаторским» тоном попросил: — Сбегай, Шурок, принеси гитару. Сегодня мы даем концерт на всю Слободку!

Впервые так свободно и шумно братья Петровы вышли за ворота. Шура ударил по струнам гитары, братья обнялись и, покашливая, поправляя фуражки, побрели по улице. Соня и Давид заморгали сонными глазами, они сидели оторопевшие, словно приросли к своему крылечку. Из дворов повысовывались слободские

женщины, а возле них целые букеты детей, все удивленно посматривали на Петровых.

Иван повел свою ватагу в город.

— Идем, хлопцы, добывать себе скандальную славу. Серьезно вам говорю,— растолковывал он дорогой.— Побольше грома, побольше шума, чтобы люди видели: мы и в самом деле покаялись... Что у нас было до этого? Мы тихо и смирно сидели. Мы ездили в Кременчуг на заработки. Но полиции, видимо, такого раскаяния мало. Что это за христиане, что за благонадежные, если они не пьют, не хватают за грудки людей, жизнь свою не прожигают? Нет, что-то здесь не то. Ваня Грабов, а предложение его передала мне сегодня Таня, серьезно нам советует: для того чтоб нашу технику получше замаскировать, надо сразу отвести всякие подозрения — шумом и скандалом, которые никогда — и полиция об этом хорошо знает — не позволяют себе люди идейные, а тем более социал-демократы.

— В трактир! И никаких гвоздей! — воскликнул Шура и сбил фуражку на одно ухо, как это делают слободские парни. Он понял, что это не всерьез, что это спектакль, но скажите: в девятнадцать лет, когда в душе все горит и клокочет, разве отказались бы вы, имея такую поддержку, как Иван и Михаил, пойти в город, представиться среди публики, погусарствовать, развернуться во всю ширь, а если повезет, то и влипнуть в какую-нибудь громкую историю? — Веди нас, Ваня! Запомни: с сегодняшнего дня я тебя люблю еще больше! И если в трактире или вообще в жизни тебя кто-нибудь заденет хоть пальцем, то я...

— Гитарист ты, Шура! — весело засмеялся Иван и надвинул младшему брату шестиклинку на самые глаза, чтоб тот замолчал и не болтал о своей любви и обо всем том, о чем люди должны молчать и что должны беречь в самых тайниках души.

...Серьезно, без наигрыша вошли они в трактир. Старый седой швейцар встретил их царственным взглядом и оттопырил карман, чтоб ему положили на чай. Но братья прошли мимо, не обратив на его жест внимания, и поднялись в верхний зал, где, кроме чая, подавали кое-что и покрепче. Народу было здесь много, зал гремел от голосов, быстро сновали официанты, и Петровым пришлось проталкиваться, чтоб занять свободные места в углу. Уселись. Иван вытряхнул из кармана «пенензы» — около семи рублей мелкой монетой, это не так уж и много. С соседних столов на них уже начали поглядывать; одна морда — красная, налитая вином, чего-то ждущая и расплывающаяся в довольной ухмылке — сразу не понравилась Ивану. Он нахмурился; залихватский пыл его стал быстро выветриваться.

— Ну, что будем пить? — негромко спросил Иван.

Братья чувствовали себя не в своей тарелке. Особенно Михаил. Всю дорогу он добродушно иронизировал, насмехался то над Иваном, то над Шурой, говорил: «Отколем сегодня! Оторвем рукава от жилета! Вдрызг разнесем башмаки!» А тут вдруг притих, удивленно и растерянно посматривал в зал, где пьянствовала,

горланила, веселилась самая пестрая публика — чиновники, торговцы, мелкие лавочники, перекупщики, люди, которых чаркой не очень удивишь и не испугаешь.

— Ну, так чего, братва? — спросил снова Иван.

Михаил безразлично покачал головой:

— Мне хоть деготь. Заказывай! Или нет! Постой! — и он вспомнил что-то веселое. — Реповый квас закажи, помните, каким нас раскольник угощал в ссылке?

— А мне пива! — сказал Шура.

— Чаю, пива, бубликов! — с купеческим размахом заказал Иван.

Грустить братьям долго не пришлось. Та самая красная рожа, налитая вином, замигала посоловевшими глазами, облизалась и с благородной отрыжкой обратилась к Шурику:

— Сыграй на гитаре, сынаш! Слышь, золотыми плачу! Танцевать буду. Сынок! Премного извиняюсь, не знаю твоего имени-отчества! Вдарь, врежь для души вот эту... как ее?.. «От Киева до Хорола». Гоп-гоп! Эх, губа моя, губа-губерния! — затопал он ногой.

Когда Шура взял гитару и ударил по струнам, к ним будто сам подъехал соседний стол, набралась целая компания застольных, самых закадычных дружков, которые всю жизнь, оказывается, только и ждали этой минуты, чтоб выпить: «С тобою, ненаглядный наш гитарист!.. И с тобой, добрая душа! Где ты себе волосы огнем опалил? И с тобой, серьезный отрок! Будьмо!..»

Иван одним залпом выпил кружку пива и под шумок выскользнул из-за стола. Немного зашумело в голове, он словно раздался в плечах, стал шире, ему захотелось вдруг забежать в подвальчик и позвать Дору. «Гулять так гулять,— подумал он,— приглашу, потанцуем с ней». Дора обрадовалась, увидев Ивана, но подыматься наверх отказалась, даже обиделась, холодно произнесла: не надо, нельзя, разве не понимаете — не должны нас вместе видеть.

Легкий хмельной туман из головы Ивана сразу выветрился, ему стало почему-то неудобно и стыдно за себя.

Вернулся в зал. Хотел сказать: «Хлопцы, кончай, убираемся домой». Но передумал. Банкет продолжался. К Михаилу подсел какой-то навязчивый гуляка, пьяный, губы тонкие, усы топорщатся, лицо острое, услужливое, как у портового приказчика. Он обнимал Михаила, подносил ему рюмку, о чем-то говорил по-приятельски. «Что за птица?» — настороженно подумал Иван. Ему казалось, что этого усатого он уже где-то видел, даже сегодня в толпе, на переходе, кажется, несколько минут назад. А впрочем, кто знает, может, и не видел. Но в памяти стояли почему-то эти топорщащиеся усы и эти в ниточку вытянутые губы.

...Около четырех часов дня тайный агент Весенний, то есть бывший буфетчик из Морского клуба Лева, позвонил Фокину из театра «Иллюзион» и доложил: «Продолжаю наблюдать, господин ротмистр. Пьяные. Идут в трактир». — «Следите!»— ответил Фокин.

Шура словио попал в свою стихию. Бил по струнам гитары и вытаицовывал с этим красным, как перец, купчиком-толстяком, подзуживал его: «Эх, давай, давай, старниа, шевели ногами!» Иван улыбнулся, стало теплее и легче на душе, подсел к столу и выпил еще полкружки пива.

Вдруг резко распахнулись створки дверей. В зал с шумом и грохотом ввалилась толпа моряков. Но Иван сначала заметил не их. Он увидел другое: как вскочил из-за стола тот, что угощал Михаила, как подпрыгнули у него вверх усики и потом вдруг ощетинились. Незнакомец побледнел, рука его задрожала, из поднятой рюмки полилось вино.

— А-а! — закричал кто-то из толпы моряков. — Смотрите! Лева наш! Ты чего, гнида, к честным людям примазался? И здесь вынюхиваешь? А ну, вылазь, швабра!

Не успел Иван глазом моргнуть, как один из моряков развернулся и заехал Леве по физиономии. Лева распластался на полу. Публика глухо загудела. «Так его! Еще разок!» — просили сидящие за столом. Лева поднялся, глаза его мертвенно блуждали. Развернулся второй моряк — и снова полетел Лева между креслами.

— Вы что? Сдурели? — Иван отодвинул с грохотом стул и бросился подымать Леву. — Нашли козла отпущения!

— Ах, и ты с ним? Стукач, выходит, да?

Иван еще и головы не поднял, как кто-то ударил его кулаком в ухо. Ударил сильно, в голове загудело, но с ног не сбили.

— Кто? Кто посмел?! — закричал Иван и, не глядя, двинул кулачищем в грудь стоявшего возле него моряка, тот перелетел через кресло и покатился к стене.

— Вот это заякорил!

Трое из компании моряков подскочили к Ивану; один тут же отлетел в сторону, ловя под столом бескозырку, а двое повисли на Иване. Накинулись целой оравой, кто-то пронзительно свистнул, заработали кулаки. Иван почувствовал, как у него треснул рукав и вместе с подкладкой пополз с плеча; сквозь толпу протиснулись Шура и Михаил, теперь уже все, и матросы и братья Петровы, рвали с азартным сопением друг друга за грудки.

— Да это же свои! Заводские ребята-молотобойцы! — едва переводя дыхание, закричал вдруг один из моряков разгоряченной компании. — Разве не видно, что свои! Вон как колотят, словно гирями!

— А чего они за эту мразь заступаются? За Леву, за эту продажную тварь?

— Вы что, братва, Леву не знаете? Не слышали, как он мичмана Прокопчука продал? Служила эта сволочь буфетчиком в нашем клубе. И мало того, что все экипажи обмахлевывал, он еще, оказывается, в куртках шарил, в матросском барахле копался. Крамолу выискивал! Нашел, стерва, у Прокопчука прокламации и донес. И нашего братана упекли на три года, в Севастопольской крепости сидит.

— А где он, где эта продажная шкура? — загудели моряки, бегая глазами по залу, но Леву словно ветром сдуло.

Пока шла драка, он, как ящерица, выскользнул из трактира.

...Побитые и невеселые возвращались братья домой. Иван с порванным рукавом. У Шуры синяк под глазом, на гитаре висели оборванные две или три струны. Михаил плелся без фуражки, покачивая головой, бубнил: «Во дали! Будем долго помнить!» — и приглаживал взлохмаченные волосы.

Наконец вышли на родную 11-ю Военную и снова обнялись. Шура ударил по оставшимся необорванным струнам, братья нестройно, пьяными голосами затянули «бродяга Байкал переехал...» и так, покачиваясь, задевая друг друга ногами, с песней ввалились к себе во двор.

Испуганно качала головой Соня и шептала: «Ай-яй, пьяное горе, беда в хату бредет...»

Старая Сургучиха, жена портового весовщика, объясняла соседкам, пришедшим к колодцу за водой:

— Я же говорила вам — святые и божьи. Ото ж и были святые и божьи, пока по тюрьмам не шатались. А связались с урками и босяками, теперь по веселой дорожке пойдут: будут пьянствовать! Я ихнюю породу знаю. Отец пил, и эти запьют, вот увидите. Не один раз ваши окна и ворота еще от них заплачут, попомните мое слово.

В тот же вечер, обложив себя компрессами, тайный агент Весенний писал Фокину донесение. Он хватался то и дело за щеку, стонал от боли, нащупывая языком выбитые зубы, но, несмотря на адскую боль, строчки донесения выводил ровненько, потому что знал: Фокин любит аккуратный и по форме написанный рапорт. Весенний напоминал, что ему было поручено проследить за братьями Петровыми, проверить слухи, не связаны ли они с неблагонадежными людьми на Слободке и какой образ жизни ведут. Проведя внешнее наблюдение и собрав отдельные сведения на месте, Весенний выяснил: братья Петровы ведут разгульную жизнь, пьянствуют и дебоширят, а сегодняшнего числа июня месяца затеяли драку в трактире. Политическая характеристика: в преступные связи или тайные сборища не вступают; подозрительных лиц на их квартире не замечено.

Весенний подумал, почистил перо и подписал донесение. О своих компрессах, а также о том, что в его избитой груди шевельнулась благодарность и даже какая-то собачья преданность и уважение к этим простоватым и, как ему показалось, незлобивым гулякам из Слободки, которые сегодня его спасли от расправы, агент Весенний по вполне понятным причинам умолчал.

Идут литейщики на вторую смену. Их можно сразу узнать. На каждом пожелтевшая и прогоревшая куртка, такая же рыжая фуражка с длинным самодельным козырьком, предохраняющим глаза от огня; лица иссушенные, почерневшие, с особенным, похожим на тропический загаром, который бывает у людей, каждый день имеющих дело с раскаленным металлом, с отравляющими газами. За десять рабочих часов в цехах они так обугливаются и прожариваются насквозь — до черноты, до сухого ожога в груди, что кое-кого там же приходится отливать водой. Недаром в Слободке их называют неграми.

Большими толпами проходят литейщики. Молча покуривают крепкий самосад, изредка перекидываются шутками. Кое-кто на ходу кричит Елене Федоровне через калитку:

— Доброго здоровья, Федоровна!

И мать братьев Петровых, оторвавшись на миг от корыта, насмешливо спрашивает:

— А как там, хлопцы, мой крестник Кошара живет? Не надорвал еще пупок?

Рабочие смеются, весело переглядываются. Знает «крестника» Кошару вся Слободка. Их благородие Кошара — это пристав на заводе «Наваль», полицейский цербер, официально назначенный присматривать за рабочими в цехах. В пятом году он немного притих и, вобрав голову в плечи, угощал мастеров своим табачком. А теперь ходит по цехам генералом, звякает саблей, на всех кричит, знает — не вывезут на тачке. А «крестником» Елена Федоровна называет его потому, что и в самом деле была повивальной бабкой при его рождении; ребенок таким крикливым народился (Елена Федоровна показывала, как он уже тогда словно граммофончик свой рот раскрывал), что на второй же день пупок себе накричал больше кулака.

Так с легкой руки Елены Федоровны и прозывают теперь Кошару на заводе Граммофоном.

Наконец рабочие прошли, Слободка утихает, только слышны голоса женщин, перекликающихся через заборы, кто-то спрашивает соседку, ходила ли она на базар и сколько теперь стоит хлеб и крупа.

Приближается лето, цветет на Слободке белая акация. У Петровых весь двор, все дорожки вдоль кирпичных заборчиков покрыты медово-желтой кашкою, осыпающейся с деревьев.

Елена Федоровна «выворачивает», как она говорит, уже второе корыто белья. Возле нее крутится помощница, внучка Аленка; маленькая артисточка на солнце загорела, немного подросла; руки у нее исцарапаны, лицо обветрено. В поношенном полотняном сарафанчике, босая и грязная после игры в песке, она теперь ничем не отличается от слободских девочек: смело взбирается на вишню, на забор, прыгает оттуда в мягкую пыль, бегает с подружками вперегонки. Мария Прозоровская, или просто Маня, приехавшая в конце лета в Николаев, была крайне удивлена, когда

увидела не бледную худенькую девочку, которая сидела где-то тихонько за кулисами в театральной корзине и завороженно хлопала глазенками на сцену, а вихрастую, загоревшую, крепкую дикарку, до ушей испачканную вишнями. «Господи! — сказала Маня. — Вы, мама, словно пошептали, потянулась вверх наша тюлечка! И синяки под глазами исчезли!» — «А у нас,— степенно произнесла Елена Федоровна,— полная свобода для детей: бегай, ходи где хочешь. Вот когда ребенок набегается вволю, тогда не надо его тянуть за уши к миске, сам кричит: баба, есть!»

Сейчас бабушка полощет белье, а у внучки своя забота — таскает за уши лохматую собаку Жучку и выглядывает на улицу, нет ли поблизости чужих дядей. Маленькая еще Аленка, но уже знает, кто такие «чужие» — это те, кто в белых кителях, в фуражках с лакированными козырьками, с длинными шашками на боку. Злые и недобрые люди. И если они покажутся в переулке, ей надо прибежать и крикнуть:

— Ба! «Крючки» идут!

Есть у Аленки и другие обязанности. Бабушка дает ей небольшое ведерко, и девочка собирает на слободской улице щепки, кусочки угля, упавшие с проехавшей подводы, сухой помет. Маленькие ручонки ее понемногу привыкают к работе, к самой черной и грязной, но это потом ой как пригодится в жизни. Все, что собирает девочка на улице, она высыпает старательно в кучку возле летней кухни во дворе; каждая щепка пойдет на топливо. Когда Елена Федоровна не занята стиркой, тогда на улицу они идут вдвоем. Собирают и сухой и свежий помет, мешают его с ботвой и с мусором, делают из той смеси «лепешку». Вылепит бабушка руками мокрую «лепешку» и на стенку сарайчика — шлеп! Прилепит, чтоб сохла на солнце. Когда кизяк высохнет, его складывают в пирамидку: чудесное топливо на зиму, так жарко оно горит. Правда, сейчас Елена Федоровна с раннего утра до позднего вечера полощется в мыльной воде, и не видно конца-краю ее работе.

Погода стоит тихая и теплая, белье сохнет быстро. Через весь двор в несколько рядов протянут шнур, висят на нем подсиненные наволочки, простыни, льняные сорочки, нарядно вышитые рушники и скатерти. Все это не свое, чужое, то, что из города приносят и что сама Елена Федоровна собирает по богатым домам. Стирка — ее заработок на себя и на четырех «молотильщиков»: к трем сыновьям присоединился еще один парень из подполья, молодой городской человек, модно одетый; Елена Федоровна никогда и не видела его на Слободке.

Теперь он там, в комнате, с ее сыновьями.

Никто из соседей и не догадывается, почему Елена Федоровна каждый день вытаскивает корыто на середину двора и именно здесь начинает стирать. У нее двойная работа: она и стирает, и караулит. На Аленку нельзя положиться, девочка может куда-то убежать, а за улицей надо следить, глаз не спускать. Из двора не все видно, выглядывает только пятачок между 2-й Безымянной и 11-й Военной. Поэтому Елена Федоровна, вытерев руки, устало

ковыляет к лавке Моргулисов, спрашивает Соню, нет ли у нее мыла; старая и добрая Соня угощает ее жареными семечками, говорит, что мыла нет, что Давид поехал на Соборную и, возможно, закупит у Бровмана. А Петровой только этого и надо. Поблагодарила Соню и пошла назад; она, кажется, и не поворачивала головы, однако успела осмотреть весь квартал: на Слободке тихо, ничего подозрительного вроде бы нет, безлюдно, как вообще в послеобеденное время; только в конце Безымянной улицы какие-то детишки-озорники друг друга обсыпают песком и кричат: «Банзай!» По-видимому, играют в войну с японцами.

Елена Федоровна возвращается к корыту. Руки у нее отекли и побелели от мыльной воды (а ночью будут дергать, спать не дадут), она с трудом расправляет спину и беспокойно посматривает на окна своего дома. Одно окно на улицу и два маленьких окошка во двор занавешены марлей; но марля — только для отвода глаз, для маскировки; если присмотреться вблизи, то можно увидеть простыни, которые плотно прилегают к рамам. Там, в затемненной комнате, над чем-то ворожат ее сыновья. Для соседей, для всей Слободки Шура, Иван и Михаил снова поехали в Кременчуг на заработки. И только мать знает, что зарабатывают сейчас себе сыновья — новую Сибирь и кандалы. Поэтому она тревожно поглядывает на окна, стоит как на иголках: то, над чем «священнодействуют» ее сыновья, тревожное для нее, не совсем понятное, грешное и вместе с тем важное дело. «Господи, прости и защити их»,— шепчет мать, ибо верит, что где-то есть на свете правда и есть те люди, которые защищают ее. «Те люди» — это для матери и ее сыновья, которые сейчас разбирают типографию.

...Лето разбудило Слободку. Тянутся подводы с лесом к Адмиралтейской верфи, маршируют матросы, каждый день в порту свои и иностранные войска швартуются к причалам, задымил кирпичный завод на берегу Ингула. Пришло время наймов, батрачества, напряженных поисков: как заработать копейку? Закрутилось колесо сезонных работ, втягивая в свой прожорливый барабан людские судьбы, тысячи людей — и николаевских, и тех, кто целыми семьями спешат сюда из ближайших сел и деревень, прибывают издалека — угрюмо толпятся возле контор и бирж, ожидают неделями своей участи: возьмут или не возьмут?

Задыхается Николаев от безработицы.

В бараках, на станции уже подбирают людей, умерших от холеры, участились кражи, убийства, пожары; ночлежки и постоялые дворы переполнены, но прилив рабочей силы не только не прекращается, а еще больше нарастает, идут крестьяне толпами из Подолья, Волыни, из центральных губерний, приносят слухи о голоде, о засухе, о холере, которая безжалостно косит людей на дорогах.

...В комнате полумрак, воздух спертый: хоть затыкай нос от резкого запаха керосина. Братья Петровы молча возятся со шрифтом; уселись по-турецки на полу и перемывают в тазике каждую буковку, каждый шпон. Они даже не представляли себе,

что это за морока! Наверное, осторожный Васильчиков не столько для надежности, сколько из страха взял и присыпал шрифты землей, а потом смешал все в одну кучу. Когда братья расстелили на полу брезент и высыпали то, что называлось гарнитурой, перед ними выросла целая горка земли, в которой не так уж и густо поблескивал свинец.

— Вот торгаш! — возмущался Иван, растирая в ладони затвердевшие комочки земли. — Ну откуда может быть здесь восемь пудов шрифта? Восемь пудов грешной земли — это куда ни шло, а сколько будет наборного материала — надо еще подумать. Хорошо, если наберется половина.

Уже второй день они перетирали руками суховатую землю, выбирая металлические шпоны, буквы, реглеты, линейки, которым и названия еще толком не знали. Михаилу досталась самая грязная работа. Он отмывал в тазике шрифт. Это оказалось не таким уж и легким занятием. Смешанная со старой краской и маслом земля за несколько лет затвердела, забила в буквах очко, и теперь буквы оставляли на бумаге лишь черные размазанные следы. Приходилось отмачивать и мыть в керосине каждую буковку в отдельности, потом протирать щеткой, а они, эти буквочки, маленькие, едва удержишь их в пальцах.

Михаил злился, но со всей тщательностью, с большим старанием выковыривал землю и краску из забитых букв. Он держал в руках что-то такое маленькое, несерьезное, ничуть не больше сапожных шпилек. Печать для него была тайной, загадкой, он до сих пор не представлял себе, как можно сложить из этих металлических брусочков целые слова, строчки, как эти буковки сольются в революционные лозунги и прокламации. Ему просто было интересно вылавливать в тазике брусочки, чистить их и складывать на скамейке. Некоторое время Михаил даже не чувствовал, что задыхается от испарений. Но это заметил Шура. Он посмотрел на брата и удивленно произнес:

— Послушай, браток! А у тебя глаза почему-то набухли! Что с тобой? Вроде и репового квасу не пил...

Михаил заморгал красными отекшими веками, принялся тяжело и часто дышать, чтоб провентилировать легкие.

— Смотри, чертова душа!.. И не думал, что можно от керосина угореть. Шумит в голове!

Шура встал и приоткрыл дверь. Потянуло свежим воздухом. Однако запах керосина и прогорклых масел не выветривался, в комнате становилось все душней. Но Михаил терпел, знал, что открывать окна нельзя. Они выходили на улицу, а там, как известно, прогуливаются Христенко и Корецкий, а то и просто люди, которым почему-то всегда не терпится заглянуть в чужие окна. Это во-первых, а во-вторых — не очень-то Ивану понравилось окошко на чердаке у Крижа — владельца небольшого кирпичного завода на Ингуле. Добротный дом Крижа стоял в переулке, напротив Петровых. Недавно Иван подозвал к себе братьев и сказал:

— Посмотрите, хлопцы, на чердачное окошко Крижа. Как вы думаете, зачем там голубенькая шторка? Раньше ее не было, а теперь висит. И что самое интересное, она то задергивается, то немного приоткрывается, словно оттуда за кем-то наблюдают. Что бы это означало, как вы думаете?

По мнению Шуры, это означало одно: собака Криж, не иначе! Недаром все его дочери-индюшки выскочили замуж за полицейских чинов.

Иван улыбнулся; его всегда удивляли странные и неожиданные повороты Шуриных мыслей.

— Не в том дело, браток,— сказал он. — С высокого чердака как на ладони видна вся наша окрестность: дом Чигрина, Сафонова, Фили Андреева. И лучше всего, конечно, наша халупа. Если бы еще и бинокль, то можно и к матери в горшки заглянуть...

В течение нескольких дней Шура и Михаил наблюдали за шторкой и убедились: она действительно то закрывалась, то открывалась.

Была у братьев и еще одна причина — возможно, несколько и смешная — насторожиться.

Позавчера, в такую же полуденную жару, Иван вышел во двор и увидел, как неожиданно покраснела, смутилась маленькая Аленка, зажимая что-то в кулачок. Ее быстрая реакция и то, как застенчиво и испуганно опустила она глаза, удивили Ивана.

— Аленка, что это у тебя в руке? — подойдя к девочке, ласково спросил Иван.

Племянница отвернулась и еще ниже опустила голову.

— Покажи дяде, покажи, не бойся!

Аленка разжала кулачок, и на ее грязной ладони Иван увидел три большие заглавные буквы. Типографские, вылитые из гарта. Наверное, они привлекли внимание девочки своим тусклым таинственным блеском. Как и когда она вынесла их из дому? Конечно, тихонько, тайно, спрятавшись от взрослых, потому что эти взрослые всегда прячут в шкафы, в сундуки, на высокие полочки самые интересные и самые заманчивые вещи.

— Ты с этими штучками бегала и на улицу?

— Бегала.

— А кому-нибудь показывала?

Племянница покачала головой: нет, мол, не показывала, еще не успела.

Иван растерянно смотрел на Аленку. Что ей сказать? Да и что скажешь этому невинному, доброму созданию? Разве ей объяснишь, что за такие маленькие игрушечки, которые она держит в руке, если бы вдруг захотела показать кому-нибудь чужому на улице, могла бы полететь прахом вся их долгая и тонкая конспирация и ее дядей за милую душу могли бы запрятать в Бухтеевку!

Братья договорились с матерью, что она перенесет Аленкину постель в свою половину, на кухню (временно, на лето), а большую комнату, где разобрана техника, будут закрывать на ключ;

кроме того, надо как-то осторожно с Аленкой поговорить, чтоб больше не брала «фантиков» и, если можно, не приводила во двор детей.

В те дни Иван заметил: маленькие дети каким-то непонятным образом схватывают мысли и настроение взрослых, сразу чувствуют их тревоги. Вот и Аленка... Возможно, по тону, каким расспрашивал ее Иван о железных игрушках, возможно, по тем постоянным разговорам, происходящим в их доме,— о «крючках», арестах, преследованиях,— а возможно, еще по каким-то причинам, девочка своим внутренним чутьем, своим тонким детским разумом поняла, что сделала что-то нехорошее. Повлияли на нее, безусловно, и доверительные, серьезные разговоры с бабушкой, ежедневная наука Елены Федоровны — и уже к осени, буквально на глазах, Аленка как-то повзрослела и кое-что поняла из того, что происходило на Слободке, а через несколько лет она стала незаменимой помощницей братьям Петровым в их нелегкой подпольной работе.

К вечеру Михаил намыл целую коробку типографского золота — гарта. Всем троим не терпелось попробовать: что у них выйдет? Побыстрее хотелось сложить хотя бы какое-нибудь слово и отпечатать его на бумаге, чтоб этот холодный металл, сплав свинца, олова и сурьмы, наконец-то ожил и отозвался хоть одним коротеньким словечком.

Конечно, они все смогут, не святые горшки обжигают, только как подступиться, с чего начать? Печатанием никто из них не занимался, разве что Иван раза два или три помогал Грабову тиснуть на глицериновых формах листовки, но гектограф — совсем другое дело!

— Ну, Ваня, давай начинай! — произнес Шура. — Попробуем сами складывать.

Шура знает, что Иван на все мастер. У него настоящий талант, какая-то врожденная техническая сноровка. И дома, и на заводе, когда Ивану под руку попадалось что-то новое и мудреное, скажем головка машинки «Зингер», или незнакомая модель форсунки от паровика, или что-то другое, он подолгу обычно разглядывал, разбирал расстроенный механизм, присматривался к каждой детали и говорил: «Ага! Вот в чем дело!» Сразу же вставал за станок, вытачивал необходимую деталь, и форсунка или головка машинки оживала... И сейчас, склонившись над перемытым шрифтом, Иван разгреб его, быстро выбрал несколько свинцовых брусочков. Первое слово, которое пришло на ум,— завод. Он даже прикинул, как четкими типографскими буквами сложит это слово. И тут припомнил один секрет. У Грабова, на глицериновых формах, это крепко врезалось ему в память, все слова и буковки в тексте лежали перевернуто, задом наперед. Читать их, особенно непосвященному человеку, непривычно: не так, как принято читать, а наоборот — с конца, справа налево. Поэтому и подбирать буквы в наборе следует в обратном порядке. Трудно, но, наверное, можно к этому приспособиться.

Иван разложил на ладони металлические брусочки, соединил их в короткое слово «завод». Подумал, подмигнул нахмурившемуся Шуре: «Сейчас, брат, спаяем», закрепил слово шпонами, линейками, затем попросил у Михаила шнур и связал набор так, чтобы он не рассыпался. Вышло у него нечто похожее на грубо слепленную печать. Но Иван все равно был доволен, помазал «печать» чернилами и на листе чистой бумаги несколько раз отпечатал: завод, завод, завод...

— Гляди, выходит! — с наивным простодушием воскликнул Шура. — Как у полицмейстера! Как на штампах в паспорте!

— Вышло, да не очень,— недовольно вытянул губы Михаил, присматриваясь к оттискам. — Видите, буквы кое-где забитые, сливаются. Надо еще раз промыть шрифты. Сходи, Шура, к Моргулисам, купи литра два керосина.

Михаил готов был хоть сейчас опять сесть за работу, до ночи возиться и хлюпаться в керосине, от которого ему резало и жгло глаза; он только подумал, что неплохо было бы выйти на улицу, немного подышать свежим воздухом и, может, раза два затянуться цигаркой, чтобы перестало шуметь в голове. И еще вспомнил, как с Ваней Кондаревым они по двадцать часов клепали в паровых котлах, громыхая беспрерывно молотами, и все равно тогда не так ныло в костях, как сейчас от этой монотонной работы, когда сидишь, скорчившись, не шевелясь, на одном месте.

Михаил снова высыпал шрифты в тазик, поболтал банку, есть ли там еще хоть немного керосина, но Иван остановил его:

— Отбой, братишки. Поздно. На заводах Каннегисера[1] уже давно прогудел вечерний гудок.

День теперь у братьев Петровых заканчивался одним и тем же. Открывали дверь и проветривали комнату. Дружно подметали пол, убирали все, что валялось,— клочки бумаги, затерянные шпоны или буквы, замасленные комочки земли. Все это аккуратно собирали, выносили, а потом Шура брызгал пол водой и настежь открывал окна, чтоб вытянуло из комнаты тяжеловатый запах керосина, масла и своеобразный запах гарта. Немного позже, когда уже начинало смеркаться, братья выносили разобранные и неразобранные шрифты в тайник, в сад, где хранились и другие типографские принадлежности.

...Слободка, как вообще все рабочие окраины тогдашних городов, граничила, а то и сливалась с пригородными деревнями и селами, и в жизни, в быту заводских людей много оставалось от села, от прежней привязанности простого человека к земле, к своему огороду, к своему молоку и картошке. Рабочие имели небольшие участки земли, кое-кто даже держал поросенка, кур, коз; здесь часто можно было услышать: кто знает, принесет ли муж домой рублишко, а курица яйцо снесет; свои участочки спасали заводских людей от голода во время безработицы, дороговизны, увечий и

[1] Каннегисер — директор-распорядитель так называемого «Товарищества судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве».

других несчастий и потрясений; не раз случалось и так, что после закрытия мастерской или цеха уходили рабочие толпами на заработки не в город, а в ближайшие села, на косовицу, на сбор урожая. Словом, старая пуповина отмирала медленно и болезненно и еще долго привязывала к земле рабочую Слободку.

У Петровых тоже был небольшой дворик, обнесенный где каменной, где глиняной оградой. Во дворе — маленький, на пять соток, огород: там Елена Федоровна сажала лук, чеснок, несколько кустов картофеля. За сарайчиком росла старая яблоня-дичок, которую посадил когда-то буйный Алексеевич, отец; он очень любил свою яблоню, под ней, исповедуясь, лил пьяные слезы и ей изливал свою измотанную, добром и злом изболевшую душу. Вот под этой отцовской яблоней Шура и выкопал яму. Каждый вечер братья выносили в тайник шрифты, прикрывали их листом жести, а сверху засыпали землей. На ночь ничего из техники в хате не оставляли, для Ивана это стало железным правилом. Потому что полицейские совы на охоту выходят в глубокой темноте, когда город уже спит.

В густеющей синеве, в дымках из кухонь, в прогорклой пыли на улицах подступал к Слободке теплый летний вечер, вскоре на горе пробил церковный колокол. Елена Федоровна поспешно перекрестилась, а Шура сказал:

— Смотрите, перекрестилась мать, и шторочка у Крижа закрылась. Видно, набожный сыч там торчит! Работу закончил по церковному звону.

Братья сидели во дворе, собирались ужинать. Уже где-то на завалинках разносился девичий смех, слышались переборы гармошки, и у Шуры сладко заныло в груди, мелькнула мысль — пойду сегодня в компанию, на гитаре поиграю. Но не успел он насладиться этой мыслью, как от ворот донеслось:

— Добрый вечер, гусары!

Братья, как по команде, повернули головы и увидели, что к ним энергичной, размашистой походкой направляется Филя Андреев, солдатский сын, так он значился в жандармских списках.

«Сведения о преступной деятельности Андреева Ф. А. Андреев Филипп Алексеевич, токарь по металлу, 23 года, православный, имеет отца Алексея Ананьевича, вдовца, брата Василия. Известен охранному отделению как активный, убежденный член РСДРП с 1905 года. В 1906 году был арестован на 1-й Экипажеской в доме Лунева и выслан в Олонецкую губернию».

— Поздравляю накануне больших событий! Как наши дела, браточки?

Филя любил твердые слова, литые, со звуком «р», чтоб в горле перекатывались будто комочки. Крепко, с молодецкой удалью потряс он братьям руки, а Елене Федоровне слегка поклонился,

и при этом на его лице засияла такая жизнерадостная и приветливая улыбка, что все в ответ тоже заулыбались.

Ох этот Филя, неугомонная веселая душа! Откуда взялась у него гусарская осанка? У кого научился он так просто и в то же время с таким вкусом одеваться, так подстригать усики и бакенбарды, причесывать свою роскошную черно-смолянистую чуприну? Вырос же на Слободке, без матери, на скудном заводском пайке, не избалованный ничьим вниманием. А вытянулся крепкий и высокий, хоть в лейб-гвардию его записывай. Живое, смуглое лицо, белые ровные зубы и этот быстрый взгляд, в котором горит дерзость и веселый огонь... Елена Федоровна смотрела на него с теплом и материнским всепрощением: она знала, скольким николаевским барышням заморочил он голову. Елене Федоровне очень хотелось расспросить Филю о старой Милане, его бабушке, которая осталась вдовой после смерти отставного унтер-офицера. В Слободке Милану называли чернокнижницей, возможно потому, что сидела она целыми днями дома и читала какие-то старинные церковные книги. Немного замкнутая, гордая и своенравная женщина, она сама воспитывала Филю, передала и ему что-то от своего твердого, неуступчивого характера.

— Ужин откладывается,— сказал Иван матери. — Нам с Филей надо полминуты поговорить.

Они зашли в комнату, которую совсем недавно проветривали. Филя, едва ступив на порог, сразу учуял: попахивает крамолой! Подозрительный запашок в стенах! Спросил, чем это братья думают «крючкам» затыкать носы, когда те придут в гости? Полушутливое его замечание было справедливо, однако об этом сейчас говорить не стали. Уселись за столом. Братья чувствовали: Филя принес немало новостей, и новостей приятных. Так оно и было.

— Вы слышали про забастовку в котельном цеху? — спросил Филя и быстро посмотрел на Михаила.

Михаил провел рукой по широкому горбоносому лицу, словно для того чтоб скрыть в себе приятное волнение. Он не мог быть спокоен, когда кто-либо упоминал о котельщиках, людях особенных, «глухарях», которыми он больше всего гордился в жизни.

— Да, Филя, о забастовке мы слышали,— спокойно начал Михаил, но все же не сдержался, открыто и весело заулыбался. — Прибегал Ваня Кондарев к нам, рассказывал. Молодцы котельщики, первыми начали! Больше года молчал завод, ни бунтов, ни роптаний — благодать! И вдруг все закипело, взорвалось!..

«В департамент полиции

Доношу вашему высокоблагородию, что настроение населения в г. Николаеве в течение июня было спокойным.

Начальник Николаевского охранного отделения
Фокин».

«Николаевскому градоначальнику контр-адмиралу Зацаренному

Секретно

Рапорт

6-го сего июня, в 10-м часу утра, мастеровые котельной мастерской Французского завода в числе 450 человек забастовали. Причиной волнений явилось недовольство рабочих, вызванное распоряжением начальника мастеровых Бориса Хмильковского относительно понижения расценок на аккордные работы, а именно: раньше за чистку котла платили 16 рублей, теперь 6—8 рублей, за сварку топки 2 руб. 20 коп., теперь 1 руб. 60 коп., клепку котловых заклепок 26 руб., теперь 14 рублей. Снижение расценок происходит таким образом: мастер не подписывает немедленно договорный лист, боясь переплатить, а подписывает таковой по истечении нескольких дней, уже присмотревшись, как выполняются работы, и лишь потом выдает аккордный лист, назначая цену, угодную для завода.

Начальник Николаевского охранного отделения Фокин».

Филя сидел, опершись локтями на стол. Чувствовалось, знает себе цену, давно и твердо уверился: немного риску, юмора, презрения к смерти — и все будет в порядке! (Побег за границу к Ленину, Кронштадт, губчека ожидали его еще впереди.) Лукаво, с откровенным удовлетворением посматривал он на Михаила, знал, что еще больше ошеломит его. Очень к лицу были Филе Андрееву темный костюм и белая рубашка. Шура даже подумал: «Сидит, бес, как артист, совсем как наш Василий!» Из нагрудного кармана (никогда Филя об этом не забывал!) у него как-то элегантно выглядывал кончик белого носового платка. В Николаеве это высший шик, гусарство!

Да, Филя приготовил для братьев еще один сюрприз. Вынул из кармана плотный желтый лист бумаги и положил его на стол.

— Читай! — громко сказал, обращаясь к Михаилу. — Открытое письмо котельщиков, твоих молотобойцев. Что ни слово — заклепка! Крепко сработано!

Михаил придвинул к себе фонарь и с волнением посмотрел на буквы, выписанные твердым почерком, химическими чернилами.

«Открытое письмо начальнику Борису Хмильковскому от сознательных рабочих котельного цеха...

Пан Хмильковский! На свободных митингах, завоеванных пролетарской борьбой, вы говорили красивые речи о равенстве и братстве... вы порицали гнет и эксплуатацию, вы восхваляли свободу и справедливость. Но вот на горизонте показались грозовые тучи... Снова

торжествует реакция и... забыты громкие фразы, забыты блестящие речи — Хмильковский-гражданин уступил место Хмильковскому-эксплуататору... Ответьте, в чем разница между вами и скрытым черносотенцем Моисеевым?[1] Как и он, вы понижаете расценки: как и он, вы удлиняете рабочее время; как и он, вы глумитесь над достоинством и честью рабочего; как и он, грубы и жестоки; Моисеев — тварь по натуре. Но вы, «трудолюбец», вы, митинговый оратор, вы, фразер, чем оправдаете вы себя? Пан Хмильковский! Мы, сознательные рабочие котельного цеха, пригвождаем вас к позорному столбу и заявляем вам: мы презираем вас как подлого труса, как человека, втоптавшего в грязь свое старое знамя...»

Михаил прочитал письмо, хлесткие, туго сколоченные фразы задели его за живое; радость, гордость за своих товарищей, а потом и тревожное беспокойство охватили его; немедленно захотелось туда, где закипают страсти. Бориса Хмильковского он знал как облупленного. И сейчас живо, до мельчайших подробностей видел перед собой картину: митинг у заводских ворот, масса народу, трибуну заменяет перевернутая вагонетка — и вот он, Борис Хмильковский, чуть откинулся назад, взмах рукой и — первые слова навзрыд, из потрясенной души: «Братья! Товарищи дорогие!» Ах, как он говорил, сукин сын, у Михаила даже спазм подступал к горлу, а рядом с Хмильковским стояли поэт Валерьян и его друг Виктор Т-ко... Неужто эти герои выговорились в пух и прах и лопнули, как детская хлопушка? (А у Михаила аж слезы когда-то подступали к горлу — так захватывали их речи.)

Филя вытер носовым платком вспотевшее лицо и уже без улыбки, без обычной шутливости заговорил о делах.

— Это готовая листовка! — указал он взглядом на письмо, которое Михаил все еще не выпускал из рук. — Этим письмом мы обращаемся не к Борису Хмильковскому, нет. Много чести ему! Мы расстаемся с нашими вчерашними иллюзиями, с верой в либеральных крикунов; мы бросаем слова презрения ренегатам, предателям, таким «героям», как Валерьян, как Хмильковский и иже с ними. Сейчас из рук в руки передается еще одна большевистская прокламация — о забастовках в механической мастерской. Послушайте, как они клеймят своих хмильковских: «А вы, что пресмыкаетесь перед 25-рублевкой, вы дадите ответ голодным детям, униженым отцам! Вы отнимаете у них работу, но не отнять вам желания быть человеком, гражданином!» Вот такую литературу, товарищи, мы должны размножить буквально завтра. Именно такую! Нас и Ленин нацеливает на решительный отпор, в «Пролетарии» он пишет: без отпора, без оборонных боев мы превратимся в бессловесных рабов. Словом, Ровиер спрашивает, в

[1] Моисеев — один из начальников мастеровых.

каком состоянии типография, когда можно будет начинать печатать.

Братья поняли: события нарастают, поторапливают их!

Коротко рассказал Иван, что сделано с техникой; сказал, что очень хотел бы встретиться с Ровнером где-нибудь на конспиративной квартире. Ровнер — техник, сам издавал большевистскую газету, и он, конечно, посоветовал бы, с чего начинать, ну, скажем, как приступить к набору текста, потому что все это для Петровых темный лес, а посоветоваться не с кем.

Филя задумчиво посмотрел на закоптелое, в странных черных узорах стекло фонаря, сквозь которое слабо и тускло пробивался свет, и покачал головой: нет, вряд ли удастся в ближайшие дни встретиться с Ровнером. Аким по горло завален работой, и работой очень напряженной. Сейчас в порту, на заводах в глубокой тайне ведется подготовка к городской партийной конференции: обсуждается статут, избираются делегаты, объединяются раздробленные цеховые организации. Ровнер считает, что конференцию надо провести в самое ближайшее время, не откладывать, всякая проволочка и задержка — еще больший риск провала. На конференции, ясное дело, будет избран Николаевский комитет РСДРП и будет решена судьба типографии — кто ее возглавит идейно. Вся подготовительная работа, объяснял Филя, легла в основном на плечи Ровнера, Старик страшно устал и буквально валится с ног.

Потом заговорили о событиях в цехах, и Филя с некоторым, впрочем приятным, удивлением заметил: как мы ни скрывали, а на заводах все-таки разошелся слух, что мы вытащили из-под земли старую большевистскую технику. Сомневающиеся с радостью спрашивают: правда ли это? Просят: давайте побольше листовок. Везде заметно пробуждение, настроение и дух у многих сейчас боевитей. Ко мне, сказал Филя, подходило несколько слесарей, надежные хлопцы, они спрашивали: может, вам помочь, ребятки, ну хотя бы сбором денег?

Иван и от Грабова слышал: на нескольких верфях слесари и такелажники договорились по гривеннику собирать в фонд типографии, организовать так называемую «железную кассу». Никогда не сомневался Иван, что рабочие поддержат их, но все же эта живая рабочая спайка, дух солидарности, который не убили и не уничтожили два года репрессий,— все это по-новому, радостно и тревожно взволновало его, и он подумал: «Да, брат, это пролетариат! Громада, тысячи мускулов в одной связке — вот кто мы такие!»

— Теперь о главном, товарищи,— Филя быстрым, энергичным взглядом окинул братьев. — Для того чтобы скорее наладить выпуск листовок, вам надо, как я понимаю, квалифицированного наборщика, печатника, верно? Как вы посмотрите на Виктора Т-ко? Ровнер его рекомендует и спрашивает ваше мнение.

Виктор Т-ко... Они сидели вместе в Черной Слободке, и было время присмотреться к нему. В ссылке, в николаевской политической группе, он был единственный, можно сказать, полуинтелли-

гент — не заводской рабочий, а наборщик из большой и богатой типографии братьев Белолипских, где издавались все официальные газеты... Иван долго молчал и наконец довольно холодно произнес:

— Ладно, Виктор так Виктор. Раз нет специалиста среди нашего брата, заводского, придется взять его. Сами не осилим.

Давно и с каким-то внутренним сопротивлением он думал о том, что хочешь не хочешь, а надо брать кого-нибудь из печатников, и, возможно, именно Виктора Т-ко, но не лежала к этому душа Ивана: в семье, в доме, в большевистской типографии будет еще один свидетель, к тому же оттуда, из центра города...

— Пусть приходит,— сухо произнес Иван.

На следующий день, утром, к Петровым постучал Виктор Т-ко. В комнату вошел высокий худой парень, блондин с длинными тонкими руками, ровесник Шуры. Обоим было по девятнадцать. В отличие от Шуры, Виктор носил не льняную косоворотку, заправленную под кожаный пояс (одежда почти всех заводских рабочих), а тонкую рубаху из белого сатина, плисовые брюки и модные туфли. Как старые знакомые, они не стали тратить понапрасну время на расшаркивания и рукопожатия, а сразу перешли к делу. Виктор сказал: показывайте все, что у вас есть.

Братья занавесили окна одеялами и внесли в комнату коробки со шрифтами, какие-то тяжелые металлические валы, густо смазанные маслом, рамы, кассу и прочее типографское добро.

Виктор подвернул рукава, подвязался куском льняной ткани, чтобы не запачкать брюки. Уже по тому, как он подошел к технике, как взял пригоршню шрифта и привычным движением быстро рассортировал его, как осматривал и ощупывал каждую самую незначительную мелочь в наборном хозяйстве,— было видно, что это опытный печатник, мастер своего дела. А мастерство, сноровку в людях Иван ценил превыше всего.

Т-ко осмотрел технику — не понравилось ему что-то. Выпятил нижнюю губу (такая привычка была у него) и сказал:

— Не густо, братцы, не густо. Валик только один годится, для накатывания краски. Второй валик побольше, который вместо пресса нам будет нужен, поломан. Касса тоже одна, а надо хотя бы две, потому что гарнитура, вижу, разная, то есть в одну кучу свалены разные шрифты. Нет наборной доски, нет рубилки, нет...

Он, наверное, долго бы загибал пальцы, но Иван прервал:

— Завтра мы можем листовку набрать?

— Ты что? — усмехнулся Т-ко. Его русые реденькие брови подскочили высоко вверх, в насмешливых глазах застыло недоумение: «Как завтра? Это ж не заклепку присобачить на паровом котле!» — Ни в коем случае! — возразил Виктор, он сказал как будто мягко, но в голосе чувствовалось: «Я сюда пришел не в цацки играть, и давайте сразу же договоримся: вы будете делать и выполнять все то, что я буду вам показывать». — Дорогой Иван!

Здесь только для того чтоб разобрать шрифты, разложить их в кассу по алфавиту, и то надо дней пять, не меньше. Все кегли, как видите, перемешаны безбожно.

— Нет у нас пяти дней! — нахмурился Иван, и две морщины разрезали ему переносье. — У нас есть только день и ночь. Понимаю, что мало времени, но надо уложиться! А завтра — печатать. Вы с Шурой и Михаилом беритесь за шрифты, а я за кассу, за валы, почищу их, подремонтирую, сделаю все, что надо, только покажи...

Виктору это не понравилось, он побледнел. У него всегда было белое, тонкое, малокровное лицо, но если он обижался на когонибудь (а обижался он часто и как-то неожиданно, а потом долго таил в себе эти внезапные обиды), в такую минуту казалось, что у него вдруг начинали белеть и глаза, на мгновение они замирали, застывали, и нос становился белым как мел, и ноздри нервно и часто подергивались...

Иван понимал, что работать с Виктором будет трудно: непростой и нелегкий он человек, но главное сейчас — не встревать в споры, не отталкивать его от себя, проявить максимум терпения, потому что есть у них что-то поважнее пустого мелкого самолюбия. Иван уже мягче, теплей, по-дружески заговорил с Виктором. Да, верно, техника совершенно не подготовлена, вся она разобрана и раскидана. И все же набирать и начинать выпуск листовки можно. Кустарным, примитивным способом, вот здесь, на деревянном столе. Пускай Виктор этим и займется. А они станут ему помогать, попутно, в ходе работы учиться и постепенно будут готовить все для того, чтобы серьезно оборудовать типографию.

Виктор тоже чуть-чуть смягчился. Он был с характером, вспыльчивый, быстро и бурно взрывался; Иван не забыл, как в седьмом году Виктор первым в Черной Слободке бросился на штыки стражников и как тогда горели у него неистово и бесстрашно глаза. Сейчас он с холодной молчаливой сдержанностью подвел Ивана к оборудованию, вытащил со дна огромный чугунный валок, показал, где в нем обломана ручка и как валок следует обтянуть поверх металла полотном. Иван принялся мастерить, а Виктор с Михаилом и Шурой взялись за кассу. Началась работа, спокойная, сосредоточенная, которая лучше всего снимает всякое напряжение в отношениях, притирает людей друг к другу.

Виктор поставил кассу боком на стол, наклонил ее к стене. Теперь в большом квадратном ящике были видны все ячейки-гнезда, которые напоминали пчелиные соты. Уже не оттопыривая губу, Т-ко показал Шуре и Михаилу, как выбирать из кучи шрифта корпус и цицеро, то есть буквы одного какого-нибудь сорта, и раскладывать их по алфавитным гнездам. Сам он работал легко и быстро, словно не заглядывая в кассу, выбирал на ощупь из кучи нужные знаки и тут же сортировал по сотам.

Братья мало-помалу осваивались; сами уже определяли, где цицеро, а где шрифты помельче, петиты; особенно нравилось выбирать эти малозаметные букашки-брусочки Шурику, который во-

обще любил тонкую филигранную работу — выпиливать, вырезать...

Быстро проходило время, касса наполнялась металлом, становилась тяжелой. Видно было, что Виктор доволен и собой и помощниками. «Наша гора тает!» — повторял он и показывал бровью на кучу шрифтов, которую и в самом деле хорошо уже подчистили. Кто знает, верил ли Т-ко, что завтра они смогут набирать листовку, но по всему чувствовалось: он готов стоять за столом до сумерек и от души поработать. Он весь взмок, стал покладистее, расстегнул воротник рубашки и деловито торопил ребят, показывая, где и что делать. С четырнадцати лет Т-ко служил у братьев Белолипских, потом у Дорфмана, выпускал солидные газеты на шести, на восьми полосах, со сложным набором и иллюстрациями; хорошая практика, немалые познания в типографском деле выделяли его даже среди матерых волков-полиграфистов. И когда Виктор шел к Петровым, он внутренне настраивал себя (знал характер Ивана): деловые качества и умственные способности дают ему право быть в подпольной типографии не какой-нибудь пешкой, не мальчиком на побегушках, а именно тем, кто он есть на самом деле.

Пообедали здесь же, в комнате. И без отдыха — снова за работу.

Иван приделал к валику новую ручку, крепкую, из железного прута, чтоб она долго служила; валик обтянул, как полагалось, парусиной. Примерился: хороший валик, хоть на стенах накатывай! Попросил Виктора начертить ему схему кассы, большую, на сорок с лишним перегородок, и, когда тот сделал рисунок, Иван сказал: «Годится! К вечеру чин чином будет готова!» Он тут же принялся сбивать ящик для новой кассы.

Солнце пригревало в окна; Виктор сказал, что, мол, жарко, трудно в такой душегубке работать, и снял рубашку. Наверное, сказывалась усталость, он стал раздражительным, заметил, что Михаил кладет в гнезда не те, что надо, знаки, рассердился, молча выбросил все, что сложил Михаил, и сам стал разбирать шрифты. Потом свернул цигарку и торопливо бросил: «Пойду во двор покурю». Иван все время посматривал на него, сдерживал себя и сейчас спокойно произнес: можно обойтись и без перекуров, а если уж невтерпеж — то пойди в сени; не стоит во двор выходить, напротив есть окошко со шторочкой, чем-то оно подозрительно.

В комнате стало темнее, приближался вечер. По очереди Михаил и Шура присаживались на скамейку, чтобы передохнуть: от микроскопических знаков и букв, которые приходилось угадывать по головке брусочков, рябило в глазах, тоненькие черточки и линии стали сливаться. Правда, передохнув, парни снова набирали полные пригоршни металлических «шпилек» и терпеливо сортировали их, а Виктор делался все мрачней. Узкий в плечах, с длинными и тонкими руками, по-юношески костлявый, он как-то сразу сник и уже без удовольствия возился со шрифтами, тревожно посматривал в щель окна. Казалось, чего-то ждал. Когда в затем-

ненную комнату приглушенно донесся вечерний заводской гудок, Т-ко вытер руки о полотно и сказал, что ему надо на часок или два сходить в город.

Иван молчал. Он договорился с братьями работать всю ночь.

— У тебя что-то очень серьезное? — спросил наконец Иван.

Т-ко надел рубашку, стал аккуратно отряхивать ворсинки с плисовых брюк. Видно было, что он не хочет объяснять причину. Потом выпрямился, посмотрел на Ивана и... засмеялся. Весь покраснел, лицо стало добрым и растерянным. Махнув рукой, он признался:

— Братцы! Да у меня новость есть, чтоб вы знали! Пропал я, в воскресенье обручился с Анютой, помните, знакомил вас с ней в парке, блондиночка, голубоглазая такая! Договорились — сегодня приду к ней, семейная вечеринка; ни за что не простит, замучает ревностью, если опоздаю.

Иван припомнил Анюту — белую пухленькую павочку, в кружевном платье, глаза светлые, и такие живые, заманчивые, кокетливые огонечки в них. Кажется, она портниха, во всяком случае одета была красиво и со вкусом. Иван теперь понял, почему Виктор мажет себе голову перуином-пето. Когда они вдвоем склонились над кассой, Иван весь сморщился и, возможно немного бесцеремонно, спросил: ты что так крепко надушился? (На Слободке считалось: духи — запах доносчиков и городских барышень.) Виктор замигал глазами, обиженно оттопырил губу. Ему пришлось рассказать о своей беде: лезут волосы — и кто-то порекомендовал радикальный способ — «перуин-пето». И в самом деле, волосы у Т-ко были жиденькие, белесые, шелковистые, прилипали к голове, как у новорожденного ребенка. Да-а, будешь чем угодно их поливать, подумал Иван, даже рассолом, если хочешь завоевать сердце такой павочки, как Анюта.

Шура и Михаил подавали Ивану какие-то знаки, разводили за спиной у Виктора руками: пусть, дескать, идет, любовь не картошка!.. Но Иван представил себе: ночь, Т-ко выходит от них и бредет городом, потом возвращается обратно, и именно тогда, когда «ночные совы» выходят на охоту. Опасно, да и времени сколько вылетит в трубу. А так завтра можно было бы начать главное — набирать листовку!

Иван взглянул осуждающе на братьев: нечего, мол, уговаривать, не та ситуация. Положил руку на худое плечо Виктора, сказал:

— Я помню, как тебя били в Бухтеевке... И как в Черной Слободе ты первым бросился на стражников. Ты мужчина, Виктор. И революционер. Пойми меня правильно: нельзя. Попросим сейчас мать, она пойдет к Тане Грабовой, а Таня сходит в город и передаст твоей невесте, что ты сегодня не придешь. Вообще нам в подполье придется привыкать ко многим «нельзя».

Виктор побледнел и снова обиженно оттопырил губу. Наверное, и он вспомнил, как зверски в тюрьме бил его надзиратель и как Иван руками, закованными в кандалы, ударил надзирателя по шее (за это получил полмесяца карцера), как они вместе пробивались

из Кеми сквозь кордон разъяренных стражников. Наверное, он вспомнил, как много связывало его с братьями Петровыми, с революцией, с тем святым и великим, что разбудила в его душе борьба. (Но его угнетало сознание: «Господи! Нюта будет томиться, сто раз будет подходить к окну, стучать своим кулачком по подоконнику: ну как так можно, как это называется? Только помолвились — и нате вам!») Виктор озадаченно хмыкнул, покачал головой и — остался.

Зажгли фонарь, плотнее занавесили окна. Молча принялись за работу.

Т-ко бросал в кассу гарт и сам удивлялся: вялость и тупую, обволакивающую кости усталость словно рукой сняло. Как и днем, пальцы привычно и быстро перебирали шрифт, безошибочно отыскивали нужные кегли, даже зрение, казалось, нисколько не притупилось. Вкус к работе, собранность, сила — все как будто вернулось. В этом, собственно, ничего особенного и не было. Не раз приходилось ему работать в типографии по ночам, и он уже знал: нужно себя встряхнуть, пересилить, перебороть — и тогда исчезает сонливость, голова проясняется, тело наполняется новой, свежей силой. Только заставь себя! Шура и Михаил, как он заметил, тоже одолели первую усталость, затянули потуже пояса и сейчас работали намного лучше, чем до обеда; чувствовалось, они готовы заниматься шрифтами до самого рассвета.

На столе горел фонарь, за окном стояла темная ночь; Николаев спал, покачивались на волнах Буга и Ингула военные суда, по подворотням рыскали неутомимые «крючки» и филеры, пил кофе Фокин, который обычно любил засиживаться в кабинете допоздна и именно в это время, ночью, вынашивал свои многоходовые комбинации. Узенькая, едва заметная полоска света пробивалась и в одном окне у Петровых. На ночь оставить технику в хате — это было против всех правил, даже походило на чистую авантюру. Но Иван шел напролом, рискуя всем. Невмоготу было ждать.

Огонь горел до утра. Парни слышали, как с постели поднималась мать, вздыхала, выходила во двор. Тихо было на одном конце улицы, тихо и на другом. Постояв немного, мать снова возвращалась к себе на кухню. А потом опять вставала, обходила двор, тревожно прислушивалась, как у дома Моргулисов шаркают чьи-то нетвердые шаги. Наверное, кто-то пьяный.

Мать охраняла их всю ночь, пока не стало рассветать.

Полгода ждали братья этого праздника, и вот он настал: набирают первую листовку!

Такое волнение, такой душевный подъем Иван переживал только в пятом году, летом, когда выступал против столыпинской Думы, когда говорил: никаких дум Рябушинских и Пуришкевичей, да здравствует дума пролетарской свободы!

И вот первая листовка с тем же гордым революционным порывом:

«Сможет ли ворон, взлетев в небо, выклевать звезды? Можно ли водой залить солнце? Как не выклевать ворону звезд, как не залить водой солнца, так не предотвратить взрыва новой пролетарской революции».

Нарезаны ровные листы бумаги, приготовлена краска в банке, похрустывают под ногами брусочки, что выпали из кассы, а они стоят вчетвером за столом — на окне отодвинуто немного одеяло (виднеется согнутая спина матери, которая не отходит во дворе от корыта),— смотрят на черную массивную раму, где поблескивает свинец... Бегут строки перевернутых букв, их следует читать наоборот, и Шура проводит пальцем по набору, тихо шепчет: «Нас много, нас миллионы, и дух наш непобедим...»

Пробные оттиски, корректура, новый набор текста. Все впервые для Петровых, все увлекает и гипнотизирует, как теневые картинки в «Иллюзионе». Вслед за Виктором они вычитывают только что отпечатанные абзацы, ищут ошибки и удивляются: бывает, встречаются не туда поставленные буквы. А еще больше удивляются, когда слова, написанные химическими чернилами, ручная скоропись, на их глазах превращаются в чудо, в типографский текст; каждая буква и знак на бумаге отпечатаны четко и ясно, словно оделись в новую, по-военному суровую форму; как бойцы революции, буквы и знаки выстроились в ряды, из рядов в колонны, и с уверенностью, что «флаг социал-демократии гордо развевается над развалинами старого мира», они приготовились к штурму.

От двух бессонных ночей — хмель в голове, глаза у каждого отекли и покраснели, а у Михаила, самого старшего среди них, пробилась на подбородке негустая золотистая щетина. Но они будто и не чувствуют усталости, точнее, не замечают ее — они молоды, их увлек темп работы, азарт: еще немного, может час или два,— и закончат набирать листовку.

Закрепив шпонами и линейками последние строчки, Виктор вытер уставшее, почерневшее от свинца лицо и лег на скамейку.

— Все, товарищи! Готово! Теперь убегаю, убегаю домой! Там Нюта... Не знаю, что она думает и как встретит меня!

Виктор ушел, а братья принялись убирать в комнате. За несколько дней здесь устоялся густой, тяжеловатый воздух: запах металла, пота, перегретого воздуха. Братья подмели пол, обрызгали его, кусочки бумаги сожгли в печке; всю технику — кассы, раму с набором — вынесли осторожно на огород. Открыли дверь и окна. А мать внесла жаровню с пылающим древесным углем и поставила у порога: пускай почадит, чтобы подумали соседи и прохожие, будто печку топили.

Братья упали в кровати и уснули крепким сном.

Новый день застал парней за печатанием листовки. Шура был на подхвате у Т-ко, подавал нарезанную и смоченную бумагу, оку-

нал типографский валик в краску, осторожно смазывал густую колонку набора.

Вдруг раздался резкий, неожиданный стук в окно. Парни замерли над талером, беспокойно посмотрели друг на друга: кто это? Что случилось? Конечно, в окно постучала мать. Значит, опасность!

Т-ко быстро скомкал листовку и непонятно зачем бросил свой пиджак на жирную раму с набором. Стал скручивать цигарку, его тонкие белые пальцы нервно дрожали.

Осторожно приоткрыв одеяло, Иван посмотрел в окно. Мать стояла среди двора бледная и встревоженная, вытирала мыльные руки и не спускала глаз с улицы.

Иван все понял...

Елена Федоровна неожиданно услышала, как в конце Слободки раздался лай собак, крик детей. Пронеслась чумазая горластая ребятня, палками забарабанили в калитки: «Крючки», «крючки» идут!» Давняя и добровольная обязанность слободских мальчишек — предупреждение об обходе полиции. Прибежала во двор и Аленка, возбужденная, напуганная, и тоже крикнула:

— Ба! Фараоны!

Шум, словно ветерок, прокатился по улице. Со двора во двор женщины передавали: «Корецкий идет! И с ним надзиратель Тарзивон!»

Корецкого, частого своего гостя, Елена Федоровна узнала бы по одним только сапогам — высоким, из добротной телячьей кожи. У них свой, суровый начальственный скрип. Грудь у Корецкого — колесом, взгляд цепкий. Руки волосатые — Шура надолго запомнил его кулаки. Да что и говорить, памятный он человек в Слободке! Сможет ли забыть его и Анисья Чигрина, с которой он содрал всю одежду на допросе?

Однако в это тревожное мгновение Елена Федоровна думала не о Корецком; все в ее душе онемело, застыло. Она оставила стирку, отжала несколько сорочек и снова бросила в воду. Побежала к воротам, хотела их запереть на засов, но спохватилась: зачем? Глупо все это.

А Корецкий с Тарзивоном прошли мимо Сони и Давида, которые низко кланялись им вслед, и уже направлялись к Петровым.

«Все! Пропали мои бурлаки!» — замерла мать с мокрым бельем в руках.

— Здравия желаю! — поздоровался Корецкий, шашкой открывая легонькие ворота. За ним бочком просунулся во двор худой и хмурый Тарзивон, полугрек-полутатарин.

«Ишь,— промелькнуло в мыслях Елены Федоровны,— жара на улице, печет, а они в суконных мундирах, в сапогах, понатягивали фуражки на глаза, знай поглядывают исподлобья. Басурмане, а не крещеные люди! А что же я стою?» — подумала мать со страхом и тревогой. Зачем-то подняла тазик с мыльной водой, посмотрела: куда бы вылить? Сжалась от боли в пояснице и словно только сейчас приметила гостей.

— С чем бог послал, добрые господа? — приветливо и учтиво спросила мать, хотя все ее тело пронизывал терпкий холод; она выплеснула мыльную воду, по двору веером покатились крупные капли, окутываясь в серую сухую пыль и немного забрызгав господские сапоги.

Корецкий переступил лужу. Снял фуражку, вытер пот с покрасневшего лба и хитроватым, цепким взглядом окинул Елену Федоровну.

— А ты бы нас в хату пригласила, а уж потом и расспрашивала. В холодочек, за стол полагается людей усаживать.

Полуденное солнце жгло, как перед грозой, и у господ полицейских даже пар шел из-под мокрых подмышек, из-под горячих ремней.

Не спрашивая разрешения, Корецкий, а за ним и Тарзивон поспешили в хату.

«Пропали сыны! И тот хлопец с ними!» — подумала мать. Кто знает, откуда и прыткость появилась у нее. Она быстро заковыляла, бросилась вперед, заговорила с полицейскими, как сваха на свадьбе.

А Корецкий уже взялся за ручку двери и собирался войти именно в ту самую комнату, где парни печатали листовку. Если бы он дернул за ручку, случилось бы непоправимое — для него и для Петровых. За дверью стоял Иван, весь похолодевший от напряжения. Он стоял с револьвером в руке. Дуло «смит-вессона» сквозь доски целилось в грудь Корецкого. В эту трагическую минуту Иван думал об одном: только бы спасти технику! Передать ее другим, а самим — в бега! Или пусть даже на каторгу. Лишь бы не отдать типографию!

Худенькая, осунувшаяся мать, прихрамывавшая после давно перенесенного паралича, быстро прошмыгнула под рукой Корецкого, заслонила спиной дверь.

— Ой, не ходите туда! Добрые господа! — взмолилась она. — Я там пол помазала и столы перевернула, вон видите, и глина лежит. — Елена Федоровна стала подгребать ногой к порогу кучку мокрой рыжей глины, которую и в самом деле приготовила для мазки. — Лучше идите сюда, на эту половину, здесь у меня чистенько.

И тут же провела полицейских в свою кухоньку.

Здесь было все убрано, на стенах висели свежие рушники, стол покрыт белой скатертью, а на печке ярким пламенем горели цветы, нарисованные когда-то Шурой.

Мать пригласила сесть господ «басурман» на скамью, а сама присела у двери, положив руки на колени,— кровь стучала в висках, больное сердце так колотилось, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Хотя бы они притаились, мои нетерпеливые, посидели бы потише, пока я выпровожу этих антихристов»,— подумала Елена Федоровна, плохо понимая, что ей твердит Корецкий густым басом. А он говорил о том, что она, уважаемая Петрова, не соблюдает порядок, второй месяц не платит налогов, о чем поступили

сведения из городской управы. «Заплачу, сегодня же заплачу, крест меня побей»,— побожилась мать. Потом Корецкий начал расспрашивать о сыновьях, где они сейчас обретаются, не встревают ли в политику, куда ходят; люди добрые говорят, что уважаемые арестанты то бывают дома, то исчезают бог весть куда. «Куда же они исчезают? — положила мать руку на грудь. — Работы сейчас нет, вот они и ездят к сестре в Кременчуг, как он им осточертел, чтоб вы знали!» Потом Корецкий стал поучать, как надо этих каторжных детей воспитывать, чтобы они уважали закон, государя императора и бога. При этом полицейский пристав посмотрел в угол, где висела у Елены Федоровны икона святой Марии, и перекрестился. «Такое безбожное мурло,— подумала Елена Федоровна,— и оно еще крестится на мою святую икону».

Корецкий слегка постучал шашкой по ножке табурета, вздохнул, посмотрел тоскливо на стол. Мать его поняла, ответила решительным взглядом: «Откуда мне взять угощение? Нет, нет чарки! Идите себе с богом, милостивые господа!» Худой, хмурый Тарзивон тоже вздохнул, показывая бровями начальству: «Что с этих люмпенов взять? Если и есть, так разве они уважают власть? Каторжное, заводское отродье!»

Полицейские поднялись и, не простившись, ушли, волоча за собой длинные шашки.

— Нет! — сказал Иван, когда затихли шаги непрошеных «гостей». — Так нельзя! Это провал. Не сегодня, так завтра.

Елена Федоровна вышла на улицу. В руке она держала кошелку, накрытую белым полотенцем. «Куда это вы, Федоровна?» — спросила ее Соня, щелкая на крылечке семечки. «Да куда же? Белье в город несу, золотко мое,— произнесла мать. — Спасибо, есть добрые люди на свете, хоть такую работу дают, а то бы совсем пропали». Елена Федоровна заковыляла с кошелкой на Экипажескую улицу, которая как раз вела в предместье, к богатым дворам, где она собирала белье для стирки. Но напротив дома Грабовых обернулась и резко свернула во двор.

Через секунду Иван Грабов и Таня достали из кошелки Елены Федоровны два толстых пакета листовок. «Ожила, воскресла наша подпольная техника! — радостно суетился Иван, быстро перекладывая листовки в большой черный слесарный сундучок. — Да, вот он, дорогие братцы мои, поворотный момент: оживает борьба наша, оживает подполье, вот что значит ваш подарочек, Елена Федоровна!»

НОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ФОКИНА. ПЕТРОВЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕХНИКОЙ?

Визит Корецкого и Тарзивона заставил Петровых на несколько дней прекратить работу и притаиться. Технику они спрятали в саду, засыпали землей. Днем почти не выходили на улицу, не знали, как лучше поступить: сидеть скрытно дома или «возвра-

титься» из Кременчуга? Не задумываясь, Шура предложил всем «возвратиться», побольше собрать молодежи возле двора и дать струнный концерт — для отвода глаз, поиграть и попеть в веселой бесшабашной компании, конечно без никакой при этом политики! Словом, братья пока что ломали себе голову, советовались: что делать с техникой? Этот подозрительный визит из полиции — только открытый надзор или нечто худшее? А голубенькая шторочка у кирпичных коммерсантов Крижей, она тоже ведь не зря то открывалась, то закрывалась?

Братья жили в постоянном неспокойствии и напряжении. У ротмистра Фокина в это время было тоже не меньше забот. Он все еще выслеживал типографию в Портовом районе, на хуторах.

Фокин был накоротке с градоначальником контр-адмиралом Зацаренным, уважал его как человека прямого и, по всей видимости, далекого от мелких провинциальных интриг. В минуты откровенности жандарм не упускал возможности вылить перед ним всю накипевшую злость на подполковника Левдикова, начальника Одесского охранного отделения.

— Нет, вы только посмотрите на этого самолюбца! Он делает вид, что ничего не изменилось, что до сих пор имеет дело с Ерандаковым!

Фокин подошел к контр-адмиралу и положил ему на стол пакет из Одессы.

Контр-адмирал спокойно посмотрел на бумагу. Подполковник Левдиков спрашивал, какие приняты меры к выявлению и уничтожению тайной типографии Николаевского комитета РСДРП, на существование которой он, Левдиков, указывал еще в декабре 1906 года.

— И главное, вы посмотрите на этот дубляж! Я получаю запрос из департамента полиции. А Левдиков делает копию и тоже отправляет мне. Как прикажете это понимать — юмор по-одесски? А между тем не кто иной, как Ерандаков, с благословения того же Левдикова, в свое время проворонил типографию, потерял ее след. Левдиков теперь спохватился, подхлестывает и понукает чужого коня! Не думает ли этот одесский астматик, что николаевское градоначальство находится у него под пятой?

Фокин не случайно сказал — не охранное отделение под пятой, а градоначальство, он хотел тем самым задеть самолюбие Зацаренного, офицера старой школы, убежденного монархиста, с высочайшего согласия поставленного неограниченным хозяином Николаева, в руках которого находилась вся военная судостроительная база Черноморского флота и которому подчинялись значительные силы военного гарнизона.

Зацаренный сверил депешу Левдикова с депешей из Петербурга. И в самом деле, оба запроса были одинаковы. А Фокин положил рядом еще два запроса — все о той же нелегальной типографии социал-демократов. И здесь, повторяя слово в слово, Левдиков требовал сообщить ему о том, о чем требовал и департамент полиции. Контр-адмирал пожал плечами: странно! Роль

королевского шута, который за спиной хозяина повторяет его жесты? «Что ж, пусть забавляется»,— добродушно ответил контр-адмирал, сощурив глаза.

Располневший, однако еще крепкий, туго затянутый в форму морского офицера, Зацаренный встал, взял из тумбочки пачку дорогих папирос «Люсьен». Предложил Фокину. Тот нервно и жадно затянулся. Зацаренный сел, тоже закурил, а сам не спускал глаз с этого молодого, горячего и, как ему казалось, не в меру раздражительного жандармского офицера.

— Вы сами понимаете, господин ротмистр,— медленно произнес градоначальник. — Николаевское охранное отделение вышло из лона Одесского. С прошлого года оно стало самостоятельным. Но Левдиков по традиции, а точнее сказать, по инерции ревностно продолжает следить за тем, что творится у нас. Это во-первых.

— Не следить, извините, а вмешиваться!

— Пускай так. Привычка. А во-вторых, разница в звании и служебном положении. Левдиков подполковник. Он зубы съел на охранной деятельности. И надо еще подумать, не было ли оттуда повеления,— Зацаренный указал вверх, на «служебные» небеса,— не было ли санкции присматривать и каким-то образом опекать молодое отделение, которое недавно создано и не имеет еще собственного опыта... Однако это явление временное. Опыт и положение, как вы знаете, дело наживное. Буквально вчера я послал в министерство внутренних дел на имя Столыпина представление и личное ходатайство о повышении вас в звании. — Зацаренный заметил, как Фокин весь побледнел, напрягся и как вытянулось у него лицо. — Я отметил ваше усердие по службе, указал на ваши заслуги и так далее. Думаю, когда лягут погоны подполковника на ваши плечи, Левдиков первым прискачет в Николаев и с бокалом шампанского поздравит вас как друга, коллегу и как человека одного ранга и одного чина.

Контр-адмирал широко улыбнулся и, провожая Фокина к двери, похлопал его по плечу и намекнул, что звездочка подполковника скоро опустится из петербургских высот на его рамена.

— А в отношении Левдикова,— напомнил Зацаренный,— я советовал бы соблюдать корректность и терпение. Думаю, корона не упадет с нашей головы, если мы, посылая рапорт в департамент полиции, сделаем под копирку еще один экземпляр и пошлем Левдикову. По его же методе! Пускай утешится старый одесский сыч!

Фокин ушел от градоначальника со сложным, смешанным чувством. Знал, что разговор был не напрасный: брошен еще один камень в сторону Одессы. Но в глубине души ротмистра начинала пробуждаться острая неприязнь и к самому градоначальнику. Покровительственный тон, миротворство и снисходительность — сейчас все это Фокина раздражало. «Широкая, слишком широкая натура у господина Зацаренного! — желчно повторил Фокин. — Погладили меня по плечу (ждите признания своих заслуг!) и тут же укололи... тем же Левдиковым. В Одессе, видите ли, высший ранг и большой опыт! Да Одесса кишмя кишит политическими преступ-

никами, из Одессы текут целые транспорты литературы, Левдиков не может навести порядок в своем охранном отделении и потому с благородной миной покровителя хочет отыграться на Николаеве».

Все больше и больше разжигал себя Фокин и уже не замечал того, как в его озлобленном представлении Левдиков начал вырастать в черную фигуру завистника, интригана, фигляра, почти кровного врага, куда коварнее даже самого Ерандакова. Если бы Фокин мог хотя бы немного заглянуть в будущее, увидеть те дни, когда от России Фокина, Зацаренного, Левдикова останутся одни только обломки и когда он, Фокин, будет убегать на болгарском судне в Варну, а Левдикова одесские рабочие расстреляют у стен жандармского управления, может быть, эта мрачная и недалекая перспектива помирила бы сейчас ротмистра с его извечным врагом-коллегой.

А впрочем, сегодняшний разговор у градоначальника — это только игра, камуфляж, маскировка. Не затем приходил Фокин, не это его интересовало. Для контр-адмирала тоже не было секретом, что хотел разведать жандармский ротмистр. На столе у Зацаренного лежало конфиденциальное письмо из Петербурга. Департамент полиции, ссылаясь на донесения Левдикова, запрашивал о злополучной и небезопасной по своему содержанию листовке, размноженной в Николаеве, где разглашались имена работников тайной полиции. Таким образом, Фокин попал в щекотливое положение: получалось, что он припрятал, утаил от Петербурга этот возмутительный факт, а Левдиков оказался на высоте, доложил. Кроме того, на днях полиция изъяла у одного рабочего свежую прокламацию. И прокламацию не рукописную и не как-нибудь кустарно размноженную, нет! Она была напечатана газетным шрифтом и, по всем приметам, подготовлена рукой опытного мастера. Фокин готов был не поверить собственным глазам: ведь листовка абсолютно шла вразрез с нормальным ходом его версии! По данным Фокина, большевистская техника лежала на хуторе закопанная в землю, а в этот момент, оказывается, каким-то неожиданным, самым невероятным способом готовилась и выходила в свет прокламация, отпечатанная на настоящем типографском станке. Правда, полиция нашла на заводах всего лишь несколько экземпляров упомянутой листовки, и это успокоило Фокина, навело его на мысль: а не могло быть так, что в самой типографии Белолипских или Дорфмана кто-то из неблагонадежных наборщиков тайно ночью набрал и отпечатал два-три экземпляра запрещенного издания, что, к сожалению, случалось и раньше? Словом, все это еще следовало установить и проверить. А сейчас Фокина интересовало другое: насколько проинформирован градоначальник о сложных внутренних перетрясках фокинской службы и каково его отношение к охранному отделению и лично к нему, Фокину? Разговор с градоначальником закончился взаимными любезностями. Зацаренный дал понять: дескать, обо всем я проинформирован (даже о том, как подложил свинью вам Левдиков), но я ценю вашу энергию, ваши заслуги и — «звездочка подполковника скоро

опустится из петербургских высот...». Тон! Даже в том, как были произнесены эти слова, Фокин усмотрел хорошо припрятанную, какую-то отнюдь не сладкую пилюлю.

Он был уверен: надо рассчитывать только на себя.

Мстительные, желчные мысли доставляли Фокину наслаждение; они горячили, будоражили кровь, подгоняли его, словно опасность остаться в проигрыше на конных бегах. Немного успокоившись, ротмистр возвратился в свой кабинет. Попросил чашечку крепкого турецкого кофе, вызвал Мульгина.

Неторопливо пил кофе и просматривал последние донесения из Портового района, из хуторов. Ничего интересного. Пустые, казенные отписки. Но вот!.. Документ сразу привлек его внимание. Кажется, нашел то, что давно искал. Свежий рапорт: ночью за хуторами замечено подозрительное движение; к берегу причалила шлюпка, сошло двое мужчин, оглядываясь, они зашли за кусты («Идиоты! Пишут со всеми натуралистическими подробностями: «справлять малую нужду»); один что-то говорил и рукой указывал на заброшенный сарай.

Фокин откинулся на спинку кресла, еще раз пробежал глазами рапорт. Да, да, да! Все совпадало с тем, что в свое время сообщил авантюрист Кривуля. Шлюпка, сарай, пригородный хуторок. Интуитивно, скорее нутром своим, ротмистр чувствовал: там, в Портовом районе, и надо искать. Ротмистр, конечно, не обратил бы внимания на слова какого-то проходимца, но сообщение Кривули совпадало с прежним и глубоким его убеждением: если большевики и спрятали где-то технику, то только на окраине города, и, вероятнее всего, около порта, чтобы удобнее было перевозить ее по воде. Всю весну и лето в порту и на хуторах велось тайное наблюдение из засад, и, как теперь стало видно, не напрасно.

Пока Фокин просматривал донесение, в кабинет неслышно вошел Мульгин. Сел там, где всегда садился,— недалеко от двери, под портретом покойного Трепова. Кожаную фуражку положил на колени. Зажмурил глаза, словно дремал (а недосыпал Проня постоянно), однако заметно было: он весь в напряжении, тут же готов вскочить на ноги и держать ответ.

Проня думал, что разговор снова (в какой уже раз) пойдет о партийной конференции социал-демократов, которая или уже состоялась, или на днях состоится. О это проклятое «или»! У Мульгина не было сил признаться, что Ровнер, по-видимому, в чем-то его подозревает. Понемногу, незаметно, деликатно Аким отстранил Проню от себя, от партийных дел, и как-то сразу легла глубокая пропасть между Мульгиным и рабочими. Проня выбивался из сил, разворачивал бурную деятельность, а рабочие обходили его, пропадала всякая надежда продвинуть себя в делегаты, проникнуть на конференцию, а Фокин твердо надеялся на это. Мульгин ожидал нелегкого разговора.

Но ротмистр спросил совсем о другом. Он возвратился к старому делу — к чертежнику Ельфимову, в адрес которого поступала

газета «Пролетарий». Фокина снова заинтересовало, кто приходил к Ельфимову тринадцатого, семнадцатого, двадцать шестого июля? Мульгин без запинки ответил: Филипп Андреев, агентурная кличка Ракетный.

— Так вот,— строго сказал Фокин,— в те же дни, как стало мне известно, ваш Ракетный приходил в Слободку, на 11-ю Военную улицу, в дом каких-то Петровых. Я дал распоряжение организовать в этом районе постоянное внешнее наблюдение, район крайне неблагонадежный и сейчас контролируется. Но я прошу,— слово «прошу» Фокин всегда выделял недвусмысленной интонацией,— прошу вас внутренним, агентурным путем выяснить, кто такие Петровы, какие у них политические взгляды и что у них за связи с Андреевым. В последнее время несколько раз фамилия их уже фигурировала в донесениях...

Вечером они сидели у матери на кухне. На столе стояла стеклянная пузатенькая лампа, затянутая темными языками копоти.

Шура перебирал краски и удивлялся: краска акварельная, а пахнет как масляная. Откуда этот запах? Понюхал свои руки и улыбнулся: вот оно что — типографский душок! Никак не смог отмыть руки после печатания прокламаций.

Здесь же сидела Елена Федоровна, вязала на спицах. Хотя было и лето, ноги она всегда держала в тепле. Тесно прижавшись друг к другу, Иван и Михаил рассматривали старую пожелтевшую брошюру, одну из тех, что сохранялись за иконой. Каждый занимался своим делом, однако было заметно — озабочены братья совсем иным. Визит Корецкого всех встревожил, опасность провала ни у кого из них не выходила из головы.

После тягостного раздумья Иван отодвинул брошюру, быстрым жестом, словно отгоняя усталость, провел ладонью по лицу,— это означало: он что-то придумал.

— Что будем делать? — спросил Иван Шуру и Михаила.

Как всегда, старший брат с ответом не торопился. А Шура был быстрый на слово и на дело. Ударил себя по колену и сказал: «Есть у меня думка!» И тут же предложил свой план. В большой комнате надо выкопать погреб. Прямо под печкой. Вход через грубку можно сделать в виде дверцы. А внизу будет убежище, подземный склеп. И там устроить типографию. Разве плохо?

Иван молча выслушал Шуру. Предложение меньшего брата его заинтересовало. Баламут, фантазер этот Шура, однако голова у него золотая. Твердый, резко очерченный подбородок Ивана, широкие, крепкие губы смягчились, что-то веселое, слегка ироническое, воспоминание или интересная мысль, промелькнуло в его глазах.

— А ты, Михаил, что скажешь?

— Что я скажу? — Михаил весело потряс Шуру за плечо.— Этот баламут всегда перехватит мою идею. Я тоже думал об убежище, только немного по-другому: надо копать не под печкой,

а просто в полу, у глухой стены, там удобнее. И выход сделать в сад или в глухой переулок к Николайчукам. Словом, так или иначе, а зарываться в землю придется.

Казалось, мать и не слушала, о чем говорили сыновья, перебирала пряжу, однако, уловив слова «копать», «в комнате», «под глухой стеной», она быстро подняла глаза, удивленно и осуждающе посмотрела на своих «бурлаков»:

— Ну вот еще! Бог знает что придумали! Вы еще возьмите да всю хату и перекопайте! Послушайте лучше меня: есть во дворе старый погреб, лет двадцать как засыпан...

— Мама, вы просто золото! — выкрикнул Иван и, что было совсем на него не похоже, подхватил легонькую мать на руки, весело закружился с ней по комнате и только потом усадил ее на прежнее место. — Ну-ну, расскажите! Я именно и думал об этом забытом погребе. Где он? Мне кажется, он был там, где пепелище[1], под самым забором, правда?

Как связной комитета, Филя Андреев кружил по городу, а за ним следом ходили фокинские шпики. Несколько раз замечал Филя за собою «хвост», пытался от него оторваться и был уверен — оторвался, но он не знал, что за ним следили по цепочке, передавая его из рук в руки.

С малыми и большими поручениями комитета носился Филя Андреев на заводы, в порт, в док, на конспиративные квартиры, и охранка давно обратила внимание на его подозрительное кружение, на его непоседливость, дала ему кличку Ракетный и теперь не спускала с него глаз.

Вскоре Филя снова заглянул к Петровым. Он поздравил их с выпуском первой прокламации, передал слова Ровнера «сделано отлично!» и сказал, чтоб готовились к более серьезным делам, есть некоторые соображения в комитете!

Беспокойный, нетерпеливый Филя, как всегда, долго не засиживался; пожал братьям руки и характерным для него энергичным жестом достал из внутреннего кармана плотный бумажный сверток.

— Вот вам, товарищи! Заграничный сюрприз. От Ленина. Газета «Пролетарий». Думаю, для вас это самый лучший образец той работы, какую мы планируем. Посмотрите, как делается газета, как она печатается, какие в ней статьи. Просто дух захватывает! Нам бы, хлопцы, хотя бы немного ее огня и силы!

Филя передал Ивану сверток и легким размашистым шагом вышел на улицу. «Матрос Кошка»,— подумал о нем Шура. «Кошка!» — это была самая высокая похвала в устах бывшего матроса из Порт-Артура, инвалида, у которого Шура учился живописи. Иван проводил на улицу Филю, и братья друг за другом вошли в комнату, уселись вокруг лампы. Развернули сверток. А там —

[1] **Пепелище** — место, куда выбрасывают золу.

не одна, а две газеты, точнее, два разных номера, аккуратно сложенные и подклеенные на сгибах.

Секретный циркуляр департамента полиции губернским жандармским управлениям и охранным отделениям от 31 марта 1908 года:

«Поселившиеся в Женеве большевики стали выпускать там свою еженедельную газету «Пролетарий»; в редакцию ее входят: Ленин, Богданов, Луначарский, Алексинский, «Иннокентий». Меньшевики издают там же непериодически «Голос социал-демократа»...

Литература отправляется в Россию:

1) в конвертах (в громадном числе);

2) в чемоданах через Финляндию;

и 3) в панцирах через легальные границы.

Об изложенном департамент полиции сообщает для сведения и соображений».

Зашуршали страницы газеты, слегка запахло горьковатой масляной краской. Для Михаила и Ивана этот запах был свой, приятный, немного будто заводской; братья и не представляли себе, что от этого густого, угарного, раздражающего духа масляной краски они не раз еще будут задыхаться в подвале.

— Смотрите, какая прекрасная бумага,— сказал Михаил и потрогал пальцами уголок газеты.

Бумага и в самом деле была хорошая: тонкая, прозрачная, белая, ее можно складывать как угодно, провозить в специально подшитых внутренних потайных карманах, а то и просто в подкладке шапки. О чудесах транспортировки большевистской печати из-за границы много раз на Кеми рассказывал им Филя Андреев. Особенно смеялись братья, когда узнали, что партию газет большевики как-то отправили через границу в гипсовых бюстиках самодержца Николая II. Подумать только: в царской голове — революционные идеи!

Пододвинули поближе фонарь. И почти вместе вслух прочитали: «Пролетарий». Еженедельная газета. Выходит по средам. № 23. 27 февраля 1908 года».

Газета издана еще в феврале. Пять месяцев тому назад. Но надо же представить себе, откуда и как она добиралась? Из Женевы! Впрочем, сейчас не было времени об этом думать. Шура уже водил пальцем по всем заглавиям, глаза его разбегались, и, наконец остановившись на первой статье, он сказал:

— Слушайте:

«В 27-м заседании черносотенного парламента на очередь был выдвинут вопрос об ассигновании из казны миллиона на «вспомоществование пострадавшим от террора» полицейским, шпионам и провокаторам с женами их и с чадами».

Братья сразу вспомнили полицмейстера Иванова, которому бомба испортила парадный вицмундир; вспомнили доносчика Леву, которому нужно платить за примочки. А тот, что у Крижов сидит за шторочкой? Он тоже завтракает и обедает за казенный счет!

— А вот! — оживился Шура и нетерпеливо отогнул кончик страницы. — О нашем Николаеве. Смотрите: «В Николаевском охранном отделении».

Мигом была прочитана небольшая заметка. «Пролетарий» из Женевы будто их, лично Петровых, предупреждал: не поддавайтесь на провокации; николаевская охранка фабрикует «революционную» литературу и пытается подсунуть ее рабочим, наблюдая, кто на нее клюнет.

Это был новый маневр провокаторов, во всяком случае здесь, в Николаеве. Хитрая бестия Фокин! Знает, какой голод на литературу в пролетарских низах, и на шпионскую приманку вылавливает простачков. Михаил вспомнил цех, Кондарева, своих друзей котельщиков, и в мыслях тревожно пронеслось: никого не взяли? Сейчас там начались волнения, забастовки, и заводская полиция непременно бросится искать «коноводов». «Эту заметку из «Пролетария»,— решительно сказал Михаил,— надо или полностью перепечатать, или пересказать своими словами, чтобы от имени комитета предупредить всех рабочих...»

Еще острее почувствовали братья: с пробуждением революционной борьбы в низах возник и голод на литературу, и вряд ли теперь можно ограничиваться одними прокламациями.

Братья и не заметили, как стали рассматривать газету уже с профессиональным интересом. Им просто повезло: у них в руках «Пролетарий»! Целыми днями будут они теперь вчитываться в текст, разбирать по строкам, приглядываться к шрифтам и заголовкам, думать, как все это сделать своими силами.

Они осторожно переворачивали газету, наперебой расхваливали — здорово отпечатана газета, размышляли: какое заглавие придумал Ленин, какой текст он правил, над какой заметкой от всего сердца смеялся. Удивлялись: просто непостижимо, как эта газета — из Швейцарии! — попала сюда, на Слободку, в их рабочую халупу? Где Женева? За тысячи верст, за сотнями полицейских постов, за десятками пограничных осмотров. Наверное, не в одном тайнике пролежала газета, прежде чем попасть сюда, на юг Украины. И кто ее привез в Николаев?

Иван снова вспомнил Филю Андреева. Этот Филя все время удивлял его. Слесарь, обыкновенный заводской парень, такой же, казалось, как все, но нет, есть у него что-то свое, особенное. Размах, энергия, риск, умение пробиться к кому надо и связаться с кем угодно. Тесно ему в Николаеве. Еще до ареста он уже переписывался с Петербургом. А теперь, как видно, через товарищей связался даже с Женевой, получает оттуда литературу. Талант, врожденный талант связного, партийного организатора.

Наверное, так же думал о Филе и неторопливый Михаил. Он аккуратно сложил газету, спрятал в домашний тайник, чтобы позже внимательно перечитать, а затем тихо, словно думая вслух, обратился к братьям:

— Вот что, хлопцы. Надо серьезно поговорить с Филей. О связи с Лениным, с «Пролетарием». Чтоб эта связь была у нас постоянная. Вы же видели, и в одном, и в другом номере газета обращается ко всем рабочим, просит: присылайте письма, заметки с мест, прокламации, выпущенные на заводах. Чем шире связь, чем теснее она, говорит газета, тем боевитей будет наш орган. Им там, хлопцы, за границей, тоже без нас трудно, как нам без них.

Договорились, что попытаются отправить в Женеву через Филю свою первую листовку.

СТАРЫЙ ПОГРЕБ

Николаев был богат добротным строительным лесом; на каркасы, на обшивку кораблей завозился первосортный дуб, дерево даже с незначительной порчей браковалось, и под этой маркой ловкачи и коммерсанты налево и направо сбывали целые вагоны хорошего корабельного леса.

В воскресенье Иван, Шура и Михаил пошли на базар, там на дровяном складе купили так называемых отходов, а на самом деле отличного дуба. Сгибаясь под тяжестью девятиаршинных досок и брусков, возвращались они домой. В воскресенье, да еще в летний погожий день, на скамейках, под заборами сидело немало слободских домохозяек: с любопытством провожали они глазами трех братьев, тащивших длинные горбыли. Сорочки у них от пота стали мокрые, лица от напряжения покраснели, а у Михаила еще и волосы падали на глаза и прядями липли к вискам.

Братья свалили доски во дворе, вытерли пот руками. Иван вынес пилу, топор и начал из добротных горбылей и брусков сбивать большую будку, похожую на будку полицейского: с двухскатным навесом, окошком, с солидной дверью на петлях. Немного отдохнув, Шура и Михаил взяли лопаты и принялись у забора замерять шагами землю, прикидывая, где им лучше копать яму.

Теперь раскроем тайну.

Когда Елена Федоровна вспомнила о старом погребе, первая мысль у братьев была — откопать его. Хорошо, что они не поторопились. Рано утром Иван прошелся по двору, что-то мурлыча себе под нос, и вдруг сказал:

— У меня другая идея! Сверху землю трогать не будем. Пускай все остается так, как было. Прекрасная маскировка. Зато сбоку мы выкопаем глубокий колодец; это будет, ну, скажем, отхожая яма. Выроем боковой тоннель из колодца в погреб. Расчистим, укрепим его, очистим от мусора через подземный лаз. Для маскировки поставим над колодцем деревянную будку. Сделаем

все как полагается!.. А теперь смотрите: старая зола под забором, мусор, бурьян. Двадцать лет мать ссыпала туда шлак и золу, вряд ли кто помнит на Слободке, что когда-то у Петровых был погреб.

Идея Ивана братьям понравилась. В воскресенье они принялись за работу.

Уже после того как распилили доски и сложили их в штабель, пришел Виктор Т-ко. Он едва заметно улыбался. В его улыбке всегда была какая-то многозначительность, неразгаданная тайна, глубоко упрятанная обида или ирония, не поймешь! Виктор никогда не был пунктуальным. А тем более сегодня, в воскресенье,— утром он случайно встретился с Анютой, и вдвоем они долго гуляли по берегу Буга. Братья знали, что у Виктора какое-то недоразумение с родителями Анюты: старики настроены категорически против Виктора, не хотят отдавать за него дочь, ссылаясь на то, что он ей не пара, с Бухтеевкой и каторжным миром связался, а Нюта хотя и не из богатой, зато из честной семьи портового служащего. Словом, извечная драма, конфликт отцов и детей, который разжигает только страдание и любовь молодых.

Иван поплевал на ладони и взял в руки топор, а Шуре и Михаилу сказал, чтобы они рыли яму; было бы неплохо закончить к вечеру. Виктора, сегодня особенно пахнувшего одеколоном, он отправил к землекопам.

Ребята сняли рубашки; белые, незагоревшие тела обдало теплым ветерком. К полудню стало душно, казалось, в раскаленном воздухе над Слободкой повисла серая сухая пыль. А может, и в самом деле из южных степей надвигалась черная пыльная буря.

Яму копали по очереди. Собственно, больше орудовал лопатой неразговорчивый Михаил, Шура отгребал землю и нет-нет да и ввернет то одно, то другое словечко, чтобы как-то рассмешить Михаила. «Ну и жук ты!» — незлобиво отбивался Михаил.

Копать было нелегко. Земля на Слободке — красный глинозем, сухая и крепкая, недаром Криж построил здесь кирпичный заводик. Такую землю просто не возьмешь, приходилось ее долбать лопатой, а уж потом выгребать. Шура привязал веревку к ведру и поднимал в нем тяжелые комья наверх.

Солнце пекло немилосердно. Михаил сильно вспотел, в землю он уже углубился по грудь, и ветерок не обдувал его.

По-видимому, Виктору было неудобно стоять возле ямы и покуривать. Он затоптал ногой окурок и кивнул Михаилу:

— Давай теперь я. Небось устал ты.

Михаил вылез, густая прядь волос рассыпалась, прилипла к вискам, легкая усталость и доброта засветились в его светло-серых глазах.

— Лезь, только разденься, душно.

Но Виктор не снял рубашку. Наверное, постеснялся. Давно, еще в детстве, когда ходил купаться на Ингул, затаил он в себе холодную зависть, странно смешанную с чувством высокомерия,— зависть к физически сильным, грубоватым заводским ребятам, прятался от них, избегал безжалостных мальчишечьих насмешек

и унижений, а может, ему просто тогда казалось, что заводские огольцы относились к нему по-другому, чем к своим.

Сейчас Виктор только завернул рукава и полез в яму.

Чем глубже, тем плотнее и тверже становилась земля. Приходилось прибегать к лому. Виктор быстро набил себе мозоли, однако терпел, не хотел показывать братьям, как вспухли у него ладони.

Прихрамывая, подошла Елена Федоровна, принесла кувшин с водой из колодца. Пока парни пили воду, посмотрела на яму, на будку, которую мастерил Иван, передником вытерла пот с лица, о чем-то подумала, и такие лукавые мудрые и насмешливые морщинки разбежались у нее под глазами!

— Работайте, сынки, работайте,— будто всерьез подбодрила она.— Знамо дело! И у городового такого нужника нет, какой у нас будет!

У ребят весело заблестели раскрасневшиеся, в ручейках горячего пота лица.

Мать пошла к плите, где артисточка возилась в песке, и время от времени подкладывала дрова в огонь.

Парни торопились.

Теперь яму копал Шура. Он всегда горячо и торопливо брался за любое дело, вот и сейчас размашисто принялся стучать ломом, отбивая куски сухой глины. А солнце уже стояло над самой головой, утих ветер, и у Шуры сразу взмокли волосы, а спина засверкала в лучах, будто ее густо и жирно смазали маслом.

— Вылазь! — сказал Михаил.— Быстро из тебя побежала водичка.

Шуру вытащили. Он радостно повалился на кучу глины, земля была прохладная, отдавала приятным запахом глубинной тлени.

Иван подошел и заглянул в яму.

— Еще штыка на три-четыре долбаните вглубь, и хватит. Надо, чтоб Михаилу было на вытянутую руку. А пока — перекур.

Уселись на кучу свежей глины. Т-ко закурил. К Шуре сразу подбежала Жучка, веселая незлобивая дворняжка; больше всех она любила Шуру; да и вообще, как давно заметила мать, все живое почему-то тянулось к меньшему сыну,— видно, умел он расположить, привязать к себе и малых детей, и щенят, и любое бездомное голодное существо.

— Жучка! — похлопал себя по колену Шура.— А ну, послужи нам! Как друг и товарищ.

Дрессированная Жучка встала на задние лапы, высунула язык и замерла, поглядывая на парней веселыми, преданными глазами.

Иван, Михаил и Виктор знали, что это только начало спектакля. Они слегка улыбались.

— А теперь, Жучка,— суровее произнес Шура,— покажи нам, как Пуришкевич прислуживает русской буржуазии.

Жучка встала на задние лапы, завертела хвостом, закивала лохматой головой, будто хотела каждому поклониться.

Номер этот повторялся уже не раз, однако ребята рассмеялись, а довольный Виктор весело оттопырил губу: браво!

И опять принялись за работу. Шура ведрами таскал землю; гора красной, комковатой глины вырастала вокруг ямы; сначала ветерком трепыхало один только чуб Михаила, а потом и золотисто-русая копна его исчезла где-то в глубине.

Позвали мать, спросили ее, в какую сторону пробивать тоннель. Елена Федоровна показала: вот здесь под каменной стеной забора был старый погреб, а сходенки к нему (она так и произнесла: сходенки) начинались тут вот, где она стоит; да вот и заметно даже немного, вон как в этом месте земля осела.

Иван понял: чтобы попасть в старый погреб, надо пробить полтора-два метра тоннеля.

Елена Федоровна окинула взглядом клочок бугорчатой земли, бурьян, слежавшуюся золу (вот и все, что сохранилось от старого погреба), вздохнула — как бегут года! — и задержалась возле землекопов. Нахлынули воспоминания. Она присела на холмик свежей, только что вырытой глины и стала рассказывать одну из семейных историй, которых знала великое множество.

...Копали погреб два старых бурлака — дед Алекса и дед Федор. Федор был украинец, крепостной, бежал от пана из Польши. Алекса был русский, казенный ремесленник, тоже убежал, только с Севера; потом он стал моряком, плавал, как сам говорил, под всеми козерогами и зодиаками... Здесь, в Николаеве, они встретились и подружились на всю жизнь, вместе поселились и работали на Адмиралтейской верфи, вместе ходили на свадьбы и в два голоса так вытягивали старинные песни, что люди, слушая их, плакали. Еще они нанимались копать погреба, и люди рассказывали: копают деды целый день и песни распевают; выпьют по чарке и снова — то украинскую, то русскую, а то польскую затянут, потому что много выучил Федор польских песен благодаря своей Ядзе, с которой от пана бежал.

— Вот здесь, на этом пригорке,— рассказывала мать,— Алексей Петров поставил хату, а мой отец, Федор, с Ядзей — немного поодаль, по соседству. И когда решил Петров выкопать себе погреб, то он, понятное дело, позвал друга, и сколько здесь было выпито за сухость и крепость погреба, сколько песен пропето — трудно передать.

Потом Алекса и Федор ударили по рукам и поженили своих детей: отдал Федор свою Елену за Петрова Василия. Благословили молодых и пожелали им за свадебным столом две дюжины детей. Исполнилось их желанне — двадцать четыре ребенка родила Елена Федоровна.

Двор у Петровых, как и у большинства на Слободке, тесный, часто погреба копали под самой стеной забора, чтоб тоннель выходил на улицу. И впрямь от души постарались деды: полвека прошло, а погреб стоял, земля нигде не осела и дорога на улице была гладкая, как и прежде. Только потолок начал посредине осыпаться, небезопасно стало в погреб залезать, глядишь, завалятся

лежаки; вот и засыпали вход землей и мусором, чтоб дети туда случайно не забрались.

Занимательно рассказывает мать, с веселыми прибауточками, да время не ждет. Пора и за работу.

Иван полез в яму. Коротким ломиком наметил квадратное окно тоннеля.

— Здесь будем долбить. Давай, Шура, ведро!

Первые полметра прошли быстро. А дальше стало труднее: надо залезать в тоннель и, как шахтеру в низком забое, рубить лежа на боку, а землю выгребать руками. Об этом Иван через двадцать лет в своих воспоминаниях писал: было нелегко — глаза заливало потом, руки дрожали от напряжения. А Иван не из тех парней, которые помнят какие-то мелкие трудности... Закрывали телом не только свет, но и приток воздуха. Виктор, возможно оттого, что курил и болел бронхитом, быстро задыхался, выползал назад; ситцевая рубашка на нем закручивалась и задиралась. Когда же Михаил долбил землю, по его широкой спине, как по желобку, стекал горячий пот, из тоннеля он выбирался весь багровый, перемазанный глиной.

Сначала копали весело, подсмеивались друг над другом. Но вот уже продолбили метр, полтора метра, продвинулись на целых две сажени. И все как-то сразу примолкли, с некоторой настороженностью стали переглядываться: что-то не так, ни ступенек нет, ни погреба. Засомневались: может, ошиблись, копают не в том месте? Встали над ямой и принялись почесывать вспотевшие затылки. Закралось сомнение: а был ли вообще здесь погреб? Возможно, о нем только говорят. Возможно, это одна из тех легенд, которые во множестве распространялись на Слободке про их дедов.

Больше всего в семье сохранилось воспоминаний и пересказов про деда Федора, о том, как он бежал от пана из Польши. Тот панок, говорили, был невообразимо горяч на руку, хотел из Федора холопский дух выбить. А поскольку дед в молодые годы славился крепким здоровьем и веселой удачей, то плевал он на панские розги, собрал вокруг себя верных друзей из крепостных и решил: любой ценой убежать на волю. (Мать часто говорила: «Это тебе, Ваня, дед передал свою удачу; никогда ни перед кем не гнул он головы».) У того же панка влюбился Федор в молодую служанку Ядзю; ну конечно, Ядзя была красавица — голосистая певуньяполячка, под пару ему, лучшей и желать не надо. Сначала тайно встречались, потом попросили крепостных, чтобы помогли им убежать. И вот ночью два поляка вывели из конюшни пару добрых лошадей, другие ребята выкатили за ворота имения разукрашенную панскую бричку, усадили молодых, простились — и с богом! За две ночи, говорил дед Федор, прикатил он на тех панских лошадях в Таврию, обнимая и целуя по дороге, в бешеной скачке, свою богиню Ядзю. Как раз в это время прибыл в Николаев прославленный адмирал Лазарев, участник трех кругосветных путешествий. Назначили его главным командиром Черноморского фло-

та и портов. При нем и начали расширять, застраивать казенную Адмиралтейскую верфь, сооружать в порту новые причалы, строить большие линейные суда и фрегаты. Сюда, в южные степи, на Буг и Ингул, где шло огромное строительство, отовсюду бежали такие же непокорные и отчаянные, как дед Федор,— рекруты, крепостные, каторжники. Никто их не регистрировал, не спрашивал у них имени, рода и происхождения, лишь бы у человека были руки, бери топор — и принимайся плотничать.

Федор поселился с молодой красавицей в рекрутской землянке. Панна Ядзя поначалу чуралась грязных мужиков, их портянок, крепкого духа сивухи. А вскоре и сама подвернула юбку, закатала рукава и принялась стирать, кухарничать, мыть нары. Со временем ко всему привыкла, и не такой уже горькой показалась ей сивуха, не кривилась от нее, как некоторые. Хлестнув горилочки в буйном мужском товариществе, склонялась на плечо Федора и затягивала песню таким высоким и чистым голосом, что артельщики вскакивали из-за столов, кричали: «Ядзю, душа наша!» — и лезли чокаться, говорили, что она бриллиант и пусть только слово вымолвит — за нее пойдут в огонь и в воду. Молодой честолюбивой полячке большего счастья и не надо было, она расцветала за столом, а ревнивый Федор хмурился, дышал тяжело, до хруста косточек незаметно сжимал ее руку, говорил шепотом: «Пшли домой!»

Бабушку Ядзю Михаил и Иван немного и сами помнили, знали, что она и взаправду чудесно пела; на ее коленях старший брат Василий постигал первую музыкальную грамоту, подтягивал ей приятным тоненьким дискантом, а через несколько лет он уже пел в церковном хоре. Еще они помнили, как иногда домой приходила бабушка, чего греха таить, навеселе и пряталась от дедушки в сундук. Тот искал ее, сердился, звал: «Ядзя, где ты? Выходи, говорю!» Бабушка из сундука тихонько откликалась: «Ниц, нема мене дома». Дед брал ее на руки, тряс, как зайца, допытывался, где она гуляла, и тащил к Ингулу, говорил: утоплю! А через пять минут они возвращались заплаканные и зацелованные, садились под иконой и растроганно вместе пели. Это означало, что они помирились.

Если дед Федор жил в окружении сухопутных легенд, то дед Алекса, наоборот, был прославлен морскими приключениями. Он плавал до Ост-Индии и Кейптауна, несколько раз тонул, привез из Англии причудливую диковину — велосипед. И когда он, на виду всего честного народа, впервые покатился на велосипеде по Соборной улице, за ним побежали мальчишки со всего города, люди останавливались и с любопытством ждали, когда матрос грохнется на землю: ведь не может же человек долго ехать на двух колесах!.. Дед рассказывал внукам, что он начинал свою «планиду» куперником, что спускал на воду фрегат «Святой Николай» и что сам адмирал Ушаков пожал ему руку и сказал: умом и талантом таких мастеров могущество и слава России возвеличены будут не только над Понтом, но и над всеми земными и морскими державами. Слова эти повторял дед как библейскую заповедь, божился,

что они записаны во всех морских книгах слово в слово. Дед Алекса явно путал прошлое: фрегат «Святой Николай» был спущен на воду в 1790 году, то есть тогда, когда дед и в пеленках еще не плавал,— не было его, грешного, тогда на свете. И сейчас парни думали: не вышло ли путаницы и с этим самым погребом?..

— А ну дай я попробую! — Иван взял ломик, прыгнул в яму, нагнулся и полез в узкий тоннель, помогая себе локтями.

Глухо раздались его удары под землей, сыпались, вылетали комья из боковой норы. Жарко — невмоготу. Попросил Виктора принести воды. Когда Виктор вернулся с кувшином, в яме уже никого не было. И во дворе тоже. Он оттопырил губу, удивленно хмыкнул:

— Эй, где вы, черти?

Из-под земли послышался глухой веселый голос, словно что-то проклокотало в бочке. Не сразу Т-ко понял, что здесь произошло...

Иван работал уже минут двадцать, долбил и долбил сухую глину, сжав зубы и закрыв глаза. Вот он ударил что есть силы ломом, потом еще — и лом провалился, полетел куда-то в пустоту. И сразу же пахнуло ему в лицо тяжелым влажным духом.

Погреб...

Очутившись в темной яме, в подземелье, первое, что почувствовали братья,— это затхлый, невыносимый смрад. Двадцать, а может, и больше лет стоял погреб засыпанным, догнивали здесь остатки давнишних отходов, и запахи тлена, сырости, гнили настолько были крепки, что становилось трудно дышать.

Сразу же полезли назад. Не думали Петровы, что именно в этом подземелье им придется прожить четыре долгих месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, почти не выходя на свежий воздух.

А в это время мать сидела с лавочницей Соней на крыльце бакалеи, кутала ноги в вязаный платок, и мудрая Соня говорила ей, что «опять содом начинается»: холера в городе ходит, полиция ходит, нищие ходят, босяки ходят, одно не ходит — деньги. Нет работы, нет денег, стены погромом дышат. Царь свалит все на лавочников, и первых, кого побьют,— Соню и Давида.

Мать слушала краем уха, потому что все ее внимание было направлено туда — на кривую их улицу, где росла убогая травка, валялись кучи мусора. Когда она заметила, как с Красной горки спускаются знакомые фуражки, сразу спохватилась:

— Извините, заговорилась я, Соня, а у меня ж обед на плите варится!

Мать торопилась, чувствуя, как все тело будто закололо иголками. Но ее опередила внучка Аленка. Она играла с детьми в песке, однако «гостей» не пропустила, первая заметила.

— Дядя Шура! Дядя Ваня! Полиция! Идут три «крючка»!

Казалось, девочка не вымолвила эти слова, а выстрелила их быстрым разгоряченным взглядом.

Слово «полиция» не действовало ошеломляюще на Петровых. К казенным гостям они относились довольно хладнокровно, но в эту минуту Иван помрачнел и у него сорвалось с досадой:

— Их так! Носит же подлецов по воскресеньям!.. Тоннель? Что

с ним делать? — Мельком взглянул на Виктора, который стоял весь в напряжении и торопливо застегивал рукава рубашки, хотел, видимо, успеть застегнуться к приходу полиции на все пуговицы. «Виктор! — подумал Иван. — Не надо бы ему здесь!..»

— К соседям, быстро! — произнес Иван и взглядом показал на николайчуковский сад.

Виктор бросился к забору, застегивая на ходу воротник рубашки. А неподалеку от дома уже слышалось позвякивание шпор, топот кованых сапог.

— Хлопцы, давайте камни! Катите! — Иван схватил лопату, а Шура и Михаил вырвали по большому кругляку-камню, что долгие годы лежали под забором в земле, и свалили их в яму.

Иван спрыгнул следом за ними, сначала один, потом другой камень втолкнул в полуметровое отверстие тоннеля, забросал глиной, сверху прибил лопатой. Получилась ровная стена. «Баста! Может быть, и пронесет!»

Теперь братья дружно взялись за деревянную будку, потащили ее к яме; Михаил помогал сбоку, ему видны были ворота и три «крючка», которые неожиданно остановились у калитки и наблюдали за их работой. Только это были не полицейские (для Аленки что серое, то и волк), а жандармы, все трое молодые, высокорослые, никогда Михаил не видел их на Слободке.

Братья устанавливали будку, трамбовали вокруг нее землю и словно совсем не замечали трех «гостей» за воротами. Наконец один жандарм постучал саблей по калитке и обратился к матери:

— Что это за сходка у вас во дворе? Наверное, собрали молодцов со всей улицы?

— Сходка! — отозвалась мать, возившаяся у плиты. — Я этих сходников, дорогие господа, сама родила. А если бы все мои дети живы остались, еще двадцать человек, то во дворе сейчас целая демонстрация гремела бы.

— Ну, милостивые государи,— засмеялся жандарм, обращаясь к своим коллегам. — Что я вам говорил? Здесь что ни кухарка — политик, что ни конопатчик — марксист. Карбонарии, тайные общества, на куске черствого хлеба сидят, а до ночи спорят о мировом перевороте и государственном переустройстве в странах Европы. Правильно я говорю, мамаша? Паспорта! — уже официальным тоном добавил он. — Живо, для проверки!

Шура побежал в комнату.

«Градоначальнику
Лично. Секретно

По полученным агентурным данным, местный комитет социал-демократов получил из станции Долинская от неизвестной особы массу (зачеркнуто и рукой Фокина исправлено чернилами — *большое количество) паспортных бланков.*

Ротмистр Фокин».

«Паспорта им! — подмигнул Шура, глядя в зеркало. На него смотрел из стекла чубатый, веселый, полный ребячьей отваги слободской гитарист, один из тех политиков, которому наплевать было на жандарма и на его издевательские слова. — Нашли что проверять! Документы! Все в порядке, «фитили»! Работа Вани Грабова — ювелирная. Старые наши паспорта, фальшивые, с олонецким штампом, Ваня выкинул вон и вручил нам новые, настоящие, чистые, без крамольного «административно выслан», а с солидным «мещанин Петров, который проживает» и так далее. И печать стоит самого полицмейстера Иванова! Не выкусите! С такими, с грабовскими, паспортами уже давно работают на заводе и Ровнер, и Филя Андреев. А вы мне в зубы карбонариев тычете!»

Шура принес паспорта; во дворе еще продолжался разговор. Все тот же статный грамотей жандарм не отставал от матери:

— А где ваш четвертый, мамаша? Был же во дворе четвертый? Гость, сосед или сын? Куда он, разрешите спросить, исчез?

— Был четвертый,— сказала Елена Федоровна. — И сейчас есть. Вот он, наш четвертый. — Елена Федоровна наклонилась и за воротник вытащила на свет божий вымазанную Аленку, которая пряталась за плитой; девочка застеснялась, сощурила глаза, видимо, ей не очень понравился такой бесцеремонный выход на публику.

«Откуда они узнали про четвертого? — держа в руке паспорта, удивлялся Шура. — Кто-то шепнул им на улице? Вряд ли. Не в правилах это Слободки. А может?..» Шура обвел глазами двор и в какое-то мгновение заметил, как из-за забора, из густых зеленых веток вишен, выглядывает Виктор. Лицо бледное, неподвижное, застывшее. На нем словно написано: «Нюта! Неужто наступил тот последний миг, когда нас разлучат, и навсегда!..» Шура быстро отвел глаза в сторону, чтоб не выдать ни себя, ни Т-ко. Сейчас перед ним, через дорогу, стоял крепкий дом Крижей с окошком на чердаке и с подозрительной шторочкой. А на шторочке — возможно, это только показалось ему — вырисовывалась чья-то притихшая тень. «Не оттуда ли сигнальчик?» — подумал взволнованный Шура.

Уже под вечер, когда теплые и по-летнему сухие и пыльные сумерки окутали поселок, со двора куда-то исчез Шура; отсутствовал он недолго и вскоре вернулся. Выскочил из николайчуковского сада — возбужденный, фуражку напялил по-матросски, загадочно улыбается и, кажется, что-то хочет сказать. Иван спросил: что случилось? Не влип ли он в какую-нибудь уличную переделку? Но Шура вдруг ударил себя по коленке и засмеялся: ни за что, мол, братья не узнают, какого сыча прогнал он с чердака! Ах, сыч, ах ты, идол болотный! Можно сказать, друг, за одним столом сидели в трактире, шкуру его продажную от моряков спасли, а он?.. Иван перебил: говори толком! «Ну, вот вам и толком,— засмеялся Шура. — Взял я камень и врезал им по окну. Слышу, крик за штор-

кой, шум, какая-то суетня. А через полчаса выбегает, согнувшись, со двора Крижа — кто бы вы думали? Я его сразу узнал! Наш друг Лева, буфетчик, тот, что моряков продавал. Выбежал, голова забинтована, оглянулся — и как задаст стрекача переулком!»

Михаил готов был рассмеяться, но Иван сурово перебил Шуру: «Ты что, так прямо и подошел к окну с камнем?» — «Ну, Ваня! — обиделся Шура. — Ты меня принимаешь за круглого дурака! Я забрался в кусты, выбрал удобный момент, а потом тихонько из засады... Все шито-крыто! Не волнуйся!»

Да, занимательная история, задумались братья. Приходят жандармы (словно случайно, для проверки паспортов) и сквозь каменный забор видят, сколько людей во дворе: где ваш четвертый? А через улицу из высокого чердака заглядывает в их двор круглое окошко со шторочкой... Иван подумал: «Могли засечь Виктора! Надо немедленно его предупредить, чтоб приходил только конспиративной дорожкой, от Ингула, через николайчуковский сад...»

ТАРАС БУЛЬБА И ЕГО СЫНОВЬЯ

Снова собрались на квартире у Вани Грабова, как собирались на первую апрельскую сходку. Только на этот раз не было Мульгина; сидели они за столом в узком кругу: Ровнер, Филя Андреев, Грабов, Иван Петров... Каждый чувствовал за своей спиной гул нарастающей борьбы, глухие подземные толчки, которые не затихали в городе.

Докладывал Иван Грабов...

Он говорил, что они с Таней готовы принимать литературу, а дом их можно использовать в качестве передаточной квартиры; отсюда они втроем — Таня, брат Григорий и он — будут разносить листовки и газеты на другие квартиры, в порт, к товарищам, с которыми обо всем договорились.

— Хорошо, Ваня,— согласился удовлетворенный Ровнер. — Комитет не сомневается, что у тебя все продумано и все до мелочей учтено. Только прошу, подготовь еще одну-две передаточные квартиры, запасные, на случай провала. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить,— улыбнулся он.

Ровнер сидел напротив окна. На подоконнике стояла деревянная пепельница Ивана Чигрина, как будто дожидалась своего хозяина. «Жаль,— подумал Петров, вспомнив друга,— так хорошо начали, так расшевелили угасший огонь в Николаеве, а Чигрина нет, и нет никаких сведений о нем. Небось загнали его в самую тмутаракань и обрубили с ним всякую связь».

— Товарищи,— как всегда, серьезно и поспешно начал Ровнер; он сидел без парика (идя на завод, надевал парик, не догадываясь, что Мульгин давно его рассекретил). Ровнер еще больше осунулся, щеки запали, густо пробивалась поседевшая щетина в коротком чубе и в бороде. — Забастовки, товарищи, в котельном цехе и в доке, особенно последняя, хорошо организованная забастовка в

механической мастерской, показали, что наша тактика оборонных боев себя оправдала. Пока что мы выступали против издевательств, произвола администрации, против прямого разбоя на заводе, мы защищали честь, достоинство, самую жизнь рабочего от посягательств Хмильковского и черносотенного пса Моисеева. И это правильная тактика, товарищи. В одной из статей в «Пролетарии» Ленин писал, что без этого отпора рабочие совсем превратились бы в нищих, задавленных дороговизной жизни, без этого отпора из людей они превратились бы в безнадежных рабов капитала. Но теперь, дорогие друзья, от оборонных, экономических забастовок мы должны переходить к широкому, к политическому движению. И начинать нам, по-видимому, придется с азов, с последовательного разъяснения рабочим, что Хмильковский нападает на нас не по собственной воле. Вдохновляет его и науськивает куда более серьезный враг — Столыпин. А за спиной директора Каннегисера, который угрожает закрыть завод, ясно вырисовываются погоны нашего всемилостивого государя-деспота. Короче говоря, в политической борьбе, которая разворачивается, мы не можем, товарищи, ограничиться только листовками, только одиночными выстрелами...

Немного позже подпольная типография Петровых связалась с Женевой, и в редакцию «Пролетария» стали из Николаева регулярно приходить письма, рабочие корреспонденции. Часть этих материалов Ленин публиковал на страницах центрального органа. Так, в тридцать девятом номере (от 13 ноября 1908 года) в «Пролетарии» было опубликовано письмо, очень интересное для выяснения предыстории массовой рабочей газеты в Николаеве.

«Вообще надо заметить,— пишет неизвестный автор из Николаева (можно с уверенностью сказать, что этот неизвестный автор сейчас сидел за столом у Грабова),— что рабочий, выросши духовно, стал гораздо требовательнее. Его мало удовлетворяет листок...» Борис Козловский разъясняет эту мысль в воспоминаниях (стиль воспоминаний и заметки в «Пролетарии» поразительно совпадают): «Листовки откликались на событие уже после него, да в листовке и не скажешь всего, что можешь сказать в газете. Рабочие просто заявляли, что это старо, братцы, дайте нам что-нибудь посолиднее». Но вернемся к рассуждениям в «Пролетарии». Рабочего «мало удовлетворяет листок, а больше интересует газета, где он ищет ответов на волнующие его вопросы, из которых один самый сложный и самый трудный не сходит с их уст. Это — вопрос о том, что будет дальше».

После поражения — а в революционных движениях поражения наступали с неумолимой последовательностью — разгромленный и задавленный народ всегда тяжело раздумывает: что же будет дальше? И в памяти народной воскресают зловещие картины прошлого. Боспорское, одно из самых давних восстаний рабов-скифов: трупы повстанцев сожжены, вождя Савмака сбросили с обрыва. Восстание римских рабов: шесть тысяч распятых на крестах и среди них — Спартак. Жакерия: двадцать тысяч крестьян убито, а

Жан-Простак связан за столом переговоров и казнен. Колиивщина: Гонту, Железняка, Неживого четвертовали, тысячи крестьян замучены и посажены на колья. Пугачевская война: горят села от Поволжья до Урала, летит с плахи голова бесстрашного Емельяна. Восстание декабристов: восемьдесят трупов на Сенатской площади и пятеро самых светлых умов России повешены в Петропавловской крепости. Девятьсот пятый год: только военно-полевые суды приговорили к уничтожению около двух с половиной тысяч человек. Что дальше? Неужели за каждый порыв к свободе человечество должно платить той же зловещей платой: кровью, жизнью борцов? И неужели после взрыва — спад, после бунта — еще более чудовищное угнетение, еще более изощренное закабаление простолюдина? Возможно, в этом и кроется неизбежная закономерность истории? Может, все восстания прошлого — только вспышка, только быстропроходящий порыв бунтарства, за которым непременно наступает примирение, усталость, еще более глубокая общественная депрессия? Именно к такому выводу и пришли профессора от меньшевизма и эсеровщины; одни стали искать союза с более «надежной», «творческой» революционной силой, с мелкой буржуазией, а другие сняли с себя личину народолюбия и занялись индивидуальным террором. Вспомните: ликвидаторство, богоискательство, «всемирная скорбь». «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша, мое единственное отечество — моя пустынная душа». Все это от безволия, от мягкотелости, от интеллигентской неврастении; не историзм, а истеризм.

После разгрома московского восстания вся Россия задумалась: что дальше? Большевики решительно ответили: бороться. Готовиться к новому штурму. Выступать — более массово, более организованно. Тысячи раз налетает волна на гранитный берег и только на тысяча первом ударе валит камень в море. Этот исторический момент наступает. Он научно предсказан. Уже скоро, уже не за горами час свержения самодержавия! Бороться! Так отвечали на самый злободневный вопрос времени и большевики в Николаеве.

Свою газету они назвали «Борьба». И на своем знамени начертали слова: «Дух борьбы никогда не умирает в пролетариате».

— А что скажет нам конспиратор? — обратился Ровнер к Ивану.

Иван сидел у окна рядом с Таней Грабовой. Ему хотелось быть остроумным, находчивым, но слова застревали в горле. В комнате было душно, и Филя, этот чертов сердцеед, метал свои многозначительные взгляды. За весь вечер Иван так ничего и не мог сказать Тане, кроме обычных будничных слов,— дескать, рад видеть, как вы тут поживаете? — но все равно приятно было посидеть рядом с ней, помолчать, перекинуться взглядом: может, завтра, потом придет время разговорам, а сейчас давай, мол, внимательно послушаем, что говорит Ровнер, что скажут товарищи.

Иван поднялся, погладил ладонью твердый подбородок и доложил членам комитета: на днях перенесут технику в абсолютно на-

дежное место, в укрытие, полностью оборудуют типографию и готовы будут приступить к широкой массовой печати. Для этого им, Петровым, понадобятся две вещи, вернее, три: немного денег, бумага и краска. Для прокламаций они покупали у лавочников всякие бумажные обрезки, а для газеты необходима настоящая бумага, и килограммов двести, не меньше.

— Бумага будет! — сказал энергично Филя Андреев. — Я вырву бумагу у господ капиталистов. Пускай раскошелятся в фонд будущей революции!

— Так,— внимательно и сурово посмотрел Ровнер на Филю, призывая его и кое-кого из молодых людей отставить всякое тайное перебрасывание взглядами (молодые люди успевали и слушать, и многозначительно переглядываться между собой). Ровнер сдержанно попросил внимания, потому что еще много оставалось нерешенных дел. — Сколько вам, Ваня нужно денег на первые дни?

Иван подумал.

— Немного. Кое-что надо купить для типографии. Это — во-первых. А во-вторых — с сегодняшнего дня мы полностью переходим в подполье. Виктор Т-ко берет расчет на работе. Мы тоже с братьями бросаем свои заработки. Все вчетвером займемся только печатным делом, только техникой. Уходим под землю. Считайте, товарищи, что нас в Николаеве нет; мы уехали в Херсон, Кременчуг или еще дальше — в Екатеринослав; так лучше будет для конспирации. Хочу вас только предупредить, что это мой последний приход на комитет. Не надо, не имеем права, это мое твердое мнение, рисковать подпольной техникой, которую с таким трудом доставали. Ну, и последнее. Для нашего существования, товарищи, нужна будет ваша помощь. Копейкой.

— М-да, с деньгами туговато,— задумался Ровнер. — На заводах, в городе страшная нищета. Как ни странно, а именно эта нищета, нужда порой становится тормозом революции — она отупляет, засасывает людей, отталкивает от борьбы, от общественного движения. С деньгами поступим так...

«Для газеты собрали фонд. Провели сбор на заводах, отдали свои заработки Ровнер, Андреев, Грабов — и получился фонд. Правда, фонд был до смешного мал, что-то около 9 рублей с копейками, но дело было сдвинуто».

(Из воспоминаний Б. Козловского)

Уже когда закончилось заседание, Ровнер быстро встал из-за стола и, наверное для разрядки, для того чтобы немного разыграть Ивана, остановил его в дверях:

— А ты бы все же сказал членам комитета, здесь люди свои, где вы спрятали технику, в какие тартарары ее отправили.

— Как? — удивился Иван и в тон Ровнеру ответил: — Разве я вам не говорил? В кручах спрятали на берегу Ингула, там есть катакомбы, не хуже одесских. Сосед наш Криж для завода глину оттуда берет.

— Молодец! — похлопал его по плечу Ровнер и обвел всех быстрым улыбающимся взглядом. — Знает, что в фокинском Николаеве и стены имеют глаза и уши. Что ж, успеха вам, друзья! Отправляйтесь в свои «катакомбы» — и ждем первого номера «Борьбы». С нетерпением ждем!

От Ивана пошло образное выражение: подпольная акробатика. Он первый и освоил ее. Чтобы попасть в подземелье, надо зайти сначала в будку и спуститься в глубокий колодец. Ноги болтаются где-то в пустоте, в темной яме, наконец находят деревянные перекладины, упираются в них подошвами. А дальше надо было согнуться крючком, протиснуться в боковое отверстие. Потом метра два ползком, по-пластунски узким тесным тоннелем — и наконец попадешь в «катакомбы».

Когда Иван спустился в погреб, там уже хозяйничали Михаил и Шура. За два дня они многое сделали. Ведрами, мешком выносили через нору мусор и обвалившуюся глину. Расчистили старые «сходенки», сделали нишу. Потолок в некоторых местах провисал, и Михаил, осторожно потыкав в него пальцем, сказал Шуре, что придется, наверное, подпереть его столбами.

Но сейчас к ним спустился Иван. Парни обрадовались, забыли о своих хлопотах, обступили брата: ну как там, что было на заседании комитета?

Позднее Иван писал:

> *«Наблюдательному человеку нетрудно было отличить по внешности членов партии от беспартийной массы. Выдавала их рубаха под широким кожаным ремнем... Но главное — какое-то особое выражение глаз. Такого выражения не могло быть у мещанина, обывателя, служащего, буржуя. Такого выражения не могло быть и у интеллигента-меньшевика. Непримиримая борьба — «класс против класса», безмерные трудности подпольной работы и беспредельная вера в победу выражались в их глазах».*

Он писал о других, но это был портрет и самого Ивана. Рубашка, широкий ремень, особый блеск глаз... Именно таким — радостно возбужденным, нетерпеливым, рвущимся к делу — вернулся он из комитета. Шура и Михаил поняли: принес важные новости.

> *«В июле была созвана городская конференция. Эта конференция полностью одобрила работу организационной группы. Был избран комитет в составе: П. Ровнер, Ф. Андреев, И. Петров и др. Первой заботой комитета была организация выпуска газеты. Рабочие настойчиво требовали газету, их мало удовлетворяли листовки».*
>
> *(Из воспоминаний Б. Козловского)*

> *«Было еще одно обстоятельство, которое направляло наши мысли в определенную сторону,— это старые тра-*

диции и воспоминания о бывшей подпольной технике в Николаеве. Газеты в Николаеве уже раньше издавались: в 1903 году большим уважением пользовалось «Наше дело», одним из редакторов которого был т. Ровнер (Аким)».

(Б. Козловский, журнал «Пролетарская революция», 1922, № 5)

«Стали обсуждать название. Я предложил назвать «Наше дело», но Аким нашел, что название несчастливое: две типографии этой газеты провалились... решили назвать газету «Борьба».

(Из воспоминаний Б. Козловского)

«Имеется тайная типография, в которой комитет намерен печатать нелегальную газету «Волна». Место нахождения типографии пока еще не установлено».

(Фокин, донесение в департамент полиции)

Иван коротко рассказал братьям: связным назначен Филя Андреев; передаточная квартира у Вани Грабова; все четверо они спускаются в подвал, закрываются, и никакой связи с улицей, чтоб не привлекать внимания фокинских сычей из-за шторочки.

— Нас в Николаеве нет. Ясно?

— А Т-ко, выходит, с нами? — спросил Михаил.

— Да, выходит, с нами. Комитет окончательно утвердил его печатником-наборщиком. Другого выхода нет. Что ж, пусть будет так: один полу- или четвертьинтеллигент среди нашего рабочего брата. Для полного букета.

Иван говорил об этом спокойно и уверенно (правда, несколько иронически), словно и не было у него сегодня горячей стычки с Ровнером. На комитете Иван спросил: а нельзя ли обойтись без этого самого... без интеллигентчества? Ровнер обрушился на Ивана с неожиданной силой и запальчивостью: как это понимать? Недоверие к интеллигенции? Принципиальное возражение? Нет ничего страшнее — кичиться темнотой, невежеством, заскорузлой простоватостью. Так очень легко и просто свалить революцию на обскурантистскую дорогу, на темный и грубый фанатизм. «Сколько в редакции у Ленина интеллигентов?» — спросил, горячась, Ровнер. Иван смутился, не знал. «То-то и оно, брат,— спокойней произнес Аким. — Не надо, Ваня, чтоб наша законная рабочая ненависть к высшим сословиям перекинулась на культуру, на знания, на воспитанность человека; так недолго проявить недоверие и к интеллигенту Марксу».

У Петрова было ощущение, словно его хорошенько отхлестали. Попался с поличным при товарищах, как простачок школяр, и вполне заслуженно получил удар линейкой... О Викторе Иван, однако, в глубине души остался при своем мнении. И когда встретил Т-ко после заседания у Грабова, с резковатой прямотой сказал:

— Давай, друг, начистоту. Подумай. Работа серьезная. Закроемся на месяц, на два, возможно, на полгода. Будет не лучше, чем в карцере. Анюта, заработок, встречи — все отпадает, все! Только техника! Только газета! И еще одно — о секретности. Нас четверо. Плюс Филя. И если что-то выплывет, просочится наверх, сам понимаешь: знаешь только ты и мы, и больше никто.

Виктор обиделся, уставился глазами на Ивана. «За кого ты меня принимаешь? Кажется, вместе мы шли на винтовки стражников...»

Вместе, вместе, Виктор, кто возражает! Но жизнь такая непростая штука. Кто бы подумал, да и сам ты, по-видимому, ужаснулся бы, ни за что не поверил бы сейчас, что вскоре охранка возьмет тебя за горло мертвой хваткой. И возможно, именно это предупреждение: «Знаешь только ты и мы, и больше никто» — и спасло потом типографию...

Иван Петров вспоминал.

Расчистили погреб. Был он просторный, пять на шесть саженей, есть где развернуться! За долгие годы потолок затек, стал трухлявым и немного осыпался. Его подперли двумя крепкими столбами. Там, где обваливалась земля, стены обшили досками. Посредине поставили два стола: один для набора, другой для печатания. Потом сколотили третий столик, поменьше, и вот он теперь в углу, так сказать, отдел готовой продукции. Михаил сбил из досок крепкий лежак, чтоб можно было здесь и отдохнуть. На доске, прибитой к стене, повесили две лампы, одежду, револьвер Ивана. Помещение почти готово!

Михаил лег на лежак, устало придвинулся к стене. И удивленным взглядом окинул подземелье. «Грот! Пещера! Гробница египетского фараона!» — весело подумал он. И вдруг его охватило совершенно другое чувство. Склонный к раздумьям, к светлой или тревожной печали (когда писал стихи), Михаил, однако, не помнил, чтоб так внезапно и тяжело сжимало ему сердце: повеяло холодом, затхлостью, тоской, угнетающей подземной сыростью. «Что это?» — спросил он у самого себя, почувствовав какое-то глухое, тоскливое одиночество. Так с ним бывало на Севере, в ссылке. Он знал, что нужно делать в такую минуту: взять лампу, забиться куда-то в угол, замереть и слушать, как губы нашептывают слова, строка за строкой, и как рука легко и торопливо записывает их на бумаге...

Трудно сказать, чем это объяснить, но с того дня, когда они ушли под землю и провели там первую ночь, потом вторую, что-то их еще крепче сдружило, сблизило даже с отчужденным Виктором; возможно, эта толща земли над головой, изолированность, чувство того, какую ответственность перед товарищами взяли они на себя. Словом, что бы там ни было, а у них начиналась новая, напряженная жизнь, жизнь тесным подземным братством. Ночью перенесли технику в погреб.

Когда кассы со шрифтами, типографские валики, банки с краской заняли свое место на столах, совсем иной вид, солидный, рабочий, приобрело подземелье. Виктор принес от Дорфмана, под

полой, большую мраморную доску, показал Ивану, как тонко она отполирована, не мрамор, а просто стекло. На эту доску, объяснил он, надо положить раму с набором, и тогда ни один знак не будет ни выступать, ни западать — и печать газеты станет золотая!

Началась поспешная подготовка к выпуску газеты.

Виктор подбегал то к Шуре, то к Михаилу, показывал, объяснял им, как привести в порядок талер и всю подземную технику. Ему нравилось крепко взять вас за руку и вашей же рукой исправлять то, что у вас поначалу не получалось. Парни понимали: выпускать газету куда сложнее, чем листовку. Листовка — это листовка, дело нехитрое, все равно что играть на дудочке, а газета, да еще на четыре страницы,— совершенно другая «музыка». Особенно если и того и другого в оркестре не хватает. А у них, оказалось, нет самой необходимой вещи — больших букв, чтоб набрать название «Борьба». Т-ко почесал затылок. Буквы можно было бы достать у того же Дорфмана, есть у хозяйчика крупная гарнитура, но после того, как Виктор вынес из типографии две банки краски и мраморную доску, за ним вроде бы начали наблюдать.

Склонились над талером четыре головы, думают. Кажется, выход найден: Т-ко принесет из дома большой кусок гарта, а Шура попытается изготовить клише, вырежет заглавие «Борьба» — шесть букв из свинцового слитка.

И еще одна проблема. У них была только небольшая квадратная рама, в которую закладывали набор для листовок. Сейчас она совершенно не годилась, мала, нужно сделать или достать значительно большую, чтоб поместились сразу две газетные страницы. Поручили Михаилу — помозгуй!

Рано утром, смешавшись с толпой рабочих, поехал Михаил той же конкой, что «везет за пятак, а Иван шмаляет так», на Пески, к Южному Бугу. Там в небольшой кузнице работал знакомый человек — старый черноволосый кузнец-молдаванин. Михаил показал ему чертеж. Работа несложная: прямоугольная металлическая рама, на внутренних болтах, только чтобы сделана была на совесть, из хороших пластин.

Вдвоем встали к верстаку и к обеду выточили, отшлифовали, припасовали пластины. «Не рама вышла, а портрет,— причмокивал молдаванин,— хоть на стену вывешивай». Когда Михаил собрался уходить, старик не вытерпел, спросил:

— А зачем она тебе, сынок, на кой лях понадобилась эта рама?

— Крыс, батька, ловить! — ответил Михаил. — Развелось их дома до черта. Шапками гоняем.

Кузнец сощурил черный глаз, хитровато покосился на Михаила:

— Видать, здоровые у вас крысы. Один мне тут рассказывал, что какая-то новая порода вывелась, с жандармскими погончиками.

— Они, они, батька! — улыбаясь, закивал головой Михаил, а про себя подумал: «Хитер, цыган! Политик!»

Михаил нес домой раму, а в это время шагали в другую сторону города, к военному порту, Филя Андреев и Виктор Т-ко. У Фили — одному только богу известно, какие были связи в Николае-

ве,— нашлась даже хорошо знакомая негоциантка, немолодая, но красивая бельгийка Кугерманова, вдова. Увидев Филю в своем дворе, она обрадовалась, поправила пышную прическу, засуетилась, чтобы собрать угощение для гостей. Филя остановил ее: не время, дело есть. Веселая и гостеприимная Куприянова — так Филя обращался к ней — вдруг примолкла, охладела, когда услышала, что у нее просит Филечка. А Филя просил всего-навсего транспорт. Негоциантка имела небольшой сырзавод, у нее были кони, фургоны, рабочие-молочники, развозившие товар по городу. Хозяйка заохала, стала говорить, что у коней сап, что только привела их от ветеринара и никому бы больных лошадок не доверила, разве что Филе, и то лишь на часок. (А вывела из конюшни двух крепких буланых жеребцов, у которых шерсть лоснилась от сытой жизни.) Филя сел вдвоем с Т-ко на подводу, и они покатили в центр.

Жгло полуденное солнце, гудели мухи над рассохшимися бочками. Два «молочника» подъехали к глухому двору. В глубине его показались узенькие каменные воротца с аркой; а дальше виднелась ярко-красная кирпичная кладка — задняя стена добротного особняка. Виктор быстро вошел во двор, с кем-то на ходу поговорил, тихо кого-то позвал и исчез. Вскоре трое вынесли рулон бумаги, сначала один, потом другой. Рулоны затолкали в молочные бочки, накрыли их деревянными кружалами, сверху, как положено, укутали холстиной, чтоб не летали мухи.

Филя крикнул «вйо» на буланых, и «молочники» тихим ходом повезли «товар» к Военному рынку (а там уже и рукой подать до Слободки).

— Кто из них Шварц? —спросил Филя, обратившись к Виктору.

— Тот первый, черноусый.

— Ты рассчитался с ним? Все чин чинарем?

— Да, порядок.

Филя еще раз представил себе сухое черноусое лицо Шварца, отчаянного коммерсанта, который скупал и перепродавал все, даже газетную бумагу. Надо его запомнить, подумал Филя, возможно, придется и одному, без Виктора, вступать в коммерцию... Как честный делец, Шварц предупредил: «Вам бумага не для мокрого дела? Смотрите, молодые люди, а то за мной следят».

«Молочники» везли свой «товар» на рынок, все как будто обошлось хорошо, мухи гудели над бочками, сытые кони стучали подковами по мостовой. Базарная идиллия. Почти как в «Сорочинской ярмарке». Но на одном из перекрестков Филя, по привычке, обернулся и неприятно сморщился: два филера! Все же прицепились! Филя узнал их по серым невзрачным фигурам, по фальшивой игре — роль случайных пешеходов, которые прогуливаются, бредут невесть куда и от безделья заглядывают в окна магазинов.

Подвода тем временем поравнялась с летней пивнушкой. Филя передал вожжи Т-ко и сказал:

— Езжай дальше. — А сам легко спрыгнул на землю.

Возле пивнушки стояло трое разухабистых парней, как видно, все трое заводские — рубахи нараспашку, руки-лапы смоляные,

черные, со вздувшимися венами. Парни порядком набрались, обнимались и что-то выкрикивали друг другу.

— А-а, Костя, Морской Узел! — Филя широко развел руки и так же широко улыбнулся, подойдя к одному из ребят. — Не узнаешь? Забыл! Неужто не помнишь, как я тебя дубасил на Песках за Варю из канатного цеха? В дни нашей туманной юности...

Костя, озадаченный, сбитый с толку, удивленно смотрел на Филю, потом лицо его, красное и вспотевшее, расплылось вдруг от приятной встречи в улыбке, и он бросился к Филе:

— Друг ты мой канатный! Как же, ну как же, не забыл, три румба вперед, помню! Хочешь попить пивка с нами?

Филя обхватил руками всех троих дружков (плечи у них были горячие и мускулы выпирали твердыми буграми), посмотрел влюбленно на их распаленные хмелем физиономии и сказал проникновенно, как человек, готовый с ними и пить и гулять хоть до утра, но...

— Братцы, какие-то два типа за мной увязались. Видно, чужие, не из Слободки. Немного пощекочите их!

— Филечка! Для тебя! Да я, да мы — душу наизнанку! Где они? — горячо спросил Костя.

— Вот они, напротив бакалейной. Поворачивают сюда...

— Филя, полный штиль! Отчаливай спокойно.

Филя «отчалил», а через минуту услышал возмущенные голоса — двое в шляпах «толкнули» неосторожно кого-то из Костиных дружков.

— Ты что, скотина! Чего толкаешься! — кричал Костя. — Обойти не можешь! А закон левого борта, гад! А правило салфетности! А три румба в сторону!

Филя прошел квартал и, прежде чем свернуть в проулок, обернулся: уже далеко от пивнушки заводские дружки гнали «крючков» по улице и лупили их кулаками на ходу.

...Вечером у двора Петровых остановилась подвода и кто-то басовито прогудел:

— Тпру, гнедые да буланые!.. Хозяюшка, вам не надо молока или сыру? Недорого отдаем...

На высоком фургоне сидел «молочник» Филя, из-за его спины выглядывал Виктор Т-ко и весело улыбался.

Елена Федоровна выбежала на улицу, следом за ней Иван и Михаил. Они «поторговались» немного и вкатили во двор бочки с бумагой. Филя уехал, а Иван остановился у ворот и только руками развел: ну и бесов Филя! Как он умеет сойтись с людьми! Даже с какими-то молочницами, с негоциантами, с перекупщиками бумаги...

Теперь их задерживал только заголовок.

Шура сидел за столом в подземном «каземате» перед разложенными старыми, пожелтевшими от времени газетами, которые принес ему Виктор: «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое

время», «Россия», «Южный край», «Николаевский голос». Все это были солидные газеты, такие же у них и заголовки — в мундирах, крепкие и старомодные, как сановники на торжественных приемах. Шура тихонько запел: «С далеких твердынь Порт-Артура...», отодвинул газеты в сторону: не видел, с чего бы ему срисовать заголовок для «Борьбы». Не принимало его сердце обмундированных полицейских «Новых времен» и «Николаевских голосов». Уже в самих названиях словоблудие, а между словоблудием реклама «перуина-пето», от которого еще больше лезут волосы: не зря такие ранние и светлые залысины у Т-ко...

Шура вытащил из-под стола свой, нелегальный образец — женевский «Пролетарий». Приберег газету, знал, что пригодится! Еще тогда, в тот первый вечер, когда приходил к ним Филя и они все вместе тревожно, торопливо вчитывались в строки «Пролетария», Шура запомнил: хорошо сделано название газеты. Просто, выразительно, скромно. Как-то по-рабочему. И снова Шура внимательно присмотрелся к заглавию. «Про-ле-тарий». Нравилось ему, что буквы живут, что они не мертвые, не бездушно отштампованы на типографской машине, а словно кем-то нарисованы, одухотворены, выписаны человеческой рукой с любовью.

«С далеких твердынь Порт-Артура, с кровавых маньчжурских полей...» — продолжал вполголоса напевать Шура, углубляясь в свои мысли.

— Слушай, Виктор,— заговорил Шура. — А что, если я нарисую заглавие просто, не печатными буквами, а словно написанными от руки. Курсивом! (Шура уже тогда знал, что такое курсив и с чем его едят.)

Были споры, было отвергнуто несколько эскизов, на реплики Виктора: «Так не годится! В типографиях так не делают, поймите же!» — Михаил спокойно и примиряюще отвечал: «В типографиях не делают, а у нас, на Слободке, делают». Наконец все согласились: пусть будет заглавие простое, без завитушек, тем более вырезать его придется вручную из металла. А металл — не бумага, там не накрутишь сложных и хитрых хоботков.

...Стояла глубокая ночь, ничто не нарушало тишины. Михаил, Иван и Виктор улеглись по-солдатски на лежаке, чтоб немного отдохнуть. А Шура придвинул к себе лампу, смастерил из газеты абажур и принялся за работу. Покой, глубокое подземное молчание, он один сидит за столом, свет падает на кусок гарта, Шуре почему-то вспомнился матрос-инвалид из Порт-Артура, глубоко несчастный человек — без ноги, без приюта, без семьи. Где он сейчас? Не закостенел ли в своей сторожке, одинокий, голодный, заросший щетиной? Он рисовал море (и всегда почему-то не голубое, а красное, вздыбленное холмом, как куча стручкового перца), рисовал корабли, детям дарил лубки или менял их на хлеб, на шкалик водки. Он учил Шуру: «В нашем малярном деле главное что? Главное, Шурок, прицельность. Это я тебе говорю как бомбардир с линкора «Святая Анна». Вот нарисую тебе на мачте комара. А ты попади кисточкой в того комара, да так влепи, чтобы

прямо в глаз, и нарисуй зеницу ока. Попадешь,— значит, художник, не попадешь — в трубочисты валяй!» — так говорил матрос, а у самого дрожали руки и просыпалась махорка, когда он закуривал.

Сейчас Шуре как раз и надо попасть комару в глаз. Резцом-штихелем он снимает тоненькие стружки гарта, выбирает мягкий податливый сплав, делает насечку, а потом и вовсе старается не дышать, унимает свое сердце, чтоб не дрогнула рука и не прихватила резцом лишнего. На свежих срезах мягко и тускло поблескивает свинец, уже округляется точка, выступает овал первой буквы — «Б». Вырезать буквы надо в перевернутом виде, для Шуры это непривычно, да и намного усложняет работу.

Шура склонился над гартом, кончиком резца удаляет металл, выравнивает стенки букв, и весь он в том напряжении, в том радостном самозабвении, которое переживает человек, делающий что-то чересчур тонкое, очень ювелирное и необыкновенное, и когда он видит, что у него получается. А у Шуры получается, получается заглавие (поберегись комар на мачте): у Шуры есть терпение, есть прицельность глаза, недаром учил его матрос!

С далеких твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей,
Калека седой, изнуренный
К семье возвращался своей...

Эту песню, сочиненную на мотив «Байкала», часто пел под хмельком инвалид и горько плакал, тер кулаком по щетине, аж скрипела, говорил: сложено про мою жизнь!

Подходит он к хижине бедной,
Ему не узнать никого,
Чужая семья там ютится,
Чужие встречают его.

Шура положил голову на руки, в полусонном его сознании все еще звучала тихая грустная мелодия, а глаза слипались, закрывались, ветер гудел над головой, плакал и...

И насмерть зарублена шашкой
Твоя молодая жена.

Погреб выходил на улицу; долго стены и потолок молчали, угнетали земляной тишиной; все спало — в небе, во дворе, в земле. Уже под утро Шура услышал: глухо затопали над головой, пробудился сонный мир, кто-то прошел по улице, потом двинулись оживленней — и вот посыпался песок с потолка. Наверное, было четыре часа утра или начало пятого — взревели на Слободке гудки, черный людской поток устремился к Бугу.

Шура устроился поудобнее, закрыл глаза и так с песней на губах... и уснул.

Твой сын в Александровском парке
Был пулею с дерева снят.

Шура уснул тихо, как птица, и тут же проснулся Иван. И в подземелье, куда не долетали заводские гудки, его разбудил собственный гудок, тот, который будил его с детства. Иван вскочил на ноги, сказал: «Пора!», поднял Михаила и Виктора.

Проснувшись, первое, что увидели парни,— Шуру, который спал склонившись над столом. Перед ним стояла лампа с тлеющим абажуром, стекло совсем почернело, так закоптилось за ночь, что огонь едва пробивался.

— Давай на лежак его перенесем,— тихо сказал Михаил.

Виктор принялся рассматривать гартовый брусок. Еще заспанный, с мятым и бледным от удушливого воздуха лицом, он как-то сразу оживился, с интересом вертел перед лампой брусок, и губы его оттопырились, только на этот раз не иронично, а в неожиданном удивлении.

— Потрясающе! — повернул он голову к Ивану. — Ни за что не поверил бы, если бы сказали, что это ручная работа! Тонко и точно вырезано, словно из формы вылито, даже сумел грани отшлифовать, наверное сукном тер, нигде нет шероховатостей.

Теперь уже Иван с Михаилом вертели перед лампой брусок, рассматривали круглые выпуклые буквы, составляющие заглавие «Борьба». Как люди мастеровые, они сразу оценили: работа добротная. Парни не знали, что заглавие Шуры вообще уникальное. Ни в одной газете мира не дается название так, чтоб в его конце стояла симпатичная большая точка, а рядом — немалый красочный номер и цифра с йотированным хвостиком-окончанием: БОРЬБА № 4-й.

И чтобы по обе стороны от заглавия стояли для украшения очень простенькие ветвистые симпатичные виньетки...

В этом заглавии было что-то наивное, простодушное, присущее, наверное, одному только Шуре.

У Крижа закрывалась и открывалась шторочка, и кто-то с подбитым глазом осторожно поглядывал на обозначенный квартал, на двор Петровых, но кругом стояла мертвая тишина и сонная благодать, а во дворе Петровых вообще никто не появлялся, не приходил и не уходил, и кто-то с подбитым глазом в «Дневнике внешнего наблюдения» уже третий день ставил скучноватый прочерк. А в это время...

...Тяжелый спертый воздух накапливался в подвале. Лампы горели плохо, дымили и затягивались жирной копотью, а потом и совсем начинали гаснуть, и парни, позабыв — утро сейчас или вечер, потеряв счет времени, словно тени, возились возле касс, тихо переговариваясь между собой. На столике уже лежала нарезанная бумага, аккуратно сложенная в стопки. Два рулона тонкой, почти папиросной бумаги — как раз для подпольной газеты! — стояли здесь же, у стены. Филя сказал: печатайте, товарищи, если понадобится, еще приволоку от капиталистов!

— А знаете что? — произнес вдруг Шура (ему всегда неожиданно приходили в голову блестящие идеи). — Поскольку мы очутились под землей, так давайте в этом подземном мире и называться по-новому. Давайте подберем себе партийные клички.

Шура вытащил из-за пазухи потрепанную книжку — «Тарас Бульба» Гоголя. Веселого, тонкого и проникновенного земляка-писателя Шура полюбил еще со школы, много отрывков из произведений Гоголя знал наизусть, ухитрился даже в Олонецкую губернию прихватить с собой «Вечера на хуторе...». А недавно прочитал «Бульбу», ходил, словно мальчишка, потрясенный, встряхивал чубом и говорил: «Вот черт! Здорово! Были же люди!» И принимался рассказывать парням, что в книге написано и о подземелье, почти таком самом, как и у них.

— Так вот! — постучал Шура пальцем по обложке книги и стал распределять роли. — Михаил у нас самый старший, он и будет Тарасом Бульбой. А ты, Иван, ты настоящий Остап, тут и возражать нечего.

— Да ну тебя! — отмахнулся Иван, здесь, мол, работы невпроворот, а у тебя игрушки на уме... Однако видно было: кличка «Остап» пришлась ему по душе.

«18 сентября 1908 года
Начальнику Николаевского
охранного отделения
Секретно

Прошу сообщить, выяснена ли вами личность «Остапа». За ним надлежит установить внутреннее агентурное и наружное наблюдение на предмет выяснения состава комитета и затем весь комитет без замедления ликвидировать.

Начальник Одесского охранного отделения
Левдиков».

Реляция Фокина: «Личность «Остапа» устанавливается»

— Дальше,— весело распоряжался Шура. — Послушайте! Был у Тараса Бульбы меньший сын, Андрей. Кому дадим кличку Андрея?

Мгновенная пауза, сконфуженность, загадочный блеск в глазах Ивана и Михаила.

Трудно сказать, как это случилось, но кличку Андрея (того самого Андрея, которому батька Бульба бросил гневные слова: «Так продать? Продать веру, продать своих? Стой же, слезай с коня!») дали Виктору Т-ко, дали именно ему, и он полностью оправдал ее через несколько лет.

Больше у Тараса сыновей не было, и Шуру назвали Григорием, а связного Филю — Панасом, именами известных персонажей из пьес, в которых играл и которые ставил на сцене брат Василий Петров.

Возможно, воспоминание о Василии, о его черноглазой супруге навело парней еще на одну мысль: зашифровать и технику, дать ей ласковое имя «Маня». Слова «типография», «техника» выбросить совершенно из обихода, называть подполье только по-домашнему: «Маруся», «Маня». А почему Маня, почему не Соня? Потому что Маня — родственница, жена Василия, и все ее знают, любят, все о ней заботятся.

Записки из тюрьмы от Ровнера: товарищ передаст вам узелочек для Мани. Письма в Кременчуг к Ивану: Мане плохо, что-то нездоровится ей. Коротенькие письма из Усть-Сысольска: как там поживает Маня, здорова ли она? Везде фигурирует эта неспокойная Маня: то она выехала, то сейчас на месте, то ей стало хуже...

«Так родилась «Маня»,— вспоминал позднее Иван. — И Тарас Бульба с сыновьями».

Маня, Мария Иосифовна Прозоровская...

Еще одна драма, еще одна интересная ветвь в сложном генеалогическом древе Петровых. Итальянка по происхождению, настоящая красавица, весьма одаренная артистка, так рано и так трагически погибшая...

Чтобы представить ее жизнь, следует, наверное, вспомнить революционно настроенного инженера из Генуи, гарибальдийца Джузеппе Зелера, бежавшего от преследования во Францию, а из Франции переехавшего в Россию: здесь он получил гражданское подданство и переселился в Николаев, где начиналось громадное строительство двух промышленных гигантов юга — судостроительного завода «Наваль» и Черноморского... И еще вспомнить, что он привез из Италии двухлетнюю девочку, которая росла без матери и которую инженер часто отдавал на лето в одно из сел над Ингулом.

Маня...

Босая, чернявая или чумазенькая девочка, трудно разобрать, в серой полотняной сорочке брела по пыльной дороге к отцу. Загоревшее личико было сплошь усеяно веснушками. Шла она вслед за возами, за толпами крестьян к Бугу, где, говорили, принимают на работу всех, лишь бы в руках был топор или лопата. Ехали из голодных губерний, шли с торбами харьковские и херсонские парубки... Кое-кто, сидя на возу, приглашал ее:

— Эй, чернявая, садись, подвезем!

Девочка отворачивалась и фыркала себе в ладонь.

— Смотри, она еще и с гонором!

Девочка шла одна и, если видела у дороги бахчу с головастыми рябыми арбузами, останавливалась и молча смотрела на деда-бахчевника. Тот сразу догадывался, чего ждет эта покрытая пылью странница с голодными глазами.

— Иди сюда, дочка, арбузом угощу. Куда идешь? Небось в Николаев торопишься?

Она кивала головой.

— Все туда тянутся. Как в Вавилон. Говорят, там какую-то железную лестницу строят, по ней чугунка будет бегать. А еще огромный сарай, такой большой, что туда корабли станут заплывать.

Дед разрезал арбуз и спрашивал:

— Ты что ж, сирота?

Девочка смотрела исподлобья и качала головой: мать умерла где-то далеко-далеко, за теплым морем, а отец здесь инженером, в пыли и грохоте,— когда она придет к нему, то у него только зубы блестят...

Невыносимо жгло солнце, девочка шла дальше по сухой выжженной степи, клубилась на дорогах золотая пыль. В руке у нее ломоть арбуза и кусок хлеба на прикуску. Течет сладкий сок по пальцам, липнет и с пылью размазывается по лицу. А девочка все идет степью, и в черных ее глазах застывает удивление: какой мир, какое небо, какая дорога, какая бесконечность, конца-краю не видно степной равнине.

Образ этой девочки, шествующей в полотняной рубашечке в Николаев, Василий Петров, он же актер Петренко, пронес сквозь всю свою жизнь. Рассказ Марии о своем детстве, о странствиях по степи, о сложных взаимоотношениях с отцом поразит сердце Василия, а сердце у него мгновенно загоралось, Василий был очень впечатлительным человеком.

Там же, в Николаеве, у Бугского залива, в египетской толчее рабочих, они и встретились. Невиданными темпами — за два года! — вырастал над Бугом единственный тогда в России крытый металлический эллинг (вмещалось в него четыре корабля), воздвигались заводы в заводе — могучие стапеля, чугунолитейные, котельные и сборочные цеха, бассейн для достройки судов, насосная станция. Тысячи рабочих выворачивали горы земли, прокладывали железную дорогу, возводили чугунные фермы. В гуще вавилонского столпотворения — среди тачек, подвод, муравьиной толчеи землекопов — и встретились они, сын рабочего и дочь инженера, оба полусироты. Вскоре они открыли для себя, что эта ободранная, бородатая, черная от сажи и пыли людская масса, не разгибающая спины от восхода до захода солнца, нуждается не только в хлебе. По вечерам, когда над берегом утихал человеческий гул и лязг металла, когда воцарялась тишина и где-то вдруг оживала гармошка, там сразу подбиралась компания мужиков, подходили парни, откуда-то появлялись девушки, и уже не верилось, что это тот самый темный, отупевший от работы люд,— оказывается, есть еще в нем сила стряхнуть с себя лихо, сбросить с плеч усталость и так запеть, вихрем закружить «метелицу», так мастерски застучать на ложках или заиграть на обыкновенной камышовой дудочке.

Врожденную страсть и любовь рабочего человека к песне, к лицедейству, к гуртовому представлению сразу заметила «Просвита», собрался любительский кружок, отыскались музыканты, нагрянули из города просвещенные дамы, нашлись свои капельмейстеры и режиссеры. На самодеятельной сцене и полюбили они

друг друга, юная черноглазая девушка и статный красивый слободской парень.

Девушку звали Маней, Марией Иосифовной.

Итальянка по крови, она была итальянкой и по своему песенному таланту. Уже с первых концертов, а потом всю свою недолгую жизнь с больших и малых сцен она очаровывала людей чистым, светлым голосом. Через год она выступала в Николаеве не только как певица, но и как драматическая актриса, как режиссер. Вокруг нее всегда собиралась молодежь; Маню любили за доброе сердце, за веселый нрав, за то, что она была своя, без гордыни, живо бралась за любую работу, готовая всем помочь.

Так влилась еще одна река в дружную семью Петровых. Пролетарская родня! За стол усаживались два старых бурлака — дед Алекса и дед Федор, между ними пристраивалась Ядзя, Федорова полонянка, потом дочь Ядзи — Елена Федоровна и невестка Маня. Как радовались, как тянулись друг к другу их сердца, когда Алекса уже хриплым голосом затягивал поморскую песню, дед Федор — старую гайдамацкую, Ядзя — свою польскую, а Маня, растроганная до слез (какое небо, какие песни под высоким небом!), вспыхивала и ошеломляла всех итальянской, унаследованной от отца.

Это была обыкновенная слободская семья. Сыны бунтарей и сами бунтари. Братство здесь жило в крови, в детях, в воспоминаниях, в домашних легендах. Свела вместе судьба дедов — Алексу и Федора, поставили они рядом хаты, поженили своих детей, а умирая, сказали: «Мы и там встретимся, сват, на небе: кто же еще так споет в два голоса, как мы с тобой?» Для их внука Василия обычным и естественным было, что один дед у него — украинец, другой — русский, бабушка — полька, и никого больше он так не любил, как бабушку Ядзю, на ее коленях учился не только петь, но и понимать: нет чужих языков и песен в мире, есть только чужие паны...

Сюда, в дом бывших беглых крепостных, и привел молодой актер дочь итальянского инженера-гарибальдийца.

Они поженились рано, Маня и Василий, и посвятили всю жизнь сцене. Театр, хоть и любительский, но глубоко народный, сразу ставил актеров перед выбором: затеряться, умереть духовно или остаться жить? А жить — значило бороться за репертуар, за право выступать вот здесь, в бараках, петь батрацкие песни, протестовать против больших и малых запретов. Один из таких полицейских запретов (а пристав присутствовал на всех представлениях в театре и мог в любую минуту сказать: «Нельзя! Отставить!») до глубины души возмутил вспыльчивого, темпераментного итальянского инженера, который с гордостью следил за выступлениями своей дочери, и гарибальдиец Джузеппе подбил рабочих на сидячую, так называемую итальянскую забастовку-протест. И эта глухая, упорная борьба длилась до тех пор, пока полицмейстер Иванов не приказал молодым актерам немедленно, в двадцать четыре часа, покинуть пределы Херсонской губернии.

Грустный прощальный вечер дома. Напутственное слово Василия младшим братьям: держитесь, хлопцы, боритесь в подполье, а мы с Маней будем понемногу поддерживать вас деньгами... Проходили годы, в самые отдаленные края забрасывало труппу Бродерова, но деньги (по семь, по десять рублей) время от времени приходили от Мани и Василия. И если бы не эта их помощь, кто знает, долго ли продержалась бы подземная «Маня».

Страшные повороты и потрясения судьбы: часто болела дочь Аленка, Маня вынуждена была оставить театр и вернуться в Николаев. А здесь столько нового горя: еще одна смерть, еще один побег из ссылки, охранка охотилась за Иваном, и Маня стала держать конспиративную квартиру, чтоб перепрятывать Ивана и самых близких друзей. Эмоциональная, легкоранимая, истощенная странствиями, трудной работой в театре, она не выдержала потрясений: обыски за обысками, рысканье среди ночи в белье, в кровати ребенка, мучила ее и разлука с мужем (постоянные ожидания писем), бездеятельность, бессмысленное существование вне театра, отчаяние — и потянулась рука к страшному флакончику.

Это произошло значительно позже, уже потом, потом...

А пока что Маня с Василием где-то на гастролях, переезжает, кочует из города в город, и приходят от нее редкие, но веселые, озорные письма, между строками озабоченность матери: как там растет моя ласточка?

— «Маня»! По-моему, хорошее название,— заметил Шура.

— В самую точку,— согласился Иван.

Братья заулыбались. Невестка и типография. В этом сочетании было что-то по-народному теплое, сердечное и немного ироническое. Так и вошла типография Петровых в историю большевистской нелегальной печати под ласковым женским именем — «Маня».

«МАНЯ» ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ

«Настроение населения в Николаеве в течение сентября месяца было спокойным.

Ротмистр Фокин».

(Из ежемесячных отчетов в департамент полиции)

«...Возле расклеенной в разных местах города газеты останавливались одиночки и группы рабочих, наскоро читали и, словно обжегшись, быстро отходили в сторону. Двое городовых с каким-то остервенением счищали газету шашками с ворот полицейского управления».

(И. Петров, «Маня»)

Замаскированный вход в погреб, широкое, просторное подземелье, столы с кассами (и револьвер на стене), лампы, освещающие

темный провисший потолок над головой,— все это на Филю произвело впечатление.

— Скажу вам, гусары, неплохо вы здесь устроились! Я слышал, одесские рабочие спрятали свою технику в катакомбах, под землей, но у вас, вижу, не хуже — своя пещера.

Филя положил на стол рулончик бумаги, густо исписанный от руки чернилами.

— Вот вам, друзья, настоящая работа! Материалы для первого номера газеты. — Филя посмотрел возбужденным взглядом на братьев Петровых, на Виктора Т-ко, ладонью разгладил рулончик и передал Ивану два верхних листа. — Это передовая статья. Крепко сделана, беспощадно, сами увидите; сообща мы ее обсуждали на комитете, с Ровнером, с Козловским и Грабовым; единогласное одобрение! Еще одна статья — «Капитал наступает»; конкретный анализ — о положении рабочих на наших заводах, о том, как нас разъединяют и душат поодиночке. А вот, товарищи, материальчик, который вас заинтересует, непременно заинтересует! «Письмо в редакцию» называется.

Филя вытащил из рулончика несколько смятых и потертых листков бумаги; видно, передавали их подпольной почтой. Еще в апреле, напомнил Филя, комитет выпустил листовку с именами провокаторов. В листовке упоминалась фамилия какого-то Тодося Рыбакова. Так вот, не успокоилась продажная его душа. Охранка подослала его в тюрьму, в арестантское отделение, он и там продавал политических. И был пойман с поличным. Среди его вещей нашли два зашифрованных письма (Филя показал эти письма всем сидящим за столом), нашли даже слезные просьбы к Фокину увеличить ему жалованье за иудино ремесло. Там же, в камере, после долгих мудрствований, письма были расшифрованы. И что же оказалось? Тодося недаром заслали к политическим: он имел задание изнутри, из тюрьмы, проникнуть в среду подпольщиков, узнать, где находится техника. Видно, Рыбаков был не простой фрукт, а опытный, замаскированный враг, потому что в одном из доносов он уже указывает даже название газеты — «Борьба». (Н-да, парни теперь собственными глазами видели: влез все-таки слизняк кому-то в душу; в покаянном письме Рыбаков пишет: «Я никого не выдавал, а работа, о которой я вспоминаю в письме (читай — в доносе), касается газеты «Борьба», которая имела выйти в Николаеве».)

Политзаключенные вызвали провокатора на свой суд; он возмущался, возражал, бил себя в грудь, клялся — не виновен. Но факты, факты, никуда их не спрячешь,— письма, цифровая азбука, ключ!.. Наконец Рыбаков признался во всем и дал расписку.

«Вот она, в оригинальчике!» — показал Филя расписку провокатора, нацарапанную достаточно ровным, спокойным почерком.

«Настоящей распиской я удостоверяю, что с января мес. 1908 г. я числился на службе в Никол. Охран. От-

делении на жалованье в 20 руб. в месяц, из которых получал 5 руб. от жандармского ротмистра г. Фокина.

Подлинность сего удостоверяю своею подписью

Тодось Рыбаков».

— Двадцать сребренников! — воскликнул Шура. — Иуда брал подороже!

Эта реплика Шуры была опубликована в первом номере газеты как резюме к подлым доносам и к еще более подлому раскаянию провокатора [1].

Кивком головы Филя отбросил назад густые черные волосы, спадавшие ему на лоб, и сказал твердо и убежденно, отчеканивая каждое слово гортанным голосом:

— Я жду революции, хлопцы, как блага, как очищения, как грозу, которая сметет с лица земли всю эту нечисть и мразь. Давно я заметил в исторических романах: где страх, реакция, отступ — там шпионство, где заговоры и шантаж — там подкуп. От Романовых у нас повелось платное шпионство, и на Романовых мы его и прикончим! Увидите, хлопцы, сметет революция иуд вместе со всеми пакостями капитала! А мы, друзья, поможем!

Филя начал серьезно, а закончил тем, что с веселым огоньком в глазах подмигнул подпольщикам и сказал, что грянет новая революция, и уж тогда не придется им печатать свою «Борьбу» в гнилом погребе, а станут печатать ее на улице, на солнечной Соборной площади.

Настроение у парней поднялось; Шура, тот вообще уже перенесся в мыслях на солнечную Соборную, где он будет известнейшим наборщиком в крупной газете, в такой пока еще туманной для него, но необычно красивой.

— И у нас есть кое-что для газеты,— сказал Иван (он говорил спокойно, но чувствовалось: что-то скрывает, по-видимому очень приятное для подземной коммуны); голос у Ивана в подземелье сел, приглох, как случилось у него зимой после тяжелой метельной дороги.

Иван требовательно посмотрел на Михаила: читай!

Подпольный Тарас Бульба покраснел. Склонил над столом горбоносое лицо, досадливо сморщился: ну вот, ты всегда, Иван, ко мне по-диктаторски!

— Читай, читай! — добродушно настаивал брат.

Михаил встал, в его коренастой фигуре — тяжеловатая, скрытая сила, возможно несколько спокойная, застенчивая. Он посмотрел на потолок, вздохнул, секунду помедлил и начал негромко, а потом все тверже, суровее, оживляясь с каждым словом:

[1] Истинное лицо Тодося Рыбакова стало известно значительно позднее, после Великой Октябрьской социалистической революции, когда были вскрыты секретные архивы охранки. Только тогда выяснилось, что Рыбаков давнишний «знакомый» николаевских социал-демократов. Он был, в частности, среди участников сходки в доме Лунева на 1-й Экипажеской летом 1906 года, когда охранка провалила сразу большую группу большевиков. Среди арестованных — Ровнер, Андреев, которых тогда же выслали в Олонецкую губернию (см. подробнее — Киев, ЦГИА УССР, ф. 359, оп. 1, ед. сб. 9, лл. 12, 13, 14, 15).

Не для цепей, а для мечей
Мы в пекле доменных печей
Железо добываем.

Зачем же терпим кандалы?
Зачем, как вольные орлы,
На воле не летаем?

Нет, нет,— силен рабочий класс!
Живое сердце бьется в нас.
Мы встанем за свободу!

Придет рабочий и возьмет
Из рук солдата пулемет,
Отдаст его народу.

Тогда бежит позорно враг.
На поле битвы красный флаг
Победно разовьется.

Не будет горя и нужды,
Не будет злобы и вражды,
Кровь больше не прольется.

Не будет жадных богачей.
Не для цепей, а для мечей,
И для машин, и плуга

Железо будем добывать,
Все люди будут создавать
Богатство друг для друга.

Михаил закончил. Когда он произносил слова «Живое сердце бьется в нас», то сердце его и в самом деле сильно забилось, щеки вспыхнули, поплыла куда-то лампа, словно спряталась в самом дальнем углу погреба. Михаил вытер пот и смущенно сел.

— Прекрасное стихотворение! — сказал Филя, готовый расцеловать Михаила и заодно немного намять ему бока. — Набирайте, браточки, и прямо в номер! Это то, что сейчас нам надо,— вдохнуть огонь, веру в наши ряды. «Нет, нет,— силен рабочий класс!» Хорошо сказано! Кто написал? Ты, Михаил?

Иван кивнул парням головой,— мол, приступайте к работе, а Филе ответил дипломатичным жестом: «Не все ли равно, кто придумал. Главное, что нашей, рабочей рукой написано, вот в чем суть!»

«Лампы горели тускло. Черные тени работающих колыхались взад и вперед по своду. Капли пота падали с их запотевших лиц на рыхлую бумагу. Душный и смрадный воздух вместе с запахами краски, пота и керосина вызывал головокружение и тошноту. Однажды Михаилу и Шуре, работавшим поочередно с большим катком, стало дурно, и они вынуждены были выйти наверх, подышать свежим воздухом».

(И. Петров, «Маня»)

Но это было несколько позднее, дня через два, а сейчас они набирали и верстали газету.

К столу встали Виктор Т-ко и Шура. Виктор сказал, что плохо видно, очень далеко лампа. Ее перевесили на проволоке поближе к кассам, над головой.

И вот в раму ложится первое слово — «Борьба». Прекрасное слово! Крепкое и упрямое, как сама их жизнь. Позже Шура и в карцере помнил, что первым в раму положили его заглавие, то, что он вырезал из гарта, вечное заглавие. Буквы круглые, открытые, без хитрого мудрствования. Под названием — четкая наборная строка: «Орган Николаевского комитета Рос. Соц. Дем. Раб. Парт.». И дата рождения газеты: «Сентябрь 1908 года». И даже цена — 2 коп. (Мальчишки-разносчики в порту выкрикивали: «Подходите, покупайте, товарищи! Наша, рабочая газета, самая дешевая в России!»)

Виктор хозяйничает у кассы. Шура восхищается им: ничего не скажешь, здесь он мастер. Кажется, спиной видит, где и в каких делениях-гнездах лежат буквы. Шура стоит рядом, он помогает и учится, дело у него клеится из рук вон плохо; каждый раз приходится ему рыскать глазами, искать, шарить по всей кассе, чтобы выловить нужный знак. А Виктор уже протягивает руку то за линейкой, то за шпоном, злится на Шуру, раздраженно ворчит, хотя и сам в глубине души понимает: напрасно сердится, Шура толковый парень. И невольно вспоминает Виктор: его, Т-ко, три года муштровали, гоняли в подручных, как зайца, пока допустили к кассам.

Рама заполняется шрифтом, мелкие брусочки сливаются в сплошной металлический текст.

Первая страница. Две колонки набора с пропуском некоторых букв, с ошибками, потому что набирали и вычитывали газету поспешно, в темноте. (Виктор вспоминал: «Привык я набирать в «Мане» без твердого знака и чуть не поймался потом на легальном положении».) Передовая — без традиционного заглавия, вместо него — боевое партийное обращение: *«Товарищи!»*

Когда Филя Андреев ушел, парни вместе прочитали передовую, и словно горячая, обжигающая волна окатила их души. Какая сила, какое достоинство в каждой фразе! В момент разброда и шатаний социал-демократы произносят слова, исполненные веры в победу, в приближение новой революции. Спокойные, мужественные эти строки, написанные сдержанно, без надрыва, с рабочей твердостью, хочется привести полнее, чтоб дать почувствовать живое звучание того неповторимого языка «Борьбы».

«Товарищи!

Проходит время усталости и отдыха после пережитых побед и поражений.

И снова сознательный рабочий приступает к своей обычной борьбе с капитализмом — к борьбе за осво-

бождение рабочего класса, за свой великий идеал — социализм.

И снова на пути его стоит все то же препятствие, все тот же исконный враг... — царское самодержавие, тот политический строй, который легальные газеты скромно называют «бюрократическим».

Разозленный и опозоренный поражением 1905 года, этот враг стал еще кровожаднее, еще подлее, чем прежде.

Понастроены новые тюрьмы. Свирепствуют военные суды. Переполняется каторга. Воздвигаются виселицы.

И многие робкие и близорукие люди, напуганные жестоким неистовством холопов капитала, думают, что победили они, а не мы, что напрасны принесенные нами тяжелые жертвы, что безрезультатны одержанные нами блестящие победы.

Нет, русская революция может быть названа великой...»

И дальше:

«Чем больше сила народа, тем больше насилия со стороны правительства; чем грознее народный поток, тем злее сопротивление черной реакции.

Торжествующий победитель великодушен. Кусается издыхающий пес...»

Иван вспомнил, как после возвращения из ссылки зашел он к Павлохе, старому подпольщику, когда-то норовистому, неуживчивому мужику. Как этот ершистый Павлоха долго стоял на пороге, втянув голову в плечи, виновато пряча от Ивана бегающие, колючие глаза, и наконец сказал, оглядываясь по сторонам: «Старый я стал... в политику лезть: куча детей, и все мал мала меньше... Узнают только, что я связался с тобою, выгонят с треском... Вот так. Извини, брат». И тут же исчез за дверью. Раскрошился человек, с горечью подумал тогда Иван,— готовый штрейкбрехер.

Больше всего сейчас хотелось Ивану, чтобы Павлоха, который загородился воротником от всех невзгод, взял газету в руки и прочитал вот эти строки:

«Мы разбиты, мы своею кровью обагрили площади городов и поля деревень. Но побеждены не мы. И те, кто с плачем говорит: «Все потеряно!», забывают, что тот не побежден, кто сам не покорился».

Поистине великие слова. «Тот не побежден, кто сам не покорился». В Бухтеевке, в подземной камере, сидело двенадцать политических заключенных. Ночью туда бросили Петровых — Ивана, Михаила, Шуру. Братья впервые переступили порог того мира, который назывался тюрьмой, каторгой, ссылкой. И впервые во всю глубину души они поняли: без братской выручки в тюрьме им не выжить. Непременно убьют, уничтожат, растопчут тюремщики. Именно поэтому здесь действовал особый моральный

кодекс революционера. «Мы на войне, мы не арестанты, мы временные военнопленные» — вот первый пункт этого кодекса. Дальше: бурно, ценой даже жизни отстаивать честь и достоинство заключенного. Ничем, не поступаться перед садистами; не позволять им тыкать, принижать себя, повышать голоса, ничего не просить от убийц, даже умирая. В политических камерах больше всего ненавидели «прошенистов», то есть заключенных, которые либо сами обращались с просьбами о помиловании, либо разрешали обращаться родным. У врага пощады не просят.

Не раз в тюрьме и в ссылке Иван видел: маленькая горстка полураздетых, скованных цепями людей силой своего духа заставляла отступать большую группу тюремщиков. Вооруженных, жадных до крови и насилия... А еще перед глазами Ивана стоял отец Чигрина — старик с раскрытой грудью, в полотняной сорочке, лицо заросло мелкой щетиной и такие колючие от безудержного смеха глаза. «Если за каждого будете выбивать по три зуба, то чем я, старик, буду жевать мякиш перед смертью?» Деда и в землю загони, а он и из могилы будет смеяться — над смертью и над врагами. Такие не покоряются.

Ложатся в раму спрессованные, туго подогнанные строки, поблескивает третья колонка текста; Виктор и Шура заканчивают набирать газету.

> *«Мы не только научились строить баррикады, мы научились — и это самое главное — сплоченной организованной борьбе, мы испытали собственные силы, узнали на деле и показали врагам несокрушимую силу рабочего класса — его солидарность, его воистину беспримерное братство...*
>
> *Пусть снова собирается рабочая армия. Созывайте запас и новобранцев. Смыкайте ряды. И снова идем на приступ против крепости капитализма.*
>
> *И все, кто имеет человеческое сердце, кто сознает зло и хочет уничтожить его, тот, как и прежде, встанет вместе с нами под победное знамя Российской социал-демократической рабочей партии».*

За эти полтора, а может быть, и за два десятка часов, которые Шура простоял у рамы, многое он открыл для себя. Во-первых, за работой время летит неудержимо быстро, как взблеск луча; никогда не сказал бы, что на улице пролетела звездная, еще по-летнему теплая ночь, прошел день, повернуло на вечер, а они с Виктором еще не приседали, не замечали усталости, только ноги онемели и глухо ныли, не привыкли их молодые ноги так подолгу стоять на одном месте. И, во-вторых, Шура открыл для себя технический секрет. На одной половине рамы они заложили набор первой страницы, а рядом — четвертой. Виктор объяснил: это у них вышел газетный разворот. Так они и будут печатать — сначала первую и четвертую страницы, а потом уже внутренние — вторую и третью. Не хитрая штука, а смотри — и это надо знать.

Над их головами то что-то грохотало, наверное подводы, то кто-то шаркал сапогами (Шура смеялся: «Узнаю! Христенко походка!»), потом снова становилось тихо. Только по этому глухому топоту и грохоту над головой парни догадывались, что там, наверху, сменяются утро и вечер, всходит и заходит солнце, жизнь идет своим чередом. А у них под землей без конца дымили лампы, несло плесенью от стен и стояли одинаковые, какие-то удушливые, словно тропические, сумерки.

Газету печатали ночью. Закрывали вход — как можно плотнее — деревянной заслонкой и зажигали огонь. Сверху мать стучала в землю палкой. Это был сигнал: света не видно, не беспокойтесь, хлопцы. Елена Федоровна крестилась в темноте: «Бог вам на помощь, сынки».

И начинала подпольная «Маня» печатать.

Работы хватало всем четверым: один накатывал краску, другой накладывал бумагу, третий тяжелым катком проезжал сверху по влажной бумаге, четвертый снимал готовый оттиск и расстилал везде, где только можно, чтоб высыхала бумага.

Но все это делалось не так быстро и не так легко.

И в этом первый убедился Шура.

Он стоял с маленьким валиком возле краски. Сначала ему казалось: ну что тут мудреного? Бери и накатывай себе черную краску на ровный квадрат набора. Раз-два — и готово. Так, как делают на стенах накат. Но нет, дудки! Густая и тягучая типографская краска так забивает шрифт, что, когда они сняли первые отпечатки, все слилось в одно сплошное жирное пятно, ни линеек, ни пробелов — ничего не было видно. Виктор, поставив себе на лбу отпечатки пальцев, сердился, нервно потирал залысины, показывал Шуре, как надо это делать: сначала краску следует ровным тоненьким слоем намазать на стекло, потом по стеклу прокатить валиком и лишь после этого подступать к газетной полосе.

«И почему он срывается, чего нервничает?» — с досадой думал Шура про Виктора. И еще он думал о том, что на улице никому бы не разрешил вот так передергивать плечом, бросать такие раздраженные взгляды. «Чего это он мной командует?» Однако работа есть работа, не нравится — отвернись, сдержись, сейчас не до ссор.

Одной рукой Шура стал намазывать краску на стекло, другой легонько катать валик, казалось, едва-едва смазывал цилиндр, но сразу — совсем иной коленкор! Странички стали светлее, исчезли пятна, буковки вырисовывались, как маковые зерна, каждая отпечатана свежо и четко.

— Так и катай! — торопил Шуру Т-ко.

Михаил подавал листы бумаги. Он все заранее приготовил: нарезал по формату бумагу, побрызгал ее водой (для оттисков нужна влажная бумага), сложил листы в кипу. Теперь у Михаила работа была далеко не сидячая: то подавал чистые листы, то брал

свежие отпечатки, то бросался во все углы, чтоб где-нибудь разложить газету. А те листы, которые уже высохли, складывал на стол в другую кипу. За полдня Михаил набегал в погребе, как говорил Шура, верст двадцать, не меньше. Он вспотел. Рубаха вся взмокла, стала рыжая, собиралась в гармошку под мышками.

Все удивлялись, глядя на Ивана. Он таскал большой, обшитый полотнищем чугунный каток. Видимо, эта горячая, мускульная работа была праздником для его беспокойной души, для сухих, жилистых рук; он ждал этого праздника — еще в ссылке, на Кеми... Разделся до пояса, потуже затянул ремень и теперь кочегарил, словно горновой у печи: как только Виктор накладывал на раму с набором лист, Иван тут же прокатывал вперед и назад катком, убирал свою двухпудовую «булаву», снова прокатывал, молниеносно делал оттиск. Мускулы его играли, глаза хмелели от напряжения, он посматривал на парней, подзадоривал их: давай, давай, братва, не задерживай! Газету делаем, «Борьбу»; сюрприз для Фокина.

Первыми не выдерживали лампы.

Погреб стоял наглухо закрытый. Никакого притока свежего воздуха, никакой вентиляции в нем не было (только позже догадались пробить на улицу небольшой душник), и лампы быстро, часа за три, поедали весь кислород. Сначала они густо дымили, распространяя тяжелый угарный запах, затягивались черной копотью, а потом и вовсе гасли. Как ни чистил Шура фитиль, сколько ни подливал керосина — свет не горел.

Поневоле приходилось прекращать работу.

Открывали погреб. Из бокового лаза — не скоро и не очень ощутимо — понизу тянуло легоньким сквознячком. Когда немного набиралось ночного воздуха, все снова становились к типографскому столу.

Бессонные ночи давали о себе знать: незаметно подкрадывалась усталость, расслабленность, вялость. Одежда на парнях не просыхала: куртки, висевшие на стене, тоже впитывали влагу — стали такими тяжелыми и мокрыми, что хоть отжимай из них воду. Все без конца потели, особенно Михаил и Виктор; то и дело утирались они полотенцем. Дольше всех держался Иван, однако вскоре и он стал сдавать. Но никто из них еще не знал, что самое страшное впереди: гнилой, влажный воздух делал свое дело — он разъедал легкие. Первым почувствовал это Михаил.

Они часто менялись местами. Иван брал меньший валик, Шура подавал бумагу, Михаил орудовал «булавой». Только Виктор по-прежнему стоял за типографской рамой, ровно накладывал листы, снимал их, и вылетали из-под его рук свежие отпечатки, черной лентой мигал, пролетал перед глазами Шурин заголовок — «Борьба», «Борьба»...

Тысячу листов отпечатали за двое суток. На столе выросла целая гора газетных оттисков. Но это была только половина дела. Отпечатан внешний разворот, а надо прогнать еще раз весь тираж, отпечатать и внутренние страницы, вторую и третью. Шура

с любопытством вертел в руках подземную газету, удивлялся, какая чудная получилась «Борьба»: сверху напечатана, а внутренняя сторона — совсем чистая. Иван стоял с катком наготове, как Хмель с булавой, и всем своим видом подбадривал: давайте, давайте, братва, за работу!

Казалось, над ними и не висела угроза провала, однако парни торопились, подгоняли друг друга. Невольно им вспомнилось: сколько этой технике не везло. Годами так получалось: только наладят выпуск — арест. И к тому же групповой, поголовный. В девятьсот шестом году на этой технике выпускали газету, которая тоже называлась «Борьба». Вышло тогда три номера газеты, и снова провал: накрыли всех печатников и отправили в ссылку. Чудом сохранилась техника; от первых кружков она перешла в руки младшей смены подпольщиков. Теперь парни печатали на ней новую «Борьбу», но свой первый номер они обозначили как четвертый — в память старой газеты, в знак того, что традиции подпольной печати не прерываются. Этим они бросали и вызов охранке: сколько бы вы ни сажали в тюрьму наших братьев, а «Борьба» живет, выходит, размножается и «дух борьбы никогда не умирает в пролетариате».

Тень прошлых провалов стояла за их спиной, и они торопились. Хотя бы первый номер выпустить, а там уж дальше пойдет...

Быстро, в темпе, они выбрали из рамы шрифты, перемыли их. И ночью буквально за несколько часов, пока Иван с Михаилом немного отдохнули на лежаке, положив головы на кулаки, Виктор с Шурой, не отходя от касс, набрали внутренние полосы. К утру разворот был готов. Он лежал, укрепленный в раме.

Сделали пробный оттиск. Михаил засел с карандашом за текст, чтобы выловить ошибки. Но Виктор был грамотный, внимательный наборщик, он редко когда путал знаки. Пока Михаил водил пальцем по набору, читал вслух и что-то правил, Т-ко окунул голову в ведро, облил себя водой, освежился. Затем подошел к раме, шилом вытаскивал ненужные знаки (Шуре очень нравилось, что именно шилом), заменил их, припасовал страницы. Кивнул Ивану,— дескать, можно начинать.

Медленно покачиваясь, задвигались снова на стенах тени, завертелась типографская мельница. Полетели листы из одной кипы в другую, прокатывались под валом и через несколько секунд превращались в газету, уже полностью отпечатанную.

Приступили к работе парни несколько вялые и разбитые, но быстрый темп, напряжение, слаженность во всем — все это взбадривало и отгоняло сон. Шура тихонько окунул пальцы в краску и так же тихо, украдкой, поставил Михаилу знак на носу. Быстрые заговорщические взгляды, перемигивания, хитроватые улыбки. Иван грозно посмотрел на Шуру: без баловства мне тут!

Прошли еще одни сутки.

Теперь они уже могли постучать матери, попросить кувшин свежей воды. Пили прямо из кувшина, шутили, обливали друг друга водой. Что ж, сегодня у них праздник. Первый номер «Борьбы»

полностью отпечатан. Тысячу экземпляров набрали вручную. Тысяча — таким тиражом сейчас на машине выпускают заводские газеты. На машине, а они руками, катком; к тому же всю тысячу, от первого до последнего экземпляра, дважды пропустили под валом.

Они сидели в темноте, вспоминали, как бежали из Кеми, как беспоповец-каретник потчевал их квасом, а потом как дома уже полиция чуть не застукала их в комнате, когда они разложили на столе свою крамольную технику... Шутили, обдумывали вместе, как лучше перенести газету к Грабову — сразу всю или небольшими пачками. А в мыслях — уже второй номер, третий...

Шура зажег маленькую свечку и забрался в дальний угол погреба, чтоб там еще раз посмотреть на творение рук своих, на готовую «Борьбу». Положил на ладонь еще мокрый оттиск. Боязно развернуть, вдруг порвется. Бумага тонкая, просвечивается насквозь, кое-где выпуклая, с мелкими бугорочками от вдавленных букв. Очень хорошо отпечатано название «Борьба» — виньетки видно отлично и солидная точка стоит в конце. Вот передовая с боевым заглавием-обращением: «Товарищи!» На второй странице помещена статья «Капитал наступает». В ней крепко отхлестаны по щекам Зайченко, Завьялов, Кубица, известные на заводе изверги и садисты, хозяйские лакеи. А вот на третьей странице опубликовано письмо в редакцию:

> *«Доводим до сведения всех революционных партий, организаций и групп, что нами раскрыт в Николаевском арестантском отделении провокатор — Тодось Рыбаков. Произошло это при следующих обстоятельствах...»*

Записки, доносы провокатора, шифр — все опубликовано. А на закуску приводится знаменитая фраза Шуры, только несколько шире:

> *«Интересно, что скажет по этому поводу «Николаевская газета», которая берет под защиту всех подлецов, продающих товарищей за 20 сребреников. Иуда брал дороже».*

На третьей странице напечатано и стихотворение Михаила. Шура не пожалел краски, смазал набор погуще. Ему очень понравилось это стихотворение с «орлами» и «цепями», он не замечал в нем слободских украинизмов, таких, как «пекло доменных печей», «живое сердце бьется в нас». Главное, что оно с душой написано, горячо, с глубокой верой в правое дело: «Мы совершим переворот и новый мир воздвигнем!» На четвертой — большая статья «Революция в Турции». Она как бы говорит, что хотя газета и выходит в темном подземелье, в погребе, но и отсюда ей видно далеко, видны революционные горизонты мира, пробуждение угнетенного люда в Греции, Турции, Персии.

Шура взял с тайной полочки газету «Пролетарий», которую бережно хранил. Положил рядом «Борьбу». Прикинул глазом, срав-

нил обе газеты. И с мальчишеской гордостью сказал: очень похожи! Именно рабочей простотой. Ну конечно, «Борьба» меньше, скромнее, да и делается она под сапогом жандармов (если прислушаться повнимательнее, то можно услышать и звон шпор над головой), но ее с полным правом можно назвать младшей сестрой «Пролетария». Обе газеты Шура аккуратно сложил и спрятал в нише за лежаком.

Пока парни допечатывали тираж, Елена Федоровна несколько раз сходила в город. Ее часто видели на 2-й Экипажеской и на Морской улицах. Полиция знала, что она слободская прачка, разносит по богатым дворам белье. На старую больную женщину никто не обращал внимания. Все привыкли видеть ее с большой плетеной корзиной на спине. Случалось, что через квартал-другой ее встречала Таня Грабова; женщины радовались встрече, кланялись одна другой, передавали приветы родным, и худенькая проворная Таня помогала Елене Федоровне подносить тяжелую корзину. Ну, что же здесь удивительного? На Слободке каждый с готовностью поднесет пожилому человеку ведро, поможет поднять мешок. И ничего не было странного в том, когда Таня у своего дома останавливалась и говорила: «Подождите, вынесу вам хоть воды напиться!» — и в самом деле выносила кружку воды. Елена Федоровна пила, ойкала, расхваливала колодец на Экипажеской, а Таня тем временем быстро заносила корзину через маленькие воротца, обвитые диким хмелем, во двор и тут же выносила обратно. Делалось это мигом, Елена Федоровна благодарила за воду, ставила на плечо плетеную корзину и шла дальше в город — раздавать выстиранное белье. А Таня оставалась дома. За те мгновения, пока она угощала Федоровну свежей водой, Иван Грабов успевал достать пачки газет, лежавшие среди белья, и снова накрыть корзину полотенцем. Тут же прятал газеты в тайник, чтоб ночью переправить в порт и на другие передаточные квартиры.

Все, кажется, было продумано, более или менее замаскировано. Иногда делали даже так: Елена Федоровна оставляла свой узел или корзину на явочной квартире, потом туда приходили Грабовы и все забирали. Но однажды Федоровна заметила, что за нею ходит сутулый молодой господин, не слободской, а бог знает откуда: на нем были светлые панталоны и высокая зеленоватая фуражка музыканта. И еще бросилось в глаза: очень узкие, какие-то не мужские его спина и талия. «Что это вы, парубче, за старой бабой плутаете, мало вам девчат?» — хотелось спросить Елене Федоровне, но она хорошо знала, что эти люди шуток не любят.

Тогда Елена Федоровна прибегла к хитрости.

Она долго шла по улице и вдруг свернула во двор Моргулисов. Соня и Давид всегда сидят, дремлют возле своей лавчонки, их двор никогда не закрывается, порос травой, перезревшие яблоки падают на землю и тут же валяются. Елена Федоровна встала под яблоней и притихла: пройдет мимо сутулый или будет оглядывать-

ся, искать ее? Постояла немного. Шагов не слышно; надо идти, подумала, ведь работы у нее непочатый край.

Но только шагнула к калитке, как столкнулась лицом к лицу с Музыкантом. Он с перепугу побледнел, даже поклонился, мол, «пардон!», и быстро юркнул в переулок.

Обо всем этом Елена Федоровна рассказала Ване Грабову, а потом и своим сыновьям.

Ивану не очень понравился Музыкант. Конечно, неспроста он увивается за шестидесятилетними прачками. Договорились с Михаилом, что вечером они проводят мать до Экипажеской, посмотрят, что за птица ее преследует.

...По случаю праздника воздвиженья лениво звонил вечерний колокол. Несколько старых женщин прошли на всенощную; мальчишки разводили коз по дворам, дымили летние кухни. Наступало время вечерних забот, редко на улице встречались прохожие, и братья быстро прошли с матерью по 11-й Военной. После долгого сидения в погребе как-то необычно, очень просторно показалось им на улице, и они просто опьянели от свежего воздуха.

Еще дома договорились: один квартал или два корзину будут нести они, дальше мать тихонько пойдет одна, а они понаблюдают за улицей. (Навстречу им обещал выйти Ваня Грабов.)

Все произошло так, как они и предполагали.

Когда Елена Федоровна поравнялась с домом Моргулисов, из ворот, со двора, где она в прошлый раз пряталась, выскочил Музыкант. И сразу вцепился в корзину:

— Пардон, мамаша, покажите свой товар! Без паники. — Руку к сердцу — тысячи извинений! — и снял корзину с ее спины.

Но едва он поставил корзину на землю, как кто-то сгреб его по-медвежьи за плечи. Музыкант въехал спиною вперед во двор, волоча по дорожке ноги. Оторопело, по-петушиному крутил головой (кто вы? откуда? что делаете?), попытался даже дергаться, возмущаться, но Ваня Грабов схватил его за тонкие ноги, Михаил под мышки, а Иван легонько зажал ему рот, чтоб не вздумал, чего доброго, кричать. Они потащили Музыканта в пустой сарай к Моргулисам. Вжали его в угол.

— Ты что, гад? Женщин грабить вздумал? Средь бела дня? — начал было Иван, едва отдышавшись; роль грабителя этому «жениху» он придумал еще дома.

Но Михаил зажег спичку, и они отпрянули, не поверили собственным глазам: перед ними в углу сидел... Лева, буфетчик. Тот самый, которого они спасали от моряков в трактире «Китай». Только сейчас Лева был одет в костюм оркестранта из городского Сада трезвости.

— Смотри, мир тесен! Встретились! — удивился Иван и, весь наливаясь гневом, взял Леву за воротник. — Ну, теперь рассчитаемся, друг-соколик!

Иван полез за пояс, вытащил свой «вессон». Он, конечно, не собирался марать себе руки, решил просто попугать, потрясти Левину душу.

Зажатый в угол, без кровинки в лице, Лева жадно задвигал губами и умоляюще немым взглядом просил: дайте слово! Дайте последнее слово сказать, и я вам такое открою...

Иван разжал пальцы, освободил ему воротник.

И Лева разрядился не одним словом, а целой исповедью; долго и сбивчиво он говорил о том, что сегодня, ну прямо сейчас, тайно и навсегда убежит из Николаева в Астрахань, там есть у старшего брата рыбацкая шаланда и ларек на причале, он давно приглашает к себе: бросай, мол, свое мокрое дело, убегай, пока живой; Лева сегодня же убежит, они могут пойти на вокзал и проверить: он сядет в вагон и уедет... Нет, Лева боится не только их; для него страшен и сам Фокин, который втянул, опутал его, а теперь собирается убить; пьяный Манько уже третью ночь охотится за ним, это тот самый Манько, который поджег в доме свою жену, а потом за фокинский червонец задушил на Слободской агента Адамского...

— Ну и мразь,— сплюнул Грабов и потер руки, словно прилипла к ним мокрая грязная паутина.— Слышите: они пожирают друг друга! Чуют смерть перед революцией, я вам точно говорю.

Леву отпустили. Он заверил, что действительно уедет, но не сегодня, а завтра, ему надо еще собраться, а завтра же, в семь вечера, он уедет, пускай придут и убедятся.

Петровы, конечно, на вокзал не пошли. Однако на следующий день Иван посмотрел на маленькое окошко Крижа и увидел: шторочка висит оборванная. Кто знает, может, и в самом деле это был прощальный жест буфетчика. Возможно, убежал, не соврал, бросил свое сычье гнездо.

Это были самые мрачные дни в жизни Фокина.

Началось все в субботу, утром. Пришел околоточный надзиратель Христенко из Слободки, принес сорванную им с будки газету, которую он по недомыслию назвал прокламационным листком. Фокин положил ее перед собой. «Борьба», типографские шрифты, и, кажется, под прессом отпечатана. Одного взгляда было достаточно, чтобы молниеносно понять: большевистская техника откопана, оборудована и начала действовать. Первая мысль у Фокина была — вскочить, вернуть хотя бы последний рапорт в Петербург, где он сообщал, как и раньше, до этого, из месяца в месяц: разобрана, не действует, а в случае попытки...

Он представил мрачно-сосредоточенный взгляд Столыпина, его тяжелую фигуру и то, как Столыпин высокой стопкой складывает его, фокинские, рапорта-успокоения, рапорта-заверения, а сверху припечатывает только один документ — газету «Борьба». Кладет поверх рапортов — и кладет крест на всю деятельность, на всю репутацию николаевской охранки.

Долго Фокин не находил себе места, никого не хотел видеть и ни о ком не хотел слышать.

Вскоре позвонил Зайченко из Адмиралтейства. Поинтересовался житьем-бытьем Фокина, его здоровьем (оно ему нужно было!), спросил, не поедет ли с ними господин ротмистр на субботний пикник: возьмут яхточку, отправятся с дамами на Бугский лиман, разговеются. После воздвиженского поста сам бог, мол, велел... Фокин знал — это лишь подслащенное вступление. И не ошибся. Зайченко немного помедлил, помялся и заговорил уже деловитей. Тут, знаете, вышла одна оказия: когда проходил он по цеху, один злоумышленник, которых надо сечь со всей строгостью, засунул ему тихонько за хлястик пиджака листовочку. И представьте себе, по всему цеху насмешечки, хихиканье, издевочки. Возвратился он в канцелярию... Тут Зайченко умолк и вдруг с хрипом, с дрожью в голосе закричал:

— Нет, вы послушайте, господин ротмистр! Вы послушайте! Это возмутительно! Просто уму непостижимо! Я вам зачитаю! — и стал читать в трубку: — «И в Николаеве капитал под крылышком реакции творит свои бесчинства... особенно свирепствует он там, где не ожидает встретить отпора. Достаточно сказать, что заведующий Адмиралтейством полусумасшедший господин Зайченко («Слышите?! — закричал Зайченко. — Это я-то полусумасшедший?») не допускает по две недели мастерового к работе только за то, что он не по Зайченко вкусу одет». Нет, нет, это еще не все! Вот о моем друге Завьялове из дока,— и Зайченко засмеялся почему-то в трубку,— слушайте! «Мастер из дока, например Завьялов, рекомендует сам себя не более и не менее как палачом. «Я таких в Петербурге вешал»,— заявил раз Завьялов одному рабочему...»

Словом, Зайченко начал разговор с субботнего пикника, а закончил криком и возмущением: не слишком ли рано они вывели Пражский полк из города в казармы? Надо снова и незамедлительно вернуть войска в Николаев и пороть, пороть, иначе...

«Он полоумный, в этом нет никакого сомнения,— с тоской подумал Фокин. — Такие пришибеевы только еще больше раздражают, взбудораживают и без того наэлектризованную толпу».

Вдруг позвонил редактор «Николаевской газеты». Фокин сразу узнал его по мягкому бархатистому голосу. Торопливый, извиняющийся его голос словно покатил беленькие пушистые мячики:

— Здравия желаю, господин ротмистр! Как вы намерены завтра провести выходной день?.. Тут у нас собирается небольшая, приличная компания, будут девушки из театра Шеффера, давайте вместе на воскресный пикник, к лиману...

— Короче,— перебил Фокин,— вам тоже подбросили эту преступную «Борьбу»?

— Да,— оторопело произнес тот. — А вам уже донесли, извините, вам уже доложили?.. Вот здесь, на четвертой странице...

— Читал! — крикнул Фокин. — На четвертой странице написано: «Интересно, что скажет по этому поводу «Николаевская газета», которая берет под защиту всех подлецов...» Вот я вас и спрашиваю,— резко и решительно повернул разговор Фокин,— я вас

официально спрашиваю: что скажете по этому поводу? Как собираетесь ответить на дерзкие и наглые выпады наших врагов, которые действуют буквально у нас под носом и насмехаются над нашим идиотизмом и нерасторопностью?

Редактор тихонько повесил трубку. Свят, свят, свят, подальше от беды. Кто думал, что Фокин в таком бешеном настроении?

А Фокин еще не знал того, что один из его поднадзорных, Филипп Андреев, тайно отправил газету «Борьба» в Женеву, в редакцию «Пролетария», и что там уже готовится большой отклик на николаевскую рабочую газету, а заодно будет опубликовано (в сорок первом номере) сообщение о платном агенте Рыбакове, и Фокин со своим провокатором прогремит в революционных кругах всей Европы.

В двенадцать часов дня контр-адмирал Зацаренный вызвал к себе ротмистра. Перед столом градоначальника неподвижно стояла дородная фигура полицмейстера Иванова. Тот, по-видимому, в эту минуту докладывал — стоял полусогнувшись, мундир на его могучей спине чуть не трещал, затылок блестел от пота, и Фокин подумал: такую холку можно наесть разве только на раках!

Контр-адмирал указал Фокину на кресло и хмуро спародировал:

— Пренеприятнейшие известия, господин ротмистр! Вот, прошу вас, прочитайте,— и протянул лист бумаги с печатью.

Это был рапорт Иванова. Полицмейстер принес его только что.

«Николаевскому градоначальнику

Секретно

Рапорт

Представляя при сем один экземпляр прокламации под заголовком «Борьба», добытый агентурным путем и поданный мне при рапорте околоточным надзирателем судостроительных заводов Кошарой (не забыли? это крестник Елены Федоровны, тот самый, который угощал в пятом году рабочих своим табачком), докладываю вашему превосходительству, что прокламации эти раздавались на заводе исключительно лицам, платившим за нее деньги.

Прокламации раздавались 15 сего сентября».

Прочитав рапорт, Фокин мысленно отметил, что, во-первых, полицмейстер Иванов, эта семипудовая гора проспиртованного мяса, как и его околоточные, тоже путает прокламацию с газетой; а во-вторых, фраза о том, что газета раздавалась на заводах исключительно лицам, платившим за нее деньги, должна всех их насторожить. Значит, большевики хотят повести газету широко и массово, не разбрасывать и не рассовывать ее куда угодно и кому угодно, а распространять среди убежденных и надежных

читателей, среди тех, которые сочувствуют им не только идейно, но и готовы поддерживать борьбу своими рабочими копейками. Это показалось Фокину слишком опасным в самом зародыше.

Разговор у градоначальника был короткий: как откликнется Петербург на выход газеты, как им втроем согласованно отвечать перед Петербургом и какие меры следует принять, чтобы немедля, в две-три недели, ликвидировать подпольную типографию, терпеть которую дальше невозможно.

Когда Фокин возвратился в свою канцелярию и прошел в кабинет, там уже сидел Проня Мульгин, вызванный раньше. По всем правилам с Мульгиным надо было встречаться где-нибудь за пределами охранки, в условленном месте, однако в неотложных случаях Фокин делал по-другому: он вызывал Мульгина к себе, и тот приходил, конечно не на Глазенаповскую, а на противоположную сторону квартала, в дешевый трактир, там завтракал или обедал, а потом через уборную и внутренний двор проникал в закрытый подъезд соседнего здания и уже оттуда — в жандармерию. В общем, сейчас Мульгин сидел там, где он сидел всегда, под портретом Трепова, в своей обычной позе — фуражка на коленях, глаза опущены вниз, кажется, он окаменел, боится даже пошевелить рукой, замер. Проня мог так просидеть часа три подряд, неподвижно уставившись в одну точку.

Фокин посмотрел на буддийскую окаменелую позу Мульгина, на его твердое, как у статуи, лицо — и, весь закипев, неистово ненавидя эту одеревеневшую неподвижность, нечеловеческую выдержку, дал наконец волю своему сарказму:

— А-а, Мульгин! Зашли! Оказали честь! Так что же получается: мы выпускаем с вами «Волну», мы докладываем в департамент полиции про «Волну», мы плывем с вами, позволю себе прямо сказать, на «волне» бездарных россказней и нелепостей, мы два года прощупываем каждый куст в Портовом районе, а в это время, милейший Мульгин?.. Вы видели газетку «Борьба»? Вы мне скажите: нет ли здесь со стороны некоторых наших тайных работников злоумышленного сговора? Поднимите глаза, Мульгин! Не отворачивайтесь, смотрите мне прямо в лицо!

Фокин забегал по кабинету, нервно затягиваясь табачным дымом, и с кем-то раздраженно заговорил через перегородку. Вернулся и глухо, словно обращаясь к кому-то другому, сказал:

— Докладывайте. Кратко. Только о новых фактах и только то, что касается техники.

Мульгин сидел все в той же позе. Правда, он еще больше съежился, окаменел, и на его лице появились рыжие, с фиолетовым оттенком, пятна. Кто знает, чувствовал ли себя Мульгин грубо и несправедливо оскорбленным. Мог бы и чувствовать, потому что именно он, Мульгин, давно предупреждал Фокина: в Портовом районе напрасно искать технику, надо переключаться на Слободку.

Мульгин сообщил сейчас кое-что новое. Наружным наблюдением установлено — на Слободку ходит и подолгу там живет ти-

пографский наборщик Виктор Т-ко. Из разговора людей, близких к социал-демократическому комитету, выплывают новые имена — Петро и Остап. Есть основания считать, что Петро и Остап — техники. Это может быть Грабов, Андреев или два брата Петровы; правда, Петровы нигде и никак себя не проявляют. И последнее. Местом расположения типографии упрямо называют глиняные карьеры на Ингуле.

Фокин отпустил Мульгнна. Когда тот выходил нз канцелярии, ротмистр посмотрел на его квадратную мужнцкую спину и желчно сказал: «Если не обнаружим типографию до октября, я всех большевиков арестую, всех поголовно, и вас, милейшнй Мульгин, за одну компанию с ними. Вы мне из тюрьмы, из Сибири будете докладывать, где надо искать технику».

С внутренним сопротивлением, с большой неохотой переключился Фокин на Слободку. За два года мысленно он сроднился с Портовым районом; там родилась и там созрела во всех мельчайших подробностях (и была зафиксирована в архивах департамента полиции) такая тонкая и убедительная его версия — со шлюпками, сараем, сезонниками, засадами... Что ж, надо записать себе нуль и заново перетасовать карты: надо немедленно, с сегодняшнего дня всю портовую агентуру перебросить на Слободку.

В ЖАНДАРМСКОЙ ОСАДЕ

«Остап и неизвестный молодой человек, проживающий на Военной, близко стоят к технике и, вполне может быть, работают в типографии».

(Сводка агентурных сообщений)

В октябре начались холодные дожди, ранние заморозки, гололедица. Земля разбухла. Погреб стал протекать, стены покрылись белой, светящейся изморозью. Было сыро и холодно, особенно под утро, и, как парни ни жались на топчане друг к другу, холод и сырость пробирали нх до костей. Пришлось напяливать на себя всю теплую одежду, подогревать погреб маленьким костерком. Пока в жандармских верхах проносились бури, «Маня» под землей готовила к печати второй номер газеты.

Филя Андреев принес из комитета новые статьи, их быстро вычитали, добавили свои заметки (и новое стихотворение Михаила — о «черной сотне»); две ночи простояли над набором первого разворота, потом корректура, подгонка полос, и наконец принялись печатать... То, что Филя рассказал парням, не могло не взволновать нх. Для каждого Филя нашел доброе слово. Михаил во всех живых красках видел перед собой порт, огромные толпы людей, толкущихся с самого утра, ватаги шумных подростков, разносчиков газет, что-то кричащих и всем сующих свою газету, а среди них — двое мальчишек с полными сумками. Вот они взбираются на тумбу и наперебой кричат: «Берите нашу «Борьбу»! Покупайте

рабочую газету!» А потом громко, во весь голос читают стихотворение Михаила:

Зачем же терпим кандалы?
Зачем, как вольные орлы,
На воле не летаем?

Раздаются свистки полицейских, ругань, городовые разгоняют толпу, но разве поймаешь заводских сорванцов,— их голоса через минуту звенят на другом причале: «В нашей газете про Зайченко! Про палача Завьялова!»

Михаил ясно представил себе эту картину, и ему вдруг захотелось тут же забраться в угол и написать что-то новое, такое же высокое и взволнованное.

А Иван видел другую сцену. Перед заводскими воротами стоит Таня Грабова и быстро раздает газету. Плывет рабочая река из цехов, уставшая и пропахшая мазутом. Сколько в этой толпе мелькает знакомых лиц! К Тане тянутся молодые крепкие руки, и, увитая этими руками, она счастливо улыбается, раздает товарищам газету, собирает медяки. Но вот стройную смуглую девушку в гуще заводского люда заметил надзиратель Кошара и с двумя полицейскими бросается к ней. Однако Кошару молча отталкивают, как отталкивают скотину; рабочие обступают Таню, кто-то надевает даже свою фуражку ей на голову, и так плотной толпой провожают девушку на Пески.

Очень обрадовались парни, когда узнали от Фили, что на заводах «Борьба» разошлась в несколько дней, что впечатление от нее огромное. Филя сказал: «В комитет потянулись новые рабочие, спрашивают: где же герои меньшевики, где эсеры? В девятьсот пятом году на каждом митинге они кричали, а теперь, в самый страшный час, от них ни слуху ни духу, точно испарились. Говорят: и в наших цехах есть такие супостаты, как Зайченко, взгрейте и их в газете!..» Филя передал (и эту новость тоже приятно было услышать ребятам), что комитет отправил несколько пакетов «Борьбы» в Вознесенск, Олешки, Херсон, Кременчуг. Поэтому Ровнер просит: второй номер выпустить бо́льшим тиражом, может тысячи две или три...

На подземном совете парни поговорили, выслушали запальчивого Шуру и решили: дадим три тысячи. Бумага у них есть и порох в пороховницах тоже...

После ухода Фили работали споро, не жалея себя, в минуту отдыха шутили и смеялись,— так можно работать только в молодые годы. Они совсем не подозревали, что новый враг, и очень коварный, подстерегает их.

Однажды ночью Иван проснулся от глухого кашля. Рядом лежал Михаил, уткнувшись лицом в рукав, и весь сотрясался от удушья. Он хотел сдержаться, заглушить в себе раздирающий душу кашель, но из этого ничего не получалось. Наверное, Михаила больше всего беспокоило то, что над их головами не такой уж толстый слой земли и его могли услышать на слободской улице.

Иван прикоснулся к плечу брата — Бульба весь взмок, рубашка мокрая, и даже, кажется, подскочила температура. Хотя бы он совсем не заболел, с тревогой подумал Иван. Он тихонько выбрался из погреба, разбудил мать; впотьмах вдвоем они вскипятили воду, заварили чай с калиной. Михаил выпил, немного успокоился, а днем снова стал кашлять. Кашель был подозрительный, люди называют его гнилым: с мокротой и прожилками крови.

Чем больше Иван присматривался к Михаилу, тем больше тревожился за брата. Михаил стал какой-то подавленный, вялый, а подчас и угрюмо замкнутый, молчаливый. Старые ботинки у него совсем расползлись от сырости; одежда тоже обносилась, оборвалась. Иван разыскал дома свои заводские сапоги, залатал, подбил их, заставил Михаила потеплее обуться, надеть ватник. А потом ночью Иван починил обувь — и Шуре, и себе, и Виктору. Плесень, сырость, особенно раскисшая мокрая и липкая глина под ногами донимали их всех. Теперь и мать не на шутку беспокоилась за своих сыновей, чаще стучала в будку, передавала в погреб то теплый компот, то подогретое молоко, если ей удавалось где-нибудь раздобыть его.

А Михаил все кашлял; правда, научился кашлять тихо, в рукав, чтоб наверху не очень было слышно. Вскоре начал покашливать и Шура. «Ну что это за сыны у Бульбы! Не раскисать! Зарядку, обтирание холодной водой, побольше бодрости, оптимизма!» — внушал им Иван. И что было удивительно, Виктор Т-ко, который, казалось, был самый хилый и слабый среди них, пока еще держался на ногах, не болел, только братья заметили, что он как-то изменился, стал сторониться их, с опаской посматривал на Михаила и Шуру... Да, росло, росло понемногу между ними отчуждение...

Чтобы была хоть какая-нибудь вентиляция, пробили отверстие в потолке, установили трубу, замаскировали ее так, словно это проходит под каменным забором водосточная труба. Договорились побольше шевелиться, ходить, работать, разгонять застывшую кровь. Теперь, когда вставали за типографский станок, Иван уступал свое место Михаилу, пусть помашет тяжелым катком и хорошо согреется, выгоняя из себя простуду. (Тогда им казалось, что это обыкновенная простуда и что все само собою образуется.) И Михаил старался, орудовал вовсю катком, даже ватник с себя снимал, и сухой нездоровый румянец покрывал его щеки. Казалось, все понемногу втянулись, привыкли к сырости, к осеннему холоду. Набор, мытье шрифтов, выпуск газеты захватили их полностью, поглотили все мысли и чувства. Про болезнь словно и забыли. Но однажды среди ночи снова закашлял Михаил, тяжело надрывая грудь. Было темно, лампа в погребе не горела. Шура и Виктор лежали здесь же на спартанских нарах. Михаил подергал Ивана за плечо, придвинулся к нему поближе и зашептал тихо и просительно, так, чтоб слышал только он: «Отпусти меня, Ваня, на завод... Ты же видишь, я только мешаю вам. Не проходит, сидит кашель в груди, как мокрая вата...»

Иван в ответ лишь тяжело вздохнул. Что он мог сказать? Что любит Михаила, любит и мучается, тревожится за брата и, если бы мог ему чем-нибудь помочь, давно помог бы... Пустые и напрасные слова. Разве люди об этом говорят? Он скорее сказал бы: сейчас, после выхода газеты, их дом под усиленным наблюдением и без особой нужды никак нельзя им показываться на улице...

— Михаил, я тебя понимаю... Лучше и легче было бы всем нам пойти на завод. И тебе, и Шурику, у которого, как видишь, тоже не все в порядке. А кто же будет здесь, кто? Потерпи, Михаил. Я тебе уже говорил: потерпи, ты умеешь... Не для себя, для чего-то большего мы все это делаем. Помнишь: дух борьбы... никогда не умирает в пролетариате... Сцепи зубы, осиль, переломи в себе эту проклятую болезнь. Если расслабимся, сразу провалим дело.

Михаил молча протянул руку, нащупал в темноте грубую ладонь Ивана и пожал ее: «Хорошо, браток, ты меня знаешь... буду терпеть. Буду с вами до конца».

Утром они печатали первый разворот газеты. Михаил подавал нарезанную бумагу, лампа тускло светила и чадила над их головами, приземистые тени раскачивались на стенах погреба. Михаил украдкой посматривал на Ивана, на его крепкую широкогрудую фигуру, на то, как он возится с катком, и что-то теплое и тревожное согревало его сердце; после ночного разговора Иван стал для него еще дороже и роднее.

Легкий стук в дверь: мать принесла завтрак. Шура ползет наверх и, как рак, возвращается назад, осторожно тащит за собой кастрюлю и кувшин компота. Все «молотильщики» аппетитно вдыхают теплый крахмальный запах, доносящийся из-под крышки. Пахнет картошка! Позабыв про свою воспитанность и деликатность, Виктор первый подсаживается к кастрюле. Он худ и всегда голоден, а пища в погреб спускается один или два раза в день, компот и постная картошка, иногда еще блины. С вечно голодным видом Т-ко во время работы гордо и деловито, словно что-то ищет для печати, роется на высокой стенной полочке и, найдя там сухую корочку, кладет ее незаметно в рот, тихонько похрустывает возле рамы, в то время как руки его прижимают листы к набору. Вот и сейчас он первым тянется к кастрюле, около которой распоряжается Шура, а у Шуры рука неподкупно твердая; он честно делит завтрак, каждому три картофелины, по щепотке соли и еще порция компоту. Миг — и у всех в тарелке пусто. Т-ко кидает разочарованный взгляд на кастрюлю, а в ней только теплый дух да что-то пригоревшее на дне. Чтоб не мучить чревоугодника, Иван разрешает ему закурить. Это — добавочный паек.

Братья дружно смеются, а Т-ко лезет наверх, в будку, чтоб добрать дымом то, чего недобрал пищей.

...С братом Михаилом Иван быстро все уладил. Между ними больше не возникало разговоров о заводе. Иван и не подозревал,

что исподволь, медленно и постепенно назреет иной, более серьезный конфликт. С Виктором Т-ко.

Несколько раз Виктор отпрашивался домой. После каждого посещения матери, особенно невесты Анюты он возвращался в сырой и холодный погреб не в лучшем настроении, приходил угрюмо-замкнутый, чем-то недовольный и удрученный. Когда Шура спрашивал его, что там в полицейском мире, он досадливо морщился и отворачивался, как бы всем видом своим говоря: оставьте меня в покое. В этот миг в глазах его, казалось, поблескивала холодная слеза. Почему и на кого он сердился, на кого обижался, Шура не мог взять в толк. Он только думал о Т-ко: чужой какой-то... Да, Виктор был и остался для них не до конца разгаданным человеком, пришедшим с другого берега, с Соборной. Но все же он был товарищем, наборщиком, с ним выпускали «Борьбу», и братья не представляли себе, что происходит с Т-ко, какой коварный червь гложет его сердце. А червь этот, оказывается, гложет душу Виктора давно, годами, с тех самых дней...

С тех дней, когда Т-ко стал учеником, а потом и мастером-наборщиком в самой большой николаевской типографии, у братьев Белолипских. Там Виктор прошел нелегкую школу. Как коммерческие люди, Белолипские печатали у себя издания разного толка, газеты мелкие и большие, всех политических направлений и оттенков, лишь бы имелось только разрешение цензуры. Здесь выходили в свет воззвания и листки партии правового порядка, октябристов, трудовиков, кадетов и даже печаталась хулиганская газета «Звонарь». Все это проходило через руки молодого наборщика. Да и вообще тогда он находился в окружении шумливой, нервно-возбужденной, слишком говорливой и слишком р-р-революционной толпы репортеров, фельетонистов, непризнанных гениев-версификаторов. Эта компания упивалась закулисными слухами, все знала и обо всем витийствовала, била себя в грудь и накликала бури революции. И эта же толпа жила на копейки тех газет и тех издателей, которых она проклинала, а поэтому коридорные оракулы каждый раз благочестиво замолкали, если неожиданно заходил кто-то из братьев Белолипских или шеф-редактор «Николаевской газеты». Цинизм, фарисейство, словоблудие... Таким хлебом кормилась та среда, с которой с четырнадцати лет связал свою жизнь Виктор Т-ко.

Все это не могло не отразиться на юноше, даже на его внешнем облике. Еще в ссылке Иван говорил: «Вы присмотритесь к нему; как он оттопыривает нижнюю губу, как важно растягивает слова. Ей-богу, он подражает своему другу Валерьяну, хочет показать, что не с одной важной знаменитостью за ручку здоровался. Когда я смотрю на эту губу,— улыбался Иван,— сразу вижу всю чиновничью Соборную...»

Тронулся лед в России, общим потоком подхватило, понесло и Виктора Т-ко, тем более что он сам порядком пережил, сам был битый, помнил, что он — подкидыш, из сиротской подворотни.

Там же, у братьев Белолипских, Виктор познакомился со студентом Валерьяном, стройным узколицым красавцем, поэтом, оратором. С ним они тайно ходили на Слободку, на массовки, а многотысячные массовки происходили тогда на обрывах и склонах Ингула, возле кирпичных заводов. Тьма-тьмущая рабочего люда, гул голосов, страстные речи, какой-то вроде вселенский праздник... Их увлекало само зрелище сходок... А потом выступления Валерьяна... Он был человек острого ума, неврастенический, легко возбудимый. Когда он вставал перед толпой и начинал говорить, то сам все больше зажигался, самовозбуждался — до экстаза, до надрыва голоса, и это очень действовало на жаждущую толпу, особенно на молодежь; часто Валерьян заканчивал свою речь в полуобморочном состоянии, с пустыми, отсутствующими глазами, тогда Виктор подхватывал его за локти и отводил в сторону, так как, казалось, еще немного, и он упадет.

Поэт Валерьян был для Т-ко революционным трибуном, Жоресом, ближайшим другом. Вместе они вступили и в социал-демократические кружки Николаева. Приближался грозовой пятый год, им поручили нелегально набрать в типографии листовку, и они это охотно сделали и даже ночью разбросали ее по дворам (в воспоминаниях Т-ко говорит, что он разулся, чтоб никто не слышал его шагов). И вот Виктор в полицейском участке, сам полицмейстер Иванов — семь пудов мяса и мускул — влепил ему всей пятерней пощечину. Кулак Иванова отбросил молодого наборщика еще дальше в сторону революции; Т-ко повязал на руку красную повязку, записался в боевую дружину, был арестован как боевик, прошел петербургские «Кресты», Олонецкую губернию...

Неожиданный удар получил Т-ко, вернувшись из ссылки в Николаев. На Соборной, среди мелкой публики, он увидел друга Валерьяна и окликнул его. Но тот только мельком посмотрел на Виктора, поднял воротник и быстро исчез в чужом подъезде. Это удивило Т-ко. Уже в типографии от газетчиков он узнал, что произошло с Валерьяном.

Трибуна, оратора, без которого не обходилась ни одна сходка в Николаеве, знали, как и следовало ожидать, не только рабочие, но и «союзники», то есть черносотенцы. Они долго охотились за ним и наконец застукали его возле самого причала в порту, навалились вместе, избили, втоптали в землю, и кто знает, как он остался в живых. Валерьян пролежал до утра — без сознания, без двух передних зубов, а главное — без единой поэтической рифмы в голове. Нет, это не шутка. С того дня он так возненавидел стихоплетство, что не написал больше ни единой рифмованной строчки.

Виктор искал друга и наконец нашел его на окраине города, в темной подвальной кладовке. При виде Виктора Валерьян весь съежился, вроде испугался, он сидел желтый, болезненно раздражительный, в грязном костюме и затравленно посматривал на дверь, умоляя оставить его в покое! Виктор не ушел. Долго сидел неподвижно с болью и состраданием, в ожидании исцеляющей ис-

поведи, и в конце концов вызвал друга на откровенность. Тот, словно от какого-то внутреннего потрясения, вдруг побледнел, задрожал, презрительно сощурился и заговорил резко и злобно, обзывая всех быдлом, изменниками, предателями; прошлое рисовал так, что получалось, будто только он один, неискушенный бунтарь, хотел пробить головой эту каменную китайскую стену, что, когда пошли в ход винтовки и пушки, все разбежались, все спасали свои шкуры; оставили его, Валерьяна, на «союзников», на растерзание, и потому он оказался на грани безумия и не раз уже пытался покончить жизнь самоубийством... По его словам получалось, что революция его предала, втоптала в грязь веру и высокие идеалы, которые он свято носил в душе, надругалась над ним, и теперь он будет плевать этой революции в ее окровавленные следы.

С тяжелым настроением ушел Виктор от Валерьяна, который своими проклятиями, своей озлобленностью заронил в его душу что-то гнетущее, омертвляющее, словно влил каплю смертельного яда. Виктор и сам видел: народ в типографии присмирел, не толпился, не митинговал, как прежде, в коридорах, каждый уткнулся носом в свою работу. Было заметно: молодой революционный хмель уже выветрился, и многие на Соборной стали степенней и осмотрительней...

Виктор гнул спину в погребе над наборной доской (лампы густо дымили, и он долго откашливал черную копоть), а перед глазами его часто стоял Валерьян. Стоял как жертва, как трагическая загадка для Виктора, как укор: не уберегли такого человека... В полумраке Виктор набирал «Борьбу», а перед ним воскресало еще одно милое и дорогое лицо — ясноглазое, румяное, с чуть-чуть припухшими губами. Это была Анюта, юное, невинное создание, которое он повстречал летом на городском бульваре. Виктор полюбил Анюту в первый же вечер. Отпрашивался у Ивана на свидание и чувствовал себя жалким, нищим, несчастным человеком: обносился до нитки, пожелтел, покрылся весь копотью в погребе. «Господи, как от тебя пахнет! Словно от копченой рыбы!» — мило улыбаясь, говорила при встрече Анюта. Он украдкой посматривал на свои мокрые истоптанные ботинки и вспоминал, что в типографии Френкеля (Белолипские не взяли его после Кеми) ему платили по шестьдесят — семьдесят рублей в месяц.

Торопясь на свидание, Виктор тайком одалживал у Михаила какие-то гроши, чтоб надушиться, до блеска начистить ботинки. И эти копейки, эти короткие встречи с возлюбленной, чувство собственной вины и приниженности, постоянное неудовлетворение и жалость к себе предопределили потом всю его дальнейшую жизнь, всю трагедию, которая произошла с ним позже, когда он остался без Петровых, один на один перед трудным выбором.

В некоторых воспоминаниях и публикациях, особенно последнего времени, Виктора Т-ко называют провокатором, по вине которого погибла «Маня». Это не совсем так. «Маня», как известно,

не была провалена, она просуществовала еще добрый десяток лет. По-видимому, Виктор Т-ко никогда не забывал предостережение Ивана: о технике знаем только ты и мы, больше никто. Он не мог выдать «Маню»: подозрение сразу пало бы на него. А Т-ко больше всего боялся публичного приговора. Уже потом, позже, Иван разгадал раздвоенность Т-ко: такие люди совершенно разные на людях и наедине с собой. В толпе, под гипнозом большинства, увлеченные потоком, они могут броситься и на штыки стражников. Тут скорее действует вспышка, своего рода коллективный магнит, порыв самолюбия, боязнь не уронить честь в глазах товарищей. Совсем иное дело — в одиночестве, за каменными стенами. Здесь гипноз иной, гипноз холода, смерти. И некоторые из таких, как Виктор Т-ко, не выдерживают: раскаяние, самобичевание, искупление собственной вины — и тихое, укрытое от всего мира предательство...

Виктор шел к этому. Но окончательно толкнула его, сбила с праведного пути та самая нежная, ясноглазая дочь служащего, Анюта. Тайно от родителей они повенчались; она пожертвовала собой — вышла замуж за неблагонадежного; всю жизнь потом мучилась: родился ребенок, а муж в подполье, в ночных прибежищах. Затем страшный удар — арест Виктора, ссылка в Сибирь. Анюта с маленьким ребенком поехала за ним. Слезы, болезнь малыша, зверства стражников, немые укоры в глазах супруги, страдания — всего этого не выдержал Т-ко. Он стал посылать письма товарищам, просил помощи, денег. Охранка, по-видимому, перехватила эти письма-просьбы, вскоре к нему стали приходить то один, то другой подпольщик, называли пароль и давали деньги — от Николаевского комитета. И Виктора не удивляло, не настораживало то, что каждый раз, вручая ему деньги, давали подписывать и какие-то бумаги. Все это произошло уже в Николаеве, куда он возвратился после вторичной ссылки. Помощь приходила почти каждый месяц. А потом, как говорят, в один прекрасный день явился человек, назвал пароль и сказал: «Господин Т-ко, хватит нам в бирюльки играть. Я работник охранного отделения. Деньги, которые вы получали, присылали вам мы. Вот куча ваших расписок».

В том же году осенью революционерка Инесса Арманд писала из заключения: «Разлад между интересами личными или семейными и интересами общественными является для современного интеллигента самой сложной проблемой, так как сплошь да рядом приходится жертвовать тем либо другим, да и кто из нас не стоит перед этой тяжелой дилеммой? И как ни вырешишь, одинаково тяжело. У рабочих другое — там гармония, совпадение личных и общественных интересов, потому-то они такие цельные, крепкие, а мы, все интеллигенты, более или менее в противоречии с самими собой».

За стеной плакал ребенок. Анюта, нервная и тяжело простуженная после сибирских скитаний, баюкала малыша. Бедность, нищета глядели со всех облезлых стен. И Т-ко, проклиная себя и свою жизнь, ненавидя себя, сказал торопливо: согласен!

...В областном партийном архиве, в Николаеве, хранятся воспоминания Виктора Т-ко. Написаны они давно, возможно в тридцатые или сороковые годы. Я читал их и сквозь машинописные строки хотел разглядеть человека, понять путь его деградации. Мне показалось, что пожелтевшая бумага, помятая и загнутая в уголках, отразила в какой-то мере жизненную драму Т-ко. Воспоминания начинаются с детства, с революционной юности, краткие энергичные строки льются свободно, душа исповедуется легко, не затемненная никакими тучами практицизма и тяжелыми укорами совести. Дальше — первые шаги в подпольной борьбе, здесь проскальзывает уже некоторый авангардизм, легкое выпячивание своего «я», преувеличение собственной роли (человеческая, можно сказать, простительная слабость). Правда, вскоре у него получается так, что «Маню» создал чуть ли не он сам: я принес, я достал, я набрал... (Еще Иван подчеркивал: мне не нравилось его постоянное яканье, его хвастовство.) Но кто, особенно на склоне жизни, не преувеличивает своих прошлых заслуг!

Но вот интересная деталь. В конце воспоминаний Т-ко пишет о своей ссылке с женой и маленьким ребенком в Сибирь. Чувствуется, как все медленней и трудней двигалась его рука, как Т-ко время от времени останавливался, подолгу думал, подбирал слова. После легкого поэтического вступления («Массовки на берегу Ингула. Уйма народа на горах, на кручах. Речи... Все это взволновало, заворожило меня») вдруг какие-то денежные расчеты, какие-то долги, кто-то его в чем-то обвиняет, а Т-ко — через столько-то лет! — доказывает, что это совсем не так.

Словом, человек перед кем-то оправдывался. И это ему давалось нелегко. Последняя страница воспоминаний сплошь испещрена пометками, поверх печатного текста еще раз написано чернилами, потом и это перечеркнуто и дописано сбоку. Что-то в этих исправлениях и вставках суетное, неспокойное, сумбурное.

Что хотел сказать Т-ко своими воспоминаниями? Оправдаться перед будущим, перед потомками? Тяжелый и напрасный труд, потому что существует такой грозный обвинитель, как архив охранки; жандармские делопроизводители аккуратно подшивали самые незначительные доносы и расчеты в копейках и гривенниках за предательство, за двурушничество, за отказ от собственных взглядов и от вчерашних друзей-соратников. Существует и еще один грозный обвинитель — человеческая память. 1908 год. Столыпинская реакция. Кажется, совсем давняя история, покрытая пылью забвения. Но походил я по улицам рабочей Слободки (она и сейчас называется Слободкой, только обступили ее со всех сторон огромные корпуса новых заводов) и убедился: девятьсот восьмой год — это живые люди, те самые, которые живут рядом с нами; это их детство, воспоминания, борьба, радость и боль. До

недавнего времени ходила по той самой Экипажеской седая восьмидесятичетырехлетияя женщина, Таня Грабова, подруга Петровых, экспедитор «Мани». Еще вчера можно было поговорить с Анисьей Чигриной, революционеркой Анисьей, помнившей и первого пропагандиста Зива, и первую на Слободке гектографическую типографию. Жив был до недавнего времени и старый Николайчук, через сад которого ходил к Петровым печатник Т-ко. Хотелось мне было своим именем назвать весовщика из порта, бывшего черносотенца, но снова неожиданность — знакомят с маленькой старушкой, дочерью того же весовщика, и она, как о чем-то вчерашнем, рассказывает о детских играх на улице, о слободских ветрогонах Иване и Михаиле.

Да, история «Мани» еще совсем свежая, она, эта история, ходит, вспоминает, цепко все держит в памяти, ни про что не забыла, может назвать вам даже тогдашние цены на керосин и соль в лавке Моргулисов. В этой истории переплелось высокое и трагическое, судьба Петровых и судьба Т-ко. А потому пускай «Маня» звучит своим полным именем, а Т-ко — кратким знаком отступничества.

Однажды, вернувшись из города, Т-ко долго мучился, не решался подойти к Ивану, но потом все же отозвал его в сторону и начал разговор, который свелся в конце концов к его бедствованию. Речь, видите ли, идет не о нем лично, а о матери и еще о самом дорогом для него человеке. Когда Ровнер посылал его сюда, в подполье, то говорил: знаю, мол, Виктор, твое положение, но не беспокойся, комитет будет платить тебе и Петровым рублей по сорок в месяц[1]. Вот он и согласился, оставил работу в типографии... Однако прошел месяц, другой, скоро третий — и ни гроша обещанного. Мать тяжело больна, живет одна, все ее надежды на сына. А Нюта — та просто в отчаянии. Вырвал он ее от родителей, поселил у чужих людей и вот бросил иа произвол судьбы.

Иван слушал Т-ко, и тяжко, словно от глухой боли, заныло его сердце: на него повеяло мелким неприятным торгом. Уж кто-кто, а Иван хорошо знал, что не в таком уж безнадежном положении находилась и Нюта, и мать Т-ко...

— Вот что, Виктор,— хмуро сказал Иван,— ничем помочь тебе не могу. Сам знаешь, работа у нас такая, что на ней можно заработать только лишь каторгу. Смотри, выбирай сам. Выход у нас один: потуже затянуть ремень и кочегарить, пока не заграбастают «крючки».

Т-ко вспыхнул, возмутился, сказал, что он давно сделал выбор, с четырнадцати лет, когда расклеивал в городе листовки. Он обиделся на Ивана, холодно отвернулся и принялся возиться в шрифтах, как бы давая тем самым понять, что после таких слов ему говорить с ним не о чем.

[1] А вся касса Николаевского комитета насчитывала тогда 14 руб. 41 коп. И Т-ко об этом знал — он сам набирал отчет комитета, который был опубликован в первом же номере «Борьбы».

На том их стычка и закончилась.

Скрывая раздражение, Иван взялся за каток, молча кивнул братьям: поехали, газета не ждет. Знал, что лучше всего успокаивает человека работа, она и примиряет людей, если между ними есть какая-то размолвка.

На улице зарядил осенний бесконечный дождь, снова в погребе побежали, потянулись вниз по стенам мокрые, тускло поблескивающие пятна подтеков. Парням — хотел было сказать — не капало за шею, однако это было бы неверно: и капало, и текло им, затворникам. Все задыхались от нехватки воздуха, от сырости, от спешки в работе. Михаил весь покрылся испариной, то и дело вытирал с лица холодный пот, который неизвестно откуда и брался — щекотал ему щеки и падал на бумагу крупными каплями. Т-ко, наклонившись над рамой, тоже сдабривал страницы своим потом; и Шура, перемазанный краской, не забывал прибавить соленого пота к рабочей «Борьбе». С полным правом они могли бы сказать: их газета пахнет потом.

Приятен момент, когда все закончено. Весь тираж отпечатан. Он лежал на столе двумя высокими кипами. Михаил аккуратно сложил газеты и подровнял. Теперь каждому хотелось подойти, потрогать рукой — солидная пачка, не правда ли? Обещали Ровнеру три тысячи, три тысячи и напечатали. Даже быстрее, чем первый номер. Золотые слова Бонавентуры: опыт и практика — великое дело! (Еще немного поучиться Петровым — и Слободка одна, своими руками будет делать газету, без услуг известных и оттого капризных мастеров, без их нервного подергивания плечом и косых взглядов.)

Второй номер «Борьбы»...

Он такой же по-рабочему прямой, беспощадный, в нем та же ненависть к Фокину, Зайченко... И скроен он просто, может быть, угловато, но без малейших украшений. Здесь голая правда, здесь крик о народных страданиях:

> *«...Россия, которую ее лучшие сыны вполне справедливо называют мачехой,— гостеприимно и из года в год принимает в свои объятия страшные народные бедствия. Тиф и цинга, пожары и наводнения, недороды и голод... В прошлом и в этом году нас посетила и смертоносная азиатская гостья — холера...»*
>
> *«...Фабрики и заводы выбрасывают в один год 70 тысяч искалеченных людей, 70 тысяч человеческих жизней становятся жертвами всепожирающего капиталистического молоха...»*
>
> *«...Суд присяжных оправдал черносотенца Романа Химича, убившего рабочего Брагинца, оправдал на том основании, что убийца «все-таки» принадлежал к правым, а убитый к левым, к социал-демократам...»*
>
> *«...Обер-палач Завьялов весь день стоит над душой клепальщиков, выматывая из них все силы. Весь день*

он носится по доку, подсматривая за рабочими и подслушивая их разговоры. Не пренебрегает даже заглядывать в нужники...»

«Борьба» обращается к рабочим: сообщайте нам о положении на николаевских заводах, самые характерные факты будем печатать в нашем органе. И уже со второго номера видно, как потянулись сердца мастеровых к своей газете, как рабочие ищут в газете правды и защиты. Вся колонка «Местная жизнь» во втором номере составлена из писем и сообщений самих рабочих. На эту важную деталь, как увидим дальше, обращал особое внимание Владимир Ильич Ленин (ему в Женеву и Париж были посланы все номера «Борьбы»).

И наконец, четвертая страница, где было опубликовано стихотворение «Черная сотня». Нет, не случайно это стихотворение поставлено в газете рядом с сообщением «Из зала суда», где рассказывалось о полном оправдании наемного убийцы Химича. Суд насильников, мерзкое злодеяние, убийца-каин — такими словами заклеймила «Борьба» всю эту кровавую расправу. Можно себе представить, как был возмущен и потрясен Михаил Петров, который лично знал молодого слесаря Брагинца, услышав о его убийстве и о похоронах, всколыхнувших весь Николаев,— тогда по улицам города потянулась длинная траурная процессия, шли рабочие колонны, шла вся Слободка, сжимая кулаки и утирая слезы, а герои «черного ангела» притаились, боялись нос высунуть на улицу. Наверное, Михаил представил и картину подлого убийства, и похороны — рука его потянулась к перу, чтоб вынести свой, революционный приговор всем черным силам реакции. Под его пером родилась «песня» убийц:

Толпа громил, убийц, шпионов,
Продажный, пьяный, грязный сброд,
Охрана виселиц и трона,—
Идем с ножами на народ.

Чтоб день минул — и без возврата,
Чтоб вечно длилась злая ночь,
Мы предадим родного брата,
Мы продадим родную дочь.

Тверже и безжалостнее становилась рука Михаила. А сам он сильно сдал, похудел, нос заострился, кости торчали; за два месяца жизни под землей лицо его увяло, стало землистое, в глазах загорелся нездоровый блеск — первый, не слишком заметный признак чахотки. Михаил стал раздражителен в разговоре, особенно с Виктором Т-ко, за которого стоял раньше горою; остро переживал Михаил каждую тревожную весть из Николаева — об издевательствах на заводах, об угрозах Каннегисера закрыть «Наваль». Теперь Михаил редко когда садился писать. В погребе, за работой, на глазах братьев и Т-ко не много напишешь. А если где-нибудь в уголке и присаживался с карандашом, то долго мучился,

пока что-нибудь получится, сердито и упрямо сдвигал брови, хмурился, как Иван, и строки у него выходили злые и прямые, похожие на речи Ивана в порту: «Зачем же терпим кандалы? Зачем, как вольные орлы, на воле не летаем?..» Писал он трудно (не так, как о снегах Карелии, когда рифмы просто и легко ложились на бумагу), зато два последних стихотворения — о черной сотне и кандалах — сразу стали своими на заводе, переписывались от руки. Их повторяли молодые рабочие и в цехах, и на тайных сходках. Михаил чувствовал: связь с друзьями, причастность к борьбе — вот что дает человеку поэтическое слово, то слово, над которым он долго мучился. «Нет, нет,— силен рабочий класс! Живое сердце бьется в нас. Мы встанем за свободу!»

...Тираж лежал готовый, надо было его отправить. Иван ждал сигнала от Грабова, ожидал Филю со статьями, чтобы начать новый номер.

Хотелось бы заметить об одной «мелочи», которая запутала многих — и Фокина, и николаевских рабочих, и даже редакцию газеты «Пролетарий». Во втором номере «Борьбы», под заголовком ребята напечатали мелким шрифтом поправку: «По ошибке прошлый номер был назван 4-м, его следует считать первым».

Как вы припоминаете, ошибки здесь не было. В честь старой «Борьбы» и как бы продолжая ее жизнь и дела, николаевские большевики и назвали свой первый номер четвертым. Но вот пришел Филя Андреев и рассказал, что эта безобидная «мелочь» наделала много шума в жандармском мире: Фокин забил тревогу, поднял на ноги всю охранку, приказал достать из-под земли и доставить в отделение все четыре номера подряд. Сбилась с толку не только охранка. Многие рабочие, особенно молодые, уже не помнили старой «Борьбы», они обращались в комитет и спрашивали — как раздобыть предыдущие номера? Больше того. За границей, в газете «Пролетарий», появилось сообщение, что Николаевский комитет партии начал выпуск своей газеты и что в конце сентября вышел уже четвертый номер «Борьбы»... Чтобы прекратить эту путаницу, комитет пометил второй номер так, как и следовало было, вторым номером. А Шура вырезал для него новый цифровой знак — большую двойку с гордой лебединой шеей и красивой приставкой *-й* в конце.

Несмотря на то что подземное братство жило замкнутой, тайной жизнью, парни чувствовали, как все туже стягивалось вокруг них жандармское кольцо.

Ночью шел проливной дождь. Наверное оттого, что дерево намокло, они сначала не поняли, что за шум наверху: или кто-то вышагивал в сапогах рядом с погребом, или стучался в дверь будки. Открыли дверцу. В погреб спустился Иван Грабов. Он был весь мокрый, куртка на нем блестела, влажные волосы прилипли к вискам. Ваня вытер лицо и виновато улыбнулся: надо,

надо, братцы, иначе не отрывал бы вас от работы и не нарушал бы конспирации.

Увидев друга, братья обрадовались, бросились к нему, хотя и понимали: что-то случилось тревожное, иначе Ваня не спустился бы в погреб. И в самом деле, Грабов сказал: засада! Нести газету к нему нельзя. Соседи через мальчишку передали: третий день сидят у них шпики, наблюдают за грабовским домом, за всеми прохожими на Экипажеской. Видимо, что-то пронюхали о передаче газеты.

Грабов хотел закурить, но сразу понял, что здесь нельзя, спрятал кисет и добавил: не только их дом, весь комитет сейчас в осаде. Ровнер передает, что за ним и Филей Андреевым все нахальнее ходят филеры, следят нагло, даже в клозет следом идут.

«Какие паразиты! — подумал Шура. — Вот слизняки!» Он обеспокоенно посмотрел на кипу газет, которую еще вчера они отпечатали и аккуратно сложили на столе; Шура словно предвидел, что для «Мани» прозвенел первый тревожный звонок.

Сели вместе на лежак, закурили (Иван разрешил), здесь же договорились с Грабовым, что сейчас же газету свяжут пачками и перенесут ее на конспиративную квартиру, на Пески, поближе к заводу. Все сразу посуровели, подтянулись. Шура и Виктор накинули на себя куртки и фуражки, Михаил надел единственный дождевик, который имелся в доме; в этом покоробленном, задеревеневшем от времени дождевике ходил на завод еще отец. Иван не забыл прихватить с собой револьвер, словно чувствовал: будет для «вессона» работка.

Через боковую нору вытащили пачки газет, взвалили себе на плечи и, укрываясь от дождя, в густой темноте гуськом побрели по Слободке. Едва подошли к базару, как вдруг свист, топот, нецензурная брань, растерянные команды: «Обходи их! Хватай живьем!» Полицейская облава... Ивану пришлось отстреливаться и прикрывать товарищей, которые отходили к Ингулу. Лишь под утро, промокшие до костей, перепачканные грязью после стольких приключений, прибыли все пятеро на Пески и передали на конспиративную квартиру газету, которая тоже намокла под мелким осенним дождем.

Не прошло и двух дней, как еще раз прозвенел для «Мани» тревожный звонок. На этот раз над самой головой.

Парни чувствовали: Фокин все ближе подбирается к ним. Через мать, Филю Андреева товарищи передавали, что шпики и филеры подозрительно интересуются Грабовым и Петровыми, толкутся в дешевых трактирах на Слободке, липнут к каждому выпившему рабочему, прислушиваются к разговорам, спрашивают о каком-то Остапе... Шура вспомнил одну из легенд деда Алексы (дед в молодые годы плавал в Индию) об известном бомбейском черном маге, злодее, который продавал молоко с ужами: кто из доверчивых пил то молоко, ужи к нему незаметно проскальзывали в душу. «А фокинские ужи и без масла лезут», — невесело пошутил Шура.

И вот услышали они над головой торопливый стук.

Шура выбрался наверх. В сырой ветреной темноте он наткнулся на мать. Она стояла на погребе и закрывалась от холодной стылой измороси полотняной накидкой. По голосу, по тому, как взяла мать Шуру за руку и потащила в сени, он понял, что случилось что-то неприятное.

Мать тяжело и взволнованно дышала, словно она только что от кого-то убегала. Перевела дух и стала рассказывать, что совсем недавно выпроводила за ворота ночных гостей, которые все перерыли в доме, вытащили даже матрац из-под Аленки, вконец напугали девочку, и сейчас она сидит и дрожит, боится одна оставаться в хате.

— Кто же это был? Бандюги? — спросил встревоженный Шура, краем уха прислушиваясь, как напуганная Аленка зовет бабушку.

Мать и сама не знала, кто это был.

Постучал какой-то незнакомый мужчина; Елена Федоровна только заметила в окно — в лохматой шапке.

— Хозяюшка, хозяюшка, где тут дорога на Красную горку?

Не будешь же переговариваться с человеком через окно! Мать открыла дверь. И тут же, грубо оттолкнув ее, вскочили в сени четверо, не городовые, не полицейские, а будто простые люди: зажгли свой фонарь, бросились во все углы: где сыны? Перетрясли и перерыли все — и постель, и сундучки, и даже за икону лазили.

Мать рассказывала, а сама, как заметил Шура, все дрожала от волнения. Да и кого бы не возмутил этот открытый ночной разбой — в своем же собственном доме! Потом, уже позже, Елена Федоровна привыкла и к этим басурманам, как называла она тайных сыщиков, и к их постоянным ночным налетам.

— Поздравляю,— невесело пошутил Иван, когда Шура спустился в погреб и рассказал о непрошеных гостях.— Первый обыск. Пока что легонький. А дальше будут и во дворе копать. Неужели кто-то привел хвост к самому двору?

Иван закрыл погреб и украдкой посмотрел на Виктора Т-ко, уставшего и словно еще больше облысевшего. Вид у Т-ко был угрюмый. Иван выбрал удобный момент, чтоб не обидеть его, и сказал, что в город никому ходить нельзя — за домом, как видно, усиленно наблюдают.

В журнале внешнего наблюдения все чаще мелькают клички: Печатник (Виктор Т-ко), Ракетный (Филя Андреев), не забыт и Кульгавый, хотя Ваня Грабов приходил к Петровым только один раз, и то ночью, когда словно из ведра лил дождь.

Все ближе подбиралась охранка к Петровым. Они это понимали и торопили Виктора, набирали, вычитывали, редактировали третий номер, что-то словно подсказывало им: скоро провал... Т-ко

готовил к печати внешний разворот, а в это время Шура уже самостоятельно набирал статьи, и среди них две очень интересные — окончание передовицы и большое письмо «Из партии». Это были не свои статьи, а корреспонденции из-за границы, и надо сказать, каким образом они оказались у Петровых.

Часто к ним заходил Филя. Когда он вынимал из кармана сверточек бумаги, неторопливо разворачивал его и говорил: «Вот вам, товарищи, «Пролетарий», свеженький номер!» — это был самый лучший подарок для братьев. Иван ни о чем его не расспрашивал, однако замечал, что связь у Фили с Женевой становится теснее, газеты он получает теперь и в самом деле свежие, не то что было весной — с опозданием на месяц, а то и больше. Ребятам было приятно: сидят они под землей, а вишь — живая ниточка связывает их с Лениным, с европейской жизнью, с мировой революционной борьбой.

На днях Филя передал 37-й номер «Пролетария». Газета вышла в Швейцарии 29 октября, совсем недавно, и уже лежала на столе в подземной «Мане»! Братья читали ее вслух, читали вместе, останавливались на каждой статье, спорили о Думе, об отзовистах, о мракобесе Макарове, который кричал на заседаниях, что черносотенной Думе угрожает... обольшевичение. После долгих дискуссий Шура сложил газету и спрятал ее в погребе в тайничке за провисающей доской в потолке, чтоб потом еще раз перечитать. Братьям открывалась широкая панорама классовых битв, где скрещивалось оружие десятков партий и групп. В этих стычках срывались маски, тайное становилось явным, и Шура теперь кому хочешь мог втолковать и доказать, почему Дан и Потресов так зло и шумно набрасываются на Ленина и почему слишком «революционный» Богданов, лидер отзовистов, в самозабвении произносит: не в Думу, а на баррикады! Это храбрость от страха или «вспышкопускательство», как говорил Владимир Ильич Ленин.

Когда читали газету, у Ивана мелькнула мысль: а что, если часть материала из «Пролетария» перепечатать в своей газете? Неплохо будет! В Николаев приходит десяток, ну, может быть, несколько десятков «Пролетария», этим не насытишь рабочих. А тираж «Борьбы» три тысячи, будет еще больше, и голос большевистского центра из Женевы — сразу в массы...

С таким намерением Иван просмотрел еще раз газету, посоветовался с ребятами и выбрал для начала две статьи — передовую «Пролетария» и остро написанное письмо-обращение Московского большевистского комитета, опубликованное в номере под рубрикой «Из партии».

К сожалению, передовая была слишком велика для «Борьбы»; Иван попросил Филю, чтоб Ровнер или Козловский немного сократили ее и, если можно, подобрали факты из местной жизни.

Так для третьего номера была подготовлена передовая статья (по традиции она печаталась без заголовка), которая не только духом, не только общим своим направлением, а и текстом почти слово в слово повторяла боевое выступление «Пролетария».

«15 октября вновь открывается российский черносотенный парламент. «Работы» его будут, по-видимому, протекать на фоне некоторого общественного оживления. «Мертвая точка», по общему убеждению, пройдена...» —

пишет «Пролетарий». В «Борьбе» читаем то же самое, с незначительными изменениями:

«15 октября после летних каникул вновь открылся наш черносотенный «парламент». «Работы» его будут, по-видимому, протекать на фоне некоторого оживления. «Мертвая точка», по общему убеждению, пройдена...»

Хочу заметить, что до сих пор ни в одной публикации не упоминается о первой перепечатке братьями Петровыми материалов из «Пролетария».

А что сказать о второй статье? Для братьев Петровых Москва была революционным Монмартром, там прогремели бои на Пресне, там повторились подвиг и трагедия Коммуны, и к словам московских большевиков, людей, прошедших сквозь огонь и кровь баррикад, прислушивались рабочие всей страны, об этом братья знали по собственному опыту. «Обязательно печатать!» — настаивал Шура, когда они еще раз прочитали московское письмо-обращение.

Уже был заложен в раму и готов к печати первый разворот; парни договорились, что отпечатают тираж тысяч в пять, не меньше. Встали вместе к талеру, Михаил довольно потер ладони: ну сейчас работнем! И тут же полетели под пресс-каток первые влажные полосы бумаги. А тем временем...

На городском бульваре, стряхивая капли дождя с мокрых деревьев, ударил в литавры полковой оркестр, заиграл георгиевский марш, в город потянулись новобранцы, заводские парни, бежала за ними детвора, ковыляли матери, вытирая слезы и поправляя сыновьям на спине такие горькие и неприветливые котомки.

Начался призыв в армию.

К Елене Федоровне в эти же дни зашел уже знакомый нам Христенко, тот, что собственноручно сдирал саблей дерзки-крамольную «Борьбу». Он вручил Федоровне какую-то бумажку с печатью, сурово ткнул пальцем в орла и спросил: «Неграмотная?» — «Неграмотная»,— сказала она. «Злыдни,— буркнул Христенко, хотя сам читал по слогам. — Тогда какую-нибудь закорючку нацарапайте». Мать прищурилась и едва вывела на бумаге коротенький хвостик. Проводила надзирателя и понесла бумажку сыновьям.

Это было извещение херсонского воинского начальника о том, что николаевский мещанин Иван Васильевич Петров, 22 лет от рождения, призывается на военную службу в Керченский крепостной полк, для чего ему необходимо явиться на сборный пункт в город Херсон.

Нет, братья не ожидали такого удара.

Вспотевшие, мокрые от работы (всеми помыслами привязанные к «Мане»), они стояли за типографским верстаком кто с чем: один — с катком, другой — с краской, а Михаил — с влажной бумагой. Молча смотрели на свет лампы, на раму, в которой поблескивал свинцовый набор третьего номера; именно его они и принялись печатать.

— Дела-а! — полушутя, подражая голосу деда Федора, протянул Шура, чтоб как-то скрыть свою растерянность. — Только раскочегарили! И вот тебе на́, солдатушки, бравы ребятушки! В рекруты забривают! И кого? Нашего диктатора! Осиротеет «Маня»...

Шуру никто не поддержал. Молчали.

Иван резко провел ладонью по щетинистому подбородку. Наверное, в эти короткие минуты он уже все для себя решил. Посмотрел на братьев.

— Ну что ж, — сказал глуховато. — Пойдем, братцы, служить. Раз зовут, пойдем. Я им послужу, вспомнят Вакулинчука...

ФОКИН: АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ!

В начале ноября Фокин получил из Петербурга пакет и новый запрос. Тон и содержание запроса задели его за живое и заставили немедленно действовать.

В пакете департамент полиции преподнес Фокину горькую пилюлю: газету «Борьба», первый номер. Жест был грубый и недвусмысленный: вот полюбуйтесь, господин ротмистр, что за литература издается в Николаеве, и объясните, почему мы должны из Петербурга вас информировать, а не наоборот. Первую пилюлю Фокин терпеливо проглотил; он только заскрежетал зубами на Левдикова, одесского выскочку, без иезуитства которого здесь не могло обойтись. Однако в пакете была и другая пилюля. Департамент полиции выслал ему небольшую вырезку из газеты «Пролетарий», органа фракции большевиков РСДРП, как было написано в сопроводительном письме. То, что «Пролетарий» — большевистская газета, Фокин, слава богу, знал. Но то, что николаевская «Борьба» тайно пересылается за границу и на нее там пишут похвальные отзывы, подбивают и дальше продолжать преступную пропаганду, — все это было для Фокина ново и крайне неприятно.

Он уже без внимания пробежал глазами запрос из департамента, где в категорической форме требовалось сообщить, какие приняты меры к полной ликвидации тайной типографии, которая выпустила в Николаеве первый и второй номер «Борьбы».

Какие приняты меры!..

Фокин поднял сухие зеленоватые глаза и устало посмотрел на портрет Трепова. Что только не сделано! По существу, полностью блокирована Дальняя Слободка. Там сейчас действуют основные силы охранки. Однако Фокин помнил урок Портового

района; он теперь не ограничивался одной версией, не исключал того, что газета могла издаваться и на Слободке, и за пределами города, и даже завозиться издалека. Проверяли самые незначительные следы и связи. Большевики получали бланки паспортов с Долинской — туда послана агентура. Обнаружена газета в Олешках и Вознесенске — там тоже действовали сыщики. Фокин спешил окружить революционное подполье все более широким кольцом. Через Одессу, Херсон, Севастополь — внутренними, тайными путями — пытался он выяснить, кто стоит близко к технике, поставляет ей шрифты, типографскую бумагу, краску.

Ежедневно поступали сообщения, и, как ни странно, а может быть, даже закономерно, новые сигналы и полученные сведения снова возвращали Фокина в Слободку. Там денно и нощно вертелся Проня Мульгин, но он, на кого так рассчитывал Фокин, почти совсем вышел из игры. Какой-то мертвой хваткой вцепился он в Ровнера, не отходил от него ни на шаг, однако мог подтвердить только одно: Ровнер один из важных руководителей подполья, идейный вдохновитель газеты (это было ясно и без агентурного проникновения), а вот к технике, к типографии Мульгин не продвинулся через Ровнера ни на шаг. Зато агентура помельче, та, что вылавливала всякие разговоры и слухи на заводах, в столовых, на улице, приносила большой улов. Так, за чаркой в трактире один торговец проговорился, что несколько рулонов бумаги продал на Слободку. Там же, на Слободке, была перехвачена записка, и по ней найден тайник на сушильне, в штабелях кирпича, где кто-то прятал газету. На окраинах Слободки упрямо ходили слухи, что типография установлена где-то во дворе, на Военной улице. В разговорах то и дело повторялись имена: Грабов, Остап, Андреев, Петро и снова какой-то Петро Петров...

Фокин нюхом чувствовал: еще немного — и техника будет в его руках! Еще немного терпения, немного настойчивости! Однако (здесь Фокин мог только развести руками) именно этого «немного» у него совсем не было. Он дал твердое слово градоначальнику найти типографию до конца октября. Но главное — категоричность Петербурга; министерство ставило его перед выбором: или — или... Или уничтожьте технику, или заявите о своей служебной непригодности.

Фокин сквозь зубы выругался. Неужели он не вырвет с корнем злополучную типографию, которая попортила ему столько крови!

Оставалось одно: арестовать всех. Поскольку агентурные сведения почти полностью совпадали и указывали на то, что техника установлена на Слободке (а из подполья об этом поступило несколько и прямых заявлений), значит, надо неожиданно и поголовно арестовать всех, весь комитет, все большевистское ядро, произвести самые тщательные обыски, особенно на Дальней Слободке, и технику... Тут Фокин вдруг останавливался, от внутреннего озноба он весь напрягался, задерживал дыхание, как человек, оказавшийся на краю обрыва. Можно сказать, он бросался в рабочее подполье вслепую, с завязанными глазами, и в глубине

души осознавал обреченность своей затеи. Не добыты даже приблизительные адреса, где разыскивать технику. Подобные действия скорее походили на авантюру. Но пресс, давивший сверху, амбиция, нетерпение диктовали свою волю, неумолимо толкали Фокина вперед, и он окончательно решил: необходимо действовать.

Завертелась вся полицейская и жандармская машина.

Фокин поспешно готовит списки. Назначает дату ареста — в ночь на седьмое ноября, потом на пятое ноября. Перечеркивает и переносит с пятого на шестое. Он торопится, гоняет, как гончих, всех своих помощников и подчиненных. Сейчас для Фокина вопрос жизни или смерти — не допустить выхода третьего номера газеты.

Секретное заседание у градоначальника. Проходит оно за закрытыми дверями. Согласовываются списки, уточняются наряды, полицейские группы, которые будут проводить обыски. Фокин, усталый и раздраженный мелкими неурядицами, желчно бросает полицмейстеру Иванову:

— Соберите своих нижних чинов! Я лично хочу их проинструктировать. Мне не нужны библии и нательные крестики как вещественные доказательства [1]. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь и насколько серьезное дело! Нужны шрифты, формы, готовые газеты, склады литературы — все, все, чтоб сразу и в корне уничтожить эту опасную, крайне преступную типографию!

Фокин любил фразы: «крайне преступную», «в корне уничтожить». Этими твердыми и решительными фразами он начинал и заканчивал свои рапорты в Петербург.

За день до решительных действий полицмейстер Иванов рассылает через вооруженных курьеров свое знаменитое распоряжение:

«Совершенно секретно

Приставам 1-й Адмиралтейской части, Московской части, Одесской части, 2-й Адмиралтейской части, Портового участка, Пригородных хуторов. На основании распоряжения начальника Николаевского охранного отделения в ночь на 6-е ноября обыскать и арестовать лиц, названных в списках».

Таких списков пять; там названы два десятка адресов — во всех районах города. Полиция освобождает кордегардии, держит наготове конвой, очищает камеры в новой николаевской тюрьме.

...В ночь на шестое ноября на служебных местах остаются Фокин, полицмейстер Иванов, приставы всех частей. Усиливается охрана города и патрулирование в рабочих кварталах.

Без четверти десять Фокин звонит Иванову и передает распоряжение: с богом, начинайте.

---

[1] Намек на скандальную историю, имевшую место в работе николаевской городской полиции. Во время ареста группы политических были приобщены к делу как вещественные доказательства Библия и Евангелие.

Почти одновременно отправляются в ночь, в холодную ветреную непогоду конные полицейские, экипажи с городовыми и околоточными. Через полчаса они постучат в двери домов, перекроют кварталы, чтоб захватить всех врасплох, не дать возможности опомниться, предупредить остальных.

Фокин достает бельгийскую папиросу марки «Люсьен», у нее очень тонкий аромат, однако сейчас, возможно от переутомления и нервного напряжения, дым во рту становится для него неприятным, с каким-то мягким привкусом золы. Ротмистр посматривает на часы, висящие на стене. Стрелка остановилась на одиннадцати. Сейчас решается все, обыски в разгаре. Придется еще около часа подождать, чтоб раздался в трубке бас зажиревшего Иванова (если эта туша не напилась и не храпит в своем кабинете); он должен немедленно сообщить, кого и с чем взяли.

Телефон молчал. Время словно остановилось, и Фокин взялся за бумагу, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Да, во-первых, надо подготовить рапорт в Петербург. Во-вторых, дать распоряжение об аресте Мульгина. Сегодня же ночью бросить его в кордегардию, потом в камеру политических, если потребуется — в этап, среди большевиков он «свой», пусть продолжает службу. И в-третьих: послать в департамент полиции телеграмму на розыск тайного сотрудника охранного отделения под агентурной кличкой Весенний, он же Буфетчик, он же Лева, исчезнувшего бесследно. Первая мысль у Фокина была, что агента уничтожили рабочие на Слободке, где тот вел конспиративное наружное наблюдение и раздобыл несколько ценных сведений, в частности о Т-ко, который подозрительно часто появлялся на 11-й Военной... Потом стало кое-что проясняться: Буфетчик вообще был панически настроен, не раз заявлял о своем желании бежать, развязать руки; не исключено поэтому, что он дезертировал; это надлежало выяснить и, если версия подтвердится, самым суровым образом покарать двурушника, вплоть до высылки в отдаленные места Сибири.

Мысль о немедленном розыске тайного работника и о его наказании несколько успокоила Фокина и отвлекла внимание, поэтому телефонный звонок раздался для него неожиданно. Ротмистр взял трубку. Звонил не Иванов, а пристав Московской части. Деловой и краткий рапорт: взят Ровнер, руководитель большевистского подполья. Под конвоем доставлен в кордегардию.

— Слава богу! — сказал Фокин. — Результаты обыска?

Пристав молчал. Казалось, слышно было, как он тяжело дышал в трубку.

— Результаты обыска? — почти крикнул Фокин, его раздражали сейчас самые незначительные задержки. — Вам что, не слышно?

Пристав покашлял где-то там на другом конце провода и, наверное, отвел трубку в сторону или закрыл ее рукой и стал кого-то о чем-то спрашивать.

— Прочтите мне протокол обыска! — побагровел Фокин, теряя всякое самообладание.

Пристав открыл трубку, снова покашлял и не особенно уверенно, сбиваясь то на одном, то на другом слове, начал читать:

— «Околоточные надзиратели Московской части полиции Мунтян и Борщов[1] вследствие распоряжения... (извините, здесь неясно нацарапано, ага!) распоряжения николаевского полицмейстера и по поручению пристава части прибыли в дом номер двадцать шесть, дробь три по Севастопольской улице, принадлежавший Блеферу, в квартиру солдатского сына, прописанного в Петровской волости Одесского уезда Пинхуса Лазарева Ровнера, где на основании положения о государственной охране и в присутствии понятых...»

— Это понятно! Дальше! Суть дела!

— Ну вот: «...и в присутствии понятых произвели обыск во всех помещениях... но ничего явно преступного не обнаружили. При личном осмотре Ровнера ничего не найдено. Постановили: Пинхуса Ровнера задержать, о чем и записать в сей протокол».

— Кретины! — тихо произнес Фокин и резко бросил трубку.

Сел и почувствовал, как все в нем кипит от безудержной злобы. Он был человеком суеверным, подсознательно, даже не признаваясь самому себе, верил в слепое стечение обстоятельств, в игру случайностей, в недобрые предзнаменования. И то, что первый блин вышел комом, сразу испортило ему настроение, заронило в душе самые тяжелые предчувствия. Фокин подумал: почему не позвонил ему Иванов? Развалился в кресле и спокойно себе похрапывает или, может быть, — а это в его натуре, осторожная и хитрая бестия, — не захотел лично сообщить о позорном начале и подсунул пристава: звоните сами, хлопайте глазами перед жандармерией! Они все недолюбливали Фокина, ротмистр об этом знал и платил им такой же монетой, но сейчас...

Фокин не ошибся. Минут через пять позвонил Иванов. Судя по его голосу, он сегодня не прополаскивал горла, был, как никогда, трезв, подтянут, в хорошем настроении и, чувствовалось, весьма доволен собой. Итак, что-то есть! Иванов трубным голосом пробасил: доставлен Грабов! И с весьма серьезными вещественными доказательствами! Изъяли гектограф в деревянной коробке, политические брошюры, статут Николаевского комитета РСДРП, три прокламации и, что самое интересное, девятнадцать чистых бланков паспортов, два флакончика чернил, красных и фиолетовых. Полный криминал!

Фокин ожил: не типография, не техника, но кое-что уже есть! Он уже на подступах, можно считать, к технике, к самому ядру подполья.

Ротмистр торопил полицию: дальше, глубже, глубже, тщательней перетряхивайте квартиры...

[1] Фамилии настоящие.

Ночь, холодная изморось, ветер с Ингула, по мокрой мостовой громыхает экипаж, за ним — сзади и по бокам — скачут городовые на черных в темноте лошадях. Подъезжают к воротам 1-й Адмиралтейской части; полицейские тяжело спрыгивают на землю, тащат какой-то сундучок, ведут высокого плечистого парня в освещенную дверь кордегардии. «Филя? Это ты?» — Ваня протягивает руки, чтоб приветствовать друга и сказать с доброй грустной улыбкой в глазах: «Ничего, переживем, будет и на нашей улице праздник!» Но наперерез им бросается часовой, оттесняет плечом: «Назад. Разойдись. Не разрешается разговаривать».

А у Фокина снова трещит телефон. Взят Филипп Андреев. Теперь уже не надо упрашивать полицию, чтоб зачитала протокол обыска, Иванов сам, довольный, гудит в трубку:

— Так вот, господин ротмистр! Разрешите одно местечко зачитать из протокола. Тепленькое! Вот оно: «...где на основаиии 21 статьи положения о государственной охране, в присутствии родной бабки вдовы отставного унтер-офицера Меланьи Максимовой... произвели обыск в одной из комнат...» Ага, слушайте дальше, вот: «...где обнаружен небольшой парусиновый чемодан, при осмотре коего надзиратели Христенко и Качурный обнаружили: 118 экземпляров разных брошюр (целый склад литературы, слышите!), две записных тетради, два листа рукописных заметок, четыре печатных прокламации под № 4 и заглавием «Борьба» РСДРП, выпущенные в сентябре 1908 года...»[1]

— Это газета, господин полицмейстер! — резко и ядовито произнес Фокин, возмущенный тем, что полиция до сих пор не разбирается, где газета, а где прокламация.

— Да, да, газета, я об этом и говорю! — согласился Иванов и принялся читать дальше: — «Затем, в той же комнате, за картиной, висевшей на стене, надзирателем Качурным обнаружен небольшой сверток, по осмотре оказавшийся — два куска распущенного желатина для литографирования прокламаций».

Фокин довольно потер руки: азарт, предчувствие удачи снова овладели им, и он спросил у Иванова:

— А что от Петровых слышно? Очень важно послать туда опытных полицейских и тщательным образом произвести обыск. Чует мое сердце — там что-то должно быть!

Пробил первый час ночи, а полицейские от Петровых что-то не возвращались.

Если бы дома был Иван, возможно, все сложилось бы иначе. Но Иван ехал в вагоне третьего класса ночным поездом в Херсон, на сборный пункт. И вышло так, что в ночь на шестое ноября в погребе оставался один Шура. Он зажег фонарь, сел за стол, взял лубок и акварели... Такая тишина, такое подземное молчание — настороженное, тревожное и одновременно радостное —

---

[1] Цитирую протоколы дословио, с полуграмотными стилистическими оборотами полицейских документов.

овладели им, что Шуре захотелось рисовать, рисовать всю ночь, рисовать долго и увлеченно: сначала заныли пальцы, онемели от нетерпения, словно почувствовали прикосновение упругой кисточки и первые мазки на бумаге, потом — момент сосредоточенности, и мысленно он уже был на свободе, на летнем вечернем просторе. Наверное, не без влияния портартурца Шура увидел темный контур ингульского берега, а дальше Бугский лиман, корабли и длинные их тени на воде.

В погребе земляная сырость. Шура накинул на плечи куртку, подумал немного и решительно положил первые густые мазки, рисуя берег, а возле него темно-синюю, дальше голубую, переходящую в молочно-белую воду, которая чуть-чуть освещалась мягким закатным небом. Шура рисовал реку, не зная о том, что сейчас происходит дома и на квартире у Т-ко, с которым они договорились рано на рассвете вместе допечатать третий номер газеты.

Шура сидел в погребе один, а в это время на Слободку мчались экипажи полицейских и уже окружали дом Грабовых, Фили Андреева и их, Петровых, двор.

После отъезда Ивана в армию Виктор уходил ночевать домой. У Ивана он, может, и не решался бы отпрашиваться, а у Михаила сердце мягкое и сговорчивое. И теперь каждый вечер, крадучись, Виктор пробирался к себе на Мещанскую. И если честно говорить, не только большая любовь к Нюте и сыновняя нежность к матери манили его домой. Нюхом Виктор почувствовал: в городе подозрительная напряженность, запахло арестами. Т-ко почему-то казалось, что в родных стенах, подальше от «Мани», ему будет безопаснее. Но он просчитался. Как раз дома, в постели, его и забрали. Надолго ли, кто знает, на месяц, а может, и на полгода Иван спас бы его от ареста, будь он дома.

Об Иване, его отъезде в армию и хотелось бы здесь сказать несколько слов.

Свой отъезд в солдаты Иван отметил как настоящий подпольщик — выпуском прокламаций.

Впервые за много дней он вышел из подземелья на улицу, и то лишь для того чтобы встретиться с Ровнером. Они спустились в знакомый погребок, находящийся под трактиром «Китай», здесь еще с вечера их дожидалась Дора. Спокойный, несколько усталый, лукаво сощуренный взгляд ее внимательных карих глаз говорил: «Господи, как вы пожелтели оба, как постарели в своих укрытиях! Сейчас я вас чаем отогрею!»

Иван сел с Ровнером за столик, за тот самый, над которым висел бронзовый якорь-подсвечник пуда на два. Дора поставила им душистый гудаутский чай. Иван отпил глоток и причмокнул: божественное зелье!.. Дора незаметно исчезла, и они остались с Ровнером вдвоем. С любовью, с дружеской ненасытностью всматривался Иван в лицо Ровнера; не выдержал серьезной мины, растянул свои твердые губы в улыбке и признался: «Поверь, очень по тебе соскучился, Старик! Два месяца не виделись! Конспирация». Оба засмеялись и перешли на серьезный разговор. Их бес-

покоила обстановка в городе: есть реальная угроза, что скоро закроют заводы в Николаеве, значит — голод и новые репрессии; одновременно, и это чувствуется уже сейчас, готовятся удары по подполью — скоро ждать провалов. (Это «скоро» уже стояло за их спиной: они торопились наговориться, обменяться мыслями, посоветоваться. Сознание им подсказывало, что расстаются надолго и неизвестно когда встретятся, по-видимому — в ссылке.) Потом заговорили об отъезде Ивана в армию, таком несвоевременном и неуместном. А впрочем, сказал Ровнер, нет худа без добра; девятьсот пятый год показал, что царская армия зашаталась, забродил дух возмущения и протеста под солдатскими шинелями, и надо решительно повернуть солдата на сторону революции. И именно сейчас, когда реакция старается натравить армию на народ. Здесь же, за столом, они вдвоем быстро составили текст листовки «К новобранцам». Как Ивану и хотелось, текст у них получился небольшой, очень простой и понятный: о цареубийце, о задушенной революции, о Столыпине, о холере и голоде и том, что в руках батрака и вчерашнего заводского парня выбирать, против кого повернуть ему винтовку: против своих измученных отцов и сестер или против царских сатрапов и убийц. Ровнер предупредил Ивана, чтоб в армии с листовками был осторожен, напрасно своей жизнью не рисковал, аракчеевщина там еще пострашнее, патронов на агитаторов не жалеют...

Ровнер почему-то умолк, худые, запавшие его щеки посерели, на лице еще гуще обозначилась мелкая седоватая щетина, и словно безо всякой связи с только что сказанным он вдруг вспомнил, как в девятьсот пятом году его младшего брата, подпрапорщика, расстреляли прямо перед строем за подстрекательство солдат; умный был парень, математик, в университет собирался. И вот расстреляли. «Не надо, Старик, не вспоминай печальное на дорогу,— сказал Иван. — Слово даю: голыми руками меня не возьмут!»

Разговор с Ровнером, чаепитие, прощальная улыбка Доры — все это словно отразилось на лице у Ивана, когда он вернулся домой и положил на стол перед ребятами новую работу. Попросил снять раму с газетой, заложить набор листовки — и немедленно, немедленно печатать — завтра отъезд в армию. Лампы дымили всю ночь, до утра парни не отходили от касс и талера, зато отпечатали Ивану на дорогу две большие пачки прокламаций.

А потом все собрались у матери на кухне; была тут и внучка Аленка, которая уже знала, что отъезжает дядя на солдатскую службу, и потому попросила привезти ей красивых гильз и больших медных пуговиц; уселся между ними и Виктор Т-ко. Был скромный ужин, Шура немного поиграл на гитаре, мать прислонилась к плечу Ивана, всплакнула, вытерла глаза и негромко, но так грустно и проникновенно запела старинную рекрутскую песню, что парни сразу притихли, а на глазах у Михаила навернулись слезы. Иван вдруг поднялся и стал быстро со всеми прощаться: пора, пора в дорогу.

В Херсон он поехал ночным поездом.

Каких-то особых разговоров о «Мане» не было, Иван только сказал, что за старшего остается Бульба, то есть Михаил, и попросил подземное братство: держитесь, берегите технику, это огромная ценность для подполья, пробуждайте Николаев «Борьбой».

«Нелегко идти сквозь мертвое время, нас душит темнота, но впереди рассвет» — такими словами подбадривал он братьев в первом же письме, которое передал через товарища.

В холодную ветреную ночь Михаил выбрался из погреба и остался ночевать в большой комнате. Сам он не пришел бы, заставила беда. Уже с утра он начал так сильно кашлять, что Виктор и Шура встревожились: услышат на улице. А Михаил не только пожелтел, не только стал задыхаться от кашля, было хуже — пошла с мокротой кровь. Он не хотел подыматься наверх отказывался, говорил, что сейчас все пройдет, но Шура и Виктор настояли на своем. Дома возле него засуетилась мать, она посмотрела на Михаила, приложила ладонь к пожелтевшему, потному и горячему лбу и со страхом подумала: чахотка у сына! Затопила печку, дала ему сухое белье, сказала: ложись здесь, укрывайся, буду тебя поить теплым компотом, у тебя такая болезнь, что ты и сам не знаешь.

Михаил знал. Он давно чувствовал, что у него туберкулез, что он ослаб, потеет, но молчал, не признавался ребятам и, чтоб согреться, пересилить себя, брал в руки тяжелый каток, работал, двигался, не сидел в погребе, даже пытался обтираться холодной водой... Не помогло. Тяжелый смрад, гниль, удушливый запах брали свое. Легкие его словно испаряло, выедало плесенью. А тут еще другая беда — голодание... Призрак голода надвигался на Николаев; с наступлением лета по улицам ходили нищие, на базаре исчезали хлеб и крупа, сильно подскочили цены на продукты. Несмотря на то что Елена Федоровна умела, как говорится, из топора сварить суп, из одного зернышка — горшок кулеша, сейчас и она была не в силах прокормить шесть человек, возвращалась с базара с пустыми руками, еще больше чернела лицом и хваталась за поясницу. Парни перебивались на воде, на постной картошке, вернее сказать — все время голодали. И когда, простояв всю ночь у рамы, надышавшись копоти от ламп, густых масляных испарений краски, Шуру и Михаила покачивало, трудно было сказать, отчего это: от удушливого запаха или от голода, от истощения.

И все же подземная коммуна жила, не унывала, смеялась над своими бедами, выпускала газету!

...Михаил лежал в чистой и мягкой постели, но ему как бы что-то давило, что-то жало в бок, чувствовал он себя нехорошо, ему стыдно было валяться в теплой комнате, он все время думал: «А Шурик? Сидит, бедолага, один под землей... Может, пойти

туда? Посидим, поговорим вдвоем, а там возьмемся за валики и начнем понемногу катать третий номер. До рассвета еще далеко; глядишь, экземпляров двести и сделаем...»

Мысленно он тянулся к Шуре, а сам все больше задыхался, словно забило бронхи и легкие мокрой ватой. Закрывался рукавом, глухо кашлял, чтоб не беспокоить мать, которая и так, он это хорошо видел, мучилась и страдала из-за него, стараясь изо всех сил помочь ему.

Елена Федоровна подошла к кровати, молча и скорбно посмотрела на сына, покачала головой. Потом потушила лампу и в темноте зашлепала босыми ногами по земляному полу. Пошла на кухню к своей артисточке Аленке, не желавшей спать без бабушки.

Как только все улеглись и, казалось, уснули, кто-то вдруг настойчиво, требовательно застучал в дверь. Елена Федоровна открыла глаза, тревожно прислушалась: кто это колотит? Может, Иван вернулся? Или Шуре что-то надо?

Накинув на плечи платок, Елена Федоровна поспешила открывать дверь. И снова, как это было недавно ночью, ее грубо оттолкнула в сторону чья-то сильная мужская рука, рванула на себя дверь, и вслед за первым непрошеным гостем в сени ввалилась толпа мужиков в мокрых шинелях — поток холодного воздуха устремился с улицы в хату.

— Полиция. Обыск! — объявил хмурый Тарзивон.

«Михаил! — подумала тут же мать, и ее всю бросило в дрожь. — Вот как я согрела, подлечила своего сына!»

Начался обыск, мать, словно чужая в своей хате, стояла босая посреди комнаты и смотрела на грязную полицейскую работу: они перевернули все вверх дном, хватали вещи и бросали на пол, подняли с постели Михаила, который едва согрелся и был мокрым от пота, он стоял в нижнем белье, весь желтый, его грубо ощупывали, и Михаилу стыдно было перед матерью, стыдно и за себя, и за этих людей; он сказал ей тихо: «Мама, идите на кухню. Слышите, Аленка проснулась». Девочка и в самом деле не спала, только на этот раз не плакала, не звала бабушку, а сидела в кровати и испуганными, широко открытыми глазами смотрела, как чужие злые дядьки рыскали в темной кухне...

Полуголый Михаил кашлял, натягивал рубашку, ненавидя сейчас себя за то, что так по-глупому попался. Вспомнил, как они пили репный квас у рыжего мужика-беспоповца на Севере, как потом убегали от погони. Иван тогда говорил: хочешь погубить себя — пожалей мелкой жалостью; поспи, пригрейся в дороге — и считай, что пропал: либо замерзнешь в снегу, либо тебя сграбастает полиция.

Ни тогда, ни теперь Иван не пожалел бы себя.

Тарзивон, грубо ткнув в лицо Михаилу какую-то бумагу, спросил:

— А где братья, указанные в этом списке? Спрятались? Зови их сюда, чтоб не тащить силой. Слышишь?

У Михаила мелькнула в глазах черная тень. Он знал, что такого изверга, как этот, надо немедленно осадить, поставить на свое место, такие типы отступают только перед силой.

— Вы на меня не тыкайте! — весь бледный, двинулся на него Михаил. — Я вам не босяк с улицы! Я рабочий, социал-демократ, и вы об этом знаете. Как знаете и о том, что старший брат Иван призван в армию и уехал позавчера в Херсон на сборный пункт, а вместе с ним и Шура, наш меньший брат, только Шура поехал в Кременчуг к сестре Ане, которая проживает там с семьей.

Чтоб окончательно заткнуть рот Тарзивону, Михаил вытащил из-под зеркала бумагу и сунул ее полицейскому — бумага солидная, с орлом и печатью. Это был призывной листок Ивана.

Орел и печать произвели на Тарзивона некоторое впечатление. Хмуро, но гораздо спокойнее он начал обыск в большой комнате. Красными крючковатыми пальцами перебирал книги на полочке (Михаил словно онемел: между книгами было кое-что из запрещенного). И, по-видимому, что-то там нашел, с холодным удовольствием крякнул, отложил в сторону, а потом всей своей длинной неуклюжей хребтиной потянулся к иконостасу, к полочке за печкой.

Входили стражники, негромко докладывали в спину Тарзивону, что в сарайчике и во дворе ничего не найдено. Тарзивон, черный, с хищным лицом, смотрел на них грозно и беспощадно: как не найдено? Искать! Все перетрясти! Он прогонял стражников обратно, не давал покоя и своему помощнику Ордынскому, еще раз заставил его осмотреть кладовку, кухню, маленькую спальню за печкой.

Они рылись уже целый час. Тарзивон становился все злей и раздражительней; из того, что надо было найти, почти ничего пока не было найдено. «Фонари!» — сказал Тарзивон, ему дали два фонаря, и он сам потопал во двор под осенний дождь и ветер. Михаил уже оделся, он видел в окно, как желтые пятна света, прошитые дождем, пересекают двор, ползут под забор, туда, к погребу...

У Михаила застыли пальцы на груди возле пуговицы, он никак не мог вспомнить, закрыли они с Шурой погреб или нет, не пробивается ли свет из будки. Он напрягал свою память и думал: кажется, забыли закрыть! Иван не забыл бы, а он выбрался из погреба, на улице дождь и ветер, и побыстрее побежал в комнату, не оглянулся, не проверил, не просигналил Шуре. Что бы им сейчас сказал Иван?!

Возвратился Тарзивон. Еще больше притащил грязи на сапогах, натоптал на полу. Тяжело дыша, уселся за стол писать...

В областном архиве, в бумагах николаевского полицмейстера, сохраняется этот документ, подписанный собственноручно Тарзивоном и Ордынским. В нем написано: «Обыск по делу «Остапа»....»

«Мы, околоточные надзиратели 1-й Адмиралтейской части николаевской городской полиции Тарзивон и

Ордынский, вследствие поручения (дальше нацарапано что-то неразборчиво) прибыли... в квартиру, занимаемую мещанином Михаилом Васильевым Петровым, где на основании статьи... произвели обыск. При (снова неразборчиво) тщательном осмотре квартиры... найдено три брошюры «Принципы труда современного общества», «Мгновения», «На лодке» (не от сочувствия к братьям Петровым занесли в полицейский протокол «Мгновения» и «На лодке»!) и три отрывка писем... Больше ничего явно преступного обнаружено не было. Постановили: найденные письма и брошюры конфисковать, а Михаила Петрова задержать.

Околоточные надзиратели
Тарзивон,
Ордынский».

Обозленный постигшей неудачей, Тарзивон встал из-за стола (глаза опустил вниз, ни на кого не хотел смотреть), засунул папку с протоколом за мокрый борт шинели и приказал стражникам:

— В наручники задержанного! Ночь темная, с такими голубчиками шутить нельзя. Быстро!

Не раз надевали на Михаила наручники, и всегда, как и сейчас, когда чужие пальцы и тюремный металл касались его рук, дрожью, злобой, ненавистью отзывались все клетки его тела, кровь приливала к лицу, все в нем восставало против дикости и унижения, хотелось развернуться и первому же стражнику двинуть по физиономии.

Михаил сдержался. Сам протянул руки: надевайте, если семеро одного боитесь!

Полицейский смилостивился, не стал заламывать руки за спину, наручники замкнул спереди.

— С богом! Поехали! — торопил Тарзивон.

Все направились к выходу; легкий пиджак на Михаиле был расстегнут. И мать, которая до сих пор стояла неприкаянно, с окаменевшей душой смотрела, как надевают железные путы на руки ее сыну, моментально опомнилась, заохала, крикнула полицейским:

— Дайте хоть я куртку на спину ему накину, он же совсем слабый!..

— Ничего, бабка,— весело отстранил ее стражник. — Вашего сына сегодня погреют. Жарко будет.

В лицо Михаилу пахнуло сырым, напоенным дождем ветром, обступила ночная темень; мокрые листья, подхваченные с земли, неслись по улице, шелестели на шинелях, на голенищах кованых сапог, бились о голую грудь Михаила, он весь съежился от холода и подумал: «Догадывается ли Иван, что здесь у нас творится?..»

Фокину доложили, что взяли одного из братьев Петровых, но ничего при обыске не обнаружили. Хотя в городе еще продолжались аресты, ротмистру стало ясно: это провал, и провал постыдный. На Слободке, именно там, где должны были взять склад политической литературы и технику, ничего не найдено! Фокин проклинал полицию за тупоумие, за кретинизм и, чтоб спасти положение, сейчас же решил ехать в 1-ю Адмиралтейскую часть, неожиданно туда нагрянуть и на предварительном допросе, по горячему следу попытаться добиться от задержанных того, что не сумели сделать во время обысков.

С Глазенаповской он так гнал экипаж по мостовой, что колеса даже на мокрых камнях высекали искры, а кучер сгибался в дугу, погоняя лошадей. В начале второго Фокин подкатил к Адмиралтейской части. Выбежал толстяк Корецкий и провел его в свой кабинет. Фокин быстро причесался, поправил китель и приказал позвать Грабова.

Два стражника ввели невысокого черноволосого парня, простоватого на вид; он шел спокойно, немного припадая на правую ногу. Упрямый твердый подбородок, пиджак расстегнут, видна широкая грудь. «Так!.. «Убогий»! Один из главарей! — окинул Ивана взглядом жандарм. — С Чигриным в боевой дружине, охота за нашими людьми, гектограф, распространение газеты «Борьба», а теперь и кое-что новое — целое паспортное бюро в доме!»

— Мещанин Грабов, подойдите поближе.

Фокин по привычке ощупывал арестованного холодным, нервическим взглядом, давая ему как бы понять, что любые оправдания напрасны, что охранке уже известно все. Грабов спокойно стоял у стены, опустив голову, разглядывал свои промокшие парусиновые ботинки, которые предательски расползались.

— Мещанин Грабов,— уже вскипая, произнес Фокин,— как заявила ваша мать и ваш младший брат, вы являетесь экспедитором нелегальной большевистской газеты «Борьба», которую вам приносили из типографии и которую вы...

Грабов весь сморщился от досады. Поднял голову и так выразительно посмотрел на Фокина, что тот на какое-то мгновение остолбенел.

— Господин ротмистр, ну зачем вы?.. Вы же давно изучаете Грабовых и знаете, кто мы и что мы за люди. Не тратьте силы, серьезно вам говорю, опуститесь на землю. Ничего я вам не скажу.

Грабов застегнул пиджак, показал кивком головы, что лучше бы его отпустили назад, в кордегардию, ибо никакие наскоки тут не помогут.

Однако Фокин не отпустил Грабова. Он повозился с ним еще с полчаса и, лишь когда у него закипела желчь, крикнул полицейскому:

— Давайте других!

После Грабова ввели Филиппа Андреева, и неутомимый Филя обрушил на жандарма всю силу и привлекательность своего не-

унывающего и бурного характера. Громко поздоровался, уселся напротив Фокина в кресло, с удовольствием закурил предложенную бельгийскую папиросу. В глазах его полыхала радость, нетерпение, желание поговорить с новым, приятным человеком. Фокин спросил у него про литературу, найденную на квартире во время обыска. Мягким жестом Филя поправил на шее «бабочку» (он и в кордегардию надел белую льняную рубашку и темный простенький, но хорошо сшитый костюм) и начал охотно рассказывать, откуда у него, заводского парня, дома целый склад политической литературы.

— Видите ли, мы вступили в век двадцатый; мы только открыли ворота в новое столетие, как ударил гром, нас обожгло пламенем. И мы все увидели: китайскую стену прорвало, на нас хлынули целые потоки новых идей, новых веяний, новых философий. Мы оказались в водовороте, нас понесло. В этом надо разобраться, сама жизнь взывает, ибо мир раскололся, закачался, общество до самого дна объято смутой и беспокойством: куда, к каким берегам прибиться?.. Вот вы, господин Фокин,— вдруг начал Филя говорить комплименты жандарму,— вы человек сугубо военный и, как мне кажется, человек разумный, решительный, посвоему честный. Вас призвали охранять порядок, старый, давно укоренившийся, самодержавный, монархический порядок. И вы, как офицер, как патриот, защищаете этот порядок честно, самоотверженно, не покладая рук. Только знаете, в чем ваша трагедия? Вы охраняете, господин Фокин, труп, да, да, послушайте меня, вы героически, отчаянно защищаете старый, давно разложившийся труп, который своими миазмами заражает все живое вокруг. Вы сами, господин Фокин, загниваете от этого трупа...

Жандарм встал и, наверное неожиданно для самого себя, вырвал из рук Андреева папиросу.

— Молодой человек, вы забываетесь! Вы не на партийном сборище, не на сходке, где вам позволено чернить и оплевывать все святое в нашей вере и в нашей державе! Я вас спрашивал о литературе, отвечайте!

— Вот теперь я слышу настоящий голос жандарма! Браво!

Филя достал носовой платок и принялся аккуратно вытирать пальцы, на которых остался сизый след пепла. Сказал сдержанно, не подымая головы:

— Извините, господин ротмистр, я люблю спокойную беседу, разумную беседу, а вы хотите у меня что-то криком узнать. Не выйдет...

Он совсем замкнулся, ушел в себя и уже не слышал, что и как над его головой выкрикивал Фокин.

— Позвать Петрова!

Михаила в наручниках привели в кордегардию час тому назад. Это хмурое грязное помещение он хорошо запомнил еще со времени первого ареста, когда сидел здесь с братьями. Запомнил толстые каменные стены, глухой сумрак камеры; там было всего одно внутреннее окно над дверью, выходившей в коридор;

вдоль стен стояли крепкие деревянные скамьи, они даже сверкали, вытертые до золотого блеска заключенными. Шура еще поразился тогда: сколько же здесь перебывало арестантов... Щелкнул замок. Михаил увидел те же скамьи, тот же деревянный столик и стражника возле дверей. А в камере... Хотя Михаил и надеялся увидеть кого-нибудь здесь из своих, но чтоб вместе, да еще Филю и Грабова,— не ожидал! Остановился на пороге. Немного покашлял: озяб на улице. Легкая добродушная улыбка застыла на его губах. Филя и Грабов подняли взволнованные глаза, взгляды их спрашивали: «Как? И ты? А «Маня»? Неужели провалилась?»

— Да нет, братцы,— начал было Михаил, но тут же вскочил с табуретки стражник, словно его укусил скорпион. Усы у него ощетинились, в глазах словно закипела смола. Ругаясь, полицейский напомнил, что в кордегардии разговаривать не разрешено; ни ходить, ни разговаривать, ни спрашивать — нельзя! Вон место в углу, влипни там и молчи, пока тебя не позовут.

Стражник рассадил всех троих по разным углам. И даже переглядываться им не разрешал, угрожал, что сейчас же кликнет пристава. Потом их начали вызывать:

— Грабов...

— Андреев...

— Петров...

Из встречи с Петровым Фокин запомнил одно: вошел тяжеловатый, высокий простолюдин, сразу видно — из заводских, встал у стены, опустил голову. Характер его можно было, кажется, определить по густой нестриженой чуприне; взлохмаченные ветром волосы, ярко-светлые, пшеничного цвета, они свободно и беспорядочно лежали на голове, рассыпались, лезли на глаза, а он их не поправлял, как будто говорил с вызовом: так мне нравится, и точка!

Из сведений о преступной деятельности Петрова Фокин знал: котельщик, 24 года, был под арестом, убежденный член социал-демократической партии...

После того как Фокин был назван хранителем трупа, он уже не мог сдержать себя и приступил к допросу Петрова с нескрываемым раздражением. Во-первых, с какими конкретно материалами приходил к ним Филипп Андреев такого-то и такого-то числа? Во-вторых, чем объяснить постоянные визиты и проживание у них печатника Т-ко? (Прямых улик у Фокина не было, на это указывала только агентура, и то предположительно, и он, можно сказать, провоцировал задержанного.)

Михаил слушал серьезно, горбоносое лицо его будто хмурилось и в то же время... Фокин вдруг заметил: котельщик смеется. Да, смеется в рукав, хотя и отводит в сторону голову, однако смех прорывается наружу и лицо краснеет от напряжения.

У ротмистра от бешенства зачесались руки, он встал из-за стола:

— Почему вам смешно, мещанин Петров?

Михаил посмотрел на жандарма в упор, в глазах у него не было ни смущения, ни страха; он смеялся и мысленно оправдывался: «Во-первых, господин ротмистр, меня рассмешил Филя, когда мы встретились с ним в коридоре. А во-вторых, в нашей газете, в первом номере «Борьбы», были напечатаны такие слова: «Торжествующий победитель великодушен. Кусается издыхающий пес». Вот я гляжу на вас, господин ротмистр, и думаю: ну чего вы кипятитесь, вспыхиваете, как будто не перед добром, зачем вы щелкаете зубами?»

Возможно, Михаил повторил бы эти слова и вслух, он было уже собрался их сказать, вдохнул побольше воздуха, но на какое-то мгновение так и замер... А потом сильный, надсадный кашель, жар по всему телу и огненные искры в глазах, привкус крови во рту и снова спазматический кашель. Михаил прикрыл рот рукой, отвернулся, он страшно не любил у себя эту слабость, которая неизвестно откуда прицепилась к нему: наклонился и глухо закашлял в кулак.

— Покажите руку!

Фокин стоял уже рядом. Он силой хотел оторвать руку Михаила ото рта, но не мог — крепкая, натренированная рука у заводского клепальщика, приросла, как чугунная, не разогнешь ее. Михаил отворачивался от Фокина, но тот бесцеремонно лез к нему. От кашля выступившие слезы покрыли глаза. Петров только качал головой: сейчас! минуточку! сейчас пройдет! А Фокину некогда было ждать. Пока Михаил откашливался и вытирал маленькие сгустки крови на губах, ротмистр схватил его левую руку, ту, что была свободна, и поднес к свету. Михаил не упирался, он не понимал, что хочет от него жандарм. А Фокин делал свое дело: быстро и алчно рассматривал он темные пятна на руке.

Михаила повели в кордегардию. Фокин тут же вызвал Корецкого, бога слободской полиции. «Бог», проваливший сегодня обыски, подбежал на носочках и еще издали козырнул: слушаюсь!

Фокин резко приказал: повторить обыск у Петровых. Рано утром, чуть забрезжит рассвет, осмотреть еще раз комнаты, все углы и закоулки, двор. Есть серьезные основания считать, что техника там или где-то поблизости.

Фокин заметил черную типографскую краску на руке у Петрова. Да, именно типографскую — нюх у Фокина безошибочный. А потом — этот кашель, эта нездоровая чахоточная прожелть под глазами, запах земляной плесени, керосина, копоти от лампы, таким запахом была пропитана вся одежда задержанного. Что сие означает? Только одно: длительное пребывание в сыром, темном, затхлом укрытии, не иначе.

Полусонный Шура почувствовал, что плечи у него застыли и как бы онемели. Странно, подумал он, нельзя даже разогнуться. Попытался протянуть ноги, тоже ничего не выходит, они во что-то упирались.

Шура проснулся и увидел, что прикорнул за столом. Положил голову на руки и сидя задремал, даже не почувствовал, как сползла с него куртка и упала на пол.

Протер глаза.

На столе стояла подпертая типографским валиком картонка, а на ней — акварелью выписан крутой берег Ингула, ласковая вечерняя вода под высоким небом и корабли с недорисованными палубами. За теми кораблями Шура видел далекие морские горизонты с берегами Ост-Индии, куда плавал в молодые годы Петров-первый, то есть дед Алекса, видел и еще дальше — разбитый Порт-Артур, острова и страны, где вспыхивали бунты и восстания, происходили великие и малые революции (там в колоннах гарибальдийцев выступал генуэзский инженер) и где в недалеком времени — а Шура был в этом твердо уверен — потребуются новые революционные волонтеры.

Недостроенные палубы, грот-мачта, волны, подсиненные акварелью...

Шура улыбнулся. Губы, припухшие со сна, не повиновались, улыбка вышла по-детски сонная.

Он посмотрел на фонарь. Густой черной копотью затянуло все стекло, в маленький, пролизанный пламенем глазок с трудом проглядывал слабый язычок огня. Вот это да, подумал Шура, наверно, уже утро. Только сейчас до его сознания дошло, что начался новый день и что он в погребе один.

Посмотрел на гору бумаги, громоздившуюся у стены на соседнем столе. Там было ни много ни мало пять тысяч газетных полос. С Иваном они отпечатали «Борьбу» только с одной стороны и лишь часть тиража — полностью, а сегодня надо печатать дальше. Еще денек или два — и третий номер «Борьбы» выйдет в свет...

Шура размял онемевшее тело, умылся. Налил в лампы керосину, почистил фитили и зажег. Принялся разводить краску. Это стало у него правилом, привычкой, добровольной обязанностью — все с утра подготовить к работе, расставить на свои места, чтоб потом не пороть горячку. Однако сейчас его что-то беспокоило, тревожило: где же ребята?

Свои, внутренние часы, заведенные с детства и отрегулированные по заводскому гудку, подсказывали Шуре: уже время не раннее, пять или начало шестого. А Т-ко, как правило, возвращался к ним в глухую ночную пору, как этого требовал Иван. Но если Т-ко опаздывал, он допускал такое, то что же случилось с Михаилом, где он?

Раздумывая, Шура немного постоял, покашлял в рукав (не отставал от Михаила) и решил выглянуть во двор.

Открыл дверцу. Боковой тоннель они расширили, сделали побольше, с пологим спуском в погреб. Выбираться из «Мани» теперь стало легче, Шура полез, подтянулся на руках и очутился в «предпарламенте». В эту минуту он и не представлял себе, что находится на волосок от опасности. Достаточно было открыть

дверь... Но что значит спасительная сила привычки! Почти подсознательно, перед тем как выйти во двор, Шура посмотрел через окошко будки. Маленькое, ромбом вырезанное окошко светилось над дверью.

Посмотрел — и отпрянул.

Странно, как он сразу не услышал голосов. Два или три полицейских ходили по двору (ветер раздувал широкие полы шинелей), переговаривались, что-то разыскивали, сердито переспрашивали мать.

У Шуры даже в глазах потемнело.

Он ненавидел «крючков», этих держиморд, ненавидел всей душой, а они сейчас рыскали во дворе, вынюхивали что-то, вдобавок еще и покрикивали на мать. Шуре хотелось выскочить, налететь на полицейских и бить, бить их ногами по твердым лошадиным задам, выталкивая прочь со двора.

Шура сплюнул, тяжело вздохнул, понимая, что все это пустейшие «завихрения» мысли, охранка расцеловала бы его за такой золотой подарок — выскочить и так глупо выдать «Маню».

Тихо, чтобы не ударить каблуком о доску, Шура полез назад.

Только просунулся в тоннель, как над головой послышались шаги. Топот сапог уже раздавался возле самой будки.

А лампы горели. Мерцал огонек в темноте, в глубоком подземелье, пробивался он по тоннелю и наверх, отбрасывая красные блики на стены ямы.

Шура шмыгнул в погреб так быстро, словно ветром его сдуло. Потушил одну лампу, другую. Встал и ладонью закрыл себе рот, чтобы вдруг не закашлять. Наверху скрипнула дверца будки. Чьи-то тяжелые сапоги застучали о деревянный пол; щелкнул крючок,— наверное, полицейский закрылся в будке.

Тихо, на цыпочках, прижимая ладонь ко рту, подошел Шура к стене и нащупал револьвер Ивана.

Долгий и напряженный миг ожидания. Шура целился в круглое отверстие тоннеля; правда, он забыл об одной незначительной мелочи — взвести курок «вессона».

Полицейский поскрипел, пошаркал ногами в будке и, кажется, пошел прочь.

Шура сидел в темноте на какой-то подставке, сердце его учащенно билось, револьвер лежал на коленях, а мысли уносили его далеко: перестрелка, множество трупов в казенных шинелях, «крючки» разбегаются, а он с подоспевшими братьями спасает «Маню».

Все это было свистом, как сказал бы Иван. Но в этот момент в голову ничего другого не приходило. Шура вскочил на ноги, закрыл погреб, прислушался: никто не стучит в землю, не слышны шаги во дворе. Может, ушли полицейские... Он зажег фонарь, от него меньше света. Обошел столы. Рама с набором, кассы, типографские валики, нарезанная бумага — все лежало мертво, неподвижно, будто застыло на своих местах. Казалось, что в тишине словно замерли, повисли слова Фили о том, что «Борьбу»

ждут в Херсоне и в Екатеринославе. Шура постоял немного и принялся печатать сам: накатывал краску, клал газетный разворот, прижимал его большим цилиндром, снимал и снова бежал к банке с краской. Как трудно и неудобно одному, все равно что гоняться за тремя зайцами.

Легонько задребезжала доска над головой. По стуку Шура определил, что это мать. Открывая погреб, он подумал (и как раньше не догадался!) послать мать к кому-нибудь из своих разузнать обстановку.

Вылез — и его встретили серые озабоченные глаза, извечная тревога и обеспокоенность на родном лице.

— Живой, сынок? Слава богу! А я все время маялась, думала о тебе! Молилась богу, чтоб ты сидел тут, переждал эту суматоху, не вылезал наверх, а то и тебя забрали бы.

Одной рукой Елена Федоровна придерживала платок, накинутый второпях на плечи, а другую — подала Шуре. Беспокойно осматривая двор, говорила ему:

— Пойдем скорее, посидим на кухне, не думаю, чтоб еще раз их сегодня принесло.

На кухне Шура увидел Аленку. Кивком головы она поздоровалась. Сидела в углу и не спускала с него молчаливого взгляда. Такие серьезные, такие глубокие глазенки, сколько таилось в них пережитого. Подумал: «Хорошая школа досталась нашей артисточке. Обыски, ругань, полицейские аресты среди ночи...»

Шура спросил, не забегал ли случайно кто из товарищей. Что творится в городе?

— Ну как же? — мать будто удивилась, услышав такой вопрос. — Я же знаю, что ты один в погребе остался, сидишь и переживаешь, а работы у тебя непочатый край... Рано утречком, только, смотрю, начало рассветать, я скорей платок на плечи: «Полежи тихонько,— говорю Аленке,— чужие дядьки больше к нам не придут»,— а сама шарк-шарк под забором да быстрей к Грабовым, к Тане.

— Как? — не поверил Шура. — Вы уже успели?

— Да успела. И вдоль Ингула, чтоб никто не видел...

— Ну и мама! А я только хотел вас просить.

Шура никогда не переставал восторгаться матерью: как поспевала она везде, как догадывалась, что им надо...

Таня сообщила неприятные новости. Обыски по всему городу. Взяты Ровнер, Андреев, Мульгин, Т-ко, Ваня Грабов. Арестован весь комитет и еще какие-то совсем неизвестные люди.

Шура знал: так все и могло быть. Когда охранка прочесывает рабочее подполье, забирает всех, а заодно хватает и случайных людей.

Он стоял, прислонившись спиной к столу. Заботы о «Мане» тяжелым бременем легли на его хрупкие плечи. Надо что-то придумать — и немедленно, газета не может молчать (даже промелькнуло в сознании: не взять ли с собой в погреб Аленку, пускай бы подавала ему бумагу; но тут же отбросил эту мальчишечью

затею). Шура стал вспоминать, кто из подпольщиков остался на Слободке, кто есть из надежных людей. И в памяти всплыло суровое, изрытое оспой лицо котельщика Вани Кондарева, лучшего друга Михаила.

— Мама, вы меня извините, только я вас снова побеспокою.

— Ну? — спросила Елена Федоровна.

— Пойдите к Ване Кондареву. Если нет его дома, скажите брату или матери, пускай Ваня ночью, тайком, заглянет к нам.

— Хорошо, схожу,— ответила она и глубоко вздохнула.

Шура посмотрел на мать. Тоненькая сеточка морщинок, уставшее, в темных тенях лицо, седые волосы, выбивающиеся из-под платка.

— Наверное, вы, мама, ни на минуту не сомкнули глаз в эту ночь?

— Господи, Шура, ну какой сон в мои годы! Да еще если гости этакие на всю ночь... Лягу, и полная голова мыслей обо всех вас. То Ивана вспомню, горячий он, строгий; как, думаю, солдатчину выдержит, как он уживется с этими унтерами-матюшниками. А потом — Михаил так и стоит перед глазами. Кашель нехороший, беда с ним, Шура. А ему — цепи на руки и на ветер в одной сорочке. Пропадет! Ласковая и добрая у него душа. И ты себя береги, Шура, застудишься, подкашливаешь ты плохо...

— Так не забудьте сходить к Кондареву, мама! — еще раз напомнил Шура.

Через год, в декабре 1909-го, когда полиция вторично допрашивала Ивана Кондарева на квартире у Петровых, Фокин направил в Петербург такие сведения о его преступной деятельности:

> *«Кондарев, известен с 1907 года как убежденный член местной организации социал-демократической партии, в январе месяце дважды был назначен аресту, но в квартире его не оказывалось, так как он редко ночевал у себя дома, а больше ночевал на квартирах у товарищей.*
>
> *В 1908 году он принял на себя обязанность ответственного техника тайной партийной типографии, в которой печаталась газета «Борьба». 19 декабря он был случайно застигнут и арестован на квартире Петровых по 2-й Безымянной улице № 15, но за необнаружением у него чего-либо преступного был освобожден».*

Ночью Кондарев был уже в подземелье. Даже в заводской толпе, среди сотен одинаково одетых людей, Шура сразу узнал бы Ивана Кондарева. Это был высокий, худощавый парень, на голову выше других, а главное — имел характерное, отличительное лицо, можно сказать, не просто лицо, а лик. Решительно заостренное, узковатое, с тонкими острыми усиками, оно было у него густо

изрыто оспой, издали казалось чуть-чуть черноватым и замкнуто-холодным.

Во всех воспоминаниях о Кондареве встречаются слова: человек-могила. В жандармских документах тоже мелькает: назвать себя не пожелал, давать сведения отказался, протокол не подписал. Не следует, однако, считать, что Кондарев был человеком всегда угрюмым и молчаливым. Если требовалось, он умел ответить и не раз раздражал охранку резкими ответами, короткими издевательскими репликами. На Слободке долго помнили его «показания» на допросе у Фокина. «Сколько вам лет?» — «Тридцать» (так в жандармских документах и записано, хотя с первого взгляда видно было, что Кондареву не больше двадцати). «Ваше вероисповедание?» — «Староверец». — «Где проживаете?» — «На Костогрызовке» (Костогрызовка — овраги, пустыри за Ингулом). За упрямую, гордую, иронически-сдержанную молчаливость любил и больше всего ценил Кондарева Михаил, который тоже в общем-то был человеком неразговорчивым. Надо иметь в виду, что сошлись и подружились они на такой работе, где вырабатывалась профессиональная привычка не разглагольствовать, уметь помолчать, понимать товарища без лишних слов: в котельном цеху, среди оглушающего грохота, напарники чаще всего разговаривали между собою полужестами.

Шуре не пришлось долго втолковывать Кондареву, что и как им делать за типографским столом. Он взял банку с краской и меньший валик, сказал, что будет накатывать краску, стелить газетные полосы, а Иван пусть проезжает сверху цилиндром и снимает готовую «Борьбу».

Парни приступили к делу.

Как ни странно, лучше и быстрее выходило у Кондарева. Одной рукой он держал на весу двухпудовый цилиндр, быстро пробегал им по листу (влажную бумагу прижимал к форме), другой рукой мигом снимал свежую газету. Одно ему мешало — далеко надо было носить газету к столику. Придвинули поближе стол, и теперь Кондарев не отходил от рамы, двумя быстрыми движениями отпечатывал «Борьбу» и складывал ее в кипу.

Труднее приходилось Шуре. Он не только наносил краску, расстилал листы на раму, но и придерживал газетный разворот. Тяжело и неудобно без третьего человека, но ведь Фокин не отпустит к ним Т-ко или Михаила. А кого-нибудь другого (Шура помнил приказ Остапа) не хотелось брать в подпольную «Маню».

Немного помучились и все ж приловчились. Третий номер «Борьбы» — почти готовый, полностью отпечатанный — вырастал новой горкой на столе. «Вот что значит свежая сила»,— думал Шура, поглядывая на Кондарева. Не отравленный погребом, только что с улицы, да еще с закалкой заводского клепальщика — хорошо ему! Прошел час, второй, третий, а Кондарев как стал возле талера, так и работал все время, не разгибая спины, будто не работал, а просто забавлялся. Темные оспинки на лице, осве-

щениые лампой, весело сверкали, словно ямочки, выбитые дробинкамн, словно следы давних ожогов.

Под утро Шура почувствовал слабость. Сказалась вторая бессонная ночь, кроме того, его мучнл кашель. Дышать было иечем, распирало грудь, и время от временн Шура останавливался, как бы прислушиваясь к себе: какое-то недоброе истомиое тепло окутывало его, путались мысли, кружилась голова, и Шура прилег иа топчаи, чтоб иемного отдохнуть. Кондарев смочил полотенце в ведре, вытер его пожелтевшее лицо, проветрил погреб и, приподияв за плечн, подвел Шуру к столу: сам, мол, понимаешь, имеиио сейчас, когда нашнх арестовали, надо выдать газету иагора. Имеино сейчас! Чтоб охранка кусала себе локти. Давай, Шура, работа ие любит, чтоб ее на полпути бросали.

Шура работал в каком-то забытьи, в угарном дыму, ои даже не помннл, сколько дней и ночей провозились они иад талером. Он только помнил, как расстелилн на раму последний лист, проехались по нему цилиндром; Шура взял мокрый отпечаток и положнл иа стол. Стопа стояла высокая. Шура похлопал по ней рукой и сказал: «Пять тысяч, вот это да! Пять тысяч есть, кто бы мог подумать! У Белолипских такой тираж печатает машина, и то ее останавливают, дают остынуть, чтоб ие посыпался металл. А мы без остаиовки, мы крепче металла...»

Глаза у Шуры самн закрывались, тупая задеревеневшая усталость давила на плечи. У него еще хватило силы улыбнуться Коидареву, потом, совсем расслабленный, он, казалось, поплыл темным Ингулом. Полусонный сказал:

— Пускай мама понемногу переносит газету на Пескн, иа передаточную квартиру; оиа знает куда.

Шура упал иа расстеленный плащ, думал, что тут же уснет мертвым сном. Но он был иастолько уставший, а вместе с тем такой возбуждеиный, всеми фибрами души ввиченный в работу, что, когда прилег, в голове еще долго плыли какие-то миражи — черная, поблескивающая от масляной краски рама, мелькающне листы бумаги, газета, а над головой гремели полицейские... Потом вспомнилась мать, и он уже с более ясной тревогой подумал: «Ночь, осенние болота, а ей одной, в шестьдесят два года, тащиться на Пески. Ноги распухли, снова подкрадывается к ней паралич. Семь километров туда, семь обратно, в мокрых валенках — и корзнна с бельем иа плечах. Раньше Таня ей помогала, теперь она не может, опасно им вместе показываться на людях. Придется одной, бедняге. А это — нн мало ни много — раз пятиадцать топтать грязь в порт и обратно».

Шура засыпал беспокойно, тревожно: иадо бы встать, быстро одеться, помочь матери. Тяжелый груз свалнлн ей иа плечи. Страшно тяжелый... Но надо знать характер матерн. Она безжалостна к себе. Будет молчать, терпеть, иосить корзнны, пока не сведет ей иоги.

Через два года, находясь в Усть-Сысольске, в тюремной камере, Шура вспомннл однн разговор с матерью. Как-то на рассвете

она вернулась из порта, куда носила «Борьбу», бросила сушить на плиту мокрый платок и пиджак и не успела присесть, как Шура начал упаковывать ей новую кипу газет. Сильно продрогнув в дороге, Елена Федоровна прислонилась к печке, положила руки на теплую плиту и долго смотрела прямо перед собой. От стирки ей сводило руки, пальцы не разгибались; она уже не в силах была и нитку в иголку вдеть, а пуговицы застегивала с большим трудом. Шура думал: что мать так скорбно рассматривает свои руки? А Елена Федоровна посидела молча, о чем-то подумала и вдруг сказала:

— Шура, ты почитал бы мне, о чем вы там пишете в своей газете. Почитай. Буду хоть знать, за что я ноги таскаю на те проклятые Пески...

Для Шуры такая просьба матери была несколько неожиданной и вместе с тем не особенно и странной, потому что мать всегда знала, всегда интересовалась тем, что происходит в Николаеве; теперь ежедневно приносила она одну и ту же новость: «Наваль» гудит, Каннегисер собирается закрывать завод... Шура положил в корзину, под чистые наволочки, сверток газет; вытащил из пачки одну, это был третий номер, свеженький, который печатали они вместе с Кондаревым.

— Что же вам, мама, почитать?

Развернул газету и сразу же напал на небольшую заметку, на третьей странице, внизу.

— Вот. Рабочие сами пишут. Из механической мастерской «Наваля». Послушайте. «У нас в механическом есть инструментальный отдел, который отдан во власть г-на Скачко. Этот хозяйский холоп довел эксплуатацию рабочих до неслыханных размеров. Делает он это таким образом. Здесь работает много молодых, которые числятся учениками и получают 50—60 копеек в день, хотя многие уже работают по нескольку лет и заслуживают зарплаты взрослого рабочего. Расценки понижены до предела...» А дальше, мама, написано о том, как этот гад Скачко срезает и без того ничтожные расценки, как шпионит за рабочими, как обманывают их на каждом шагу.

— А я ж ему,— снова неожиданно отозвалась мать, все так же грустно и тяжело глядя на руки,— а я ж тому нехристю Скачко не раз полы мыла, каждую щелочку вылизывала, а он еще и сапоги мне совал в лицо, говорил: во что-то, видите ли, вступил, так помой сапоги ему, кизяки соскреби. Меня, старую женщину, девкой называл.

Мать встала, накинула на плечи все тот же мокрый ватный пиджачок. Спрятала седую косу под платок и попросила:

— Подсоби, сынок. Понесу. Как твой дед Федор говорил: для правды и ног не жалко.

Поставила поудобнее корзину на плечи и вышла из хаты.

Когда она шла по разбитой слободской дороге, низко сгибаясь под тяжестью корзины, то думала только об одном — поскорее бы дойти до бакалейной лавки Макарова, поставить кор-

зину на столбик возле изгороди, передохнуть немного и брести дальше. Она там всегда останавливалась, когда носила в город стирку, вот и сейчас так сделает. Затем быстренько посмотрит назад, проверит, не идет ли кто за ней. Все, что было для других борьбой, подпольем, конспирацией, для нее давно стало обычным нелегким женским трудом. В ее жизни каторга, голод, извечная стирка, забота о куске хлеба, о детях слились во что-то неразделимое, во что-то такое привычное, повседневное, она считала все это своей судьбой, своим крестом, который несут другие и ей надо терпеливо нести. Если бы ей привелось ехать за сыновьями в Сибирь, она бы и туда поехала, и там бы стирала, обшивала, готовила еду для каторжан и сама себе говорила бы: живу и работаю, как все люди.

Сейчас мать тащила на себе корзину и совсем не думала о том, что шлепает по грязи в серую осеннюю непогоду, несет Шурины свертки, спрятанные под наволочками, и тем, что ходит в порт и носит газету, она, старая женщина, причинит много хлопот одному большому жандармскому начальнику. Что будет тот начальник гонять своих подчиненных; пить черный турецкий кофе, посылать телеграммы в Петербург и в Одессу, оправдываться перед самим министром. И все это из-за нее, постаревшей матери Петровых. Разве знала она, что причастна к таким высоким персонам, к такому всемирному переполоху. Она просто несла корзину в порт, по лужам, под надоедливым осенним дождем. А в просторном кабинете на Глазенаповской...

Фокин попросил чашечку кофе. В последние дни он пил черный кофе и курил, курил и пил кофе, все отметили, что у него стало болезненно-желтое лицо.

Ротмистр замкнулся в себе, стал еще более раздраженным. Он кинулся в рабочее подполье с завязанными глазами, в глубине души с неясным холодком и тревогой предвидел неудачу, но чтобы такую постыдную — не ожидал. Все пошло прахом. Весь год приближал агентуру к технике, проникал в подполье, врастал в большевистский комитет — и вдруг преждевременными арестами только демаскировал свои позиции, раскрыл карты, и теперь следует ожидать, что растревоженное подполье на какое-то время притихнет и еще тщательнее законспирирует свою технику.

В эти дни, когда Фокин обдумывал, что он ответит Петербургу, из департамента полиции пришел очередной пакет. Фокин сорвал сургуч и вытащил... новую вырезку из «Пролетария». Посмотрел на вырезку и выругался. Чиновники из департамента, как ему казалось, просто хотели его взять измором! Вырезка была свежая, из ноябрьского 38-го номера заграничной большевистской газеты. Он сразу же заметил неприятный заголовок «Николаев», а под заголовком была большая статья, точнее, письмо неизвестного местного автора-большевика. «Ну-с, господа местные большевики, что мы пишем в Европу, с чем апеллируем

к заграничной общественности?» Жадно покуривая, Фокин принялся читать: «Волна правительственных репрессий, прокатившаяся по всей России, завернула к нам. Аресты и высылки... продолжающиеся и до сих пор, вырывают подчас из рядов организации самых лучших ее работников... Насаждение целой сети провокаторов, которым удавалось проникнуть в самый центр организации («Так! Решительно и под корень!» — Фокин схватил из стаканчика красный карандаш и подчеркнул эти строки), делало по временам работу невозможной... С пропагандой лучше... Выпущено два номера газеты «Борьба», на днях выйдет третий».

— Ни в коем случае! — сказал Фокин. — Третьего номера не будет.

Перед ним словно сверкнул спасительный огонь, и Фокин увидел себя и всю историю с арестами совсем в ином свете. Надо показать, да, да, показать, объяснить, что охранка и не ставила перед собой задачу полностью ликвидировать технику, а ставила пока что задачу поскромнее: ослабить, подорвать силы типографии, не допустить выхода третьего номера. Да, это был не промах, а предусмотренный Фокиным защитный выстрел.

После той памятной бессонной ночи, в десять часов утра, в отделение позвонил контр-адмирал Зацаренный и, как всегда, в мягкой, корректной форме поддел Фокина:

— Господин ротмистр, чем закончилась ваша варфоломеевская ночь?

Градоначальник уже знал, что проведенные по всему Николаеву обыски принесли... несколько брошюрок и несколько чистых паспортных бланков.

Тогда, вспыхнув, Фокин опрометчиво ответил:

— Мы уже на технике, господин контр-адмирал! Не позднее завтрашнего дня типография будет уничтожена, клянусь вам честью офицера!

Он произнес эти слова в слепом запале и долго потом ходил с таким настроением, словно его публично высекли на Соборной площади. Не подымалась рука писать о собственном провале донесение в департамент полиции. Только 12 ноября, когда была продумана в голове каждая фраза, Фокин послал в Петербург рапорт:

> *«Доношу вашему высокоблагородию, что, по имеющимся сведениям, типография Николаевского комитета Российской социал-демократической партии поставлена на окраине города в Слободе, где наружное наблюдение вести весьма затруднительно, а потому я решил в ночь на 6-е сего ноября произвести обыск и тем или обнаружить технику (обратите внимание на фокинское дипломатическое «или»), или провалить эту местность, дабы ее оттуда вывезли».*

Да, ничего не скажешь, хорошо продуманный рапорт. Прошла неделя, как произвели аресты, а Фокин ни слова не говорит о ре-

зультатах, вообще обходит молчанием аресты, а пишет как будто бы о своих намерениях, о будущих действиях, да еще и оставляет место для отступления: или пойдем, или нет, или найдем, или нет...

Расчет у жандарма был простой. Побольше подстелить соломки. Пока там Петербург разберется, пока занесет над ним карающую руку.

Прошло еще несколько дней, и Фокин в новом донесении дает развернутое и подробное обоснование своей (он старательно обходит это слово) авантюре:

> *«...В целях розыска тайной типографии Николаевского комитета Российской социал-демократической партии мною было решено: 1) обыскать дома, где, по предположению, могла быть означенная типография; 2) в противном случае провалить эту местность, дабы ее оттуда вывезли в другое место, так как на окраине города вести наружное наблюдение крайне затруднительно; 3) в случае же (это еще один шаг назад для отступления) по какой-либо причине означенная типография осталась бы на старом месте, то необходимо в корне подорвать ее силы и таким образом не дать возможности продолжать далее работу и выпускать нелегальную газету «Борьба», а для этого мною было признано необходимым арестовать Комитет, что было и сделано 5 ноября (исправлено — 6-го) сего года».*

Итак, Фокин начал с категоричного заявления контр-адмиралу Зацаренному: типография будет ликвидирована не позже завтрашнего дня! В первом донесении Петербургу он заявил куда скромнее: или найти технику, или провалить местность. В последнем донесении высказывался еще мягче: на случай, если означенная типография остается... то в корне подорвать силы. Он писал это искренне. И был уверен, что варфоломеевская ночь, как назвал ее градоначальник, надолго парализует подполье. Весь комитет арестован. Все ядро организации в его руках. Ни одного более или менее активного партийного работника не осталось в подполье. Да, техника не найдена, но она оголена, она без людей, по существу, мертва. И Фокин мог ручаться головой, что месяц или два эта зловещая для него типография будет бездействовать в своем укрытии, от такого удара не скоро опомнится, а это даст возможность охранке перегруппировать силы.

Словом, Фокин убедил если не себя, так департамент полиции, что означенная типография в корне подорвана. В таком духе составленный рапорт он и послал в Петербург. Рапорт отправили утром, а через час в кабинет Фокина прибежал красный как рак полицейский Кошара, околоточный надзиратель на заводе «Наваль». (Это его рабочие прозвали Граммофоном.) Запыхавшийся, с вытаращенными от бега или страха глазами, Кошара закричал, находясь еще в коридоре:

— Господин Фокин! Господин Фокин! Извините! Беспорядки! На заводе прокламации раздаются во всех цехах!

Он положил на стол целый сноп измятой бумаги. Это был третий номер газеты «Борьба».

До обеда в кабинете Фокина раздавались звонки; полицейские, приставы, агенты с мест сообщали, что газета распространяется по всему городу, на заводе Донских, в коммерческом порту, на верфи, во многих мастерских. И распространяется как никогда массово, дерзко, чуть ли не открыто; рабочие торжествующе, со злорадством спрашивают: «Ну что, выкусили? Арестовали наших товарищей? Добились своего?»

Третий номер свалился на голову Фокина как гром среди ясного неба. С тех же вседержащих высот занеслась над ним суровая рука министра. И Фокин в судорожном напряжении думал лишь об одном: как все объяснить, как все увязать и преподнести начальству? Он посылает немедленно телеграмму в Петербург:

> *«...в связи с арестами 6 ноября лиц, которые близко стояли к технике... означенная газета была распространена лишь в незначительном количестве».*

Так и сообщил: означенная... в незначительном количестве...

...Тайно, пачку за пачкой, переносила на себе газету в порт старая и больная женщина. Правда, ей помогала теперь еще соседка, тоже немолодая работница, мать Ивана Кондарева. Тысячу, две тысячи, пять тысяч экземпляров перенесли они в порт. Немного большим тиражом выходила тогда в свет официальная полицейская «Николаевская газета», которую печатали братья Белолипские на новых немецких машинах.

Словом, отдельного корпуса жандармов господин ротмистр Фокин окончательно заврался. Он и сам это прекрасно видел, а потому и уговаривал себя: ничего, со временем все утрясется, успокоится и согласуется...

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР. ДРУЖЕСКОЕ СЛОВО ИЗ ЖЕНЕВЫ

> *«После ареста Комитета несколько с.-д. и «неизвестный» решили выпустить к 6 декабря следующий номер «Борьбы» и тем самым доказать жандармерии, что все арестованные лица в ночь на 6-е сего ноября не принадлежат к Комитету с.-д. партии».*
>
> *21 ноября 1908 г.*
>
> *(Сводка агентурных сообщений по Николаеву)*

С небольшим сундучком, туго набитым прокламациями, Иван Петров выехал ночным поездом в Херсон на сборный пункт.

По-видимому, между херсонским воинским начальством и Николаевским охранным отделением не были согласованы действия. На столе у Фокина разбухала папка, озаглавленная им так: «По

делу Остапа». Уже полгода в ней подшивались крайне противоречивые сообщения. В этих сообщениях фиксировались секретные разговоры рабочих, случайные реплики, слухи; в разговорах часто упоминалось имя Остап. «Как заявил Остап на комитете... По поручению Остапа... Шрифты... Квартира для тайной типографии...» Постепенно выяснилось, что Остап — это не кто иной, как ответственный техник Николаевского социал-демократического комитета. Дальше — сложные попытки расшифровать кличку. Подозрение падало на нескольких человек. Охранка долго охотилась за каким-то Петром Поляковым, близко стоявшим к технике, и охотилась настолько успешно, что «в разговоре Петро Поляков высказался: типография находится у Михаила Петрова, который сейчас тяжело заболел и собирается лечь в больницу» (из сообщений Мульгина-Часового). Правда, Поляков «проговорился» несколько позже, в марте следующего года. А пока что охранка, после долгих и настойчивых поисков, еще не совсем точно, на ощупь пришла к тому, что:

> *«Остап, по установке, оказался новобранцем призыва 1908 года Иваном Васильевичем Петровым, назначенным херсонским уездным воинским начальником на военную службу в Керченский крепостной полк...»*
>
> *(Из донесения Фокина в Одессу)*

Как только стало известно, что Петров призван на службу, Фокин немедленно вызвал к себе двух сыщиков.

В той же пухлой папке (дело Остапа) хранится расписка о том, что ротмистр выдал двум «трудягам» на дорожные расходы 23 рубля 68 копеек, «на коею сумму,— сообщает в Петербург Фокин,— мною вместе с тем подано два счета в 3-е делопроизводство департамента полиции». Рядом с распиской в деле находится первое и последнее донесение сыщиков с дороги: по дороге в Херсон Остап неожиданно скрылся, куда-то исчез из вагона, а возможно, даже и с поезда. Плакали фокинские червонцы с копейками! Зато ротмистр приобщил к делу новые немаловажные документы о том, что он сообщил в Херсон и передал Остапа под негласный надзор.

Уже значительно позже Иван вспоминал: с небольшим сундучком он выехал в Херсон, чтоб оттуда добраться в свой полк. Ехал он как пропагандист, как доверенное лицо большевистского комитета. В переполненном до отказа вагоне, среди бедного, преимущественно крестьянского люда, он довольно легко заметил двух филеров, даже поздоровался с ними, спросил о здоровьице, поинтересовался, куда они едут, а потом без особого труда ускользнул от них и перешел в последний товарный вагон к скототорговцу из Полтавы.

Иван — натура живая и деятельная, он сразу же на сборном пункте приступил к работе. На все голоса шумела огромная толпа новобранцев, группы молодых парней, которые все еще держались

за свои «сидоры», боялись растерять земляков, односельчан. Выделялись большими котомками и солидной молчаливостью лобастые и плечистые степняки; были и заводские ребята, люди, как всегда, компанейские, острые и безудержные на язык. Отдельной группой держались одесские «аристократы» в дырявых кепочках, с презрительными и неприступными выражениями на лицах. Шум, смех, бессмысленное толкание, скука и ожидание; всех беспокоило одно — куда их запишут, куда разведут, одному или с земляками придется ехать в полк... Ходил Иван в этой толпе, присматривался, подбирал себе сообщников; сначала сам — осторожно, наедине, а затем через других стал раздавать воззвание «К новобранцам». Он, конечно, не знал, что шифрованная телеграмма Фокина лежала на столе Херсонского жандармского управления и за ним уже наблюдали на улице и в так называемом Рыбном бараке, куда их временно загнали до распределения по воинским частям.

После девятьсот пятого года в армии научились жестоко расправляться с политическими. Жестоко и, главное, солдатскими руками. У новобранцев-молдаван пропали деньги. Молдаванская группа, отчаянная и самая шумная, до вечера не успокаивалась, митинговала, грозилась то николаевским новобранцам, то одесским. Один из нижних военных чинов, немолодой пехотный поручик, шепнул разбушевавшимся парням, указав им на Петрова: потрясите, сынки, того николаевского; что-то очень подозрительный молодчик, толкается между торбами, только не сейчас, сынки, а ночью, чтоб было все шито-крыто.

Это вам не науськивание, а дружеский совет, сказанный от чистого сердца, по-отцовски.

Ночью в Рыбном бараке на спящего Петрова напали молдаване. Затрещали сорочки, брызнула кровь на стены, кто-то тихо, сквозь зубы вспоминал бога и мать. Уже весь барак сгрудился и бился, не понимая, кто кого и за что колотит. И хотя крику не было, вскочили караульные, защелкали затворами: «По местам! Стрелять будем!» А между нарами быстро пробиралась группа офицеров, и старый поручик спешил скорее всех, опытной рукой развязывал он торбы и ощупывал пиджаки новобранцев. Обыск... Иван был готов к этому — ссылка, николаевская жизнь многому его научили. Свой сундучок он спрятал за бараком, но все же пачка воззваний сейчас лежала под соломенной подушкой. Оскорбление личности государя, отказ служить в армии, подстрекательство к бунту и измене. Значит, военно-полевой суд и не меньше трех лет крепости.

Когда группа офицеров собралась возле его нар (для чего, собственно, и затеялась эта суматоха), Петров был уже далеко от барака. На приднепровском пустыре, в ивах, в большой луже, где устоялась дождевая вода, он умыл разбитое до крови лицо и не без веселой злобы сказал про тех, кто лупил его: «Сукины сыны! Ты им правду, а они тебе кулаками в зубы. Ничего, под шомполами скоро прозреют». Взял под мышку сундучок и глухой

темной окраиной пошел к товарной станции. Знал, что домой сейчас нельзя возвращаться, да и в сундучке оставалась еще целая сотня прокламаций. Не пропадать же добру! Несмотря на большой риск, он решил пробиваться в Кременчуг, где стоял на переформировании 57-й полк.

Иван исчез из барака незаметно и неожиданно. Но вот что странно. Левдиков запрашивает из Одессы: «Прошу сообщить незамедлительно, установлена ли Вами личность Остапа, который бежал из сборного пункта города Херсона». И Фокин отвечает: «Выехал в Кременчуг, куда сопровождался наблюдением». Ночь, темные окраины, а потом подножки и буфера товарного поезда. И все-таки, как видите, «сопровождался». Удивительная цепкость филеров!

Две недели в Кременчуге. Иван остановился у сестры Ани, спасавшейся здесь от голода у родителей мужа. Связался с большевиками, через них с пропагандистами 57-го полка. Разговоры, встречи, чтение литературы. Воззвание «К новобранцам» тайно распространялось среди солдат. Но, как видно, негласный надзор сделал свое дело — засада, попытка арестовать Петрова, и ночью он убегает в Николаев.

Для Петрова начались новые скитания, бездомная, вечно в бегах жизнь, жизнь подпольщика-большевика, которого ищут и которому нельзя нигде подолгу задерживаться. Охотится за ним охранка, военно-полевая юстиция, полиция Херсона и Харькова. А Иван по поручению комитета проникает в воинские части, переезжает в Екатеринослав, снова и снова появляется то в Николаеве, то в Кременчуге, его арестовывают, он убегает сначала из-под конвоя, потом из ссылки, и это продолжается не день и не два, а долгих восемь лет.

«Неустанная напряженная боевая работа И. Петрова на различных участках подпольной жизни партии прерывалась тюрьмами, ссылками, гауптвахтами, фронтом, эмиграцией. Но во всех заключениях он умудрялся вести агитацию и пропаганду. Наконец на фронте, куда он был направлен этапным порядком, его судили и приговорили к двадцати годам каторги как военно-политического». Так сказано об Иване Петрове в предисловии к его воспоминаниям «Маня», о которых мы уже не раз говорили.

Возможно, кое-кого заинтересует, о какой эмиграции упоминалось выше. В одиннадцатом году Петров узнал, что в Лонжюмо под Парижем Владимир Ильич Ленин организовал партийную школу и там же учится Филя Андреев. А за спиной Петрова было уже несколько побегов из тюрем и ссылок, охранка неотступно преследовала его — и он тайно переходит русскую границу, чтоб связаться с Филей и, может быть, послушать Ленина. На швейцарской границе его задержала австрийская полиция.

Кроме царских тюрем Петров испробовал еще и цесарских...

О встрече его с Шурой, с подземным братством, мы расскажем несколько позже, а сейчас об одной немаловажной детали.

После Херсона и Кременчуга, искусно маскируясь, Иван прибыл в Николаев. И здесь услышал пренеприятную новость: арестован комитет. Брат Михаил, Ровнер, Филя, Ваня Грабов сидели в новой каторжной тюрьме; партийная организация совсем задавлена. Охранка охотилась за теми, кто скрывался. Тогда и вспомнил Иван, как их Старик часто менял квартиры и тщательно гримировался. Весной Иван слегка подтрунивал над этим, а теперь сам нацепил парик и даже, как вспоминает бывшая артисточка Аленка, надевал материнский платок, а то и сермягу, чтоб перебраться на Красную горку. Он прятался на квартирах товарищей, кружил по всему городу и как техник, и как член комитета. Всю организационную работу возложил на свои плечи. Иван хорошо знал, что в подполье есть глаза и уши охранки. И очень тонко повел борьбу с провокаторами: «пробалтывается», говорит вслух о планах и намерениях подполья, как будто выдает секреты, а на самом деле запутывает, сбивает с толку охранку, наводит ее на ложный след. Сам Фокин сообщает в Одессу: «Остап в организации заявил, что выезжает в Екатеринослав, а выехал в Кременчуг». Агент Штучник доносит: «Из разговоров членов с.-д. партии выясняется, что их типография находилась на Военной в отдельном месте, а теперь как будто перенесли ее в другое место». Агент Часовой подтверждает: «Ответственный техник Петро заявил членам партии, что квартира, где находилась типография, стала известна многим членам партии, а потому, опасаясь провала, он разобрал ее и спрятал сразу в нескольких квартирах...»

...Шуре казалось, что он проспал два дня подряд, а то и больше. Проснулся. Какая-то полутьма, какая-то тень за столом, тускло светит лампа, прикрытая газетой, а тень — это Иван Кондарев, он наклонился и моет типографский валик.

— Ваня, я долго спал? — вскочил на ноги встревоженный Шура.

— Лежи, лежи, сколько ты там спал,— глуховато отозвался Кондарев, голос у него очень походил на грудной баритон Остапа.— Вздремнул ты, браток, как заяц, одним глазом и уже вскочил. Спи.

Шура сбросил с себя плащ, которым укрывался, и тут же закашлял. Болела грудь, какая-то неприятная тошнота разошлась по всему телу. Еще не совсем проснувшись, Шура уже сознавал, что его беспокоит. Надо вставать и браться за газету. Четвертый номер. Без Ивана, без Михаила, без типографа-наборщика... Голова шла кругом, не знал, с чего начинать, как и откуда складывать колонки, странички, развороты, все то, что именуется газетой. Правда, жизнь многому научила его и в цеху и здесь, в типографии: не дрейфь, вставай и смело берись за работу; кажется, такая уж хитрая штука — ну просто нюрнбергское яйцо [1], а вот

---

[1] Старинные часы.

ты взялся за первый винтик, и работа сама повела тебя, сама указывает, куда и что следует приделывать.

Шура умылся и, чтоб прошла тошнота, пожевал калины. Пучок сухой калины мать принесла с базара и передала им в погреб; теперь он висел на стене рядом с «вессоном» Ивана. «Подпольный натюрморт у нас, не правда ли? — пошутил как-то Шура. — Калина и револьвер!»

Он взобрался на табурет, вытащил из провисшего лежака свой потайной скарб — газеты, которые им приносил Филя. В свертке сохранилось несколько номеров «Пролетария». Так уж сложилось и стало для Шуры правилом: если что-то не получалось или что-то неясно он себе представлял, тогда доставал счастливую для него газету, разворачивал ее на столе и опытным глазом прикидывал: а как бы нам? Из «Пролетария» он перерисовывал заголовок для «Борьбы», из «Пролетария» они взяли две острые политические статьи для перепечатки.

Шура вспомнил о статьях, и в его голове, еще до конца не просветлевшей после сна, мелькнула первая деловая мысль. Вот перед ним 37-й номер «Пролетария». Из него они взяли начало письма-обращения Московского комитета и набрали для своего третьего номера. Следовательно, в четвертом номере надо обязательно дать окончание. Материал готов, и можно набирать его хоть сейчас. (Сказано, только начни, зацепись, а там дело само пойдет.) Потом... В этом же 37-м номере, откуда они взяли и письмо московских большевиков, и передовую, уже тогда, когда они впервые читали газету, Шуре пришлась по душе одна очень глубокая, проникновенная статья. Называлась она просто: «События на Балканах и в Персии». И подписана скромным партийным псевдонимом — Н. Ленин. Прочитал Шура эту статью и долго находился под сильным впечатлением, живые картины пробуждения огромного Азиатского континента вставали перед его глазами. Тогда он составил для себя целую теорию мирового революционного шторма.

— Эту статью непременно надо напечатать! — сказал Шура.

Кондареву объяснил, что накатывается второй вал революции, набирает всемирный разгон; для многих он, возможно, еще незаметен, но идет, надвигается, и надо, чтоб люди знали и готовились к решительным боям.

Словом, была пустота и разброд в мыслях, а теперь созрел план, и Шура вскочил, принялся за работу. Первую колонку он набирал, как Т-ко, — не сразу всю, а по частям. Дал почитать Кондареву. Тот спокойно сел за стол и взял карандаш. Положил перед собой тяжелые суховатые кулаки. Шура посмотрел на него искоса, с нескрываемым интересом: ну, как чувствует он себя в роли корректора? А у Кондарева спокойное, серьезное лицо и кулаки лежат на столе уверенно, глаза устремлены в текст, тонкие усики двигаются, словно тоже что-то вылавливают на бумаге. У заводского котельщика оказался такой острый глаз и природный нюх на ошибки, что Шура с заметной почтительностью

прнумолк. Несколько раз Кондарев твердо, категорнческнм крестом перечеркивал что-то в иаборе. В грамоте он, может, был н не очень силеи, ио перед иим лежала вырезка-колонка из большой заграничиой газеты, н сверить иовый текст со старым, проверить, чтобы все совпадало, для Кондарева большого труда не составляло.

Теперь пришлось Шуре, как раиьше это делал Т-ко, брать в руки длинное набориое шило и извлекать нз набора иенужные зиаки. Коидарев то и дело вылавливал опечаткн, отмечал нх большим крестом. Он горбился у лампы, сухощавый и иемиого сутулый (в тесиых котлах любого со времеием скрючивало), н вдруг, не подымая головы, деловито сказал:

— А я зиал, что у вас техиика спрятаиа.

— Как это ты знал? — Шура оторвался от иабора и, удивлениый, посмотрел на Кондарева... — Откуда?

— По трубе догадался. По той трубе, что вы под забором поставнли, вроде для стока воды. Думаю, вода нз трубы не льется, зато какой теплый душок снизу идет, парком тянет, в заморозки я заметил. А еще вижу, долго вас в Слободке нет, куда-то вы словно сквозь землю провалились, а газета выходнт. Вот н думаю: не нначе — работа Петровых...

Кондарев удивил Шуру еще и тем, что все три номера «Борьбы» не только прочитал, а выучил почтн наизусть. Он подкрутил рыженькие усы, покашлял и, иаверное представив себя где-то на митинге, негромко, глуховатым голосом стал пересказывать Шуре передовицу из первого номера (всю ее, слово в слово, он помнил от начала до коица); потом отчеканил оба стихотворения Михаила о кандалах и «черной сотне» и, иакоиец, с издевочкой, вроде бы заглядывая в самую газету, с наслаждением «прочитал» о Зайчеико, об этом самодуре из Адмиралтейства, который, когда был ие в духе, мог заставить старого рабочего таицевать перед ним вприсядку, а иа газету обиделся за то, что иазвали его полоумиым, и звоиил Фокину, требовал до смерти сечь большевиков!

Шура смотрел на Коидарева, слушал его густой приглушенный голос н вспоминал слова Иваиа: в иароде голод на революционную литературу... Наверное, только сейчас Шура по-иастоящему почувствовал, как жадио тяиутся рабочие к газете, вчитываются в каждое слово, запомииают все сказанное большевикамн. А Кондарев, рябой Ваня, такой, казалось, зиакомый на улнце, приятно н неожиданно удививший Шуру в эти мннуты, стал для него вроде бы еще родней.

Вдвоем оии весь вечер и всю иочь складывали н вычитывали первые колонкн набора. Колонки рослн медленно, и Шура вспоминал, что Внктор Т-ко, иесмотря на свои капрнзы, был все-таки неплохим мастером, быстро набнрал газету, н если бы ои сейчас стоял за столом, то одии разворот, внутреииий, они бы до утра сверстали. А тут... Уже не раз переставалн гореть лампы, а Шура все еще мучнлся, возился с первой колоикой.

Он брал нз кассы маленькие брусочки, складывал из них гу-

стые нонпарельные рядки, закреплял линейками, а про себя думал: как дальше? Где взять другие статьи? Все началось у него с сомнения: управятся ли вдвоем? И вот рождается четвертый номер. Рождается в металле, не так скоро, как хотелось бы, но все же поблескивают в раме туго подогнанные колонки шрифта. Есть две статьи, два прекрасных общеполитических выступления — ленинское и московских большевиков. А как быть с внутренним обзором, с откликом на николаевскую жизнь?

В благословенном городе святого Николая произошло такое событие, что рабочая газета не может обойти молчанием.

Еще когда спустился Кондарев в подземную типографию, он принес из легального мира одну очень неприятную новость. Она потрясла Шуру так, как потрясла и весь Николаев. По всему городу были расклеены объявления, в которых сообщалось, что самый крупный местный завод, судостроительный гигант юга «Наваль», закрывается. О закрытии завода и раньше поговаривали с тревогой, но в это как-то не верилось, не было такого еще в истории Николаева. И вот завод, на котором держался весь город, завод-кормилец, завод-кровопиец, закрыл все свои цеха. Жестоко и хладнокровно выбросил Каннегисер за ворота почти две с половиной тысячи рабочих. Приближалась зима, на юге свирепствовал голод, а армада безработных людей возвращалась домой в тяжелом отчаянии: что дальше? Где раздобыть для детей кусок хлеба? Горе пришло в каждую рабочую семью. Угнетающее настроение охватило весь город.

Либерал Каннегисер, который в девятьсот пятом году ходил с красной повязкой и приветствовал революцию легоньким помахиванием руки из своего роскошного экипажа, сейчас повел против рабочих беспощадную войну: сначала штрафами, потом установил десятичасовой рабочий день, потом — двенадцатичасовой, а когда встревоженный завод загудел, как улей, директор-распорядитель решил одним махом разрешить все споры: объявил о временном закрытии завода. В секретном письме он доносил градоначальнику:

> *«1905 и 1906 годы подействовали чрезвычайно разлагающим образом на рабочую массу: производительность и вообще чувство долга понизились, а требования неимоверно поднялись... Все это привело к чрезвычайно крупным потерям (кому революция, а капиталист подсчитывает барыши), и Правление вынуждено ныне принять решительные меры, а именно — закрыть завод и... возвратиться к тому порядку, который существовал до 1904 года». Каннегисер угрожает рабочим: «Будут введены такие правила дисциплины* (читай — полицейский террор), *которые в разгар революционного движения охранили нас от крупных беспорядков, которые имели место на других заводах: от убийства мастеров и вывоза их на тачках».*

Это был декабрь 1908 года.

...Перед рассветом, когда было еще темно на улице, Шура постучал к матери. На его осторожный стук Елена Федоровна всегда сразу отзывалась, она, казалось, по едва заметной тени у окна догадывалась, что это ее сын. Еще в сенях накинула на него куртку: Шура выскочил с распахнутой грудью, повела его к себе на кухню.

— Как вы там в яме? Не окоченели? Возьмите что-нибудь потеплее, а то морозы вишь какие начались. Зима уже не за горами.

Уселись вдвоем возле теплой печки. Мать краем глаза посмотрела на осунувшееся бледное лицо сына и спросила:

— Что? Снова куда-то меня в дальнюю дорогу надумал послать?

Сбитый с толку этим вопросом, Шура только улыбнулся и пожал плечами:

— Ну как вы, мама, все знаете! В дорогу, ей-богу, в дорогу. И не близкую.

— А я по тебе вижу. Когда ты был маленьким, то начинал посапывать носом, если чего-то хотел попросить.

— А что, я и сейчас так... посапывал?

Они переглянулись и, счастливые оттого, что хоть минутку побудут вместе, с какой-то затаенной горечью улыбнулись друг другу.

— Мама, прошу... На тот гибельный бугский берег, к каторжной тюрьме. К Михаилу, мама. Записку ему надо передать. Там Ровнер, Филя, весь комитет. Надо нам статью в газету, очень и очень нужно, понимаете? Вы же знаете, что в Николаеве сейчас творится: слезы, похоронное настроение в каждом доме. Нельзя молчать.

Мать положила сухую узловатую руку на Шурино колено и грустно сказала:

— Ты так меня уговариваешь, как будто не к родному сыну идти. Недавно у Михаила была и снова пойду, сегодня сама собиралась... Хотя бы он на ногах продержался в той проклятой кутузке. Ослаб очень, и кашель больно плохой у него...

Шура погрелся немного у печки и побежал в свой погреб, а Елена Федоровна пошла на базар, но только умаялась в той сутолоке. Одни нищие да пустые ларьки. Купила лишь сухарей и вяленой рыбы. Собрала узелок, задумалась: как ей доковылять до Буга, взобраться на высокую гору, на обрыв, где взгромоздили черти эту каторжную тюрьму.

Она угощала сухарями Аленку, одевалась и вдруг заметила промелькнувшую у окна чью-то тень.

— Можно к вам?

В кухню вошла невысокая смуглая женщина лет тридцати, круглолицая, с живыми карими глазами. Спросила:

— Здесь живет Маня?

Елена Федоровна окинула взглядом женщину, помолчала и сказала так, как учили ее сыновья:

— Маня живет здесь, дочка, только она захворала и поехала к своей золовке в Кременчуг. А вам, голубка, что надо? Проходите, садитесь, вот здесь, на лавку.

Чернявая гостья сняла платок и как-то просто, весело и по-домашнему сказала маленькой Аленке: «Доброе утро, девочка!», поздоровалась с Еленой Федоровной и спросила:

— Вы мать Петровых, да? Я вас сразу узнала. Очень Иван похож на вас. Суровый и сдержанный он. И глаза такие же серые, как у вас.

Она села и, наверное, заметила, как Елена Федоровна все еще продолжала стоять с какой-то настороженностью, а потому спокойно добавила:

— Не бойтесь меня. Я из подполья. От Михаила и Ровнера. Мне надо Шуре передать сверток, позовите его.

Собственно, Елене Федоровне излишне было объяснять, что она из подполья. Своим женским чутьем, сердцем повивальницы и поминальницы, которая за свою жизнь повидала разных людей и перенесла много горя, Елена Федоровна сразу догадалась, кто перед ней; у матери дрогнуло все внутри, когда под окном промелькнула тень,— человек шел не с улицы, а садом, тайной тропинкой.

Через минуту Шура уже был на кухне. По-мальчишески смущаясь перед молодой женщиной (у него даже вспыхнули кончики ушей), он взял из ее рук тугой сверток, выслушал напутственные слова, которые передали ему Михаил и Ровнер, вытащил из материнского узелка записку и попросил нежданную гостью: «Передайте вот это им...»

Женщина слегка поклонилась матери, кивнула Аленке и решительно пошла к двери:

— Всего вам доброго! Может, на днях еще приду.

Елена Федоровна остановила ее:

— Вы хоть скажите, как вас звать, если не секрет. Что-то вы, молодые, все сплошь засекретились. Так сын приведет невестку в хату, а я и не буду знать, как звать ее, скажет — конспирация.

Женщина повернула к матери свое смуглое, молодое, зарумянившееся от улыбки лицо.

— Дора меня звать,— сказала она весело.— Я вашего Ивана знаю.

Сбитый с толку Шура неподвижно стоял и смотрел вслед гостье с той юношеской влюбленностью, с которой он провожал глазами красивых женщин, проходящих по улице. Дора... Связная комитета. Недаром Иван часто вспоминал ее, а в трактире «Китай» бегал в подвальчик, хотел пригласить на танец. Интересная женщина. Такое смуглое, свежее, обаятельное лицо и умные черные глаза.

Мульгин, брошенный вместе с большевиками в новую николаевскую тюрьму, передал через надзирателя зашифрованное донесение:

«Арестованные в ночь на 6-е сего ноября и находящиеся в исправительно-арестантском отделении Ровнер и Андреев ведут переписку с членами партии, которые остались (в подполье), и руководят всей работой».

Фокин размашисто написал на донесении:

«Поручить агентуре выяснить, кто передает распоряжения и кому».

Шура влетел в погреб, на нем топорщилась рубашка, светилась распахнутая грудь, и все: и волосы, и взгляд, и выражение лица — все было словно озорно и беззаботно распахнуто, радостно улыбалось. Видно, приятную новость принес человек.

— Вот! — сказал он Кондареву, размахивая свертком. — Пока чумак собирался в дорогу, соль сама привалила к хате. Вишь, не забыли нас!

Он стал быстро рассказывать о какой-то молодой красивой женщине, о том, что она обещала еще прийти.

Спокойно, исподлобья Кондарев посмотрел на Шуру и ровным голосом (впрочем, с легким насмешливым оттенком, как это умел делать и брат Иван) остановил его:

— Ты, Шура, знаешь, давай не с музыки, а давай с дела начнем. А потом уж обо всем остальном...

Шура не обиделся, не такое у него было настроение. Развернул сверток, выложил на стол узенькие полосочки бумаги, густо исписанные химическими чернилами. Пододвинул поближе лампу, склонился и вполголоса, пока что для самого себя, принялся читать. Вдруг голос его изменился, стал серьезным, а лицо сразу приобрело сосредоточенное выражение. Несколько фраз он прочитал громко, специально для Кондарева.

«Николаев. Декабрь сего года. На заводе вывешено объявление, в котором дирекция объявляет, что завод закрывается... Разбойничий маневр обнаглевших капиталистов... Не только слезами жен и голодных детей должны мы встретить этот подлый шаг... Обдумать и решить, как остановить непрекращающееся наступление нашего беспощадного врага — капитала».

Шура поднял глаза и умолк с напряженной мыслью во взгляде. Сейчас он был освещен уже иным огнем, тем глубоким внутренним светом, что выдает взволнованность не чем-то мелким и случайным, а по-человечески серьезным и значительным.

— Слушай, Ваня,— негромко произнес он. — Это передовая. Для нашего четвертого номера. Послушай, как она сделана. «Разгорится наша борьба, и мы к тому времени должны представлять из себя не людскую пыль, разлетающуюся при первом дуновении

враждебного ветра, а единую грозную рать». По-моему, хорошо сказано.

Шура просмотрел еще две ленточки бумаги, на которых ровным столбиком, очень густо были переписаны другие статьи для газеты. (По-видимому, кто-то в камере экономил бумагу и писал плотным мелким почерком.)

— Молодцы! Прислали все, что надо. И письма из мастерских, и отчет о говорильне в черносотенной Думе. Ну, потрясем Каннегисера! А заодно и фокинских опричников из охранки. Они думали, бросят комитет в тюрьму и заткнут нам рот. А газета? На какой, брат, сходке, на какой массовке было такое, чтоб собиралось пять тысяч, а то и больше людей? И на каких митингах наш комитет говорил с народом вот так, запросто, из тюремных стен, и чтоб обращался к каждому, и чтоб слышно было и в порту, и на Французском заводе, и на Адмиралтейской верфи? Мне, как на картине, видится: газета — это высокая гора, с которой далеко слышно и видно.

Шура отложил статьи в сторону с твердой уверенностью, что сегодня же начнут набирать их. В свертке лежало еще что-то. Когда Шура развернул квадратиком сложенную бумагу, приятно удивился —«Пролетарий»! Совсем свежий номер, тридцать восьмой, за ноябрь месяц. Шура сразу представил Филю, его живое, беспокойное, гордое лицо и подумал: как этот Филя умудряется и в тюремной камере получать через кого-то газету, и не просто получать, а и пересылать ее для других? Да еще такую газету, как «Пролетарий», за которой от самой границы и по всей России на каждом перекрестке так охотится полиция.

Тридцать восьмой номер оказался большим, на десять страниц. Газета была напечатана на тоненькой белой бумаге, хорошей типографской краской. Шура перевернул одну страницу, другую, потом еще несколько и вдруг увидел: на восьмой странице, в углу, обведена синим карандашом высокая колонка, а сбоку рукой Фили написано: «Для Мани!»

Коротенькое «Для Мани!» сразу привлекло внимание Шуры. Он быстро начал читать текст. Подумал: «Наверное, Филя просит, чтоб мы перепечатали этот столбик». Над колонкой стояла рубрика «Из партии», а под ней небольшой заголовок: «Николаев». И дальше такие строки:

> *«Николаевский комитет нашей партии возобновил издание своей газеты «Борьба». В конце сентября вышел № 4 этой газеты. Содержание: 1) Передовая, 2) Капитал наступает, 3) Письма в редакцию, 4) Стихотворение... Приводим следующие выдержки из передовой статьи: «Проходит время усталости и отдыха после пережитых побед и поражений. И снова сознательный рабочий приступает к своей обычной борьбе...»*

— Ваня! — сказал Шура и вдруг весь побледнел и посмотрел на Кондарева округлившимися глазами. — Так это же про нас!

Слышишь? Ленин пишет про нас! В Швейцарии! В своей газете! Слышишь? — Он подскочил, толкнул в плечо Кондарева, засмеялся: — Ну, чего ты молчишь? Пляши барыню! — И закружился в погребе, готовый пуститься в пляс. Шура был абсолютно уверен: если в «Пролетарии», то это непременно о них написал сам Ленин, своей рукою, и сам напечатал в подземной типографии, такой же, как у них в Николаеве. «Вот обрадуется Иван, когда узнает, что о нашей «Борьбе», обо всех нас в «Пролетарии» сказано! На всю Россию и на всю рабочую Европу сказано: живет, выходит «Борьба» в Николаеве!»

Поздняя осень в Женеве стояла сухая, и только в последние дни зарядили дожди. Срывался ветер, бился в окна тугими крупными каплями. Владимир Ильич встал из-за стола и закрыл форточку. На подоконник упало несколько мокрых листьев клена. Ленин поднял их, подумал: пускай просохнут, будут чудесные прокладки для книг. Он любил тонкий горьковатый запах клена, особенно сейчас, осенью.

Сел за статью, которую обещал до двенадцати часов закончить. Однако его прервали. Надежда Константиновна принесла свежую почту. Ленин встал (мельком посмотрел на часы — успеет закончить статью) и, с удовлетворением потирая руки, сказал:

— Давай, давай, Надюша, сюда! Всю почту, всю давай мне, а тем паче из России! На столе мы немного приберем: здесь, извини, как всегда, архибеспорядок. — Он отодвинул книги, бумаги, газетные верстки, загромождавшие его стол, и показал Надежде Константиновне: можно вот сюда положить.

На свежую почту Ленин всегда набрасывался с жадностью, откладывая в сторону всякую работу; часто сам разрезал конверты, присматривался к адресам, радовался, если встречались знакомые фамилии и знакомые по борьбе места, читал и перечитывал письма, статьи, корреспонденции, бегло просматривал последние газеты, присланные из разных стран. Вот и сейчас с таким же увлечением он просматривал почту. А за соседним столом сидел Анатолий Васильевич Луначарский, член редколлегии «Пролетария». С веселой полуулыбкой посматривал он на Ленина, ему большое удовольствие доставляло смотреть, изучать, запоминать, как Владимир Ильич читает почту, особенно из России, и как отражается богатая смена чувств на его открытом темпераментном лице.

— Вот, Анатолий Васильевич! — с тонкой лукавинкой в глазах вдруг улыбнулся Ленин и поднял в руке какой-то конверт. — К счастью, нет сейчас в комнате Надюши. Вы бы сами увидели, как она ревнует меня к металлистам. Да, да, именно к рабочим-металлистам...

Ленин и Луначарский искренне и раскатисто засмеялись, и в редакционной комнате долго еще раздавалось эхо их молодого чистосердечного смеха.

— Так вот,— продолжал Ленин (глаза у него еще блестели от шутливых воспоминаний).— В последнее время у меня появился адресат, к которому я, должен признаться, не безразличен. Тоже рабочий и тоже металлист. Только на этот раз не из Петербурга, а с юга России, из Николаева. По-видимому, человек молодой и сугубо непосредственный. И подписывает письма с трогательной простотой: Филя Андреев, токарь по металлу. Филя Андреев,— Ленин произнес это имя мягко, повторил его еще раз, словно знакомился с николаевским рабочим уже здесь, в стенах редакции, и запомнить хотел это имя навсегда, даже как будто знал, что встретится с ним в партийной школе в Лонжюмо.— Я вам, Анатолий Васильевич, давал читать его письма, вы видели присланную им рабочую газету «Борьба». Прошу вас, посмотрите на свежее сообщение, я подчеркнул для вас строки: «Интеллигенты капитулировали, предали нас, мы сами ведем всю пропаганду, сами, исключительно силами заводских рабочих, издаем газету». Как вам, батенька, нравятся такие сообщения с мест? Прекрасное подтверждение того, что мы с вами отстаиваем в нашей газете! После поражения, после разгрома революции интеллигенция убегает от нас массово (и скатертью дорожка, скажем ей вслед). Наша партия освобождается от полупролетарских, полумещанских попутчиков, кое-кто кричал у нас, что это крах, что это развал партии, а что мы видим на самом деле, в живой жизни? На место шаткого интеллигента к нам приходит рабочий, к нам приходит токарь по металлу; он засучивает рукава и вместе с такими же рабочими выпускает нелегальную газету, и газету, должен вам сказать, политически зрелую, боевую, острую газету. Именно через выпуск печатного органа и через участие в нем он и сам формируется как сознательный революционер и вместе с тем пробуждает массы к политической жизни. Вот, Анатолий Васильевич, о чем говорят мне коротенькие письма Фили Андреева, токаря по металлу, как симпатично он подписывается. И еще обратите внимание. У нас почти не было никакой связи с Николаевом, хотя там, как вы знаете, немалый отряд индустриального пролетариата. А теперь...

Владимир Ильич вытащил из Филиного конверта второй и третий номер «Борьбы», потом несколько аккуратно переписанных от руки писем с местного судостроительного завода и корреспонденцию.

Он подчеркнул (и эту мысль повторил на заседании редколлегии), что сейчас в России, в условиях полицейско-драконовской реакции, центром партийной работы часто становится нелегальное, глубоко законспирированное издательство. Ленин прочитал отрывки из газеты «Борьба» и заметил: можно только представить, каким ударам и каким преследованиям подвергаются наши николаевские товарищи, но газета выходит, выходит массовыми тиражами и призывает рабочих к организованному отпору. Здесь еще одно примечательное явление, говорил на заседании Ленин. Именно с выходом газеты на местах начинаются самые энергичные

поиски связей с Москвой, с Петербургом и даже — через невероятно сложные конспиративные пути — с революционными центрами за границей.

Ленин передал в секретариат свежие номера «Борьбы», попросил немедленно познакомиться и подготовить обзор газеты. Мы должны поддержать николаевских товарищей, поздравить их с серьезным успехом — напоминал он каждый раз, когда получал через Петербург или Одессу партийную почту из Николаева, а в ней — сердечные коротенькие записки от Фили Андреева.

И «Пролетарий» не забывал маленькой рабочей газеты, которая с таким трудом и в таких муках издавалась под землей. (Говорим «маленькой», ибо своим скромным форматом она помещалась на развернутых ладонях заводского котельщика Вани Кондарева.)

Посмотрим на страницы «Пролетария».

Сразу же, в тридцать восьмом номере, первый отклик на «Борьбу», на выход ее в свет. Почти полностью перепечатана передовая статья «Борьбы» с теми глубокими, поистине пророческими словами: «Трудно нам будет создать постоянный орган теперь, когда даже легальная робкая печать гибнет от суровых кар администрации. Будут тяжелые жертвы. Но мы должны нести их, ибо это необходимо рабочему классу».

Следующий, тридцать девятый номер. «Пролетарий» помещает на своих страницах довольно большую корреспонденцию из Николаева, в которой говорится о разгуле реакции в Николаеве и упоминается о «Борьбе», о том, как «два первых номера имели огромный успех и во многом подняли интерес рабочих к организации».

Сороковой номер «Пролетария»... Посмотрите, с какой последовательностью и с каким неослабным вниманием следит ленинская газета за подпольным рабочим изданием! В сороковом номере — снова обзор и снова почти полностью перепечатана передовая статья из «Борьбы», на этот раз за октябрь.

Сорок первый номер. Редакция «Пролетария» только что переехала в Париж, и сразу — обзор третьего и четвертого номеров «Борьбы» за ноябрь и декабрь. В обозрении указаны статьи, которые «Борьба» перепечатывала из «Пролетария» (передовая о Думе, письмо-обращение московских большевиков, ленинская статья «События на Балканах и в Персии»).

И вот в конце декабря, когда «Маня» уже была наглухо закрыта и засыпана землей, в Париже выходит пятидесятый номер, и он приносит в Россию такие слова:

> *«Товарищи рабочие г. Николаева приложили все усилия, чтоб создать нелег. печ. орган* (так в газете). *Эти усилия увенчались успехом, начала издаваться нелегальная газета «Борьба»— орган Николаевского к-та партии. Если принять во внимание, что всю без исключения работу несли на своих плечах рабочие, что ни*

одного интеллигента не было и что газета заполнялась статьями самих рабочих,— станет понятно, как много сделали товарищи для развития социал-демократического движения в Николаеве. Трудно даже представить себе, каким огромным успехом пользовалась газета среди широких трудящихся масс».

К сожалению, этих высоких слов не пришлось ни услышать, ни прочитать Михаилу, Шуре или Ивану. Они были в то время далеко и от «Мани», и от своего дома.

Вскоре парней постигла новая беда. Кончился керосин, а денег в домашней кассе — ни копейки. Пришлось реквизировать у матери все свечи из-под икон. Елена Федоровна сначала ворчала, особенно тогда, когда Шура встал на табурет и полез за свечами, горевшими перед образом пречистой девы. Потом она вздохнула и отделалась шуткой:

— Бог с вами, берите. Вы и сами как те святые схимники, которые сидели когда-то в пещерах.

Перешли в подземелье на церковное освещение.

Шура понемногу знакомил Кондарева со шрифтами, показывал, как набирать газету. Они думали, что связали свою судьбу надолго с «Маней», и неплохо, если и Кондарев научится типографским премудростям. Парни еще не знали, что дни их пребывания в подземелье можно сосчитать на пальцах. И что Фокин уже занес свою руку над ними.

Вроде медленно, по одной букве, по одной строке заполняли они раму шрифтом, а глядишь — закончили набирать передовую, в раме лежала готовая, зашплинтованная и укрепленная линейками статья Ленина о событиях на Балканах. Оставалось еще немного... Но Шуру подвели, можно сказать, под монастырь церковные свечи. В погребе они горели плохо, светили еще хуже. Приходилось их ставить перед самыми глазами, впритык к раме. Шура сжег себе брови; лицо покрывалось такой копотью, словно был он чистильщик угольных печей. Но главное — у него заболели глаза. По-видимому, от сильного раздражения и густого дыма.

Шура промывал их водой, однако это не помогало. Глаза отекли, слезились, нестерпимо резало под веками. Шура не обращал бы внимания на резь, вытерпел бы, но он стал плохо видеть, почти не различал мелкое очко в буквах-брусочках. Пришлось обратиться к матери, и домашняя знахарка приготовила ему капли из трав. Он промывал глаза, лечился как мог, хотя чувствовал — мало помогает. Теперь, когда он стоял с припухшими глазами над рамой, щурился, приглядываясь к миниатюрным брусочкам, мучился со светом, потому что, когда отодвигал свечу дальше, ничего не видел, а когда пододвигал поближе — слезились глаза. И все же работа понемногу продвигалась, ползла вверх, как букашка по стеблю.

Первый разворот был почти готов.

Они укрепляли брусками первую и последнюю колонки. Не очень ладно все у них получалось, текст не помещался в раму, парни немного нервничали, и в это время, совсем некстати, над их головами раздался стук. Шура понял, что стучит мать, но только стучала она в этот раз уж очень нетерпеливо.

Шура осторожно, как барсук из норы, выглянул из погреба.

...В человеческом мире раннее предвечерье, морозец, снежинки летают в воздухе. Возле погреба стоит мать.

— Шура, иди на кухню, посмотри, кто пришел! И Ваню Кондарева зови! Бегом!

В темное боковое отверстие Шура негромко позвал Кондарева, сказал, чтоб тот потушил свечи. Подождал его.

То, что у них под землей тяжелый, спертый воздух, они почувствовали сразу, как только выбрались наверх. Словно пьяные, покачивались от легкого дуновения ветерка, от кислорода, от мороза во дворе.

Сначала вышел из будки Кондарев. Шура постоял немного, подождал, пока какие-то люди прошли по улице, и, выбрав момент, быстро побежал вдоль стены в дом.

В комнате обнимались, смеялись, хлопали друг друга по плечу Кондарев и Михаил. Да, да, посреди кухни стоял их лохматый, пожелтевший, неуклюжий, широкий в плечах и такой сейчас худой Михаил!

— Мишка, убежал из тюрьмы, а? — подскочил к ним Шура. — Молодчина, ты просто молодчина, Бульба!

Шура и не знал, что этим неосторожным «убежал?» он так больно ранил брата.

Когда они, уставшие от радостной встречи, присели к печке и маленькая Аленка взобралась на колени к дяде Михаилу, зная, что дядя соскучился по ней и начнет ее ласкать, а мать принялась размачивать на полдник сухари к растительному маслу,— словом, когда они приготовились слушать Михаила, у их подпольного Бульбы (наверное, от тяжелого воспоминания) вдруг задергались губы, а лицо замерло в холодной обиде. С комком в горле он сказал: нет, не убежал, его просто выпустили из тюрьмы! И это «выпустили» (да еще по собственному желанию) было для Михаила, как видно, самым страшным унижением и наказанием. Три дня он протестовал, не хотел выходить из камеры, решительно отказывался, заявлял начальнику тюрьмы, что выйдет лишь тогда, когда выпустят всех арестованных. Освободили из-под ареста только его, Михаила, да еще Мульгина и Виктора Т-ко. Им объявили: за отсутствием доказательств. А Грабов, Ровнер, Андреев сидели изолированно, в камерах-одиночках, им ставили в вину выпуск газеты и угрожали ссылкой в Сибирь. Протест Михаила поддержали и Мульгин и Т-ко. Правда, когда им все-таки пришлось покинуть стены тюрьмы, Т-ко как-то спешно и виновато попрощался с Михаилом, даже в глаза не посмотрел, сослался на то, что сейчас возьмет извозчика-ваньку и что есть

силы помчится к Нюте, а то она там, одинокая и брошенная, совсем умрет без него от тоски и переживаний. О «Мане», о выпуске газеты Т-ко слова не сказал, будто подпольная типография исчезла и больше не существует... С болью в сердце Михаил отпустил его, а про себя подумал: «Ладно, пускай убегает. Набили мы немного руку, попробуем сами печатать. Может, только придется кого-то пограмотнее взять, чтобы вычитывал страницы». На душе у Михаила тяжело было от мысли: повторный арест, тюрьма... а тут еще Нюта... Не охладел ли, не разочаровался ли их друг с Соборной?

Михаил упрямо стоял на своем и не вышел бы из камеры без друзей-подпольщиков, но во время небольшой прогулки по тюремному двору к нему подошел какой-то черномазый детина, по-видимому из уголовных, и передал записку. Записка была от Акима и Фили. Они просили, убеждали Михаила, чтобы тот согласился и возвратился домой, надо выпустить листовку, а еще лучше — один номер газеты. Тогда бы вся затея охранки пришить им дело тайной типографии разлетелась бы в прах.

Словом, и в тюремных стенах начала работать редакция. Филя, Ровнер, Козловский готовили статьи для четвертого номера «Борьбы». А Михаил с нелегким сердцем оставил товарищей и отправился домой. Идея — именно сейчас выпустить газету и тем самым дать крепкого пинка под зад жандармам, именно сейчас, после арестов, когда «крючки» этого совсем не ожидают,— такая идея убедила Михаила: надо возвращаться к «Мане». Конечно, Михаил не знал, что охранка плела тем временем свои сети. Как раз в эти дни Фокин сообщил в департамент полиции, что счел целесообразным освободить из-под ареста Петрова, поскольку тот, по имеющимся данным, является техником тайной типографии, что его освобождение позволит жандармам продвинуть свою агентуру поближе к технике. Чтобы скрыть свой маневр, Фокин выпускает и Т-ко, который также подозревается в связях с типографией, и Мульгина. Ротмистр понимал: рано вырвал он Мульгина из подполья, такой человек нужен будет в городе в самые ближайшие дни. Из тюрьмы провокатор Проня успел передать Фокину еще одно сообщение: комитет собирается выпустить четвертый номер газеты и тем самым доказать, что все арестованные в ночь на 6 ноября не причастны к делу о типографии...

В таком сложном переплетении доносов, подтасовок, заранее продуманных и подготовленных охранкой комбинаций и вышел Михаил за ворота каторжной тюрьмы. В одном пиджачке, в войлочных полусапогах, откуда выглядывали голые ноги, побежал он к себе домой.

Подмораживало. Но лед все же был тонкий, и Михаил до колен проваливался в лужи, которые поблескивали под корочкой льда черной, словно мазутной мутью. Всю дорогу он кашлял, прикрывал грудь пиджачком. А с Буга хлестал и хлестал ему в лицо холодный ветер, дул с лимана, где раскачивались на якорях два

линкора и целый караван коммерческих судов. Мокрый, совсем озябший прибежал Михаил домой.

Елена Федоровна засуетилась возле сына, отыскала где-то старые штаны, на скорую руку починила их, дала переодеться. Собралась было затопить печь, однако извечная это беда: топлива в доме — ни щепочки. Тогда втащила она на кухню свой девичий сундук, невысокий, разукрашенный цветами, сказала Михаилу: разбей, все одно шашель его ест. Сосновые доски от свадебного материнского сундука весело затрещали в печи.

...Сгорели косы, сгорели годы в непосильной работе, сгорело все приобретенное в молодые годы — черный шерстяной платок с кисточками, который обменяла у болгар, последний лоскут полотна, что берегла себе на похоронную рубашку, свадебный сундук — все сгорело, пошло на еду, и ничего мать не жалела, не вспоминала. Только не думала она, что придется добираться ей вскоре и до святых икон...

Пока они сидели возле печи и грелись (маленькая Аленка, забравшись к Михаилу на колени, обнимала его), мать поставила на стол роскошный праздничный ужин: размочила в воде овсяные сухари, сверху растительным маслом полила, даже чеснок для приправы нашелся. Пригласила всех — и сыновей, и Аленку, и Ваню Кондарева. С удовольствием и аппетитом ели они сухари. Немного отогревшись, с радостью и добротой поглядывал Михаил на Ваню Кондарева, на своего молчаливого друга, спрашивал у Шуры: «Ну как ты догадался, Шура, кого надо пригласить?» И сидя в камере, и по дороге домой Михаил думал об одном: придет и, прежде чем спуститься в погреб, попросит мать сходить за Ваней Кондаревым. Ваня — именно тот человек, который им нужен сейчас позарез, когда самый большой враг в подполье — болтливость, пустые разговоры.

Бульба не мог сидеть спокойно, рвался побыстрее к «Мане». Он второпях дожевал сухарь, вытер губы и сказал:

— Айда! Фокин не ждет. Он быстро спровадит наших товарищей в Сибирь. Пошли!..

Поднялись из-за стола. А в это время...

С легким скрипом, медленно открылась дверь. На пороге, словно призрак из гоголевского «Вия», неожиданно появился... Проня Мульгин. На нем был рыжий внакидку плащ, большие сапоги, перепачканные грязью. Лицо — твердое и тоже рыжеватое. Проня окинул всех пристальным взглядом. Кивком головы поздоровался, но рот не раскрыл, так и стоял, крепко сжав зубы.

На кухне все сразу умолкли.

Шура и Кондарев не знали Мульгина, поэтому рассматривали его с любопытством — что это за друг, такой плотный, словно туго набитый кирпичами, заглянул сюда. Мать загремела посудой, засуетилась:

— Господи, а мы только что поужинали, чем же я буду вас потчевать? Проходите, снимайте плащ, садитесь вот здесь, чтоб

сваты садились, у нас невеста растет. Сейчас я что-нибудь приготовлю.

Проня не шевельнулся.

Он кивнул Михаилу на дверь,— дескать, дело есть, выйдем.

Михаил был в недоумении. Сегодня возле ворот тюрьмы они расстались и ни о какой встрече не договаривались. И вообще — Проня Мульгин... И в подполье, и в тюремной камере все отзывались о нем совершенно по-разному: свой, железный, «когут», подозрительный... Михаил в тюрьме не то чтобы сторонился его, а просто не знал, о чем можно говорить с этим твердым, скуластым человеком. И вот неожиданный визит домой.

...Когда-то давно в Холодной Балке, куда Михаил ездил к немцу-колонисту купить недорогого вина в розлив для помолвки Василия с Маней, он услышал, как одна молодая красавица цыганка пела на ярмарке:

...Перед смертью,
Перед моею смертью
Пришел ко мне сват
Весь в черном...

Таким жутким голосом пела цыганка, что у Михаила мороз побежал по телу, а женщины-крестьянки возле возов крестились и плакали...

С Мульгиным они вышли в сени. Коротко о чем-то перемолвились. Проня промелькнул плащом перед окном, потопал на улицу. А Михаил вернулся на кухню, на лице его — все то же выражение недоумения.

— Зачем заходил этот друг? — спросил Шура.

— Монах его знает,— нетвердо произнес Михаил.— Всучил мне какую-то записку. Просит, если будем Ровнеру что-нибудь передавать, так чтоб и ее передать, там что-то, говорит, очень важное, на кого-то подозрение, что ли.

Михаил не сказал, что дал маху с этой запиской. Надо было не брать ее, сказать — никакой связи у него с Ровнером нет. Михаилу показалось, что Проня пришел посмотреть, кто у них собирается. И вот сдуру не смог отказать, взял записку, и теперь она жгла ему руки, не знал, что с ней и делать.

Парни перекинулись несколькими словами по поводу посещения Прони Мульгина. Шура даже передразнил, как он тяжело ступает и как исподлобья смотрит. Посмеялись немного и пошли в свое подземелье.

В погребе, когда закрыли боковой тоннель и зажгли иконные свечи, Михаил еще раз внимательнее присмотрелся к брату. У Шуры, как он заметил, были отекшие красные глаза и гноящиеся веки, лицо совсем нездоровое, зеленоватое.

— Слушай, брат, когда ты спал? — забеспокоился Михаил.

Шура развел руками и равнодушно улыбнулся. Дескать, кто его знает! Под землей не поймешь, когда день, а когда ночь.

— Он у вас с характером,— заметил глухо и недовольно

Кондарев. — Не спит. Вон голова едва держится на плечах. А уснет, так одним глазом, как заяц.

Михаил взял Шуру за худое костлявое плечо, подвел к спартанским нарам:

— Ложись! Ложись и поспи хоть часок! Слышишь, что я тебе сказал?!

Это было, пожалуй, впервые, когда Михаил повысил голос на Шуру, заставил его покориться. Потом как-то незаметно получилось, что старшим в погребе оказался Шура, он был наборщиком, распорядителем. Говорил, кому чистить раму, кому резать бумагу, а двое заводских друзей-котельщиков молча и послушно все это делали, довольные тем, что судьба их снова свела вместе.

Шура укрылся плащом, натянул на себя тяжелые мокрые куртки, которые висели на стене, решил согреться и уснуть. Разморенный, вялый, с гнетущей болью во всех суставах, он положил голову на кулак, свернулся калачиком, и казалось ему — сейчас же уснет мертвым сном, хоть из пушки стреляй, не добудишься. Но только вздремнул, как тут же и подскочил; на измятом лице — тревога и растерянность, словно проспал целую вечность, проспал все на свете. После такого сна еще сильнее болели глаза и ныло тело.

Встал с мыслью, что расшевелит себя, расходится в работе.

Склонился над столом. Михаил и Иван уже втиснули текст, никак не помещавшийся в раму. М-да, четвертый номер... Вот он лежит перед ними в стальной оправе, тускло отсвечивает густыми рядами букв. Даже не верится: они, три заводских парня, сами сделали газету. И не хуже, ничем не хуже тех, что верстал Т-ко... Шура придвинул свечу, с затаенным дыханием осторожно снял пробный оттиск. Прекрасно видно и заглавие «Борьба», и номер 4-й, и передовую, которую они получили из тюрьмы, и начало статьи Ленина. Ну разве что надо немного поменьше краски накладывать, а то строчки и без того густые, кое-где сливаются.

А в основном — хорошо, можно печатать.

...Снова заработала «Маня». Полетели чистые листы под каток Михаила, с мягким масляным чмоканьем прилипала краска к цилиндру, и ложились на стол готовые мокрые оттиски газеты. Все шло как и раньше: словно не было арестов, не сидел в тюрьме над Бугом комитет и не вырвала жизнь из их среды Остапа и не погнала его по ночным дорогам.

Работали, как было у них принято, всю ночь до утра. На минуту открывали погреб, чтоб дать свечам кислорода, а сами усаживались возле отверстия и жадно дышали. Их мокрые потные тела обдувало ночным холодом, и долго после этого Шура и Михаил надрывались от кашля.

Уже вырастал на столе небольшой ворох газет.

Ребята и не знали, что темными переулками именно сейчас, в глухую предутреннюю пору, спешит к ним еще один гость.

Они как раз взяли разбег, вошли в ритм, поторапливая друг друга улыбками, мимолетным взглядом, и казалось, словно сами

руки, сами валки мелькали над рамой, и ложились, ложились свежие отпечатки на стол; в этот момент кто-то неожиданно грубо выбил заслонку в тоннеле. Столбик, прижимавший к стене кругляк фанеры, и сама фанера с грохотом повалились на землю.

Все трое, как от выстрела, подняли голову. Ничего не понимая, посмотрели на вход: может, ветром выбило заслонку?

А из тоннеля высунулись ноги, потом чье-то молодое упругое тело. Легкий прыжок — и перед ними в полный рост предстал и даже вытянулся по стойке «смирно»... новобранец Иван Петров.

Их Остап, их «диктатор» стоял навытяжку, не мигая, твердо сжимая губы (но они предательски весело двигались), и, кажется, готов был отрапортовать о своей молниеносно краткой службе во имя царя, веры и отечества.

С криком радости и недоумения подземное товарищество бросилось к нему. Посыпались вопросы: как? откуда? надолго? знает ли, что с комитетом?.. Иван приложил палец к губам, строго показал на потолок: «Тсс! Услышат!» Не выдержал суровой мины, сам засмеялся и бросился пожимать парням руки. Сказал, что ему ничего не надо пояснять. Он уже вторую ночь в Николаеве, побывал у некоторых товарищей и знает, что комитет в тюрьме, что Михаил возвратился домой, и даже догадывался, что они печатают газету.

Сразу же предупредил: для охранки, как думает он, уже не тайна, что техника находится в их дворе. Секрет только в том, где она — в сарайчике, в доме или на чердаке? Кое-кто верит и серьезно убеждает «крючков», что техника не в их дворе, а в ингульских ямах.

Не теряя ни минуты, Иван снял пиджак, взял у Михаила большой вал, типографскую булаву и стал у рамы. Кивнул Шуре:

— Давай, не задерживай с краской! Покажем, где раки зимуют!

Все здесь были свои, заводские, привыкшие к слаженной работе, поэтому сразу начали дружно, с хорошего разгона, и Шура, который двумя взмахами — сначала кисточкой, а потом валиком — наносил краску на стекло и на текст, возбужденно посматривал на Ивана, на друзей-котельщиков и с удовлетворением думал: «Вот это дело! Вчетвером! В четыре пары рук. Как в лучшие времена нашего подземелья».

Настал короткий отдых, и Михаил рассказал Ивану, что к ним, как-то странно и неожиданно, приходил Проня Мульгин, оставив для Ровнера записку. Эта новость не удивила Ивана. Он стоял посреди погреба, прислонившись спиной к столбу, которым они когда-то укрепили потолок в типографии; услышав о госте, почему-то поплотнее сжал жестковатые губы, немного подумал и сказал, что этот Проня настойчиво ищет встречи с ним, передает через подпольщиков, что хотел бы встретиться, ссылаясь на важное сообщение о какой-то отступнице, и намекает... на Дору, связную комитета. Однако Иван не торопится, отодвигает встречу,

ему не нравится этот навязчивый Мульгин с постоянными подозрительными намеками то на одного, то на другого товарища...

Иван проработал еще полдня (точнее, полночи), пожал парням руки и сказал, что ему пора, товарищи его ждут в порту, на явочной квартире.

Он ушел перед рассветом, в темную безлюдную пору.

И снова остались печатники одни, без Остапа.

Не стоит говорить, в каких трудах и муках рождался последний номер «Борьбы». Представьте себе: четвертый месяц сидит в гнилом подземелье Шура, почти столько же сидел здесь Михаил, немного меньше Иван, голод, физическое истощение, кашель и чахотка, которая все заметней и все зловеще напоминала о себе... Четыре месяца жили они в глухой яме, каждое утро становились у стола и работали денно и нощно, не жалея сил, работали до потери сознания, до полного истощения. И все-таки нашли в себе силы и последний, четвертый номер напечатали огромным тиражом — десять тысяч экземпляров. Для ручной печати — это небывалый тираж. Надо помнить еще, что десять тысяч обернулись для них полными двадцатью, ведь каждый экземпляр они печатали дважды, сначала одну сторону газеты, потом другую. Скупой на слово Иван Петров упоминал в своих воспоминаниях: Михаил несколько раз задыхался, падал, теряя сознание, он вообще боялся лишиться рассудка... Видно, тюрьма, болезни, прогулки в одной сорочке и пиджаке до тюрьмы и обратно не прошли ему даром...

Они печатали газету, а над их головами погромыхивали сапогами сыщики и жандармы, разгуливал здесь и сам бог слободской полиции Корецкий, за ним неотступно, словно тень, сновал насупившийся, озлобленный на весь мир басурманин Тарзивон. Они в самом деле топтались по их головам, ибо погреб, как вы припоминаете, выходил на улицу, но это сборище полицейских жандармов, куда-то поторапливаясь на охоту, не догадывалось, что тайная большевистская типография, которую они разыскивают и в Олешках, и в Долинской, и в Херсоне, обитает именно здесь, у них под ногами.

В последнее время над погребом не раз проходил в тяжелых раздумьях и Проня Мульгин. До боли сжимал он свои челюсти и хмуро смотрел под ноги. Вслед за Проней на Слободку перебрались другие агенты, шпики, всякие подозрительные субъекты. Именно сейчас, когда завод выбросил за ворота массу рабочего люда и эти люди не знали, куда себя девать, бродили по улицам, толкались у трактиров, возмущенно ругались и размахивали руками, именно в эти дни за трактирными столами то тут, то там оказывались добрые застольные братья, и, смотри, какой-нибудь брат доставал новенькие деньги, заказывал графинчик николаевской, чтобы потушить черный огонь в душе, слушал заводских с пониманием, сочувствовал им, а сам тем временем направлял разговор в нужную сторону: на тайные происки социал-демократов, на их подстрекательство и науськивание, которые, дескать, и кончаются

либо кровью, либо голодной петлей — локаутом. Пьяный Вакула, которому вконец растравили душу, бился головой об стол, кричал, что не пойдет домой, там шестеро детей и все жрать хотят, а его как скотину выгнали. «Пойду в кровь и в бога перебью всех! Прямо в контору — и ломиком!» Вот тогда добрая душа слегка брала Вакулу за плечи, успокаивала, подливала ему в чарку николаевской и спрашивала чистосердечно: «Где те, подстрекатели, где они со своими газетами и типографиями, куда они попрятались?»

В охранное отделение сыпались донесения из Слободки: «техника разобрана», «упорные слухи о том, что социал-демократы готовят четвертый номер», «рабочие утверждают, что типография ликвидирована, а все приспособления к ней спрятаны в нескольких квартирах». Агент Штучник доносил: «Как выяснилось из разговоров, тайная типография — у Петровых, где-то закопана во дворе». Часовой (Мульгин) точно указывает: «Один из рабочих заявил, что техника установлена у Михаила Петрова, в погребе, с тайным ходом через клозет».

...Первая прибежала Таня Грабова. Без платка, в грязных ботинках, она с порога взволнованно крикнула Елене Федоровне:

— Беда! Передайте хлопцам, что скоро за ними придут. Выдал один подлец!

Этим подлецом оказался, к великому удивлению, не черносотенец, а свой, заводской дуралей, сосед Петровых — канатчик Грисько, человек въедливый, заносчивый, любитель поругаться и поскандалить. Он встревал в любую компанию, лез к каждому со своим «слышь меня!», до хрипоты спорил о политике и был не дурак выпить за чужой счет. В трактире, хорошо хлебнувши на дармовщинку, он пустился в высокую политику, ругал царя и Фокина, а затем сказал, что эти остолопы ищут типографию у черта на куличках, а она вот здесь, у Петровых, будкой прикрыта.

После Тани прибежала мать Кондарева, высокая и худая Ульяна.

Она тоже сказала:

— Соседка! Что ж это делается! Ко мне трижды заводские приходили, и такие встревоженные все, передают, пускай хлопцы прячутся, а то этот Грисько людям такое сболтнул дурным своим языком.

И наконец — из города записка от Ивана, ее принесла Дора: «Братцы, спасайте «Маню»!»

...Горят свечи, блестит маслянистая краска на черных колонках набора, лежит целая гора газет на столе. Десять тысяч! Куда все это? Что с ними делать? На улице день, оттепель, мокрый снег падает на землю, превращаясь в белую кашу. Что делать с типографией? От волнения, от затхлого воздуха душит Михаила кашель, стоит он весь пожелтевший, рукой закрывает лицо. Шура сел и опустил руки. Как же так? В четвертом номере они дали только начало статьи Ленина, написали в газете: ждите продолжения — и что же? Конец? Конец всему? А он уже вырезал для следующего номера большую заковыристую пятерку.

Первым опомнился Кондарев. Он не ожидал, что вот так вдруг прервется их подпольная жизнь. Встал, потуже затянул пояс. Изрытое оспой лицо сразу стало хмурым, серьезным.

— Вот что, братцы, давайте быстро перенесем газету к нам. У нас есть погребок в сарайчике, замаскированный. Скорее туда!

Они завернули пачки газет в тряпье, в пиджаки, связали их, и вот уже Кондарев взвалил себе на плечи тяжелую ношу. За ним Шура, Михаил. Бегом, через сад, задворками понесли связки газет. Мокрый снег слепил им глаза, таял под ногами. Неподалеку слышались голоса, но делать было нечего. Или идти на риск, или все разом провалить.

Спустились снова в свой погреб. Вспотели от беготни, от нервного напряжения. Михаила душил кашель. Техника... Куда ее спрятать? Забить тоннель землей? А яма, а будка? У Шуры промелькнула мысль, а что, если перенести будку подальше! К изгороди! И выкопать новую яму.

— Молодец, Шура! Умница!

Они заговорили в один голос, блеснула хоть какая-то надежда, и теперь время, мысли, да и жизнь вокруг — все побежало и закружилось быстрее. Михаил подкинул новую идею: надо вырыть не только яму, а и погреб, маленький, примитивный, и тоннель при нем... Второе, фальшивое подземелье. Пусть набрасываются на него.

Парни переглянулись: и верно! Это единственный выход, он может хоть в какой-то степени оттянуть провал. О себе они и не думали, а если и думали, то мимоходом: бог с ним, отсидят и вернутся. А техника? Технику надо спасать, с таким трудом ее добывали.

...Густыми хлопьями падал снег. Наступило глухое предвечерье. Землю сверху стягивало ледяной корочкой.

Шура, Михаил, Иван Кондарев работали словно каторжные. Лихорадочно, в полузабытьи, обливаясь потом. Вырыли квадратную яму, перетащили туда будку. Возле забора выдолбили новый погребок — небольшой, примитивный, с боковым, на полметра, ходом. Землю выносили ведрами и корзинами, сначала высыпали ее возле дома, утаптывали, чтобы получилось что-то похожее вроде на завалинку; потом оттаскивали ее за огород, в канаву. Почва оттаяла под снегом и пудами прилипала к лопатам, тащилась за подошвами. Это выводило из терпения, раздражало даже терпеливого Ваню Кондарева. Вскоре парни стали черными и грязными, как угольщики. Возле них суетилась и мать, тихонько стонала, таская землю, подбирала комья, подметала веником, чтоб не оставалось нигде свежих следов. В душе она молилась, просила святую деву Марию, чтоб та отвела от дома беду, заступилась за ее мучеников-сыновей.

В новый погребок перетащили из типографии залитый краской стол, не пожалели даже пригоршню шрифта — рассыпали его по полу, вокруг разбросали мусор, стены обрызгали остатками керосина, который мать принесла от Моргулисов. А технику «вывезли» — старый тоннель забили камнями, яму забросали глиной и сверху присыпали чистым снегом.

Уже в темноте, в тусклом мигании огоньков из окон слобожан, закончили работу, отряхнулись во дворе, отнесли на чердак лопаты и корзины.

Взмокшие от пота, черные, с ног до головы в земле, уставшие до изнеможения, ввалились парни на кухню. Елена Федоровна принялась из чайника поливать им на руки теплую воду и, поглядывая в окно, со страхом и надеждой сказала:

— А все ж, сыны мои, бог вас бережет. Посмотрите, какой повалил густой и лапчатый снег. Сейчас все присыплет.

Через полчаса во двор Петровых влетела конная полиция и отряд городовых. Теперь уже Тарзивон и Христенко взялись за лопаты, повели во двор капеллу «крючков». Они быстро опрокинули будку, раскопали бутафорную «Маню», вытащили из ямы стол, сгребли на земле пригоршню металлических букв. А техника...

— Где техника? — заревел Тарзивон, возвратившись в дом темнее черной ночи. Злой, с раздутыми ноздрями, он подошел к Петровым и Кондареву.

Шура показал ему рукой — что-то такое, напоминающее полет воробья, и сказал:

— Тю-тю техника. Давно переехала. Еще осенью. На Холодную Балку, милостивый государь.

Тарзивон как будто и не размахивался, только слегка хекнул — и Шура полетел в угол, ударился головой о стену, с губ потекла кровь.

Всем троим надели наручники и погнали со двора.

Можно сказать, «Мане» повезло: обыск производили в темноте, при свете керосиновых фонарей, и наверное, именно потому, что Тарзивон лютовал и торопил других, не заметили полицейские следов грубой подделки: свежие срезы лопаты на стене, подозрительно маленькое подземелье, где работать можно было согнувшись, да и вообще... А между тем на стол Фокина лег протокол, в котором указывалось, что, согласно произведенному обыску и показаниям арестованных, тайная типография Николаевского комитета разобрана и вывезена на новое место, установить которое пока еще не удалось...

И снова: не удалось! И это — после новых арестов.

Теперь Фокин вынужден был признать, мягко говоря, свой тактический промах. Он сообщает в департамент полиции: все было сделано, чтобы в корне уничтожить типографию,— заслана агентура в комитет и непосредственно к технике, самым тщательным образом произведены обыски, арестованы все подозрительные лица, но...

«Между тем предположение мое оказалось безуспешным,— сообщает в департамент Фокин, но тут же перечеркивает написанное и своей рукой исправляет,— не увенчалось успехом, так как типография не обнаружена, местность же эта хоть и провалена, как указывает агентура, но техника остается где-то неподалеку или в другом районе...»

Департамент полиции, декабрь 1908 года: «Предлагаем принять все надлежащие меры к выявлению местонахождения и ликвидации типографии Николаевского комитета Российской социал-демократической рабочей партии, а также быстрейшего ареста лиц, причастных к этой технике». Фокин — чернилами наискосок: «В связи с прекращением работы выявить ее местонахождение теперь значительно труднее».

Сводка агентурных донесений, декабрь 1908 года: «Ответственный техник Остап... находясь в Херсоне, бежал оттуда и в данное время находится в Николаеве». (Сообщение подал Часовой, он же Мульгин.) Резолюция Фокина: «Поручить агентуре установить место проживания Остапа».

Сводка агентурных донесений, январь 1909 года: «Высланные в Вологодскую губернию Козловский, Андреев, Ровнер... приобрели фальшивые паспорта и с прибытием на место ссылки собираются бежать». (Сообщение подал Часовой, он же Мульгин.) Ротмистр Фокин: «Поставить в известность начальника Вологодского губернского охранного отделения».

Письмо из Усть-Сысольской тюрьмы Вологодской губернии, февраль 1909 года: «Товарищ Остап! Мы до сих пор вспоминаем, как прекрасно выступала Маня на публичных концертах в Николаеве. До нас дошли слухи, что экипаж, в котором она ехала, перевернулся и Маню забрали в госпиталь». Записка Остапа: «Маня после аварии заболела, у нее тяжелый перелом ноги, но она жива и лечится дома».

Сводка агентурных донесений, март 1909 года: «По словам Петра (Полякова), в настоящее время вся типография находится у него, и он предполагает установить ее у себя во дворе, сделать подкоп под сарай, а ход из хаты вывести в переулок, так как она стояла до сего времени на старом месте под землей». Подполковник Фокин (обратите внимание, не ротмистр, а подполковник Фокин): «Ввиду того что агентура близко стоит к Петру, в настоящее время не предвидится возможным предпринять какие-либо решительные меры».

Департамент полиции, январь 1910 года: «Просим вашего высокоблагородия сообщить, когда ориентировочно предполагается ликвидация тайной типографии Николаевского комитета РСДРП».

Подполковник Фокин: «Доношу, что при общей ликвидации Николаевского комитета РСДРП, произведенной 10 и 11 декабря прошлого года, тайная типография названного комитета не обнаружена».

Департамент полиции, январь, февраль, март 1911, 1912 годов: «Просим сообщить, какие приняты меры к ликвидации тайной типографии» и т. д. Подполковник Фокин: «После произведенных арестов моя агентура значительно ближе продвинута...»

Все повторилось. Письма, телеграммы, напоминания, мягкие и категорические требования из Петербурга — и толстые папки донесений Фокина. Приняты решительные меры... продвинуто... арестованы... по имеющимся сведениям, будет ликвидирована в самое

ближайшее время... Ротмистр, а затем подполковник Фокин десятки раз арестовывал все тот же большевистский комитет, в корне уничтожал подполье, высылал рабочих в Вологду и Тобольск. А тайная типография выскальзывала из рук, снова и снова оживала — в девятом, в десятом, в двенадцатом годах; она выпускала революционные листовки и снова притаивалась, и эта затянувшаяся, непрерывная война продолжалась для Фокина не день и не два, а целое десятилетие, до Февральской революции семнадцатого года. С внутренним врагом, который врылся в землю и после каждого удара оставался в подполье, в неизвестном укрытии, Фокин воевал с глухой злобой, неотступно, надеясь, что вот-вот вырвет его с корнем. Правда, со временем он стал замечать, что ходит по замкнутому кругу, из года в год топчется на одном и том же месте, как лошадь, запряженная в привод.

Мало-помалу он начал привыкать к такому кружению. Тайная типография становилась для него таинственным миражем, той самой приманкой, до которой сколько ни тянись, никак не дотянешься. Приятным для Фокина было то, что в офицерском звании он поравнялся с Левдиковым, с одесским выскочкой, но по привычке по-прежнему и ему посылал копии своих донесений.

Все для Фокина повторилось. Время в жандармской России шло по замкнутому кругу — аресты, обыски, протоколы, хорошо продуманные рапорты: дабы в корне пресечь... подорвать силы означенной техники и так далее. Впряженный в беспощадную жандармскую машину, беспощадную и к своим людям и к политическим противникам, тянул он свое ярмо преданно и исправно до тех пор, пока не прогремела над головой Февральская революция.

А Петровых время и события все дальше и дальше несли вперед — к развязке. Арест — после того памятного вечера, вместе с Кондаревым. «Маня» лежала в земле, глухо забитая камнями. «Борьба» не выходила. Четвертый номер был последним. Михаила, потом Шуру, а позже Ивана по этапу погнали в Усть-Сысольск, где сидели их николаевские друзья, высланные туда немного раньше. И кто знал, что Усть-Сысольск станет для Петровых таким трагически роковым.

«БУДУТ ТЯЖЕЛЫЕ ЖЕРТВЫ...»

Долгие осенние ночи. В Слободке грязь и темнота. Окна у Петровых не светятся. Не видно огня ни вечером, когда в заводских домах укладываются спать, не зажигается он и утром, до первых заводских гудков. Можно подумать, что в доме все вымерли. Какая-то печать запустения чувствовалась во всем. Сорванная с петель калитка, заросший бурьяном двор, как будто покинутый людьми, обитые дождями стены, дранка, осыпающаяся со старой крыши,— все говорило о нужде, вдовьем одиночестве. Но если бы кто-нибудь немного повнимательнее пригляделся к жилью, то все

же заметил бы в глубине комнаты слабенький, едва теплящийся огонек.

Это молилась Елена Федоровна перед сном.

Она берегла тоненькую, как соломинка, свечу, ставила ее перед иконой святой Марии, зажигала на минутку, чтоб только прошептать вечернюю молитву.

Мать снова разбил паралич, на этот раз ей сковало и ноги и поясницу; Елена Федоровна не могла уже встать на колени, не отбивала поклоны, только шептала: «Ты мне прости, божья матерь, сама знаешь, как доживать нам в старости. Я уже обуться негодна, внучка мне и валенки на ноги натягивает, не знаю, что бы я делала без нее». Вот так застывала мать каждый день перед иконой, скорбно складывала руки на груди и стоя шептала свои молитвы.

Молитвы у нее были простые и каждый вечер одни и те же.

Сначала она вспоминала старшего сына Василия и невестку Маню, молилась за них, просила у заступницы, чтоб послала им хотя бы корку хлеба и тепла в долгих их странствиях и скитаниях, отвела их от ревности (они ж молодые, а на сцене приходится целоваться с чужими), уберегла их от простуды и всех болезней, от жандармских обысков, от недоброй молвы и после всех мытарств чтобы привела их хоть перед самой смертью ее, матери, в родной Николаев.

Потом, вздыхая, Елена Федоровна вспоминала своих сыновей-великомучеников Ивана, Михаила и Шуру. Прошло два года, и только одну записку получила она от них (привез товарищ из Усть-Сысольска), в которой они писали, что сидят втроем, вместе с николаевскими товарищами, и, когда вернутся домой, еще отзовется «Маня». В своей молитве Елена Федоровна обращалась к каждому сыну в отдельности. Михаила просила, чтоб, когда гонят его конвоиры, закрывал грудь и не садился у мокрых стен, а лучше — на ногах стоял. (Не знала Елена Федоровна, что не дойдет ее молитва до Михаила, не дойдет сквозь мерзлую вологодскую землю, которой он навсегда укрылся и от ветров, и от простуды.) Ивана мать просила: «Ты среди них за старшего, будь потерпеливее, не лезь на рожон, сохрани жизнь и себе и своим братьям... А ты, Шура, слушай Ивана и тоже грудь закрывай, не ходи нараспашку, и пускай мать-заступница пошлет вам в тюремные начальники не собаку, а хоть плохого, но человека. Может, и придет к вам когда-нибудь облегчение...»

Елена Федоровна вспомнила, как совсем недавно, когда сыновья еще были дома, однажды Иван сказал ей: «Замучили мы вас, мама, нашей газетой. Гоняем вас бог знает куда на те Пески, съедаем все ваши заработки». Она и в самом деле стирала тогда за двоих, носила газету, вязала из шерсти чулки на продажу, пока не скрутило ей руки, намного больше работала, чем теперь, и все же держалась на ногах, может потому, что твердила себе: надо, надо для них, иначе пропадут в своей яме. А сейчас не было у нее

тех мук и забот. Никто не просил ее сходить на Пески. Но без сыновей сразу стало на душе пусто, незаметно подкралась старость, одолели болезни, и Елена Федоровна, особенно в эту пору, в затяжную дождливую осень, все больше лежала в постели и стонала.

Мать торопливо потушила свечу, чтоб подольше ее хватило, и в темноте пошла, прихрамывая, на кухню. Вспомнила: снова забыла попросить заступницу, чтоб паралич не отнимал у нее руки, а если отнимет, то пускай лучше заодно с жизнью.

Последние ночи ей было так плохо, так тяжко стучало сердце, что просыпалась она с мыслью — наверно, умрет. Лежала и думала: сени закрыты на засов, стучать начнут и Аленку испугают... Тяжело придавила ее старость (и какие-то недобрые предчувствия), но все же с большим трудом она вставала и, постанывая, держась руками за стены, ковыляла в сени, отодвигала засов.

Решила не закрывать дверей ни в сенях, ни на кухне. Чтоб людям, когда она умрет, не прибавилось бы хлопот — вырывать двери с засовами и щеколдами.

Спали теперь с Аленкой, не запираясь. Иногда среди ночи ветер врывался в сени, а потом и на кухню. Елена Федоровна, приготовившаяся мысленно умирать (а что бывает страшнее смерти?), вздрагивала, замирала от страха, когда ветер с разбойничьим грохотом влетал на кухню и разбрасывал по полу решета, валенки, стульчики. Мать крестилась, ей в самом деле мерещились в это время портовые душегубы. Под боком тихонько спала, посапывая, Аленка, и мать думала: как будет эта малышка жить без нее, одна?

Нет, смерть в эту осень отступила от нее. Но Елене Федоровне пришлось пережить еще один удар, еще одно страшное известие.

На улице было сыро и неуютно. Беспокойно бился в стены ветер. Елена Федоровна и Аленка укладывались спать, жались друг к другу, чтоб как-то согреться. У матери болели суставы, и она чувствовала, что это к перемене погоды. В воздухе похолодало, и пепельные тучи низко тянулись над землей; видно, будет гололед со снегом... Озябшим телом Аленка прижалась к бабушке и тихо зашептала:

— Баб, слышите... Снова у нас ветер ходит. За порогом. Слышите?

В коридорчике кто-то подергал за щеколду, зашуршал мокрой парусиной. Елена Федоровна — с онемевшим страхом в душе — обернулась и увидела в двери тусклый силуэт человека, который остановился и настороженно оглядывался в сумраке.

— Есть кто-нибудь здесь живой или нет? — раздался мужской охрипший голос.

— Господи, кто это? Проходите. Мы здесь с внучкой. Вдвоем. — Елена Федоровна попыталась встать, натянуть на плечи покрывало.

Мужчина в потемках нащупал стул, тяжело уселся и устало вздохнул, словно изгоняя из груди все те ветры, которыми наполнился в дороге. От него пахло мокрой парусиной, холодным дождем, грязью, прилипшей к сапогам.

— Откуда вы прибыли к нам? Вижу, вы человек незнакомый и, наверное, нездешний, так ведь? — спросила Елена Федоровна и сама не поняла, почему у нее заныло сердце и глухо застучало, как стучит мерзлый комок о доску гроба.

— Дорога у меня, как вам сказать, неблизкая и не очень веселая. С Севера дорога. Зажгите лампу, я вам что-то покажу.

— Вы от сыновей пришли! Вы принесли что-то недоброе, правда? Говорите! Я душой это чувствую! Вот уже второй месяц что-то у меня лежит мертвое вот здесь, у сердца. Что у вас? Говорите!

Дрожа всем телом, мать поковыляла к иконе, принесла свечу. Зажгла ее. Перед ней сидел немолодой мужчина, уставший, давно не бритый, в бушлате и коротком плаще, все мокрое, распарилось от пота, глаза серые, в кровянистых прожилках, наверное от ветров и дорожной усталости.

Поставила перед ним свечу.

Мужчина попросил нож, снял забрызганный грязью сапог, вспорол в голенище подкладку. Вытащил оттуда конверт. Весь истертый, он почти расползся в его руках. В середине конверта лежало что-то твердое.

— Вот посмотрите. Если не ошибаюсь, вас зовут Елена Федоровна. Возьмите. Это фотокарточка. Немалый мне пришлось сделать крюк — на Луганск пробираюсь, но Иван к вам просил зайти.

Мать принялась рассматривать фотокарточку. К ней по лавке перебежала Аленка и тоже потянулась поближе к свету. На небольшой фотокарточке стояли маленькие, как муравьи, люди, стояли плотной стеной, с шапками в руках. Кто они, эти люди, матери трудно было разобрать старыми подслеповатыми глазами. Но Елена Федоровна сразу заметила белый крест впереди и шапки в руках. Сердце у нее вздрогнуло и снова глухо стукнуло в грудь, как смерзшийся комок.

Она долго смотрела на фотокарточку. Лицо ее окаменело, фотокарточка запрыгала в руке, а глаза затянуло жгучими слезами.

— Рассказывайте,— попросила она и сама не услышала своего помертвевшего голоса.

Мужчина как-то резко и словно сердито провел ладонью по заросшим щекам, нахмурился и, чтоб не смотреть старой женщине в глаза, опустил голову. Так, напряженно глядя в пол, он и начал свой рассказ.

На севере, в Вологодской губернии, есть глухой уездный городок Усть-Сысольск. Он затерялся в непроходимых лесах. Домики

там деревянные, черные от сырости и плесени, гниют в болотной воде; единственное каменное здание — тюрьма. Эта тюрьма слишком хорошо известна среди революционеров, начальник в ней здоровенный громила, из бывших жандармов, деспот, который от безделья, ради собственного удовольствия и для большей потехи устраивал массовые экзекуции с молебном и пением священника. С особенным наслаждением сек он политических, хотя знал, что сечь их не разрешается. Когда пороли политического, стоял рядом и с каждым ударом удовлетворенно приговаривал: «Так их, браточков! Секите! У меня разрешено, даже очень разрешено, у меня свои, сысольские законы». И в самом деле, порядки в его лесной каторжной вотчине были свои: стражники стреляли по окнам камер, если кто из заключенных неосторожно близко подходил к окну, стреляли по тени за решеткой, по привиденью, что мерещилось или же снилось тому, кто стоял возле стены во внешней охране.

Громила этот часто хвастался: «Из каменного моего дома, слава богу, за тринадцать лет никто не убежал, а если и бежал, то на кладбище, не дальше».

При всем своем дремучем невежестве, он умел расколоть, разбить арестантов на группы, разжечь между ними вражду, натравить уголовников на политических, откровенно подзадоривая бандитов на самосуд и расправу. Так было до приезда в Усть-Сысольск партии николаевских социал-демократов. С восьмого года здесь отбывали ссылку Иван Грабов, Филя Андреев, Аким Ровнер. Позже пригнали сюда братьев Петровых и Кондарева, а с ними Виктора Т-ко и Мульгина. Словом, как и на Кемн, здесь собралось все николаевское революционное землячество, собрались самые ближайшие друзья-рабочие (и среди них Проня Мульгин). Они сразу влились в тюремное товарищество и повели тайную, упрямую борьбу за права политических, за человеческое обращение с заключенными. Николаевцы объединили и социал-демократов, и разрозненных эсеров, проникли и в уголовную камеру, впервые провели одну молчаливую забастовку-протест, потом другую. Вся тюрьма словно вымерла, отказались выходить на прогулку, требуя прекратить рукоприкладство и телесные наказания.

Самое страшное — особенно для Петровых — произошло в конце апреля.

По тюремному расписанию всех арестантов, политических отдельно, уголовников отдельно, гоняли двумя большими партиями к реке, за десять верст от тюрьмы, где они кирками, ломами, лопатами выдалбливали лес, вмерзшийся в лед, чтоб к началу весеннего паводка освободить реку от бревен. Лед был затоплен водой, проваливался у берега, все ходили мокрые, простуженные, страдали от ревматизма.

С утра до вечера арестанты таскали по воде бревна, подвода с обедом обычно запаздывала, привозили им два чана холодной, аж синей овсяной каши; шум, возмущения, жалобы, ругань не утихали. Однажды по дороге в тюрьму конвоиры избили политиче-

ского, кривого несчастного Иону, старого ткача из гомельской мануфактуры.

Иван Петров шел рядом с этим рабочим; он толкнул одного из солдат так, что тот полетел головой в коряги, быстро скрутил ему руки, схватил винтовку и передал начальнику конвоя. «Возьмите! — обжег его горячим взглядом. — И если ваши псы еще раз позволят себе такое, я этой винтовкой распоряжусь иначе». Все это произошло в одно мгновение, конвойные не успели даже опомниться; боясь нагоняя за нерасторопность, они сделали вид, что ничего не произошло, и тихо развели арестантов по камерам. Но о дорожном инциденте, наверное, все-таки доложили начальнику тюрьмы. Тот сначала вызвал кривого Иону, и несчастного белоруса высекли в так называемой фельдшерской палате. Старик едва доплелся до камеры, не в силах даже заправить в штаны мокрую от крови рубашку. Потом два надзирателя пришли за Иваном Петровым.

Это было вечером, накануне Первого мая.

Иван вышел из камеры, но рукой крепко ухватился за дверной косяк. Не отрываясь от дверей, он высунулся плечом в коридор и крикнул в темную каменную галерею, где тянулись ряды камер:

— Товарищи!

Глухой, но сильный его голос понесся по узким переходам.

— Товарищи! — повторил Иван. — Говорит двадцатая камера. Завтра день маевки. Встретим же его нашим протестом. Вы знаете, друзья, сегодня снова поиздевались над нашим товарищем-рабочим. Пускай услышат царские палачи, как гремит вся тюрьма от «Марсельезы». Слушайте нас, двадцатая запевает!

Надзиратели не ожидали такого. Они бросились к Ивану, чтоб сбить его с ног, заткнуть рот, однако Иван не случайно ухватился за дверной косяк. Он отскочил обратно в камеру, а там его плечами заслонили товарищи. Шура, Михаил, Филя Андреев, сомкнувшись плотной стеной, готовые к любой схватке, вместе, в дружном порыве запели «Марсельезу». Песню подхватили ближайшие камеры, потом левое и правое крыло тюрьмы. Эхо понеслось по низким коридорам, и вскоре уже вся тюрьма гремела от протестующего гимна. Каторжане, отторгнутые от мира, с презрительным клеймом преступников, пели в камерах стоя, повернувшись лицом к замкам, к решеткам, к ненавистным глазкам в дверях. Тяжелые, крепостные стены, каменный пол и этот жуткий хор под мрачными нависшими сводами... У некоторых заключенных даже мороз побежал по коже. Люди чувствовали себя людьми, слитыми в одно целое, способными на самый решительный отпор.

Загремели по окнам выстрелы, по коридорам забегали надзиратели, застучали прикладами в двери камер.

Начальник тюрьмы вызвал из казарм всю охрану, поднял на ноги всех надзирателей, послал гонца в город за вооруженным подкреплением.

В двадцатую камеру ворвался усиленный наряд охраны. Шты-

ками оттеснили к стене заключенных, вырвали из толпы Петровых. Начальник тюрьмы знал, что у двух братьев, Михаила и Шуры, от чахотки часто из горла шла кровь, и он решил добить их окончательно.

Братьев погнали коридором, а начальник тюрьмы бежал сзади и разъяренно кричал:

— В баню их! В баню! Попарьте, чтоб шкура полезла!

С Ивана, Шуры и Михаила сорвали арестантское лохмотье, загнали в тюремную баню. Повалил густой горячий пар, малиновым жаром засветился на плите камень под чаном. Братья легли на пол. Они обливались холодной водой и даже шутили, не догадываясь, какую им «баню» приготовил сысольский тюремщик. После парной, в нижнем белье, их погнали в подвал. Там бросили в темную яму-камеру. Над головой загремел тяжелый чугунный засов.

Петровы знали, что в тюрьме есть ледяной карцер, местного, так сказать, сысольского изобретения. Через минуту, когда на их головы полилась сверху холодная болотная вода, они поняли: это и есть тот самый карцер, в котором самодур-начальник заморозил нескольких политических.

Их залили водой по шею. Еще немного, и их просто потопили бы, братья упирались затылками в мокрые камни свода и тянулись на цыпочках, чтоб с головой не погрузиться в воду.

В ту пору ночи в Усть-Сысольске были холодные, с морозами. Ночью земля покрылась прозрачной ледяной коркой, вода в карцере замерзла. Братья простояли в яме целые сутки. После парной их сводило судорогой и знобило так, что никакими усилиями воли нельзя было сдержать мелкую лихорадочную дрожь во всем теле. Мокрые волосы замерзли, слиплись в пучок колючих иголок. Льдинки плавали между ними мелким толченым крошевом, которое, словно стекло, резало тело, а потом соединилось в толстый холмистый шар. Они стояли неподвижно, обледеневшие, полуживые. Изредка к ним доносился приглушенный шум, топот сквозь потолок. Братья знали, что это протестуют, неистовствуют арестанты, требуют, чтоб их освободили из карцера.

На второй вечер братьев, полумертвых, бросили в камеру. Они были темно-синие, ледяная корка холодным блеском искрилась на спинах. Товарищи подхватили их под руки и, бесчувственных, уложили в кровати. Иван через полчаса немного пришел в себя, хмуро уставился в стену. Когда увидел подошедших к нему друзей, движением пальца показал на горло: извините, мол, говорить не могу, все словно онемело.

Самый крепкий среди братьев, Иван первый ожил и выжил. За ледяной карцер он расплатился нарывом в горле и фурункулами, покрывшими все тело.

Михаила и Шуру знобило всю ночь, сколько ни набрасывали на них товарищи арестантской одежды, они никак не могли согреться. Потом начался жар, тяжелый бред. Тюремный эскулап ощупал их горячие тела, изрек зловещее слово: чахотка. Притом у Михаи-

ла оказалась скоротечная чахотка (погреб ему не прошел даром); стало ясно, долго он не протянет.

Шура угасал медленнее.

Скупое лето забрело на Север, арестантов начали выводить во внутренний двор на прогулку, гоняли на речку грузить лес, а Михаил не встал с кровати, не выходил за порог камеры; от темноты, от камерной сырости он стал бледный, аж прозрачно-синий, сквозь тонкую кожу просвечивались его молодые широкие вены. (А мать молилась, чтоб закрывал грудь, не садился у мокрых стен).

Настала тяжелая последняя ночь: Михаил, в бреду, тихо и тревожно позвал Ивана и воспаленными губами зашептал: «Ваня! Я пойду, ты отпусти меня, слышишь?.. На завод я пойду. Мы вдвоем с Кондаревым, мы уже обо всем с ним договорились, там под стеною есть тайный ход, мы прокопали... Только отпусти... Что-то страшно давит грудь. Положи сюда руку, слышишь? Я люблю тебя. Только отпусти, я прошу тебя, как брата...»

Иван положил руку на его пожелтевший холодный лоб и сказал тихо: «Отпускаю».

К утру Михаил умер.

Секретно

«Николаевский полицмейстер
12 сентября 1910 года
Начальнику Николаевского
охранного отделения

Усть-Сысольский уездный исправник Вологодской губернии отношением от 25 августа сего года за № 92 уведомляет меня, что высланный из города Николаева... мещанин Мих. Вас. Петров 24 августа сего года умер в Усть-Сысольской городской больнице от хронического воспаления почек.

Об этом сообщаю вашему высокоблагородию для сведения».

Утром мертвого Михаила положили на одноконный тарантас и, покрыв рогожей, отвезли в сысольскую больницу. Большой друг начальника тюрьмы по пьянке и охоте на диких кабанов фельдшер-живодер ощупал холодное тело Михаила тут же на подводе, даже не сняв рогожки, и, задумчиво пожевав ядовито-желтый табак, махнул рукой:

— Везите назад!

Он обнаружил у покойника хроническое воспаление почек, о чем и записал в акте обследования.

Два дня лежал покойник в холодной, пока друзья не вырвали у начальника тюрьмы разрешение похоронить Михаила публично, без всяких церковных формальностей. Арестантская процессия, окруженная тюремным конвоем и нарядом конных городовых, гру-

стно потянулась на кладбище. Петь, произносить речи во время похорон категорически запрещалось. Молча склонив головы, стояли товарищи над гробом, только видно было, как у каждого набухали жилы, когда рука сжимала в кулаке шапку.

Шура смотрел на острый подбородок брата, на чужое, неподвижно-восковое лицо, и глаза его наполнялись слезами. Не верилось, что их любимого брата, их лирика больше не будет рядом, что он уходит от них навеки и что теперь в жизни вместо него — зияющая прорва, прогалина, пустота; в этом мире впереди пойдет теперь только Иван, и только его спина будет опорой для Шуры, а другой спины уже не будет; не будет рядом Михаила, их Бульбы, их доброго, неуклюжего, золотоволосого брата, над которым они часто подтрунивали и которого так любили: за доброту, за незлобивость души.

Товарищи молча опустили гроб в глубокую могилу. Из толпы донеслось: «Осторожно, осторожно ставьте, под стену». Когда холодная северная земля застучала о крышку гроба, какая-то тень, какая-то судорога пробежала по лицам людей. Шура тихо без слов, не открывая рот, запел революционную похоронную «Замучен тяжелой неволей». Вслед за ним загудели сурово-сдержанно и другие голоса, тяжелый гул понесся над толпой. Стражники задвигались, зашикали в спину заключенным, городовые обступили плотным кольцом политических. Каторжане стояли неподвижно, опустив головы, и из их груди вырывалось приглушенно-скорбное:

Служил ты недолго, но честно
Для блага родимой земли...
И мы — твои братья по делу —
Тебя на кладбище снесли...

— Возьмите, Елена Федоровна. Горькая память, но все же память. Это минута прощания на кладбище. Вот впереди стоит Шура, немного дальше — ваш Иван. Здесь все — ближайшие друзья Михаила... Вашего сына очень любили. Перед тем как мы опустили гроб, один петербургский товарищ сфотографировал нашу группу.

Мужчина погладил маленькую артисточку по голове, (она грустно заглядывала ему в лицо) и передал Елене Федоровне снимок.

Мать взяла фотокарточку и словно окаменела с ней в руке. Она ничего не видела, сидела, убитая страшным горем, и слезы сами катились из глаз. Только немного позже, через какую-то минуту-другую она услышала, как неожиданно застучали тяжело лопаты где-то за ее спиной и как мерзлая земля ударила по доскам гроба. Это хоронили живое, еще теплое тело сына, крик застрял у нее в горле. Елена Федоровна быстро отвернулась в угол и вдохнула пересохшим ртом воздух. Потом глухо сказала:

— Извините. Я уж потом, ночью, со слезами наговорюсь с сы-

ном и с его могилой. А теперь скажите, как вы? Может, переночуете у нас? По вас видно, издалека добираетесь, наверное, аж оттуда, из каторги, правда?

— Оттуда, Елена Федоровна, с Севера. Убежал, чтобы доказать тому громиле, который убил вашего сына, что от него убегают не только на кладбище, а и домой, чтобы снова бороться.

Мужчина поднялся, сказал, что ему пора, лучше ночью уйти из Николаева. Еще раз грустно погладил Аленку и вышел. Ветер захлопнул за ним дверь.

Мать легла в холодную постель и до самого рассвета слушала, как стучали тяжелые лопаты и сырой суглинок холмом ложился ей на грудь. Уже словно из земли она услышала протяжный посвист ветра наверху, гнавшего стужу над Ингулом, как ледяной коркой стягивает землю.

Больная и усталая, Елена Федоровна поднялась и подошла к окну. Прикоснулась рукой к цветам. Замерзшие стебельки посыпались на пол, как битое стекло, с тонким холодным звоном. Господи, подумала мать, плохая примета. Хоть бы там Шуру хворь не одолела, двадцать детей я отдала земле, вырастила и потеряла Михаила, неужто, пресвятая Мария, ты у меня еще и двадцать второго заберешь?

После похорон брата слег в камере и Шура. Его не покидало гнетущее, навязчивое предчувствие: после Михаила — очередь за ним... Вместе они работали в погребе, вместе находились в карцере, вместе подхватили чахотку, а теперь и туда — вместе. Но молодой организм не сдался, и Шура отсидел в холодном Усть-Сысольске еще один год, еще половину лета, до окончания своего срока, и совсем больной вышел из-за решетки. Домой он вернулся, когда на улицах Николаева гремели марши и колонны матросов с песней «Наш могучий император» (тот, что «сам командовал полками, сам и пушки заряжал») проходили по Соборной площади. Россия готовилась к войне, в мире пахло порохом, а от херсонского воинского начальника один за другим приходили грозные предупреждения мещанину Ивану Петрову о том, что если упомянутый Петров не явится на сборный пункт, то будет немедленно предан военно-полевому суду. А упомянутый Петров, бежавший из Усть-Сысольска, жил теперь в глубоком подполье в Николаеве, очень редко навещал мать, да и то только ночью.

А тем временем столько дома произошло перемен!

Однажды к дому Петровых подкатил крытый высокий тарантас, немного напоминавший фургон или цыганский шатер. Из него вышла молодая красивая горожанка, чернявая, стройная, очень элегантно одетая.

Маленькя артисточка, хозяйничавшая с бабушкой во дворе, сразу заметила на горожанке и белоснежную кружевную кофту, и темную зауженную в талии юбку, и большие сережки в ушах.

Едва приоткрыла горожанка калитку во двор, как Елена Федоровна всплеснула:

— Маня! Приехала! Слава богу. А я с утра поглядываю на улицу, точно сердцем чуяла — будут у нас гости, да еще такие дорогие.

Елена Федоровна бросилась целоваться с невесткой. Рядом с ней стояла худенькая, загоревшая девочка, узколицая и очень хрупкая для своих десяти лет. Она с любопытством и несколько озадаченно смотрела на красивую женщину, артистку Марию Прозоровскую, и не узнавала своей матери.

Пока Маня здоровалась со свекровью и прижимала к груди свою родную вихрастую, одичавшую дочку, извозчик снимал на землю большие плетеные корзины с театральным скарбом.

Елена Федоровна сразу же увидела на лице Мани, в ее глазах что-то тревожное, затаенное, и сердце матери вдруг сжалось от страха: усталость, надломленность, глубоко застывшая грусть, какая-то горькая, постаревшая, будто чем-то отравленная улыбка. «Что с ней?» — испуганно подумала мать. А присмотревшись внимательней, увидела, что Маня совсем измаялась, подорвала здоровье в той неприкаянной, неустроенной бродячей жизни, в той всепожирающей работе — ночью, без сна, без пристанища, в ежедневной людской суете. Театральные муки и истязания истощили и подорвали ее чересчур тонкую, отзывчивую душу. А за всем этим Елена Федоровна видела в ней и еще более серьезную хворь.

Маня быстро пошла в комнату. Из писем она узнала, что дома доживает последние дни безнадежно больной Шура. Он лежал в постели с книгой в руках. Упирался локтями в подушку и что-то сосредоточенно читал. Тишина за тюлевыми занавесками, холодок, просветленный сумрак и запах лекарств... У Мани сжалось сердце, со страхом всматривалась она в лицо Шуры и не узнавала его. В кровати лежал юноша — длинный, болезненно-бледный, бескровный от чахотки и совсем чужой. Из-под рубашки у него остро выпирали плечи. Когда-то крепкое, загоревшее, веселое лицо высохло, застыла на нем холодновато-синяя бледность — печать продолжительного пребывания в комнате. Маня заметила: на подбородке темнеют у Шуры густые точечки. «А он уже бреется»,— подумала она с удивлением и грустью.

Шура, наверное, услышал шорох у двери, повернулся и, широко раскрыв глаза, замер. Его щеки загорелись зловещим чахоточным огнем.

Маня еще раз посмотрела на костлявые Шурины плечи и, закрыв руками лицо, глухо заплакала. Она плакала и о Шуре, и о своей судьбе, чувствуя, как земля уходит из-под ног. В эту минуту Маня с присущей ей горячностью поклялась, что последние силы отдаст этому больному человеку, сделает все, чтобы облегчить его страдания, и в этом будет хоть какой-то смысл ее пустого теперь существования.

...Шура лежал в большой комнате, где когда-то они оборудова-

ли первую свою типографию и где выпустили несколько листовок. Теперь у него было много свободного времени. И он целыми днями читал. Когда становилось легче, поднимался с постели и брался за краски. В маленькой боковой комнате, где спала Аленка, он расписал стены краской. Рисовал не торопясь, с любовью, наслаждаясь своей работой. Терпеливо исполнял все самые прихотливые заказы племянницы: рисовал ей Черномора, Катигорошка, Волка, Принцессу...

Кровать Шуры стояла у глухой стены, и он подолгу изучал противоположную стену, дверь, стеклянную полочку над ней. Полочка почему-то особенно его заинтересовала. Возможно, тем, что когда заходило солнце, то полоска косого луча падала на ее стекло и долго золотилась, угасала, спокойно умирая, как умирает все живое в природе — тихо и с достоинством.

Шура долго присматривался к стеклу, примеривался глазом. Однажды встал, подвинул стол к двери, взял масляную краску и начал осторожно, неторопливо рисовать. Картина у Шуры получилась простая: плавная, как в открытом море, линия горизонта, слегка позолоченная вечерними лучами, а над горизонтом — мягкий оранжевый диск заходящего солнца.

Поздним вечером, когда к Шуре подсели Елена Федоровна и Маня, он взял свечу, зажег ее и поставил на стеклянную полочку. В сумерках над дверью приглушенными золотистыми красками ожила картина заката. В скромном пейзаже было что-то грустное и прощальное.

Маня посмотрела на картину и вздрогнула то ли от внезапной боли, то ли от страха.

— Шура,— сказала она подавленным голосом,— ну зачем ты так сделал... Закат, угасание? Это ты о себе... или обо мне, я вижу...

Для Петровых наступили очень тяжелые дни. Голод, холерная зона вокруг Николаева, нельзя выменять ни керосину, ни даже заплесневелых отрубей. Стал таять театральный гардероб Мани... Иван в подполье, прячется у товарищей, снова пытается наладить выпуск листовок. В доме у Петровых опять обыски, среди ночи подымают Маню, будят ребенка, вытряхивают рубашки из корзины... Маня плохо спит, ее мучают галлюцинации — ночью ей кажется, что за нею бесшумно ходят жандармы, вяжут ее, ведут через весь город, сквозь злопыхательский шепот толпы в тюрьму. Она в глухом отчаянии, возможно, в одну из черных минут наложила бы на себя руки, но рядом Шура, и Маня убирает за ним, кормит его, сидит возле него по ночам. Жизнь Шуры висит на волоске, и было бы жестоко, думала она, чем-то потревожить его, оборвать тоненькую нить — приблизить и без того неизбежное...

Как вспоминала потом племянница, Шура умер под вечер. Он лежал и смотрел, как затухает отблеск солнца на его картине, как луч ползет до самого ее края, как постепенно тускнеет, угасает, куда-то пропадает, уходя в небытие... Вдруг какая-то звенящая,

желтая, ярко слепящая точка отделилась от него и полетела, со звоном поднялась вверх и исчезла. Шура подумал: «Жизнь... оборвалась!» На мгновение его охватил страх: «Остановить!.. Почему я спокоен?» Сердце стукнуло и замерло, пульс прекратился, еще миг — и губы совсем помертвели бы, налились бы воском. Он с силой разомкнул их и крикнул:

— Маня! Умираю!

Маня прибежала в комнату. Шура лежал уже на полу, пытался поднять голову, открыть глаза, боролся за жизнь, но глаза сами закрывались, веки становились тяжелыми. Маня подхватила его, почувствовала слабый удар пульса — один раз, другой, потом холодную судорогу — и тяжелая мертвая неподвижность сковала все его тело.

Умер Шура на ее руках.

Двое суток, как и Михаил, Шура лежал непогребенный. Даже мертвый, он оставался политически неблагонадежным. И Мане пришлось обивать пороги, плакать и кланяться в городской управе, в полиции, чтоб получить разрешение на похороны, нанять возницу, могильщиков, бегать занимать деньги у соседей на гроб, на другие похоронные принадлежности. А потом — и это главное — ожидали Ивана.

Он пришел ночью, тайно, сказал — на полминуты. Сел возле Шуры, у его изголовья, склонился над гробом. Молча, с застывшей чернотой в глазах, долго смотрел на Шурины руки, которые успокоенно сложила мать на груди, на тоненькую свечу, на воск, медленно стекавший и остывавший между желтыми пальцами. О чем он думал в эту минуту, склонившись над телом умершего брата? О себе? О том, что жизнь брошена в пламя, что ему только двадцать с лишним лет, а уже пробивается седина на висках, что он потерял много товарищей по борьбе, и среди них самых близких — Михаила и Шуру? А может, он вспомнил слова из «Борьбы», оказавшиеся для них трагически пророческими? В первом номере, в передовой, напечатанной их руками, было сказано:

«Трудно нам будет создать постоянный орган теперь, когда даже легальная робкая печать гибнет от суровых кар администрации. Будут тяжелые жертвы. Но мы должны нести их, ибо это нужно рабочему классу».

Тяжелые жертвы... Кто думал тогда, что такой дорогой ценой они заплатят за четыре номера газеты? Заплатят жизнью Михаила и Шуры? А если б и знали, разве отступили? Разве отказались бы от недолгой радости, которую пережили на санной дороге из Кеми, от счастливых бессонных ночей, когда до горького и сладкого пота печатали свою газету в подземной «Мане»?

Дух борьбы никогда не умирает в пролетариате. Это был ответ Шуры и Михаила, ответ всей честной революционной молодежи, которая не смирилась с разгромом, не оставила баррикад и в глухую безнадежную ночь реакции.

«Прощай, Шура,— сказал Иван и коснулся пальцами его за-

крытых глаз. — Прощай. Завтра я не буду на похоронах, ты извини меня. Сам знаешь, филеры и сыщики будут тебя сопровождать до самой могилы, мы и мертвые им страшны».

Иван встал, молча простился с матерью и Маней. Говорить, утешать их не мог, не было сил — все в нем окаменело и оглохло. Он быстро вышел в сени и растворился в темноте так же незаметно, как и пришел.

Шуру похоронили. Оборвалась еще одна из нитей, связывающих Маню с этим чужим ей миром. Она еще жила, еще ходила по комнатам, еще выполняла некоторые поручения Ивана, но все делала словно во сне, машинально, мысли ее были углублены во что-то сокровенное, свое, недоступное другим людям. Даже Елена Федоровна не знала, что Маня уже приготовила себе для похорон белую полотняную рубашку и спрятала ее на дно сундука, написала записки родным, в которых всем все прощала, а дочь Алену просила, чтоб, когда вырастет, жила честно, любила людей и делала им добро, как бы тяжело ни пришлось ей платить за эту любовь и доброту.

...В сорок четвертом Елене Васильевне Прихненко-Подгурской — артистке фронтовой агиткультбригады — не раз приходилось выступать перед бойцами прямо на разбросанном лопатами снегу. По ходу пьесы ее «убивали» в начале второго действия, она падала перед зрителями на снег и неподвижно лежала в легком костюмчике до конца спектакля. Чтоб не примерзнуть к земле, она делала мостик: упиралась на пятки и на выпяченные лопатки, спину подымала немного вверх, вся напружинивалась и в такой позе замирала. К концу пьесы снег подтаивал под ней, а потом прихватывался морозом. Случалось, волосы, ботинки или спина, а то и все вместе примерзало к земле, и не однажды приходилось товарищам растирать ее спиртом. В этой роли она выступала в ту зиму ежедневно, иногда и несколько раз в день, и примерзала каждый раз к ледяной сцене. Пока она лежала «убитой», ей хватало времени подумать о войне, о себе, о театральных испытаниях и скитаниях, вспомнить свою жизнь, и часто на память приходила прощальная записка матери. Сколько бы ни пришлось платить за любовь и доброту, говорила перед смертью Маня, надо платить. Надо платить, потому что зло порождает зло, жестокость порождает жестокость, и только людская доброта может хотя бы потом, хотя бы в детях очистить нас и мир от насилия, от подлости, от эгоизма.

Февральская революция. Сбылось то, о чем мечтали и за что боролись несколько поколений бесстрашных революционеров. Дом Романовых, не так давно с невиданной пышностью праздновавший свое трехсотлетие, великий царский дом, который связан был родственными узами со всеми правящими дворами Европы и опирался

на могущественные силы и поддержку ротшильдов и мелонов, этот династический дом павлов, александров, николаев — разрушен! Первый акт восставшего народа: толпы вооруженных рабочих разбивают замки, с песнями крушат тюремные решетки царских застенков, выпускают на свободу своих товарищей. Вновь ранней весной с Севера и из Сибири потянулись на юг к своим революционным очагам группы политкаторжан, узников, засланных в самые глухие уголки империи.

Бурлит Николаев. Собираются те, кого тюрьмы и каторги разлучили на долгие годы. Возвратились Иван Чигрин, Аким Ровнер, Филипп Андреев, Иван Грабов — весь революционный конвент Слободки. Когда был создан комитет, избран Совет рабочих депутатов, когда снова на спинах заводских людей к власти потянулись эсеровские и меньшевистские «защитники», большевики вспомнили подпольную типографию «Маню», сказали: сейчас снова нужна газета! Без нее как без рук в сложной политической обстановке!

Разбросанные по самым отдаленным местам политзаключенные через своих людей, через все препоны и тюрьмы умудрялись присылать письма из самых глухих медвежьих углов, поддерживать друг друга и словом, и материально. Через свою политкаторжную почту николаевские товарищи узнали, что Иван Петров до февральских событий отбывал двадцатилетнюю каторгу в Астрахани. Комитет послал телеграмму астраханским большевикам с просьбой разыскать Петрова, освободить его, если он до сих пор еще томится в тюрьме, и помочь вернуться в Николаев. В дни хаоса, когда почта и телеграф почти не работали, неожиданно быстро пришел ответ от самого Ивана: «Спасибо, братья, выезжаю!»

...Возле ворот стояла старая, ссутулившаяся женщина. Влажный мартовский ветер с Ингула раздувал ее седые волосы. Как у всех старых женщин, лицо у нее заострилось, высохло, стало пергаментным. Она плохо видела и потому горбилась, прикладывала руку к глазам. Сквозь серое мерцание ей видно было разбитую, всю в лужах Военную улицу, а дальше лавку Моргулисов и даже два темных бугорчика на крыльце. Это, наверное, сидели, сложив по-скифски руки, Соня и Давид.

Несмотря на плохое зрение, она сразу узнала его по характерной, как она говорила, бурлацкой ходьбе, по широкой, развернутой в плечах фигуре. Так некогда возвращался с верфи и сам Алексеевич, если ему удавалось кулаками или шкворнем образумить конторских фармазонов, втолковать им правду.

Немолодой, тридцатилетний мужчина ускорил шаг и, вдруг задохнувшись от нахлынувших чувств, бросился к старенькой женщине, крепко обнял ее. Они прильнули друг к другу и замерли, такая тяжелая дорога лежала между ними, с карцерами, могильными крестами, с отравлениями, и так еще много всего было впере-

ди — третья революция, гражданская война, невероятно интересная и напряженная работа Ивана в наркомате, вместе с Кировым, — уже там, в новом мире, среди новых людей.

Тане Грабовой, видевшей встречу матери с сыном, показалось тогда, что вдруг вышли и стали возле них еще двое. Будто вся семья Петровых собралась около старого приземистого слободского домика. Шура, Михаил, Иван... Три сына-революционера и с ними мать. Они стояли рядом и сейчас, в это теплое весеннее утро, когда из города доносился шум огромной рабочей демонстрации, когда плыла по Соборной улице такая неудержимая человеческая река, которую уже не в силах были остановить ни Фокин, ни генерал-губернатор, никакая сила старого, разрушенного мира.

Николаев—Киев
1973—1976

ПОВЕСТИ

ВЗРЫВ

1

День выдался серый, туманный, с утра накрапывал дождь, и Софья, посматривая в окно на мокрые дома Арбата, думала, что же ей лучше обуть. За городом, наверное, непролазная грязь, весенняя слякоть. Натянула высокие замшевые сапоги и, не отрываясь от окна, взяла пачку легких папирос «Сальве» для себя и для партнеров.

Внизу, возле ворот, ожидал ее извозчик на старом, давно уже не модном экипаже — одноконном ландо...

— Поехали! — бросила кучеру.

Встретились в тот день тайно у Преображенской заставы, на окраине Москвы. И не все пятеро сразу собрались, а по одному. Кто пришел пешком, кто на извозчике приехал, некоторые, конечно, с опозданием, как водится у молодых людей из бывших институтских,— не очень-то любят они рано вставать и точность не в их привычках и правилах.

Но сегодня им везло. У заставы не оказалось ни красногвардейского патруля, ни отряда рабочей милиции. Москва была озабочена другим: немцы взяли Псков, угрожали Петрограду, и Совнарком во главе с Лениным (хотя об этом и не сообщалось в газетах) переезжал в старую столицу, в Кремль. День для такой прогулки исключительно удачный. Тишина и, казалось, вековое безлюдье застыли среди хмурых зданий и словно повисли в воздухе. Только легкий ветерок загонял под ограду кладбища жухлую прошлогоднюю листву, шевелил кусками промокших под дождем старых газет. А немного поодаль копались в мусоре худые лефортовские куры; от какой-то болезни перья у них выпали, и выглядели они почти совсем голыми.

Первой прибыла на своем ландо Софья, единственная в этом обществе женщина, молодая, красивая. Она легко спрыгнула на землю, достала из ридикюля кредитку, небрежно бросила извозчику и, заметно волнуясь, окинула взглядом грязную улочку, намокшие от дождя деревья, чтобы понять, куда двигаться дальше. Дождь перестал накрапывать, но все равно было и сыро, и холодно, солнце то появлялось, то скрывалось за низкими белыми облаками.

Судя по одежде, намеревалась она отправиться далеко за город. На ней были теплая меховая накидка, черная вязаная шапочка, хорошо сидевшая на ее маленькой и красивой головке. Она

подошла к воротам Преображенского кладбища, где на бревне неподвижно сидела в тоскливом одиночестве однорукая нищая старуха, обрюзгшая, в лохмотьях, нечесаная, грязная. Бросив ей в подол мелочь, Софья спросила, далеко ли отсюда Богородские дачи и как туда лучше проехать. Пока она разговаривала со старухой, приехал Борис — высокий, сухопарый человек крепкого телосложения, с замкнутым, красивым и волевым лицом. Нетрудно было увидеть в нем провинциала, не тронутого цивилизацией и воспитанием, натуру порывистую, склонную к крайним поступкам. Чувствовалась в нем нерастраченная сила молодости и самоуверенность, с которой приезжают в столицу сынки бывших уездных и губернских радикалов. За спиной висела у него новенькая охотничья двустволка.

Они перекинулись несколькими словами с Софьей, потом наняли извозчика, который дремал возле одного из домов Черкизова, и поехали дальше.

Однорукая нищая повела плечом, вытащила из-под лохмотьев свою вторую руку, целую и невредимую, потерла о рукав монету и проворчала скрипучим голосом:

— Ишь, барыня арбатская! Двугривенный подарила. Извозчику небось кредитку отмусолила! Морячка подцепила, офицерика, он ей, поди, как надо заплатит, а мне две гривны под нос! Креста, прости господи, нет на тебе, тьфу!

Пускай она себе ворчит, а нас должно насторожить другое: как и откуда догадалась старуха, что Борис недавно с флота? Или, может быть, выдала его характерная матросская походочка враскачку? Да нет, вроде бы ходил он легко и быстро, даже немного щеголевато. И усики носил обычные, небольшие, аккуратно подстриженные, черные, пожалуй, скорее городские, чем матросские. Возможно, и было у него что-то матросское, немного сдержанное, то, что приобретается во время службы флотской, даже и не особенно продолжительной, то, что замечают не все. А нищая старуха сразу заметила. Или сама она когда-то, в молодые годы, хорошо пожила и погуляла где-то в портовом городке, среди веселой матросни, или просто был у нее на случайных прохожих наметанный глаз.

Как только Борис и Софья уехали, прибыл на заставу еще один запоздалый «гуляка», черноволосый, лобастый, в охотничьих сапогах, с патронташем за поясом, а с ним еще двое. Они долго не задержались. Закурили, позевывая, взглянули на нудный пейзаж и отправились дальше: двое — к Халиловским прудам, а третий — через лес, к Яузе. От зорких старухиных глаз не ускользнуло, что были они не в том беззаботно-веселом настроении, с которым выезжают молодые горожане на утиную охоту.

Можно было подумать, что дороги их разошлись, однако через полчаса все пятеро вышли на одну и ту же просеку. Здесь молодые люди перегруппировались: к Борису и Софье присоединился приземистый человек в очках, роговая оправа которых сливалась с густыми черными бровями, и это придавало его лицу мрачный

вид. Втроем двинулись они вдоль берега Яузы. У деревенского мальчика, собиравшего в холщовый мешок щепки и хворост, спросили, где находится дача Крахмалева.

— Художника? — переспросил щупленький мальчик.

— Да, художника,— улыбаясь, ответила Софья.

— А вон там! — и мальчик в валенках указал рукой на излучину реки, где стояли деревянные летние домики. — Вон тот, голубятник, ихний!

Мальчик назвал голубятником крайний домик с мансардою.

Софья и ее товарищи направились туда через луг, на котором поблескивали лужи, а кое-где лежал еще почерневший снег. Двое с ружьями остались в конце просеки. Они разожгли костер, повесили чугунок на треногу и закурили. А трое медленно пошли к пустой даче.

Там Софья быстро, с присущей ей строгостью, окинула взглядом комнату художника и попросила занавесить окна. Борис сдвинул занавески, с которых густым облаком слетела пыль. Тени на лицах, мягкие, осторожные шаги, блеск глаз в полумраке, приглушенные голоса — все это говорило о давней и, быть может, несколько наигранной, у Лаврова и «Черного передела» заимствованной привычке молодых людей собираться тайно, узким заговорщицким кругом, где-то среди ночи, на конспиративных подпольных явках, при глухо закрытых окнах и мигающем пламени. Все тут было, так сказать, по правилам, одного только не хватало...

«Свечу!» — сказала Софья. Борис встал неслышно, словно тень в «Гамлете», исчез за портьерой и вынес оттуда огарок свечи, сдул с нее давний папиросный пепел и высохших мух. Зажег свечу — и сразу начался разговор. Разговор нервный, с паузами, с напряженным молчанием, когда слова — ничто, а правда — в странных движениях пальцев, в жестах, в мимике лица, игре ощущений и чувств. Здесь решалось дело непростое, небезопасное, дело настолько серьезное и тайное, что о нем не должны были знать не только самые ближайшие соратники, но даже и не все руководство.

Сыро и холодно было в старых деревянных стенах. Софья подняла воротник и, чуть приоткрыв занавеску, посмотрела в окно. Легкий голубоватый дымок вился над костром, и у огня едва заметны были две фигуры. «Охотники» с двустволками (Софья хорошо это знала) посматривают сейчас на московскую дорогу и, если покажется кто-нибудь подозрительный, дадут выстрел, будто бы по дикой утке, а в случае нападения или попытки окружить дачу художника будут защищать всех, Софью и себя, не только дробью.

Собравшиеся здесь люди — руководящая тройка и пятерка подпольной организации так называемых бомбистов. Взрывы в Питере и в Москве, в Одессе и в Ростове-на-Дону, сначала под ногами полицмейстеров, жандармских генералов, кадетских лидеров, а теперь и под ногами красных комиссаров и чекистов — все это были дела бомбистов. И не случайно сегодня выехали они за город с такими предосторожностями. В свое время преследуемых и из-

биваемых охранкой террористов, перед тенями и призраками которых трепетали тираны монархии, слепая и безжалостная история отбросила ныне вспять. Пока они с каторги и из ссылки возвращались домой, пока пробивались через внутренние распри и расколы, убийства и самоубийства на улицу, в России происходило что-то невероятное, нечто непредвиденное, и судьба словно посмеялась над ними: они опоздали со взрывами и вырвались на улицы, когда там триумфальными колоннами шествовал народ. И, естественно, возник вопрос: а мы-то с кем? И против кого? И они отвечали сами себе: нет, рано хоронить нас, пиротехников, среди теней прошлого, мы еще будем нужны и скажем свое слово — и против тех, кто вчера гнал нас на каторгу, и против сегодняшних «якобинцев», которые вышвырнули нас за борт истории.

То, что их привело сюда, вынашивалось ими давно, горячо обсуждалось в самом узком кругу руководства, на конспиративных явках. Задумывалось дело, как полагали они, грандиозное, подвижническое — шаг такой дерзкий, который должен затмить все известное до сих пор: покушение на Трепова, хладнокровную реплику Каляева: «Ваша светлость, с богом, перекреститесь!» — перед тем как он на улице убил московского генерал-губернатора — великого князя Романова.

Для молодых людей, которые собрались сегодня на даче у художника Крахмалева, для Софьи, Бориса и Лобова (так звали в их обществе молодого человека в очках, почему-то обходя его имя), для них было недостаточно взрывов в каретах, выстрелов в ложах, таинственных подкопов к спальням.

Начав свой подкоп еще в мрачное время треповщины, они рыли его и дальше, теперь направляя оружие уже против революции, которая, как им казалось, шла не туда и не так, а также — против тех своих бывших единомышленников, которые тоже поворачивали не туда.

И сейчас в своем разгоряченном воображении, в своих молодых и горячих, каторгой и заговорами распаленных головах, воспроизводили они несуществующие кошмары, а вслед за этим обдумывали, как вернуть историю на единственно верный и справедливый путь борьбы. И все было заранее предрешено. Оставались только некоторые мелочи: где и когда? Это предстояло решить сегодня.

Раньше Софья почему-то не замечала оконченных и неоконченных полотен Крахмалева. Пыльные и забытые, они беспорядочно стояли в рамах, а некоторые эскизы на картоне и фанере просто валялись у двери. Софья знала, что Крахмалев два года жил в Париже. По всей вероятности, оттуда вывез он эти небрежные, нарочито сгущенные мазки ярких красок. Художник изображал выгоревшие на солнце осенние листья и среди них — великолепных диан и нимф. Были среди полотен мастерски выписанные лица очаровательных институток, и они казались Софье очень знакомыми. А в яростном багряно-алом вихре осенней листы на картине,

висевшей над самой ее головой, виделось ей нечто символическое и особенно близкое, жертвенное.

Борис и Лобов, которые по привычке всегда сидели перед самым огнем, напротив Софьи и разговаривали вполголоса, неожиданно умолкли в ожидании решающего момента. Перст судьбы (а перстом судьбы в их обществе была тонкая белая рука потомственной московской интеллигентки) скользил по развернутой карте и уткнулся в кружочек, рядом с которым было написано: «Киев». Приговор Софьи был окончательным и обжалованию не подлежал. Она выбрала Киев не случайно: город этот, оккупированный кайзеровскими войсками, был до крайности наэлектризован саботажем и дезертирством, грабежами, глухим отчаянием и недовольством. Очередной жертвой бомбистов должна была стать особа весьма высокая, почти недосягаемая для нападения и к тому же известная во всей Европе. Взрыв и потрясение намечались такой силы, чтобы ошеломляющая волна докатилась не только до Москвы и Петрограда, но и до Берлина, Парижа и Вены.

И снова молчание. В ритуале верховной тройки, самой узкой и самой могучей кучки заговорщиков, минута эта, пьянящая и жестокая, имела особый смысл: вряд ли возможно было без внутреннего напряжения, без еле сдерживаемой дрожи положить свою руку под острый топор или, что еще страшнее, занести топор и одним ударом отрубить не пальцы, нет, а самое жизнь, самое существование своего вчерашнего близкого друга, товарища.

Блики света и тень на иконописном лице Софьи, матовая бледность в контрасте с черной вязаной шапочкой, взвихренные багряные листья над нею и тишина темной и ветхой дачи. Сжатые губы, неумолимое в своей холодности и прекрасное лицо. Кого она изберет? Чье имя произнесет, кого возвысит до бессмертья и тем самым обречет на смерть?

Все ниже и ниже опускает глаза Борис, что-то оглушило его и смяло, сердце предательски грохочет в груди, и шумит, шумит горячая кровь в ушах. А Лобов — тот смотрит прямо, в упор, тяжело, и в уголках его губ притаились две тонкие, резкие складки — словно он знает что-то, о чем-то догадывается...

— Борис,— негромко произнесла Софья; это имя в устах ее прозвучало глухо и спокойно.

Она устало, из-под опущенных ресниц, и задумчиво посмотрела на свечу, на язычок пламени, на то, как крупными горошинами капает воск. Потом резко повернула голову и остановила на Борисе свой долгий и нервный взгляд. «Ты этого хотел?» Борис поднял влажные глаза, большие, благодарные, искрящиеся и слегка наклонил голову в знак благодарности.

Лобов молча поправил роговые очки и словно сразу спрятался за ними, окунулся всеми своими помыслами в самого себя, отгородился от Бориса и Софьи, отошел куда-то прочь, за глухую стену не обойденного честолюбия, нет, а чего-то большего. Он знал, как никто другой, что Софья любит Бориса, любит какой-то болезненной, отчаянной любовью и давно уже в сложных интимных

отношениях с ним. Подумал: «И все это произойдет на ее глазах... кровь и смерть... жертвенное его заклание. Святая она! Святая, страшная и бесстрашная в своем холодном выборе!.. А Борис? Как же он? И не вздрогнет ли он там, пред кровавой чертой?.. Мда-с, воистину неисповедимы тайники страстного женского сердца!»

— Ну что ж, подчиняюсь твоему выбору. Тэрциус гаудэнс[1] жмет вам руки. Аминь! — Лобов попытался было улыбнуться, но только сухо пошевелил губами и встал.

Они вышли за маленькие полуразвалившиеся воротца на берег Яузы, где среди песчаных холмов сгрудились заброшенные и почерневшие деревянные дачи. Поднялись на ноги и двое, дежурившие у костра. Они входили в руководящую пятерку и знали, что все сегодня решено, что жребий брошен и, если выпало кому-то из них идти «на смерть ради мщения», тому будет сказано только: «тебе!» А остальное, всю тайну и все подробности плана унесут с собою Софья, Борис и Лобов. Другие об этом не узнают. Таков непреложный закон подвижничества.

Пополудни сначала Софья с Борисом на извозчике, а потом трое остальных пешком возвратились в город через ту же Преображенскую заставу; окраина была такая же малолюдная, как и утром, и даже нищую старуху унесло холодным ветром с Халиловских прудов, унесло бог весть куда.

В тайну посвящены трое...

Мало? Или слишком много?

Как бы то ни было, а уже через три дня, и не из Москвы, а почему-то из Петербурга, из германского консульства, пришло секретное телеграфное донесение в Киев, имперскому послу барону Мумму. В нем говорилось: как стало известно из агентурных сообщений, на днях из Москвы тайно выезжает на юг группа диверсантов и пропагандистов из крайне левых; их цель — проникновение в наши воинские части, подстрекательство солдат, диверсии на железнодорожной станции и военных складах; особо опасна молодая экспансивная особа, шатенка, из дворян.

В тот вечер, когда телеграф принял эту шифровку, посол Мумм с огромным рыжим сенбернаром на поводке пересек Екатерининскую улицу, вышел на Печерскую и поднялся на второй этаж бывшего графского особняка с белыми колоннами — в резиденцию фельдмаршала Германа фон Эйхгорна. Фельдмаршал, по свидетельству знавших его лиц, был натурой широкой, европеистом, знал толк в изысканных рейнских винах, возил за собой свою кухню, свою прислугу, личного парикмахера, а в Киев вызвал берлинских мастеров, и те соорудили ему на втором этаже большой камин в английском стиле с красивой барьерной решеткой,

[1] Тэрциус гаудэнс — третий радующийся (*лат.*). О третьем лице, извлекающем пользу из борьбы двух противников. (Из пословицы: «Когда двое дерутся, третий радуется».)

оборудовали спальню, а на нижнем этаже — ванную комнату, выложенную кафелем.

Мумм застал Эйхгорна сидящим у камина и просматривающим газеты. Телеграмму он выслушал спокойно, даже, казалось,— с иронической улыбкой. Эта едва заметная убийственно-холодная улыбка на неприступном лице фельдмаршала нагоняла страх на штабы и ведомства имперской армии.

Эйхгорн предложил Мумму кресло, а сам встал и принялся ходить по комнате легким и изящным офицерским шагом. Лежавший возле двери сенбернар равнодушно посматривал на высокую тень хозяина, но в глубине рыжих собачьих глаз время от времени вспыхивали настороженные огоньки.

Близкие и добрые друзья, фельдмаршал и посол Мумм вспомнили совсем недавние времена, когда вся Россия, вплоть до царских спален, была подвластна Германии. Не только императрица Александра Федоровна, она же — немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, но даже и военный министр Сухомлинов были опутаны сетями немецкой разведки. Они спокойно выкрадывали из сейфов императора секретные документы, карты, стратегические планы.

А теперь? Что осталось от трона? Ничего. Но вот что невероятно — вышколенная агентура Сухомлинова продолжает действовать, ею управляет годами и десятилетиями выработанная инерция!

Фельдмаршал остановился возле столика и, уже словно диктуя свое распоряжение, четко и твердо сформулировал приказ: никого из местных лиц — категорически! — в казармы наших войск не допускать, это во-первых; во-вторых — при малейшей попытке со стороны террористов и агитаторов проникнуть в наши части тут же их вылавливать и вешать на месте. И в-третьих, усилить охрану эшелонов, станций, а также военных складов.

Эйхгорн пригласил Мумма за маленький столик, чтобы выпить с ним чашечку кофе.

И вдруг сенбернар, спокойно дремавший возле порога, словно от грубого толчка, резко и встревоженно вскинул голову и уставился на окно. Он ощетинился, зарычал, а потом высоко задрал морду и так неприятно завыл, что Эйхгорн вздрогнул, а Мумм сердито бросил:

— Молчать!

Извинился, сказал, что с Лотом происходит что-то непонятное и странное, никогда с ним такого не бывало. Но тут же вспомнил: нет, было однажды! Так выл Лот осенней ночью над покойником, над гробом его отца, накануне похорон.

Горящий камин, мебель красного дерева, скульптуры — все, казалось, дышало уютом, теплом и спокойствием.

А за окном перекликались часовые на Екатерининской, и где-то чугунно громыхал патрульный броневик. Из сумерек, из далеких лесов и дубрав на Киев надвигалась свинцовая туча.

2

«Милый Петенька! — писала мать. — Я связала тебе из белой шерсти кашне. Пожалуйста, сынок, не забывай о нем: весна в этом году холодная...»

Ах, мама, мама! Разве ощущаешь холод, когда под рубашкой новенькая прокламация, которую сам печатал. Петя не шел, а летел над землей, бормоча вполголоса любимые стихи, но насыпь была крутая, и он поскользнулся. Взмахнув руками, съехал вниз. Треснул под ним тонкий весенний ледок, вода из лужи брызнула в рукава тужурки. «О пещерная Соломенка![1] — подумал Петя. — Спишь, как мамонт, и не знаешь, какие грозы встают над тобой».

Он побрел вдоль железнодорожной насыпи и не без сожаления удостоверился, что его «гимназические ботфорты» прохудились и пропускают воду.

Тучи то закрывали луну, и тогда все погружалось во мрак, то открывали ее, и тогда тусклый свет быстро скользил по мокрой дорожке. Было уже далеко за полночь. На железной дороге стояла тишина. Только где-то позади, против вокзала, лениво попыхивал паровоз, горели сигнальные огоньки, а дальше, в холодной туманной мгле, где-то в тупике, время от времени покрикивала «кукушка».

«Пробудись, народ! Черна ночь твоей истории, но уже бьют барабаны, предвещая грозу!» — воскликнул Петя и быстро обернулся. Никого. Станции уже не видно, она осталась позади, за высокой насыпью. Тропинка пошла круто вниз, и впереди, шагов за сто, зияла зловещая пасть туннеля, над которым возвышался Соломенский мост. На мосту, словно каменные изваяния, замерли часовые в касках.

«— Стой! Кто идет? — вопрошает немецкий часовой.

— Революция,— гордо отвечает Петя.

— Стой! Стрелять буду! — кричит часовой.

— Черта с два! — отвечает Петя и спокойно бросает бомбу.

Взрыв сотрясает мост, и эхо разносится по всему городу. Над задремавшими зданиями, как по команде, взвиваются красные флаги...»

Стоп! Никаких взрывов! Все это плод фантазии. Пете надо тихонько проскочить мост, потому что все подступы к станции блокированы, в городе давно уже комендантский час. «Только дух германской дисциплины может спасти вашу страну от развала и анархии». Слова фельдмаршала Эйхгорна, напечатанные в газете.

«Германский дух! А фиги славянской не хотите?» — усмехнулся Петя.

Он перелез через забор и спустился к реке. Река давно уже высохла. Стараясь сохранить равновесие, Петя по камням перебежал ее дно, едва не увязнув в глубоком иле, от которого пахло гнилью и плесенью.

---

[1] Соломенка — пригород старого Киева.

Теперь Соломенский мост остался справа, а впереди, на фоне серого облачного неба, возвышался темный шатер Батыевой горы. Острыми шпилями тополей врезалась высокая гора в небо, а над ней плыла подернутая туманом луна.

Сердце Пети всегда замирало, когда он смотрел ночью на Батыеву гору. Что-то было в ней торжественно-величавое и даже немного таинственное. Само уже название ее — Батыева гора — звучало для него загадочно, как библейские сказания о Ханаане, о башне Герара или о жертвенниках Моава. И мерещились впечатлительному Пете татарские пожарища, каменные идолы Гога и Магога, блоковские скифы. И представить это было совсем нетрудно: в деревянных домиках, прислонившихся к темной горе, кое-где тускло светились окна, и это напоминало огни в пещерах, а серые дощатые заборы, высокие решетчатые ограды очень похожи были в темноте на табуны диких лошадей.

Правда, гора утрачивала свою таинственность, когда Петя приступом брал ее обвалившийся склон. Мокрая глина, едва прихваченная заморозками, выскальзывала из-под ног, и Петя хватался то за иссохшую полынь, то за голую акацию, то за острые камни, посылая самые страшные проклятия фабриканту Чоколову, дрожжевому королю Европы, который хвастался, что выложит клинкером Батыев спуск, но слова остались словами.

«Слава богу»,— облегченно вздохнул Петя, взобравшись наконец на верхнюю площадку. Здесь было немного светлее. Над спуском мигал фонарь, едва ли не единственный во всей слободке.

Петя вытер грязные руки о листья, затем рукавом обтер вспотевшее лицо и встал над обрывом. Мурашки пробежали у него по спине. Прямо под ногами начинался глубокий черный обрыв, откуда тянуло сыростью. Он невольно сделал шаг назад.

С Батыевой горы виден весь Киев.

Где-то там, за полотном железной дороги, притихшие серые кварталы домов. Они едва угадывались. Окутанный туманом, город спал. Казалось, это гора притаившихся камней. А вон и глубокие траншеи улиц, нагромождения каких-то сооружений, силуэты соборов, упирающихся крестами Софии и Лавры в ночное небо. Комендантский час. Нигде ни огонька. Город словно вымер. Петя прислушался, и тишина отозвалась размеренным цоканьем подков.

«Милый Петенька! — писала мать. — Недавно приехал безрукий Павел, земляк наш, ты его, конечно, знаешь, это товарищ твоего отца. Он такое рассказал мне о Киеве, что я совсем не могу спать,— и о немецких войсках, и о шпане, и о гулящих женщинах, и о всякой политике. Очень боюсь я за тебя, сынок. Береги себя, не связывайся ни с кем... Целую и молюсь за тебя, мама».

Петенька! Для нее он все еще Петенька. Гимназист Петенька Галайченко. С ангиной, с тройками по латыни, с собственными стихами, в которых и брюсовская «луна над Парсагадой», и «брильянты, рассыпанные в небе» Вороного. Эх, мама, мама! Если бы ты знала, как в голове у твоего сына все перемешалось и пере-

путалось. И шпана, и гулящие женщины, и стихи, и опасная политика. Какая там еще гимназия? Где тот послушный мальчик Петенька, который аккуратно кутал шею и пил по утрам теплое молоко с содой? Нет больше его. Не существует. Здесь, среди этих каменных сооружений, живет, мама, с динамитом в груди, живет скрытно, нелегально один революционер, готовый в любой момент подорвать сразу весь этот обезумевший мир, где столько оков на человеке и столько крови под ногами. Подпольная кличка его, мама (только это большой секрет!), подпольная кличка его — Мамай...

Петя обернулся: за фонарем, за кольцом слабого желтого света стояла притихшая ночь, узенькая тропинка убегала куда-то вниз, в темноту. Глухо, тревожно и... как будто кого-то ждешь, прислушиваешься к шагам, к затаенным вздохам. Но никто не идет. Ты один на горе. Только слышен монотонный звон капель, срывающихся с мокрых деревьев, да тихий треск лопающихся почек, которые завтра зазеленеют молодыми весенними листьями. Петя подошел к фонарю, огляделся по сторонам и вытащил из-под тужурки лист бумаги, все еще пахнущий золой, потому что товарищ Мирон в типографскую краску добавлял обыкновенную сажу. Петя развернул влажный, помятый листок, быстро поднес его к свету — жиденькая краска размазалась, словно кто-то прошелся по ней грязной щеткой. Но первые строки, набранные крупным шестнадцатым кеглем, можно было легко прочитать, и Петя прошептал их с воодушевлением:

«Пробудись, народ! Черна ночь твоей истории, но уже бьют барабаны, предвещая грозу. С юга и с востока надвигается буря, поднимается пролетарий против тевтонского ордена убийц, против кайзеров, цесарей, против коршунов-угнетателей, жадно клюющих живое сердце Украины!»

— Вы, Петя,— говорит Мирон Самойлович,— или гений, или чудак. В голове у вас интеллигентская мишура. Зачем вы суете в прокламацию барабаны, предвещающие грозу? Или эту «черную ночь истории»? Разве вы не можете сказать просто: «Товарищи рабочие и крестьяне, захлебнулось в крови восстание на железной дороге, ваших братьев расстреливают прямо в паровозных депо и на рельсах. Все на помощь братьям-железнодорожникам, грудью преградим дорогу эшелону контрреволюции! Все на борьбу с германским капиталом! Да здравствует власть народа, долой власть штыков и нагаек!» Вот как надо, Петя,— говорит Мирон Самойлович. — Теперь вам ясно, каков лозунг момента?

«Мне абсолютно ясно! — подумал обиженный Петя. — Но при всем том скуповатый вы человек, товарищ Мирон. Жалко вам для Пети одной листовки, которую он взял бы домой...» Они отпечатали пачку прокламаций, разложили их сушить по всей мастерской: на станке, на полке, на сапожной доске и даже на бочке, валявшейся в углу. Словом, облепили все и вся, от листовок в глазах рябило. Мирон спокойно вымыл руки с мылом и подвязал фартук, как бы снова становясь сапожником. И когда он наклонился над

сапожным столиком (а у него была большая, совершенно лысая голова, словно отполированная, по форме она походила скорее на сундучок, и только за ушами сохранилось по кустику завитков), и когда он взялся за дратву и замурлыкал песенку, Петя тут же смахнул одну листовку, прилипшую к бочке, и незаметно сунул ее за пазуху. И тоже замурлыкал песню, как будто ничего не произошло, хоть и покраснел до самых ушей. Петя, надо сказать, был честным человеком, и на такое мелкое преступление его толкал не кто иной, как сам Мирон Самойлович. О холодный, расчетливый Яго! Разве поймет он, что такое авторское самолюбие! Это нежное, щемящее чувство, которое испытывал Петя каждый раз, когда груди его касалась свежая, мокрая, еще теплая листовка. Нет, товарищ Мирон не понимал или не хотел этого понимать. Он строго приказывал: не брать с собой ни одной прокламации! Говорил: для безопасности. Объяснял: чтобы не застукали Петю при обыске. Видите ли, Мирон Самойлович берег Петю для истории, для будущей борьбы. А Петя просыпался ночью, с тревогой вспоминал, как страдал он вчера над текстом, мучительно грыз карандаш, вздыхал, а потом вдруг сел и на одном дыхании выдал: «Черна ночь... Гремят барабаны истории, предвещая грозу. С юга и с востока надвигается буря...»

Он лежал на топчане, а из темноты к нему сама опускалась новенькая свежеотпечатанная листовка, оживали строчки, пробегали перед глазами суровые слова, и Петя с волнением думал: неужели эта отпечатанная колонка, где каждая буковка так четко и ясно выделена, так туго подогнана одна к другой, неужели это то, что вчера вспыхнуло в моем сердце и выплеснулось на бумагу, в ученическую тетрадь? Магия печати: собственное, выстраданное тобой, становится словно не только твоим голосом, а голосом истории, заговорит завтра с массами, поднимая дух угнетенных: «Братья-арсенальцы! Слышите над Киевом паровозные гудки, это бастуют железнодорожники, они зовут вас: на помощь!»

Хотелось вскочить и бежать ночными переулками, постучать к Мирону Самойловичу, спросить его о листовке: жива ли еще она? А потом взять ее, вдохнуть запах свежей краски, быстро пробежать по тексту: нет ли типографских ошибок. А главное — еще раз посмотреть, не без гордости конечно, как набран последний абзац, выделенный крупным шрифтом, с этими грозными пламенными словами, которые родились в нервном напряжении, кровью собственного сердца! Петя повторял эти строки и думал: «Вы слишком практичный человек, товарищ Мирон. У вас все на учете: и краска, и бумага, и каждая буква в наборе. Для кого листовка — пламенные речи («Пробудись, народ! Черна ночь твоей истории...»), а для вас, товарищ Мирон, это всего-навсего сорок строк обычного набора, два с половиной килограмма шрифта, да еще, пожалуй, израсходованная банка краски...»

На реплику Мирона о барабанах Петя заявил:

— Барабаны я не выброшу, как хотите. Поймите: все это написано в душевном порыве, в минуту прозрения и поднятия духа;

здесь нечто святое, здесь свое таинство. Это вам не каблуки и набойки, которые можно срезать или сточить. Категорически заявляю: если уберете «черную ночь истории» и барабаны, я заберу текст, и будьте здоровы, пишите сами!

Такая угроза сразу обезоружила Мирона Самойловича. Он умел править чужой текст и правил его превосходно. Брал огрызок карандаша, прислонялся к столику и, мурлыча себе под нос «трамтарум, тум-там!», весело и безжалостно черкал по написанному, корявым почерком вставляя между строками что-то свое. Петя не мог терпеть такого издевательства; он сердито выхватывал из-под его руки всю испещренную правкой листовку и, подсовывая ему чистый лист бумаги, говорил: «Вот вам, Мирон Самойлович! Пишите сами!»

Мирон Самойлович испуганно поднимал на лоб густые кустистые брови и оторопело смотрел на стол: он умел править чужой текст, но абсолютно не знал, что можно сделать с чистым листом бумаги, и, кажется, боялся его; даже бухгалтерские расчеты вел он на старых корректорских гранках, на полях старых книг или журналов. Ему нужен был хоть след, хоть наметка какой-то мысли, чтобы оттолкнуться, сдвинуться с мертвой точки, а потом он уже сочинял и сам лучше тех, с которыми чаще всего не соглашался, и тогда вырастали у него свои баррикады на «путях» контрреволюции среди «тупиков» предательства и провокации.

— Ну хорошо,— соглашался Мирон Самойлович. — Ваши барабаны и «черную ночь», Петя, оставим. Для колорита. Для крепости. А вот это: «против тевтонского ордена убийц, против кайзеров, цесарей, против коршунов-угнетателей, жадно клюющих живое сердце Украины!» Понимаете, Петя, давайте смотреть практически, то есть разве страдает только юг России? А Сербия и Хорватия? А чехи, а братья-белорусы, задавленные нуждой, болотом, плесенью, к тому же еще и польской шляхтой? То есть, Петя, я хочу вас спросить: если бы сегодня вспыхнула революция в Гамбурге, то вы, Петя, разве не пошли бы на баррикады, чтобы сражаться вместе с немецкими пролетариями против всемирного капитала?

— Пошел бы,— решительно заявил Петя. — Немедленно записался бы в волонтеры и, не задумываясь, сложил бы голову где-нибудь на берегу Рейна или Эльбы. Но все равно, Мирон Самойлович, мне бы и там, в Европе, снился бы по ночам родной Козятин, снились бы забастовки, флаги, эшелоны, летящие в пропасть. А может быть, и вы бы приснились, Мирон Самойлович, как не раз вы уже снились мне дома: будто вы перепрыгиваете с вагона на вагон, а за вами свист, топот — это через весь поезд, с крыши на крышу, бежит, гонится за вами полиция.

— Ах, Петя! Что вы мне «в огороде бузина, а в Киеве дядька»! Я у вас дело спрашиваю. Что будем делать с листовкой?

И перед Петиными глазами предстала картина могучего пожара на всем Европейском континенте, докатывались до его слуха

громы с Балкан, из венгерской столицы, из Серпухова, и Петя горячо воскликнул:

— Ну хорошо, сделаем по-другому! Сейчас, сейчас!

...Аллею заволокло туманом, повеяло оттепелью, еще сильнее потянуло истомой сырой земли. Луна побледнела, спряталась в мохнатых облаках; лишь изредка проглядывала она теперь сквозь черные ветви деревьев. Чувствовалось, как прокрадывается по садам сыроватое весеннее утро.

«Дал бы мне Мирон хорошего ремня,— с улыбкой подумал Петя,— если бы узнал, что я стянул у него прокламацию!

«Домой, скорее бежать домой, а то что-то холодно стало!»

Петя поднял воротник тужурки и хотел было пробежать садом, между деревьев, но вдруг из глубокого оврага, от самого Днепра, донеслось глухое, протяжное завыванье: так только собака воет на луну или на дом покойника. «Черт бы побрал этого пса!» — выругался про себя Петя. Но вскоре вой стих, и слышно было теперь только отдаленное ритмичное шипенье паровоза, стук колес, и Петя понял: это идет из Дарницы через днепровский мост пассажирский поезд. Наверно, из Бахмача или из Белоруссии.

Из-за поворота показались два огненных глаза, хрипло прорезал тишину паровозный гудок, а затем, уменьшая скорость, поезд подошел к киевскому перрону.

Петя ошибся. Это шел курьерский из Москвы. Этот состав ходил теперь очень редко, и встречали его местные шпики и филеры и немецкая военная команда.

— Выходить по одному! Паспорта! — приказали стоявшие у вагонов хмурые унтеры с саблями.

Сонные, с узлами, с чемоданами, выходили на перрон пассажиры, которых невзгоды жизни гнали по всему белу свету. Из душных, но теплых вагонов сразу попадали они в объятия холодного ветра, чьи-то руки грубо ощупывали их, залезали в карманы и копались в узлах. Немного в стороне стоял усатый немецкий офицер, чем-то похожий на императора Вильгельма. У него был острый глаз. И он сразу заметил в третьем мягком вагоне подозрительную особу. На ступеньки вывалился вроде бы не очень трезвый, вальяжный мужчина в богатой шубе, в высокой собольей шапке. За ним спускались, весело улыбаясь, две или три дамы, тоже в дорогих мехах.

«Молодая, экспансивная особа, из дворян!» — нервно дернул усом офицер. Он быстро подозвал солдата и кивнул ему на пассажира и на одну из его девиц.

— Документы! — подскочил к вагону немецкий солдат и схватил московского гостя за шубу.

— Как?! Какой документ?! — рявкнул громовым басом человек в шубе. — Да ты знаешь, перед кем стоишь? Ты слышал мое имя? Я Владимир Митрофанович Пуришкевич!

Однако ни осатаневший бас, ни громовое имя Пуришкевича не произвели должного впечатления на хладнокровного солдата.

— Стой! Стой, тебе говорят! Марфуша, душка! — захрипел по-

багровевший от гнева Пуришкевич. — А ну посмотри, пташка, где-то здесь ходит, наверное, Павел Петрович, он писал, что будет нас встречать!

— Павел Петрович! Павел Петрович! — звала Марфуша, бегая по перрону.

И в самом деле неожиданно из толпы вынырнул моложавый стройный генерал в лейб-гвардейской форме с широкими лампасами, в серой высокой папахе.

— А-а! Владимир Митрофанович! Приехали! — бросился он целовать гостя. — Рад! Рад! Рад видеть вас на древней русской земле!

Генерал обернулся к немецкому офицеру:

— Честь имею! Я генерал Скоропадский. Вы ошиблись: задержанные вами пассажиры — люди абсолютно достойные. Рекомендую: известный государственный деятель пан Пуришкевич и его племянницы. Глава «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела» — вот кто такой Пуришкевич, к вашему сведению. Я пригласил его официально к себе в гости. На днях, об этом я хочу напомнить вам, ко мне приедут не менее важные гости — Шульгин, затем Рябушинский, Милюков. Не горячитесь, не торопитесь их обыскивать. Это ваши друзья, а не враги. Мы будем вести в Киеве беседы, у меня и у посла Мумма, в общих для нас и вас интересах.

Генеральская форма, поставленный офицерский голос словно током пронзили душу немецкого офицера. Он распорядился не только отпустить гостей генерала, но и отнести их вещи к каретному ряду.

Да, это был тот самый Скоропадский, который с детства воспитывался при дворе, а службу начинал в Царском Селе вместе с великими князьями Романовыми, а дальше — фронт, Москва, Петербург, и лишь изредка — родовое имение в Черниговской губернии.

И когда иронией судьбы (а история любит зачастую перемежать трагедию с фарсом) стал он «гетманом», верховым правителем Украины, генерал-монархист усадил тогда своих офицеров за книги и занялся изучением украинского языка, над которым в кругу друзей откровенно посмеивался.

В то же раннее утро, только совсем в другом городе, в Гомеле, сошла с поезда молодая и тоже, можно сказать, «экспансивная особа, шатенка, из дворян». Осторожно посмотрела вдоль вагонов: из последнего вышел высокий молодой человек и, легкой флотской походкой пройдя перрон, скрылся в каком-то переулке. «Господи, помоги ему, помоги! — прошептала вслед ему женщина. — Буду молиться за тебя. До скорой встречи!»

Она окинула взглядом сонный городишко, серый, окутанный предрассветным туманом, вспомнила, что именно в Гомеле осенью девятьсот пятого года бушевал один из самых страшных пожаров: по приказу Пуришкевича «черная сотня» подожгла деревянный, уездный центр. Половина Гомеля выгорела почти начисто. Огонь

среди ночи — и резня, дикие вопли обезумевших от ужаса людей. Еще и сейчас даже в темноте видны были остатки каменных фундаментов — зловещие следы пожара.

Женщина (а это, как уже догадался читатель, была Софья) наняла подводу, закуталась в теплый тулуп и поехала по направлению к лесу. Старый извозчик погонял лошадей, подвода скрипела, медленно катилась по старой песчаной дороге, по обеим сторонам которой сплошной стеной стояли высокие деревья. Не по этой ли дороге ехал когда-то на своем коне Илья Муромец из Мурома в стольный град Киев? Не здесь ли, среди дремучих дубрав, пытался испугать его, добра молодца, Соловей-разбойник своим посвистом? Но Илья отрубил ему неразумную буйную голову и сказал: «Хватит тебе кричать по-звериному, хватит плакать матерям и отцам, оставаться вдовами женщинам, сиротами малым детям».

Молодая пассажирка смотрела на сосны и дубы разросшейся чащи и представляла себе другого Соловья-разбойника, чужеземца Эйхгорна, который свил себе разбойничье гнездо в Киеве.

На глухих лесных дорогах никто не останавливал крестьянскую подводу, не спрашивал, кто едет на ней и что везет. А зря. Надо было спросить у молодой горожанки, что это у нее за подозрительные пояса, которыми она обвязалась и к тому же туго стянула их шалью.

Медленно катилась выстланная соломой подвода, но уже к вечеру того же дня въехала она в черниговские леса.

3

Петя плотнее запахнул полы тужурки. Вспомнил: в гимназии говорили: «Сыграй ему на флейте!», то есть рвани за полы так, чтобы пуговицы отлетели. Улыбнулся. Засунул руки в карманы и, согнувшись, пошел по аллее. Светало. Ноги промокли. Он почувствовал, как по всему телу бегают мурашки. «Ну вот, опять горло будет болеть».

Осторожно, на цыпочках вошел в один из глухих подъездов по Третьей линии на Батыевой горе. По скрипучей лестнице, на которой постоянно царил запах жареного лука и кислой капусты, быстро поднялся на второй этаж — в свою гимназическую обитель.

Лег на топчан, не зажигая огня. Почувствовал озноб. Поверх одеяла набросил шинель. Казалось, чья-то невидимая рука пробегает ледяными пальцами по его ребрам, как по клавишам, и от этого неприятного ощущения Петя съежился, натягивая одеяло на голову. Постепенно согрелся и задремал. «Чудеса! — думал он, засыпая. — Сон надвигается, как летняя гроза, с нарастающим шумом; он катится ко мне так, что дрожит топчан, звенит стекло, весь дом ходуном ходит и наверняка вся Батыева гора... Это идет немецкий эшелон. Он движется у подножья горы. Ночь, насыпь, серые вагоны бегут один за другим, как голодные волки».

Контрибуция... Холодная весенняя ночь, два ряда серых солдатских касок, под штыками немецких реквизиционных отрядов тянется длинный обоз крестьянских подвод. Они скрипят, тонут в болоте, эти жалкие подводы. В грязи, забрызганные до колен, везут мужики на станцию «излишки», отобранные у них силой, поркой, огнем. Забирают оккупанты все — пшеницу, картофель, квашеную капусту (посол Мумм отдельно, специальным пунктом оговорил в дипломатическом торговом соглашении: двести тысяч бочек квашеной капусты), с юга на платформах гонят руду, с Черниговщины — до последнего дерева вырубленный лес. Все это длинными эшелонами, под усиленной охраной пулеметных рот, через Козятин и Жмеринку, вывозят в Германию...

Петя засыпал, а Батыева гора дрожала, тревожно покрикивал паровоз, и бежали в ночь серые вагоны, один за другим, как голодные волки. Шел эшелон на запад, шел через родную станцию. И Пете казалось: визжат тормоза, паровоз со свистом выбрасывает из трубы пар, горячее облако наплывает на старенький палисадник. Мать отмахивается рукой от теплой влаги, отбрасывает прядь волос со лба и грустными глазами провожает чумазого мальчугана-машиниста. Нашего, из Киева или Вапнярки.

«Гм,— подумал Петя,— я уже, наверное, сплю. И около моей постели стоит мама. Любопытно: кого бы я ни видел во сне — гимназию, товарища Мирона, забастовку, схватки в рабочих кварталах, соборные процессии,— все это обязательно переносится в мой Козятин, на мою станцию. Гимназия мчится со мной в одном вагоне, забастовки под колесами, а кругом свистки, полиция, убегает товарищ Мирон, подвязанный фартуком,— из тамбура в тамбур, прыгает с крыши на крышу. А за ними — мать, я ясно вижу ее доброе лицо, и так задумчиво и нежно смотрит она на меня, что у нас обоих наворачиваются на глаза слезы.

Хорошо, мама, что ты приснилась мне сегодня: такое страшное и жестокое время! И мне нужно хоть немножечко твоей доброты и ласки. Чтоб не потерять веру в себя, не пасть духом, не отчаяться.

Ты знаешь, я часто вспоминаю наш палисадник, белые георгины под окнами, наличники с резными кукушками и тебя, сидящую на крыльце в пестром платке. Быстро и со свистом проносятся мимо окон поезда, и ты провожаешь их печальным взглядом. Вот и сейчас, наверно, смотришь им вслед — эшелоны, эшелоны, эшелоны — немецкие, австрийские пушки, продовольствие, лошади, солдаты; день и ночь летят они мимо тебя на Киев, и ты думаешь: «Господи, сколько их? И как там мой Петя?..» Помнишь, однажды я бежал за вагонами, бежал к тебе из школы, а ты сидела, закутавшись в платок, и я неожиданно остановился: поразили меня большие красные цветы на твоем платке и черная, до самой земли бахрома. И ты улыбалась мне и что-то шептала радостно, может быть: «Петя, Петя!..» Так и стоишь ты перед моими глазами: в пестром платке, накинутом на плечи, грустная, с тревогой в сердце, стоишь над моей кроватью, и кажется мне, будто могу я при-

коснуться к твоему лицу, к твоим щекам. Прикоснуться и счастливо вздохнуть: это ты — и, как всегда, рядом со мною. От тебя — и тепло, и ласка, доброта и спокойствие, и так хорошо пахнут хвоей волосы твои. И я храню, храню в своей памяти образ твой, мама!..

А знаешь, мама (это, конечно, детская глупость), как ревновал я тебя, когда ты уходила встречать отца. Как сейчас помню, он шел из депо, один или с товарищами по работе,— высокий, широкоплечий, тщательно выбритый, усы аккуратно подстрижены, хромовые сапоги так и поскрипывают. Лицо у тебя вспыхивало, когда еще издали замечала своего Максима. Ты бросалась к нему навстречу. А я, забытый вами, прятался за дверью, мучился и по-детски ревновал... Потом был Брусиловский прорыв и безрукий Павел, товарищ отца, рассказывал нам, как их обоих в Карпатах привалило в окопе. Павел сам не знал, как выполз из-под груды щебня и песка. Контуженый, с перебитой рукой, долго ползал он в темноте, искал свою фуражку и противогаз. Нащупал еще один сапог, не свой, чужой. Носок его торчал из-под земли и слегка подергивался. Павел откопал своего друга Максима, но было уже поздно.

— А вы не ошиблись, Павел? Сами знаете, ночью всякое бывает... Может, был это совсем и не Максим?»

Мать не верила и долго еще встречала военные эшелоны, но все напрасно: не возвращался отец. А вскоре и Петенька уехал, и теперь только письма их и связывали.

Петя уже спал непробудным сном, и снился ему накрытый газетой столик возле окна в его комнатушке и пачка материнских писем на этом столике. Два раза в день мать поливала цветы в своем палисаднике и так же аккуратно, каждую субботу, писала ему. И потому Петя знал все о своем Козятине, до самых мельчайших подробностей: и какие цены на рынке, и по какому графику ходят поезда, и кто на ком женился, и кто попал под поезд, и когда ему встречать товарный или пассажирский, чтобы получить передачу из дому... Но добрая половина каждого письма — материнская тревога.

«Милый Петенька! — писала мать. — Ты уже взрослый, и у меня столько мыслей, столько слов уготовано для тебя, вот только не знаю, сумею ли все тебе высказать. Твой отец был очень добрый и очень влюбчивый; он мучился, убивался бог знает по ком, я часто спасала его, оберегала от беды. Я знаю твое сердце, Петенька, и боюсь за тебя еще больше, чем за Максима. Смотри, сынок, чтоб не вскружила тебе голову какая-нибудь городская фифа, там есть такие, они этим только и живут...»

Какой, однако, фантастический сон!

Петя стоит на лестничной площадке, и вдруг скрипнула дверь и из половины мадам Гроскопф — старой, интеллигентной немки, которая сдавала жильцам свои меблированные комнаты,— выходит Она. Тонкая и бледнолицая. Одетая во все черное. «И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука»,— то ли появление ее, то ли эти стихи Александра Блока, молниеносно пришедшие Пе-

те на ум, заставляют его вздрогнуть. Он замирает на месте, весь во власти страха и предчувствия чего-то необъяснимого. А Она, как ни в чем не бывало, проплывает себе мимо Пети, обдав его нежным запахом духов; небрежно подобрав на ходу длинную узкую юбку, медленно спускается по лестнице. В горячем тумане видит Петя бледное и строгое ее лицо, синие круги под глазами, высокий лоб, белокурые волосы, зачесанные без пробора назад,— во всем ее облике какая-то сосредоточенность, углубленность в себя или глубокая усталость от пережитого.

«Мадемуазель, осторожно! Дайте вашу руку. Разве вы не видите, какая здесь крутая лестница, какие ступеньки,— их давно надо было заменить. Да, но как вы здесь оказались? Понимаю, понимаю, Италия, вилла в Сорренто, путешествие, а здесь проездом. Я так и подумал. И только на три дня? Жаль, ах как жаль! Я показал бы вам Киев, настоящий Киев, бульвары, Царский сад над обрывом, грандиозную панораму с «Голгофой», Крещатик с «Европейской» и «Гранд-отелем», это вам не убогие каморки мадам Гроскопф, где всегда пахнет карболкой и нафталином... Куда же вы, мадемуазель, одну минутку!..»

Подавленный, стоит Петя на лестничной площадке, не в силах пошевельнуться. Только его душа с еле слышным шелестом за одну секунду спустилась вниз и там, в темном подъезде, стала его двойником, его второй тенью; и эта высокая, стройная тень, в которой сразу чувствовалась аристократическая непринужденность и свобода манер, элегантно взяла незнакомку под руку и, осторожно поддерживая ее, сопроводила до выхода, а затем учтиво и вместе с тем небрежно раскланялась: «Адью, мадемуазель, до встречи!»

Ох эти фантазии!..

Живой, настоящий Петя, тот, что вышел из своей комнатушки заспанный и в истоптанных туфлях, все еще стоял на верхней площадке. Только потом, спустя несколько минут, бросился он к перилам, перегнулся через них и вытянул голову, чтобы хоть взглядом проводить ее. И вдруг совсем неожиданно Она подняла свою маленькую, хорошо причесанную головку, взглянула мельком на его свесившуюся фигуру — и Пете показалось: что-то ироническое промелькнуло в ее глазах. Его словно током отбросило назад. «Наверное, у меня ужасно глупый вид»,— подумал Петя.

Прошел день, другой, а Петя все думал и думал о том, какое дурацкое впечатление произвел он на нее. «Глупый, оборванный гимназист! Вот кто я в ее глазах!» — ругал он себя.

«Ну зачем так грубо? — сказала Она уже во втором или в третьем сне. — Вы добрый и воспитанный мальчик. Занимайте очередь: за нами, кажется, следят». Они встали за билетами в кассу. Это был Козятин, Петя сразу его узнал: вот и обшарпанная, вся вытертая плечами бедных пассажиров печь на станции. Толпа прижала Петю к стене. А прекрасную незнакомку кто-то грубо оттолкнул, и ее унесло куда-то в сторону. Пете сильно, до невыносимой боли сдавило грудь, он крикнул и... встревоженный проснулся. Голова раскалывалась надвое, горло болело. «Значит, вчера просту-

дился»,— подумал он. Поудобнее устроившись на подушке, вспомнил свой глупый сон, и, как всегда, ему как-то неловко стало. А впрочем, кто же все-таки Она? Взгляд замкнутый, какая-то загадочная таинственность: на бледном лице светская усталость; две-три фразы, брошенные на ходу высокому молодому коммивояжеру, который привез ее на пролетке и внес в комнату ее вещи. По произношению и акценту трудно понять, откуда она. Но, кажется, москвичка. Интересно, долго ли здесь пробудет? И одна ли? Наверно, замужем, лет ей двадцать пять — двадцать шесть, а он с реверансом: «Мадемуазель, вашу ручку...» Клоун. Шут гороховый. А впрочем, все эти реверансы — тоже только сон, подступиться к такой женщине он и не рискнул бы...

Он уже не спал, но нечто тревожное, какие-то смутные воспоминания неизвестно о чем громоздились в его голове; он твердо знал: если сейчас же не встанет с кровати, весь день будет чувствовать себя разбитым.

Большим усилием воли сбросил с себя одеяло и шинель. Поднялся. И первое впечатление: утро. Солнце в окне. И весна, весна! Такие чудеса бывают разве только в Киеве. Ложился спать — стояли на дворе голые деревья. А проснулся — улочки и сады на Батыевой горе наполнились свежей, нетронутой зеленью, пышно засверкали вокруг первые листья. Немного светлее стало даже и в Петиной комнате — два метра на три с половиной,— за которую платил он николаевскими кредитками. Сквозь маленькое, затемненное кустиком акации окошко с трудом пробивался слабый золотисто-зеленый свет. От этого света «Демон» Врубеля, висевший на стене, смотрел на Петю еще более зелеными и мрачными глазами. Петя решил разобрать лежавшую на столе беспорядочную кучу книг и писем от матери: письма положил отдельно, книги отдельно. К образовавшейся стопке книг добавил и другие книги, валявшиеся на диване и на подоконнике. Все это были по преимуществу стихи — от Бальмонта и Саши Черного до Вороного и Александра Олеся. Петя взял наугад одну книгу, хотел было прочесть вслух что-нибудь эдакое демоническое — для пробы голоса. Но горло болело так, что Петя только страдальчески поморщился. Подумал: делать ли сегодня гимнастику по системе Мюллера? Лениво помахал руками и, грустный, пошел умываться.

К купальням мадам Гроскопф надо идти через верхнюю площадку, в соседнюю глухую каморку без окон, где висел единственный, общий для всех жильцов, умывальник, весь покрытый зеленой ржавчиной.

4

— Товарищ Мирон! — рассказывал Петя вечером. — Клянусь богом — это была Она! Снова встретились на ступеньках! Это рок! Мне кажется, я ждал ее всю жизнь. «Днем ходил я по земле, а сейчас — по дну морскому...»[1] А все было так. Вышел я на кухню,

[1] Стихи Александра Олеся.

гляжу — Она! Вся в трауре, как донна Мария: жакет из черного бархата, черное платье... В руках — огромный белый узел. Заходит в одну из лучших комнат Гроскопф. Я говорю: «Ах, мадемуазель, я знал, что мы встретимся с вами еще раз!» То есть я не говорю, а говорит мое сердце, а я стою и не могу оторвать от нее глаз. Смотрю: следом за ней идет тот же высокий, хмурый джентльмен в сером костюме с тоненькими усиками и тоже с узлами в руках. «Кто он?» — удивленно поднял я брови. Я думал, он тот самый коммивояжер, случайный киевлянин, привез ее вчера и — исчез. Так нет, шагает за ней. Наверное, Она что-то уловила в моем озадаченном взгляде. Едва заметно улыбнулась, кивнула мне и пошла в комнаты, оставляя за собой нежный запах лаванды. А я все стою, как дурак...

— Охотно вам верю,— сказал Мирон Самойлович, смачивая слюной дратву.

— ...Стою, как дурак, и вся душа трепещет. Совсем забыл, что пришел умываться.

— Такое с вами часто бывает,— сказал Мирон Самойлович.

— Ах, без иронии, товарищ Мирон! Слушайте дальше, дальше, что было! Я недаром вам говорил: это рок!... Когда я собрался к вам, а в это время как раз звонили к обедне, я уже в третий раз встретил ее на Батыевой горе. Она шла одна по аллее, прямо мне навстречу. Что-то обожгло мою грудь, я словно ослеп, хотел было броситься назад, спрятаться. Она остановилась на аллее, удивленно вскинула брови, поверите — я остолбенел, не в силах сдвинуться с места. «Молодой человек! Куда же вы? — А голос необычный, такой весенний,— и теплый, и завораживающий, и немного лукавства в нем, и женского кокетства, ну, может быть, не кокетства, а чувства превосходства над провинциалом. — Подойдите ко мне на минутку. В Киеве все гимназисты такие робкие — боятся подойти к даме?»

Не знаю, как сделал я несколько этих шагов.

«Как вас зовут?» — спросила Она.

Ответил я голосом хриплым и дрожащим и вообще готов был сквозь землю провалиться...

«Петя, разрешите я вас буду называть по-другому — Петер. Так красивее».

«О, пожалуйста, если вам нравится! А вы... а вас как звать?»

«Софья».

«Софья! Прекрасно! Богиня мудрости. Вам подходит это имя!» — подумал я и сказал:

«У моей мамы соседка в Козятине — Софа, кассирша на станции».

И покраснел. Действительно, как глупо!

Но Она словно и не заметила моего смущения. Спросила: «Вы, конечно, киевлянин. И хорошо знаете город?»

«Киев? Для вас... я буду гидом вашего сердца. Я покажу вам, Софья, что угодно, хоть сейчас, хоть сию минуту!»

Но сказал я что-то вроде:

«Подождите... Я сейчас... Забегу к себе, возьму шарф и сразу к вам...»

И еще больше покраснел, пристыженный своей дикостью: «Что я говорю! Что я говорю! О боже!»

Да спасибо судьбе, и на этот раз Она словно и не обратила внимания на мой детский лепет (я оценил ее благородство) и спокойно, как мне показалось, немножечко играя в свою простоту, произнесла:

«Нет, Петер, не сейчас и не сегодня. Я устала после дороги. Пожалуйста, завтра. Я буду весьма вам признательна...»

Понимаете, товарищ Мирон! Завтра! Завтра Петя Галайченко (а я наберусь смелости, не буду таким робким кавалером), завтра Петя возьмет ее под руку и, наслаждаясь ее близостью и запахом лаванды, скажет: «Мадемуазель, прошу вас — вот наш Бибиковский бульвар...»

Мирон Самойлович откусил дратву, сплюнул на пол и уставил на Петю сосредоточенный взгляд. В его глазах затаилось что-то насмешливое и колючее.

— Милый Петенька! — сказал Мирон Самойлович. — Наберите, пожалуйста, сажи из печи, добавьте ее в типографскую краску и — за работу.

Так всегда. На самом интересном месте Мирон Самойлович обрывает его мысли. Одним махом сбрасывает Петю с заоблачных высот в самое что ни есть болото земных забот. Что значит — наберите сажи? Разве нельзя сказать по-другому: Петя, добавьте черной краски в багряный гнев вашего сердца и напишите новую прокламацию?

Но вместо этого Мирон Самойлович говорит:

— Петенька, прошу вас, оставьте своих прекрасных дамочек за моим порогом. И наденьте фартук.

Что ж, надо привыкать. Войдя в сапожную Мирона Самойловича, вы оказываетесь именно в сапожной, а не где-нибудь в другом месте. Об этом красноречиво говорит и сама вывеска на фасаде глинобитной хибарки с низким и темным полуподвалом, окна которого вросли в землю. Неприглядный серый домик, примыкавший к углу Галицкой площади и со всех сторон зажатый высокими каменными особняками торговой знати, как раз и привлекал к себе внимание своей грандиозной вывеской. Составленная из тяжелых медных листов, в деревянной раме, тянулась она почти через всю стену, и казалось, что именно под ее тяжестью вся халупа покосилась и потрескалась. И неважно, что вывеска эта давно потемнела и проржавела, надпись-то еще можно было прочесть:

«Универсальная мастерская Мирона и К°.

Граждане!

Обувь, как и зубы, ремонтируйте своевременно.
Оплата по доступной цене».

Уже этот афоризм — про обувь и зубы — настраивал Петю на приземленный и потому несколько пессимистический лад. Каждый раз, спускаясь в тесный подвальчик, Петя мрачнел. Собственно, то, что называлось в подвальчике приемной или гостиной, было на самом деле темным и тесным закутком, где помещалась одна только скамья, на которой разместились бы разве что несколько клиентов, но и их почти никогда не бывало. Одна дверь, занавешенная вылинявшим и словно облысевшим плюшем, вела из закутка в мастерскую Мирона, вторая — ничем не занавешенная — в жилое помещение. И там, в полутемной подвальной комнате, заваленной домашней рухлядью, старыми табуретками, кастрюлями, сваленными в кучу войлочными подушками, сидела старая-престарая, быть может столетняя, женщина — мать Мирона. В какое бы время ни приходил Петя, она сидела в одной и той же позе, словно высохший корень дерева. Сидела среди лохмотьев, положив на колени худые, сморщенные руки и низко опустив голову. Наверное, целыми днями дремала. Петя быстро проскальзывал мимо нее, боясь оглянуться. И каждый раз вздрагивала она от самого незначительного шороха и испуганно подымала голову. Глаза ее похожи были на две кровоточащие раны; мутные и гноившиеся, с отекшими воспаленными веками, они смотрели в одну и ту же точку и всегда полны были страха.

Хотя Петя и не подавал виду, но Мирон Самойлович сразу заметил, что ему становится жутко, когда он пробегает мимо комнаты старухи. И вот однажды, промурлыкав себе под нос песню и пожевав по привычке дратву, Мирон Самойлович рассказал, что все это случилось с матерью после ее ограбления в дороге. Лет десять назад на Мирона впервые надели «браслеты» и лютой зимою погнали его этапом на Муром. И тогда мать, не сказав никому из родных ни слова, взяла узелок, зашила в телогрейку деньги и в свои восемьдесят лет отправилась в далекую и страшную дорогу. Она была уверена, что без нее, без картофельного супа ее поседевшее дитя пропадет в первые же дни. Видимо, находясь в вагоне, она и во сне ощупывала свою телогрейку, где были зашиты деньги, а это не могло укрыться от наблюдательных глаз ехавших в вагоне уголовных. Сонную, вывели они ее в тамбур, аккуратно вырезали через пальто и телогрейку кошелек с деньгами, а старуху на полном ходу поезда выбросили в глубокий снег. Пешком, вся обмороженная, возвратилась она в Киев к сестрам, но радости было мало: никого и ничего она не узнавала и говорить не могла — потеряла дар речи.

Словом, Петя пробегал мимо старухи в мастерскую, заваленную всякой рухлядью — колодками, железными лапами, коробками и ящичками с деревянными шпильками, дратвой, смолой. У окна стоял низенький сапожный столик, искромсанный острым сапожным ножом. За этим столиком и работал Мирон; почерневший низ оконной рамы находился под землей, зато верхнее стекло выходило прямо на Галицкую площадь и видна была через него церковь, прозванная Железною, где всегда было людно. Таким образом

товарищ Мирон имел возможность изучать свою клиентуру: перед ним с утра до вечера шаркали тысячи пар обуви: от экзотических башмаков местных голодранцев до хромовых сапог первосортной германской выделки.

— Товарищ Мирон,— в минуту душевной откровенности спросил однажды Петя,— скажите, а как вы разгадали мои мысли? Как вы учуяли мое бунтарское сердце, поняли мое стремление к борьбе?

— По ботинкам,— не выпуская дратвы из зубов, улыбнулся Мирон.— По ботинкам, дорогой Петенька. Дайте мне пару обуви, только ношеной, и я вам скажу, кем и где служит ее хозяин, в каком чине-звании и какого политического направления читает газеты по вечерам. Истинно так. А о дамочках — так и больше того, узнаю, сколько у нее поклонников.

— Я вас серьезно спрашиваю, товарищ Мирон.

— И я серьезно. Когда я увидел, Петя, ваши гимназические ботинки, увидел в окно ваши стоптанные каблуки, ваши скошенные задники, я сказал: «Это он! Именно тот, кто мне нужен!» И помните, я вас позвал в окно. Так было, Петя, или не так, а?

— Так!

— Я вас позвал и безо всяких, знаете ли, хитростей предложил: давайте, Петя, серьезное дело делать. Вместе. Дело, за которое платят исправно — шомполами и порохом. Так было, Петя?

— Так!

— Э-э, Мирон Самойлович не даст вам соврать! Я сквозь ботинки вижу, что сидит в голове у человека. И еще никогда не ошибался. Разве что один только раз, в октябре семнадцатого, когда поверил двум шумным болтунам, Каменеву и Зиновьеву, которые кричали: рано начинать, провалим революцию!

Мирон Самойлович хитро и беззвучно засмеялся и заметил: наверное, он только потому и ошибся, что не видел, как и где искривили эти двое свои ботинки.

Таинственно улыбнулся Мирон Самойлович и вопросительно посмотрел на Петю из-под седых насупленных бровей. И трудно было понять, серьезно он говорит или просто разыгрывает доверчивого гимназиста.

Петя слушал его рассеянно, думал о чем-то своем. И в самом деле, странно и неожиданно они сошлись. Был холодный ветреный вечер. Как всегда, простуженный и голодный, витая в облаках поэзии, брел Петя через Галицкую площадь, мимо решетчатых дверей церкви, мимо базарных ларьков, по привычке спрятав руки под мышки. И вот из одного подвала замахал ему руками совсем незнакомый мужчина, с огромной совершенно лысой головой. Немного удивленный, Петя остановился. Старик горячо и настойчиво показывал в окно: зайдите, мол, сюда, молодой человек! Петя спустился в подвальчик. Не успел он опомниться, как хозяин, покашливая, встал, засуетился, пододвинул ему табуретку. И тут же, не говоря ни слова, стащил с Петиных ног мокрые

н разбитые ботинки. Бедный гость попытался было запротестовать: что вы, не надо!

Но старик схватил железную лапу и в одно мгновенье отодрал стоптанные каблуки, быстро прибил новые, а сверху прибил еще и медные подковки. Потом поколдовал над подметками и, сверкая черными вылинявшими глазами, сказал:

«Вот, пожалуйста, носите!»

На улице, от ветра и снега, Петя промерз до костей, а здесь его обдало жаром, он весь покраснел и опустил глаза: за душой не было ни копейки, чтобы рассчитаться с услужливым сапожником; вот уже второй день — только одни облака поэзии и холодный чай с сухарями, вприкуску. Но сапожник, по-видимому, этого и ожидал; он хитро сощурился и произнес свое загадочное «так-так», потом похлопал Петю по плечу: мол, ничего, возьмем с вас другую плату. А пока — посидите, погрейтесь у меня!..

Вскоре они разговорились и не заметили (а может, не заметил только Петя), как много у них общего. Надо же: оба плохо спят ночью, у одного простуда, ямбы и хореи в голове, у другого — тяжесть прожитых лет, бессонница, болезни, а просыпаются они ночью от одного и того же шума: от грохота немецких сапог и скрежета броневиков, патрулирующих в Киеве.

Помолчали.

Петя нахмурился и, словно от пронизывающего ветра, втянул голову в плечи. Глаза его стали печальными, грустными, в них отразилась совсем не мальчишеская боль; он посмотрел куда-то в угол и глухо, с отчаянием произнес:

— В Африке ловили живой товар в джунглях и вывозили на кораблях. А у нас людей не трогают, зато и днем и ночью эшелонами вывозят все. Слышали? Под Одессой наши «союзники», те же серые каски, разворовали целую железную дорогу. Ночью разобрали ее по костылю, погрузили в вагоны шпалы и рельсы и увезли к себе, в Германию, чтобы достроить свою дорогу и снова нас грабить. А мы сидим и молчим. Рабы!

Петя отвернулся и сказал, что хватит с него, сегодня же пойдет на станцию к железнодорожникам, к рабочим-путейцам. Там позавчера прямо на рельсах убили немцы одного машиниста, его хорошо знали на Соломенке — рябой дядька Алекса, веселый гармонист. Отказался вести эшелон, остановился возле паровоза и говорит: «Стреляйте, убивайте, что хотите делайте,— не поведу. У нас дети с голоду умирают, мы сами даже жмыха не видим, а вам пшеницу везти? На-кась!» Солдаты дважды выстрелили: над головой Алексы, потом — в него. Убили. Теперь саботаж в депо и на станции, паровозы стоят без пара, и немцы поспешно стягивают войска. Пахнет кровью.

— Армию Вильгельма,— сказал Мирон Самойлович,— пригласили на Украину наши предатели, грушевские и голубовичи, вот кто! Они подписали тайное соглашение: укротите, мол, господа, взбунтовавшегося мужика, спасите нас от революции, а там грабьте на здоровье, сколько вашей душе угодно!

Петя нахмурился и сказал: сегодня он прорвется сквозь окружение, ляжет на рельсы и умрет — пускай проедут по нему вагоны! Со всем этим награбленным добром!

Кто знает, как отнесся Мирон Самойлович в глубине души к этому Петиному порыву. Он только вздохнул и заметил:

— Эхе-хе-хе, Петр! Не надо умирать. Для нас с вами есть очень серьезное дело...

Как показалось Пете, какую-то минуту хозяин колебался, а потом встал и решительно кивнул головой: пойдем!

И он повел Петю в боковую комнату, у двери которой он остановился, приложив палец к губам (мол, т-с-с, большой секрет), и мгновение спустя Петя увидел тяжелый черный ящик, в котором при слабом свете поблескивали и магически отсвечивали... типографские шрифты.

О господи, да разве так представлял себе Петя подпольную типографию! Он думал: в страшной подземной пещере пылает революционный горн и великаны-гермесы куют острые клинки прокламаций. Подлые шпики шныряют в темноте, тщетно пытаясь обнаружить конспираторов. Но тайна есть тайна, и гермесы куют и куют. А оказывается, все просто и буднично. Узенькая боковая комната, дверь которой занавешена старой, грязной парусиной. Горит дешевая свеча. И прямо на столе стоит касса с гарнитурой: в темных квадратных гнездах тускло поблескивает шрифт. И тут же на полу, под ногами, валяются два самодельных валика с ручками. Такими валиками обычно накатывают трафарет на стены квартир. И никогда в жизни не подумаешь, что это — важный типографский инструмент. Ну, а банка с краской открыта, а рулон бумаги, обернутый тряпьем, заменяет стул — садись и закуривай.

И это подпольная типография!

5

Вы помните, читатель, как Петя пришел к Мирону Самойловичу простуженный, с обложенным горлом и, едва переступив порог мастерской, сообщил: он, Петя, — самый счастливый человек, потому что завтра будет показывать Киев мадемуазель Софье, и, уж будьте уверены, найдет, что продемонстрировать властительнице своего сердца в стародавнем граде Кия. На что Мирон Самойлович сказал: «Петя, оставьте своих прекрасных дамочек за моим порогом. И наденьте фартук». И когда Петя сбросил с себя тужурку и сразу стал без нее худеньким и щупленьким, Мирон Самойлович, окинув его скептическим взглядом, пробормотал что-то о молодости, которая губит себя бог весть какими причудами, и только потом перешел на деловой разговор.

— Петя, вы слышали новость? — спросил Мирон Самойлович. — Фельдмаршал Эйхгорн издал «Приказ о весеннем севе». И думаете, зачем? Они поставят пулеметы и силой заставят мужиков засевать помещичьи земли.

Петя тихо спросил:

— Что же это? Татарское нашествие с запада?

...Они стоят в подвальчике, в тесном углу мастерской; мигает керосиновая лампа, над головой качается черная от сажи паутина, а Петя макает типографский валик в бачок, ждет, пока стечет лишняя краска, а потом проводит валиком по наборной доске. Лоснится широкая колонка набора, в ней сразу видна каждая литера. Мирон привычным и ловким движением кладет лист бумаги на густо смазанную колонку, бумага пристает к краске, а Петя теперь уже другим валиком — сухим, обшитым войлоком, проводит один раз, второй, с нажимом, по всему полю. Мирон снимает бумагу — и вот вам листовка, свежая, еще сырая и липкая прокламация, и Петя читает первые строки: «Товарищи! На глазах многострадального народа кайзер наводит жерла своих пушек в самое сердце Украины». И так — пока глаза его не останавливаются на хорошо отпечатанной внизу подписи: Мамай.

«Софья, разве вы не знаете Мамая? Как, и вообще не слыхали о нем? Но, может быть, читали его прокламации, его зажигательные речи? Нет? Ах да, понимаю, понимаю — вы же из Италии, вилла в Сорренто, а здесь — проездом...»

Мамай — это псевдоним. Когда-нибудь спросят люди: как родилась эта подпольная кличка? И историк ответит: Галайченко — Галай, Галай — Мамай».

— Мирон Самойлович,— как бы между прочим говорит Петя. — Меня давно интересует: что же это за конспирация, если мы работаем совсем открыто? Фартуком прикрываем кассу, а валики лежат на полу.

— Ах, Петя,— вздыхает Мирон Самойлович,— что такое конспирация? Мы не такие уж наивные люди, чтобы играть в «кошки-мышки». И не такие глупые, чтобы рыть подземные ходы. Для охранки, а теперь для шпиков, которые служат кайзеру, главное что? Напасть на след — вот что. А уж если пронюхают, Петя, то ни в какой норе не спрячешься: у церберов найдутся деньги, чтоб всю Галицкую площадь раскопать на сто метров в глубину и в ширину.

— И все-таки, Мирон Самойлович. Многолюдная улица, кругом шпики, патрули, а мы у них под носом катаем прокламации. Да еще какие! На что ж нам надеяться?

— На свой язык, Петя. Самый большой конспиратор — язык. Упрячьте, Петя, типографию неизвестно куда, хотя бы даже и в печерский склеп, но заведись один-единственный болтун, и этого будет достаточно, чтобы провалить дело. Но ведь вы, Петя, умеете молчать. Правда?

Петя, конечно, не ожидал такого поворота. Он так и замер над типографским столом, даже дух захватило. Мирон заговорил о том, что и ему самому не давало покоя. На самом деле — хватит ли у него сил и мужества в ту, фатальную минуту? Не дрогнет ли сердце в решительный момент? Петя поймал себя на мысли, что боится, как, бывало, боялся капли крови на пальце.

Он резко, решительно поднял голову.

— Я умею молчать. И под шомполами я буду молчать, крепко сжав зубы.

— Хорошо, Петя! А за Мирона Самойловича будьте спокойны. Кто-кто, а Мирон Самойлович не один раз молчал и, если потребуется, еще лет сто не произнесет ни слова.

— Но... допросы, каторга. Кровь, выламывание рук. Вас никогда это не пугало, ну хотя бы во сне?

— Дорогой Петя, а где нет каторги? Где нет крови? Посмотри в окно: темнота, ночь; предательство и оккупация угнетают нас; вся Украина в холодной яме. Там, в ссылке, хоть казенный харч и крыша над головой, а такие компаньоны, такие горячие филозо́фы, только слушай и ума от них набирайся! Эге-ге, Петя, не сибирская каторга страшна, а красивые дамочки, которые сведут вас в могилу! — и Мирон Самойлович слегка пощупал Петин живот. Но живота, как такового, не оказалось, а только глубокая впадина и острые ребра, выпиравшие из-под рубашки. — Я тоже, Петя,— сказал Мирон Самойлович,— был в ваши годы вечно голодный, то есть вечно влюбленный. Вздыхал и сох по эфирно-воздушным ангелам в юбках.

Мирон Самойлович беззвучно рассмеялся.

Совсем немного бы еще, и Петя, конечно, открыл бы для себя одну истину: люди стареют не только телом, но и душой; как осенью деревья сбрасывают пожелтевшие листья, так стареют, меняются горячие, революционные представления о мире и о борьбе, а на смену им приходят рассудительность, воспоминания о пережитом. Смутно, где-то в глубине души Петя сознавал: сейчас не то, сейчас совсем не то слово нужно! И скорее не слово, а дело! Они сидят в подвальчике у Мирона и, как в прежние времена, призывают людей к борьбе, к единству. А железнодорожники тем временем сражаются и умирают в депо и на путях, и им нужны винтовки, снаряды и хлеб. На штурм, на прорыв хорошо бы бросить красные отряды! А он и Мирон, согнувшись в три погибели, печатают в темном подвальчике свои прокламации.

Но все это сознавал Петя в глубине души, а вообще-то все еще находился под впечатлением захватывающего процесса печатания, романтики подпольной работы, таинственного блеска шрифтов и легкого причмокивания валика, насыщающего краской набор.

«Мама, не ходят больше поезда, ночью я слышу стрельбу, но забастовка в Киеве не прекращается, и я не могу ни послать, ни передать тебе письма. Но если бы и передал, то разве решился бы, разве мог бы рассказать обо всем, что со мной случилось, что я пережил в последние дни.

От Мирона я вернулся вчера почти под утро (кстати, у него свои, засекреченные экспедиторы; ни одной листовки он мне не

дает, говорит, конспирация, однако я и на этот раз стащил сразу две.) Проспал я до обеда, проснулся и со страхом посмотрел в окно: о господи, неужели... опоздал? Сердце билось так, словно выставили меня на экзамене за дверь. Отряхнув шинель, я кое-как почистил свои ботфорты.

Едва стемнело, я примчался на Галицкую площадь, к той самой галантерейной палатке, где мы договорились встретиться.

Разве все упомнишь, мама. Я был ошеломлен, был жалок и глуп, как никогда. Однако сразу, едва увидел ее, замер, сердце перестало биться, и я почувствовал, что меня тошнит. Нет! Сейчас трудно передать те чувства, которые я тогда испытывал, особенно когда Она взяла меня под руку.

Итак, мощеная и широкая Галицкая площадь и небо, необыкновенное, фиолетовое; виснут над Киевом тревожные весенние звезды, мелькают тени прохожих, и разноцветными огнями светят фонари. Мгновение, глубоко врезавшееся в мою память: Она идет навстречу мне, такая гордая, высокая, стройная, а лицо бледное — то ли от освещенных витрин, то ли от синего сумрака. В черном длинном платье, в черном жакете, который так подчеркивает ее фигуру, идет Она, гордая, недоступная, и от нее исходит прелестный запах духов. (Теперь, если я сплю или одиноко блуждаю по городу, Она тревожно спешит ко мне; я чувствую скорее своими нервами стук ее каблуков... Она приближается.., вот ее силуэт — отражение в витрине.)

— Здравствуйте, Петер.

— О, Софья!..

Одно прикосновение ее руки, и словно мурашки пробегают по телу, я стою завороженный. Не скоро успокоится мое сердце и снова почувствую я почву под ногами.

Мы свернули на Бибиковский бульвар. Необыкновенное зрелище: прямо перед нами — нескончаемая аллея тополей, она тянется темным узким коридором и, уходя вверх, теряется вдали. Эта живописная дорога, эти деревья, стоящие сплошной стеной, этот кусочек освещенного неба, полная луна — и мы идем по чудесному бульвару. Слышится сзади чей-то смех, нас догоняют чьи-то шаги, но я никого не слышу и не вижу. Я весь в таком возбуждении, что иду и без умолку говорю и говорю, рассказываю — о гимназии, которую мы сами распустили и закрыли, о педантичной и мелочной мадам Гроскопф, о известном киевском клоуне Яше, глотающем подметки, и еще обо всем на свете. Она молчит, сдержанно улыбается, лицо ее невозмутимо — это печать высшего общества, которое мне и недоступно и непонятно; движения ее плавны, грациозны, это не провинциальная барышня, это женщина, столичная дама, которая хорошо знает себе цену и чувствует свое превосходство.

Мы идем мимо решетчатой ограды Ботанического сада. Там на небольшой площади установлен памятник графу Бобринскому. Он воздвигнут в честь больших заслуг их сиятельства: граф первый построил на Украине, в Смиле, большой сахарный завод и

довел крестьян до того, что они дважды жгли и завод, и усадьбу.

Мы выходим на Крещатик. О, вы знаете, что такое Крещатик! Это парад мундиров, выставка дамских шляпок, место прогулок почтенной публики. Здесь вам и Царская площадь, и Купеческий клуб; здесь и «Гранд-отель», и городская дума с золотой фигурой святого архиепископа Михаила на башенке; здесь и знаменитая своими скандалами «Европейская гостиница»; здесь в сиянии огней манит не менее известный «Hippo Palace», где удивляет публику своими непревзойденными выступлениями Яша; здесь продает и покупает, ворочая тысячами керенок и николаевских ассигнаций, грандиозный крытый рынок под стеклянным куполом в стиле английского модерна... Но сейчас наше внимание привлекает другое: Крещатик бурлит. Гремят военные оркестры, битком набиты веселящейся публикой рестораны. А сколько разных золотых погон! Они словно состязаются между собой, стараясь затмить друг друга блеском и пышностью своих гербов,— царские лейб-гусары и немецкая имперская гвардия; кавалергарды Семеновских полков и горные стрелки «альпийских дивизий». Вчерашние враги сегодня вместе. Смешались ментики, аксельбанты, эполеты, перепутались языки и акценты, пьяные тосты и проклятия. «Ты сволочь, Гриновский! Тебя застрелить мало, подлеца, за это предательство!»—«Ну, что вы, господа! Выпьем-ка лучше за наше здоровье!»

Богачи жуют, целуются, курят. Жирные губы, разгоряченные лбы, мокрые затылки. Дискутируют вожди всех партий — Монархического блока, Офицерского союза, Национального центра, витийствуют пророки, им подпевают проститутки, обливаются потом биржевые дельцы, аферисты, корифеи императорских театров — все то, что укрылось от возмездия народного, вся недобитая нечисть пьет и анафемствует здесь, на Крещатике.

Софья идет быстро, уверенно, время от времени бросая презрительный взгляд на широко распахнутые двери кафе и ресторанов, на улыбающихся офицеров. Я что-то говорю ей о Павле Скоропадском, о новоявленном клоуне, которого недавно, буквально на днях (и где? — в Киевском гипо-палаццо, в цирке!), окрестили гетманом всея Украины. Местные новости слушала Софья более чем внимательно.

Вот и Царская площадь — здесь Крещатик упирается в городской сад. На площади, около Купеческого собрания, небольшой скверик с фонтаном, дальше стоят наглухо забитые старые деревянные лавки, где еще недавно торговали газетами и цветами. Сейчас к одной из этих лавок прибита стрелка, которая указывает на Печерск: «Штаб генерал-фельдмаршала Эйхгорна».

— В сад? — спросил я.

— Нет,— сказала Она. — Хочу взглянуть на гетманский дворец. Лавра, водка, Скоропадский — вот, пожалуй, и все, чем славится нынче Киев.

Эти слова были мне неприятны, но разве можно возражать ей!

Пошла в гору аристократическая Александровская улица, и чем ближе мы подходили к Липкам, тем все тише становилось вокруг, все меньше попадалось навстречу прохожих, а потом и вовсе стало безлюдно. «Стоит ли дальше идти? — тревожно подумал я. — Штаб Эйхгорна, комендатура... Немцы — люди слишком серьезные, они не любят, чтобы кто-нибудь появлялся ночью в их расположении...» Но мы по-прежнему идем, сворачиваем на Екатерининскую, огни ресторанов и музыка остались позади, а перед нами — сгустившийся сумрак, холодная мостовая и серые здания, огороженные колючей проволокой, в подъездах красные сигнальные фонари и мрачные фигуры часовых. Улица притаилась, все вокруг словно вымерло. Мы идем тихо; я хорошо слышу шорох ее платья, ее тяжелое дыхание, чувствую, как стучит ее пульс (наверное, я крепко сжимаю ее руку). Каждый шаг наш гулко отзывается эхом, и мое сердце еще сильнее сжимается.

В подъездах мелькают сероватые каски. За нами уже наблюдают.

— Пошли назад,— говорит Она. — Я устала.

И хотя там, в конце улицы, где-то на Институтской, уже виден сверкающий огнями дворец гетмана, на который Она хотела посмотреть, я с удовольствием поворачиваю назад...»

6

Они проходили мимо небольшого старинного замка с белыми колоннами, и кто знает, думали ли они или догадывались, что скоро, а может быть, даже и сегодня, судьба свяжет их одним трагическим узлом с теми людьми, которые сидят сейчас там, за белыми колоннами, в ярко освещенном особняке.

Липки. Главная квартира Эйхгорна. Часовые, часовые, охрана у подъезда, охрана у ажурных ворот. Темно, и только крыльцо парадного входа слабо освещено. А на втором этаже до поздней ночи все не гаснет огонь. Там у камина сидят двое: посол Мумм и генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн. Он взволнован и много курит, порой бросает резкие реплики младшим офицерам, которые входят с картами и бумагами и тут же исчезают. Курьеры, броневик, легковая машина и крытая коляска возле подъезда — все наготове. Внизу, в специальной комнате,— телеграфные аппараты. К послу и фельдмаршалу, двум самым влиятельным фигурам на Восточном фронте, тянется густая паутина связей с Берлином, Одессой, где сейчас напряженно работает главный штаб австро-венгерских войск, с дворцом Габсбургов в Вене, со всеми столицами Европы. Назревают решительные события. Телеграфисты не успевают принимать и отправлять секретные сообщения, приказы, донесения,

Берлин. Имперское управление по делам восточных земель
Совершенно секретно

Поддерживаемый нами председатель Центральной рады Грушевский и премьер-министр Голубович явились ко мне с письменной жалобой на действия наших военных властей. В резкой форме я дал им понять, что их влияние распространяется не дальше германских штыков. Я сказал им, что без нашей военной поддержки их немедленно выдворили бы вон, а Украину предали бы хаосу и анархии.

Барон Мумм

Считаю необходимым создать в пределах Украины генерал-губернаторство. Только твердая власть способна достойно защищать наши военные и экономические интересы на восточных землях.

Главнокомандующий фон Эйхгорн

Создание генерал-губернаторства считаю преждевременным.

Посол Мумм

Мне нравится идея единоличной верховной власти, подчиненной нам, на восточных землях. Прошу сообщить, значительно ли местный титул гетмана отличается от титула курфюрста.

Вильгельм II, император и король.

Отсвет из камина падает на продолговатое, с крупными волевыми чертами лицо Эйхгорна, холеное лицо человека, осознающего всю полноту своей власти. При всей выдержке и хладнокровии, его раздражают длинные и нудные дипломатические проволочки и манипуляции, особенно сейчас, когда надо не рассуждать, а действовать.

— Я не хотел бы только одного,— холодно говорит он Мумму. — Не хотел бы, чтобы ваше гетманство путалось у нас под ногами, как путалась злосчастная Центральная рада. Мы не жалеем солдат, ценою жизни германских воинов мы затыкаем щели и трещины в нелепом здании, которое разваливается на наших глазах, мы проливаем кровь, а что творят эти премьеры и гетманы? Вместо благодарной помощи они затевают мелкие склоки со своими подданными и с нами. Долго ли мы будем миндальничать с ними?

— Не горячитесь, дорогой мой Герман,— мягко и дружелюбно улыбается барон Мумм и по привычке гладит сенбернара, который лежит возле его ног и неспокойно посматривает на огонь и на тень фельдмаршала. — Вы нетерпеливы. Будет здесь генерал-губернаторство, будет, никуда оно от нас не уйдет. Но давайте учиться у англичан. С местным населением, как пишут серьезные исследователи, можно делать все что угодно, только при одном

условии: надо оставить им идола и разрешить ношение традиционного национального костюма. Веер на голове, кольцо в ноздре — вот что ему, непорочному сыну природы, дороже всего: форма! Что ж, пожалуйста! На здоровье! Шаровары? Сколько хотите! Гопак? Ради бога! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

— Мы уже доплясались с вашими голубовичами, барон, черт знает до чего!

— Ну что ж, здесь не могу не согласиться. Но как сказал один русский писатель: «Я тебя породил, я тебя и убью». Я имею в виду телеграмму кайзера, в которой он предлагает нам выбрать гетмана из трех кандидатов — Лизогуба, Шеремета и Скоропадского.

— И что же? Каково ваше мнение, барон?

— Павел Петрович Скоропадский — потомок одного из последних украинских гетманов, это придает его личности значительный пиетет и вес во влиятельных кругах местных землевладельцев и промышленников. Политическое и имущественное лицо Скоропадского: он лучший друг кузена кайзера Николая II, флигель-адъютант его императорского величества, крупный латифундист Полтавской и Черниговской губерний. Был командиром лейбгвардейского полка в Царском Селе, командовал дивизией и корпусом на Западном фронте. Твердо поддерживал германофильскую ориентацию при дворе. Выступает за независимость Украины под полным военным протекторатом Германии.

— Здесь не могу с вами не согласиться, — сказал Эйхгорн. — Кандидатура самая подходящая.

...Два дня спустя была получена еще одна телеграмма:

Киев, Мумму, Эйхгорну

Передайте генералу Скоропадскому: на высоком заседании имперского совета двора он окончательно утвержден гетманом Украины. Мы будем поддерживать его всей силой нашего оружия, если гетман будет неукоснительно выполнять все наши требования и указания.

Вильгельм II

Получив телеграмму, Мумм сразу же снова отправился к Эйхгорну.

— Итак, с богом! Начинайте! — воскликнул он, входя в его кабинет вместе со своим сенбернаром.

Эйхгорн по телефону отдал команду:

— Поднимайте вторую и пятую дивизии. Броневики. Кавалерийский полк. Все проведем точно, быстро, стремительно!

Слышно было, как выбегают из подъезда адъютанты, связные. Захлопали двери. Затарахтел мотор, и помчался куда-то легковой автомобиль. Эйхгорн подошел к окну. Тревожная мгла надвигалась из глубинных просторов, из вековых лесов и степей чужой земли; ночь и тишина в каменных коридорах Киева, а здесь, око-

ло штаба, полоса яркого света, топот сапог, нервные голоса офицеров. Кто-то перебегает улицу, и откуда ему, Эйхгорну, знать, кто эти люди — то ли его патрульные, то ли какие-нибудь аборигены,— может статься, даже Софья с Петром Галайченко. Эйхгорну становится не по себе от этой мысли, а за спиной у него начинает уныло и протяжно, словно предрекая беду, подвывать сенбернар.

— Уберите своего пса! Мне неприятно, когда он воет у меня за спиной! — говорит фельдмаршал Мумму.

Цоканьем, тяжелым гулом отзывается мостовая под ногами немецких солдат, фыркают лошади, грохочут пушечные лафеты. Четким строем движутся серые каски — с Подола, с Шулявки, через Галицкую площадь, мимо окон мастерской Мирона Самойловича, сюда, к кадетским корпусам. И вот команда: «Halt»[1]. Со скрипом раздвигаются чугунные засовы, и пехота заполняет галереи казарм, где безмятежно спит на нарах дивизия синих жупанов, гордость и слава Центральной рады. Усатый сотник сгоряча выхватывает наган, но тут же отчаянно вскрикивает: две немецкие винтовки — крест-накрест — прижали его к стене. Карабины и шашки брошены в кучу, бунчуки сломаны, офицеры разоружены — и нет больше синей дивизии, стоит она босая и растерзанная во дворе, на сквозном ветру, окруженная серыми касками. Где синие жупаны, где каракулевые шапки и папахи с лихо заломленным верхом? Все вышвырнуто через окна казарм во двор, в лужи и в мокрую глину!

А мостовая отзывается цоканьем, все выше и выше по крутому подъему поднимаются каски, и снова приказ: «Halt».

Но в лукьяновских казармах сечевиков не удается застать врасплох. С белым флагом выходят вперед двое в высоких папахах с длинными шлыками — сам Коновалец и Мельник. Изящно отдают они честь немецкому подполковнику и торжественно объявляют, что дивизия сечевых стрелков с радостью переходит на сторону гетмана и будет служить ему верой и правдой.

Вот уже и утро, а солдатские сапоги все еще грохочут по мостовой. Рота немецкой пехоты врывается в зал, где заседает Центральная рада. Немая сцена, застывшие глаза, тихий шепот по рядам: «Что это значит?» А немецкий капрал с унтер-офицером связывают руки премьер-министру Голубовичу и отправляют его в комендатуру.

Голубович с возмущением смотрит в твердые вспотевшие затылки солдат. Он двигает плечом и возмущается. И возмущается неспроста. «Как? Меня? Премьер-министра? Того, кто подписал тайные условия для вас: миллионы пудов украинского хлеба и даже тысячи бочек квашеной капусты?» Но напрасно Голубович возмущается. Ведь генерал Скоропадский заплатил в два раза больше: и хлебом, и казнями. И твердо пообещал: сдерет зерно,

---

[1] Halt — стой *(нем.)*.

сдерет мясо, а если надо, то и шкуру, с упрямого украинского мужика, сдерет к этой осени.

Ведут связанного Голубовича по мертвому городу, ведут без шапки, без министерского портфеля, расстегнутого.

В кучу, в одну кучу все — бунчуки, папахи, министерские портфели, все, все, что оплачено кровью народа,— все в одну кучу!

Посол Мумм передает по телефону:

— С Центральной радой покончено.

А теперь сцена, о которой с таким увлечением рассказывал своей даме Петя Галайченко. Вся Николаевская улица, которая ведет к знаменитому цирку, до самого гипо-палаццо, перекрыта и блокирована кайзеровскими войсками; за плотным кольцом холодных штыков, там, в Киевском цирке, имеет место дикое позорище. Гетман Скоропадский выходит на трибуну и — о комедия! — достает не ту речь. Перепутал, перепутал ясновельможный генерал! Несколько обескураженный, он искоса смотрит на барона Мумма: «Как? По-немецки читать?» — «О думкопф!» — весь бледный, любезно цедит сквозь зубы Мумм и тут же протягивает ему речь на украинском языке. А потом огромный хор, молебен на Софийской площади, растроганные слезы полногрудых дам.

Двое возле камина могут пожать друг другу руки: все разыграно словно по нотам! Закончилась оперетта Оффенбаха, как образно заметил герцог Лейхтенбергский. И еще одна кровавая драма: подавили саботаж на железной дороге. Теперь спешат отправить на запад, в чрево фатерлянда, поезда, эшелоны, платформы с хлебом, лошадьми и рудой; гнать мимо Батыевой горы, да так, чтобы дрожала она вся вместе с убогой Петиной каморкой.

— Я бью вам челом, великое и славное общество, и объявляю полную свободу на украинской земле! — восклицает на Софийской площади гетман Павло Скоропадский. И в тот же день подписывает декрет о специальной государственной службе, естественно — тайной, под черные крылья которой гетман созвал самых ожесточенных монархистов, полицейских, жандармских доносчиков, одним словом, старых заслуженных живодеров, прошедших хорошую школу в царской охранке.

Стены Лукьяновской тюрьмы и запекшаяся на них кровь очень скоро завопят на весь мир о дарованной гетманом «свободе».

7

«Дорогая мама! Вчера на станции я встретил Кисленко, того самого кондуктора, через которого передал тебе письма. Спрашиваю: когда поедете назад? А он только разводит руками: «Кто его знает! Может быть, через неделю, а может, и через месяц. Время-то какое, сами понимаете... Дорогу, говорит, взорвали в лесах за Бояркой какие-то налетчики или партизаны, поговаривают люди, что — большевики; немцы расстреливают всех, кто

пойдет к железнодорожному полотну, но рельсы все равно кто-то растаскивает и разрушает мосты».

Видишь, мама, время-то такое, а мне с тобой поговорить все равно надо. Именно сейчас. И именно о ней. Мама, сегодня Она была у меня!..

Я чинил ботинки, и вдруг в дверь постучали, быстро и торопливо. Открываю — Софья! Не такая, как всегда, с лавандовыми запахами столицы, холодная и недоступная, а какая-то простая, в домашнем платье и, кажется, чем-то очень взволнованная. Подает мне узелок небольшой, но тяжелый и говорит: «Пускай полежит у вас». И тут же хотела уйти, но вдруг услышала на лестнице шаги. Там кто-то тяжело дышит, звенит шпорами, вот уже совсем близко. На секунду Она задержалась: куда бежать? К себе или оставаться здесь? В серых больших глазах — растерянность, ничего не говорит, только задвигала губами, и я вижу: над верхней губой проступили капли пота.

Но Она взяла себя в руки, легко прошмыгнула мимо меня, дотронулась нечаянно (о боже!) своими губами до моей щеки. Уничтожила, обожгла меня этим жгучим прикосновением! И скупо улыбнулась, и, бросив на меня завораживающий взгляд, что-то произнесла. Я не сразу понял что. А когда понял, меня словно громом сразило. «Я у вас в гостях!» — вот что Она шепнула. А Она быстро выхватила узел из моих рук и засунула его под диван. Показала рукой: «Не стойте! Садитесь, Петя, вот здесь! Почему вы такой... негостеприимный?» И хотя Она непринужденно села около меня, все-таки было заметно, как вся Она сжалась, словно пружина, как напряженно прислушивается. Шпоры прозвенели совсем близко, у нас за дверью. Потоптались немного на месте. Остановились. Тишина. Словно кто-то заглядывает тебе в душу.

В приоткрытую дверь грубый, цинично-холодный глаз: притаились, а? Мы и в самом деле притихли. И тут Софья (уже не нарочно, а, как мне показалось, инстинктивно или, скорее, с неожиданным женским вызовом: дескать, пускай смотрят!) прильнула ко мне. Прильнула к моему плечу и даже слегка прижалась, склонила голову, и мы так сидели в глубоком, тревожном забытьи. Бог ты мой, как громко забилось мое сердце! Кровь ударила в голову и снова отхлынула. Я ослеп, готов был провалиться сквозь землю — посмотрел на свою руку, не поверил себе: о ужас! Как?! Когда?! Неужели я посмел? И что теперь будет?

Сон, нелепый сон: моя рука почему-то лежала на ее плече. Это немыслимо! Петя Галайченко осторожно придерживает ее и, ослепленный, прижимает к груди божественно прекрасную даму.

А за дверями кто-то кашлянул, постоял немного и стал подниматься по лестнице, в продутую ветром скрипучую мансарду.

Ее визит, сверток, неожиданное прикосновение губ (испуганное и по-женски заманчивое) произвели на меня впечатление разорвавшейся бомбы. Я не мог понять, что все это значит. Потом меня стала мучить мысль: кем я был для нее в то короткое мгно-

вение? Может быть, просто завесой, прикрытием? Настроение сразу упало, и я спросил:

— Софья... Кажется, вы кого-то испугались?

— О нет. Но, понимаете, какой-то подозрительный тип. В старой полицейской форме, в шинели. Целый час кружил вокруг дома. И вдруг направился сюда.

— А-а! — я как будто очнулся от гипноза и громко рассмеялся. — Так это бывший соломенский пристав! Щедрик его фамилия. Полицию разогнали, а он все никак свою форму не снимет. Старый холостяк и известный на всю слободку донжуан. Он нашу Фросю навещает. Может быть, вы видели, здесь в мансарде живет девица — это предмет его «страстной любви».

Петя очнулся от гипноза. Возможно. Но отрезвление длилось недолго. Когда Софья опять вскинула на него горящие черным огнем глаза и тихонько спросила: «Петер, как вы живете? Чем занимаетесь! Какую исповедуете веру?» — от этих слов Петю снова бросило в бешеный водоворот. Он сразу оторвался от берега и поплыл, поплыл... И заговорил как в лихорадке: грозный час истории, тевтонский сапог на горле революции, взрывные октавы прокламаций. Лихорадочно дрожа, полуослепленный (от голода и нервного возбуждения), Петя забыл и о Мироне, и о своем обещании молчать даже под пытками; он вытащил из-под матраса изрядно помятую листовку, торжественно прочитал: «Товарищи! На глазах многострадального народа кайзер наводит жерла своих пушек в самое сердце Украины».

Софья внимательно слушала, пристально смотрела на него, словно заглядывала ему в душу, все понимая и все прощая.

— Вы интеллигент, Петер, — сказала Софья. — А по натуре и по призванию — революционер. Но скажите: кому вы посвящаете свои прокламации?

— Как это кому? Народу! Многострадальной моей Украине.

— Ах вы, южане!.. Вы всегда немного экзальтированны. Что такое народ, Петер? Посмотрите, немецкие солдаты, о которых вы так гневно пишете, согнали мужиков изо всех ближайших сел, а заодно и горожан с лопатами и метлами. И приказали: вымыть и вычистить вокзал, Крещатик и все улицы, где расположены казармы. Вы видели, Петя, как бородатые мужики, а с ними и добропорядочные мещане в кацавейках, как они любовно, старательно, угодливо мыли и чистили площадь перед вокзалом, как подметали улицы? А потом сами впряглись в подводы и повезли мусор за город. Было такое, друг мой?

— Было! — сказал Петя и хотел добавить: «Под страхом смерти! На Крещатике один старый провизор бросил им под ноги лопату, так его избили шомполами!..»

— Глухая провинция, а мужичье — тем паче, поймите, Петер, отличаются угодничеством, холопским духом. Дайте темному нашему мужику землю, букварь и святую икону — он будет целовать руку кому угодно: кайзеру, гетману, любому атаману, в конце концов.

Такие обобщения Пете не понравились, но он был истинный интеллигент, человек крайне учтивый и деликатный, и потому пропустил мимо ушей то, чего другие, пожалуй, не пропускают.

— Народ деморализован, Петер! Он деградирует. Он огрубел, устал от войны, стал равнодушен к самому себе. Только акт великого самопожертвования может поднять массы на борьбу. Только сподвижник, только человек, смело бросивший вызов обществу: я презираю смерть, я жертвую собой, я иду на отчаянный подвиг, но вы — опомнитесь!

«Стой! Кто идет?» — вопрошает немецкий патруль.

«Революция!» — гордо отвечает Петя.

«Стой! Стрелять буду!» — кричит часовой.

«Черта с два!» — говорит Петя и спокойно бросает бомбу.

Взрыв сотрясает мост, и эхо разносится по всему городу. Над задремавшими зданиями, как по команде, взвиваются красные флаги.

И Петя убеждает ее в том, что давно готов к подвигу и всю жизнь вынашивает именно эту мысль: акт самопожертвования, горит костер под ногами, и флаги, флаги над городом. Но как это осуществить? К сожалению, для него это только мечта. Он не знает, не знает — как? Когда? Вместе с кем?

И Софья объясняет: люди такие, конечно, есть; люди смелые и гордые — из подпольного центра. И во что бы то ни стало им надо помочь.

— А если говорить откровенно, то вы, Петер, человек здешний (и до конца преданный революции), должны взять на себя вот что... Как раз там, где мы были вчера, на Екатерининской, нет никаких магазинов, нет разносчиков, нет благодетельной мадам Гроскопф с ее квартирами, где можно кое-кому остановиться на постой. Сплошной военный лагерь. Улица-казарма. Одни только патрули и тайные агенты. Там ведь штаб Эйхгорна и его квартира. Так вот: надо точно, очень точно знать: когда он выходит из своего жилища, сколько минут идет в штаб, какая у него охрана, как относится она к случайным прохожим, встречающимся на улице.

И Петя, находясь все в том же возбуждении, говорит:

— Понимаю, все понимаю, буду счастлив, если...

— Но помните, Петер: почет или смерть! Наш закон: или смерть — подвиг, или смерть — за предательство. Мы жестоко мстим малодушным.

— Почет или смерть! — повторяет Петя, и лицо Софьи стоит перед его глазами — жертвенное, мертвенно-бледное, с тем внутренне сдержанным и всепоглощающим огнем, с каким, наверно, Христос восходил на Голгофу.

— Очень важная подробность! — вспомнила она. — Почему вы ежедневно появляетесь на Екатерининской?

— Там есть кафе Мартини. Недорогое, но вполне приличное. Люблю итальянскую кухню.

— Прекрасно! — воскликнула Она. — Вы врожденный конспиратор! Итак, Петер, вы сегодня идете туда, на Екатерининскую. И я буду с вами мыслями, сердцем, буду охранять вас крыльями души. Будьте спокойны и мужественны. Вы идете по своей земле, пускай трепещут оккупанты. Вы не одни, с вами правда, муки и страдания народа... Ну что ж, мой мальчик! Благословляю!

Она встала, и Петя еще не успел произнести слова, как Она наклонила голову и сурово, сдержанно поцеловала в лоб. Так целуют, наверное, младшего брата или сестру, отправляя их в нелегкую дорогу.

— Вот что,— торопливо добавила Она. — Денег на питание у вас нет, не так ли?

Из кармана жакета достала Она небольшой сверточек, наверное уже давно приготовленный, и дала его Пете, настойчиво ткнула в руки: берите!

Тут же забрала из-под дивана свой багаж, перевязанный тесьмой и туго набитый, словно железом. Прощальная улыбка, блеск глаз — и Она выпорхнула из комнаты тихо и бесшумно, даже не скрипнув дверью. А в руках у Пети осталась пачка слипшихся и почему-то влажноватых керенок. Деньги... Они сразу отрезвили его, опустили с небес на землю — запахло кухней, дешевыми завтраками в булочных и еще чем-то не очень приятным. Надо было бы вернуть ей этот, от лукавого, влажный пакет. Но Петя был настолько деликатным человеком, что не мог даже избавиться от навязанных ему денег, и сейчас они жгли ему руки.

За окнами мастерской весна, легкий пар поднимается с тротуара, шаркают по асфальту сотни ботинок всевозможных фасонов и размеров. Вот прозвенели малиновым звоном офицерские шпоры; сабля губернского комиссара тащится по брусчатой мостовой, лязгает и выбивает искры, словно проводит по земле беспощадную грань между миром праведным и неправедным. А вот и золоторотец с Галицкого базара, бежит расстегнутый и на ходу ест булку, конечно же краденую, и так выстукивает деревянными каблуками, будто бы гонится за ним весь мир...

Мирон Самойлович сидит у окна, на коленях у него распоротый сапог, и, пребывая в блаженной философской задумчивости, глядит он на стоптанные каблуки, на пятки, на женские икры, на голенища, мелькающие перед ним.

— Товарищ Мирон,— начинает Петя. — Вам не кажется, что мы кустари, безнадежные ремесленники?

— Не кажется,— отвечает Мирон Самойлович, будучи не в силах преодолеть сладкую, блаженную свою задумчивость.

— Удивительно! Состав за составом посылает Гинденбург: танки, пушки, сорок дивизий, и вот уже вся Украина истекает кровью, а мы с вами тачаем гнилые передки и на саже печатаем листовки.

— У вас, Петя, сложные и странные загибы: то взрывная сила прокламаций, то вдруг гнилые передки и листовки на саже. Дер-

житесь одного берега, серьезно вам говорю, постоянство взглядов — признак зрелого ума.

— Не знаю. Боюсь я зрелого ума. Боюсь оказаться на берегу мертвой реки, где уже и воды давно нет. Иными словами — не пора ли нам выйти из подвалов на улицу, взять в руки оружие и прикончить, скажем, того же Скоропадского!

— Ох уж эти мне герои, эти Софьи Перовские! — (Петя вздрогнул, хотя говорилось совсем о другой Софье.) — Пускай они, эти герои, занимаются террором, а мы с вами, Петя, серьезные люди.

— Взрывы! А чем плох сейчас террор? Вот представьте: едет в карете Скоропадский — и какое зрелище — валит толпа, дамы, мещане, зеваки, кланяются, снимают шляпы. А на станции загоняют скот в вагоны и сгружают с подвод на платформы хлеб, отобранный у голодных.

— Эх, Петя, Петя! Если бы революция зависела от жизни или смерти одного генерала, скажем пана Скоропадского, старый Мирон завтра стал бы героем эпохи, то есть Кромвелем или Робеспьером. Нет, нет, я совершенно серьезно говорю! Мирон взял бы наган и — паф! — прямо на улице выстрелил бы в Скоропадского. Но убей Скоропадского, будет Быстропадский. Мы, Петя, должны убить генерала-монархиста морально, убить его в душе народа, ясно? Вот почему каждая наша листовка, написанная сажей, намного страшнее любой пушки, это я серьезно говорю. Поэтому, Петя, давайте держаться своего берега, тихой и скромной подпольной печати, она свое дело сделает...

— Не знаю. Возможно, и так. Но я не вижу никаких особых перемен, и даже наоборот: в мире как будто стало еще омерзительнее, а на душе и того хуже...

— Наша беда, Петя, в том, что мы живем в темной глуши. Отсюда стихия, бунты, погромы, каждый за свое, процветает сепаратизм. Здесь у нас революцию собственными руками не сделаешь. Я давно предлагаю: давайте в центре создадим рабочие дружины, революционные отряды, да побыстрее присылайте их сюда, да побольше нам литературы и агитаторов! Э, Петя, там такие ораторы, они «дикую» дивизию в пух и в прах распропагандируют, не то что наших мужиков.

Петя почувствовал, что сильно устал. Охватила его дремотная весенняя слабость — не хотелось думать, говорить, двигаться. Прилег прямо в мастерской на кожаный диванчик, чтобы хоть немного отдохнуть, вздремнуть хоть одним глазом. Совсем разбитый, он натянул на себя шинель, и, кто знает, уснул он или просто окунулся в тяжелые и тревожные думы. Голова у него словно распухла, мысли сбились, все перепуталось: Софья, прокламации, Мирон Самойлович, бомбы... Идти на улицу и бросить презрительный отчаянный вызов толпе? Или сидеть в глухом подвальчике и наблюдать, как стонет и погибает улица, и с философским спокойствием — «все неизбежное неизбежно нагрянет» — ждать революцию из центра?

Он засыпал, и на него с грохотом несся поезд, и вагоны летели по шпалам, а Петя всем телом прижимался к земле и мучительно думал: куда бежать? С одной стороны Софья: она горячо дышит в лицо: «Только подвижники, только самопожертвование...» С другой стороны — Мирон Самойлович, он шепчет свое: «Нам, Петя, нужны агитаторы из центра». А поезд глухо грохочет над головой, мелькают вагоны, прижимают его к земле. Петя бросается к Софье,— мгновение — и его куда-то отбросило в сторону, ударило. «Фу!»— задохнулся Петя и проснулся. Поднялся, а руки почему-то дрожали, и в груди чувствовалась тупая, ноющая боль. «Простуда,— подумал Петя,— а может, просто усталость — со вчерашнего дня ничего не ел...» Пошел умылся, чтоб развеяться, прогнать глупый сон. «А впрочем,— мелькнула мысль,— почему глупый? Не такой он и глупый. В нем что-то есть, свой затаенный смысл. Софья... Пока мы с листовками доберемся к людям, Софья уже здесь и, наверное, не одна, и они уже что-то делают для революции».

Он неторопливо одевался, собираясь на Печерск.

8

Если бы судьба водила нас прямыми, проторенными дорогами! Если бы сразу мы находили ту единственную, может, трудную дорогу, но все-таки свою, уготованную нам самой жизнью! Если бы мы не блуждали в молодости по чужим следам, уже мертвым, думая, что это и есть новый для нас и для всего мира путь!..

От Мирона Самойловича, с Галицкой площади, Петя должен был свернуть в одну из тесных ремесленных улочек, где приютились у стен небольшие кустарные мастерские, лавочки, конторки, пройти немного вверх и остановиться перед малоприметным, но по-своему любопытным зданием. Это был обычный, так называемый цеховой, ремесленный дом старой архитектуры с вензелями, маленькими карнизами, с нимфами и божками на фасадной стене. Этот дом, как и соседний, построен из знаменитого светло-желтого киевского кирпича, который выжигался на местных заводах. Правда, кирпич уже давно стал серым, полуподвальный этаж осел еще больше, а из глубокого темного подъезда, который закрывался на железные ворота, отдавало допотопным духом древности. Через боковые дверцы ворот (а дверцы закрывались только на палочку), как в селе, можно было пройти во внутренний закрытый дворик: там вы видели легкую, летнюю, неоштукатуренную и без окон пристройку-веранду. Повернуть бы Пете сюда. А потом через веранду темными узкими ступеньками, скользя рукой по скрипучим деревянным перильцам, отполированным человеческими ладонями до золотистого блеска, подняться на второй этаж. Постучать и войти в просторное цеховое помещение, где сейчас было немного темновато и где собралось человек, наверное, семнадцать — не старых, но и не молодых уже людей, в куртках железнодорожников, в кожаных пиджаках, в простых рабочих

фуражках-шестиклинках. Зайти и сказать: «Здравствуйте, товарищи! Принимайте меня в свой партийный коллектив. Я давно ищу к вам путь».

Но Петя не повернул сюда. Он только остановился, сбился с шага, поднял голову вверх. Над подъездом нависали два облупленных купидона-божка; видно, кто-то посбивал им носы. Оглядев курносых божков, Петя улыбнулся и пошел дальше, мимо немецкой комендатуры, озабоченный совсем другим: ему надо тащиться на Печерск, в кафе, где постная и нудная публика, столики, дым, разговоры, и эти влажные слипшиеся керенки, очень подозрительные на вид, и надо выкручиваться ему, что-то говорить хозяину, придумывать, почему Петя полюбил его переваренные, слипшиеся макароны и теперь ежедневно будет приходить завтракать в кафе...

Петя окинул безразличным взглядом прусские и гетманские вывески (отсюда начиналась военно-официальная зона — штабы, полицейские гнезда, управы). Вдруг ему показалось: какой-то незнакомый мужчина (плечи крутые, мускулистые, коротко подстриженная белая негустая бородка), несколько подозрительно посмотрел на Петю и не сразу отвел взгляд. «Ну и пусть себе зыркает, сыч! — раздраженно подумал Петя. — Видно, местный пинкертон, платный сыщик. Доносчик, одним словом!» Негде было разойтись, и Петя двинулся на него. Мужчина быстро спрятал голову в будочку, к старому сапожнику, мол, что-то ему там понадобилось, а на улицу выставил одну лишь спину. Крепкая спина, подумал Петя, вагоны можно переворачивать, а он ходит за людьми, вынюхивает... Прошел мимо той спины, хотел еще, как бы ненароком, и плечом задеть. Если бы он знал, что ему надо просто остановиться, посмотреть без злобы и ненависти в открытое, доброе лицо заводского машиниста, который не раз тонул, замерзал в сибирских снегах, бежал с каторжных трактов, взглянуть в веселое, немного насмешливое, простодушное лицо с белыми усиками и негустой белой бородкой! Если бы знал Петя, что они скоро снова встретятся, узнают друг друга, и этот не старый машинист (а шел ему только третий десяток) станет для Пети и другом, и приемным отцом. Да и где? В одной из мрачных камер Лукьяновской тюрьмы.

Петя прошел мимо мужчины, миновал ремесленное училище с купидонами, с вензелями на маленькой башенке. Он направился на гору, мимо Ботанического сада, чтоб повернуть на Екатерининскую улицу, в нелюдимый квартал, где штыки и каски плотной стеной охраняли армейский штаб и квартиру Эйхгорна.

Крепко сбитый приземистый машинист, когда стихли шаги за его спиной, высунул голову из будки и на этот раз уже спокойно посмотрел вслед Пете. Нет, подумал он, наверное, я ошибся. Вряд ли, чтоб этот паренек был тайным лазутчиком. И ботинки у него не те, и курточка совсем не такая, до сих пор в чернилах, да и вид совсем иной. Хмурый, весь увлеченный собой, он словно Андреева — про семерых повешенных — на ходу читает. Скорее всего,

местный бунтарь — стихоплет, как есть идеалист... Идет по кривой мостовой, носком выковыривает камень, а душа и глаза его витают где-то там, в высоких мирах, неземных сферах...

Машинист прошел немного вниз и свернул к дому с божками над подъездом. Деревянными ступеньками поднялся на второй этаж. И слегка постучал. Ему сразу открыли (и потянуло из дверей таким знакомым, своим, незабываемым запахом цеха, окалиной, кожаными приводными ремнями от валов, смазочным маслом). Кто-то быстро выглянул на темную площадку и, окинув взглядом вновь прибывшего, выкрикнул:

— Товарищ Парфен! Это вы? Слава богу! А то мы стали уже беспокоиться: дорога далекая и, кто знает, всякое могло случиться. Проходите! Вас давно все ждут.

В огромной мастерской темновато; казалось, даже в воздухе чувствовались какая-то настороженность и запустение. Холодом потянуло от стен, верстаков, от старого, изношенного мотора. Второй месяц мастерская не работала, окна ее были наглухо закрыты, и только где-то в углу мигала маленькая подслеповатая электролампочка. Парфен снял тяжелый от пота и дождя пиджак, устало перевел дух (обыски, подводы, блуждание ночью по селам и фронтовым лесам — все, кажется, осталось позади). Ладонью вытер большой вспотевший лоб. И все, кто сидел на верстаках, из затемненного цеха увидели: перед ними стоял не очень высокий, крепко сбитый молодой человек; задрал свою белую бородку, выждал небольшую паузу и вдруг улыбнулся. Может, из бахвальства, а может, от радости, от ярой удачи засверкали его глаза: «Вот как оно, братцы! Все сломал, пролез сквозь чертовы зубы, а все же встретился с вами!» В холодном, запустевшем цеху задвигались люди, потянулись к Парфену. Тертые и битые жизнью заводские бунтари-клепальщики сразу отметили: по всему видно — наш человек, на кислых щах вырос. Только в работе, на каше и на картошке раздается такая крутая, мускулистая спина: и этот упрямый полтавский нос пуговкой — от ветров и жгучих морозов, и эта белая молочная бородка — тоже. А хитрые пушистые усы? Весь характер человека, вся веселая и упрямая, незлобивая его душа в той открытой улыбке!

— Хорошо, что прибыли! Приветствуем вас!.. Как там, на красной земле? — заговорили разом все мастера.

Машиниста Парфена, связного партии, видел кое-кто впервые, но уже слышали о нем. В большевистском подполье знали, что он бежал из Вилюйска, пешком через тундру пробирался в Америку, и то была самая страшная одиссея в его жизни: бесконечные снега, морозы, от которых он прятался, зарывшись в глубокие сугробы, ветры и угнетенность полярных ночей, голод и божья кара Севера — цинга, когда беглец выплевывает на снег кровь из десен и зубы. Он все же дотащился до Аляски, хотя уже и не надеялся на спасение. Вконец истощенный тундрой, истощенный до голодных галлюцинаций, пробрался в Америку, где его арестовали как беспаспортного. И вот новая одиссея — нелегально

норвежским судном плывет в Ревель, и там, едва ступил иа берег, на руки иадели каидалы — и началась каторга! Таких штормов и бурь перепадало в жизни немало, и не сейчас о иих говорить. В последнюю зиму и весиу с партийным поручеиием ои тайно обошел всю южную Украину, побывал в Одессе, в Херсоне, в Донбассе, через демаркационную линию иочью с большими приключениями пробрался в Таганрог, где товарищи из большевистского оргбюро ие дали ему и двух дией иа передышку, как снова снарядили в тяжелую дорогу — в Киев, на связь с большевистским подпольем.

И вот оии встретились здесь, почти в цеитре города, связиой партии и члены губернского подпольного комитета.

Парфеи оперся руками о верстак, окииул взглядом молчаливое общество, а в сумерках он видел лишь неясные силуэты, фуражки и куртки да еще кое у кого цигарку в руках.

— Это иеплохо вы придумали,— глухим, осевшим иа ветру голосом иачал ои. — Не на квартире собрались, а в пустом закрытом цеху. Но все же за улицей иадо иаблюдать.

— Есть, есть! Наши люди следят.

— Ну что ж, друзья-братья. Тогда я иачну. И иачиу с одного. Настало для Украины великое время. Время ее освобождеиия. Сотии верст отмерил я недавно по иуждающемуся Югу. Тяжело сейчас на Украиие. Голод в Одессе. Голод в Доибассе. Да и у вас, слышал я, люди падают замертво, день и иочь простаивая в очередях за гиилой кониной...

— Если б только это! — отозвался рабочий, тихоиько потягивавший бычка. — Для нас и гнилой коиины иет, а народ сгоияют иа товарную стаицию и шомполами спииы расписывают: давай грузи золотую первосортную пшеничку. Говорят, кому-то мы миого задолжали, недоплатили, Австрии или Германнн, кто нх знает!

— Так-то оно, братья мои! — веселее подхватил Парфен, который был крещен туидрой и южными морями и уж зиал цену хлебу и доброму человеческому слову. — Тяжело сейчас всем, даже и тем, кто шомполами вымахивает! Вот ваш губернский староста докладывает иачальству: «Положение очеиь тяжелое. Не хватает патроиов». У каждого, как видите, своя нужда. Австрийцы и немцы совсем запарнлись, не успевают перебрасывать войска, тушить большие и малые пожары. Эти защитиики наши, защитиики-мечеиосцы, провозглашавшие: «Мир и спокойствие несем вам, украинцы!», объявили настоящую вооруженную войну в стране, против мужика на селе и против рабочего на заводе. Войну полками, дивизиями против безоружиых. Вот она — свобода из чужих рук!

Парфен немного помолчал, погладил ладонью белую бородку и тверже оперся о верстак.

— Вы слышали, наверное, про Каниж, есть такое маленькое село в степи на Елисаветградщиие. Так вот. Прикатили австрийцы туда с пушками, привезли пана-помещика Махтия, чтоб в пол-

ных правах его, значит, восстановить: иа шею мужикам! А крестьяне за вилы, за обрезы, прогнали отряд с пушкой, а пану дали степной землицы, там ои и иоги протянул. Вот тогда-то наши защитники и показали, кого и как оии защищают. Полк оккупаитов, по всем правилам военного разбоя, окружает кольцом степное село, берет штурмом соломенные хаты, поджигает их, насилует женщин, убивает детей и на крыльях ветряиых мельниц вешает сельских активистов. Я видел это село — по черному пепелищу гулял ветер, и сто свежих могил видиелось в степи.

Молча слушали большевики Парфена-связного, темнота сгущалась в уголках запустевшего цеха, и только у кого-то в руках горячим, нервным огоньком вспыхивала цигарка.

— Далеко разнеслась весть о сожженном Каниже. Не спится теперь оккупантам. Из всех оврагов свистят пули. Уничтожают их отряды. Жгут эшелоны. Рвутся динамитные шашки на рельсах. Уже целые армии собираются в лесах возле Чериигова, там, где проходит граница с братской Россией. Да и у вас, поближе к Киеву, в Таращe, Звенигородке, иа Богуславщиие, крепиут, иабирают силы повстаические полки. Города и села единым дружиым фроитом подымаются против общего, против проклятого иашего врага — немецко-гетманского капитала.

Неожидаино Парфеи помеиял тему разговора н прибавил, что стремительиые события на Украиие, буриое народиое море и сама стихия обгоняют сейчас иас, партию, которая была разгромлеиа почти везде и ушла в подполье. Ревкомы, комитеты быстро оправляются, идут в массы, иа места событий, а иадо еще быстрее, на ходу возобновить связи, перегруппировать силы, сбросить с себя мерзлую кору оцепенеиия, потому что кое-кто и до сих пор хотел бы по-старому, по-давиему обходиться кружковщииой, узким подпольем, и даже сейчас, когда идут бои,— отсидеться иа старых коиспиративных местах. Видимо, Парфен задел собравшихся за живое, потому что все в цеху зашевелились, тихоиько покашливали, кто-то попросил закурить, но крепко сбитый, приземистый Парфен смотрел в окно, словно там, за наглухо прикрытыми ставнями, ои видел Галицкую площадь, убогую каморку-мастерскую Мирона Самойловича и даже самого Мирона Самойловича, печатающего сейчас на жидеиькой саже листовки...

— Еще одна иеприятность,— совсем уже ииым тоном произнес Парфен. — Наши товарищи из Москвы, из коитрразведки, передают нам: куда-то на юг выехала группа террористов, возможно, в Одессу, а возможно, в Киев. Наше обороиничество, иаше смирение — одиа болезиь, одиа крайность, а террористические иаскоки нз-за угла — другая. Вы знаете, чем кончаются «подвиги» Каляевых да Багровых,— самым страшным террором и повальными арестами наших товарищей. Итак, передайте своим братьям: пускай будут поосторожнее.

Железиодорожник, куривший бычок, поднялся (что-то загремело у иего под верстаком) и громким басом произнес:

— Товарищи, вспомиите, когда мы позвали гудками:

«Забастовка задыхается! На помощь! Кровью истекает Украина!» — кто первым отозвался? Первыми отозвались наши братья из Серпухова, ремонтники из депо. Целый вагон хлеба, одежды, сухарей пригнали они! И как? Сквозь фронт, сквозь пули и огонь на границе прорвались! Мчались, даже буксы горели у них, и вот они уже в Киеве, наши женщины со слезами на глазах встречали их! А потом пошло: деньги, патроны, сапоги — из Калуги, Иванова, Брянска, все помогали нам, чем могли. На подводах, пешком, лесами пробирались люди из России. Даже с Урала передавали бедняцкие котомки и узелки. Вот я и говорю: я стою за такое, за пролетарское единство и неделимую революцию, за неделимое братство наше, а не за тот, не за царский неделимый грабеж!..

Взволнованный железнодорожник, наверное, еще долго говорил бы и говорил, но рабочий, стоявший у окна, торопливо перебил:

— Немцы! К дому идут! И с ними отряд живодеров!

— Расходитесь спокойно. Первым выведите Парфена.

И сразу стало как будто темнее в цеху, кто-то крепко взял Парфена за руку и сказал: «Пойдем!» В дальнем углу мастерской (только сейчас заметил Парфен) были обиты железом невысокие дверцы — в какое-то темное нутро, где стоял мотор и отливали смазкой большие шкивы и старые, в палец толщиной приводные ремни. Сюда и протолкнули Парфена, а дальше крутыми ступеньками с перилами повели его еще глубже, вниз, в полуподвальное помещение, в какой-то тесный закуток, где темнели бочки с мазутом и керосином. За Парфеном по одному спускались остальные, слышалось осторожное поскрипыванье и шарканье ног над головой.

А деревянные ступеньки веранды скрипели тяжело. Там топали солдатские сапоги, и наконец — дверь настежь распахнулась, и первым вбежал в цех усатый, в смушковой шапке сечевик, он сделал рукой хозяйственный жест: прошу!

В дверях сгрудились и замерли немецкие юнкера, в касках, с винтовками наперевес.

— Вас ист дас? Кто ви ест? Потшему в нерабочем цеху?

В мастерской осталось всего пять человек, из бывших рабочих. Они возились у слесарного стола, что-то там выпиливали. Юнкер сурово повторил свое «вас ист дас?» и даже щелкнул по голенищам сапог саблей. И тогда мрачный, рябой слесарь, один из тех, кому, как говорят, в жизни уже нечего терять, повернулся к немцу и, сделав кислую мину, сказал:

— А ты не щелкай саблей, подумаешь, испугал! Да самовольно пришли в цех, голод пригнал. Вот мастерим ножи, замки на продажу. И все тут дела!

Пока юнкера с усатым господином обыскивали пятерых кустарей-одиночек, пока шарили по цеху, открывали дверь и заглядывали в темное нутро ямы, где находились бочки и моторы, Парфен уже вышел через подвал, глухие соседние дворы, через проломы в заборах на людную Галицкую площадь. А там он быстро

затерялся в базарной толчее, в обшарпанной, угрюмой толпе нищих и несчастных людей, которые слонялись, упрашивая, умоляя купить, а то и взять за бесценок с плеча жалкое отрепье, такое убогое, что им разве что затыкать дыры в стенах! «Голод!» — подумал Парфен, беспокойно взъерошивая белую бородку. Краем глаза он заметил, что по той же подпольной дороге то с одного, то с другого двора выходят товарищи из цеха и тут же исчезают в базарной толпе.

9

«Мама, я плохо сплю ночами, по-прежнему снится наш Козятин и всякая несуразица. Это все, наверное, потому, что мой вагон оторвало, и несется с горы с шумом и грохотом; где и когда разнесет его в щепки — пока не знаю.

Я много чего не знаю. Только недавно открылась для меня таинственная завеса: пока ходил я в штаб, то есть в кафе Мартини, здесь, рядом со мной, в пыльных комнатах Гроскопф, изготовлялось оружие расправы. Ночь. Темно. Занавешенные окна. Их двое — Софья и Борис; на вид благопристойные столичные люди, но сейчас, ссйчас они Фаусты — они колдуют над взрывчаткой. Рядом с ними на столике стоит безобидный термос с белой крышкой. Это будет снаряд, тот самый, что упадет в ноги Эйхгорну.

Я думаю о Софье. Думаю о ней с трепетом, с благоговением и с холодным страхом в душе. Я чувствую ее гипнотическую власть надо мною. Вижу блеск ее серых глаз — и словно слепну, готов упасть к ее ногам. Вот Софья стоит передо мной в загадочном ореоле: немного бледное лицо с синевой под глазами, усталость и спокойствие богини, какая-то возвышенная и непостижимая женская красота и обаятельность... Господи, какой я еще ребенок, чтоб понимать все это! А ее спокойная речь, с приятно грассирующим «р», и фигура европейки, легкая и элегантная, которой нельзя не любоваться. И вот представьте: Софья обвязана вся поясами. В тех поясах взрывчатка. Через границу, через нейтральную зону, через немецкие посты и караулы прошла она — и донесла. Не прикасайтесь к ней, это женщина, которая взрывается.

А тем временем я ходил на Екатерининскую...

И днем улица безлюдная. И днем она серая. Холодная мостовая. Фасады — как одна стена. Карнизы, глубокие ниши с колоннами и козырьками, а под ними — фигуры часовых. Тяжелые, точно скифские статуи.

Я иду по каменному коридору. В каждой нише — глаза. Они смотрят на меня из-под касок. Накрест пронизывают улицу. И я словно нахожусь под дулами глаз. Иду, и от таких взглядов меня всего корежит, мурашки бегают по телу. Мне кажется: булыжник дыбится под ногами, глухо звенит, все смешалось, поплыло перед

глазами, серые каски как будто и здесь, на земле, и в стенах, они холодно поблескивают и стучат от каждого моего шага. Но я иду!

Ровно в час — оживление. Нервный ток передается по проводам, пробегает по скулам часовых. Я уже знаю: это он. Вышел сам фельдмаршал Эйхгорн. Высокий немец с плоским лицом, хрящеватым носом, ослепительной улыбкой. Идет энергично и в такт своим движениям легонько постукивает тростью. Запросто, как с равным, разговаривает со своим адъютантом. А по улице передается нервный ток. Летит предупреждающий сигнал по проводам. Он! Из караульных помещений выбегают солдаты, в струнку вытягиваются офицеры. Караульные стоят шпалерами. Эйхгорн уже едва виден из-за спин. Он небрежно берет под козырек, приветствуя офицеров еле заметным кивком головы.

Три минуты — и штаб. И снова длинная шеренга солдат, стоящих перед подъездом. Эйхгорн с адъютантом исчезают в дверях, за ними неторопливой походкой идет барон Мумм с неразлучным своим тяжелолапым сенбернаром. Сейчас они, по-видимому, прошли в кабинет, к телеграфным аппаратам, чтоб сообщить в Берлин:

«Киев, главная штаб-квартира генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна

Вся власть на восточных землях теперь находится в одних руках — немецкого верховного командования.

Эйхгорн

Гетманская власть является только куклой, «nur Puppe», в наших руках. Она будет защищать только наши интересы.

Барон Мумм».

А квартал опустел. Вдалеке кто-то поспешно перебегает улицу, и за ним подозрительно, из-под каски наблюдают настороженные глаза. Холодная мостовая, серые здания.

Я тащусь к своему Мартини. Слышу: за мной идут двое. Да, это они, серые, хмурые трудяги под зонтиками. В старых калошах и вечно хлюпают носами. Мелкая шпионская скотинка — платные сыщики. Только их часовые не окликают. Но все равно я пройду по Екатерининской. Пройду в последнюю секунду — роковую для себя и для Эйхгорна».

«Мама! Я тебе не писал про Бориса. С него все и началось. Впервые я увидел его, когда к мадам Гроскопф въезжала Софья. Он тащил по лестнице багаж. Не знаю, чем он сразу мне не понравился. Может, тем, что ходил, говорил, подавал руку Софье, и все как-то заученно, спокойно, мило, как может делать только близкий и давний друг. Но нет, было в нем что-то иное!

Я посмотрел на него и подумал: смотри, какой он... подчеркнуто столичный, светский. Так мне казалось, хотя он, может, из провинциальных сынков. Знаете, бывают такие странные типы: прошли они службу в армии, в них есть офицерская выправка, есть сила, есть что-то волевое и решительное во всем облике. А вместе с тем... Может, от бессонной ночной жизни, от жизни-самоубийства, растрат душевных сил под спудом огромного города, от тайных сходок, от драм, потрясений, а еще, может, от чего-то такого, чего я совсем не понимаю, у них рано появляется нервозность, резковатость, усталость души, мрачная меланхоличность. И какая-то холодная отчужденность, и словно израсходовались силы. Посмотрите на их белые нервные пальцы, на их бескровные, болезненно-тонкие лица. Высокомерие, немного холодного скепсиса в губах, бледность — вот их портрет.

Я смотрел, как он носил свертки, узлы, все у него падало из рук, он извинялся, подбирал вещи, книги, коробочки и снова терял их. Я не то что злорадствовал, а слегка посмеивался и думал: словно и не из мелких хлыщей, сильный, а смотри, какая интеллигентская рассеянность. Высокий, достаточно крепкий и широкий в плечах, он ходил уверенно и упрямо смотрел вперед, ни на кого не обращая внимания.

Он привез Софью и куда-то исчез дня на три-четыре, а потом снова приезжал к ней на городском извозчике. Мы еще раз встретились с ним на лестнице, в нашем подъезде; это было после того, как Софья, бледная и взволнованная, забегала ко мне в каморку и прятала под кроватью крест-накрест перевязанную коробку. И на какое-то мгновение, доверившись мне, чмокнула меня в лоб, благословила как друга, а я, ослепленный, целую неделю глядел в зеркало, и мне казалось: остались следы от ее поцелуя, даже люди на улице оглядываются, а я иду гордый и счастливый! Тогда я еще не знал, что Борис, выпроводив Софью, стоял у двери ее комнаты с пистолетом в руке, готовый стрелять, отбиваться, кидаться напролом, если нагрянет полиция: злополучные «пояса», термос, пироксилин валялись у них на столе. Потом я видел Бориса на Екатерининской, напротив штаба Эйхгорна, я узнал его, хотя он был уже без усиков, при бакенбардах, а может, бакенбарды были не его, а просто грим или парик, да и седина волос удивила меня. Немного сутулясь, он переходил улицу и шел не так, как всегда, резковато и поспешно, а несколько неуверенно, осторожнее, что ли. Наверное, его сковывал этот тесный, светлый, необычный для него летний в клеточку костюм, в котором ходят, как правило, биржевые маклеры и банковые служащие, и чаще всего именно они и пробегают этим кварталом. Борис уже поравнялся с домом Эйхгорна, но тут его, высокого, слишком заметного в толпе, оттолкнула стража, в это время прозвучала нервная команда «ахтунг!», с крыльца сошел фельдмаршал.

Я запомнил: на ходу Борис быстро повернул голову, и глаза его вспыхнули, когда он посмотрел в холодное, презрительно улыбающееся лицо Эйхгорна.

«Не доверяют мне... Сами следят...» — подумал я про Бориса, и почему-то неприятно, тоскливо стало на душе, начали мешать в кармане влажные, слипшиеся керенки.

Еще больше я невзлюбил Бориса, когда увидел его рядом с Софьей, на Кадетской улице среди городской толпы. Не знаю, куда они торопились, только можно было заметить: они чем-то встревожены и озабочены. Он легко держал ее под руку, чувствовалась привычка, воспитанность, тон, интеллигентность даже в том, как он ведет свою даму, ведет просто и непринужденно, почти не лавируя среди толпы. Я сказал себе: «Умри, Петя, а у тебя так не выйдет, печать серости на тебе!..» Борис что-то говорил, наклонив к ней голову, говорил спокойно, словно скучающе, а Софья напряженно слушала. Что-то очень большое, важное их связывало: думаю, не только пояса с пироксилином и Эйхгорн. Мне стало жарко, я смотрел вслед Борису и шептал: «Хлыщ столичный! С восковым лицом и светской меланхолией!»

Это было глупое, ребячье злорадство, я пытался освободиться от него, но Софья словно о чем-то догадалась. Она выбрала удобную минуту и, когда мы столкнулись у парадного подъезда, подвела Бориса ко мне и отрекомендовала: «Знакомьтесь, Петя. Это мой московский двоюродный брат. Апокалипсис проповедует, раскол и конец мира. Все говорят, очень похож на меня, особенно глазами и упрямым надбровьем». Они переглянулись, и Софья слегка, не без смущения улыбнулась. Я с большим трудом протянул Борису руку, опустил глаза, чувствуя, как мое лицо покрылось густой краской: «Петер, они за простачка тебя принимают, за наивного человека».

Да, я не ошибся. Жребий брошен, и последний выбор пал не на меня, а на Бориса. «Именно ему,— сказала Софья,— боевая организация поручает выполнить этот трагический и священный долг. Вы, Петер, будете дублером. На случай, если...»

Идет Борис.

Мы с Софьей стоим в Мариинском парке, под старым развесистым каштаном; солнце освещает край дерева, и зеленая, мертвенно-холодная тень окутывает Софью. Боже, с какой безмолвной тоской, с затаенным дыханием провожает она Бориса!

На аллее — легкие переборы гармошки и смех. Подвыпившие мадьярские офицеры ведут размалеванных красоток в кисейных роскошных платьях с корсетами, едва ли не просвечивающихся насквозь. И кто их знает, о чем они сейчас мило беседуют и отчего им так весело.

Екатерининская — напротив парка, и мы видим высокую, немного сутулую фигуру Бориса. Он стал сутулым буквально в несколько дней; его придавил, как мне кажется, высушил и согнул тот невероятно угнетающий фатальный груз — убить! Он пропустил роту немецких солдат, дал возможность проехать офицерской бричке — и оглянулся. Задержал взгляд на Софье, вспомнил словно что-то забытое, но нет, быстро посмотрел на меня: простился. И решительным шагом пошел. Туда, к штабу, безлюдной

улицей-казармой, где с каждого подъезда глаза из-под касок. Он шел к штабу обреченно одинокий, прижимая рукой к боку тяжелый цилиндрический термос. Мне запомнились его глаза. Усталые, с глубокими впадинами. В них не затухал слепой, какой-то лихорадочный, неспокойный блеск.

«Он и в самом деле апокалипсис! — подумал я. — Софья точно сказала, не шутила!»

Мы стояли под каштановым деревом, и Софья безмолвно, с побледневшими щеками, с болезненным хрустом сжатых пальцев провожала Бориса и, наверное, считала последние секунды: сейчас, сейчас... взрыв.

В эти мгновения я любил ее больше всего на свете и потому так страстно ревновал!

Проходили минуты; воздух, казалось, становился наэлектризованным, нервное движение от штаба доносилось и сюда, где-то там проходил сейчас Эйхгорн, солдаты шпалерами вытягивались перед ним, и он кивком головы, сияя улыбкой, приветствовал офицеров и уже подходил к высокому крыльцу, а взрыв... а взрыва не было.

Софья не выдерживала такого напряжения, ноги сами подкашивались, и она садилась на скамейку вся опустошенная, садилась как-то боком, неудобно, сама себе чужая, и долго прислушивалась, как мне казалось, к биению своего сердца.

Возвращался Борис. С тем же проклятым термосом под рукой!

Даже страшно было смотреть на него: как может измениться человек за полчаса! Наверное, не просто и не легко подготовить себя к смерти и вдруг — нести свое тело назад. К нам шел не Борис, а его прах, маска, тень!.. Он ступал ровно и осторожно, но натыкался на урны, на кусты, на барьерчики в цветниках. И когда подошел к нам совсем близко, я заметил, что он и в самом деле никого и ничего не видел: глаза у него были незрячие, застывшие, уставившиеся в одну точку, белесовато-мутные. Я брал Бориса под руку, он был мне дороже родного брата, и вел в конец парка, к склонам Днепра, чтоб немного успокоить, освежить на легоньком ветерке, рассеять горечь неудачи. И сегодня, и завтра, и еще раз пять возвращался Борис, вконец измученный; менялся грим, менялись футляры на термосе, но какая-то зловещая сила становилась на его пути: то загородит дорогу пролетка; то, когда уже был приготовлен снаряд, выбежал вдруг малыш с белым бантиком на груди и встал рядом с Эйхгорном; то совсем не вышел фельдмаршал, то вышел, но на несколько секунд позже...

Это было поистине пыткой для всех нас троих! Я совсем перестал спать. Я проклинал кафе Мартини и его холодные и пресные спагетти. Софья сильно сдала, осунулась, словно после тяжелой болезни; она уже не в силах была ни от кого скрыть своей раздражительности. И только Борис, как одержимый, твердил одно и то же: «Я иду. И сегодня я иду». Молча, с исступленными

глазами, слушали мы Бориса, и в душу мне заползало подозрение: «А может, он, наш бедный апокалипсис, в ту, последнюю, ответственную минуту теряет решительность и нежданно отступает?» Я не выдержал таких испытаний; ночью меня лихорадило, поднималась температура, и я сказал Софье: «Давайте я... Иначе сам пойду, достану во что бы то ни стало гранату, бомбу, наган и прикончу гада с белой улыбкой». Я не знаю, какие были споры в их подпольном центре, какие разногласия между Софьей и Борисом. Не знаю. Но судьба моя решена.

Сегодня я Робеспьер».

10

«Мама, прощайте.

Я должен идти. Надо исполнить свой священный долг — убить. Себя и его. Убить тирана, чтоб не будоражил гулом ночных поездов нашу старую Батыеву гору, чтоб не бросал черные тучи дыма в твои добрые глаза, чтоб не топтал нашу землю. Убить!

Гордо я прижал к груди снаряд. Два с половиной килограмма взрывчатки. Детонация, говорят, такая, что может в щепки разнести здание. Это хорошо, не правда ли? Чтоб раз — и готово, конец. Без мучений, без агонии.

Теперь они провожают меня. Собственно, я не вижу их — только затемненные деревья, стволы или их фигуры. Они где-то там. Я обернулся, попробовал было улыбнуться (а губы холодные, задеревенели — скрипят и не двигаются). Киваю им головой и выхожу на Екатерининскую.

«Молчите все: великий час настал...»

Уже скоро, три минуты — и штаб. Иду медленно. Под рукой снаряд. Видно здание с орлом на фасаде, видно узенькую, как траншея, улицу до самого дворца гетмана.

Гремит под ногами булыжник мостовой. А может, это стучит мое сердце? Я иду и вижу, как глядят на меня из-под касок глаза на уровне штыков, и я упрямо смотрю на них: «Ну что ж? Подходите... Только все вместе, чтоб больше было». Они стоят неподвижно, пропускают меня и еще каких-то людей, которые проходят быстро, пригнувшись, прижимаясь к стенам, к зданиям, со стороны, противоположной штабу.

Ровно час. И вот как электрическая искра в проводе: нервный удар, пунктирный всплеск голосов и команд по всему кварталу. «На караул!» И отовсюду солдаты. Топот сапог. Заполнили касками тротуар.

Значит, Эйхгорн. Спускается с крыльца.

«Молчите все...» Кровь, мысли — все отхлынуло от головы. Только мороз. И туман... Как тесанные из камня плиты, вплотную солдатские спины, и над ними плывет его фуражка, его хрящеватый нос, его моложавая улыбка.

Ну, Петер: «великий час...»

Я подымаю снаряд. Мама, Софья...»

«Ах! — Длинное, протяжное «ах» прокатилось по городу. — Ах, люди, вы видели его... Мученик... Такой молоденький... и лежит в лужах крови... и русые волосы.... Довели, изверги... А того, генерала ихнего, просто на куски... А хоронили как... гимназиста... весь город шел за гробом... Ах!» — и Петя дернул термос — не отпускает рука, прилипла рука, словно мертвая. Петя еще раз дернул — крышка... Упала крышка. Какая досада: упала крышка. Прямо под ноги Эйхгорну. Тот костяной тросточкой остановил ее. Ну вот: сапог фельдмаршала на тротуаре и крышка. Идиотство — сорвалась крышка!

Тишина. Какой позор!

Адъютант подхватил колпачок, передал солдату, тот другому, а тот с кривой, презрительной улыбкой — Пете. И по-немецки: «Толкни эту обезьяну!.. В шею его, чтоб не болтался тут!»

Теперь уже Петя, возвращаясь в парк, натыкался на урны, на кусты сирени. И уже его по-братски подхватил Борис и повел на склоны, и Петя с трудом передвигал ногами и говорил себе: «Зачем я вернулся? Почему не умер? Почему не провалился там сквозь землю?» Он прятал от Софьи глаза и хлестал, хлестал безжалостно себя: «Позор... вечный, страшный позор».

Петя сам не знал, как он не умер в ту ночь.

Мысленно он не один раз бросался под поезд, кидался в Днепр, в омут, приставлял ко лбу холодное дуло нагана. Казалось, от одних таких мыслей можно сойти с ума, зачеркнуть ненавистную свою жизнь. Но после ночи самоубийства он поднялся с постели, только с еще более тяжелой головой, с тупой, ревматической болью в костях. И кто знает, откуда нашлись силы, чтоб снова быстро собраться и быть готовым (в какой уж раз!) идти к Мариинскому парку. Прийти, пожать руку Борису, глазами проводить его все на ту же самую проклятую улицу.

И они дождались взрыва.

А ведь, кажется, только что они разговаривали с Борисом. Он стоял рядом с Софьей, в его высокой сутулой фигуре было что-то беззащитное, детское, усмиренное, до глубины души трогательное: в последнее время он очень изменился; ходил неторопливо, говорил как-то мягко, словно перед кем-то извинялся. И сейчас неумело, слишком старательно снимал пушок с плеча Софьи и при этом глядел на нее долго, с мольбой и прощанием. Тень смерти стояла за его плечами, мысленно он был уже далеко, и глаза его в глубоких темных впадинах наливались беспокойным, нервным блеском. Она проверила грим, сказала ему привычное «иди», и он медленно, несколько усталой походкой пошел по направлению к Екатерининской...

«— Барон Мумм! Выведите пса, мне неприятно, когда он воет за моей спиною!»

Только ушел — и взрыв. Короткий, но резкий и сильный. Грохот потряс воздух, с деревьев с криком взлетели перепуганные галки.

Парк был безлюден. Чистые, подметенные дорожки, тени от

каштанов, разве что изредка встречались поседевшие матроны и парочки на скамейках. И вдруг — крик. И люди, бегущие с тротуаров. И цепочки солдат. Одна цепочка, другая, и еще раз повалило стеной, с треском. По клумбам, по кустам теснили толпу, били прикладами в грудь, и в воздухе раздавались вопли: «Ой боже, что ж это такое?» Женщина с ребенком, грузный дядька с безумно вытаращенными глазами, кто-то посапывает Пете в затылок, трещит на ком-то рубашка и крик: «Убили... Гетмана... Штаб... Офицерскую машину... Эйхгорна».

А Софья уже пробралась вперед, расталкивая всех локтями, она торопилась туда — к обрыву, и Петя последний раз увидел ее расплетенную косу, синие, до боли сжатые губы. «Софья, куда вы? Я здесь!..» — кричал Петя, пытаясь вырваться из толпы, но ему мешала чья-то упругая грудь, кто-то двинул его в плечо. Он все-таки пробрался поближе к ней и страшно обрадовался. Софья вдруг оглянулась — и злое, холодное презрение скривило ее лицо, каждая жилка задрожала нервной дрожью: «Не за мною! Не вместе! Уходи!.. Мальчишка!»

Он не помнит: ударил ли кто его в грудь или просто он задохнулся, остановился, оглох от взрыва, а может, ослеп — и понесло его потоком. Только спины людей, крики, кого-то хватают. Петя вспотел, бессильно упирался, хотя упрямая и неотступная мысль преследовала его: догнать, остановить Софью, сказать ей главное — о себе, о них двоих, об убийстве, о том, как быть им сейчас — без Бориса... Он и в самом деле ослеп, он еще не понял того, что не надо догонять, не надо говорить. И вообще ничего не надо! Больше того, он, Петя, сейчас абсолютно ей не нужен, не нужен и для того главного, таинственного и тревожного, что он берег и вынашивал в своей душе.

Все, что случилось потом, Петя принял как должно; в состоянии шока человек, наверное, не особенно волнуется, когда ему ампутируют ногу... Солдаты, немецкая жандармерия, гетманская стража. Хватали, волочили по мостовой мужчин и даже женщин. «И этого гимназиста!» — кто-то толкнул Петю зонтиком в спину. И в ту же минуту солдаты больно вывернули ему за спину руки и связали так сильно, аж кости захрустели.

Их вели под конвоем по Крещатику, к Лукьяновке. «Грандотель», «Европейская», «Савой», все богатейшие рестораны были открыты, играла музыка, и там, за задернутыми шторами, люди пили, обжирались, хохотали, целовались жирными губами. И только одна перемена произошла в городе: спешно стягивались в центр войска. В парках, на площадях, в переулках конная немецкая жандармерия; чеканят шаг пехотные роты, за ними — венгерские уланы; короткими перебежками несутся караульные отряды, прогрохотали, пыхтя дымом, тяжелые броневики, и все туда, на Печерск.

«А флаги? — подумал Петя. — А взрыв всенародного гнева?»

Не было флагов. Не было ни разгневанной толпы народа, ни баррикад из камней и бочек, ни демонстраций. Наоборот. Чем

больше войск прибывало в Киев, тем меньше обывателей оставалось на улицах. На окнах зданий — в гармошку собранные серые жалюзи, и здания от этого точно ослепли, и молчали дворы, глухие и опустевшие.

И только тогда, когда Петю в толпе арестованных вывели на гору и они уже прошли ворота Михайловского золотоглавого монастыря, там, на горе, он услышал: глухо, тревожно гудят гудки на вокзале... Нет, не молчал Киев, он сражался, он затаенно, стиснув зубы, боролся, он оповещал гудками на всю Украину о забастовке, о пулях, что сыпались на головы железнодорожников.

Гнали его на Лукьяновку, а он все еще оглядывался, все его мысли были о Софье, о том, что произошло сегодня. Где она, спаслась ли, успела добраться на Батыеву гору? А Борис? В страшном напряжении он мог бросить бомбу очень далеко или промахнуться, и вот взрыв, Эйхгорна только отбросило в сторону, а огнем и осколками могло убить случайных офицеров. Так могло произойти, так или сто раз иначе... Но по тому как поспешно прибывали войска, по распространявшимся в городе слухам, по серым озверевшим лицам конвоиров можно было догадаться: кара не обошла фельдмаршала... Их вели мимо Сенного базара, где собралось больше всего народу; то из одной толпы, то из другой доносились приглушенные реплики, Петя их жадно ловил, даже замедлил шаг: о нем, о фельдмаршале, говорят: «Наповал... его и адъютанта... обоих на носилки... А тот, кто бросил бомбу, был еще живой, весь в крови и без рук... Хотел было подняться, но его коваными сапогами солдаты втоптали в землю...»

Страшные то были слухи, а еще страшнее становилось за Софью. Мысленно Петя молил бога: только бы пронесло, только бы обошло ее несчастье!.. Если бы она добралась на Батыеву гору и там спряталась побыстрее в тех темных, всеми забытых, запыленных комнатах!.. Наивная душа — Петя! Он и не представлял себе, что именно там, на Батыевой горе, ее и поджидала смерть! Именно в то время в комнатах Гроскопф выбрасывали все из шкафов, сундуков, узлов, рылись в свертках, привезенных Борисом и Софьей, и нашли пояса, немного пироксилина в мешочках и злорадно потирали руки: «Ага, вот где было их гнездовье!» А под почерневшим распятьем Иисуса стояла, сгорбившись, маленькая, сморщенная старуха, остзейская баронесса Гроскопф, а теперь хозяйка этих убогих, полуразрушенных углов; глаза у нее слезились, она ничего не понимала, и только дрожало ее высохшее тело; и кладовку Пети перевернули вверх дном; нашли под матрасом листовки и книги, все это выгребли в коридор, а письма матери, аккуратно сложенные высоким столбиком и связанные шнурочком, перещупали и перемусолили все до одного, доискиваясь правды: кто он, Петя, и как связался с опасными террористами?

Нет, его молитвы просто не услышала Софья. Она была слишком

опытная в таких тонких делах, как конспирация. Бросилась сразу не на старую квартиру, а совсем в другое место — на Шулявку. Пригородными садами и улочками, где пешком, где трамваем, еще не опомнившись после взрыва, страшно взволнованная и возбужденная, как бы с кровью Бориса на своих руках, она добралась до глухих оврагов возле железнодорожной станции. Там, за Караваевыми дачами, в одном старом доме ее должны были ожидать трое: два охранника и один связной. Они должны были приехать в Киев позже, чтоб после того, решающего момента встретить ее и увезти в Москву. Так оно и произошло, но только поначалу. Софья нашла деревянный домик у оврага — и там ее ожидали. А потом случилось что-то невероятное. Едва она переступила порог, сразу же раздался по окнам ружейный выстрел. «Ложись!» — кто-то толкнул Софью на пол, кто-то произнес: «Засада!» — трое прильнули к окнам, чтоб отстреливаться. Но второй выстрел — такой сильный и точный огонь — и все трое повалились на пол мертвыми. И снова неожиданность, как в плохих кошмарных снах. Когда те, что находились в засаде, перебежками, полусогнувшись, бросились к домику, за их спинами вдруг взорвалась бомба! А потом еще один взрыв — и резкий, истошный крик: «Назад! Стрелять буду!» Охранников словно ветром сдуло в глубокий овраг. И тогда вбежал в домик... Софья вздрогнула, не поверив своим глазам: вбежал расстегнутый, с безумными глазами Лобов! «Как? Откуда вы, Лобов? Чего вы здесь?» — немое удивление и потрясение замерло на ее лице. Но говорить было некогда, Лобов схватил Софью за руку и почти силой потащил через сад, в крутой овраг, а потом они бежали по тропинке, падали и задыхались, и вот перед ними какой-то извозчик с крытым фаэтоном, лошади рванулись и понеслись по крутояру, по ухабам, фаэтон подбрасывало, их невероятно трясло.

Все это было так неожиданно и непонятно, что Софья даже через десять лет не могла всего вспомнить. Уже там, в эмиграции, она мысленно часто возвращалась к тому страшному дню и уже в который раз спрашивала себя: как все случилось? Почему Лобов так неожиданно, в последнюю минуту оказался у оврага, когда его и близко не должно быть, не то что на месте засады, да и вообще в Киеве? Где, у кого он взял адрес другой, строго засекреченной квартиры? Новые и новые сомнения не оставляли ее. Нахлынувшая волна мемуаров и воспоминаний захлестнула эмигрантские слободки под Нарвой и Прагой: публиковалось тайное, выворачивалось самое интимное. С внутренним потрясением вычитала Софья в берлинских газетах: немецкая разведка (как, откуда?) уже на третий день знала о них и даже сообщала шифром в Киев: на Юг выезжает группа небезопасных террористов. И их нащупала в Киеве тайная агентура, и начала следить за ней и Борисом, и вот самое главное, потрясающее: их должны были взять, арестовать на квартире Гроскопф в тот же день, в тот самый день, когда взорвалась под ногами Эйхгорна бомба. Избежали они кандалов случайно.

Много раскрылось перед Софьей загадочных, необъяснимых моментов. И она с ненавистью и подозрением набросилась на Лобова, на того единственного человека, который больше всего был причастен ко всей этой злополучной истории. (А с Лобовым они выехали в Болгарию, жили там замкнуто, сразу и скандально отмежевались от всего эмигрантского мира.) Борис был мертвый, много чего они спрятали в своей душе и через два года поженились, даже, кажется, полюбили друг друга. Полюбили или примирились, кто их знает, чужбина сводила и не таких людей, но именно тогда, после мучительного сближения, из каких-то тайников и щелей начало выползать прошлое. Ну, во-первых: на тайной встрече, на даче Крахмалева, их было трое — и все-таки секретов не сберегли. Секреты раскрылись и поползли... И даже стали известны немецкой контрразведке. То есть кто-то словно сознательно ставил под удар жизнь Бориса и Софьи. А потом: Лобов не знал, не должен был знать по правилам конспирации, где в Киеве остановились двое из их центра. Больше того, сам Лобов должен был готовить в Москве серьезную операцию — покушение на Мирбаха. Стрельба в Киеве, засада, и Лобов с душераздирающим криком, с бомбами в руках врывается во дворик над оврагом, по трупам троих своих соучастников (в последнюю минуту!) вытаскивает из-под огня Софью. Какой злой дух перенес его сюда, за тысячи километров от Москвы?

Страшные подозрения разрывали сердце Софьи. И хотя Лобов и сто и триста раз клятвенно и точно объяснял, как все было и почему он только на себя мог положиться и больше ни на кого,— в самой горячности его было что-то неясное и запутанное. Одним словом, они отравляли себе жизнь проклятиями и ревностью, расходились и снова сходились, а тут, в эмигрантских кругах, поползло и прицепилось к нему (может, и справедливо, а может, и несправедливо) это черное, убийственное клеймо, которое уже никогда не смывается: провокатор... В ослеплении, в страшной вспышке женской ненависти, когда все лицо ее перекашивалось и каждая жилка подергивалась от презрения, Софья бросалась на Лобова и с ожесточенным наслаждением отпускала ему пощечины по лицу: «Скотина, мерзавец ты, я так и знала! Ты, наверное, и засаду сам устроил, сам! с бомбами! с криком! с театральным безумством в глазах! Клоун, трус в роли героя. Ничтожество, которое рядится благородным! Ты давно не любил Бориса, ты еще в Москве мелко и подло ревновал ко мне! Ненавижу, ненавижу я тебя: провокатор!»

Оставим их обоих, потому что жить им предстоит долго и тяжело и долго еще они будут мучить друг друга воспоминаниями и самыми страшными обвинениями. Все, что было со зла, добром не кончается, жизнь нам платит за прошлое сполна и неизбежно.

А что же Петя? Как с ним обошлась суровая и непокорная судьба?

Вечером после допроса в камеру политических бросили еще одного, гимназиста. Он был весь избитый, сорочка порвана, лицо в крови. Его приволокли «готовенького», как угрюмо заметил стражник, и толкнули через порог: принимайте! Грохнула за ним дверь — и гимназист упал на пол. Потом передвинулся, тяжело повис всем избитым телом на кровати. Никем не занятая кровать, без матраса, стояла здесь же у стены, около двери. Руками уцепился за голую, провалившуюся железную сетку, положил голову на рейку и уснул. Так он и застыл в этой печальной и жалкой позе, сидя на полу и вместе с тем как бы распятый.

— Слушай, браток,— тихонько обратился к нему старожил камеры, крепкий, белобородый мужчина. — Давай приподнимись немного, я тебя уложу поудобнее, по-человечески. За что они тебя так, а?

Гимназист лежал неподвижно, не проронив ни слова. Все в нем, наверное, онемело, одеревенело от боли, от грохота, от затаенной обиды: «Изверги! Скоты! Как они могут? Как они смеют так с людьми?»

— Товарищи,— негромко произнес белобородый (чувствовалось, что он здесь был за старшего). — А ну подайте мое войлочное покрывало. И подсобите!

И все завозились возле парня. «Вставай, подымайся на ноги!» — кто-то по-дружески взял его под руки. А он приникнул к кровати, не оторвать его. Потом еле пошевелился. Боль была страшная, он едва повернул шею и раскрыл глаза. И все, кто стоял возле него, увидели: черный от запекшейся крови рот был разбит, совсем мальчишеский рот, сухой, болезненно скривившийся, в первом молодом пушку, и все лицо такое же — корявое, худое, землистое и в черных кровоподтеках.

— Здорово тебя разрисовали. Где это они, на допросе или еще по дороге?

— Там,— глухо произнес гимназист, не раскрывая рта. Бровью он повел в сторону и вниз: «В той комнате — живодерне, в подвале, где сидит двуногая сволочь и следователь». Его глухое «там» было первым словом, которое он произнес сегодня в тюрьме. Видимо, ему сдавило горло, запершило, он хотел откашляться, но что-то твердое мешало, и он выплюнул на пол... выбитый зуб.

— М-да, брат, ты будешь щербатый,— грустно и несколько насмешливо покачал головой белобородый, поправляя парню постель. — Но ничего, не горюй, девчата таких любят, щербатых... За что ж они тебя так измолотили? Может, за то самое? Сегодня уже человек сорок пригнали, и у всех вытягивают жилы на допросах. Говорят, в Киеве убили какого-то высокого чина немецкого...

— Человек сорок? — спросил гимназист; и снова что-то, наверное, вспомнил, сухим огнем обожгло рот, он уставился глазами

в угол, притих, напряженно, до мельчайших подробностей перебирая в памяти недавно прошедшее...

«Сорок пригнали»... Только теперь, кажется, у него немного просветлели и прояснились мысли. Когда его вывели в темный подвал, где сидел на твердой деревянной подставке палач, похожий на мясника, а за отдельным столиком следователь — сухая желтая лысина, когда поставили его к стене, лицом перед «законом», гимназист похолодел, окаменел душой, подумал, что он и здесь, один в целом мире из тех, кто причастен к злополучному взрыву, а потому ему сейчас уготовано страшное судилище. Неприятная желтая лысина сморщилась и скрипучим угрожающим тоном обратилась к нему:

— Мы все знаем, правду говори, быстрее, без болтовни!

Петя действительно собирался говорить правду, он не побоялся бы, не струсил. Он только умолял себя, приказывал, мысленно повторял: «Софью, Софью обойди, забудь ее и под шомполами... Только ты и Борис, ты и Борис, больше никого...» А тут снова раздалось над головой скрипучее: «Вас четверо было? Четверо, спрашиваю, молодчиков? Трое мужчин и одна женщина? Так было, отвечай! Вы все стояли в парке, а потом...»

«Ага! — промелькнуло в Петиной голове. — Говорить вам правду, а вы подло, коварно, просто в глаза мне врете! Приплели уже какого-то четвертого! Ну нет, дудки!» — и он, сцепив зубы, уставился в пол: мол, хоть убейте, слова не скажу. Скрученные за спиной руки налились злой, горячей силой.

— Лягно! А ну сделай из него форшмак!

Тот, кого назвали Лягно, ел ржаной хлеб с луком. Но ему помешали, и он угрюмо посмотрел на следователя, пожевал немного и с досадой вытер губы. Стукнув столиком-колодою, поднялся. Это был толстый, черный, словно цыган, увесистый ломовик, от которого несло потом и несвежей кровью на руках. Все у него — уши, щеки, нос до самых глаз,— все заросло густой волосатой порослью с рыжей сединой. Уже в камере Петя узнал, что Лягно — своего рода знаменитая личность в тюремном мире. Тридцать лет молча, за харч и незначительную плату служит Лягно в Лукьяновской тюрьме. Служил двум царям, служил Керенскому, Центральной раде, а теперь генералу Скоропадскому. И не гнул Лягно спину, никогда не угождал, не снимал шапки, нет — молча, сердито ворча и недовольно посапывая, принимался за свою нелегкую работу. Он был уверен: что бы ни произошло в мире, какие бы мятежи и бунты ни сотрясали землю, но арестанты, слава богу, были и будут, и на его, Лягно, век работы хватит. А работа у него простая: когда следователь говорил: «Лягно, сделай из этого молодчика форшмак!» — он ворчливо и неохотно оставлял табуретку, на которой сидел. У него была привычка: схватив арестанта за грудь, тряс его, словно выбивал сноп, поворачивал к себе лицом, но никогда не смотрел этому человеку в глаза. Тяжело и осоловело глядел на стену, на свои руки, впившиеся в чужой ворот, на черную кровь под ногтями,

а то и просто куда-то в сторону, а может, совсем никуда, но только не на жертву. Щупленького Петю он легко сгреб, проворчав сердито и глухо: «Подвинься! Туда! Ближе!» — и припечатал наручниками к склизкой каменной стене. Именно это больше всего возмутило Петю: «Что я ему, бревно, ступа, скотина — издевается и в лицо даже не смотрит!» Когда-то, кажется, Петя слышал, что все мясники так: убивают коня или быка — и отворачиваются, страх их грызет, боятся в глаза посмотреть, потому что те глаза приходят ночью, чтоб заглянуть в душу. Но кто знает, есть ли душа у такого волосатого ломовика, как Лягно, и заглядывает ли к нему что-нибудь, кроме черного сухого хлеба с луком. Петя так и не закончил эту мысль: Лягно хорошенько тряхнул его и заломленные руки поднял еще выше за спину, к самой голове. А тогда... Хрустнуло во всех косточках, обожгло жгучей болью, и Петя тяжело, мучительно застонал. Потому что Лягно взял его за наручники, сгреб и повесил на стену за крюк. Петя повис, едва касаясь ногами пола. Лопатки ему вывернуло, скрючило спину, и сразу раскаленные круги поплыли в глазах... А Лягно и надо было, чтоб арестант стоял перед ним, как будто он кланяется ему, с низко опущенной головой, именно тогда он и бил по лицу — «форшмачил», и все это спокойно, с похлопыванием, без зла и добра в сердце, за кусок черного хлеба, а тот, скорченный, и не сопротивляется, и не дергается, потому что связанными руками туго подвешен за крюк, тут, брат, такая штука, сам Лягно придумал!..

В гимназии, читая Блока и Вороного, Петя никогда не задумывался, что «кровь», «зубодробился» не пустые слова, что и сейчас творится такое, и творится совсем недалеко, вот здесь, на тихой Лукьяновке, за красными, смирными снаружи тюремными стенами... Куда там Лойолам, куда там черным сутанам средневековья! Они могли бы позавидовать лукьяновским мясникам. Лягно молча, с тяжелым посапыванием вершил свое дело: или согнул парню шею, или ударил пудовым кулаком по голове — кто знает, а только новым жгучим огнем обожгло все его тело. И Петя вдруг застонал и сжал зубы: «Гады, что ж вы делаете! Побойтесь революции, она придет, она спросит у вас...»

Одним словом, начались дикие азиатские истязания, для которых и были вымуштрованы эти люди. И если бы Петя и хотел что-нибудь сказать на допросе, то не смог бы, лицо ему разбили в кровь, губы запеклись, сжались в черную ненавистную гримасу презрения к этой волосатой туше, которая сопела возле него, била зло, наотмашь, от которой несло потом, несвежей кровью. Оглушенный болью, страхом, криком души, Петя молчал, пока его не бросили в камеру.

Тишина, обессилевшее, избитое тело, железная сетка под руками, и шумит в ушах, стучит в голове тупо и непрестанно. Уснуть бы... Вот так окаменеть, не двигаться, ни о чем не думать... А над ним склонился белоголовый мужчина, укрыл его войлочным лох-

мотьем и что-то подложил под голову. Петя, наверное, уснул. Потом кто-то слегка взял его за плечо и спросил:

— Как звать тебя, парень? Ты гимназист, наверное?

— М-май,— только и произнес Петя, натягивая на себя войлочное покрывало, потому что его начало знобить.

— Как, как! — еще ниже склонился белоголовый мужчина.

— Мамай. Кличка моя... А звать Галайченко. Петро, Петер...

Улочка на горе, старый светло-желтый домик с вылепленными амурами, и идет свободно, несколько рассеянно задумчивый, углубленный в себя юноша в гимназической куртке, сразу видно — поэтическая натура, идет по земле, а душа витает где-то там, в заоблачных высях... Что-то вспомнил, прояснилась память, и крепко сбитый белоусый мужчина на мгновение застыл в раздумье: где и когда все это было, промелькнуло в его неустроенной судьбе?

— Послушайте, Петя. Мне кажется, что мы где-то с вами виделись. И как будто совсем недавно...

— И мне,— запекшимися губами прошептал Петя. — Ваши белые усы. Белая борода. И спина,— как у Поддубного... О, вы еще в будочку заглянули, вы ловко прикинулись тогда, что вам что-то надо у старого сапожника. Там, на ремесленной улочке, мы столкнулись!.. Вспоминаете?

Машинист Парфен вспомнил, он не мог забыть, усы у него встопорщились, и загадочная полтавская улыбка поползла по лицу и хитро задрожала на его губах: «Ишь, мир тесен! Такова жизнь, брат!»

Ночью Петю еще сильнее трясло, лихорадило, разбитые губы потрескались, черными капельками на них запеклась кровь. Парфен перетащил свою кровать поближе к Пете и возился возле него до утра: укрывал, приносил воды, достал сухарик, а потом даже раздобыл кусок льда в тряпке. А парню становилось все хуже. Его кидало то в жар, то в холод. Он все время бредил. Но даже в бреду чувствовал, что рядом — хороший человек, его спаситель; горячими ладонями хватал Парфена за руки, клал на свою грудь, его знобило, а он шептал, полусонный, и вспоминал мать...

«Дорогая мама, не бойся, не пугайся, что я говорю с тобой из тюрьмы.

Мы привыкли, мы крестьяне, мы почему-то думаем, что тюрьма — это босяки, бандиты, убийцы. Но бывают, мама, такие времена, когда все наоборот, все вверх дном: убийцы ходят на свободе, а честные люди здесь, в камере, с кляпом во рту. Я слышал: друг Скоропадского, какой-то граф Кирста, садист, убийца, носит на рукаве нашивку — три черепа. Это значит — он повесил трех революционеров. И вот ему, графу Кирсте, на балах, на приемах весь высший свет мило и приветливо улыбается и деликатно пожимает руку: герой Кирста, потомственный дворянин, спаситель «Отчизны свободной и в старых границах»! И никто не скажет: ты гад, ты убийца, твое место в земле! Наоборот, кла-

няются, добиваются его расположения. Потому как сам Кирста отбирает — а он доверенная особа гетмана, опричник,— да, отбирает в свой отряд; и отбирает только дворян, только заслуженных, только тех, кто убил или собственными руками задушил, повесил двух-трех бунтарей из народа. И сам цепляет им нашивки — разбитые черепа. И это публично, под звон бокалов и выкрики «браво!». И тот мир, мир убийц, называет нас преступниками и заключает в тюрьму.

Сейчас, мама, не стыдно сидеть в тюрьме. Сейчас стыдно быть на «свободе», там, среди тех, где Кирста, где те, с черепами на рукаве.

Но я хотел, мама, поговорить с тобой совсем о другом. Совсем, совсем о другом...

Я счастлив, мама. Скажи, может, я в сорочке родился? Сейчас я со страхом думаю: а если бы меня не бросили в тюрьму или в ту камеру, что бы тогда было?

Знаешь, мама, бывают в жизни такие решающие минуты... Но я забегаю вперед, немного путаюсь и тороплюсь...

В детстве, в гимназии я встречал разных людей; любил их, не забывал их, но все они проходили мимо меня словно тени, добрым и грустным воспоминанием. И видишь: не остались, не вросли навечно в сердце, как врастает дерево в землю. Я не говорю о любви, о Софье, о муках плоти и души. Это совсем иное... Я говорю о человеческой, чистой, бесконечной привязанности. И вот однажды неожиданно, как гром среди ясного дня, произошла встреча. Встреча с человеком, человеком со свежим восприятием жизни. И вот эта встреча, словно посланная мне самой судьбой, самим небом. Ты произнес несколько слов, и вдруг — удар в самое сердце: это он! Это тот, брат, поводырь твой, до боли свой, добрый и родной тебе человек. Человек — душа. Человек — мир, без которого тебе не жить и не ступить дальше ни шагу. И сразу захотелось не потерять его, не разойтись с ним, довериться ему, не утаить того, что скрываешь даже от самого себя! Разве это не великое счастье в жизни — найти, встретить такого человека и под его доверчивым взглядом в самозабытьи, в порыве горячей, святой откровенности раскрыть себя и свою душу: вот — я. Весь здесь. Весь перед вами. И весь ваш! Вот оно, счастье, мама! Припоминаешь, как мы встречались дома, на каникулах, и нам казалось, что мы вечность не виделись, и как мы были счастливы вдвоем, усаживались где-нибудь в углу, в темноте, прижимались друг к другу, словно дети, и наши руки, наш доверчивый шепот, наши разговоры обо всем, когда из темноты светились добром и любовью только твои и мои глаза.

Именно так я и встретился с Парфеном.

Нет, с ним было фантастичнее. Я метался в жару, и где уж там, не видел его, ничего не видел, а только припоминаю: словно твои руки кутали меня, укрывали, смачивали ватой губы, а меня всего разрывало на куски и я горел в огне. И вот на мои виски, на горячий лоб, на щеки кто-то кладет лед, и я чувствую,

как постепенно стихает боль, мне становится легче и сон одолевает меня. Говорит: ложись, накройся, усни. Мне кажется, мама, что голос этот я слышал в детстве... И только утром после бреда я увидел его: это был Парфен.

Сидел на кровати, осторожно, с тревогой посматривал на меня, не отрывая взгляда. Усы, бородка белые, как у мельника, грустная улыбка, и руки его на моем плече. «Спи, браток, ничего, скоро поправишься, ты — молодой».

Он тебя знает, мама. Он говорит, что водил поезда через Козятин и не раз видел наш деревянный домик и как ты сидишь под окном в цветастом болгарском платке. Он махал тебе рукой, ветер трепал кисти на твоем платке, а он смеялся, и ты словно сердилась и тоже улыбалась. Такая у него привычка: едет, посматривает на рельсы из кабины и вдруг заметит крестьянскую девчушку где-то на дорожке во ржи, или старого деда с кошелкой за плечами, или красивую молодую женщину с серпом и перевяслом в руках, не умолчит, обязательно позовет свистком, поприветствует: «Доброго вам здоровья, люди!» Наверное, ты, мама, тоже помнишь его: такой молодой машинист, с белой бородкой, лицо широкое и курносое и всегда веселое. И сейчас я вижу в темноте его седую голову. Сидит на кровати, а у него — и волосы, и брови, и негустая, клинышком подстриженная бородка — все молочным, серебристым светом переливается, словно инеем покрыто, так и хочется пальцем дотронуться. «Вы альбинос! — говорю ему. — Альбинос среди паровозников. Это смешно. Все машинисты как трубочисты, а вы!..» А у него белые усы наежились, и он смеется надо мной: что делать, такой родился! У нас много таких на Полтавщине!

О чем только мы с ним не говорили в эти дни! Я удивляюсь, мама: ну пускай мне интересно, пускай меня поглощает, мучает и поражает все то, что я слышу от него. Он старше меня, он большевик-подпольщик с первых нелегальных кружков, он трижды побывал в Сибири. А что он нашел во мне? Почему он меня слушает, словно я открываю ему бог знает какие миры, тайны бог знает какой молодой жизни и глубины сердца человеческого? Если бы ты видела, какой щедрый огонь, какой живой интерес горит в его глазах, когда я ему рассказываю о гимназии, о моих слабых стихах, о нашем бунте под лозунгом «Долой тиранов из царства науки!», о том, как я сначала лелеял в мечтах неземную богиню красоты Лонгрен, а потом встретил Софью — и умер, оторопел: «Это Она! Она! До теней под глазами — Она!»

Вдруг Парфен нетерпеливым жестом обрывает меня и говорит: «Петя, господи, как у нас много общего! Все это было и у меня, и со мною, только приглушенно, неразвито, грубо (потому что я не выползал из рядна до пятнадцати лет), а потом... И стихи были, и любовь, и грусть по неземной красоте, и бунт, и крик души — правды, правды хочу, единственной правды людской!.. Мы одинаковы, Петя, мы похожи друг на друга, как два брата, потому что мы от одних матерей родились и под одним крестом рос-

ли, под тяжелым крестом черных, отторгнутых, безъязыких людей, которые захотели невозможного — правды...»

Мне становилось лучше, и мы говорили с ним всю ночь.

Рассмеявшись, Парфен рассказал мне, как однажды в тундре, в метель, он едва не замерз, шел весь запорошенный снегом, еле передвигал ногами, похожий на белое привидение, а эскимосы подумали, что это медведь, и выстрелили из дробовика. Но был у него, слава богу, добротный кожух, плечо только раздробило и вырвало немного мяса, но не убило. И может, именно это, именно случайная встреча с охотниками в пургу и спасла Парфена: они отогрели и выходили его и отправили дальше на санях... Он умел самые страшные истории рассказывать весело, находил в себе что-то смешное, и я, грешным делом, не выдерживал, пофыркивал в ладони, а может, он хотел меня развеселить, чтоб я забыл грязный и омерзительный допрос и скорее поправился».

12

И вот изредка нас стали выводить в тюремный двор на прогулку, там мы уж не расставались. Только мысли мои по-прежнему возвращались к Софье... Уже наступило лето, солнце жгло из-за высокой тюремной крыши, поблескивали камни на булыжной дорожке, по которой ходили арестанты. Кусочек синего неба, чириканье воробьев на карнизах, свежая зелень — все это напоминало иную жизнь, нетюремную, и я тоскливо посматривал на кирпичную стену, опоясанную железной проволокой, и думал: вот здесь, за высокими стенами, если немного пройти, и будет Галицкая площадь, а там Мирон Самойлович (интересно, что он сейчас делает), потом по бульвару, вдоль тополей можно выйти на Печерск, в тот каштановый парк, где мы тогда стояли... И тут со мною произошло нечто невероятное: жгучей болью, а может, не болью, а грустью, унынием и тревогой сжалось мое сердце, мне стало тяжело дышать, я встал на дорожке как вкопанный и едва не вслух спросил себя: где она, где сейчас Софья, спаслась ли, освободилась ли из того зловещего, вражеского кольца?

У нас с Парфеном было одно правило: не мучить себя, не рассказывать то, что еще не вызрело и не напрашивалось на исповедь. И наверное, Парфен давно заметил (а у него был наметанный глаз на людей), что я не все говорю о Софье, не вспоминаю о том страшном и не понятном для меня дне, когда произошел взрыв.

Да, Парфен почувствовал, что я что-то от него скрываю. И вот однажды во время прогулки, в тени тюремной стены, он остановил меня легким прикосновением руки: не торопитесь, пускай пройдет надзиратель. И тихо сказал:

— Петя, вы слышали, что произошло в Москве? Недавно, на этих днях. Убит Мирбах, немецкий посол... Подойдите сюда по-

ближе, в тень. Так вот, послушайте: тут роковая последовательность. И вам, и мне, и всем нам казалось: террористы — люди фатальной, бессмысленной слепой идеи, но все же... Нам казалось, они ошибаются, они помешались на терроре, они любят эффекты, взрывы, треск, но они — люди бесстрашные, люди борьбы и, наверное, честные в глубине души, так нам казалось, хотя иногда трудно оправдать их бессмысленную игру со смертью, их сектантство, заговорщичество, их выстрелы из-за угла... Но, Петя!.. Послушайте меня повнимательнее: немцы взяли Псков, немцы угрожают Петрограду, английская эскадра захватила Мурманск, и именно тогда, когда решалась наша судьба — «быть нам или не быть?», именно тогда террористы бросают бомбу под ноги Мирбаху. На что они рассчитывают: спровоцировать войну с Германией? Отомстить за прошлое, за свои ошибки, за свою непопулярность в народе? Вы знаете, Петя, что они сделали? Они захватили почту и телеграф в Москве. Они арестовали Дзержинского, они из пушки, снарядами обстреляли Кремль... Петя, это уже предательство, это открытая контрреволюция. Герои бомб, самые левые, которые кричали на своих съездах и называли нас оборонцами, оппортунистами, теперь сами объединились с ярыми монархистами. Вот оно как обернулось! А вспомните, Петя, как было в Киеве?..

После камеры меня сильно покачивало; от яркого солнца и света кружилась голова, и я стал в тень, поближе к Парфену. Встал, зажмурил глаза (слабость давала себя знать, оперся рукой на Парфена) и так, стоя возле теплого Парфенова плеча, будто задремал. Какое там задремал! Мысли проносились одна за другой, мне было что вспомнить. Было!

Тогда, на Батыевой горе, все началось с самого малого: «Петер, я никогда не видела Киев. Вы человек местный, покажите мне нашу славянскую Мекку». В словах — «славянская Мекка» — слышалась легкая ирония, светская насмешка, а может, и того хуже. Да бог с ним, думал Петя. И вот идут они по бульвару, по обе стороны стоят пирамидальные тополя. На Крещатике гремят военные оркестры, а дальше — Царский сад, однако Софья идет не в парк, не в людные места, где толпится публика перед летним театром «Шато-де-Флер» (фарс и комедия за тридцать копеек — пожалуйста!), а совсем на другую улицу, пустынную, с винтовками и окриками часовых. Был ли Петя в тот вечер таким ослепленным и подавленным, что по простоте души своей не догадался: не он ей показывает город, не он ее ведет, а она его... И еще одно. Он не мог забыть эти влажные, словно склеенные керенки. Они как скользкая паутина прилипли к памяти. Страшные мгновения, когда оцепенение и паралич мысли, что ли, овладевают тобой — именно за это Петя ненавидел себя больше всего. Потом говорил, клялся не раз: где бы это с ним ни случилось, сразу же, немедленно, отдать ей деньги, сказать — не продаюсь... Ну и последняя сцена в парке, презрительная гримаса Софьи: «Не иди за мною! Прочь!.. Мальчишка!» Петя вспомнил — и снова

его обожгло сухим огнем, спазмы сдавили горло. И кто знает отчего: от обиды, от стыда за себя, что ли, скривились да так и застыли его шершавые, разбитые на допросах губы.

Петя стоял, опустив глаза, в тени тюремного корпуса. Ему было уже не так жарко, и он немного успокоился, но все же... Не только Парфену, а даже самому себе стыдно было признаться, произнести одно слово — «nur Puppe». «Только кукла» — так сказал барон Мумм о Павле Скоропадском. А еще один герой, только в другом, значительно меньшем масштабе разве не был куклой? Хуже всего — быть слепцом, наивным человеком, орудием, подставной картой в чьих-то руках, в сложной, заранее продуманной игре!

«Наука! Большая наука для тебя!» — горячо повторял Петя.

Он безжалостно казнил себя, укорял за совершенные и несовершенные грехи. А немного успокоившись, подымал глаза, наслаждался теплым летним днем, смотрел на голубое небо за тюремной стеной, и грустно, тоскливо становилось на душе; и ему казалось: сзади тихо подходила к нему Софья, клала руку на плечо (шуршание платья и лавандовый запах духов). «Петер, как вы можете? Неужели вы усомнились? В ком? В том человеке, который верил и всем своим сердцем стремился к вам? Встаньте ближе, вот так. Посмотрите мне в глаза... Петя!..» И вдруг Пете стало трудно дышать: обжигающим синим вихрем полыхнуло ему в лицо, нежной лаской ее глаз, той женской, страшной и сладкой властностью, из-под которой он не мог, не имел сил вырваться. «Софья, я люблю вас, люблю и верю: вы святая, Софья, вы святая в доброте и жертвенности своей, и все, что было там, на Батыевой горе, и в парке,— все, все я благословляю и говорю вам: пускай оно будет, пускай оно светит мне в душе. И так всегда!»

Кто знает, понял ли в эту минуту Парфен, почему его милый и славный отрок (иногда он называл Петю этим словом) вдруг разжал шершавые губы, щербато, с темной ямочкой во рту улыбнулся и произнес: «Айда, Парфен. Пора в камеру. Всех повели». А сам подумал: «Пускай все это обман, пускай красивое привидение, пускай ослепление — от любви не отрекаюсь! Она в душе, она моя и со мною, и потому я так счастлив...»

В одну из семиминутных прогулок Парфен остановился перед маленьким, с трещинами по всей стене флигельком за караулкой, где прогуливались арестанты: они выносили большие узлы с бельем и бросали их на фургон, весело переговаривались, а то и ссорились между собой. Это вносило небольшое разнообразие в их жизнь и было им как праздник.

— Стиральный день сегодня,— грустно заметил Парфен. Задумавшись, он долго поглядывал на узлы, следил за арестантами. Вдруг неожиданно спросил:

— А вы знаете, как меня арестовали в Киеве? Как-то глупо все получилось, ей-богу, глупо. Все уже было готово, и связь наладил с кем надо, большое дело вместе задумали. Уже собрали меня в дорогу, билет и паспорт достали — и вот... Надо же было

в последний момент зайти на Батыйке к одной немке, чтоб через нее передать записку нашему человеку...

— Как! — сразу побледнел Петя, почему-то растерялся, словно мальчишка, вытаращив на Парфена глаза. — К какой немке? Может, к квартирной хозяйке Гроскопф?

Теперь удивился Парфен. Задрал белую бородку и, обескураженный, уставился на Петю:

— А вы откуда ее знаете, Петя? А-а, вы, кажется, жили у нее, правда?

— Да, знаю! Вас там арестовали, на ее квартире?

— Да. Целый месяц ее дом был под наблюдением, в жандармской осаде, так мне потом передавали.

— Чудеса! — только и произнес Петя. — Чудеса! По одной тропинке ходим. А точнее, еще один грех на моей душе...

И они весело и горячо стали вспоминать, каким образом попали на Батыеву гору, к той вечно напуганной, сухонькой бабке-баронессе. Но тут Парфен прервал разговор и снова неожиданно спросил:

— Слушайте, Петя. А как вы смотрите на то, чтоб сегодня выйти на свободу. Сегодня же. — Слово «сегодня» он повторил дважды и произнес его с особой, многозначительной интонацией.

— Каким образом? Мне выбьют все зубы, косточки переломают, но не выпустят. Вы же знаете, что мне пришили: если не эйхгорновское дело, так политическое подстрекательство. Листовки...

— Ничего, Петя! Это уже не твоя забота. У них замки и тюремные стены, а у нас арестантская солидарность. И разум. Посмотрим, кто кого!

Парфен даже раздался в плечах — Поддубный, настоящий Поддубный, крепко сбитый, коренастый мужчина с белой, гордо посаженной головою! Весело он оглядел щупленького Петю, словно примеряясь к нему, похлопал по худенькой спине и сказал:

— В самый раз! Вы, Петя, подходите, как никто другой: и комплекцией, и революционным духом, и той ролью, которую будете играть там, на свободе. Пойдемте!

Они направились в темный, затхлый длинный коридор за шеренгою арестантов, и Парфен умолк, сразу серьезным стал: новые заботы занимали все его помыслы. Говорить, шутить, а тем более рассказывать о том, что он задумал, ему не хотелось.

В тот день после обеда (а день был в самом деле стиральный) по всем коридорам арестанты таскали узлы и большие корзины. Они разговаривали, шутили. Суматоха была и в камерах. С утра приказали собрать всю арестантскую одежду: нижнее белье, халаты, наволочки, у кого они были; и все это — грязное, черное, пропахшее потом — бросали в угол. Потом собирались его вывезти и попарить в чанах, потому что завелось тюремное насекомое — тифозная вошь. Немного погодя в камеру, где сидел Петя Галайченко, уже раздетый, в одних трусах и оттого еще

больше похожий на святые мощи — кости и синяя, в волдырях кожа, и большие глаза, возбужденные и немного пристыженные от собственной наготы — бросили корзину порядочной величины, сплетенную из лозы, с двумя ручками. Арестанты свалили туда грязное белье, хорошо утоптали его («Да ну, полегче! Порвется казенное добро!»), связали простыней и пометили сверху номер своей камеры.

Вошел ключник, надзиратель, за ним двое бритоголовых, из тюремной шпаны или рецидивистов-уголовников, кто знает. Парфен загородил им дорогу, сказал: «Мы сами, я еще не выходил на прогулку». И хотя он недавно вернулся со двора, ни ключник, ни уголовники не стали возражать — сегодня работы хватит всем. Они направились в камеру напротив, а Парфен взял тяжелую корзину за одну ручку, высокий, долговязый деревенский парень, арестованный за драку и погром в волостной конторе,— за другую, и они понесли. Корзина была нелегкая; даже поскрипывала, натоптанная лохмотьем с насекомыми, но и носильщики были крепкие, весело, с шутками тащили они груз по коридору. У входа во двор их остановил старший надзиратель; он запустил натренированную красную руку под простыню и пощупал клешнями: случайно ничего не прихватили из казенного добра? Кто-то спросил: можно выносить из камеры?

Разрешил им — валяйте!

Там, за караульным помещением, стоял фургон, а на нем горы узлов, а на узлах понурый арестант-экспедитор. Парфен освободил место, поставил туда корзину, чтоб не выпала случайно по дороге, и сказал экспедитору:

— Вот наше добро, из тринадцатой камеры!

— Кладите, да поживей! Возитесь здесь! — проворчал тот недовольно, затянулся бычком, осторожно наблюдая за возницей: ему не понравилось, как бородатый кучер долго и нудно поправлял уздечки и недоверчиво поглядывал из-под кустистых бровей на узлы.

Фургон тронулся, его еще раз осмотрели и ощупали при выезде из ворот и выпустили в город.

До самого вечера лежал Парфен на голой кровати: мял белую бородку и беспокойно ворочался. А забрали из камеры все, даже матрасы и худенькие одеяльца, которые были принесены из дому, и теперь политзаключенные, словно Адамовы дети, лежали полуголые или в нижнем белье на своих железных сетках. Одним словом, машинист Парфен мучился: у него болели бока, болела душа; хотя он и был человек выдержанный, с закаленными нервами, но всякий раз вздрагивал при стуке, с нетерпением дожидаясь вечернего обхода.

Раздался звон, грохот в коридоре, щелканье замков, и вот в камеру заглянул надзиратель, окинул взглядом кровати, и вдруг его лицо сразу перекосилось:

— А где тот, с третьей койки? Где он, Галайченко, гимназист? Где, я вас спрашиваю?!

Через секунду ввалнлся наряд караульных, вызвали начальннка тюрьмы, корндорного. Оказия получнлась просто невероятная, божись не божись — пахло колдовством. Окиа, железные решетки, доскн в полу — все стояло и лежало на месте, все было сделано, прибито на века, а гимназист нсчез, нспарнлся — н когда? — средь бела дия.

...А Петя Галайченко, ои же подпольщик Мамай, был в то время далеко, очень далеко от Лукьяновкн.

13

Он лежал в корзине, словно в утробе матерн, скорчившись, подогнув иогн, упершнсь колеиямн в грудь. Ему подстелилн иемиго лохмотьев, сверху набросалн белья, сделалн небольшую дыру, чтоб можио было дышать. Но Петя н представнть себе не мог, что впередн его ожидает еще одио нспытаиие. Тюремиые иасекомые, от которых шевелнлось старое и пропотевшее арестаитское тряпье, словно предчувствовали, что их везут в последиий путь — парить в котлах, голодиые и жадные, со всей злостью накинулись на Петю, на его худое тело, чтоб вдоволь напиться кровн перед смертью. Мамай сжал зубы, одеревенел, весь напружнннлся, одиако не помогло: ползало, грызло, шевелилось иа нем что-то отвратнтельное н ненасытное, тело чесалось так, что нельзя было нн пальцем, ни рукой пошевельнуть, страшно хотелось перевернуться на бок, сдвинуть плечом, снять прилипшую вошь из тела. Полжнзни отдал бы, чтоб грубым дедовским способом немного успокоить себя и от души почесаться!

Прн выходе во двор, когда надзиратель засунул свою лапу в белье, Петя чуть не выдал себя: тюремщнк задел своей клешнею мягкнй запавшнй живот — н он едва ие рассмеялся от щекоткн, да сразу же закрыл рукой рот, подумав: господи, пронесн, а то еще выскочу из корзиины!

Пронесло. И здесь пронесло, н дальше на воротах!

Когда выехалн на мощеиую улицу н дорога пошла в гору, стало иемного легче: фургон трясло, колеса постукнвалн, н Петя, сжатый в комочек, прндавлениый бельем, попытался не то чтобы выпрямнть тело, а хотя бы просунуть руку и оиемевшнмн пальцами вырыть себе побольше ямку — для глаз и для рта.

«Курнть будешь?» — доиесся до Петн глухой ворчлнвый голос. И в самом деле, запахло крепким табачиым дымком, сверкнул огонек цигаркн. По-вндимому, хмурый экспедитор просовывал ему бычка сквозь плетеную корзину. «Нет, не буду!..» — едва пронзнес Петя, не до курения здесь: и так всю грудь в доску спрессовало! И все же онн продолжали ехать, качался фургон, грохотали колеса о камнн, и не вернлось, что уже далеко позади осталась тюрьма, пропнтанная кровью от кулаков Лягно, что теперь не будет отравлять ему душу ежечасная угроза: окрик — и его могут повеснть со связаиными руками на крюк, и ты уже не человек, ие светлое, лицом богоподобное существо, о котором им высокнм гекзаметром

говорили в гимназии, а что-то бесформенное и безымянное, окровавленное месиво, по которому будет бить, «форшмачить» волосатый ломовик.

День выдался длинный и тяжелый, до вечера пережито столько, что можно только про побег написать отдельную повесть. Уже потом, в окопах, не раз вспоминал Мамай, как привезли его, сложенного вчетверо, придавленного бельем, в соломенскую прачечную и там не могли вытащить из корзины: ему скрючило ноги и спину и весь он одеревенел, словно столбняк хватил; как прятали его в котельной, за угольными ямами и только к вечеру, когда стало темнеть, провели соломенскими задами к железнодорожному полотну и сказали: «Иди! Теперь ты вольная птица!»

Его удивляло, до слез трогало то, что Парфен называл подпольной, революционной солидарностью. Для Пети все, с чем он сегодня столкнулся, было просто человеческой добротою, душевной спаянностью борющегося народа. Наверное, говорил он себе, мы бы заросли травой, все бы вымерли, не вынесли бы ни татарщины, ни тевтонщины, если бы у нас не было непоказной суровой доброты и выручки, укоренившейся в сознании еще от дедов и прадедов. Проворчал «не возитесь» и тут же ткнул ему бычка: «Покури!» Кто он, этот арестант? Почему он взялся везти политического беглеца? Захотелось ему горячих шомполов, каторги? А в котельной? Чужие, засаленные мужики, дома, видно, куча детей и одна нищета — надо им лезть в петлю? (Тюремный надзиратель и там, в котельной, перерыл узлы). А как они, эти два истопника, фыркали, оглядывались, тихонько подтрунивали друг над другом, когда затолкнули Петю в темное, удушливое место между узеньким простенком и котлами. А вечером? Где-то раздобыли рубашку, штаны, фуражку и, натягивая все на парня, весело смеялись, глаза сверкали, потому что одежда с чужих плеч — большая и помятая — и висела на нем хламидою.

Простые люди, свои, с Лукьяновки, Соломенки как-то по-новому раскрылись для Мамая. Он произносил одно слово «от Парфена», «от Лаврентия», «от Сахно» — и его не спрашивали, кто он, откуда, его угощали семечками, сухарем, бычком и вели дальше своею, как будто испокон веков протоптанной от двора до двора, от сердца к сердцу, живой подпольной стежкой-дорожкой. Вечером пришла за ним сухощавая, уже в годах, накрест перевязанная черным платком женщина; она только всплеснула руками: «Это такой! Господи, тебя голодом морили или с креста сняли!», а потом скупо: «Айда!» — и всю дорогу молчала, пряча под платок большие черные руки, словно стыдилась их, и, только когда в темноте, при слабых отсветах сигнальных огней у переезда, подошли к железнодорожному полотну, скупо произнесла: «Спроси старого Дедуха, кондуктора». Сказала, повернулась — и молча ушла назад, в темные переулки села, высокая, худощавая женщина, накрест перевязанная платком. Петя посмотрел ей вслед, и его как будто слегка подтолкнуло, схватило за душу, и он подумал: «Никогда не увижу эту женщину, не поблагодарю ее. И странно, я не знаю даже, как

ее зовут. Да разве только ее? А того арестанта с прищуренными, настороженными глазами, который подсовывал мне бычка? А тех двоих кочегаров из котельни? Да и Парфена, веселого, беловолосого человека, придется ли когда-нибудь увидеть?! Не верилось: неужели все они — пыль, придорожный туман, встретились случайно, и вот — сдунуло их легким дуновением ветра, и нет, все развеялось в прах. Нет! Неправда! Что-то осталось незабываемое и у меня и у них, оно будет и мучить и согревать меня добром и любовью».

Кажется, никогда еще Петя так остро не чувствовал, что он всеми фибрами души связан со всеми людьми на своей земле — кровью, жизнью, родом, корнями. Связан с теми людьми, с которых мы все начинались тоже как люди, которые кто знает когда, с незапамятных времен, пришли на эти извечные горы, поселились здесь вместе с Щеками и Хорывами; и с теми людьми, которые потом, после нас, после наших могил, придут сюда, на нашу Лукьяновку, Соломенку, на Печерск. Мы — как одна река; она вытекает из давних подземных глубин, из вечной тьмы забвения, а потом плывет через века и столетия широким непокоренным руслом, плывет из прошлого в будущее, нигде не кончается и нигде не прерывается, не высыхает. И разрубить нас, разделить на герцогства, на генерал-губернаторства, на провинции так же невозможно, как разрубить живой поток воды. Разве уже не пытались нас делить огнем и мечом? И что? Где те меченосцы, где орды, где фон эйхгорны, где будет завтра пан Скоропадский? Волны истории поглощают разбойничьи судна, а Ксеркс в великом гневе приказывает бить и сечь море палками — и что же остается делать маленьким аттилам, которые в тленном своем тщеславии посягают на что-то необъятное, на жизнь целых народов, на сушу и все земные воды?

Кричали паровозы, тревожно мигали красные сигнальные огни, а Петя, переступая через стрелки и рельсы, думал: «Что бы с нами ни было, надо идти к людям. Не умирать в своей келье от мук и потрясений, не бросаться под поезд, а идти к своим, обыкновенным людям, к соседям, идти с открытой душой — это как глоток свежего воздуха, как окно в глухой, настоящей или выдуманной нами стене». Уже совсем стемнело, и он торопился. Быстро нашел на станции Дедуха, и старый кондуктор произнес одно лишь слово «угу!» и повел по глухому железнодорожному полотну туда, где шипел и грозно пофыркивал горячий и черный от копоти и мазута паровоз. Через минуту о Пете заботились другие люди: кто-то сбегал за билетом на поезд, кто-то сунул в руки небольшой фанерный сундучок: «Бери! В дороге все пригодится!» Тут же второпях, бегом, провели его в переполненный, забитый крестьянскими узлами вагон, помогли забраться на верхнюю полку, еще и закрыли его от прохода сундучком: мало кто будет рыскать здесь до звонка и заглядывать пассажирам в сонные лица!

Рвануло вагоны, звякнули буфера, и поезд легонько отошел от перрона. «Странно! У Парфена как будто пол-Киева знакомых, и

все его друзья и соратники, все готовы последнюю рубашку с себя снять. Я слышал, что именно так живут семьи паровозников на Соломенке: и свадьбу справляют вместе, всем поселком, и похороны — тоже сообща. У них, кажется, и касса есть своя, подпольная, на черный день, когда забастовка или когда выгонят с работы...»

Колеса стучали все чаще и чаще, поезд набирал скорость. «Надо поспать!» — подумал Петя. Отвернулся, попытался было забыться, но все пережитое за день вставало перед глазами: беловолосый Парфен, камера, последнее напутственное слово в дорогу (что предать и кому, а дальше все то самое худшее и самое смешное: как его вталкивали в корзину, ноги не помещались, «сгибай, сгибай, подбирай их!» — дружно, все вместе запихивали его бедные косточки в лозу, лохмотьем обложили, придавили — и айда! И как накинулись на него прожорливые, тюремные насекомые, тело и до сих пор горит и ноет от чесотки...).

В вагоне духота, тяжелый, натруженный храп. Темно. И только изредка мелькают огни за окном.

«Наверное, далеко отъехали. Вряд ли чтоб здесь спохватились, искали меня». Он тихо слез и через узлы, через сонных людей пробрался в тамбур. Встал, прислонился лбом к остывшему от ночного ветра стеклу. По-видимому, поезд шел лесом, а может, небольшим перелеском, кудлатая стена деревьев проносилась за вагоном, летнее небо синело, кое-где мелькали звезды, и все это покрывала густая, тревожная, словно первозданная темнота. А там, где-то далеко, как будто на другом краю земли, едва-едва помигивали маленькие желтые огоньки. Может, то светились окна на киевских горах, а может, сверкали огни на Цепном мосту через Днепр. Все близкое и родное, что осталось там, в Киеве, в тесной каморке, с книгами, с письмами матери, с бульваром, с Батыевой горой,— все отходило назад, терялось, уплывало с глаз, а впереди была ночь, темнота, леса, неизвестность. Петя и не почувствовал, как неожиданно тревога, грусть, беспокойство подкрались к нему, сжали сердце. Дорога и стук колес отозвались печалью, и снова мысли возвращались к пережитому. Почему-то первым вспомнился Мирон Самойлович, вспомнился, возможно, как легкий укор: так и не успел проститься со стариком. А сердце Пети чувствовало, давно чувствовало, что в мастерской Мирона не без перемен. После повальных арестов в Киеве не могли обойти его подвал.

И, конечно, он далеко не все мог предвидеть, что там на самом деле произошло: старик похоронил свою мать, порвал с подпольем и как-то сразу сник, помрачнел и осунулся. Теперь он каждое утро выходил с деревянным сундучком на площадь и садился недалеко от базара, возле угрюмой Железной церкви. Садился у ограды, недалеко от калек и нищих, и здесь же, на улице, за копейки чинил старую обувь. Глаза его выцвели, он стал плохо видеть, пожелтел и как-то незаметно впал в детство: целыми часами перебирал по одному гвозди, деревянные шпильки, ссыпал в одну коробку, потом пересчитывал их и ссыпал в другую. Солнце пекло ему голову, а он сидел, не разгибаясь, за этим занятием.

И только когда по церковным ступенькам зашаркал в искривленных ботинках высокий узкоплечий юноша, Мирон вздрогнул. Он неожиданно вспомнил своего голодного, вдохновенного, вечно влюбленного помощника, своего Петю, и тяжело вздохнул: то были самые лучшие минуты в его, Мироновой, жизни — вдвоем, на реденькой саже, а какие листовки они печатали! Наверное, это была последняя вспышка, последний короткий и сильный порыв души, в которую уже повеяло холодом глубокой старости...

Поезд стучал и пыхтел, качало вагон, поблескивали рельсы при свете больших огней. Дальше все больше и больше было придорожных огней, бежавших навстречу. Подъезжали, наверное, к довольно крупной узловой станции. Вдруг короткий и сильный толчок, ударило вагонами словно в стену — и поезд остановился.

Люди сразу проснулись, стали ходить по проходу, сонно позевывать, послышались голоса закутанных баб: «Сейчас, людочки, проверка будет... Тут всегда обыскивают. Деньги, масло прячьте». И не успел Петя спросить, кого будут обыскивать и что это за проверка, как кто-то с нижней полки крикнул: «А посмотрите! Поезд стоит! Московский! На Ростов или на Одессу».

Все кинулись к окнам. Платками, волосами, фуражками закрыли стекло. Сгрудились бабы и деды, проталкивались девушки, всем хотелось хоть одним глазом посмотреть: какой он, красный поезд, оттуда, из Москвы, от большевиков?.. Ничего особенного: стояли напротив вагоны как вагоны, никаких чудес и таинственных знаков на них не было.

— Тьфу, а говорили, красные кресты нарисованы!

— Глупая. Большевики не крестятся, у них вместо икон портреты. Мне кум из Умани рассказывал.

— Много твой кум знает. У меня комиссар стоял, так крестился.

— Еще бы! На такую рябую посмотришь, поневоле перекрестишься...

Люди шутили, смеялись, всем хотелось пробраться к окну, посмотреть: что ни говорите, поезд из Москвы — диковина, как гром среди ясного дня. Немцы очень не любили красные поезда, пускали их редко, один в две-три недели, сами обыскивали, проверяли в буксах, в туалетах, даже в мусорники заглядывали. Говорили, что большевики перевозят на Украину оружие, подрывную литературу, своих агитаторов. И только позже Петя узнал, что не революция перевозится в вагонах, а наоборот — ехала часто старая, генеральско-придворная контра, и с ней рябушинские и шульгины, которые чувствовали за спиной шорох черных крыльев с косой и убегали на Юг, поближе к морю, к портам. А бедняцкая революция запрягла крестьянскую подводу и ночью, глухими лесными дорогами спешила к своим давним братьям-соседям, везла хлеб и оружие, и ей нипочем был этот чужой, заведенный прусскими генералами кордон!

Петя подумал: пока проверяют людей, ему лучше выйти из вагона и немного побродить между двумя встречными поездами. Так он и сделал. Едва соскочил со ступенек на землю, как вместе с ночным холодком на него повеяло необычной, почти фронтовой жизнью большой станции: голоса, топот немецких солдат, проходивших с офицером под вагонами, выкрики кондукторов и часовых: «По вагонам! Проверка! Билеты, документы, багаж!» Но, несмотря на это, на свежий воздух вышло много людей, загнать их в вагоны оказалось непросто, и немецкие солдаты уже нервно покрикивали, щелкали затворами, скорее инстинктом, всем существом вымуштрованных, дисциплинированных арийцев они не допускали шума, суматохи, а также врожденной непокорности восточных людей.

Пока загоняли пассажиров, Петя быстро прошмыгнул на свободное место. Его внимание привлекла комичная сценка: какой-то коротконогий богач помогал подняться в вагон своей толстухе, еще полнее его; он подталкивал, она падала на него, он кряхтел и подсаживал, она падала ему на руки. Петя стоял и улыбался, обнажая щербинку во рту.

Неожиданно он вздрогнул. Сердце тревожно и учащенно забилось. При свете фонаря, висевшего на железном крюке, вдоль вагонов шла пара: крепкий крутолобый мужчина и высокая интеллигентная дама. Видно, из московских. Молодая, изысканная дама, ее фигура, ее ровные, точеные ноги, ее плавная походка — все это остановило его, в одно мгновение он словно врос в землю. Господи, не может быть! Неужели она?! Все так знакомо, как будто сценка, вырванная из памяти, из живого вчерашнего прошлого: легко и привычно она держит своего партнера под руку, немного устало наклонила голову к его плечу, внимательно слушая. Софья! Именно такой он запомнил ее, когда она шла с Борисом тогда, ранней весной, по Кадетскому шоссе. Кажется, все повторилось (только не тот у нее партнер — какой-то низкий и крутолобый, а Борис лежит где-то мертвый): та ночь, станция среди глухих полесских лесов... Не может быть! Какое-то наваждение или умопомрачение! Еще не осознавая того, что он делает, Петя бросился за ними с одной мыслью: остановить!

— Софья! — крикнул он и не узнал своего голоса, так, наверное, кричит подбитая или раненая птица. — Софья! — еще громче крикнул Петя.

И вот она остановилась. И так стояла, не оборачиваясь, раздумывая, оглянуться ей или нет. Все-таки повернула голову и окинула холодным взглядом Петю. Он задыхался, едва не упал. Да, это была она, Софья!

Со странной улыбкой на губах он рванулся к ней, что-то пробормотал, а может, снова выкрикнул. И что же, о силы небесные, она не узнала. Не узнала его. Посмотрела, как на чужого, враждебно сморщилась и отвернулась. И легонько подтолкнула плечом

партнера: дескать, идем. Все потемнело, закачалось в глазах Пети. «Софья, ну что вы, это я!» — он упрямо рванулся, но вдруг крепкий, лобастый, мрачный мужчина резко обернулся к нему, ступил два шага навстречу и загородил Пете дорогу. В его взгляде было что-то неприятное, угрожающее: Петя сразу остыл, протрезвел, всем своим существом понял: если он ступит еще полметра, мужчина убьет, свалит его в кювет одним только взглядом, а то, чего доброго, и чугунным прутом, кулаком, чем угодно.

Раздался паровозный гудок, прозвенели звонки, последние пассажиры уже на ходу вскакивали в вагоны. Петя висел на ступеньке, ухватившись руками за поручни: он оглядывался, выворачивал шею, со страхом и с недоумением смотрел, как отходит, тяжело пофыркивает, окутывает рельсы и колеса густым паром московский поезд. «Уехала? Неужели? Вот так, встретилась на перроне и уехала? Даже не сказала простого слова: «прощай»?..»

Ничего не мог понять Петя. То есть разумом он давно глубоко и ясно все осознал, отдавал себе отчет в том, что не нужен ей сейчас, да и с самого начала был не нужен, что он во всем ей неровня, годами, плебейской кровью, а теперь и вовсе он никто для нее, но душа, душа не хотела, не принимала этого, противилась. В нем засел тот червячок болезненно заостренной гордости, скрытого и застенчивого честолюбия, которое шептало ему: люби ее, люби безрассудно — и она поймет. Донкихоты, поэты, они вечно несчастливы в любви, они рыцари без взаимности. А впрочем, если и не поняла она, то разве нельзя безответно любить, страдать, гордо и одиноко умирать от ревности, разве это меньшая святость и наслаждение души?

Он смотрел вслед удаляющемуся поезду, на черные листья, летевшие за вагонами, и думал: куда она поехала? В Одессу, Ростов? И кто ее спутник? Снова у них будут взрывы? Снова они соберутся на тайную сходку и бросят жребий, хладнокровно разыграют чью-то жизнь, не сатрапа, не врага, нет, а сначала своего товарища, единомышленника по заговору, и братолюбиво, гуманно, по-интеллигентному скажут ему: тебе идти на смерть и умереть. Дадут в руки бомбу с пироксилином, затуманенным, влюбленным взглядом подбодрят: иди! И он упадет с той бомбой под ноги какому-нибудь унтер-пришибееву, и недобитый, с распахнутой грудью, в луже крови будет лежать, взывая о помощи. А его добьют прикладами и втопчут ногами в собственную кровь. И это назовут высоким актом самопожертвования! И чего доброго, еще назовут «приближением революции», хотя история зависит от жизни или смерти одного унтер-пришибеева так же, как восход солнца от хлопка в ладоши кровожадного богдыхана. (Говорят, в Китае еще недавно не разрешали солнцу вставать, пока богдыхан не соизволит выйти на балкон и не ударит в ладоши...) А может, после Бориса (она, кажется, любила его), после его смерти Софья перегорела и отмучилась в огне страданий, стала совсем другой? Может, она, уставшая и разбитая душой, едет сейчас

просто на юг, чтоб все позабыть и развеяться на дорогах Италии и Франции?

Здесь мысли Пети ближе всего были к истине. Он не думал, не представлял себе, что они расстаются навсегда, что их поезда помчатся в разные миры и уже не остановятся, не встретятся ни на каких полустанках. Итак, Софья поплыла к своим берегам, в невеселые и неласковые края чужбины, в мрачное царство прошлого, в то общество, где бродят эмигранты, как тени. А у него будут впереди свои берега, фронтовые, в рядах Красной Армии, в холодных, продутых ветрами теплушках, в солдатских окопах. И между теми берегами, чужими, такое расстояние, что ни моста, ни переправы не было и не будет...

Он снова залез на верхнюю полку, лег и отвернулся, но от волнующих мыслей никуда не денешься. Единственно, что понемногу овладевало им, приглушало боль и обиду за столь нелепую встречу,— это тревога, беспокойство за себя, не покидавшее его от самой Лукьяновской тюрьмы: справится ли он, не подведет Парфена?.. Уже скоро, два или три пролета, и будет последняя остановка, там начинается граница, «нейтральная полоса», поезд загонят в тупик, а утром он поедет назад, в Киев. А Пете придется одному пробираться дальше. Парфен строго-настрого наказал: выйти ночью на станции и никого и ни о чем не расспрашивать. Там шпионят, вылавливают тех, кто хочет перейти границу. Вещи — на плечи, и айда по темной дороге на огоньки, к первому попавшемуся лесному хуторку, к своему имяреку,— дядьке или тетке в гости. И уже на хуторе, среди крестьян, отыскать себе проводника не позже второй или третьей ночи.

Одним словом, ночной переход границы — это не шуточное дело, но и потом тоже не меньше риска: кто знает, на чем и по каким дорогам пробиваться в Таганрог. Далеко ли, близко от Азова этот городок, Петя точно не знал; он также плохо представлял себе, где он там найдет Лаврентия из большевистского подполья. Именно Лаврентия (если он не переехал в Москву) просил найти Парфен и именно ему передать самое главное: то, что сейчас происходит на Украине. А на Украине, как понимал Петя, вот-вот вспыхнет неслыханная война, глухая, упорная рельсовая война. Без пара и угля встанут поезда. На железных дорогах прекратится движение. Ни один локомотив не выйдет из депо. Ни один состав не тронется с места. Мертвое кладбище вагонов и паровозов, с которых даже снимут стоп-краны. Это будет первая и единственная в истории всеукраинская стачка железнодорожников, такой массовый и отчаянный удар по оккупантам, что за ним с напряженным вниманием станет следить вся Европа.

А контрибуция? А хлеб, а лошади, а капуста, изъятые у херсонских и полтавских крестьян и готовые к отправке в Германию?!

Телеграмма гетманского министра путей сообщения начальникам железных дорог: «Саботажников немедленно увольнять, взяточников расстреливать на местах. Всех недовольных и сочувст-

вующих большевикам выдворять за пределы Украины вместе с их семьями».

Телеграмма посла Мумма: «Движение парализовано. Паника и брожение в рядах нашей армии. Прошу прислать из Австрии и Германии несколько паровозных и кондукторских бригад для обслуживания военного командования».

Сообщение газеты «Южный край»: «Сегодня австрийцы отправили один военный поезд. Захваченные два паровоза были повреждены».

Благословляя гонца в дорогу, Парфен просил передать товарищам из партийного центра, что все подготовлено. Первыми выступят западные наши службы — Коростень, Здолбунов, Сарны, которые сразу ударят по самым уязвимым местам оккупантов. За ними объявит забастовку Полесская железная дорога, а дальше Киевско-Московская, Юго-Западная. И покатится волна: Фастов, Знаменка, Пятихатка, Екатеринослав, Харьков, все дальше на юг, все шире по Украине. Сейчас, просил передать Парфен, везде в глубоком подполье создаются забастовочные комитеты, собираются съезды железнодорожников. Дух, как никогда, боевой и настроение единодушное: сражаться! Но (и Парфен на этом настаивал) Скоропадский и новый главнокомандующий генерал Кирбах не дремлют: власть передана немецкому командованию, вновь введены полевые суды, насильно выгоняют машинистов и рабочих депо, все подготовлено, чтобы задушить забастовку. И поэтому железнодорожники просят наших и русских товарищей: пускай забастовку поддержит горнорудный Донбасс; пускай протянет руку помощи Кубань; пускай свяжутся большевики с братьями-железнодорожниками Белоруссии и Бессарабии: чтоб и там намертво закрыть путь оккупантам и врагам революции! А главное: словом, душою, хлебом, литературой, связными помочь! Армада народа восстает, вся Украина от Луцка до Юзовки, и такая массовая, всеобщая борьба требует дружного, внезапного удара, требует сплоченности, связи, солидарности, помощи. Здесь без штаба, без командиров, без подпольного руководства нам и шагу не ступить! Вот о чем пускай подумают товарищи в Москве и Таганроге, пускай сделают все, чтоб забастовка на Украине прогремела как грозное предупреждение: скоро настанет час расплаты, час нашего освобождения!

Еще там, в камере, в Лукьяновской тюрьме, когда Петя слушал торопливые и взволнованные слова Парфена, перед ним вставала картина огромного потрясения, «светопреставления» на земле. Загудит, завихрится гигантский маховик революции, втягивая в борьбу сотни, тысячи новых людей. Это не заговорщицкие бомбы, не террор единомышленников-одиночек, даже не Мамаевы листовки на саже, когда он сам сидел в глухом подвале, призывая к возмездию улицу, в то время как между ним и улицей стояла стена. Это что-то совсем другое: лавина, тот безудержный поток народа, тот натиск бури, который в самом деле взламывает лед истории. И эта народная лавина покатит, повлечет за собой всех

нас — позовет в бой, в окопы. В рядах восставшего народа, в рядах защитников будет место и ему, Мамаю, его лозунгам, его патронам...

Темная летняя ночь властвовала над землей. Петя сошел с поезда, осмотрелся: покинутый людьми, пустующий поезд одиноко дремал на рельсах; он сейчас напоминал длинные ряды крестьянских подвод, груженных сеном. Там, в вагонах, оставался нагретый душный воздух, который завтра поезд повезет назад в Киев. «Ну что ж, прощай, работяга!» — простился Петя со старым, покрытым копотью паровозом.

Пройдя перрон, он обошел деревянный провинциальный вокзальчик и свернул на песчаную, изрытую колесами дорогу. В небе, в самом воздухе и на земле чувствовалась какая-то особенная, окропленная росою прохлада, сырость, а тело испытывало настоящее томление и дремоту. Наверное, скоро утро, начнет рассветать. Петя подумал: и песчаная дорога в темноте, и высокое небо, где бледнеют звезды, и истома в измученном уставшем теле — все это знакомо с детства, все напоминает родной Козятин. Вот он сошел с ночного поезда и сейчас под старыми соснами быстренько пробежит домой, а там радостный вскрик матери, ее теплые сонные ладони на его шее... Неужели это граница? Неужели за тем лесом Брянщина? А все одинаково близкое и родное — серые холмы песка, притемненные кусты деревьев, манящие огоньки в селе или, может, на хуторе, где уже просыпаются люди.

Петя удобно пристроил сундучок на плечо и, тяжело ступая по песчаной земле, двинулся на далекие огоньки.

1979

ДРЕВЛЯНЕ

Из рассказов отца

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Сначала не было ничего.

Ни неба, ни земли, ни людей, ни травы. Голубой сон. Вечный покой. Небытие.

А потом — как в Библии: из пустоты, из голубого сновидения, выплывало вдруг что-то, и было оно похоже на лодку, а может, на люльку.

Лодка стояла на приколе. Я лежал в лодке. Белые паруса тихо качали меня.

«Баю-баю, баю-бай»,— напевал кто-то хриплым, прокуренным басом. Этот кто-то был добрый. Он давал соску. По-видимому, то был мой бог.

Это самое первое, что я припоминаю. Припоминаю или представляю себе — трудно сказать.

Однажды (это, кажется, я помню) закачалась лодка, заскрипели весла, и понесло меня куда-то в голубой туман. Понесло к слепящим лучам, к белым пушистым тучам, и земля уже качалась внизу, словно люлька. Только здесь, в звездном небе, я увидел, что не один: в гнезде — а оно пахло ржаной соломой — сидело с десяток херувимов, они все пучеглазые, длинношеие, точно птенцы, и я плыву с ними, а правит лодкой наш добрый бог. Он сидит спиной к нам, дирижирует вишневой палочкой, на голубых хорах заливаются жаворонки, растрепанная голова его упирается в поднебесье, ноги его в потресканных сапогах касаются грешной земли. Я тогда еще не понимал, что я — это я, а бог — наш отец, а бледнолицые херувимы — мои старшие сестры и родной брат. Где я, что со мной? — не в силах был представить. Я вижу только тихо журчащую воду, которая затопила весь мир; вижу голубые острова, то курчавые, то круглобокие,— они выплывают из тумана, покачиваются на волнах и где-то медленно растворяются. Все вокруг как мираж: легкое, прозрачное, переменчивое. Я тоже легкий и прозрачный. Я боюсь вывалиться из лодки. Мне кажется: если я высуну руку, голубое течение подхватит меня и понесет туда, где все исчезает. С испугу еще сильнее прижимаюсь к широкой спине, она пахнет солнцем и пóтом. Здесь мне хорошо, за теплой спиной. Убаюканный шепотом волн и пением жаворонка, я засыпаю. Слышу сквозь сон, как кто-то сладко причмокивает: «Н-но, поехали!» Этот голос для меня самый родной. Это голос того, кто пахнет хлебом и соленым пóтом. Он всегда склоняется

над моей люлькой, когда мне почему-то очень хочется плакать, есть или пить. И сейчас я заплакал бы — так мне непривычно, так широко и ослепительно ясно в этом необъятном мире,— но рядом он, его теплая спина, его успокаивающий голос.

Во сне проходят столетия, я раскрываю глаза — вокруг все та же лазурная бездна, конца и краю ей нет.

Лодка плывет в бесконечность.

Сон или сказка голубого детства.

— Что это было, папа? — уже позднее расспрашивал я отца о небесном диве.

— А было так, сыну: совсем измучился я с вами, мать в больнице, я один, хоть разорвись, тебе и годочка не исполнилось, взял вас, малышей, посадил на подводу да и повез в больницу, чтоб повидались вы со своей кормилицей.

Самое первое воспоминание... Сказка обернулась житейской былью. Но для меня она не потеряла первоначальной поэзии, глубокого смысла: за спиной отца выхожу в огромный мир. И он, как вечная загадка, манит меня в свои бескрайние дали...

За спиной отца.

Это не раз повторится в моей жизни.

Лошади проваливались в глубокий снег и ползли, как муравьи по песку. Сани тонули в белых дюнах, сгребая перед собой огромный вал спрессованного снега, и вдруг встали. Я скорчился в санях, белые медведи топтали меня, с мясом рвали пальто, кровь текла и замерзала на ветру, судорожно сжималось тело, в степи бушевала белая пурга, белые медведи бросались на коней, на сани, на меня, я помертвел, уже не было сил сопротивляться, и готов был заснуть белым сном.

Сани засыпало снегом.

— Слезай! — крикнул отец. — Слезай и держись за ремень!

Ветер швырнул меня в сугроб, запорошил глаза. Я беспомощно шарил руками, пока не нащупал край обледенелой шинели. Серая солдатская шинель надулась, как парус. Окоченевшими пальцами я вцепился в солдатский ремень, припал к отцовой спине и сразу почувствовал затишье.

— Держись крепче! — сказал отец. — Иди за мной!

Отец грудью рассекал белую завесу, дышал тяжело. Он протаптывал след — узкую траншею в снегу. Это была трудная работа: снег выше пояса, ветер толкает в снег, а отец сапогом пробивает дорогу, шаг вперед — и я за ним, шаг вперед — и я за ним. Это напомнило мне игру в паровоз, когда мы вдвоем или втроем становились на одни лыжи и потом неуклюже, как гуси, переваливались с боку на бок. Вместе — левой, вместе — правой, левой — правой. Тогда это была детская забава, а теперь спасение. Ветер бился о парус и упруго отталкивался, ревело над головой, и в сугробах барахтались медведи, у меня оттаивала кровь, мои сапоги машинально двигались за отцовыми. Вместе — левой, вместе — правой, левой — правой, не отставай, парень! Учись ходить по сугробам жизни.

Сначала меня удивляло, что отец идет согнувшись, его заносит то в одну сторону, то в другую. Будто ему завязали глаза, метель играет с ним в жмурки и он, широко расставив руки, ловит белую пересмешницу. Она бешено крутится, швыряет в лицо снег и с хохотом убегает. У отца завязанные глаза, он идет, слегка покачиваясь, ловит наугад серую темень. Игра меня так увлекла, что я осмелился выглянуть из-за спины отца. Ветер больно обжег лицо («Не подглядывай!»), но я увидел.

Увидел, что отец не играет. Отец толкает сани. Собственно, он толкает коней, совсем выбившихся из сил, а сани приподнял за полозья и несет на руках, несет перед собой, по колено утопая в снегу. Он подталкивает коней и тянет меня за собой.

Через час мы были в районном центре, в школьном общежитии; я отогрелся на печке, холод и страх постепенно проходили, в окно билась крыльями белая птица метели. Еще немного — и я лягу спать на лежанке: в такую метель никто больше не приедет из далеких сел, а завтра, если распогодится и повеселеет небо, побегу в школу. Может, и не пойду на уроки, буду отдыхать, переживать заново перенесенные страх и холод. А отец? Он не раздевался, стоял возле дверей в заледеневшей шинели, вытряхивая из-за пазухи снег. Он сказал: «Покурю — и обратно». Обратно — это пятнадцать километров до нашего села. Пятнадцать километров бешеной пурги, сыпучих снеговых барханов, белой тьмы.

Он толкает сани и на поводке тянет окоченевшего сына. Отец не оставит ребенка в завьюженной степи.

Это, мне кажется, символично.

Но сейчас я думаю совсем о другом. Разве он тащил только меня? На собственном горбу отец вывозил целую фуру домашних хлопот. Шестеро детей. А больная мать? А работа в колхозе? И не его вина, что троих из нашей хаты понесло течение в серый туман. Не его вина, потому что он каждому отдавал тепло своего сердца.

Холодная весна тридцать третьего года. Отец, колхозный бригадир, поздно вернулся с поля. Дома — никого. Пустота. Мать в больнице, чахотка ее извела. Дети расползлись кто куда — на траву, на козлобородники, на ранние ягоды. В сыром углу под скамьей отец нашел самого меньшего: такое дите, сказали бы люди, еще и под стол пешком не научилось ходить. Наверное, выпал он из люльки, покатился под скамью и уснул. Отец потрогал малыша — совсем холодный, не дышит. Осталось разве что на стол положить и свечку за упокой души зажечь. Но бывалый солдат не растерялся — быстро нагрел воды, завернул в пеленки стынущее тельце и давай парить, растирать и искусственное дыхание делать. И так до тех пор, пока ребенок не раскрыл потухшие глаза и тихонько не заплакал.

«Думал, не выживешь,— вспоминал отец. — И хоть говорят — дважды не рождаются, тебе пришлось дважды...»

Я вспомнил о грустном, но не мешало бы вспомнить и о веселом, оно как раз и подводит к главному.

Мальчонка лежит тихий-претихий. Он понимает: не нужно шуметь, пусть успокоится небо, устоится вода в бездонном его колодце. И тогда голубая высь, как огромное зеркало, сразу отразит мир. И ты увидишь ровный лужок — зеленое озеро, поросшее кудрявой лозой. И отца увидишь,— он по пояс зашел в шелковистую траву и валит косой волну за волной. Отец без рубашки, тело у него белое и чистое, только под мышкой да на плече глубокие шрамы.

— Отец! — зовет мальчишка и со всех ног бежит к нему по зеленой траве. — Это тебе поляк под плечо стрельнул?

— Ага, белополяк. А под ключицу навылет — красновец.

— Расскажи, как это случилось... с поляками.

Пучком травы отец вытирает вороненое крыло косы; глаза у него серые, спокойные, с золотыми прожилками, много солнца в отцовских глазах. Брови мохнатые, тугими бусинками искрится пот. И добрая смешинка запуталась в его пшеничных усах: «Знает, пострел, а вишь, хитрюга, переспрашивает...»

— Долго рассказывать, сыну. Вот пройду одну полосу покоса, присядем отдохнуть, тогда и слушай, да не зевай.

Я жду той минуты, как праздника.

Воспоминания, мудрые рассказы отца.

Они заполнили мою душу, как степь и небо, как далекие мглистые горизонты, как выгоревшие на солнце полынные равнины, где прошло мое детство.

Один человек был для меня и Шекспиром, и Катигорошком, и Сагайдачным. Это мой отец. Он для меня живая история с ее прошлым, настоящим и будущим. Родился отец на Полесье, в старой патриархальной семье, в которой были живы образы и духи древлян, а дед еще помнил французское нашествие, и крепостничество было тенью недалекого прошлого, стихийным бедствием, как, скажем, холера, голод или наводнение того или того — помните? — года. Отец воевал под царским орлом, под серпом и молотом революции, под лай кулацких обрезов. Он вобрал в себя целую эпоху, и не просто вобрал, а отсеял самое главное — светлое и трагическое, отсеял, как зерно, и оно, по-видимому, зрело в его душе долгие ночи, когда он лежал в окопе, готовясь к атаке. Оно прорастало, это зерно, и колосилось в его воспоминаниях.

Больше всего в жизни любил я зимние вечера, когда отец забирался к нам на печь,— нам сразу становилось празднично тесно, и отец, подложив свои ветвистые руки под головы детей, начинал рассказывать. Он был плотник и свои воспоминания так украшал, как можно украсить, скажем, шкатулки или полочки. Он творил поэмы, повести и драмы, в которых яростно бушевали штормы революции, сражались и умирали мужицкие полководцы, философы и мыслители...

Я давно задумал написать книгу из отцовских рассказов, но все откладывал, боялся сфальшивить, боялся омрачить словесной мишурой самые светлые впечатления. В самом деле, разве в силах я донести до читателя хоть частицу лукавой народной улыб-

ки, создать спокойный, рассудительный характер человека, который прошел, как говорила мать, и Крым, и Рим, и медные трубы, наелся виденного и пережитого по горло? Не берусь — не смогу. Хочу всего-навсего кое-что пересказать из слышанных мной когда-то рассказов, пересказать по-своему.

Солдат, немало повоевавший на своем веку, отец ценил слово, как патроны. Он часто повторял: словом можно убить и словом можно воскресить мертвого. Или еще так: хорошее слово не рубашка, а душу греет. И когда случалось, что начинал он вдруг в памяти ворошить свое прошлое, вслух размышлял над тем, что было, да быльем поросло, делал он это ради одного: словом своим подымать и ободрять других.

Итак, начнем с отцовской притчи о слове...

СЛОВО О СЛОВЕ

Притча первая
ЧМЫРИ

Старый плетень покосился, почернел от пыли и ветхости; в одном месте лоза совсем прогнила и обвалилась. Образовалась такая дыра, будто кто возом выдрал кусок ограды. В эту дыру Денис и подсматривал, как сосед собирается на косовицу.

Рассветало. Солнце лениво поднималось из-за леса; мокрая трава на лугах, тяжелая и дымная от росы, сверкала на солнце. На пригорках уже припекало, а здесь, за хатами, еще пряталась пугливая, зябкая тень июньской ночи. В такую рань, когда только бы полежать на печке да погреть свои старые кости, Денис не вышел бы по собственной воле во двор — нужда погнала. Он стал за углом, тяжело постонал и, облегчив себе душу, собрался было уже вернуться в хату, под теплую дерюгу, но любопытство остановило его.

Грицай возился во дворе, сосед.

«И когда он только успевает спать? — подумал Денис про соседа. — Уж и хлев вычистил, дымится свежий навоз. И двор от сарая до ворот подмел. И стог прошлогоднего сена оправил, да еще как — стебелек к стебельку. Черт ее знает, людскую запасливость, скотина и прошлогоднего не съела, а им все мало. Ишь, не спится ему, косу точит, дня ему, видите ли, не хватает».

Денису и голову кверху задирать не надо — соседский двор весь как на ладони. Вон как стучит Грицай. Клинья вбивает. Коса у него кованая, он еще вечером ее правил, черти б его побрали, не давал уснуть. А сейчас на всякий случай провел по косе деревянным брусом, пальцем попробовал лезвие и, довольный, прищелкнул языком. Острая коса, потому и довольный, чмокает, чтоб его в трясине чмокало.

Холод пронизывает Дениса так, что его старое, дряблое тело сводит судорога. Одной рукой он придерживает спадающие кальсоны, подтягивая их кверху так, что кулаком упирается под самые ребра, точно душу свою держит, чтоб она, проклятая, ненароком вдруг не выскользнула. Лицо у Дениса похоже на сухой репейник, из которого поблескивают слезливые глазки. Длинные портки на старике светятся; дырявая, плохонькая сорочка была, да и ту сыны сняли с плеча, а тут, как нарочно, лето выдалось холодное, чтоб ему пусто было, озноб по спине бегает, щекочет, как муравей, глаза у старика слезятся, чего доброго, совсем перестанут видеть, что делается у соседа.

А Грицай не замечает Дениса, который самоотверженно страдает, наблюдая за ним сквозь дыру в заборе. Может, и видит, да уж привык к этому и спокойно готовится к косовице. Аккуратно завернул в тряпку брусок и маленькую бабку, поднял с земли молоток и сунул все в торбу. Потом немного помешкал: не забыл ли случайно чего? И стал собирать еду — сало и чеснок, взял и кувшин для воды — без этого не обойдешься.

Денис не сводил взгляда с Грицая. Э, вон какой — на целую неделю едой запасается. Даром что одни кости и жилы, а ест, наверное, за семерых. Ну вот и собрался уже, закинул за плечо косу и грабли. Худой, зато прыткий сосед, не успеешь и на печь залезть, как он уже около леса будет.

Денис с завистью глядит вслед Грицаю и видит его участок — ровный, без куста и соринки — и сравнивает со своим — бугристым и неухоженным. Да, занесло илом Денисов луг, камышом да хворостом засугробило. А вот Грицай скосит сегодня свой участок, точно бритвой побреет, а на Денисовом лугу по-прежнему будет гнить и жухнуть на корню одичавшая трава и по-прежнему Буренка будет светить ребрами, а плетень покосился так, будто его собаки зубами растащили.

Вышел Грицай на улицу.

Денис еще сильнее прижал кулак к животу, совсем присохшему к спине. Что-то беспокоило его, и он не выдержал.

— Грицай! — крикнул Денис.

— Что? — отозвался сосед, коса и грабли описали в воздухе полукруг.

— Захвати с собой моих лодырей. Пускай траву покосят, а ты присмотри за ними.

Грицай молчал. Наверное, соображал: стоит ли надевать на шею себе такой хомут?

О Чмырях говорили в селе: обойди да плюнь — здоровей будешь. Опустившиеся это люди. Когда-то, наверное очень давно, жизнь долго мяла и топтала их (налоги, поборы, ливни, половодья да неурожаи), и Чмыри под ударами судьбы сникли, одичали, обленились и уже не пытались вылезти из полесской трясины. Новые поколения Чмырей плодились, как мох на дереве, грелись, размножались на солнце, одни умирали, другие тут же появлялись на свет. И никто уже не помнит, чтоб обнищавшие Чмыри

чем-то особенно себя утруждали. Был у них маленький клочок земли, да и тот потерялся среди бурьянов, только чужие куры там паслись. Двор выглядел так, точно выгорел, и хата стояла вроде как после пожара — вся облезла и покосилась. Одним словом, не болела у Чмырей спина от трудов. Жили они с того, что приносила земля даром. Там ягод и грибов соберут, там, глядишь, глупая рыба в сеть заплывет, а то прихватят и то, что плохо лежит. Как-то поплатился за дармовое один из Чмырей, лысый Гаврила. На чужой свадьбе набрался вдрызг, не смог и до хаты доползти, свалился посреди дороги в лужу. Тогда, в старом полесском селе, по улицам свободно бродили свиньи, хотя и домашние, но диковатые, тощие, как гончие псы, с грязной, вздыбленной щетиной. И вот такая свинья бродила по дороге, набрела на пьяного Гаврила и давай с удовольствием обгрызать чмыревские хрящи — от уха и носа оставила только корешки да дырочки. Так и прожил Гаврила с обгрызенной головой, похожей на капустный кочан.

Жили Чмыри не по-людски и не по-людски умирали. Отец Дениса утонул. Возвращался из леса домой, а тут как раз вода разлилась по всему лугу. Нет чтобы пойти на мостик, саженей триста в сторону, не больше. Но дед почесал затылок и решил: далековато. Направился вброд. Конечно, водоворот сразу закрутил его, завертел и потянул ко дну вместе с ворованными сапогами.

Да и у других Чмырей судьба сложилась не лучше. Одного застукали на горячем (перепутал свой сарай с чужим), другой подался за легким заработком на Кубань да там и сгинул, как в воду канул. Только Денис, кажется, решил умереть своей смертью — держался за свою хату, как вошь за теплую овчину: круглый год грелся на печи. И три сына его, три сокола ненаглядных, крепкими плечами подпирали гнилые отцовы стены, подпирали дружно, так, что потрескивали уже никуда не годные балки.

— Ну как,— кашлянул Денис,— возьмете сынов моих, черти бы их побрали? Я бы и сам пошел, да вот прицепилась хворь проклятая, никак не отвяжется.

— Известное дело, хворь,— проворчал Грицай. — Бревно гниет оттого, что долго лежит на одном месте, не то что человек.

Сосед уже совсем было собрался уходить, как вдруг печально и протяжно замычала в Денисовом хлеву корова. «Му-у-у!» — жалобно застонала изголодавшаяся скотина, и безысходная коровья боль ужалила сердце Грицая. Грустно поглядел он на запущенный двор Дениса, на его старую, покосившуюся избу, чем-то напоминавшую ему заброшенный курятник, и сказал:

— Ладно. Поторопи своих сынов, а то, видишь, не рано.

И все же Грицаю пришлось долго ждать.

Как поднимал Денис с постелей своих парней, трудно представить. Только слышно было, как в хате ходуном ходит деревянный пол, осыпается штукатурка с потолка, а стены трясутся, точно там копытят друг друга лошади. Наконец загремели в сенях ведра. И вот точно икона: дверной косяк — рама, а бородатые сыны в белых рубашках до колен — словно распятия... Один за дру-

гим, как святые, выныривали они из хаты, раздирая от зевоты широкие рты, и в притаившемся воздухе далеко разносились их могучие вздохи, а волосатые руки с хрустом тянулись к небу. Наверное, отец подсоблял им коленом, потому как исусы при этом громко икали, вылетая один за другим из расписной икоиной рамы.

Снял Денис с колышка старую косу, сунул старшему сыну в руки и выгнал парней за ворота.

Здесь-то и разыгралась сцена, казалось бы совсем незначительная, но потом она еще напомнит о себе.

Грицай с тоскливым терпением ждал на дороге Чмырей. Вот наконец-то вышли и они, три дюжих молодца. Грицай облегченно вздохнул и собрался было идти, как вдруг неожиданно к нему подбежала его дочь Марфа. Русая быстрая полешанка с большими серыми глазами, с чистым белым лицом, она, по-видимому, только что хлопотала у огня — вон как вся разрумянилась. Выскочила девушка из хаты и протянула отцу сверток.

— Бери, отец, для тебя пирожки спекла,— смущенно сказала Марфа и бросилась назад.

Чмыри преградили ей дорогу, а кто-то из них с ухмылкой ущипнул русокосую соседку. Тут же послышалась звонкая пощечина. Это произошло так просто и неожиданно, что заигрывавший Чмырь проглотил пощечину, не моргнув и глазом. А Марфа, как лань, тут же бросилась в сторону, потом прыгнула в кусты и вбежала к себе во двор. Парни как ни в чем не бывало вперевалочку двинулись за Грицаем.

— Шлендра молдаванская,— только и нашел что буркнуть обиженный Чмырь.

У старого Дениса слезились глаза. Казалось, вот-вот он заплачет: разве легко отцу оторвать детей от сердца? И вот уже на дороге едва различимые силуэты: впереди всех щуплая фигура соседа, за ним узенькой цепочкой, почти касаясь головами неба, двигались Чмыревы дети.

— Рань такая, зябко, а я сынов своих проводил, и бьют их, понимаешь, в морду натощак. И вправду ведь сказано — шлендра! — проворчал Денис и плюнул в сердцах в ту сторону, куда побежала Марфа.

Потом потянулся, лениво зевнул на утреннюю зарю и нехотя зашаркал в свою хибару.

А тем временем дюжие Чмыри, покачиваясь из стороны в сторону, шли за Грицаем, оставляя на песке широкие, медвежьи следы. Так они покачивались, топали не спеша, пока наконец не показались деревенские сенокосы, а за ними луг и дальше — сосновый бор. Грицай подвел парней к их десятине, где в беспорядке валялись кучами хворост и полеглая осока.

— Косить вы умеете? — спросил он у Чмырей. — Ну-ка, смотрите, нажимайте косой на пятку да не ковыряйте землю и не стригите верхушек, а берите под самый корень. Ясно? — И, показав им, как надо косить, Грицай пошел на свой участок.

Чмыри спокойно выслушали Грицаеву науку и решили хорошенько, не спеша, ее переварить. Куда торопиться? Улеглись ясные соколы на траву и уставились глазами в небо. Как хорошо и приятно на лугу! Греет ласковое солнышко, играют кузнечики на скрипках, а в ответ им синицы хором подпевают; голова так и тянется к душистой траве, глаза сами слипаются. Постигают Чмыри науку. А Грицай на своем участке, тот старается изо всех сил: раз-два, раз-два — кладет валок за валком. Рубашка у него совсем взмокла, сбросил он ее с себя, заблестела спина, будто маслом ее кто смазал, и пот течет за пояс.

— Косит? — спрашивает Чмырь братьев.

— Ко-о-сит.

— А наше стоит?

— Стои-и-т.

— Пущай стоит, черти его не ухватят.

Солнце подымается все выше и выше, еще пуще стрекочут кузнечики, жара как в аду, дурь в голове закипает. Совсем разморило исусов.

— Косит? — с трудом ворочая языком, спрашивает кто-то из Чмырей.

— Косит.

— Наше стоит?

— Стоит, чтоб оно сквозь землю провалилось.

Приятно смотреть на человека, который умеет хорошо работать. Взять, к примеру, Грицая. Ну что в нем особенного? Мужик как мужик. Сухонькие плечи, рыжая бороденка, лицо худое и смуглое от загара, глаза серенькие, как будто на солнце выгорели. Зато посмотрите, как он трудится! Плотный, точно из бронзы вылитый, Грицай, кажется, не косит, а совершает тайный обряд. Размахнется, немного присядет — раз! — просвистит звонкая коса, два! — быстро расставит ноги, и от сапог его сразу две темные полосы остаются, будто телегой проехал; справа от него — плотная стена густой травы, слева — только что скошенный валок, ровный-преровный, словно косит сосед строго по шнурочку. Раздва! — взмах, поворот, и опять все заново. Это музыка, это священнодействие. Каждое движение отточено до предела: широкий захват, плавный, но сильный взмах — и трава покорно ложится, роняя к ногам человека свой длинный зеленый чуб. Прошел Грицай одну половину покоса, остановился и, упирая рукоятку косы в землю, быстро провел бруском по блестящему лезвию. И долго еще висит в воздухе густой серебристый перезвон. Вспотел Грицай. Брызнул в лицо водой из кувшина и улыбнулся; все у него запело, засмеялось: и глаза его, пьяные от усталости, и каждый волосок на мокром подбородке, и даже капли пота на горячей груди.

— Косит? — спрашивает Чмырь.

— Косит.

— Чтоб его ведьма скосила.

Время от времени Грицай поглядывает на Денисову полосу. Лежат парни. Греются на солнышке. Этак, чего доброго, сырая земля притянет бедняг. Поднять их, что ли?.. И вдруг из рогоза выползли три овечьих клубка. Мутные и сонные глаза уставились на Грицая. Ого, сколько накосил, жадюга... И пуп не надорвет. Так, глядишь, к вечеру весь участок свой закончит. Собрались парни в кружок посоветоваться. Смеются.

«Может, все-таки начнут работу? — думает Грицай. — Может, совесть заговорила?»

Но не тут-то было.

— Печенка совсем высохла,— жалуется старший. — Пойду-ка воды выпью.

Идет он по лугу, качается, размахивая длинными рукавами рубашки. Подходит к Грицаю, потому что их колодец уже давно илом занесло.

«Хочешь пить — пей, мне воды не жалко,— рассуждает Грицай. — Колодец я обложил камнем, снизу ручей бьет, пьешь — и снова хочется пить. Только, когда идешь, не топчи покосы».

Остановился запыхавшийся Чмырь около косаря, почесал пятерней затылок.

— Дядь! Что это с вами?!

— А што?

— И спина и руки вон как запрыщавели.

— Может, крапива покусала?

— Эге!.. А не от Марфы ли? Она все с этими цыганами якшается, а у них хворь какая-то, говорят, заразительная.

Сказал Чмырь — и как ни в чем не бывало поплелся к колодцу испить Грицаевой воды. А косарь тяжело вдохнул ноздрями воздух и не может обратно выдохнуть: что-то сильно сдавило ему грудь, словно конь лягнул его кованым копытом.

«Чего Чмырь сказал?.. — старался понять старик. — Что-то о Марфе ляпнул». Ведь он хотел, чтобы лучше было: пусть Марфа поработает поварихой в лесорубской артели — как-никак, а в доме появится лишняя копейка. И сватов, слава богу, засылали, и девушка в почете была. А оно ишь как обернулось: словно тараканы из темных углов, поползли по селу недобрые слухи. Считают, будто все цыгане порченые, все лентяи, к каждому встречному с ножами пристают, а тут лес, глухой и далекий, дело темное, как-никак девка одна среди мужиков...

Поплевал Грицай на свои мозолистые руки, взглянул на солнце, которое уже повернуло с полудня, и еще яростней принялся за работу. Но вдруг почувствовал, что руки ослабли, что горячая кровь ударила в голову. И нахлынули тяжелые, лихорадочные думы. Грицай косит, а перед глазами у него ножи, лес, визг девичий... «Гляди, чего болтнул парень... совсем запрыщавел. Будто и на самом деле шкуру с меня сдирают и шило втыкают в самое сердце».

Не успел Грицай успокоиться, как уже средний Чмырь размахивает рукавами. Направляясь к колодцу, он тоже останавливается возле Грицая и, обойдя его сзади, набычившись, говорит:

— Ой-ой! Как вас разукрасило! Вот это да. А все проклятые молдаване. Я знаю, это они принесли хворобу...

— Типун тебе на язык! — не выдержал дядька.

А Чмырь спокойно топает дальше.

Грицай провожает его затравленным взглядом. Снизу, от реки, от старых пней, тянет хмурой сыростью, холодок бежит по мокрой спине. Солнце уже не греет, оно замерзло во влажной синеве, словно желток на дне колодца. Темная волна катится по лугу, и прохладная тень ложится к ногам Грицая. Смутная тревога, как эта тень, заползает в его душу; он вспомнил ночь, когда подхватился с кровати и, подгоняемый страхом, побежал за село, в глухую лесную чащу. Покусанный мошкой, исцарапанный ветками, прибежал он наутро в табор лесорубов, только чтоб собственными глазами посмотреть на цыган и на свою дочь. Но запахло человеческим жильем — и Грицай растерялся. Вот какие они, бессарабы: с виду совсем похожи на мужиков. Только разве что чересчур черные и бородатые и с каким-то особенным блеском больших луковичных белков... Точили они по-хозяйски топоры, удобно устроившись верхом на бревнах, дымили трубками, похваливая Марфу: и за то, что она старательная, и за то, что добрый кулеш варит. А Грицай, старый дурак, смущенно хлопал глазами, стесняясь своих глупых опасений. И Марфа, громко смеясь, ласкалась к отцу:

«Ты что, отец? Разве не знаешь мой характер? Я постою за себя. Да и люди эти хорошие, добрые, а послушал бы ты, какие песни поют!..»

Песни песнями, а надо было просто взять дочь за руку и привести в село: дескать, хозяйствуй дома, черт с ними, с этими деньгами, на медяк заработку, а наговору на целую тысячу. Вытянул бы Грицай из себя все жилы, да уж постарался бы заработать Марфе на приданое, потому что дочь у него единственная-одна, как добрая память о покойной матери.

Когда сердце лежит к работе, то и работа всласть, а сейчас у старика не было ни силы, ни охоты доканчивать луг. Не косил, а мучил, жевал тягучие стебли. Грицай остановился, словно прислушиваясь к себе: ну вот, тело его словно набили ватой. Обмякло все. И ломит поясницу, холодный пот застыл меж лопатками.

«Наверное, заболел, — решает Грицай. — Сначала навалился на работу, думал горы перевернуть, а потом вспотел, вот и просквозило...»

— Дядька! — говорит уже младший Чмырь. — Что вы делаете? Пожалейте себя. Вы же совсем почернели. Вот как было с нашим дедом, которого сибирка прибрала...

Грицай нажимает на рукоятку косы, она вздрагивает, как живая, и трава встает на дыбы, шевелится.

— Что-то плохо мне, — вздыхает Грицай и, глотнув пересохшим ртом горячий воздух, с трудом выдыхает. — Нет сил. Видно, придется бросить работу.

Подняли Чмыри свои лохматые брови. С любопытством следят за одинокой фигурой на лугу. Видят исусы: идет Грицай и, опираясь на косу, качается, как пьяный, еле тащит ноги... Потом, пошатываясь, пошел быстрее, разгребая валки. Яркая бронза на его спине сразу потемнела.

— Пошел?

— Пошел.

— А наше стоит?

— Стоит.

— И век будет стоять.

Лихорадка свалила Грицая. Рассказывали, метался он дома в жару, вскакивал с постели, грезились ему какие-то призраки, и кричал он, задыхаясь, и громко звал: «Марфа, убегай! Убегай, Марфа!..» И сам пытался бежать, а потом вдруг стих, словно вглядываясь в темноту. Вот — лезут с ножом!.. Да так и окаменел с открытыми глазами.

...После смерти Грицая ходил Денис Чмырь по дворам, тряс желтыми штанинами и сочувственно вздыхал:

— Эх-хе... Какой был работник, да весь вышел. А жил бы, черти его побрали, сто с лишним лет, если бы не эта шлендра. Притащила в дом хворобу из леса, прости господи, спаси душу грешную,— она же летает по ветру, сибирская язва.

Чмырям было мало Грицая, они дружно взялись за Марфу.

Эту притчу отец заканчивает словами:

— Был в нашем полку (еще в гражданскую) комиссар Мамай. Вот он и говорил:

«Тверди человеку изо дня в день: «Собака, собака ты!» — и, глядишь, он и впрямь залает. А говори ты: «Орел!» — и обязательно увидишь, как крылья у него вырастут...»

Погиб тот комиссар в бою, тридцать пулеметных ран получил, зато остались жить солдаты — красные орлы его... Как только создавалось на фронте тяжелое положение, так туда их сразу и бросали.

И ничто не могло остановить мамаевцев.

Притча вторая
КРАСНЫЙ ГАРБА

— Ребята! — сказал Мамай. — Вопрос стоит ребром. Или ваша рота ляжет костьми, или погибнет весь наш пролетарский полк. Вы сами понимаете, товарищи, не мне вам говорить, положение сейчас как у беспорточного Панька на свадьбе: гостей — званых и незваных — полон дом, а угощать их нечем. Одним словом, положение таково: войско белополяков в составе пятидесяти тысяч отлично вышколенных молодчиков хотя и отступает, но бьет нас в самое сердце, а своя контра — в спину; наш полк срочно переформировывается и уже завтра будет в полной боевой готовности. Ударим объединенными фронтами по мировой контре, и это бу-

дет, как поется в песне, «наш последний и решительный бой». Итак, товарищи, революция дает вам наказ: прорваться во что бы то ни стало к Бугу, быстрым маршем форсировать мост и занять оборону на противоположном берегу реки и, если даже обрушится на вас небо, держать мост до завтрашнего утра, а мы, товарищи, подтянем полк, подготовимся к решительному наступлению и, как сказал командующий фронтом товарищ Тухачевский, именем Интернационала воткнем штык в сердце умирающего капитализма. Не мне вам объяснять, вы это и без меня прекрасно знаете...

Рота, как сообщалось во фронтовом донесении, под прикрытием густого тумана прорвалась вперед, залегла на правом берегу Буга, грудью своей прикрывая мост.

Занималось июльское утро тысяча девятьсот двадцатого года.

За спиной бойцов, в темных кручах, шумел неспокойный Буг, темная вода плескалась о сваи деревянного моста, и тот гудел, вздрагивая, как туго натянутая тетива. Перед бойцами раскинулся ровный сенокос, по лугу были разбросаны стога сена, аккуратно обнесенные кольями и жердями. Дальше, в утреннем тумане, точно серые волы на пастбище, были видны невысокие холмы, а за ними, в зыбкой дымке, спало подольское село, где затаился враг.

Туман клочьями плыл по течению.

Ротный, крепкий белобрысый парубок из полесских лесорубов, стоя на коленях, рыл себе шанец. Рыл и изредка поглядывал, как готовят позицию его бойцы. Рядом с ним орудовал лопатой Гарба. Донецкий шахтер, который на своем веку выдал на-гора́ столько угля, что им можно было запрудить Азовское море, он молча долбил киркой твердую землю. Гарба всегда был молчалив, точно камень; на слова не тратил время, годами копил в себе силу, она так и выпирала из бугорчатых жил его черных рук и плечей, из рябого, изъеденного антрацитом лица. Кое-кого из вновь прибывших Гарба сначала отталкивал своим хмурым и грубым обликом. «Лошадиная голова, ей-богу»,— говаривали молодые. Но стоило увидеть, как он тащит на себе тяжелый «максим», полный запас воды, пудовые ящики с патронами, как за одну ночь, когда бойцы после голодного марша спят мертвым сном, сам вырывает траншею на всю роту, как под градом вражеских пуль вытаскивает пушку, застрявшую в глубокой грязи,— и все это делает молча, спокойно, со знанием дела,— новичок проникался верой в его силу и сноровку и уже замечал в рыжих складках лица ласку и великодушие, а на марше и в бою старался держаться ближе к Гарбе,— казалось, его обходила смерть.

В полковом строю Гарба выделялся, как каланча. Самые высокие солдаты были ему по грудь. Любители позубоскалить не упускали возможности посмеяться: «Глянь-ка, Гарба, чего Деникин в Ростове делает». Шутки шутками, а начхозу забота: как одеть сына Донбасса? Где раздобыть шинель непредвиденной длины? Самую большую натянет — нет, не годится, жмет под

мышками. Хорошо, что под Лозовой напоролся на их штыки деникинский эскадрон (ни один беляк не унес ноги), вот и остался отличный трофей — сверток добротной кожи. Его-то и вручил комиссар Мамай донецкому шахтеру. «Забойщику Красной Армии,— сказал он,— чтобы достойно обмундировался и носил, на страх врагам, до победы революции в мировом масштабе». Гарба сам скроил и сшил красную кожанку, знаменитую кожанку с разворотом и деревянными пуговицами. А еще пошил себе обувь: нечто среднее между постолами и сапогами на мягкой подошве — голенища с разрезами, и вдобавок стягивались они сзади шнурками. В этих бесшумных ступаках он и ходил по ночам в разведку, из-под земли добывал «языка»: то заарканит красновца, то стреножит петлюровца, то засупонит деникинца. «Красный дьявол»,— говорили о нем одни с уважением, другие со страхом.

В этой кожанке и прошел Гарба всю Украину — от Лозовой до Буга, уже одним видом своим пугая кулаков и попов.

— Ну что, киркуешь, Гарба? — спрашивает ротный.

— Киркую.

— И скоро дно?

— Да уже и дно.

Ротный с Гарбою перебросились словом — и хватит. Самое важное сказано. Это означает: ребята окопались, теперь насухо вытрут затворы, поставят прицелы (на те ближние холмы), затянутся дымом солдатской махры — и тогда никакая сила не вышибет их из этого пятачка каменистой земли.

За спиной бойцов шумел неспокойный Буг, под мостом плескалась пенистая вода, под обрывами вздыхали волны. Утреннее солнце разогнало туман, тучи рассеялись, за буграми проглядывались соломенные шапки подольского села. Было тихо и душно, как перед дождем. Только изредка где-то в селе залает собака и прокричит петух. И снова тишина, нудная сонливость. Здесь, на ровном сенокосе, просыхала земля, и стога сена словно бы тлели — над ними сизо вился дымок. Солнце припекало, солдаты сняли с себя ватники и пиджаки, только Гарба парился в красной кожанке — в окопе стоял терпкий запах кожи.

— Гарба, как там, в селе? — раздался голос слева.

— Контра самогон допивает,— сострил за Гарбу чей-то бас.

Рассмеялись бойцы, ротный сказал: «Тише, ребята!» — и снова наступила тишина над Бугом.

Шанец ротного в центре, у самого въезда на мост. По обе стороны — окопы часовых. Бруствер наежился дулами винтовок, вспотевшие лица солдат напряженно вглядываются в даль, в глазах — застывшее ожидание.

— Ротный, вижу всадника! — крикнул часовой.

Это заметили все. По дороге, ведущей к реке, столбом вилась пыль. Перед нею катился темный шар, который увеличивался с каждой секундой, пока наконец не стало видно лошадиную морду и спину всадника, припавшего к самой гриве.

— Польский улан,— произнес Гарба и взвел курок.

Всадник выскочил на холм, вздыбил коня. Из-под руки посмотрел иа мост, иа кучки свежей земли, что неизвестно как выросли здесь за прошедшую ночь.

Улаи, по-видимому, не верил своим глазам. Стоял, точио вкопанный, крутил головой.

Сорок бойцов держали его иа прицеле.

— Разреши, начальник... Пошлю привет с Молдаваики и свинцовую точку.

Это сказал Ерван, вспыльчивый одессит-портовик, сухопутный моряк в тельняшке и в дамских туфлях иа босу иогу. Ротный вскииул иа иего белые колючие надбровья:

— Не балуй, Одесса, еще успеешь хлебиуть горячего.

Улаи, повернув коня, галопом помчался в село.

Разведка...

Знали бойцы, что последует за ией. Недолго пришлось ждать. Из окопа в окоп прокатился иастороженный шепот. Солдаты еще дружиее задымили самокрутками, каждый старался убить время по-своему: одии затягивал тесемкой разорванные штаиииы, другой укладывал в ямку прямо перед собой уже много раз считаиные патрoиы, а еще кто-то, почувствовав вдруг, что ему стало жарко, сиимал с себя рубашку, подставляя солицу худые незагоревшие плечи.

— Готовы? — тихо спросил командир.

— Готовы, готовы,— доиеслось с флангов.

Бывший лесоруб оглядел свою артель. Неплохо устроились дровосеки, затаились, как кроты в норах. Над бруствером только иебритые, покрытые пылью лица; от бессоииых ночей, от иервного иапряжения глубоко запали глаза, потрескавшиеся губы крепко сжаты. Кто оии и откуда? Присмотришься виимательно и сразу все поймешь: у одних — выгоревшие крестьянские картузики, у других — почерневшие от копоти рабочие кепки, а третьи и вовсе без фуражек. А иад ними — в красной кожаике Гарба.

Долгая, мучительная пауза. И вдруг:

— Наконец.

— Вот оии.

— Идут.

Темиая лииия курганов изломалась, иа ией выросли десятки и сотни отделившихся холмиков: поляки двигались ровным строем, приклад к прикладу, приближались, увеличиваясь прямо иа глазах. Первый строй спускался в долину, второй показался на горизонте. Было слышио, как передние горланили не то песию, не то ругаиь, позваиивали шпорами, выкрикивали: «Хамье, начувайся!» [1] Спешеииые уланы... Оии шли веселые, шли иа жалкую кучку быдла, чтобы носком сапога столкиуть в Буг и потопить под мостом. «Начувайся, хамье!» У всех грудь иараспашку, идут, качаются, вроде бы сейчас пустятся в пляс.

---

[1] Начувайся — берегись.

— Пьяные, голубчики, в дым! — улыбнулся Ерван с Молдаванки.

— Говорил я, что контра глушит самогон.

— Ближе, ближе подойдите, панские недоноски!

— Штыков у них нет.

— Как и у нас. Хоть в этом сравнялись.

У ротного быстро созрел план. Не дать себя окружить. Пока подходит вторая шеренга, тряхнуть первую, отбросить назад, смешать в одном котле, а дальше...

Уже слышно, как стучат подковы, звенят шпоры. Прогибается твердая земля, густой частокол заслоняет небо.

— В атаку! — прокатилось над притихшими окопами.

— В атаку! — взлетел на бруствер Гарба и гаркнул во весь голос: — Давай, братцы, угля!

Не буду пересказывать все перипетии боя. Это был обычный бой. На лугу, между стогами сена, сошлись заклятые враги — батальон белой Польши и рота красной Украины. Сошлись врукопашную, смешались, вихрь закрутил, завертел их, как стадо разъяренных быков, почуявших запах крови.

И началась косовица.

Сено летело на головы, и зубы летели, как сено, тела смешивались и падали, а по ним уже топтались другие. Все смешалось — пьяные крики и стоны, кто-то отползал с окровавленной головой, кто поминал бога, и мать, и пресвятую богородицу. Гарба вырвал из стога жердь и с криком: «Бей панов!» — бросился в гущу белополяков. Кожанка на нем пылала, глаза блестели от ярости. «Братцы, угля!» — и ложился подкошенный ряд, трещали панские кости, и глаза с травы взывали к небу: «За что? Спасите!»

Уже растащили все колья и жерди, сено шевелилось под мертвыми телами. «Прощай, мама Одесса»,— пробовал еще шутить Ерван. Он лежал на спине, в окровавленной тельняшке, а в ладони трепетал выбитый глаз.

За лугом, в темных кручах, бормотала сонная вода Буга.

— Ну и косовица! — сказал ошалело ротный.

Вытер пот с почерневшего от пыли и солнца лица, оглядел сенокос. Батальон белой Польши и рота красной Украины лежали на лугу трупом. «Неужели я один в живых?» — не верил глазам ротный. Память, что ли, перешибло, в драке и не заметил, куда девался Гарба. Жив ли кто еще? Пройдет день, другой, и ротный поймет, что это было за побоище. Без единого выстрела. Они сплелись в клубок, почти все без штыков, сошлись врукопашную, ошалело таская друг друга за грудки. И он, лесоруб, рубил прикладом, по пояс заваленный панскими трупами, и эта страшная изгородь защищала его с флангов и тыла. А на одном из холмов стоял польский пулемет, черное дуло его целилось на черный завихрившийся круг, но он не стрелял, потому что трудно было разобрать, где свои, а где красные.

Ротный и понятия не имел, что сейчас он на мушке этого польского пулемета.

Один-одинешенек стоял он среди погибших бойцов. И вдруг... будто из-под земли выросла еще одна фигура. Из-за копны вышел белопольский поручик. Он приближался, сжимая в руке штык (наверное, поэтому и уцелел), и лезвие холодно сверкало на полуденном солнце. Пот и солнце слепили ротному глаза.

На поле боя — двое. Мужик и поручик.

Пулеметчики замерли: чем закончится этот поединок?

Поручик приближался к ротному: сейчас ему предстоит решить судьбу боя. Он был высок и строен, а главное — молод, такого все девушки считали, по-видимому, красавцем, а сейчас зубы его оскалены и на бледном лице его шнурочком обвисли усики. Его душила давняя ненависть к холопу, который всегда стоял у пана на пути. Сгинь, рабское отродье!

Ротный словно прирос к земле, спасения не было, мысли вспыхивали и гасли, он стоял как вкопанный и обжигал поручика своим взглядом: стой! замри! Но тот безудержно шел, переступая через трупы, его штык целился в запавший мужицкий живот. И вдруг поручик, пьяно раздувая ноздри, споткнулся о чей-то труп, острый кончик стали, как змея, зашипел и юркнул в сторону. И тогда лесоруб, не помня себя от ярости, бросился врагу под ноги, штык скользнул по его спине, ротный, точно клещами, сжал голенища сапог, поднял над головой поручика и, словно взмахнув колуном, ударил его о землю.

Ударил о землю, и тогда ударил пулемет.

Казалось, он давно ждал этой минуты, чтоб наконец выплеснуть весь запас неизрасходованных пуль. Пулемет дрожал, захлебывался...

По траве, по листьям полоснул свинцовый дождь. Брызнула струйками зелень, вздулась пузырями в колдобине вода. Ливень настигал бойца, тот не бежал — кувырком летел по откосу, а над ним, и под ним, и вокруг него, как пчелы, жужжали пули, пытаясь ужалить свою жертву в голову или в сердце, и гнали солдата в пропасть... Обрыв... прыжок... полный рот песку.

Стучало сердце, словно билось о скалу, холодные камушки осыпались за воротник.

— Ну и косовица! — повторил ошалело ротный, бессильно откинувшись к стене обрыва.

Прислушался. Где-то там, над обрывом, посвистывали пули.

— Гавкай не гавкай, не укусишь... Живой.

А в самом ли деле живой?

Потрогал голову — целая. Подвигал рукой — шевелится. И заныли старые мозоли на ногах. Живой... вот чудо! Побывал у самого черта в пекле — и вырвался.

Глаза его немного повеселели. Оглядел себя: галифе разорваны от пояса до самых колен (прикрыл клоками голое тело). Фу!.. И гимнастерку изрешетило, и каблук даже оторвало. А он...

живой. Снова ощупал себя — нигде и ничего у него не болело.

Чудеса — и только!

— Эге-ге-е, кто на лугу — отзовись!

Лишь темная волна прошуршала по песку, лизнула сапог и откатилась назад. Тревожные сумерки окутывали обрывы. Затихло над Бугом, заголубело. Мост длинной тенью наклонился к воде, словно гадал: «Конец это? Или только начало драмы?»

...Как сообщалось во всех фронтовых донесениях, авангард пролетарского полка, несмотря на серьезные потери, продолжал и дальше выполнять боевое задание.

Стояла светлая июльская ночь; низко над горизонтом поблескивал Марс, рассыпая тревожные червонные искры. Двенадцать бойцов залегли в окопах. Кто их созвал сюда, на верную смерть? Одни сами приползли, с трудом дотащив свое порубленное тело. Других, полуживых, вытаскивали из-под трупов. Ервана отливали водой, и теперь он, склонившись на бруствер, качал в ладони выбитый глаз и стонал: «Брызните, братцы, на него... жжет».

За спиной бойцов, в темных закоулках ночи, неспокойно шумел седой Буг, мост повис над рекой, как поваленное бурей дерево. Впереди стлался ровный сенокос, залитый сумраком июльской ночи, то тут, то там чернели кучи растоптанного сена, между ними клубился туман, а может быть, это беспокойно ворочались изрубленные, призывая спасительную смерть.

Ярким огнем горели звезды, и красная кожанка Гарбы отливала багряным светом. Он лежал на ровном месте, перед самыми окопами. Мамаевцы вынесли Гарбу с поля боя, подстелили под него сена, чтоб мягко почивалось донецкому шахтеру. У изголовья Гарбы сидел командир, молча смотрел на друга и думал печальную думу. Думал о том, как завтра они похоронят «забойщика» революции, опустят его в каменистую подольскую землю, и будут сниться ему антрацит и горы угля, которыми можно запрудить Азовское море. Над прахом вырастет курган, чем-то напоминающий донецкий террикон. Раздастся залп, и скажет тогда командир: он жил красиво и погиб красиво. Не дал врагам поглумиться над пролетарской честью. Ни кровинки, ни царапинки не нашлось на чистом теле бойца. Просто взорвалось сердце гневом, как последняя граната, и развеялось в прах.

— Спи, Гарба,— сказал лесоруб. — А нам опять выступать...

Ротный положил рядом с солдатом винтовку и повернулся на место, в свой передний окоп, который целился в темноту, как клюв распластанной птицы.

Двенадцать бойцов, забинтованных рваными сорочками, неподвижно стояли над Бугом.

В красной кожанке лежал Гарба.

Остывало июльское небо, ночь растворялась в бесконечности, и Марс песчинкой оседал на дно голубого залива.

В далеком селе залаяли собаки.

— Идут.
— Готовьтесь.
— Сколько их на брата?

Стлался туман, по нему, казалось, плыли поплавки, они выпрямлялись, поток устремлялся с холмов к мосту. То надвигались белопольские уланы. Это был даже не резерв, это были жалкие остатки разбитого вчера батальона. Взвод, не больше, отремонтированных вояк. Они шли беспорядочно, не горланили и не перебрасывались остротами, их будто в спину толкала какая-то невидимая сила — на край пропасти. До сих пор качало панов со вчерашней косовицы.

Подходят.

Сто шагов. Уже видно перевязанную накрест грудь офицера. Виден чей-то неподвижно уставившийся глаз из-под белой повязки. И вдруг... левый фланг... провалился. Залег. Передние уланы остановились, заколебались.

Пауза. Ротный лихорадочно соображал, что делать. Подпустить ближе и вступать в перестрелку? Но ведь по два патрона на брата!

И снова, как вчера, пронеслось над притихшими окопами:
— В атаку!
— В атаку! — повторил Гарба своим хриплым басом.

Произошло то, от чего поначалу растерялись наши бойцы.

Гарба — он лежал на спине — скрипнул неожиданно кожанкой, поднял косматую голову. Огляделся. Сжал ложе винтовки. Прыжок — и кожанка его сверкнула на солнце. «Братцы, угля! — яростно крикнул он. — За мной!» Оцепеневшие уланы, которых уже косил вчера этот горластый в кожанке, бросились врассыпную, как мыши от огня.

А сзади наседал Гарба.

— Рубай уголь! — кричал он, работая прикладом.

Красные бойцы кинулись за ним, маленькая горстка смельчаков гнала стадо, шляхта ошалело убегала от моста, и след ее покрывался пылью.

— Словом,— припоминал отец,— это была классовая битва, мы не подвели Мамая, стояли до восхода солнца. А тут подошел и наш полк, вместе двинулись в наступление, и Гарба был с нами. О Гарбе говорили по-разному: одни не верили, дескать, такого еще не бывало, чтоб солдат сначала умер, а потом воскрес (ну, это как кто и для чего). Другие считали, что его просто оглушило в бою — после такой косовицы — и он свалился без чувств. А я почему-то думаю так: Гарба и вправду погиб, сам слушал его сердце — молчало, но его воскресила и подняла команда: «В атаку!» Как услышал: «В атаку!» — не мог оставить ребят одних, потому что нам было трудно, и вернулся шахтер с того света, еще и шутил: «Там, братцы, на небесах, одно буржуйское болото, никаких тебе революций, я и заскучал без вас...»

САМОДЕРЖЕЦ ФОМА ГАВРИЛОВИЧ

Никогда я не был в полесском селе Крынки, до сих пор об этом жалею. Немало исходил дорог, немало хуторов объездил, но как-то не удавалось мне заглянуть в те места, где прошло отцово детство. И все-таки, хотя и не побывал там ни разу, я отчетливо вижу, словно на старинной гравюре, тот заветный для меня уголок земли. В этой картине преобладают светлые краски, нежные тона ярко выбеленного полесского полотна: чистое, спокойное небо, белесые холмы на песчаной равнине, редкие кустарники. И только вдали, на горизонте,— темная зубчатая стена соснового леса.

Небо, лес, холмистая равнина — это всего лишь фон.

Затем вижу дорогу.

Ну какая дорога в песках? Изрезанная колесами, петляет она среди редких кустов сосняка, то взбирается на пригорок, то лениво плетется в овраг. Нет, это даже не дорога, это скорее канава в рыхлом песке, вся в рытвинах и колдобинах; сколько раз ее проклинали ездовые и бездомные странники, но от вечной ругани дорога не стала лучше,— напротив, кажется, она еще больше состарилась и пришла в негодность. Возле нее, возле этой дороги-прабабки, весело вьются молодые тропинки, они убегают на песчаные плесы, огибают одинокие деревца и сливаются в одно широкое русло около старого, совсем прогнившего и покосившегося от времени мостика.

За ним-то и начинается отцово село.

Полесское село. Представьте себе: шли женщины с грибами, песок да болото, болото да песок, наконец нашли сухое место, и здесь каждая, где кому захотелось, присела отдохнуть. Вот такое и село. Кочками. Там одинокая избушка, затем пустырь, желтая залысина, потом еще хата, и еще сугробы песка, и еще хатенка,— так без конца...

Каждый двор обнесен забором. Где мужик покрепче, там и забор повыше, постройка получше. И все сделано на совесть — из дуба, из сосны, из граба. Словом, все из дерева. Загляните во двор. Из бревен схваченная в сруб хата, да такая тяжелая, что глубоко в землю вошла. Когда-то был звонкий тес, но со временем он почернел, подточил его жук. Затвердела смола на подоконнике, зеленый мох густо покрыл крышу, стены и прогнивший фундамент. Ну, а дальше — хлев, тоже деревянный и тоже украшен мхом, а потом — из длинной жерди загон для скотины; черный, скользкий сруб колодца, на нем всегда стоит тяжелое деревянное ведро; а в глухом углу двора — навес для телеги, там хранят бревна, сбрую и прочий сельский инвентарь. Вот и все крестьянское хозяйство.

В ограде, которая защищает мужика от злого соседского гла-

за, от дикого кабана и от голодного волка, есть потайной выход прямо на огороды. А какая здесь земля? Тот же песок, немного бурый от перегноя, без перегноя ничего не растет, даже куколь. Но если крестьянин и хорошо удобрит землю, с большим трудом вспашет ее и окучит этот сухой, бесплодный клочок земли (да не один и не два раза за год), он едва-едва наберет пуд картошки (ведь она для него и хлеб, и сало), меру овса для коня и венок лука, чтобы, всю зиму говея, когда-нибудь нагорчить голодную душу и соленой слезой вылить обиды на злую, волчью жизнь.

За дворами и сенокосами вязкая трясина. Кусты, мшистые островки и целые озера густой, как деготь, стоячей воды, занесенные илом. Царство непроходимых полесских болот.

Придет май, и зазвенит, затанцует от комаров болотная синь. Тучами летит мошкара на село, черными метелками забивает коням гривы, выедает глаза, липнет ко всему живому, и виснут под ее тяжестью легкие ветки вербы, зарываются в песок свиньи, коровы носятся, как ошпаренные, по болоту, собаки хищно щелкают зубами, места себе не находят,— нигде нет спасения ни скотине, ни человеку. Даже во сне ты слышишь тонкий, зудящий комариный писк.

Только отойдет мошкара и черной тучей осядет на землю, как сразу наступает тихая ягодная пора. В такое время вся детвора в лесу. Ешь, сколько влезет, гуляй, сколько хочешь. И губы, и животы, и колени — все разукрашено ягодами, все радо лесным дарам, особенно чернике и малине. Это уже полесские праздники.

Никогда я не был в Крынках, но хорошо представляю село и вижу дедову хату. Овеянная теплом, встает она из рассказов отца, и я слышу, как скрипит песок под колесом, как тяжело переступают с ноги на ногу кони, как ударяются поводки о дышло. Это мой дед, Фома Гаврилович, в сопровождении своих сынов, торжественно возвращается на обед.

— Старуха!.. Открой ворота!

На подводе высокая гора душистого сена, на копне — Фома Гаврилович. Нет, он не правит лошадьми. Вожжи в руках у старшего сына. Фома Гаврилович важно восседает в мягком сене, спиной к лошадям, свесив вниз длинные, худые ноги.

Он — отец.

На возглас Фомы быстро выбегает из хаты мать, худая русоволосая женщина. Она открывает тяжелые, скрипящие ворота.

— Милости просим! Обед уже готов! — приглашает мать работников и низко кланяется мужу, пропуская сначала груженую подводу, а потом уже и сынов — шесть стройных парней один за другим шествуют за телегой.

Подвода останавливается посреди двора.

Сыны крепко сплетают пальцы, и отец съезжает с сена в это царское кресло. Спустился и даже немного задержался: с удо-

вольствием посидел у сынов на руках, лукаво сощурив маленькие глазки. Одежда у отца, как и у сынов, добротная, домотканая: холщовая сорочка навыпуск, широкие штанины в гармошку, ноги до колен обернуты портянками, на ногах плетеные лапти. И штаны и рубаха — с грубыми швами, от которых кровавые рубцы под мышками,— зато ж и крепкая одежда. Случится, зацепишься в лесу за дубовый сук — сук треснет, а сорочка целая. Вот оно, какое полотно полесское. Глядишь, в одних штанах всю жизнь и проходишь.

Наконец отец слез с подводы.

Фигура у него солидная, кряжистая. Седая нечесаная борода закрывает аршинную грудь, светлые волосы окаймляют высокий суровый лоб, лицо будто высечено из дерева — спокойное, крепкое, с густым румянцем.

— Федька, выпрягай лошадей. Иван, сгреби сено,— распоряжается отец.

Он не повышает голос, но вымуштрованные сыны сразу же принимаются выполнять отчий наказ.

Возле хаты уже ждет хозяина мать; в руках у нее полотенце и высокая березовая кружка. Сначала к ней подходит Фома Гаврилович, за ним выстраиваются друг за другом сыны.

Здесь свои порядки и обычаи, заведенные от дедов-прадедов.

Вот зачерпнула мать из ведра теплой воды, начала поливать отцу на руки. Руки у Фомы корявые, они шуршат, как напильники, когда Гаврилович трет свои мозолистые ладони. С особенным удовольствием натирает он щеки, а потом и потресканную, морщинистую шею. Намочил седую голову, освежил грудь и крякнул. Потом — раз! — на лету поймал брошенное ему полотенце. После отца умывался Федор — его старший сын, ему поливал на руки меньшой... И так по очереди каждый подходил к ведру. Наконец все умылись, но никто не решался первым пройти в хату. Все стояли молча. Освеженный водой, Фома Гаврилович медленно сказал:

— Прошу в хату,— и пропустил детей.

За ним пошли все остальные.

Полесская хата. Высокая, но почерневшая, будто обкуренная дымом. Окна маленькие, сплошь покрытые пылью, облепленные мошкарой. В хату с трудом проникает дневной свет. Стены и потолок, обшитые сосновой дранкой, покоробились и почернели. Пахнет смолой и сыростью.

Добрую половину хаты занимает тяжелый стол, тесанный из дубовых досок; его ножки сначала глубоко забили в землю, а уж потом настелили дощатый пол. Вокруг стола — такие же крепкие деревянные скамейки.

Дымилась на столе картошка, все ждали отца. В просторной хате было тесно, потому что собралось здесь ни много ни мало — шестнадцать человек: сыны и дочери, зятья и невестки, внуки и внучки. Никого Фома Гаврилович не выпускал из-под своей руки, чтоб не оделять землей. Что отрежешь, думал старик, от куцего кафтана? Отец неторопливо прошел в дальний угол и сел под свя-

тые образа. Это его, и только его, место. Здесь сидел его прадед, здесь сидел дед, а теперь он, Фома Гаврилович. Справа от него — Федька, вылитый отец, плечистый, ядреный, как коренной зуб. Слева — младшие сыны, зятья и дочери. Мать присела на самый кончик лавки, оттуда ей удобнее доставать из печи чугунки.

А детвора?

Она еще не доросла, чтобы сидеть вместе с работниками. Вот как приберет к себе мать-сыра земля болезненную Дарью, так на место невестки посадит отец кого-нибудь из внуков — и, конечно, самого работящего. А пока пусть дармоеды сидят на полу вокруг чугунка.

Отец по-прежнему сидел под иконой; оттуда, из темного угла, на детей смотрел строгий Николай-угодник, а еще строже сам Фома Гаврилович. Вот он подул, выдувая комаров из миски; она большая и круглая, вырезана прямо в столе. Такие же тарелки, разве что поменьше, были вырезаны для каждого. По примеру отца теперь в пустые миски дуют все, а кое-кто даже выгребает рукавом мошкару. И уставились голодные глаза на хозяина дома.

На полотенце мать передала отцу темный ржаной хлеб. Старик перекрестился, осторожно прикоснувшись губами к пряно пахнущей корочке. Перекрестились и дети, затаив дыхание. Наступала самая святая минута — отец делит хлеб.

— Это тебе, Федор,— сказал он и положил перед старшим сыном большую краюху. — За то, что поработал сегодня: шутка сказать, какие пни корчевал на низине. Как-никак, а сажень земли прибудет, на следующий год овес засеем. А это тебе,— отрезав ломоть немного поменьше, старик протянул его Павлу. — Знаю, намучился с навозом, но, не понюхав гнойца, не поешь и хлебца́.

Оделив хлебом и других (каждому за его работу), он почему-то обошел растерянного Ивана, но зато похвалил невестку Дарью:

— Хворобная молодуха, не наших кровей, да хваткая до дела. Вон какой кусок полотна выткала!

Тем временем мать разложила по мискам мятую картошку со шкварками. Как будто пора приниматься за еду. Но никто не начинал раньше отца. Бывало, что новая невестка, горячая и неопытная, бросалась к миске раньше других, отец так ее трескал поварешкой по лбу, что та, бедняга, долго не могла опомниться — сидела с застывшими слезами на глазах... Но сейчас, скромно положив руки на стол, семья ждала хозяина. Только самый младший, Санька, ногтем ковырнул соблазнительный кусок хлеба, приятно щекотавший ему нос, и вскинул на отца невинные глаза.

А Фома Гаврилович сразу же насупил белые мохнатые брови и сурово поглядел на Ивана.

— А тебе, сын, вот! — Он перегнулся через стол, ткнул сложенные фигой пальцы под самый нос. — Хватай! За что — сам знаешь.

Иван вдруг побледнел, откинулся к стене, будто нечаянно хлебнул глоток кипятка. Потом часто заморгал белесыми ресницами, скрывая в уголках глаз дрожащую слезу. Мать посмотрела

на рассерженного отца с молчаливым упреком: «Разве так можно? Отдери, как сидорову козу, а хлеба дай». И незаметно от Фомы она передала свой кусок обиженному сыну: «Возьми, Иван, только чтоб отец не видел». Но не проведешь Фому Гавриловича.

— Не жалей, мать! — стукнул Гаврилович пудовыми кулаками по дубовому столу. — Пожалеешь щенка — псом ледащим вырастет! Чмырем будет! — И, склонившись над миской, исподлобья посмотрел он на притихшую жену, а потом, обращаясь к сыну, продолжал: — Пускай всем расскажет, что сделал сегодня. А ну, говори!

Встал Иван, будто его с креста сняли. Уронил белый чуб.

— Говори!

— Кольцо утерял. От косы.

— Слышишь?.. Кольцо! Железное! Износу ему бы не было! А он, сукин сын, потерял. Но это еще не все. Пролежал до обеда в кустах, от меня прятался. Ну, я тебе, бездельник, этого не забуду! — И отец погрозил ему черным, как уголь, ногтем.

Все еще продолжая сердиться, Фома Гаврилович опустил в миску свою зазубренную деревянную ложку. Это означало: можно обедать.

Заработало шестнадцать ртов. Ели молча, не торопясь, равнялись по отцу. Фома Гаврилович окидывал всех суровым взглядом. На кого поглядит, тот сразу замирает над миской. А Иван нахохлился, сухая картошина не лезла в горло, и уже наперед чесалась горячая спина.

Детвора на полу обсела чугунок, голова к голове, сопят, руками выгребают что-то со дна. Если не поладят, Фома крикнет из угла: «Цыц, сморкачи!» — и дети сразу стихают.

Закончив обед, Фома Гаврилович облизал ложку, будто вытер ее, собрал пальцами в комочек крошки и быстро бросил в рот. Потом встал из-за стола и поклонился Николаю-угоднику. За ним поднялась и вся семья.

— Иван, иди сюда!

Сын уже был готов к крещению. Не сказав ни слова, спустил он до колен штаны, завернул льняную сорочку и лег на лавку у окна.

— Зови детей. Пускай поглядят, как дурость из их отца вышибают.

Из молчаливой толпы вытолкнули двух дрожащих ребятишек, Ивановых сынов. В грязных коротких рубашечках, они стали возле лавки, испуганно глядя на отца.

Старик снял с крючка широкий ремень. Вся семья выстроилась возле глухой стены.

А на узкой скамейке распласталось во всю длину грешное тело Ивана (подумать только — кольцо потерял); светились льняные головки детей Ивана-мученика (к внукам еще будет дедово слово).

Просвистел гибкий ремень.

— Эх! Вот как дед меня учил!

— Эх! Вот как отец меня учил!

— Вот как я тебя учу!

— А вот так, чтоб ты детей учил!

Крепко хлестал Фома Гаврилович, бил с оттяжкой, с прибаутками,— загорелись красные полосы на теле Ивана. Стегал старик и с каждым ударом, будто раскаленные гвозди, загонял в детские головы страх и почитание Фомы Гавриловича — хозяина дома. «Гэх! Я вам бог-отец! Гэх! Я вам бог-сын, и я вам дух святой». Ремнем утверждал Фома Гаврилович свою единую и неделимую власть. Таковы законы болота: не свернешь черту рога, тебя свернут в чертов рог. Здесь, брат, без твердой руки, без хозяина, и хата завалится, и огород одичает, и конь сдохнет, и семья по́ миру пойдет.

Покончив с крепким сыном («Из нашего рода, сучий сын! Не съежился, не застонал»), Фома Гаврилович тяжело вздохнул и сказал:

— Теперь, лодырь, иди и вылижи языком всю конюшню. И разбросай весь навоз под деревьями, сам приду и проверю.

Потом отец повесил на крючок ремень, а сам прилег немного подремать под иконой. После праведных трудов не грех и отдохнуть. В это время в хате все ходят на цыпочках («Тише, отец спит!»), дети с замиранием сердца глядят в угол, откуда раздается такой храп и такой свист, что развевается даже отцова борода, а из темных щелей сыплется древесная пыль.

Сейчас, когда Фома спит, в доме хозяйничает мать. Сухонькая, она с годами еще больше высохла, постарела от домашних забот, вечной суеты и непролазной нищеты. Кажется, ей даже некогда спать: вся в движении, вся в делах, такая быстрая и подвижная, как и в молодости, только лицо немного пожелтело и покрылось морщинами. Осыпалась толстая коса, высохла грудь. Широкая юбка на ней болталась, как на тычке, а кофта, всегда грязная от сажи, обвисла, платок съехал набок, он остался еще со свадьбы, с тех пор мать его и не снимала: так уж издавна заведено.

Суетится в хате сухонькая женщина, и трудно поверить, что такая маленькая с виду крестьянка родила и вырастила целую дюжину сынов и дочерей — дети уже под самый потолок, широкие, плечистые. Нет, она не только вырастила их, но и воспитала так, что с полуслова дети ее понимают. Голоса никогда не повысит. Одного попросила, другого пожурила, третьему пальцем ткнула — всем найдет работу. И вот зажужжали веретена, закрутился ткацкий станок, повалил пар из жлукта[1]. Потемнело в хате от льняной пыли, запахло мокрой золой, забегали девушки, точно тени, по хате. А парни вышли во двор, каждый к своему делу: один — к скотине, другой — дров нарубить, третий — кошелки из вербы плести. Вроде бы и незаметно, зато к каждому из них тянулись невидимые материнские узы. Куда ей нужно, туда и направляет она детей.

[1] Жлукто — бочка, в которой золят и выпаривают белье *(мест.)*.

Отцовская власть — в пудовых кулаках. За ее женской худой спиной стояла совсем другая сила, еще более страшная и беспощадная,— невидимые призраки. Они обитали везде — и в хате, и в сарае, и в погребе, и в лесу. На каждом шагу они подстерегали человека, принося ему увечье, чахотку или еще какую-нибудь хворь; и если у коровы пропадало молоко, у лошади сила, у божьего зелья соки, так и знай: это те же духи. Мать знала много таких примет, которые предупреждали: обязательно случится недоброе. Заберется слепыш в огород и, не дай бог, подточит картошку — это уже к смерти. Кого-то подрывает, подрезает, кому-то жизнь укорачивает. Протяжно завыла собака на луну, закричал сыч в дымоходе — тоже не к добру: душу чью-то зовут. Если попетушиному запела курица или заскрипел жук-короед в шкафу, непременно жди неприятностей.

Весь мир ее был темен, как пуща, он кишмя кишел ведьмами, домовыми, лешими. И мать знала, что не следует делать, чтобы не раздразнить лукавого и не навлечь беды на дом. И вот она, как призрак, ходила за своими детьми и твердила одно и то же, вбивала детям в непослушные головы:

«Не свисти — последнее просвистишь из хаты».

«Не болтай ногами — черти к тебе привяжутся».

«Не греми ложками — и так ссоримся».

«Не стучи лопатой по дороге, неужели мать тебе поперек горла встала, что могилу ей уже копаешь?»

«Не руби на пороге — руки тебе отнимет».

«Не переступай через дитя,— оно и так медленно растет».

«Не бей веником — ребенок засохнет. Вот хворостина, и крести его на здоровье».

«Не плюй на огонь — все тело попрыщи́т».

Словом, было у матери бессчетное множество страшных примет, и они имели такую же магическую силу, как и недобрые сны, как заклинания и наговоры. Казалось, и высохла она оттого, что всю свою жизнь — и день и ночь — неусыпно стерегла хату, и детей, и скотину, билась одна с этой темной силой: кропила стены святой водой, обкуривала сараи, посыпала углем дорожки.

«Берегись! — внушала она детям. — Вздохни и прислушайся, шаг ступи — и оглянись. А не то вскочишь в беду в чертову трясину, и так затянет тебя, так засосет, что опомниться не успеешь,— говорила она. — Тебя еще и на свете не было, а лукавый стоял над тобой; ты только на ноги встал, а домовой за пазуху и прыг, обвился вокруг души; ты умрешь, а нечистый будет выплясывать на твоей могиле... Господи, отведи, отступи, сгинь!..»

С молоком матери впитал ребенок страх к темному и дикому миру.

«Это нельзя!»

«Это не трогай!»

«Туда не ходи — домовой».

«Того не бери — леший придет».

Этими «нельзя», «не трогай», «не бери» мать «подстригала» детей, как садовник молодые деревца, а корни расправляла так, чтобы они, глубоко вживаясь в хозяйство, в работу, крепко сплетались вокруг единого отцовского корня.

Как огня боялись дети ее запрета, законом было для них: ничего не брать без ее разрешения. Не тронь, не говори лишнего. И если начинаешь какую-нибудь работу — сеять или косить,— пусть сначала мать благословит и скажет, сплюнув три раза: «Упаси тебя господи от зависти, от дурного глаза и от злого наговора».

Мать — вечный хранитель семьи.

И не дай бог разгневать ее, пойти против ее воли. Страшным проклятием проклянет она душу твою отступническую, и твой род в зачатии, и руку, протянутую к тебе с подаянием. Не будет тебе родительского прощения, не будет жизни. И ты как неприкаянный будешь бродить вечным странником по белу свету, и не только люди, но и все живое отвернется от тебя, роса не окропит, солнце не согреет, земля не примет, потому что отвергнутому одна дорога — в змеиное болото.

Не приведи господь!

Отец спит под иконой, по хате чуть слышно суетится маленькая мать, дети следят за малейшим ее движением, и у каждого спорится работа.

Спáла полуденная жара, уже накормлены и напоены кони, самое время выезжать. И отец просыпается, смачивая языком высохшие губы. «Квасу!»— говорит он, и мать торопливо несет из погреба кувшин холодного кваса. Фома Гаврилович, покрякивая, осушает весь кувшин. Потом сладко потягивается, даже слышно, как похрустывают его косточки, и выходит на крыльцо. Там, возле подводы, его уже дожидаются сыновья.

Еще минута — и затопали под окнами кони, заскрипели колеса по песку. Фома Гаврилович повел свою свиту в лес.

Мать тоже собирает женскую половину. Дочки и невестки берут мотыги, ведра и торопятся вслед за матерью. Они идут на огород поливать капусту.

Двор опустел, будто метлой его вымели. Тихо и безлюдно. Даже дети убежали со взрослыми. Глядишь, на ужин грибов насобирают, нарвут красной смородины.

Остается только черная мохнатая собака Бабай. Старая и охрипшая, она тоже не гуляет, не лодырничает, а стережет дупло.

Сейчас увидите, что это за дупло.

...Давно, задолго до появления на свет Фомы Гавриловича, рос за сараем старый ветвистый дуб. Его уже нет, этого дуба, пришлось спилить. Остался только высокий потрескавшийся пень, крепко вросший корнями в землю. В том пне на пол-аршина от земли вырезали сначала круг, такой, как на столе, а потом выжгли горячими углями все изнутри. И получилось нечто похожее на дупло. Глубокое и просторное, оно раскрыло на мир свою черную, прокуренную пасть.

И вот, собираясь на огород или в лес, невестки не берут с собой малышей (а детей плодилось много), а спеленают ребенка, нажуют ему ржаного хлеба, сделают «куклу» и посадят мальца в дупло. Посадят, обложат тряпьем, запихнут в рот «куклу», чтоб не орало, и строго-настрого накажут собаке: «Стереги, Бабай!»— а сами уйдут из дома, порой, бывает, на целый день. И остается пес за добрую няньку. Конечно, работа для него не новая, он уже привык. Вытянет возле пня свои сухие, старческие кости, морду положит на лапы и смотрит в черную пасть дупла, так напряженно смотрит, что даже глаза слезятся. Из дупла выглядывает красное, точно свекла, какое-то старенькое, морщинистое личико, человек не человек, щенок не щенок, смотрит мудрый Бабай на малыша и никак не поймет. Ребенок уставится на Бабая, и так они молча глядят друг на друга, будто разговаривают между собой: пес ему про свою собачью судьбу, ребенок ему про свою ребячью жизнь,— и это, честное слово, одинаковое или по крайней мере близкое и понятное им обоим. Об их тайном разговоре можно было бы рассказать подробно, да вот беда — муха уже села на крохотный носик мокрой малышки. Пес приподнял морду — и хвать языком, сразу прогнал надоедливую муху: еще, чего доброго, занесет из болота лихорадку. А то подойдет петух, потрясет гребешком, прицелится рыбьим глазом и задумается: что сосет это малое пискля? Но подойти поближе к дуплу пес не дает. «Прочь! — прохрипит Бабай. — Прочь, многоженец, в свой гарем!»

И снова они вдвоем, беззубый пес и беззубый малыш. В тени за сараем что старому, что малому — обоим одинаково хорошо.

Но не всегда все обходится так мирно и благополучно. Бывает, орет кроха, точно режут ее, и пес, бедняга, скулит беспомощно, не знает, чем помочь малышу. Разве что лизнет языком сопельный подбородочек: «Цыц, цыц, мой щенок!» А дитя кричит, вот-вот захлебнется, и тогда пес как угорелый начинает носиться по всему двору, скулит, громко лает, зовет на помощь... Но разве услышат его: хозяин с сыновьями далеко в лесу, а женщин будто трясина засосала.

Нередко все кончалось тем, что когда в сумерках возвращались женщины домой, невестка или дочка доставала из дупла дитя, а оно уже не дышит. Но мать не голосит, не рвет на себе волосы, только молча перекрестит безгрешную душу, зажжет под образами свечку и тихонько вздохнет: «Так ему, видно, суждено... Бог дал, бог взял. Не будет мучиться».

И только пес печально будет смотреть в опустевшее дупло, и покажется ему, что малыша проглотила черная, обугленная пасть, проглотила, как и многих других до того. А потом старый одинокий пес тихо ляжет возле пня, и уши у него опадут, как сухие, желтые листья, на глазах задрожит давно накипевшая слеза... Но недолго ему придется грустить, скоро в дупло положат нового сморкуна, и опять Бабаю будет с кем поговорить, будет о ком позаботиться, кого покараулить, будет кому подать нечаянно оброненную «куклу».

Из этого старого дупла, некогда высокого дерева, которое до сих пор крепко держится корнями за землю, и произошел весь трудолюбивый род Фомы Гавриловича: и сам Фома, и его дети, и внуки. Как сорняки, отсеивалось слабое, неприспособленное семя, оставляя право на жизнь только сильному. Сыны и дочери росли быстро, давая здоровые побеги, стеной обступая кряжистый дуб,— теперь им уже было мало солнца, им уже становилось тесно и душно на отчем клочке земли.

...Может, небо раскололось, может, трудные времена наступили. Только пошли ссоры и драки между людьми. Самураи побили русских, и в деревню стали возвращаться с войны калеки. Проклинали они на чем свет стоит и веру, и царя, и отечество; беднота точила косы, поглядывая злыми и голодными глазами на панскую усадьбу. Дети распинали отцов: «Воли!»

Рушились порядки, заведенные издревле.

И сыны Фомы, те, что служили в войсках, и те, что ходили на заработки, вернулись домой совсем другими: уже не подставляли руки отцу, чтобы он садился, как в кресло, уже не строились послушно за своим батей.

«Эге-ге, поглядите, да они без разрешения и за стол сели!»

А один из сыновей с улыбочкой говорит: «Садись с нами, батенька, не стесняйся». И громкий смешок по хате... Чувствовал отец сердцем: что-то недоброе готовится за его спиной. Сговор. Червь неблагодарности точит сыновий разум. И стучал Фома кулаками, а чубатые бунтовщики и не думали уступать. И хватал отец ремень, а сыны — руками за плечи старика: дескать, присядь, папаша, не горячись. А как-то во время обеда старший сын взял да и объявил:

— Хочу, отец, на вольную!

— Что? — крикнул Фома и от досады чуть до самого потолка не подпрыгнул.

— Как?! — возмутилась мать и вылила ушат проклятий.

— А вот так. Как все, так и мы,— спокойно объяснил старший.

Взял жену, детей, сложил на подводу свои жалкие пожитки — и съехал со двора.

— Коней верну, а меня не ждите!

Отец схватил метлу и принялся яростно заметать следы изменника сына. Вздыбилась пыль на дороге.

— Чтоб у тебя ни кола, ни двора, ни бревна, ни щепки!..

— Чтоб тебя,— вторила мать,— громом убило, хату спалило, а пепел ветром развеяло!

Но сыновей ничто не остановило — ни гром, ни молния. Одна за другой выезжали семьи за отцовские тесовые ворота. А напоследок те же слова: «Коней вернем, а нас не ждите!»

Трещала суконная империя великодержца Николая. Трещало и полотняное царство Фомы Гавриловича. Точно муравьи, расползались сыны кто куда. Один судорожно хватался за землю, другой убегал от земли, как от чумы. Один шел искать правду-матку,

другой еще глубже закапывал правду, да еще и ногами ее затаптывал. Один опрокидывал крепкий, как утес, дедовский забор, другой заново строил, да еще повыше.

Ибо сказано: у каждого своя стезя.

ДЕТСТВО

Притча первая
СТРАХ

Санька был самый младший в семье Фомы Гавриловича. Любил он сидеть возле хаты и прислушиваться, как бьются о стену майские жуки. Они всегда летели со стороны темной улицы, летели один за другим, точно вытряхивали их из старой вербы, которая черной горой возвышалась там, сразу за воротами.

Вечер был тихий,— наверное, к дождю, потому что из далекого леса уже плыли тучи, тяжелые, пепельные, с ярко-серыми отблесками. Село покрывалось мраком, медленно наполняясь болотной духотой. Видно, майские жуки испугались дождя и куда-то заторопились. Как только в воздухе слышалось их тихое жужжанье, Санька настораживался.

«Попадет или не попадет?»— попытался он угадать.

«Жик!» — со всего разгона стукался о стену твердый комочек и тут же падал вниз. «Ага. Попался! — И Санька бил фуражкой по завалинке, накрывал что-то шевелящееся и, затаив дыхание, осторожно просовывал руку под картуз. — Жив-живехонек! Сам, глупый, ползет ко мне... Спина гладенькая, как ноготь, а брюшко как репей, цепкое и шершавое». Жук сердито гудит, скребется, щекочет игольчатыми лапками Санькины пальцы. Парень быстро сует жука за пазуху, их у него там как пчел в улье. Это не очень страшно — служить домиком для майских жуков. Конечно, сначала немного щекотно, а потом ничего, даже приятно. Ты притаился и слушаешь, как шуршат жуки под рубахой, как ползают по телу, а то забираются прямо под мышки, и не знаешь, за кем и следить. Вот один скребется на затылке, в ямке-брехушке. Наверное, убежать хочет, такой шустрый. Э, нет, дружок, полезай назад, под рубашку.

«Жик! Жик!» — летят жуки, прорезая густую тьму, один за другим стукаются они о стену и, трескаясь, как сухой горох, падают на землю.

Санька прислушивался не только к жукам, его ухо нет-нет да и ловит далекий скрип телеги: может, это уже отец со старшими Санькиными братьями?.. Наверное, непогода их вспугнула, теперь они торопятся поскорее собрать сено и сложить его в копну, да еще и рогатину сверху поставить, чтобы ветер не разбросал стог. Одним словом, задержался где-то отец. И Санька ждет его с нетерпением. Ведь ему надо, когда въедет подвода во двор,

выпрячь Оську и Стрижа и погнать их на водопой, а потом через все село, через обвалившийся мостик, через ржаное поле мчаться во весь опор к Шибеевскому оврагу — там, возле леса, ребята договорились собраться в ночное.

Время от времени Санька поглядывает вдаль: над лугом подымалась черная стена, и на ней кто-то высекал огонь — словно чиркал кремнем и сыпал на землю целые вороха искр. Смотри, даже вроде запахло жженой губкой.

Потянуло холодным ветром, задрожала верба, и жуки налетели тучей. Но Санька уже не ловил их, съежился в ожидании первых дождинок. А может, и пройдет гроза стороной? Может, погремит, посверкает и умолкнет? Главное — Саньке только бы успеть до оврага, а там уже ребята, шалаш и печеная картошка. В компании, как говорят, и дождь за борщ сойдет, и ливень — полбеды. А если гроза застанет его в поле?

— Тпру! — послышалось на улице.

Санька сразу узнал голос отца и стремглав бросился отпирать ворота. Во двор въехала тяжело груженная подвода, и сразу запахло душистым сеном и конским пóтом. Скрипело дышло, звенели поводки. Проплыла по двору широкая, немного сгорбленная фигура — отец не отец, точно сноп камыша.

— Батя, это вы?

— Ну вот! — ответил отец; он еще в силе, и в голосе его слышатся насмешливые нотки. — Как же ты дорогу отыщешь, если батьку своего не признал?.. Может, испугался?

— Нет, погоню. Ребята звали...

— Ну ладно. Дождя не будет,— уже подобревшим голосом сказал отец, как бы успокаивая сына. — Туча стороной пошла. Попугает маленько, перебесится, а потом и стихнет.

От взмыленных лошадей тянуло запахом болотной воды. Санька быстро прошмыгнул под животами лошадей и завозился с подпругами — зубами развязывал он мокрые постромки и, как взрослый, покрикивал: «Ногу, Оська! Назад, Стриж, чтоб тебя!» — и так, пока не снял потную шлею.

Подсаживая мальчугана на смирную Оську, отец наказал напоить лошадей возле моста и, как всегда, напомнил:

— Стреножь бродягу,— это он так про молодого жеребца,— да смотри, чтоб в трясину не забрел.

Санька молодецки щелкнул языком (пускай не думает отец, что он испугался грозы), ударил лошадь ногами в живот — и будто ветер подхватил его и понес за ворота; над головой паренька промелькнул темный шатер вербы, а навстречу уже поплыла какая-то глухая и таинственная улочка — совсем как старое, давно забытое русло реки, на черных берегах которой мелькали ровные ряды заборов, уснувшие сады, кое-где в хатах мигали огоньки, точно бакены на вечернем Соже. Саньке казалось, что он совсем не скачет на смирной Оське, а тихо плывет по темной водной глади; легкий ветерок щекочет ему щеки и горячую грудь, мягкие сумерки окутывают его тело и несут-несут его,

точно малыша в пеленках, немного укачивая, а он все дальше и дальше плывет в глубину воробьиной ночи.

Наконец улица широко расступилась, вбирая в себя молочный разлив ржаного поля, и Санька покороче связал лошадей, чтобы они не вытаптывали посевы. Но жеребец упрямо рвался вперед, обгоняя Оську, толкая тощую кобыленку в рожь.

— Ах ты егоза! — полоснул Санька кнутовищем в темноту, и сразу вздыбилась лошадиная грива.

Стриж чуть не сбил с ног кобылу, но потом пошел спокойнее. Дорогу во ржи было хорошо видно; сейчас она напоминала глубокий овраг, который то исчезал где-то за поворотом, то снова появлялся. Кони, хотя и связанные поводьями, все равно заскакивали в рожь, по брюхо утопая в зеленом посеве. Санька ногой ловил колосья, которые приятно щекотали пятки, и вдруг — скрип! — и один усач застрял между пальцами.

Небо над лесом, где нависала тяжелая пепельно-серая туча, немного посветлело, и на западе синяя полоса очертила горизонт. Теперь гремело уже где-то за Сожем. «Точно, дождя таки не будет»,— подумал парень.

Наверное, и жуки поняли, что зря всполошились, и снова деловито загудели под сорочкой. Санька тихо засмеялся, представив себе, как ночью будет пугать ребят: если кто из пастушков задремлет, он сразу достанет жука, раздразнит его и сунет за воротник. Мол, не спи, казачок, ремень по тебе плачет, жеребята в огороде, кони в болоте, а ты — хр-хр... А тот как вскочит на ноги, как закричит с перепугу — вот будут ребята смеяться. «И мне!», «И мне!»— будут просить наперебой, подставляя свои шеи, и сон как рукой снимет, начнут они шутить и до утра рассказывать самые веселые приключения.

— Фр-р! — всхрапнул Стриж и встал, точно вкопанный, навострив уши. И Оська тоже остановилась, испуганно взмахнула гривой.

«Что это с ним?»— удивился Санька. От страха у парня вспотели ладони, и он даже почувствовал, как вдруг затряслись поджилки, только не сразу поймешь, у него или у лошади.

— Н-но, поехали!

Санька потянул за поводок, лошади боком-боком в рожь и снова остановились. «Волк! — подумал Санька. — Стая волков!»

«Ш-ш-ш!» — покачнулись колосья, и что-то мохнатое двинулось из оврага, все ближе и ближе. Санька подобрал онемевшие ноги, крепко вцепившись в гриву коня,— пронесет или схватит?

«Ш-ш-шу!» — заколыхалась ржаная волна.

— Ветер... Ей-же-бог, ветер! — вздохнул мальчуган. — Какие же волки в посевах? — И исподлобья посмотрел на Стрижа, увидел, как тот беспокойно прядет ушами.

«Ишь страхолюда, кустика испугался!»— подумал Санька и хлестнул коня кнутом. Тот, раздувая ноздри, свернул на дорогу, Оська за ним, лошади спутались, попятились в овраг...

Только сейчас Санька заметил, что кони поворачивали морду все время туда, где темнел на дороге круглый бугорок. Сквозь волокнистые тучи уже проглядывала тусклая луна, и Санька, крепко держась за лошадиную гриву, пригнулся, внимательно разглядывая холмик.

«Фу-фу-фу!» — сердито запыхтело на дороге, и что-то наподобие серого комочка, подпрыгивая, приблизилось к лошадям. Оно угрожающе фыркало, а кони отступали, трясли гривами и били копытами о землю. Замер комочек, замерли и кони, отскакивал назад комок — и кони тоже, точно были привязаны к чудищу невидимыми нитями.

«Леший! — подумал мальчуган. — Путает коней, путает, как случилось это с дядькой Юхимом нынешней осенью».

И Санька вспомнил сторожа общинной водокачки. Однажды Юхим, запыхавшись, прибежал в село и поднял соседей среди ночи. Дрожа от страха, он долго рассказывал, как носилось за ним по болоту что-то пучеглазое, безлапое, больше похожее на ведьму, с огнем во рту. Такое не один раз случалось с бедным сторожем, и, когда он об этом говорил мужикам, они смеялись, не верили ему, пока Юхим совсем не исчез. Пропал — и все, словно корова языком слизала. А потом нашли в трясине только соломенную шляпу — все, что от бедняги осталось.

— Мам! — взмолился перепугавшийся мальчуган, продолжая глядеть в серую тьму, где по-прежнему шевелился призрачный клубок.

«Угу-у-у!» — пронеслось над лугом, эхом отозвалось во ржи. И не так серый комок, как это тоскливое, протяжное «у-у!» до смерти напугало мальчугана. Может, то крикнула выпь в камышах, а Саньке почудилось, что он слышит слова Юхима: «Помогите!» Белое, как вата, привидение поднялось над болотом и, размахивая своими длинными рукавами, пронеслось над оврагом, загоготало в степи:

«Ого-го-го-го-о-о!»

«Придушит! Затянет в болото!» — с ужасом подумал Санька. Он и не заметил, как призрак рассеялся белым туманом; предательский голос шептал: «Не мешкай! Заворачивай коней и беги в село, беги, пока цел-целехонек!» Санька изо всех сил рванул за поводок, но лошади его не слушались, храпели, пятились, а клубок все откатывался и все уменьшался, таял на глазах. «Ага-а! Отступаешь, нечистая!» Мальчуган пришпорил гнедых, они пошли смелее, готовые растоптать косматого. Тогда Санька, не помня себя, спрыгнул с коня, одним прыжком догнал беглеца и изо всей силы ударил кнутом. Что-то круглое, колючее хрюкнуло, перевернулось и притаилось.

— Еж! Еж-ж-ж! — захлебнулся Санька отчаянным криком. — Чтоб ты сгорел, мышелов проклятый! — И мальчуган радостно запрыгал вокруг ежа, который лежал, свернувшись в комок.

Галопом летел Санька через все поле, прижимая к груди шапку, где лежал еж; по-прежнему скреблись под сорочкой жуки,

один из них глухо тянул свое протяжное: «У-у-у!», напоминая тот звук, который до смерти напугал Саньку. Но сейчас ночь как будто расступилась, куда-то исчезли привидения, и снова спокойной, молочно-белесой стала рожь, горизонт расширился, побледнел, за разрушенным мостом красным огоньком мигал костер. «Наверное, ребята уже картошку пекут». Санька еще сильнее хлестнул коней и улыбнулся. Сейчас он хорошо представлял, как будут все дружно смеяться над его необыкновенными приключениями.

Мальчуган был еще зелен умом и не знал, какую силу победил он этой ночью — страх, тот самый страх, что не одного мужика загонял в топкую трясину.

Притча вторая

ЗА ВОЩИНАМИ

От мороза окошко ослепло, будто его залепили воском. В хату едва пробивался рыжий сумеречный свет. Озябший Чмырь икал: собачий холод в избе. В кадке, что стоит в углу, вода промерзла до дна. Опрокинь бочку — будет стеклянная баба. Хоть танцуй на льду. И Чмырю даже показалось: холодно потому, что темно. Он пытался ножом счистить со стекла морозный нарост, но все напрасно. «Чтоб ему было пусто,— ворчал Денис,— разве доскребешься здесь, если намерзло толщиной в локоть? Это тебе не елочки на окнах, а такие пышки-ледышки, что и топором не срубишь». И не только стекло, вся рама закована ржавым льдом. С подоконника до самого пола свисают толстые, ветвистые сосульки, словно зеленоватые корни какого-то дерева, что сквозь стену растет и лезет в хату.

Закутался Чмырь в полушубок, сел возле печки. Нет, и тут холодно. В дымоходе что-то гудит и хлопает. Отвернув ухо заячьей шапки, Чмырь прислушивается: что там творится, на улице?

— Вот, слышите? — прокряхтел Чмырь. — Бухает. Морозище, стало быть, силу набирает. Как треснет лед на речке, так словно из пушки стреляет. Не будет рыбки, нет! И та, что в ил зарылась, замерзнет, черти побрали бы эту собачью погоду. Вон и земля уже лопается до самого низу. Сказано, крещенские морозы, холод лютый, а снега — ни щепотки.

В голосе Чмыря не было ни печали, ни жалобы. Оттого что вымерзнут озимые или задохнется рыба, Чмыри не имели большого убытка. Бог даст, в лесу что-нибудь уродится, у соседей будет, и они, Чмыри, как-нибудь перебьются. Нет, Денис не печалился, он ворочал языком просто для того, чтобы немного согреться. Слова его легонько, как колечки дыма, перекатывались мимо коченеющего сердца и вылетали прямо в дымовую трубу.

Сыновья Дениса возились в темноте где-то там, над головой, на холодной печке.

— Слышите, бухает? — спросил Чмырь, отворачивая заячье ухо. — Или это вы, чертовы дети, балуетесь?

Сыновья притаились. А отец продолжал:

— Говорил же вам, пойдите к соседке да хоть полено стащите. У Марфы дров навалом, она еще хату сожжет. Там батька при жизни своей столько ей дров нарубил — до старости ей хватит.

Сынки послушали отца, с грохотом перевернулись с боку на бок и снова притихли.

— Эге-ге-е! — постучал Денис зубами. — Хорошо тому сидеть, у кого куча дров и в подвале мешков пять картошки. А у нас в хате пусто и мороз, как в псарне. У меня даже живот к спине подтянуло. Хочешь не хочешь, надо вставать.

Прикрыв свою душу кулаком, а с боков еще и локтями, выскочил продрогший Чмырь в сени, выглянул на улицу: когда же погода переменится?

Да, не на шутку задуло. Целую неделю, почитай, выл сухой, колючий ветер; земля была голая, черная, и только песок да истлевшие листья неслись над селом. А затем буря пригнала и снежные тучи. Но снег не держался на мерзлой земле, летел за ветром, только кое-где за пнями и кустами оставались грязные полосатые кучи наносов.

«Наверное, не дождусь человечьей погоды!» — подумал Денис и плюнул в сердцах в холодную печь. Стащил с лежанки сына своего Еньку, пошел к соседу Фоме Гавриловичу, позвал мальчугана Саньку. Вместе собрались в лес.

Вышли из села в бурю.

Чтобы зазря не бить постолов об острые комья, спустились они в овраг, — там намело и накрутило высокие сугробы. Здесь, в лощине, между песчаными холмами, снег был как соль у спекулянток — желтый, с темной зернистой крупой. Вьюга так его истоптала, что он совсем не проваливался, тихо поскрипывал под ногами, идти было бы легко, если бы не встречный ветер. Крутой, жгучий, он пробирал до костей. У Саньки от холода чуб стал как железные иголки, он вздыбливался так, что болела кожа на голове.

Долго шли молча: только раскроешь рот — дышать нечем, ветер обжигает горло.

Наконец Чмырь не вытерпел долгого молчания, повернул свое маленькое окоченевшее лицо к Саньке.

— Ну, Фомич, — спросил он, — вы, наверное, сегодня здорово позавтракали? — И Чмырь подтолкнул своего Еньку под ребра, и оба, отец и сын, с ехидцей переглянулись.

Ветер хлестал Саньке в лицо. На глаза ему сползал большой шерстяной платок, которым мать предусмотрительно укутала сына, и вот теперь мальчуган поправлял платок и время от времени хлюпал носом. Он не уловил насмешки Дениса, не до этого было, и ответил по-детски непосредственно:

— Позавтракали хорошо. Мать по картошинке дала, а я еще и в постное масло макнул, на донышке миски светилось, так что неплохо подкрепился.

Чмырь-старший весело хмыкнул, и его острый, колючий подбородок, его озябшие, бескровные щеки спрятались в воротник войлочного кафтана (он, наверное, натянул одежду на голое тело — сквозь дырки светилась синяя-синяя гусиная кожа). А Енька повернулся к соседу и сказал, выпуская изо рта белый пар:

— А пшенку с молоком не нюхал?

От Еньки и в самом деле несло подгоревшей кашей. И так вкусно тянуло той, знаете, хрустящей, подрумяненной коркой, что у Саньки засосало под ложечкой. Мальчуган даже остановился. Где же они молока раздобыли? Корова у них яловая и такая, что шкура лезет... Так-так-так! Еще с утра жаловалась дочь Грицая: кто-то повадился ходить к их корове. Ночью выдаивает. Когда Марфа заскочила в сарай, было еще темно. Подбросила она скотине добрую охапку сена, и вдруг что-то мохнатое выскочило из-под яслей — и шмыг на улицу. Марфа к корове, а она трясется, и из сосков свежее молоко течет...

Енька раскрыл рот, чтобы похвастаться вкусной кашей, но отец вовремя толкнул сына: «Иди скорей, не мели языком». И Енька сразу умолк. Быстро смекнул, что проболтался. В их семье строго придерживались правила: закрывай окна от мошкары, а рот от соседей. Чувствуя свою вину, Енька нахмурился, упрямо подставив ветру лицо, разрезая его тугие и сильные порывы. И быстро зашаркал постолами по скрипучему снегу. Под ногами Еньки путался худой приблудившийся пес, который еще осенью пристал ко двору Чмырей. Старый подлиза, он так и юлил перед Енькой, потом повернул к Саньке свою хитрую острую мордочку и облизался, будто дразня: и мне, дескать, достались пшенные остатки.

Саньке вдруг почему-то расхотелось идти с Чмырями в лес. Он повернулся спиной к ветру. Далеко позади осталось родное село. И теплая печь. И мать. За белой пеленой едва заметны были маленькие, как ульи, черные хаты, серые паутины плетней, темные чубы садов. С тем миром, где пахнет смолой и печеной картошкой, связывала мальчугана только кривая проселочная дорога, пробитая санями, усыпанная кое-где сеном. В нескольких местах дорогу преграждали глубокие сугробы: ветер выдувал из низин снег и гнал его невесть куда. Холодно и неуютно стало Саньке. И мысли его, печальные и одинокие, побежали проселочной дорогой домой. Припомнились ему слова отца: «Хоть они и непутевые люди, Чмыри, но иди, сыну,— может, что и принесешь на ужин». А лес уже близко. Точно стена крепости, темнел за холмом молчаливый сосновый бор. Там тихо, там где-то припрятаны медвежьи лакомства — полные дупла дикого меда.

— А ну, Фомич, не отставай! — крикнул дядька Денис.

Парнишка бросился догонять Чмырей.

Лес приближался. Росла на глазах бронзовая громада сосен, которые с трудом удерживали на себе тяжелый вечнозеленый свод; под тем шатром залегли густые полосатые тени. И только

они вошли под густую крышу леса, как тут же стемнело; насторожились чащи, преграждая им дорогу; над головой пронесся тревожный гул. Саньке почудилось, будто он попал совсем в другое царство, оказавшись где-то под землей, в грозных пещерах, которые сначала разветвлялись, а потом круто поворачивали к обрыву, где в беспорядке валялись старые корневища. Возле одного из них мальчуган остановился: немного страшно, зато интересно глядеть на могучий кряж, упавший когда-то на землю, сломав себе хребет, оголив ветки и буйный казацкий чуб. Наверное, устал дуб-великан подпирать небо, вот и прилег отдохнуть у ног своих младших братьев.

Здесь, в лесной чаще, ветра будто и не было. Только совсем высоко, над верхним ярусом пущи, метался ураган и чугунным звоном гудели промерзшие стволы, и где-то противно скрипела сломанная ветка. Снег лежал в лесу чистый, синевато-белый. На нем ярко обозначился глубокий волчий след. Пахло звериным пометом, горьковатым, как дым, и терпкой сосновой смолой.

Осторожно оглядываясь, Санька шел по снегу. На душе у него тихо и тревожно. Он слышал о сборе вощин, но ему никогда не приходилось разорять пчелиные гнезда. Тем более зимой, когда насекомые беззащитны, спят себе, сбившись в крепкий комочек. Ходить зимой по дуплам было и соблазнительно, и запретно, как, например, в детстве лазить за зелеными яблоками, и Саньке стало немного боязно, он подумал: лучше бы Енька спрятал свой мешок, потому как медом еще и не пахло, а он уже приготовил свою большую котомку, словно собрался запихнуть туда целую колоду с вощинами. Но совесть недолго мучила мальчугана. Ведь интересно посмотреть, как полезет на дерево сухой, точно репейник, дядька Денис и как засуетится собака, когда на нее сверху посыплются соты.

Денис повел свою команду не в глубь соснового леса, а по краю опушки, где петлял волчий след. Деревья то наступали стройной шеренгой, то в беспорядке отступали, и синие качающиеся тени мелькали на снегу, как спицы в колесе, между стволами просвечивалась белая равнина,— там открывалось широкое поле, оттуда тянуло колючим холодом.

— Куда мы идем? — спросил Санька, едва волоча обледеневшие, издающие звон постолы.

— Не кудыкай, чтоб тебя!.. — сказал Денис и зло посмотрел на малого. — Накудыкаешь — черта лысого чего найдешь!

Отец и в плечо ударит — не больно, а чужой только посмотрел искоса — и сразу сердце сожмется. Насупился мальчуган, отстал и пошел сбоку, утопая в высоких сугробах. Чмырь будто и не видел, как застревает Санька, проваливаясь по колено в снег. А собака еще и облизнулась, словно сказала: «Так тебе и надо!..» Только через некоторое время Санька услышал за спиной тяжелое дыхание Еньки.

— Ты чего наиндючился? — наступая ему на пятки, спросил младший Чмырь. — Скоро к липам выйдем. Пчелы, брат ты мой,

неглупые насекомые, они в чащу не лезут, выбирают такое место, чтоб и солнце было, и луг недалеко...

«Гляди, чего знает Енька!» — уважительно заглянул Санька в шероховатое, потрескавшееся от мороза лицо соседа. Годами тот был почти ровня Саньке, но на голову выше, немного мешковатый в подрезанной отцовской сермяге с обносившимися полами, откуда свисали намерзшие сосульки. Рукава у него были слишком длинные, волочились едва ли не по самой земле, и Енька, рассказывая о пчелиных повадках, размахивал рукавами, точно нищий торбой. Санька даже немного сдвинул с уха шерстяной платок, чтобы получше было слышно дружка, который, по всей видимости, не хуже медведя знал, как отыскать в лесу мед.

Дикие пчелы, объяснял Енька, имеют свое соображение. Их не надо искать на верхушках деревьев: там хозяйничают ветры, а ветра они боятся. И в земле они не живут и низкие дупла обходят — может водой залить или услышит косолапый, где сладким пахнет, раскопает гнездо, уничтожит все до крошки. Это только осы, как монахи, ютятся в темных норах и гнилых пнях, с них, голодранцев, взятки гладки. А пчелы — очень они любят солнце, быстро обживают старые, дуплистые вербы или липы, выбирая себе гнезда сажени на три от земли, в том месте, где расходятся ветки: и дождь их не достанет под лиственной шапкой, и медведь не разорит высокий улей, и талая вода не захлестнет. Ну, а если хочешь найти пчелиное дупло, ищи с той стороны, откуда солнце восходит: свои отверстия в дупле пчелы выводят на восток, к утреннему свету.

Енька почему-то замолк,— видимо, потому, что подошли они к оврагу, по дну которого летом протекала болотистая речушка, затененная печально-раскидистыми липами. Скованная льдом, засыпанная снегом, речушка напоминала сейчас лесную дорогу, извивающуюся змеей, на отлогих берегах которой возвышались два ряда темно-коричневых лип.

Понизу, по долине реки, свистел холодный, пронизывающий ветер.

Чмырь сполз с обрыва, за ним покатился снег, в сугробе мелькнула заячья шапка, и Денис точно провалился сквозь землю. Ребята скатились за ним. И тут только заметил Санька, что дядьке плохо. Маленький, с головой, засыпанной снегом, он сидел под обрывом, беспомощно раскинув ноги. И вроде бы не было на нем лица, один только комок льда, бородка слиплась, и два отверстия для глаз залепило снегом. Даже сквозь старый кафтан можно было видеть, как часто дрожит его тело.

— За что страдаю? — спросил Чмырь осипшим голосом. Поджав колени к груди, Денис начал бить себя по ногам, по икрам, по коченеющим плечам, стер пятерней заиндевевший снег с побелевших щек. И, гляди, будто ожил — замигал острыми глазами, уставился на Еньку, который стоял перед ним немного растерянный. — За что страдаю, а? — допрашивался Денис. — На кой ляд мерзну и брожу по лесу, как волк? Чтоб вас прокормить, черти

окаянные. А вы разве отцу кусок хлеба на старости лет дадите?

Енька что-то пробормотал.

— Ха! — возмутился Чмырь. — Накормят. Как же! Только открывай пошире рот. Еще, чего доброго, смолы нальют и коленом вытолкнут из хаты. Ну, скажи, не правду говорю?

Енька не огрызался. Отцова злость скорее забавляла его. Синие губы Еньки, потресканные от ветра, скривились в улыбке.

— Смеешься?!. Потому что правду говорю. Мой дед, а твой, значит, прадед, когда-то рассказывал притчу. Я на всю жизнь запомнил ее. Вот послушай, что он сказывал... Вывела, значит, орлица трех орлят. Только они оперились, взяла орлица одного, понесла над морем. «Будешь кормить меня, когда вырастешь?» — спрашивает мать. Дитя, ясное дело, испугалось и давай клясться: «Буду, говорит, обязательно буду!» — «Врешь!» — не поверила орлица и бросила его в море. Взяла мать второго птенца. То же самое спрашивает. И второй клянется: «Буду!» И его не пожалела мать и бросила в море. Наконец подняла она в небо последнего. Море разбушевалось, а она снова про свое: «Будешь кормить меня, как вырастешь?» — «Не буду! — признался орленок. — Ты своих кормила детей, а я, когда вырасту, буду кормить своих». — «Это верно, сын мой, это правда, орел мой», — согласилась мать и понесла назад птенца, в теплое гнездо.

Енька внимательно слушал отца, даже рот раскрыл, точно отец кормил его медом. А когда Денис умолк, он даже облизнулся:

— И я так сделаю!

— Молодец, сучий сын! — похвалил Чмырь наследника.

Денис душевно поговорил с сыном и, казалось, совсем воспрянул духом. Стряхнул снег с шапки, затянул потуже веревкой кафтан, еще похлестал себя рукавами для бодрости и сказал:

— За дело, ребята! Искать будем здесь!

Они пошли под липами, дядька задрал вверх свою остренькую бородку, внимательно оглядывая каждое дерево, собака бежала впереди и тоже все обнюхивала, Енька весело развязывал свой мешок. Охотничий азарт овладел и Санькой, он бежал за Енькой, по колено проваливаясь в снег, вертел головой, но от этого в глазах только рябило, стреловидные ветки, будто черные молнии, исчертили все небо.

— Вот, батька, вот! — закричал Енька, показывая пальцем вверх.

Пес тоже задрал любопытную мордочку, жалобно заскулил не то на белку, не то на сороку.

— Что там? — спросил Санька.

— Дупло. Видишь, вон на той липе.

Дерево стояло высокое, неказистое, ничего приметного не было в нем, только и всего, что две ветки, как будто раскинутые руки, образовали вместе со стволом черный крест. И еще разглядел Санька: на самом перехвате что-то вроде залеплено комком глины. Хитро заделано, только чернеет маленькое отверстие.

Конечно, это дупло.

Началась охота.

Мальчуганы встали под липы, пригнулись. И Чмырь, взобравшись на их спины, постоял немного, потом оттолкнулся и быстро ухватился за ветку. Санька увидел, как дядька, тяжело кряхтя, заносил ногу за сук; сколько раз он забрасывал ногу, столько раз и высовывал язык. Наконец Денис забрался на ветку.

Енька уже и торбу подставил.

Упала в снег замазка, и впрямь похожая на глину. Полетела кора. Чмырь все глубже засовывал руку в дупло. На землю полетел темный комочек, рассыпавшись на мелкие шарики. Желтобурые пятнышки расползались во все стороны. Собака бросилась к ним, понюхала один — тряхнула ушами, понюхала второй — отскочила. Начала катать лапой комочек и жалобно повизгивать.

— Глупый! Это пчелы! — засмеялся Енька.

А вверху, свесив ноги с креста, бранился Чмырь:

— Холера тебе в печенку! Будто кто вылизал, ни воску, ни меду — ничего нет.

Чмырь и Енька поплелись дальше, а Санька все стоял над комочками, которые беспомощно карабкались по снегу, пытаясь доползти до липы. Пчелы были полуживые, какие-то худые, высохшие, с белым пушком на крылышках. Одни уже окоченели, другие лежали на спинках и с трудом шевелили лапками. Ветер засыпал их снегом. Санька пошел прочь, испуганно оглядываясь, и ему казалось, что пчелы, сонные и холодные, забились ему под рубашку и, как льдышки, ползают по всему телу. А через минуту он снова помогал Чмырю, и тот деловито взбирался на дерево.

— Вот здесь будет! — объяснял Чмырь уже сверху. — Хватай, Енька!

Енька махнул руками и ловко, словно коршун, поймал на лету вощину. Санька и моргнуть глазом не успел, как дружок отправил в рот свою добычу и быстро заработал челюстями. И вторая вощина досталась Еньке. Укутанный в платок, Санька едва поспевал за проворным соседом. Тот быстрее собаки хватал на лету тугие, как коржики, соты, стряхивал пчел и запихивал себе в рот. Он не высасывал мед, некогда было, проглатывал соты с воском, только по губам текла липкая желтая слюна.

А вот и Санька поймал себе кусочек воска. Он был тоненький, как паек хлеба в их семье, отсвечивал желтизной, в янтарных лунках его застыли блестящие слезинки. Санька положил этот воск на язык — и во рту стало прохладно, даже запахло липой. Не успел опомниться, как воск растворился: куда-то покатился, покатился холодный клубочек, все глубже и глубже, а навстречу ему судорогой подымался неутоленный голод: «Дай!» Хоть траву ешь, хоть лубок, только бы не сводило желудок. И Санька, не помня себя, толкал Еньку, отгонял собаку, сгребал соты, запихивая их в рот вместе с дупляной гнилью и снегом. Собирал их и глотал, не прожевывая, а есть, однако, хотелось еще сильнее, и продрогшее тело судорожно тряслось. Так перебегали они от липы

к липе, жалкие, ободранные дети, а вместе с ними и собака, будто они соревновались друг перед другом: кто целиком проглотит воск? Только потом, согревшись от бесконечной сутолоки, Енька грубо ухватил Саньку за воротник.

— Кончай! — сказал он. — Клади в мешок.

Ребята совсем забыли о Чмыре. А тот лазил по деревьям, сучковатые ветки цеплялись за его кафтан, и ветер бегал по телу. О том, что у него окоченели руки и одеревенели пальцы, о том, что он оглох от мороза,— разве думал об этом Санька? Чмырь существовал для него только тогда, когда надо было подставить ему спину и клевать носом в снег, когда дядька ставил на лопатки свой оледеневший лапоть, а потом они ждали: сейчас зашуршит кора и полетят вниз соты, легкие, как сухарики. Но Денис сам напомнил о себе, крикнув ребятам:

— Вот это баба так баба! А ну, посмотрим, что там есть!

Черная «баба» как-то отпугнула Саньку. Она, как огромная кадка, повисла на дереве, намертво привязанная к стволу. Не сразу сообразил Санька, что эта колода, наверное, одна из тех, какие ставят в лесу для диких пчел. Обычно их ставят в укромных местечках, подальше от людского глаза, и обязательно один или два раза в год приходят собирать мед из своего улья. Конечно, урожай не ахти какой богатый, но на рождественскую кутью вполне хватало. Лезть в чужую колоду — явный грабеж. Если бы увидел хозяин, он бы пальнул из дробовика или вилами продырявил вора. Но Чмырь преспокойно взбирался на дерево, наверняка зная, что сейчас никто не появится в лесу, и у Саньки опять зашуршали под рубашкой пчелы.

«А что, если придут домой по нашим следам?»— мелькнула мысль.

Из колоды набрали порядочно вощин. И не пустых, а полных, с медом.

Сонные пчелы живыми опилками густо усеяли снег вокруг липы. То ли от меда, то ли от страха, но горько стало Саньке во рту.

Спустился Чмырь на землю, держа в руке палку. Этим тяженленным кием он только что выбил дно колоды. Засыпанный корой, воском, он кое-как стряхнул с себя налипшие щепки, простонал раз-другой, разгоняя холод по всему телу, и подошел к Еньке.

— Где вощины? — спросил он, заглядывая в мешок. Туда-сюда рукой пошарил по уголкам. Глаза его вспыхнули льдистой синью. — И это все?! Сожрал, с-с-сучья твоя душа? Говори!!

— Да нет. Пес... Собака хватала...

— Собака... м-мать! — Денис ударил собаку палкой по голове, как раз между ушей. Бедняга взвизгнула, как-то боком, немного виновато проползла по снегу, перевернулась раз, другой и — утихла.

— И тебя, подлый, убью! — крикнул он и замахнулся кием на сына, но... не ударил, плюнул ему под ноги и быстро зашагал прочь.

Темнело. Тени между деревьями сгущались; это были уже не тени, а синие вечерние сумерки, которые вылезали откуда-то из-под кустов, из холодных оврагов, из глуши потемневшего леса. Устало тащился Санька за Денисом; он не чувствовал под собой ног, они были вялые, совсем как из ваты. Вскоре отупела и голова, заныли руки, и вся тяжесть подступила к груди. Там нарастал камень, твердый и горячий. Сжималось сердце, тяжело было дышать, и вдруг — острая, горячая боль пронизала его насквозь, словно ножом распороло живот. Мальчуган упал на снег и, наверное, простонал, но крика своего не услышал, только далекое эхо разнеслось по лесу. Санька сильно сжал зубы, но эхо попрежнему глухо звенело над засыпанными берегами речки. Это был чужой голос, и Санька, с трудом подняв голову, увидел: там, под липами, валяется Енька и широко открытым ртом зовет отца.

С пригорка бежал к ним Чмырь— полы его кафтана развевались на ветру.

Потом Санька мало что помнил. Кажется, его куда-то тащили, взяв под мышки, и Еньку несли, и шелестели над ними черные крылья, а кто-то громко кричал ему прямо в ухо: «Будешь кормить, когда вырастешь?» И падал Санька в море, на острые скалы, обжигала внутренности такая нестерпимая и жгучая боль, что не было сил даже крикнуть. Потом их везли на санках, и Чмырь ворчал: «Нажрались воска... смолы бы еще напились»,— и снова Саньку бросало в жар, мучила нестерпимая боль.

Долгая дорога на санках и острая боль были так беспредельны, что, казалось, весь мир летел вверх тормашками: то вдруг вспыхивало солнце, оно слепило глаза, а воспаленное воображение рисовало картину — красные кони мчат их по белому снегу; то вдруг наступала ночь — и тишина совсем поглощала его. Когда Санька впадал в беспамятство, в такие минуты он скорее чувствовал, нежели видел (может, по запаху родной хаты?), что лежит уже дома и мать положила ему на лоб холодную руку... С ним что-то делали, делали безжалостное, но такое, что облегчало боль.

Пока Санька бредил, лежа на печке, мать с сестрой спасали ему жизнь, как могли: один за другим клали на живот мешочки с горячим песком; живот у Саньки вздулся, стал твердый и синий, как куриный зоб. Когда на теле лепешкой выступал расплавленный воск, мать соскребала этот воск тупым боком ножа, и снова прикладывала мешочки, и снова соскребала выступивший воск. Так продолжалось без конца. Санька заплывал от горячего пота, его посиневшие глаза наполнялись влагой, и несла его орлица над морем, спрашивая: «Будешь кормить меня, когда вырастешь?»—«Буду!»— лепетал он.

...Только на третий день пошел Санька к Чмырям. В хате соседа было черно. Зеленоватым льдом светились углы. У печи сидел Денис, спиной к двери, и что-то бормотал. Парни возились на вытертой от глины лежанке.

А на столе лежал Енька, и был он желтый, как воск. В его худеньких руках мигала свечка. Из-под фитилька тяжелыми ме-

довыми каплями стекал воск на безмолвные пальцы Еньки. От той свечи, от мертвого тела так приторно пахло вощиной, что Саньку вновь обожгло огнем в груди, и он, зажмурив глаза, быстро выскочил из хаты.

НА ЗАРАБОТКИ

ВАНЧЕС

Санька давно готовился к этой встрече. Еще тогда, когда выгнали его из школы, он мысленно убегал в глухую осеннюю пущу и видел запрятанный в лесу шалаш, где жили какие-то таинственные мужики; он видел уже и себя, взрослого и независимого, среди бывалых лесорубов. Не один раз мечтал он о том необыкновенном дне, когда будут ярко золотиться клены, а солнце посеребрит тишину, и вот тогда (так он воображал себе) подойдет он к молчаливым, хмурым лесорубам, вежливо поздоровается с ними, снимет шапку и скажет:

— Здравствуйте, дяденьки. Будьте добры, не примете ли вы меня в свой шалаш?

И как бы нечаянно достанет из-за пазухи баклажку крепкой николаевской, которую мать выменяла у трактирщика за кусок полотна.

Да, нелегкое это дело — вступить в лесорубскую артель. Главное здесь — показать себя так, как ловкий купец показывает товар: дорого не возьмем, но и по дешевке не уступим. Лесорубы придирчиво оглядят тебя с ног до головы (не молод ли ты да из какого теста выпечен?), со знанием дела оценят водку, немного задержав живительную влагу на языке, крякнут, довольные угощением, вытрут свои длинные усы рукавами, потом исподлобья переглянутся, как бы спрашивая друг у друга: дескать, как, мужики? Пусть проваливает отсюда подобру-поздорову или посмотрим, на что он способен? Может быть, скажут: «Не-е! Мало каши съел!» — и баста, не станешь ты, парень, лесорубом нынешней осенью. Но вдруг случится и наоборот: «Что ж, можно попробовать»,— скажут они, и тогда придется только на себя надеяться. Подкатят суковатый дубовый пень, старый и звонкий, как чугунная болванка, дадут в руки топор и ошарашат неожиданной шуткой. «А ну, сынок, с одного маху вот так!» — крякнет лесоруб-дедуган, сверкнет колуном — и как ударит, так сразу разлетится скрипучий пень на две половины.

Здесь, на «медвежьем суде», вспомнишь отцовские слова. Лес темный, говорил он, но еще темнее жизнь у лесорубов. Мокнут они под проливными дождями, бьются в судорогах от болотной лихорадки, выедают глаза им надоедливые комары, но куда хуже мошкары сосет кровь приказчик, опутывает трактирщик долгами, сдирает за каждую пустяковину три шкуры подрядчик. А все

потому, что народ темный, неграмотный. Затравленные хищной жизнью, дичают лесорубы, обрастая мхом и наполняя сердце свое злобой, а память ненавистью. Живут они в своих шалашах замкнуто, как старообрядцы в своих тайных скитах. И бог у них свой, и законы особенные, жестокие. Сурово карают своего же брата отступника. Если кто-либо позарится на чужую горькую копейку — утопят в болоте или из леса выгонят с отхваченной рукой: топор сделает свое привычное дело. Если изведет своим стяжательством ловкий замерщик, недолго ему ходить по грешной земле: кругом, видите ли, бездонные, вязкие трясины.

Полесские лесорубы, насквозь пропитанные дымом, проспиртованные брагой и сивухой, строго и недоверчиво отбирали новых людей в свою несловоохотливую артель, не каждого приобщали к своей мужицкой вере. И вот теперь он, пятнадцатилетний парень, должен был прийти к ним. Длинный, худой, еще с мягким пушком над губой и по-мальчишески юным лицом, в стоптанных лаптях, с полотняной котомкой за плечами,— одним словом, ни школьник, ни парень, что-то такое, серединка на половинку. Санька давно готовился к этой встрече, ждал ее с нетерпением и очень боялся, что его не примут в бригаду вальщиков. Уж наверняка высмеют, освищут и прогонят прочь...

Но все произошло по-другому.

Был конец октября (в то время и начиналась массовая рубка леса), когда родители снарядили Саньку на заработки. В путь он вышел рано утром. Дорога повела его из молодого сосняка на широкую просеку. В лесу было тихо. На траве еще лежала роса. Воздух дышал свежестью. Санька чувствовал, как горчило у него во рту: горькой казалась ему кора, сразу разбухшая после дождя, горьким был и туман, клубившийся над дымными кучами гнилого хвороста. А воздух, холодный и резкий, совсем как огуречный рассол вперемежку со льдом, раздирал ему легкие. От первых заморозков уже осыпались золотые листья берез и серебряные листья ясеней, и они, как лесные сироты, терпеливо дожидались зимних метелей. Только пушистые ели, словно купчихи, хвастались своими густыми вечнозелеными иголками. И дубы — кряжистые бояре — стояли в богатых сибирских шубах из лисьего меха. Но наряды казались пышными только издали. Стоило Саньке приблизиться к елям, как они сразу теряли свое женское подобие, становясь просто елочками с редкими пучками хвои, и дубы выглядели хмурыми и недоверчивыми. Мрачный вид им придавали темные сучковатые ветки. Может быть, для того, чтобы упрятать свои старые морщины на шершавом теле, дуб никогда не сбрасывает весь лиственный покров. Санька заметил: дубовые листья — и те, которые осыпались, и те, которые оставались на зиму на дереве,— были такими крепкими, точно их выковали из меди, и так богаты они были щедрыми красками осени — от светло-желтого цвета до темно-коричневого, а некоторые с багрянцем, будто подгорели на солнце и даже свернулись в трубочки. Поляны, овраги, холмы — весь лес был усыпан чистыми, свежеувядшими листьями, и от это-

го он выглядел празднично и полнился веселым осенним шумом. И холодный воздух, запутавшись в листве, шелестел, как папиросная бумага. Санька удивлялся, откуда столько намело дубовых листьев: вроде бы и на деревьях они еще висят, и на земле их полно. Идешь, разгребая ногами большие кучи шуршащих листьев, а вокруг такое пахучее раздолье, что хочется покувыркаться, порезвиться на опушке.

С поляны Санька заметил невысокий пологий бугор, а на нем черный конус, очень похожий на большой муравейник. Это был шалаш, или, как его называли лесорубы, курень, выложенный хворостом и еловыми ветками. Жилище было такое высокое, что поддерживало своей острой крышей нижний ярус старой сосны. Из длинного узкого прохода, заменявшего трубу, лениво тянулся дымок. Лесорубы сидели возле куреня, кто на земле, кто на бревнах. В дерюжных серых армяках, в холщовых штанах, грубые и бородатые, они сейчас напоминали древлян-смолокуров, которые когда-то обитали здесь, в чернолесье. Они сидели тесным кругом и вполголоса разговаривали.

Санька робко стоял за их спинами, боясь первым начать разговор.

Кажется, лесорубы сушили лапти. У их ног тихо дымились жаркие угли, сверху они покрывались светлым пепельным налетом, а внизу еще играли синие искристые отблески багрово-желтого пламени. Бородатые мужики хмуро смотрели на задумчиво умирающий огонь, грея у костра свои натруженные ревматические ноги, обернутые в березовое лыко, туго стянутые портянками и завязанные шнурками.

Санька сразу заметил, что лесорубы наблюдают не за огнем, а за парубком, который сидел немного поодаль от всех, примостившись на толстом бревне. В грубой полотняной рубахе, подвязанной длинным плетеным поясочком, этот парень почему-то напоминал Саньке Микулу Селяниновича, древнего богатыря с густыми-густыми бровями и русыми волосами,— таким по крайней мере он видел его на картинке в «Родной речи». Только с той разницей, что этот Микула сидел прямо перед ним, угрюмо опустив свои широкие плечи, и, высоко завернув длинный рукав, отогревал на солнце больную руку. В пораженном месте, почти у самого локтя, вздулись темно-желтые волдыри — узелки опухоли.

— Волчанка,— сказал один из лесорубов.

— Волчанка,— согласился другой.

— Волчанка,— понеслось по кругу.

— Надо вырезать,— добавил первый, тот, что сразу обратил на себя Санькино внимание,— одноухий. Он был худой, как высохший гриб. Казалось, только одно ухо, толстое и волосатое, еще продолжало жить; а второго совсем не было, вместо него — синее клеймо с отверстием, и щека вся ободрана, лицо от этого похоже на блин. («Не иначе как стволом задело»,— подумал Санька, испуганно разглядывая одноухого.)

— Вырезать — пустое дело,— неторопливо заметил чернявый

дед, похожий на цыгана. — Вырезать — кровь только пущать, а потом снова высыпет — и сразу по всему телу. Нет! Лучше выжечь.

— Выжечь надежнее,— поддержал его кто-то.

— Выжечь,— подтвердили другие.

Лесорубы разговаривали вполголоса, задумчиво и спокойно, ни одна жилка не вздрагивала на их худых, костлявых лицах. А парень с больной рукой, закрыв глаза, покорно слушал приглушенный шепот товарищей; время от времени его светлые ресницы подергивались, а виски медленно бледнели.

Кто-то положил железный прут в огонь. Конец его стал набухать, краснеть, накаляясь добела.

— Держите его крепче, мужики,— распорядился лесоруб, похожий на цыгана. — Отвернись, Ксаверий, чертова мать!..

И один из мужиков, ухватив помертвевшего Ксаверия за подбородок, вмиг свернул ему голову набок.

Санька видел, как лесорубы, дружно навалившись, быстро скрутили, точно жеребца, Ксаверия, который вдруг оскалился и весь напрягся, будто стальная пружина, как сильно задрожала его рука, как зашипел, коснувшись гнойной опухоли, накаленный прут.

Санька отвернулся, и что-то сразу сжалось у него внутри от жгучей и нестерпимой боли.

«А-а-а!» — сильно взвыл Ксаверий, разорвав осеннюю тишину на мелкие кусочки. «А-а-а!» — отозвалось эхо на полянах и в лощинах, и с шорохом сорвались с дубов и полетели на землю холодные листья. «А-а-ай!» — задрожало у Саньки под коленками.

Сколько стоял Санька в оцепенении, трудно сказать.

Когда немного спустя он пришел в себя, на лбу его выступили капли холодного пота. Парень со страхом посмотрел на Ксаверия, а тот сидел бледнее снега, глаза его были закрыты, на густых влажных ресницах повисли две тяжелые, дрожащие слезинки. Повязка, почерневшая от запекшейся крови, глубоко врезалась в руку, чуть повыше локтя.

— Иди в курень, Ксаверий. Отлежись немного.

Это сказал самый лохматый и самый сильный лесоруб, напоминавший цыгана. Сказал глухим и властным голосом, сказал так, как привык говорить, по-видимому, всегда. Внешне он казался Саньке упрямым, грубым, крепко сбитым: крутая, широкая спина с ложбинкой посредине, большие лопасти тяжелых рук, непослушная шевелюра, черная как смола, она блестела, словно кто-то густо смазал ее маслом,— все это заставляло проникаться к нему особым уважением. А еще приметил Санька, будто глаза у лохматого лесоруба немного хмельные, с горячим блеском, и смотрит он на мир из-под своих густых, чуть-чуть взъерошенных бровей немного вызывающе: «А ну, сгинь, вражья сила!» Лесорубы обращались с ним весьма учтиво, величая его Макаром Ивановичем, а между собой называли попросту — Отченаш.

«Не иначе как он здесь за самого главного, пана начальника»,— решил Санька.

Отченаш кивнул головой, и лесорубы, взяв под руки сгорбившегося Ксаверия, медленно повели его в курень.

А потом мужики задымили самодельными ореховыми трубками, которые в народе называют носогрейками.

— Н-да,— заметил одноухий.— Не вовремя привязалась хворь.

— Она всегда не вовремя.

— Не говори. Если работы мало, то и поболеть не грех. А сейчас... не до болячек. Такой наряд — только руки давай, а тут волчанка...

И вдруг Отченаш, выпустив кольцами дым, резко повернулся и, обратившись к Саньке, сказал:

— Чего стоишь, как столб? Садись. Небось на работу наниматься пришел?

Недаром говорят: счастье, глядишь, и обманет, а горе — никогда. Вот и сейчас: выбыл человек из артели, кто знает, может, и ненадолго, но, как нарочно, в самое горячее время, когда подвалил выгодный наряд. Зато повезло Саньке: взяли его вместо Ксаверия, взяли сразу, даже не спросили, кто он.

Солнечные лучи наискось прорезывали густые ветки сосен; утренний туман тянулся понизу и, набредая на острые солнечные блики, взбираясь вверх, медленно разматывал длинные космы лохматых болотных испарений. Продутый ветрами, лес немного посветлел, ярче обозначились холмы и глубокие овраги; каждое дерево, каждый куст стали просматриваться, и теперь далеко был виден возвышающийся среди зарослей багряный шатер перезревшей рябины, ослепительно белый частокол стройных берез, пышное убранство отжелтевшего клена... Лесорубы, замешкавшись возле огня, сейчас торопились на свой участок. Быстро разобрав топоры, пилы и другие необходимые инструменты, они потянулись длинной цепочкой от своего куреня. И Санька поплелся за ними. Ему было и тревожно и интересно идти за этой бородатой толпой, которая двигалась, медленно шаркая лаптями по сухой опавшей листве. Паренек слушал разговор бывалых лесорубов, они то и дело повторяли одно и то же: «Ванчес...», «Годится на ванчес...», «Триста кубов ванчеса...» Санька не знал, что значит — ванчес, но, судя по тому, как лесорубы произносят это слово, легко догадался: они говорят, наверное, о чем-то значительном, очень важном, без которого никто не мыслит себе ни жизни, ни своего заработка.

Прошли несколько участков сплошь вырубленного леса, где торчали свежие, пахнущие смолой пни. Они торчали густо, как ульи-колоды на поповской пасеке; то тут, то там в беспорядке валялись стволы, очищенные от коры, высокие кучи сваленных веток с сухими, слежавшимися листьями. Артель миновала нетронутый сосновый участок, направившись к смешанному лесу. «Куда они идут и что они будут сегодня делать?» — подумал Санька, не решаясь об этом спросить. Он старался не мозолить лесорубам глаза, с любопытством слушал разговор, пытаясь разобраться в самом важном. Как и все из семьи Фомы Гавриловича, он был малый способный и сообразительный, имел добрую мужскую хватку,

Только два года пришлось Саньке ходить в церковно-приходскую школу, где учились дети состоятельных родителей, то есть таких, которые могли поднести попу гуся за науку, а детей своих обеспечить обувью на зиму. В этой школе (она занимала темную, как подвал, церковную ризницу) обучение было совместное. Обычно учитель — «един во трех лицех» — вел сразу три класса, которые размещались так: на первых скамьях — новички (аз-буки), за ними — средняя группа, а на задних скамьях — старшая. Такое обучение было удобным для хорошо развитых детей. Пока учитель словесности и математики разъяснял ребятам дроби, Санька, находящийся в самой младшей группе, мотал на ус эту мудрость, быстро раскладывал целые числа на четвертые и на восьмые доли и раньше всех поднимал руку. Но больше всего мальчуган любил уроки словесности. Грустные стихотворения Никитина, Кольцова, Некрасова были очень близки и понятны ему; крестьянская печаль и нищета глубоко запали в его детскую душу.

Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор,
Сор на лавках, паутины
По углам узор.
Закоптелые полати,
Черствый хлеб, вода,
Кашель пряхи, плач дитяти...
О, нужда, нужда! [1]

Эти строчки не надо было зубрить. Они запоминались сами. И когда его вызывали к доске, он читал это грустное произведение, как молитву о хлебе насущном. Стихотворения и сказки из «Родной речи» волновали Саньку еще и потому, что были написаны не мужицким языком, на котором обычно объяснялись сапожники, плакальщицы, швеи, его мать и дед; они были написаны по-городскому, на ученый книжный лад. И мальчугану тогда казалось, что «Родная речь» существует для людей высшего класса, для тех, кто наслаждается жизнью,— для купцов, приказчиков, околоточных. А ему, Саньке, ну хотя бы стать писарем в земской управе. А чего? Работа чистая, панская...

За преуспевание в первую же осень пересадили его на среднюю скамью, а на второй год он сидел возле серо-зеленого пристенка ризницы — уже в старшей группе.

Священник, который учил слепых агнцев закону божьему, уже в который раз повторял: «Из тебя, сын мой, вырастет златоустый псаломщик». Любил батюшка своего прилежного отрока потому, что стоило ему прочитать весьма запутанную родословную Христову, как тут же подымается будущий псаломщик, руки по швам, глаза в потолок, и чешет, как заправский пономарь, слово в слово:

— Авраам родил Исаака, Исаак родил Фареса, Фарес родил Есрома, Есром родил... — И так далее — до Иосифа, мужа Марии, которая подарила миру Иисуса Христа.

---

[1] И. С. Никитин. Ночлег в деревне.

— Учитесь, бараны вифлеемские, у этого послушника! — гремел святой отец на запуганную братию. — У кого в груди непорочное сердце, тот неколебимо будет идти по праведной стезе.

Но не пришлось холопу выйти на праведный путь. Однажды возле трактира он случайно набрел на мертвецки пьяного батюшку — и попутал его бес! — снял со святого отца золотой крест и нацепил поповскому бычку на рога (об этом узнали в школе, а попом и в селе). За такое святотатство не пощадил батюшка своего послушника, самого способного ученика. Огрел изо всей силы линейкой, цепко ухватил за длинные волосы и вниз головой вытолкнул за порог.

— Смотрите, олухи царя небесного, как изгоняют из рая свиней! — сказал святой отец. Этим единственным ударом колена под зад батюшка навеки отлучил богохульника и от школы и от церкви, ибо малый уже не мог поверить в святость креста, побывавшего на рогах бычка.

Словом, Санька был парень смекалистый. Вот и сейчас, идя следом за лесорубами, он понял: сегодня будут рубить не все породы подряд, а выборочно — одни дубы. И не какие-нибудь, а ровные, высокие, без сучков и задоринок,— словом, самые лучшие. Именно этот дуб и пойдет на ванчес.

Так, за разговорами, и дошли они до своего участка. Санька осмотрелся — прекрасное место. От рыжекудрых дубов, от желтых верхушек кленов, купающихся в солнечных лучах, как будто бы струилось мягкое и тихое сияние; казалось, что лес объят пожаром,— так спокойно и торжественно полнился он царственной тишиной, и от всего этого на душе становилось легко и ясно. Но наслаждаться осенней красотой было некогда — Отченаш обронил только одну фразу, и артель быстро разделилась на группы.

Санька, одноухий и еще несколько лесорубов пошли за Макаром Ивановичем.

Что в жизни человека полдня? Кое-кто и целый день проспит под грушей, поленившись согнать муху со своего носа. А Санька за это время постиг целую библию лесорубничества. Впервые он увидел, как выбирают место для валки дерева. Это, брат ты мой, не простая штука — свалить столетний дуб. Не просто бери да секи под корень. Надо так положить его, чтоб эта кряжистая громада, падая на землю, не перебила себе хребет и не повредила соседних деревьев.

Вот почему, прежде чем рубить дерево, отойдет Отченаш в сторону, постоит немного, прищурит правый глаз, словно примеривается или спрашивает хмурого великана: «С какой стороны обвевали тебя ветры? Куда свисают тяжелые ветки? И есть ли полянка там, куда тебя клонило в непогоду?» Поразмыслив так, Отченаш показывает пальцем: «Туда!» Значит, туда, где прогалина, надо повалить старикана. Но это еще не все. Упрям и своенравен дуб-столеток. Ты ему предлагаешь: «Давай-ка ложись за ветром, к югу»,— а он возьмет да и шарахнет против ветра, на север, при-

валив своей огромной тяжестью лесорубов,— разве мало их, как муравьев, погибло под дубовыми стволами? А чтоб этого не случилось, наматывай, брат, на ус дедовскую науку. Если дерево валишь по направлению к солнцу, то с той же стороны и начинай пилить. Подпилил немного — еще ниже подрубай комель, чтоб свободно ложилось дерево. А уж потом заходи с теневой стороны и пили до самой сердцевины, только не забудь вовремя подбивать клинья и наклоняй, наклоняй его к солнцу. Смотри, может, и треножник надо поставить для упора, если ствол имеет плохой наклон или ветер ему мешает.

Впервые увидел Санька, как медленно падает дуб в тихое зарево осени, и невольно залюбовался.

Все глубже и глубже входит пила, ствол, толстый, как башня, почти совсем распилен, а дуб стоит, не шелохнется. Раскинул вокруг себя (саженей на двадцать) ветки, задрав в небо свою лохматую голову из полыхающей листвы. Он останавливает ветры, он разгоняет тучи, как будто ему и дела нет до маленьких быстрых человечков, что ползают внизу. Но чу!.. Слышится скрип — какой-то глубокий, старческий скрип, а потом скрежет.

«Эй, берегись!» — несется по земле, и люди бросаются врассыпную, кто прячется за деревья, кто прыгает в канаву. А дуб еще стоит, только вершина вздрогнула и пошла... поплыла, как туча, и вот уже над лесом мечется тень, скрипят старые жилы, теперь видно, как все ниже и ниже наклоняется ствол и летит, срываясь в бездну, огненная масса падает на широкую прогалину и вдруг, как разорвавшаяся бомба,— б-бух! С шумом и треском раскалывается тишина на зловещие шорохи, отдается далеким эхом, грохот сотрясает землю, тяжко вздрагивает загорелая спина ствола и вдруг... затихает.

Упал...

А потом долго кружатся в воздухе пожелтевшие листья и вздыхает в густых дебрях усталое эхо.

Не верится Саньке: неужели такого гиганта свалили? Смотри, какой ствол, совсем как плотина, хоть бери да возом по нему проезжай.

Работа шла быстро, как на уборке хлеба: один за другим валили дубы, здесь же обдирали с них кору, обрубали сучья, распиливали кряжи на ровные бревна — метров по восемь, складывая их высокими штабелями. Санька надрывался, лишь бы показать себя с лучшей стороны: строгать — будет строгать, носить тяжелые бревна — будет носить, пускай видят все, что он сильный, не из ленивых и вы, бородачи, не пожалеете, приняв его в артель. Но когда Отченаш случайно, а может, и специально посматривал исподлобья на паренька, тот неприятно сжимался, чувствуя при этом себя так, будто втерся в компанию лесорубскую как-то незаконно. И, чтоб сравняться с мужиками, он старался держаться поближе к одноухому (называли его Полушка). Полушка не ахти какой здоровяк, он из числа людей, потрепанных жизнью, заскорузлых, как сушеные грибы, которых щедро рожала тощая полес-

ская земля. Рядом с ним, жалким и плохоньким, Санька выглядел более-менее приглядно. И когда приступили к валке дуба,— а пилили гурьбой, по двое или по трое мужиков с обеих сторон,— Санька становился за Полушкой, цепляясь крючком за ручку пилы, и слушал команду: «И-и раз! И-и два!» — и в такт этим словам он покачивался из стороны в сторону. «И-и, дружно! И-и, пошли!» — плечом к плечу, мышцы напружинились, тела будто связаны вместе, их раскачивает неудержимая сила: раз-два, вперед-назад, туда-сюда... и так без остановки, до тошноты, до помутнения в глазах. Сначала Санька не мог приловчиться, тянул невпопад; его подбрасывало, как щепку на волнах, а Полушка что-то злобное кричал ему на ухо.

Саньку бросало в жар, и он уже не сопротивлялся, а послушно подчинялся силе, которая толкала его, и, совсем обмякнув, он с облегчением чувствовал, как входит наконец в общий ритм работы. Он падал и взлетал на волне движений. Исчезал окружающий мир, перед ним, как маятник, раскачивался кусок земли вместе с пучком молодой осенней травы, которую покрывали рыжие опилки. Кружилась в воздухе желтая пыль, и все становилось желтым, и тогда он не видел ничего — ни вспотевших спин лесорубов, ни пены на губах Полушки, ни опилок на траве, только крепко сжимал рукой раскаленную рукоять, которая тащила его за собой. Будто в полынном дыму до него доносилось: «Эй, берегись!» — и тогда его отбрасывало куда-то в сторону, и он бежал, сам не зная куда.

В обеденный перерыв Санька прятался за спину Полушки — боялся, что заметят лесорубы, как его подташнивает. Кто-то еще раньше разложил огонь, холостяцкий обед был уже готов. На бревнах остывала печеная картошка с угольными корочками, мягкая, с горячим дымком. Нарезали холодное сало, желтое и твердое, как воск. Поставили медный чугун с брагой и Санькину фляжку с водкой. И все вместе, дружно, принялись есть. Санька застенчиво выгреб одну картошину, очистил ее, но так и не решился съесть — его по-прежнему подташнивало. Парнишка притих, согнулся, удобно примостившись за спиной соседа, только бы не попасть на глаза жестокому, немного странному и непонятному ему Отченашу: тот работал челюстями так же решительно, как и рубил толстые бревна. Санька заметил, что и Полушка в этой компании будто не свой, сидит безучастно в стороне от товарищей и лениво, без аппетита, шамкает своим беззубым ртом. Возможно, Саньке это просто показалось, а может, и в самом деле было так: к Полушке все относились с издевкой, и это чувствовалось даже в том, как его прозывали: «Полуш-ка». Что-то такое маленькое, мелкое.

Он сидел, подобрав под себя ноги, неприметный этот человечек с кислыми, бесцветными глазами, с синим клеймом вместо уха, с ободранной щекой. Не то серые, не то пепельные волосы — сразу трудно разобрать, какого они цвета,— клочьями выбивались из-под старой ватной шапки, сбивались на затылке и серым пушком

покрывали морщины на худом, продолговатом лице. Когда он улыбался, широко открывая рот и обнажая вместо зубов почерневшие корни, все лицо напоминало тогда дупло старого, мшистого пня. Что-то было в этом человеке тлеющее, что-то такое, что вызывало к нему жалость.

Осторожно коснувшись руки Полушки, парнишка сказал первое, что пришло ему на ум, лишь бы начать разговор. И Полушка, обрадовавшись тому, что нашелся наконец охотник его послушать, ухватился за новенького. «Слушай сюда, мил сударь»,— Полушка залепетал такой шепелявой скороговоркой, что трудно было разобрать, о чем он говорит. Но все же Санька хоть и с трудом, да понял, кто такой Полушка, и кто у него был дед, и кто у него остался из братьев, и какая у него родня. А семья, оказывается, была у Полушки, как у Омелька, тринадцать душ детей, и все мал мала меньше. Обычно осенью, когда собиралась в лесу артель, лесорубы приставали к Полушке с одним вопросом: «Ну, старина, сколько детей прибавилось у тебя за зиму и лето?» Счастливый отец, улыбаясь беззубым ртом, подробно объяснял: «Да пара, чтоб их черт побрал! На рождество — одно, на Михайла — второе. Живут!» И тогда кто-то шутливо вставлял: «А что! Не смотрите, что он трухловат, у него корень здоровый...»

Пока лесорубы ели картошку, Полушка, не давая Саньке прийти в себя, шепотом рассказывал, какое страшное заклятье нависло над его родом.

Не́когда в далекое, незапамятное время, нагадала цыганка (чтоб ей пусто было), наворожила, ведьма, будто весь род Полушек, до последнего колена, погибнет от падучего дерева. С этого и пошло. И прадед, и дед, и отец, и братья — все они кормились лесом, были угольщиками, смолокурами, вальщиками, и все умирали под упавшими стволами. Погибали они одинаково, с той только разницей, что одного убивало на рубке, другого — на трелевке, третьего — во время урагана или лесного пожара. Все они хорошо знали, что лес их погубит, но шли на верную гибель с упрямством обреченных людей. Из братьев в живых остался только самый младший — Полушка. И его понесла нечистая сила в лес; как и следовало ожидать, его тоже придавило, к счастью, только ободрало голову и лицо,— наверное, то был знак, что недолго осталось ему ходить по этой грешной земле. И теперь он торопился, плодил детей — обреченно ждал: когда и под каким стволом сложит свои хрупкие кости?

В ожидании уготованного жребия (надо же кормить детей, троих уже господь прибрал, жена в чахотке лежит, не встает, только даром хлеб изводит) тянул Полушка свой тяжкий крест, принося домой копеечные заработки.

Полушка — его доля и его заработок.

В Санькином возрасте часто дают клятвы, и Санька поклялся, что будет защищать Полушку,— только он еще не знал, от кого и как. Ему хотелось сейчас же, сию минуту, сделать что-то хорошее для Полушки, и он быстро развязал узелок, достал оттуда

пирог с горохом, хорошо выпеченный, румяный, с запахом сладкого дыма.

— Возьмите, дядь,— густо краснея, сказал Санька и быстро протянул пирожок. — Мать испекла. Свежий...

— Не, не надо... — вроде бы отказывался Полушка, а сам уже протягивал руку. — Какой я, мил сударь, едок? Гляди,— и дядька раскрыл рот, показав Саньке дупло с остатками желтых корней. — Видишь, жевать нечем, разве что «куклу» сосать, как в детстве.

Пирожок он все-таки взял, завернул его в пропахшую табаком тряпку, объяснив при этом, что так уж и быть, передаст гостинец детям.

Все кончилось как будто бы хорошо: познакомились с Полушкой и разговорились. Но вдруг Санька ткнулся носом в дырявый кафтан Полушки: пока они болтали и с пирожком возились, на них пялили глаза лесорубы и, наверное, давно уже глядели и посмеивались. Поймал было Санька на себе хмельной и насмешливый взгляд Отченаша; тот, по-видимому, подмаргивал хорошо позавтракавшей артели: дескать, глядите, сдружились мочалка с банным веником. Может, они совсем так и не думали и разговаривали совершенно не об этом, но Саньке показалось: над ним смеются, над новеньким.

Санька, как вообще крестьянские дети, был застенчив в новой компании и скрытно обидчив. Вот и сейчас он внимательно обдумывал каждое услышанное слово, ломал голову над тем, нет ли случайно какой-нибудь хитрости. Ведь взрослые любят поиздеваться над меньшим или слабым, как вот над Полушкой. «Полушка, подкати бревно!» А бревно такое, что и волы не сдвинут с места...

Стараясь побороть в себе беспричинную обиду, Санька спрятался за серый кафтан. Подождав минуту-другую, он снова посмотрел на мужиков. Они спокойно курили трубки, глотая вместе с пищей сухой махорочный дым. Наконец, осмелев, Санька спросил у Полушки о том, что не давало ему покоя с самого утра: кто же на самом деле этот Отченаш — не иначе как пан начальник?

— Макарий? — удивленно спросил Полушка и уставил на хлопца заплесневевшие глазки. — Какой к черту пан! Из него пан как из моей драной сермяги царский кафтан. — И, очень довольный своей остротой, зашамкал-засмеялся. — Отченаш, чтоб ты знал, голодранец, такой же, как и мы все. А то, что он над нами старший, это верно. — И Полушка подробно стал разъяснять парню о порядках в лесорубской артели.

Здесь нет ни пана, ни холопа, все одинаково трудятся. Но есть, так сказать, старшой, которого никто не назначает, а сам курень признает его — за опыт, за силу, за ломовую работу. Вот и Макар Иванович, буйный черт, крепко управляет артелью; выпьет — так сразу полведра сивухи и глазом не моргнет, а если возьмется за работу — разом десятерых в гроб загонит.

— Паны в шалашах не живут, куды там! — пояснял Полушка лесные законы. — Паны в конторах сидят, заморские табаки раскуривают, как Митроха — приказчик Бобринского. Вот Митроха

нагрянет — сам увидишь: такая собака, пальца в рот не клади — сразу откусит.

— А Бобринский кто? — допытывался парнишка.

— У-у-у! — загудел Полушка, навострив колючие глаза. — Бобринский — это сила. Вся земля до Сожи — его, дорога, склады, лесопилки тоже его. И еще восемнадцать артелей работают на Давида Бобринского. Пан на всю губу-губернию, золота что мусора, а живет бобылем. Рассказывают, будто сам себе похлебку варит и портки стирает.

«Что-то нескладное! — подумал Санька. — Получается, паны не живут в шалашах, золота у них как мусора, а белье сами стирают...»

— Эй! — позвал Отченаш. — Кончай разговоры. Работать надо!

После обеда приставили Саньку к скобелю. «Это, конечно, будет полегче, чем пилить»,— решил обрадованный Санька. Взобрался он на сваленный дуб, как на коня, и стал сдирать кору. Кора черная, будто обугленная, с глубокими рытвинами. И то ли тупой был струг, то ли Санька не мог приловчиться, но сначала у него ничего не получалось: струг или скользил по самой поверхности коры, или заедал, делал зазубрины. А ведь надо было кору снимать гладко, до самого красного, так называемого камбиевого, слоя. Хорошо обчистишь луб — бревно сразу становится гладким, густо-бордовым, будто освежеванное. Но это не просто — свежевать ствол. Сядешь верхом на комель и рвешь на себя струг,— а он, черт лысый, не идет, глубоко врезается; ты сильнее рвешь на себя — выскальзывают ручки из рук. И ты носом клюешь о ствол, а потом начинаешь все заново... Опять направляешь скобель, уже не так глубоко, тянешь — и снова не то получается: содрана только верхняя шелуха, и запылило глаза. Это раздражает, совсем выводит из терпения. Парнишка поплевывает в ладони, удобнее устраивается на бревне, но ему что-то жмет под мышками, руки будто не свои. Еще во время обеда Санька почувствовал, как горят его ладони, как огонь ползет по рукам, а кровь бешено стучит в висках.

Боялся Санька лихорадки, боялся одного — чтобы мужики не заметили, как он слабеет; он подавлял в себе усталость, пытался быть равнодушным к любой боли, к ломоте в суставах, но если хвороба привяжется, от нее не отмахнешься, как от мошкары.

— А ну, покажи руки! — неожиданно подойдя к Саньке, сказал Отченаш.

Парень сжался в комок. Наверное, распиливая с мужиками бревна, Отченаш все-таки следил за ним.

— А ну, покажи! — повторил пан начальник. Он взял правую Санькину руку, крепко сжал в запястье и повернул ее ладонью вверх. — Так-так-так,— протянул зловеще и свирепо блеснул глазами. — Я так и знал — пузыри кровавые... Этак у тебя, брат, скоро вся ладонь вздуется. А потом, чего доброго, загноится рука, мало нам одного с волчанкой...

Он за воротник поднял в воздух Саньку, опустил его на землю и сказал, обращаясь не столько к парню, сколько к лесорубам, которые молча глядели на него:

— Ну вот что. Заночуешь у нас, а с рассветом валяй домой. Здесь тебе не богадельня и не приют для инвалидов. Здесь, сынок, смертная работа.

И осталось в Санькиной памяти: Полушка (он стоял в толпе лесорубов, как сотлевший гриб под шапкой-моховичкой) сокрушенно вздохнул, словно подтверждая этим: такова, брат, судьба, тут ничего не попишешь.

А потом был шалаш, темная, дождливая ночь с приглушенным шумом высоких деревьев, с тихим всхлипом осенней слякоти, за куренем или ветер завывал, разбрасывая мокрые листья, или долго бродил голодный зверь. А здесь, как в пещере, было тепло и дымно, шипели в огне сухие осиновые ветки, качались черные хлопья копоти и сажи, свисавшие с прокуренных стен. Вверху, где в одну точку сходились длинные жерди, едва заметен круглый пятачок — это дымоход. Однако тяга была такая слабая, что дым медленно стелился понизу, пахло мокрым, сопревшим сеном; смешанное с листьями, оно-то и служило лесорубам постелью.

Смирившись со своей судьбой, Санька улегся рядом с Ксаверием. Он глядел на багрово-желтые языки пламени, которые выхватывали из темноты какие-то неясные и таинственные видения. Кто-то заслонил огонь, и тогда озорно вспыхнул на нем рыжий чуб, а узкая горящая полоска хорошо вычертила темный контур человеческой фигуры; иногда видения вдруг исчезали, пропадали во тьме так же быстро, как и возникали. Потом к огню тянулась рука, очень похожая на длинную ветвь дуба; она была тяжелая и темнокожая, только осветленная сторона ее жарко-красная. Таинственно ожившая рука, начавшая двигаться, повесила портянки на деревянный колышек и исчезла. Пламя задрожало на портянках (или это ему почудилось), запрыгало на стенах горящими бликами. Вот показалась косматая голова Отченаша, блеснули синие зрачки, сверкнула трубка, огонь перекинулся в угол и там время от времени мигал.

Задержавшись на минуту у костра, Полушка сонно почесал пятерней сухую волосатую грудь, о чем-то поговорил с ветками, низко нависавшими над его головой (может быть, прочитал молитву), и только потом медленно, как тень, побрел в свое темное логово. Когда Саньке надоело наблюдать за мигающими бликами огня, за пляской теней, он повернулся на бок, локтем продавил гнездышко в прелом сене и закрыл глаза. Так он и лежал не раздеваясь, чтобы к утру, когда все еще будут спать, он смог бы тихонько уйти из куреня.

За порогом притаилась тьма. Ветер гонял мокрые листья, покачивал стены шалаша. Казалось, кто-то стучал к ним озябшей лапой в дверь в надежде погреться. Висевшая у входа рогожа с шумом качалась от ветра, и понизу полз болотный запах осеннего леса, испуганно дрожало пламя, и от всего этого парнишка никак

не мог уснуть. Он пробовал разобраться: что это — сон или мираж? Все путалось в голове, словно он шел куда-то за толпой, а под ногами шуршали большие охапки листьев, а кто-то повторял: «Ваичес, ваичес...» «Саичес, маичес, бончес»,— всплывали шепотные слова, бессмысленные и путаные, напоминающие детский лепет. И долго еще ворочался Санька с боку на бок, то и дело прикладывая ладони ко лбу, к горячим щекам,— они жгли, нестерпимо горели; невыносимая боль чувствовалась даже сквозь сон. Может, он разбудил Ксаверия, а может, тот вовсе и не спал, тоже ворочался и тоже тихо стонал... «Ланчес, кончес, гинчес»,— тьфу ты, прицепились эти слова, как банный лист, никак не отвяжешься от них. Санька осторожно приподнялся на локтях и, вытянув, как гусь, шею, посмотрел на соседа: тот уже лежал лицом вверх, в отблесках огня пересыпались искрами русые волосы, зловеще вырисовывались черные проемины глаз... даже мороз по коже прошел. Санька придвинулся к нему и тихо на ухо шепнул:

— Ксаверий!

Тот не отозвался.

— Ксаверий! — повторил он.

Снова молчит.

— Живой ты?

Не отвечает. А потом нехотя:

— Тебе чего?

— Больно?

— Уже не так. Утром — да...

— Послушай,— спросил его Санька, легонько тронув за плечо,— скажи: что такое ваичес? Застряло в голове — никак не вышибу.

— Ваичес? А ты что, не знаешь, чудак? Это, брат, полесское диво. Во всех краях и землях знают его, по всем морям оно плавает. Вот что такое ваичес. — Санька впервые слышал голос Ксаверия, он был глухой, слабый, тихая грусть и скрытая ирония чувствовались в нем,— так говорят люди после тяжелой болезни. — Ваичес... Видел дубовые брусья? Если их просмолят, хорошо промаслят, нет ничего крепче на свете. Что железо по сравнению с ним? Ржавчина его съела — и все. А мореный дуб? Жук его не ест, гниль не берет, сто, а то и двести лет ему износа не будет, еще тверже становится, гудит, как медь. Наши деды церкви и высокие хоромы возводили из дуба, да так, что эти строения и по сей день стоят, и нас с тобой переживут, вот увидишь... Только какие мы хозяева? Валим, пилим столетние дубы — и куда? На дрова, на бочки... Такому лесу цены нет, а мы в грязь его. На пустяк изводим. Вот когда-то, давно это было, прослышал англичанин о полесском богатстве, приехал сюда с копеечным товаром. За духи и ситчик сразу весь дуб на корню закупил, тот дуб, что созрел, и тот, что стоял пока еще в желудях. Англичанин, брат, не дурак, у него и шило бреет. Мы бочки делаем, а он — корабли, мы — клепку, он — ковчеги, и Ною такие не снились. И на тех ковчегах по всему миру плавает, заморские земли завоевывает, золото за-

гребает — и чем? Нашими же бочками. Говорят, очень ценит заграница полесский ванчес,— в морской воде просолившись, он твердеет, как стекло, не коробится, не гниет. Одним словом, вечный брус, ванчес... А потом и наши купцы опомнились, стали брать за него золотом, но нам, лесорубам, от этого не стало легче. Как платили, так и платят медный грош... полушку.

— Что? — сонным голосом отозвался Полушка.

— Ничего, мы просто так.

Хлопцы тихонько усмехнулись и сразу притихли.

Ветер скребся в дверь, ночь тяжело навалилась глухим шумом, казалось, что курень засыпает лиственной порошей, засыпает под шелест, под баюкающий шепот, и среди голой тьмы слабо бился огонь, он затухал, покрывался сизым пеплом. У Саньки было такое чувство, будто они вместе с Ксаверием, как тот пугливый огонь, остались одни-одинешеньки в лесу, где-то лежат в берлоге, а кругом глубокая ночь, глухо раскачивающийся лес, черные овраги и болота, а где-то во мраке бродит зверь. Они только вдвоем, и их заметает листьями, горелым и горьким мхом, да так, что глаза разъедает...

(Тихо тлели угли в догорающем костре, под ватники заползал угарный дымок и запах потухшей золы.)

...Глухо скрипит сосна, кто-то насвистывает рядом, кто-то храпит, удобно устроившись под сухими листьями. Храпит тяжело, напряженно, будто с трудом подымает каменную глыбу, сильно сдавившую грудь. «Лесорубы,— подумал Санька,— небось устали, бедняги...»

— Санька! — окликнул Ксаверий и придвинулся поближе к парнишке, прижавшись к нему, как к младшему брату. — Расскажи что-нибудь! — попросил он грустно.

— Что рассказывать... сам ничего не знаю,— ответил Санька.

— Ну, тогда соври, да получше, а то сон никак не идет...

Санька смутился: никогда ему не приходилось забавлять рассказами взрослых да еще чужих людей. Разве что в школе отвечал перед всем классом... Он уцепился за воспоминание о школе, и в памяти воскресла отцовская хата, потом церковь из дубового теса, что по самые окна в землю вошла, а там ризница, темная и унылая, с низким, почерневшим сводом. Санька стоял у доски, и сами просились из души величаво-спокойные, точно утренний звон над лугом, задумчивые строки из стихотворения Никитина:

Звезды меркнут и гаснут...

— Ну хорошо,— быстро согласился Санька и, повернувшись лицом к Ксаверию, добавил: — Врать не стану, послушай, что я знаю наизусть. — И начал медленно, неторопливо, стараясь говорить баском:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозияка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь-безлюдье вокруг.
Чуть приметиа тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.

— Ишь какой грамотный, чертенок! Смотри, что знает!

Голос Отченаша раздался так неожиданно и так близко, что Санька вдруг поперхнулся на полуслове. Испугавшись, он притих, растерянный и смущенный, осторожно прислушиваясь к тому, что еще добавит беспокойный Макарий.

— Думал, подкидыш холопский, темный, как все, а оно вишь какое ученое: «брызнет роса серебристая...» Здорово! — возбужденно сказал Огченаш.

Стоя в одних портках, он бросил в огонь поленище и неповоротливо, как медведь, обернулся к парнишке:

— Давай, сынаш, валяй дальше, только не ломайся.

Санька почувствовал, как зашелестела подстилка, как закряхтел у стены Полушка. Наверное, кое-кто из лесорубов не спал, а может, только проснулся, чтоб послушать книжную мудрость. И Санька стал еще громче читать первое, что пришло ему на ум:

Всем ие стать пировать... К горьким горе идет,
С иими всюду, как друг, уживается,
С иими сеет и жиет, с иими песии поет,
Когда грудь по частям разрывается...

— Вот это да! Это без брехни! — повторил Отченаш и направился в темный угол, а потом оттуда спросил: — А писать умеешь?

— Умею.

— И считать горазд?

— Научился. Не только простые задачи, но и с дробями.

— А скажи, вот такую химеру осилишь? Слушай: в одном стволе дерева три кубометра ванчеса и семь с половиной клепки, а мы распиливаем в день шестнадцать кряжей, вот я и хочу тебя спросить: сколько всего получается за неделю?

Санька быстро зашевелил губами, сложил семь с половиной и три, помножил на шестнадцать, потом на шесть и выпалил, как на уроке:

— Тысячу восемь!

— Сколько-сколько?

— Тысячу восемь!

— Вот видишь, стерва! — вдруг выругался Отченаш. — Я ж ему, собаке, доказывал: «Махлюешь, Митроха!» А он: «Семьсот с гаком — и баста!..» Ну, подожди, падлюка, подкручу тебе хвост... Забудешь, как мать звали.

И, все еще злой, Отченаш сердито процедил сквозь зубы короткое: «Спать!» — и сам тоже лег, тяжело повернувшись на правый бок.

Никогда еще Санька не видел таких удивительных снов... Вроде бы лес не лес, море не море, было что-то бурно-неспокойное, прямо в небо вздымались купола деревьев, напоминая тучи перед заходом солнца — то желтые, то багровые от яркого зарева, а между облаками шли лесорубы, легко выворачивали плечами дубы и бросали в гулкую пропасть. И так, пока к самым ногам Саньки не упал с грохотом кряж толщиной не меньше, чем с хату («Это, конечно, сон»,— подумал во сне Санька). Но, внимательно присмотревшись, заметил, что это вовсе не кряж, а дубовый ковчег, тот самый, о котором ему недавно Ксаверий рассказал, и что вы думаете? — на том самом ковчеге стоял не кто иной, как Отченаш; направляя большое судно на самые гребни бешеных волн, он кричал простуженным басом: «Ванчес-санчес-манчес!..»

Проснувшись, Санька долго и растерянно моргал глазами, но голос Отченаша не умолкал,— наоборот, звучал где-то совсем близко, в нем чувствовалось раздражение, а все потому, что кто-то ему посмел возразить, разговаривая с ним неуважительно, тоном хозяина.

— Как понимать прикажешь? — спрашивал чужой.

— А вот так... Кончилось ваше царствование!

— Бунтуете, значит?

— Бунтуем! Давай табель и вали отсюда хоть к самому Бобринскому. Придешь и скажешь: дескать, прогнали Митроху, как последнего пса.

Только теперь Санька сообразил, где он находится. Первое, что пришло ему на ум,— проспал: серый рассвет уже заглянул в курень. Из своего угла Санька увидал какого-то незнакомого человека. Тот стоял у дверей, заслоняя свет. Санька мог разглядеть только хромовые сапоги с голенищами в гармошку, брюки из дорогого сукна и кругленькое брюшко, да еще из его жилета свисала длинная золотая цепочка. А потом Санька услышал, как за стеной устало фыркала загнанная лошадь.

«Митроха приехал»,— догадался мальчуган.

Приказчик хлестнул нагайкой по голенищам, покачал животом и сказал:

— Вот возьму и наряд не закрою, не оплачу поденно, что тогда запоете?

— Сами наряды закроем,— глухо прохрипел Отченаш. — И все до копейки придется выплатить, куда вам, панам, без нас деваться... Ну, а если по-своему гнуть будешь, все артели против вас подниму...

— Как понимать? — возмутился Митроха.

— Так и понимать!.. Хватит, откормил себе брюхо на наших харчах. У нас будет свой замерщик, ясно? Ты думал, мы дураки дураками, а мы тоже грамотные и знаем, почем фунт лиха.

— Смотри, Макар, на поворотах поосторожнее, а то как бы грамота вам боком не вышла.

— Митроха! — взвизгнул Макар и вскочил на ноги. Пьяные глаза его бешено забегали. — Лучше уходи, пока цел, а то не поздоровится...

И приказчик, резко повернувшись, выпорхнул вон, оставив за собой запах дорогого табака.

Мерно застучал копытами конь, и его глухой, остывающий топот потонул в далеких дремучих просторах.

КОНЕК-ГОРБУНОК

Было достаточно времени для того, чтобы поразмыслить о своей бродячей жизни. До утра оставалось не то пять, не то шесть часов скучной зимней ночи.

Санька лежал в белой накрахмаленной постели. Никогда до этого не спал он под шерстяным одеялом, на войлочном матраце, в ослепительной белизне наволочек и простыней. Все это было такое непрочное, до обманчивости мягкое, что от непривычки у него даже стали немного побаливать бока. Он не привык к подушкам, к их необычному запаху... Они пахли не по-домашнему (дома белье стирали в золе или в травянистых отварах), а здесь он чувствовал то ли дух барского мыла, то ли запах чужого тела. Таким духом, чужим и неприятным, насквозь пропиталась и вся, немного великоватая для него одежда. Эту обновку совсем недавно принесла Стефа. Она дала ему яркую, пеструю рубашку (расцвеченную большими зелеными листьями на голубом поле) с высоким стоячим воротником, дала узенькие полосатые штаны и полосатый сюртук — пуговицы медные, полы, как говорят, с разлетом: «Не дуйте на меня, а то улечу!» В таком наряде он видел только нагловеселого парня, который прислуживает в трактире. Принесла Стефа и ношеные, но еще крепкие ботинки с тонким белым рантом. Предложила Саньке переодеться, а свое тряпье выбросить. Конечно, легко ей говорить — выбросить... Санька подумал, прикинул, связал домашнюю одежду в узелок и запихнул ее под свой низенький топчан, на котором он спал. Пускай лежит, может, когда-нибудь еще понадобится.

А сейчас он чувствовал себя намного увереннее от мысли, что здесь, совсем рядом, лежит старый кафтан, шитый и чиненный руками матери, холщовые штаны и рубашка,— они по-прежнему сохраняли тепло его тела. Домашняя одежда пахла хатой, осенним лесом, дымным куренем и той бродячей жизнью, которой он жил последнее время. Неожиданно для себя он очутился здесь, у самого Бобринского, сменил черный уголек на конторское перо.

Итак, об этих углях, с них-то все и началось.

Если землей засыпать жарко горящие чурки, оставить их на некоторое время с тем, чтоб они хорошо перегорели, продымились, то недотлевшие головешки превращаются в древесный уголь. Твердые, с черным, смолистым блеском, они пишут не хуже графитных палочек. Бывало, пронумеруешь углем кряжи и колоды — и дождь не смывает. Уголь готовят, конечно, не для писак, а для кузнеч-

ного дела, для разжигания самоваров. И лучше всего — из дуба, из ясеня и граба. Санька не один раз видел в лесу угольные кучи: высокие, засыпанные сверху землей, дымят они день и ночь, дымят целыми месяцами. Вокруг них ходит угольщик, черный, будто только что его из мазута вытащили, одни зубы белеют; знай поправляет кучу, посыпая ее сырой землей, да еще сверху прибивает ее лопатой, чтоб случайно не пробился огонь изнутри. Из таких вот куч и выбирал паренек для себя угольки.

Санька быстро осилил премудрость замерщика. Кое-что ему подсказал Отченаш, кое-что домыслил он сам. Дело не ахти какое хитрое. С утра обойдет участок, пронумерует сваленные деревья, определит сорт, измерит кубатуру распиленного леса.

Все это он аккуратно записывал в табель, старательно подсчитывал уже сделанные замеры и выводил общий итог работы артели. Обычно сидит Санька на пеньке, пишет на колене огрызком карандаша, а вид у него такой озабоченный, что лучше не подходи к нему. И все-таки он замечает, что Полушка и еще кто-то из мужиков нет-нет да и завистливо уставятся на него: вот что значит ученый человек! Занятие панское, чистое, не то что у вальщиков, которые ворочают пни так же, как ворочали их деды и прадеды, и гниют в болоте, как и прежде...

Уже потом, когда Бобринский уговорил Саньку работать у него, Отченаш ему сказал: «Иди, иди, голубчик, не ты первый, не ты последний. Так было и так будет всегда. Как только батрак выбьется в науку, его со всеми потрохами купят — и денежки дадут, и на теплое местечко посадят, и барышню подсунут, чтоб замутить мозги, чтоб и не вспоминал он грязи, в которой сидел среди людей. Так, глядишь, натравят нищего на своего же брата, на мужика... И он уже волком глядит на своих же...»

Санька прислушался, но ни тепла, ни биения сердца не почувствовал он — под ухом хрустела накрахмаленная подушка, даже волосы терпко пахли душистым мылом, а где-то (наверное, в спальне Бобринского) глухо скрипели половицы. Бобринский... Не иначе как потешается хозяин со своей добрячкой. Стефа у пана за экономку, хозяйка не хозяйка, жена не жена. Он еще и рта не раскроет, а она уже бежит: «Что изволите?.. Ноги помыть?» На людях он избегает ее, а если позовет, то обязательно прикажет, обращаясь к ней только на «вы»:

— Стефанида, накройте, пожалуйста, на стол...

— Простите, что вы принесли?..

— Если можно, подайте салфетки...

Так он ведет себя на людях, а по вечерам... Недавно Санька шел мимо окна, посмотрел... и сразу остолбенел, даже мурашки забегали по коже. Там, в спальне, стояла перед зеркалом Стефа. Она стояла в белоснежной рубашке, стояла красивая, пышная, с толстой русой косой. А вокруг нее, точно петух, кружился и кудахтал Бобринский. Рассказывали, будто он сам бульон варит. Да ну их всех... совсем не об этом хотелось Саньке вспомнить. Вспомнил он почему-то о Коньке-Горбунке.

Лесорубы живут без света, просто он им ни к чему. Если и зажигают огонь, то только для того чтобы обогреть курень, высушить мокрую, просоленную одежду. Этих темных ночей, этих тихих бесед в курене Санька ждал, как рождества. Спать ложились все вместе, тесно прижимаясь друг к другу — для того, чтобы было теплее спать; к нему всегда по-братски прижимался Ксаверий — он был еще молодой, не огрубел, как его товарищи, теплыми губами касался горячего Санькиного уха, уговаривая чего-нибудь соврать на сон грядущий. В этой просьбе: «Ну-ка, Саня, соври что-нибудь, да получше!» — чувствовалась мужская любовь, немножко грубоватая, немножко покровительственная, и чувствовалась зависть сильного и все же слабого перед человеком грамотным.

Любили лесорубы послушать о чем-то веселеньком, о чем-нибудь таком, что могло расшевелить их заскорузлые души, а то, сказывали, от черной копоти да мазутной сажи темно даже в самой печенке. А что тут расскажешь? Ну, вспомнил про деда Мазая — послушали, рассудили, сами припомнили десяток небылиц. Рассказал про попа и Балду — все громко хохотали, потом дружно промывали косточки всем «святым», которые не дураки были погулять с чужими молодухами. А что еще мог вспомнить веселое парень, если своего веселого не было, а ума-разума набирался в школе всего две зимы?

Словом, недолго царствовал Санька на вечеринках. Только Иисус мог творить такие чудеса, чтобы одной буханкой накормить сразу весь народ. А Санька поскребся — ничего не осталось за душой, все забавные и печальные истории рассказал. Про бурлаков — читал, про несжатое поле — читал, про мужичка с ноготок — раз сто!

И вот настало время, когда Санька, еще раз покопавшись в долгих извилинах своей памяти, вдруг чистосердечно признался: «Не знаю, братцы, больше ничего...»

Наверное, Иисус обращался к чуду потому, что не жил среди лесорубов. А здесь чуда не было, здесь мужики сами спасли своего проповедника, собрали по копейке и сказали: «Бери на книги!» В лесной корчме, у еврея Марка, продавалось все — от булавок и ниток до Библии и картин Страшного суда. Там-то Санька и разыскал лубки. Это были книжки-гармошки, из крепкого картона, забрызганные краской, вдоль и поперек украшенные нравоучительной мудростью. Стоили они совсем недорого, и поэтому Санька с жадностью на них набросился; к нему подсаживался Ксаверий — он уже стал поправляться, понемногу втягивался в работу — и, тыкая пальцем в книжку, спрашивал:

— Это какая буква? А это?

За такими занятиями, опершись о пень или о бревно, они разговаривали о житье-бытье, и Санька узнал, что Ксаверий самый старший в семье, отец его погиб во время войны с японцами; младшего брата отдали в школу, и теперь Ксаверий один-одинешенек тянет все домашние заботы — с братовой наукой, с горькими за-

работками сестер, со вдовьей печалью и болезнями. Он упрямо мусолил буквы, за неделю научился читать лубки по складам, с ними он никогда и не расставался. А Санька вскоре остыл к цветным гармошкам — не было там ни веселого, ни грустного, так себе, пустячки.

Кстати, Санька сразу стал сомневаться: Стефа — госпожа или всего-навсего прислуга? И не потому, что ей было только двадцать лет, а Бобринский истрепанный, лысоватый. Нет, наверное, не поэтому. Хотя Стефа и прихорашивалась, и пахло от нее не хуже, чем от душистых подушек, но ходила она как-то неуклюже: там стукнет, там ведром громыхнет... от всего этого Бобринский только недовольно морщился. Потому что сам он делал все аккуратно и не спеша, с чувством собственного достоинства. Пиджак надевал — пальцы неслышно пробегали по пуговицам, причесывал мелкие кудряшки, подстриженные под машинку, то каждый волосок в отдельности приглаживал, а чай пил — и губы не замочит, и уж никогда не сопел, как Стефа. Голова у Бобринского тяжелая, как будто литая, с красным покатым лбом, и сидела она на его короткой шее так крепко, будто вросла, отчего вся его фигура казалась упругой и массивной, но он бесшумно и плавно передвигался по комнате, а если нервничал, то семенил мелкими шагами и тоже тихо, только расставляя носки широко врозь, вроде валетом.

Когда Санька появился в доме Бобринского, Стефа насторожилась. Кто поймет сразу женщину? Может, он мешал ей, может, напоминал давно позабытую жизнь, ту, от которой она убежала сюда.

Но речь сейчас не об этом...

Избавившись от лубков, Санька снова пришел к Марку. Протянул ему нагретые в кулаке медяки, собранные на «штиво», как говорил Полушка.

— Есть ли у вас книга такая, правильная, чтобы была без брешешь?

— Бог ты мой! — воскликнул Марко и поднял к потолку глаза. — У Марка есть книги и с брешешь и без брешешь. А для такого красавчика, как ты, я припас немыслимую вещь, сам царь ее читал, читала и Варька и оставила для Марка. Хе-хе-хе!.. Вот она, цимес, сиропчик, только понюхаешь — умереть можно!

Марко вытащил из-под прилавка старую, потрепанную книгу, подул на желтый переплет, сунул Саньке под нос: «Понюхай — умереть можно!» Сбитый с толку красноречием корчмаря, Санька в самом деле понюхал книжку («Не иначе как мышами пахнет») и только потом заметил на обложке: летит в небесах двугорбый конь, грива полыхает ярким огнем, на коне сидит какой-то детина, рубаха у него нараспашку, а лицо счастливое, как у придурка.

Это был «Конек-Горбунок» Ершова. Недаром Марко-плут содрал за нее все деньги, которые были у парня. Но потом, и до самой смерти, Санька будет благодарен корчмарю за книгу: ее можно читать, можно напевать, а уж другим рассказывать можно без

конца. Это как сон с похмелья: спишь — и чудится тебе, что спать хочется...

Санька так увлекся книгой, что ходил как слепой, ничего не замечая, спотыкался о пни, на ощупь измерял анкеры и бо́ды, а перед глазами — диковинные приключения Иванушки-дурачка.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Жадно читал мальчуган книгу, то и дело мурлыкал стихи под нос, они были похожи на песню, и нельзя было их не выучить наизусть. И он действительно выучивал за день десяток, а то и больше страниц певучих стихов. А вечером, когда ложились спать в курень, кто-нибудь из лесорубов просил: «Ну, давай, Санька, что там наш брат Иван начудил». И Санька начинал читать. По памяти.

Порхал над огнем синий коршун, раздувая крыльями черную сажу, и в призрачном дыму, в горячих языках пламени оживала сказка. Не спит простодушный Иванушка, выбегает в поле, свистом кличет своего диво-коня, из тьмы выплывает огненное чудо, Иван вскакивает на Горбунка, и вот они уже взлетают под самые облака. Летят долго, наслаждаясь прохладной мглой, словно наблюдают, как дремлет на земле обман и зависть, как лукавство лежит в обнимку с бесчестьем. Но вот тускло забрезжит рассвет, сонно вздохнет земная мошкара, и снова опускается Иванушка на грешную землю и превращается в дурачка.

В такие минуты, если кто пьяным вваливался в курень, крякая и горланя «Шумел камыш», Ксаверий грубо выталкивал запоздавшего гуляку туда, где «шумел камыш»,— в канаву, а здесь в клубах дыма по-прежнему жил и царствовал Конек-Горбунок.

Санька верховодил на вечеринках, и сознание своего превосходства над серяками приятно щекотало его самолюбие, голос его креп, становился увереннее, и Саньке казалось, что так пойдет он в жизнь — летя над землей, над болотом, над мужиками, разве он не ухватил за гриву своего чудо-коня: как-никак, а уже стал замерщиком. И Санька парил под облаками, но тут его грубо одернул и поставил на землю Отченаш.

— Слушай, парень,— сказал он однажды,— кончай свои сказки. Эти басенки специально для нас, для темных, придуманы, чтоб Иваны цацками забавлялись, чтоб дурень спал и видел себя в раю, а тем временем Бобринский с Митрохой из нас последние портки стащат.

Тогда Санька еще не понимал, почему так ощетинился Отченаш.

«Ворчливый старик»,— подумал он, решив, что такому никогда не угодишь.

Но все это пустяки: дым по-прежнему вился над костром, сказка жила в курене, и Санька блаженствовал.

Так продолжалось до воскресенья, до того самого дня, когда получили лесорубы деньги. «Айда в трактир!» — позвал всех Отченаш, и, по старому обычаю, все шумной толпой повалили за вожаком в корчму пропивать получку. В курене остались только двое: Санька и Полушка. Полушке нездоровилось — болели ноги,— он с головой укрылся, засыпал себя листьями и захрапел. А Санька подумал: как хорошо все-таки он поступил, отказавшись идти со всеми в трактир. Зачем ему водка, пьяная брань и поножовщина?

Выбрал Санька из большой кучи ясеневые ветки (они меньше всего дымили), бросил их в огонь и стал чинить совсем износившиеся лапти. Вот лыко готовое, так вымочено и высушено, что захочешь не захочешь — не поломаешь. Санька подрал его на узенькие полоски и стал вплетать в стоптанные задники.

И вдруг крик:

— Санька-а-а!

Как из-под земли вырос Ксаверий. Он не вошел, а вбежал, грудь тяжело дышит, рот перекошен, кровь на губах...

— Убегай, парень. Беда! Подрались в корчме. Идет Отченаш, сказал: раздавлю христосика, чтоб не строил из себя пана Халявского. Торопись...

«Так, так, так... Значит, Отченаш?» — лихорадочно подумал Санька и вспомнил, как сидел он, бывало, с Ксаверием за лубками, учил парня грамоте, а Отченаш недовольно ворчал: «Сметанки захотелось, братва?» Потом, глянув на притихших грамотеев, сердито предупреждал: «Смотрите, щенки, чтоб из ваших волчанок и пузырей потом не получились дамские мозоли...»

— Убегай, слышишь, сейчас придут они! — повторил Ксаверий и потряс парня за плечи.

Санька как сидел (лапоть в руке, левая нога в портянках), так и шмыгнул из куреня. А куда?

Трещало в кустах, хрипели голоса, всех покрывал громовой голос Отченаша:

— Эх, б-братва! Г-гуляй!.. Где с-сморкач, ангел-утешитель? Пускай с нами п-пьет, а не то в морду-у...

Ломались кусты, больно хлестали по лицу ветки, но Санька бежал, разрывая худую одежду, а вдогонку летели смех и пьяная брань.

Ночь была темная и тревожная, притаилась лесная чаща, словно караулила кого-то. Дошел Санька до нижних складов, тех, что у Сожа, и тут, среди наваленных досок, гнилых бревен и речных наносов, улегся и дрожал до утра, клацал зубами, как бездомный пес. Хорошо, нашел кучу сосновой стружки, пусть с золой и мокрая, зато лучше, чем на голой земле.

К утру выпал мокрый снег; тихий, печальный, он даже не выбелил землю, холмы и сейчас стояли рыжие, покрытые плотной корой мокрых, слежавшихся листьев. После такого снега лес пестрел белыми и рыжими пятнами, в глазах рябило, и Санька шел, низко опустив голову.

Еще издали он увидел стойбище, черное, изрытое ногами... А где же сам курень? Нет его. Пустынно и одиноко стоит обгоревшая сосна, а под ней куча пепла, беспорядочно валяются обугленные бревна. Что за оказия?

Со страхом приблизился Санька к куреню. Взлохмаченные лесорубы, сбившись в кучу, разноголосо гудели, совсем как потревоженный пчелиный рой. Сделал Санька еще несколько шагов и замер. Резко запахло гарью, словно дымились рубища лесорубов. Вымазанные сажей, растерянные, с глазами, налитыми кровью, мужики быстро, по-воровски, что-то разгребали. Подошел Санька совсем близко: черный сноп, весь обгоревший... человеческий скелет еще с кусками тряпья и мяса... жирная сажа, спутанные волосы, череп с глубоко провалившимся ртом.

— Кто это?!

— Замолчи! Не видишь — Полушка.

— Вот и погуля-али...

...Санька аж съежился в мягкой постели; неприятно закололо в бок,— наверное, от воспоминаний. Там — черное, обгоревшее тело, смрад, ветер, сдувающий пепел. А здесь — чисто и тихо, кожа пахнет душистым мылом. Санька прислушался: за стеной тихо скрипели половицы. Наверное, покорная Стефа развлекает пана Бобринского. Интересно, скоро ли наступит утро?.. Уже позднее ему рассказывал Ксаверий, как пили лесорубы, как рвали одежду, хватали за волосы, харкали кровью, дрались так, словно кололи дрова, срывая друг на друге свою ненависть к жизни. Рассказывал Ксаверий и про то, как сгреб Отченаш в охапку сразу пятерых и повалил на курень. Не выдержали толстые стояки, треснули. Разве сдуру кто помнил, что в курене спит Полушка, греет у огня свои ревматические кости...

Нагадала цыганка. Не обошло и Полушку заклятие.

«...троих забрал господь, жена лежит дома в чахотке, не встает, только даром хлеб переводит».

Погуляли ребята, пропили все, до последнего гроша. Теперь будут бегать к Марку с протянутой рукой, выпрашивая чего-нибудь под процент. Когда ходишь голодный, как волк, никакой долг не пугает (подумаешь, шесть процентов), а как отдавать — ого-го сколько набежит за месяц?! К примеру, взял ты всего три рубля, а возвращать изволь сразу все десять. А где такие деньги взять, до самого рождества столько не заработаешь. А жить на что? Уже и так жена погнала детей в лес, к отцу, чтобы денег дал на земельный налог, урядник душу выворачивает...

Вот тебе, парень, и наш Конек-Горбунок!

Похоронили Полушку, построили новый курень. И пошло как будто все по-старому... Нет, не узнать теперь Отченаша, словно

подменили его. А может, только кажется. По-прежиему он редко разговаривает с Санькой, спросит иногда о иарядах или пошлет в трактир за «мерзавчиком». При этом избегает взгляда, в больших его цыганских глазах затаенная злость на христосика, иа грамотея, который уже возомиил, что ои чище и благородиее мужика. «Хотел нос утереть сопляку, а ишь как обернулось»,— ие раз доимал себя Отченаш.

И как он уже тогда раскусил, что Саиька позарится на легкие деньги, иа панские харчи? Ведь сиачала пареиьку казалось, что ему просто повезло, что иичего плохого в том нет — ухватиться за гриву удачи.

Словом, за месяц Санька выучил назубок лесорубиую грамоту. Мог без труда иа глаз или метровкой замерить площадь вырубки, определить сортность, количество деревьев, их кубатуру. Появились у него и свои секреты.

— А ну,— хитро спрашивал парня Ксаверий,— скажи мие, какая высота у этой ольхи?

И Санька, довольиый собой, улыбался: «Сейчас определим». Становился спиной к ольхе, иамечал себе точку и ровным шагом двигался к ней, отсчитывая пройдеиное. Он шагал полусогиувшись, пока ие увидит между коленями верхушку дерева.

— Двадцать три сажеии! — кричал Саиька Ксаверию. И можно было не сомневаться: это уж точио!

Иногда к обеду собирались все — и лесорубы, и подрядчики, а то и купцы с соседних участков. Усаживались вокруг костра, дымили трубками. И тогда Санька развлекал их хитроумиыми задачами. Скажет: «Задумайте какое-ибудь число, перемиожьте в уме и разделите, сложите и отнимите»,— а потом быстро отгадывал: «Сто пять задумали». Или: «Триста семь!» Плутоватые купцы, которые съели на процеитах ие одну собаку, удовольствеино прищелкивали языками:

— Голова! Ну и голова! Даром что молод, зато как мозгами ворочает!

Так и сидел Саиька в окружении купцов и мужиков, чертил углем на пне какую-то задачу, как вдруг услышал приглушеиный шепоток: «Бобринский, Бобринский...» У всех забегали глаза, зашуршали кожухи.

Посмотрел и Санька, видит — какой-то пан.

Тот стоял немиого поодаль от людей и, стараясь быть незамеченным, внимательио смотрел иа смекалистого парня.

Наверное, ои пришел давио и молча иаблюдал, как «колдует» Санька. Взгляды их встретились, пареиь смутился под лукавой улыбкой Бобрииского; с виду паи казался приветливым хозяииом: плотиый, чистеиький, в серой каракулевой шапке, в полушубке коричневого цвета, с широким меховым воротником. Бобринский еще раз улыбнулся Саньке, иа этот раз ему даже показалось, будто паи подморгиул ему: «Браво, сыиок!» — и сразу подсел к компаиии. Спросил про вывоз леса, про заготовку шпал, поинтересо-

вался, много ли остается отходов, и еще о чем-то, потом поднялся и, прощаясь, обратился к Саньке:

— Сегодня же зайдите ко мне в контору.

Так и сказал: «Зай-ди-те».

...Это был незабываемый вечер. Они сидели вдвоем за столом (нет, только представьте себе: он, Санька, и с кем? — с самим Бобринским!), перед ними уютно горела настольная лампа, над головой — синий абажур, в окне синне-синие сумерки, в гостиной шумел самовар, хозяина разморило, даже выступили красные пятна на потном лице, пот блестел мелким бисером на лбу и на мягких, немного обвисших щеках... Бобринский отхлебывал чай и блаженно щурил немного запухшие глаза. Стефа уже переодела Саньку; полосатый костюм был великоват на него, все же немного жал под мышками; Санька ежился, чувствовал себя неловко, боялся шевельнуть пальцем, боялся что-нибудь нечаянно задеть и разбить. Украдкой он поглядывал, как пьет Бобринский, и только потом осторожно сам отхлебнул из блюдца и ошпарился — жжет проклятый кипяток! А Бобринский чаевал роскошно, рассказывая при этом столько интересного, что Санька сразу все и не запомнил. Казалось, пан не говорил, а сокрушался, будто разделял со своим старым другом и заботы и хлопоты... Да, не везет ему, Давиду Бобринскому, в этой жизни. Наверное, потому и не везет, что характер дурной, вспыльчивый и душа для всех нараспашку! Без недели, можно сказать, инженер, вот-вот диплом бы получил, так нет — взял и ляпнул такое, что мигом исключили его из института, надо же было ему назвать самого императора «картежником»; собственно, он картежник и есть, ведь не кто иной, как государь налево и направо разбазаривает Российскую державу бельгийцам, англичанам, французам, да кому только не спускает за долги и лес, и руду, и уголь.

И это в то время, когда в России есть свои деловые, распорядительные люди... Выгнали... И дома неприятности — с родителями и с женой. Его благоверная ужасно мелочная и удивительно ревнивая женщина, впрочем, как и все бесплодные женщины. Вот и взял Бобринский свою часть капитала и забрался сюда, в полесскую глухомань, чтобы начать свое собственное дело. К тому времени как раз лес поднялся в цене и спрос на него увеличился. (Пусть простит меня гость, если я втянул его в такие, наверное, темные и тягостные премудрости.) Ведь поживешь в болоте, среди волков, сам одичаешь и рад будешь с бревном разговаривать, только бы оно тебя слушало... Словом, характер вспыльчивый, думал — сразу потянет промысел, но не тут-то было. Все пошло вкось и вкривь. Начинать пришлось на голом месте — нанимать мужиков, запасаться лошадьми, насыпать дорогу и здесь, на чертовом болоте, закладывать собственную лесоперерабатывающую базу, распиловочные и прочие кустарные цехи, разве это работа — одно проклятье...

Санька и не заметил, как проникся настроением Бобринского, его непрестанными заботами, да и на самом деле глушь есть глушь,

не пройдешь, не проедешь, народ дикий, даже пилорамы, как лешего, чурается.

Несколько раз из-за ширмы выглядывала Стефа, посматривала на них как-то странно — нетерпеливым, умоляющим взглядом на Бобринского и раздраженно на Саньку. Наливая уже не то третью, не то пятую чашку чаю, пан только сейчас подходил к самому главному. Вырос он в большой еврейской семье, привык, чтобы под ногами возились ребятишки, смеялись или ревели. А тут Бобринскому не повезло: нет у него детей и не будет. А как хочется сына... Часто мечтается ему: славный, серьезный такой человечек, и вместе гуляют они по лесу, и Бобринский приучает его к промыслам, а потом — гимназия, институт и уже свой помощник, правая рука отца, смело можно на него положиться во всех делах и помыслах.

Тяжело вздохнул Давид Бобринский, вздохнул и Санька. Нетрудно понять пожилого человека, оставшегося и без наследника и без надежной опоры. Уже не один раз подумывал Бобринский: не взять ли себе мальчика из бедной семьи, такого, чтоб жизнью не был избалован? Он быстрее, чем родной, поймет, оценит доброту и ласку, а если еще немного его подучить, поштудировать, будет преданней любого сына, сполна за все отблагодарит. Спасибо за спасибо, как говорили древние люди, do ut des — даю, чтобы и ты мне дал...

Такие были мысли, а тут вдруг и случай подвернулся: доносит приказчик, что в одной из артелей появился сообразительный паренек мужицких кровей — лесорубы его самовольно выбрали замерщиком. Сначала Бобринский погорячился, приказал: гнать сопляка в шею. Но потом подумал: погоди... а может быть, самородок? Много ли у нас таких? А если это и есть тот мальчик, о котором он мечтал долгими печальными вечерами? Молод, неиспорчен, любознателен... Словом, пусть Санька хорошенько подумает, все взвесит, поживет здесь немного, присмотрится, и если ему понравится, то...

Санька поднялся из-за стола хмельной. Голова трещала от сильно взволновавших его мыслей. Синие сумерки, огненная грива промелькнувшего счастья и живот, наполненный чаем; вперевалку покачиваясь, пошел он в свою клетушку (через сени, за гостиной); как после бани разморило — самовар и таинственный выход в пещеру,— интересно и страшно: заводы, гимназия, настольная лампа и он за высокой кипой книг, а потом приезжает в село в карете, вот когда будет неслыханный переполох: на карете — сын Фомы Гавриловича!

Утром разбудила его Стефа и сразу набросилась: «Ну как ты спал, хамло! Подушки смял, одеяло скомкал... Это тебе не свинарник. А ну, умывайся! Завтрак стынет!» Рассеялись синие сумерки, огненная грива исчезла, наступил серый, будничный день с мелким, моросящим дождиком.

В том же полосатом костюме побежал он в контору — так называлось главное учреждение пана Бобринского. На самом деле это

была деревяииая пристройка к трактиру, похожая иа иизенькую коиуру из заплесневевшего теса. В одиой половиие контора, в другой — комната паиа Бобриисксго, разделеииая ширмой иа гостииую и иа спальию. И еще был один закуток шириной в сажеиь. Его-то и отвели для Саньки... Коитора — в двух шагах, но Саиька перебежал через двор, чтобы не встретить случайно кого-иибудь из лесорубов: костюм в полоску, совсем как у хамоватого официаита.

Коиечно, можно было бы вспомиить и то, как он с утра до вечера сидел в конторе, подсчитывая иаряды, как жил в ожидании Бобрииского: паи целыми диями пропадал в лесу, а ои тихо и затаеиио враждовал со Стефой; оиа во всем угождала своему хозяииу, а Саиьке преиебрежительно цедила сквозь зубы: «Ешь, щеиок, да поскорей! Посуду надо мыть!» Они оба деревеиские и потому невзлюбили друг друга: он ей напомииал то, кем оиа была, оиа ему — кем он может стать...

В конторе было скучно и желто — от пыльиых бумаг, от дыма и от лысого делопроизводителя по имени Харитон. Ои чем-то иапоминал Полушку, только выглядел иемного поопрятней и был молчалив. Саиька подсчитывал наряды, Харитои стучал иа счетах. На эти дела уходили недели и месяцы, и Саиька еще с большей тревогой и подозреиием наблюдал за работой счетовода: из каждого наряда Харитон вычитал семиадцать, двадцать процентов заготовлениого леса. И Саиька осторожио его спросил: как это иадо поиимать?

— Дело нехитрое: иа усушку и утруску...

— Э, нет... что-то многовато.

— Не иаше дело. Так велено.

— Кто велел?

Харитон трубочкой сжал желтые, табачиые губы:

— Тс-с... Сам Бобриский.

— Бобриский?

«...троих прибрал господь, жеиа чахоточиая, ие встает, даром хлеб изводит, и то весь заработок, что принесу копейку из лесу...» А тут двадцать процеитов из каждой партии леса. Выходит, два дня в неделю Полушка работал задарма. Два дня едва ие зубами грыз колоды, задыхался от дыма в куреие, гноил ревматические кости — и все напрасио. Все оии там, в лесу, Полушки!

Хорошо, что этот разговор Харитои передал Бобриискому. По крайией мере тот сам вызвал Саиьку на откровеииую беседу.

И вот оии сиова сидят за чаем, и все было как и прежде: сииий абажур и сииие сумерки иад иими, бисерный пот иа толстом, отекшем лице Бобринского, а в самоваре дымит густой кипяток; ие было только тишины, пьяиого дурмаиа и огнеииой гривы, которая витала под самыми облаками. Упрямый мужичий бес застрял в Саиькиной душе, притих, иапряжеино ожидая, когда его раздразият.

Но Бобриский, разомлевший от усталости и от горячего чая, совсем и ие собирался кого-то злить. Сейчас ои думал о другом:

— Ух-х... Наверное, нервы сдают. Замучила бессонница, просыпаюсь ночью и читаю, читаю...

(Скрипят половицы, Стефа тяжело и простуженно постанывает за стеной.)

— ...Умная попалась книжка. Один австрийский социалист очень интересно описывает некоторые законы, которые даны человеческому обществу in saecula saeculorum — на веки вечные. Вещи это сложные, как бы тебе получше объяснить? Мы, Санька, живем в лесу, вот и кажется нам, что и все люди сидят в древних куренях. Но кроме глухого, дремучего леса есть и другой мир — высший: каменные города, музеи, театры, железные дороги — то, что называют цивилизацией. Вот ты, парень, задумывался когда-либо о таком: строят прекрасный собор — откуда берут средства на него? А возьми армию: это тысячи солдат, артиллерия, военные эскадры — откуда деньги? А на какие средства существует наше государство, мир ученых, инженеров, философов?..

(Санькин бес показал свои рожки и сказал: «Откуда берут они деньги — не знаю, а то, что лесорубы собственным горбом их зарабатывают, это уж точно».)

— ...А древние греки знали: они сравнивали государство с вечнозеленым кипарисом, обладающим мощным корнем, стволом и далеко разросшимися ветвями. Корни — демос, народ, ствол — это войско, служащие, а пышная крона — философы, поэты, правительство.

(«Если все вы силу тянете из корня, на кой черт, скажите, строить... как его?.. государство? Для чего оно?»)

— O santa simplicitas! О святая простота! Представь себе: если бы не было государства, не было бы порядка, то мы расползлись бы кто куда — одни в лес, другие по дрова. А это что? Первобытность пещерных людей, одежда из мамонтовой шкуры. Потому и возможен прогресс, что природа соединила нас в один живой организм, в один общий государственный улей, где каждому строго отведено свое место: пчелам — мед носить, а матке — главенствовать над всем роем. Иначе — хаос, запустение и полное одичание. Сейчас модно говорить (есть такие народолюбцы) о каком-то всеобщем равноправии: мол, нет у нас высших и нет низших, все, дескать, равны. Кто эти равные? Ломовой извозчик и Рафаэль? Ломовой извозчик рисует святую мадонну, а Рафаэль квашню развозит по бочкам — о таком равенстве говорите? Пока свет стоит, этого никогда не будет. Еще мудрецы говорили: кесарю — кесарево... А чтоб творил Рафаэль, ему необходимы мастерские, книги, свободное время, чтобы думать и писать. Кто поддерживает гениев? Кто содержит талантливых? Откуда все берется, ты задумывался?

(«Я не знаю, кто такой этот дядька, ваш Рафаэль, я только хочу спросить: выходит, пока существует мир, из мужиков и рабочих будут драть на усушку и утруску?»)

— Ага, ты об усушке... Драть не грех. Всегда драли и будут драть, так уж заведено. Другой вопрос: для чего? К примеру, вот я, Бобринский, у меня трудятся сотни рабочих, а удерживаю я с

каждого копейки, разве что пятак. Одному совсем не заметно, зато в кассе скапливаются свободные деньги. Что я, транжирю их или пропиваю? Сам видишь, что нет. Ведь я же снова их возвращаю тем, у кого взял... Оглядись вокруг: Полесье — гниль, неграмотность, человечество вырождается, люди с головой погрязли в предрассудках, потонули в пьянстве. Всех их засасывает болото, болезни, праздность, безработица... Я и помогаю им, и даю работу, строю железную дорогу, расширяю промысел — для них же, чтоб вырвать их из глубокой трясины...

(«Так, как род Полушки? И паны, и урядники, и купцы вырывали их, да только перестарались — печенки им поотрывали».)

— Эй, парень: смотри, не забывайся... Есть некоторые слова ad usum — для личного пользования, не для посторонних. Я с тобой откровенен, считаюсь, как с сыном. Хочу, чтоб ты возвысился над серой жизнью, чтобы ты понял: не о каком-то Полушке речь, а о высшем смысле...

(«Вы со мной как с сыном? Благодарю вас, вы добрый человек. Конечно, я вам в этом не признаюсь, я просто не представляю, как бы сейчас вошел в курень, посмотрел бы в глаза мертвого Полушки... или Отченаша... «Одурачат беднягу так, что на своего же мужика он волком глядит...» Высший смысл жизни — не смотреть людям в глаза?»)

За стеной по-прежнему простуженно дышит Стефа, тяжело вздыхает, и сыплется штукатурка с перегородки, подушки пахнут не то женским потом, не то душистым мылом... все здесь ее, все Стефой пропахло, даже сонные мысли пахнут Стефой.

Фу!.. Тяжелый, спертый воздух. В поту просыпается Санька и слышит: бим-бом-бим... Пять раз пробили стенные часы. Пора! Хорошо, что здесь, под боком, своя домотканая одежда, сохранившая тепло материнских рук.

А на дворе белым-бело. Морозно. Чистый и острый воздух, совсем как спирт. Вдохнешь его полной грудью, а он пьянит и разрывает легкие. Утро. Светает. Деревья стоят по колено в снегу. Из перелеска доносятся человеческие голоса, ругань и лошадиный храп. В мохнатом инее утопает санный поезд, и долго мимо Саньки плывут древние дубы, крепко схваченные канатами. К зимнику, укатанному до синих бликов полозьями дровней, шел Санька в лес, шел в глубь черно-белых сумерек. Он приближался к тридцатому кварталу. Шел быстро. Ветер торопил его, легонько подталкивая в спину.

Лесорубы уже вознились на стойбище, темные силуэты их хорошо выделялись на белом снегу, между ними клубился дымок. Навстречу парню бежал Ксаверий, шапка у него полетела в снег, грудь нараспашку.

— Санька! В гости к нам? Здоро́во!

— Здравствуй!.. Пришел насовсем. Возьмете?

— Кем? Опять замерщиком?

— К черту, сыт! Лесорубом хочу. На ванчес. Помнишь, как ты говорил: ванчес — вечный брус.

ДОНБАСС. ПЕРВЫЕ БУРИ

Лозовское направление. Наши части наступают на села Алексеевское и Михайловское. Мы перешли в наступление в сторону Лозовой, чтобы ликвидировать успех врага. На рельсах продолжаются бои наших и вражеских бронепоездов.

(Оперативное сообщение штаба Харьковской крепостной зоны от 20 июня 1919 года)

ПОБЕГ

— А ну, глянь, баба, что там творится, на военном тиатре? — спросил Тихон Зайченко и, подпирая плечом покосившийся от времени сарайчик, показал жене рукой в степь. Изо всех сил упирался дед ногами в землю, штаны на его коленях просвечивали дырами, рубашка вылезла, потому что злополучный сарайчик медленно сползал по дедовой спине. — А ну, глянь, баба...

Но жена не бросилась высматривать, что там да как. Нет, сначала взяла деревянный столбик, подперла им стену (еще завалится хлев — деда придавит) и только потом, защитившись худенькой рукой от солнца, посмотрела вдаль.

Степь до самой Лозовой ровная и плоская, словно это и не степь, а кем-то укатанный и утрамбованный огромный полигон. В таких бесконечных просторах хорошо наблюдать, как солнце заходит, верст за сорок от Михайловки видно. Где-то вдалеке едет подвода,— кажется, плывет лист по тихой водной глади. Пронесется к вокзалу поезд — и не знал бы, что это за быстрая штука такая, если бы не длинный хвост синеющего дыма. Но сейчас девятнадцатый год, поезда не ходят, ровно весь мир перевернулся и степь, как сказал Зайченко, стала «тиатром», на этой обширной сцене ежедневно разыгрываются драмы.

— А ну, глянь, баба, опять заварилось.

Из красноватой воды вынырнули остроносые челны, их целая цепочка, медленно они поплыли к темным корягам — к разрушенным станционным строениям.

— Это всадники,— объяснил своей бабе Зайченко. — Конница, чтоб ты знала. — Дед все глубже увязал в навозе, потому что сарай валился ему на плечи. — Пока держу я сарай, скрути мне, баба, цигарку да сунь в зубы, в степи не скоро еще успокоится. Сейчас, баба, Лозовая откликнется, полно белых, говорю, на станции.

Со стороны Лозовой и в самом деле что-то загромыхало, в степи там и сям вздымались облачка пыли.

— Орудия бьют,— крякнул Зайченко. — Сильнее, баба, подопри этот анафемский сарай, слышишь, дышит стена, не даст и цигарку выкурить... О, в атаку пошли, сейчас хлопцы кости будут друг другу рубить.

И, словно по приказу деда, в закатной дали сошлись лицом к лицу вражеские отряды, кроваво вспенивалась вода, лодку бросало на лодку, буря срывала черные листья и с пылью поднимала их высоко над землей — гнала к станции, все ближе и ближе...

— Беги, дед, гром будет!

Только отскочил дед и кубарем полетел в навоз, как что-то с треском бухнуло сзади и ударило в нос горькой пылью.

— Тьфу, завалился-таки! — сплюнул Зайченко, встал и отряхнул заплатанные штаны. — Говорил же, ничего хорошего из него не выйдет.

На том месте, где стоял сарайчик, теперь валялись жалкие обломки, потрескавшаяся глина и старые палки, а над ними вился едкий дымок.

— Чтоб глаза мои тебя не видели! — повернулся Тихон спиной к развалинам и снова засмотрелся в степь.

День закончился для семьи Зайченко двумя событиями — завалился подгнивший сарай и кто-то выбил белую банду из Лозовой. И так два года подряд: падала железнодорожная станция — падало что-то и во дворе. Как налетела сотня Голохвоста — повалился плетень у Зайченко. Как двинулся Каледин — съехал набок колодезный сруб. Что на станции, то и во дворе. Там кучи разбитого кирпича — и здесь кучи раскисшей под дождем извести. Там сожженные, ободранные вагоны — и здесь покосившаяся хата, стреха давно протекает, хлевок целится в небо голыми стропилами. Там хозяйничают солдаты — и здесь нет никакого спасения от вооруженных солдат. Мир точно вырвало с корнем, и ураган понес его невесть куда — и все через их село, через бедную Михайловку; полки и дивизии валом валят в степь и там насмерть бьются за ту анафемскую станцию. Кто тут только не перебывал: и дутовцы, и деникинцы, и шкуровцы, и даже какая-то сатана в женском подобии повела свой отряд в широкую степь, да там и накрылась. Зайченко, который уже не одну собаку съел на политике, так определил международную ситуацию: «Говорю, светопреставление. Если не будет потопа, то от голода подохнем».

Опускались на землю сумерки, стихал далекий бой.

— Ох-ох-ох, дела твои, господи! — вздохнул Зайченко. Потуже затянул голодный живот. И сказал: — Теперь, баба, жди кого-нибудь на постой. Днем вот рубятся, а на ночь разбегаются по хуторам и селам. Еще никогда не обходили стороной Михайловку.

Они вошли в хату, которая пахла сыростью и плесенью: на земляном полу зияла дыра, где собиралась дождевая вода. Как всегда, дед поскользнулся в этой яме.

— Чтоб ты сгорела, анафема! — выругался он и проскочил к столу.

Кто-то фыркнул в кулак.

— Килина, это ты? — сверкнул глазами в темноту Зайченко. «Молчит. Ну, ясно, дочка. Ей все хиханьки да хаханьки. Плетень завалится — смеется. Потолок упадет — смеется. Будто бесенята щекочут ее. Замуж бы надо, двадцать лет девке, так жизнь

теперь какая? Не замуж возьмут, а скорее петлю тебе уготовят».

— Зажигай каганец, на ужин чего-нибудь сготовь,— проворчал Зайченко.

Огонек выхватил из темноты раскрасневшееся от смеха девичье лицо, загоревшие щеки, большие горячие глаза и длинную черную косу, свисающую до самого пояса. «Гляди, и на злыднях уродилось»,— уже тепло подумал Зайченко, любуясь своей самой младшей. Килина как огонь: сюда взметнула косой, туда прошуршала юбкой — и уже стол покрыт скатертью, и на столе зеленый лук, печеный в мундире картофель.

— Готово, ешьте!

Отец позвал из другой половины хаты сынов. Сощурившись от огня, вошло четыре парня, порядком уставшие от поденной работы: намыкались хлопцы у мироеда Журенко, оправляя стога пшеницы. Низкорослые сухощавые сыны (как один в отца-степняка) дружно уселись вокруг общей миски.

— Эх, сюда бы щепотку соли! — мечтательно уставился в потолок Зайченко. — Донбасс под боком, дней за пять пешком обернулся бы. Люди так и делают: мешок на плечи — и айда по шпалам.

И отец уже будто макнул в соль пресную картошину и только хотел поднести ее ко рту, как что-то нагло затопало под окнами.

— Эй, люди добрые, есть кто живой?

— Тьфу, так и знал! — плюнул в лужу Зайченко. — Не дадут и душу отвести.

Дед вышел на порог. Перед ним грыз удила вороной, как осенняя ночь, жеребец, на коне сидел бравый молоденький всадник в серой солдатской шинели.

— Можно к вам на постой? Роту свою расквартировал, теперь себе ищу пристанища.

Глазом знатока признал дед: не офицер, нет. Тот долго не разговаривает, за грудки ухватит хозяина: «Вашу мать!..» — и в хату.

Осмелел Зайченко:

— А кто ты такой, извини меня?

— Разве не видно, батя? — поиграл солдат красным бантом в петлице.

Хороший бант, как у жениха, ничего не скажешь, но не мешало бы прощупать гостя по политической части.

— А все-таки — кто ты такой, спрашиваю, и за кого воюешь?

— Я, отец, из семьи лесорубов, крепкой закваски и стою за рабоче-крестьянскую власть.

— Кто вас знает. Один говорит: «Я за всемирную» — и портки с тебя стаскивает. Другой говорит: «За единую-неделимую» — и поросенка под нож. Третий, вишь, за «самостийную» — и откручивает петуху голову.

— Так то буржуи, отец. Мы их сегодня хорошо встряхнули под Лозовой. Слыхали?

— Слыхали. Сегодня вы их, завтра они вас.

— Никогда! Последнюю контру добиваем. Сказал комиссар Мамай: «Вот выкурим Деникина из Донбасса — и будет мир хатам и общая коммуна».

— Ну-ну, посмотрим... Так куда вас, в хату?

— Мы люди не гордые, пролетарской крови, нам хоть и в сарай.

— Да оно в сарае и свободнее. Не так блохи кусают. Килина, постели солдату!

Чернявая Килина прошмыгнула под рукой отца, а Тихон пошаркал через лужу к своему персональному лежаку. И, вздохнувши: «Ох-ох! Дела твои, господи!» — закрыл Зайченко отяжелевшие веки. Не ведал старик, кого он пустил в свой двор. Не знал, не гадал, что где-то у черта на куличках сидит в болоте крутой мужик Фома Гаврилович и что придется, хочешь не хочешь, породниться с ним.

Утром старуха трясла Зайченко, который спал на голодный желудок как убитый, толкала его в спину, горячо шептала:

— А подойди, дед, к окну, глянь, что творится.

— Опять баталия в степи? Чего они с самого утра...

— Да нет, протри глаза, выгляни только во двор.

Стащила баба зачумленного деда. Подошел Тихон к окну. Подошел, раскрыл для зевка рот, да так и застыл от удивления. Во дворе он увидел:

Солдат, который еще вчера хвастался бантом, сейчас разделся до пояса, спина его удивительно белая, видно, не здешний; и чуб у него льняной, и брови белёсые, и длинное, лобастое лицо такое, будто сроду не знало солнца. А гляди, ловко орудует топором, поправляя совсем покосившийся сруб. Рядом — Килина, как утка возле селезня. Маленькая и подвижная, она стоит на коленях, в корыте стирает солдатское белье. Солдат поглядывает на черную девичью косу, спадающую на землю, Килина поглядывает на белую солдатскую спину, играющую мускулами, и оба они улыбаются, и кажется, будто утреннее солнце брызнуло им в глаза полную горсть того нерастревоженного смеха. Вороной конь, привязанный к плетню («Ого! И плетень уже залатан!»), с любопытством наблюдает за молодыми людьми.

— Ну? — толкнула баба Зайченко.

— Ну? — толкнул Зайченко бабу. — Чего нукаешь, баба! Да посмотри, говорю, на улицу, чтоб никто случайно не подглядел. Посмотри, а то разнесут брехню по всему селу — на сто лет позору не оберешься.

Сохнет на солнце пожелтевшая от пота солдатская рубашка, шелестят на ветру выгоревшие галифе, а деда подбивает на ссору, аж душу наизнанку выворачивает. Чужое тряпье как бельмо в глазу. «Развесила!.. На всю степь видать. Хоть бы солнце сильнее палило...»

— Фу-у! — облегченно вздохнул Зайченко. — Слава богу, собирается в поход. Сразу на сердце, говорю, отлегло. Может, уедет туда, откуда пришел, да и концы в воду.

Русоволосый скатал старенькую шинель, привязал ее к седлу ремнями. Красный бант — к чистой рубашке. Натер бархаткой сапоги. И заблестел, как новая копейка.

Вот он ловко вскочил на коня, упругий, стройный, словно в седло влитой. И конь гордо выгнул шею, сверкнул кровянистыми белками и, пританцовывая, легко вынес солдата на дорогу. Едет всадник по улице, молодой, белозубый, бант как роза, чуб развевается, на лице молодецкая улыбочка, конь выкамаривает «Барыню», девки на плетнях повисли, трещат подгнившие частоколы, по всему селу разносятся девичьи голоса. И Килина — тоже к ограде, уставилась на него, сердце того и гляди из груди выскочит: вот оно, счастье ее, на вороном коне, побежала бы за ним, заслонила бы собой от завистливых глаз: «Мой! Мой!»

— Килина! — позвала мать, словно холодной водой окатила. — Марш в хату, выгреби все из лужи!

День прошел тихо, ничего не произошло в степи, на военном «тиатре». Ничего не упало и во дворе Зайченко. Зато михайловской ребятне была потеха: на выгоне снаряжали солдат, был среди них один — высокий, как каланча, в красной кожанке, рябой, будто поклеванный. Он подбрасывал пацанов высоко в небо и, гогоча, ловко подхватывал почти у самой земли. А еще один, по-видимому командир, с красным бантом на груди, лихо гарцевал на коне перед строем и кричал:

— Здравствуйте, мамаевцы!

Сто солдат отвечали разом:

— Слу-жим ре-волюции!

А когда совсем стемнело, солдат на вороном коне завернул к Зайченко.

— Сбегай, баба, в сарай, что-то девка долго стелет залетному.

Привела баба Килину, девка ни на кого не смотрит, щеки горят, сама тяжело дышит, то и дело грызет конец своей толстой косы.

— Послушай, Килина. Послушай, что тебе отец скажет. Ты слыхала, как поступают охвицеры с теми девчатами, которые сами пристают к красным? Ты слыхала о Ганке? Как ее мучили, бедную, живого места на теле не оставили, звезду на спине выжгли и за волосы тащили по всему селу: дескать, смотрите, так будет со всеми, кто с москалями...

А мать:

— Да он же чужой, кто знает, что у него на уме, потешится да и бросит, по всему свету шляется небось, где стал, там и пристал.

А братья:

— Зятек отыскался. Ты погляди, хозяйничает, как у себя дома. Будто у нас и рук нет.

А Килина:

— Вы как хотите, а я пошла, да немножко и постою под звездами.

— Ты куда? — отец.

— Ты куда? — мать.

— Ты куда? — братья.

Руками, как забором, преградили дорогу. А она — шмыг в щель, только мелькнула юбчонка.

— Побью,— сказал отец.

— Все патлы повырываю,— сказала мать.

— А мы жениха по-своему проучим,— сказали братья. — Такой бант завяжем, что и не дыхнет.

Спит село, усыпанное звездами. Спит густая верба над рекой. Это уже третья ночь вдвоем. Склонила горячую голову Килина на его грудь:

— Ой, болят руки, батенька искрутил. Ой, болит голова, мать за волосы таскала. Но не это мне страшно, Саня. Страшно за тебя, не приходи в сарай, там притаились братья с вилами, говорят, убьют тебя, потому что боятся: белые наскочат, сожгут хату...

— Не так белые, Киля, страшны, как наша черная глупота. Брат на брата с вилами...

— Что же делать, Саня?

— А вот что: заберу я тебя с собой. Что мне, то и тебе,— жизнь напополам.

Притихла, задумалась степнячка. Дальше села нигде не ходила, а тут сразу... Куда, в какие края, с какими ветрами?

И вдруг — из дальнего конца села:

— Бей москалей!

— Бей!

— Красным...

— ...красного перца!

Мелким бисером, как дождинками, сыплются звезды с неба. Стукаются о соломенную крышу, падают в сухую траву, брызжут красными искрами, лижут багряными языками темень.

Из ближнего конца улицы донеслось:

— Банда!

— В ружье!

Заклокотала ночь. Заухала совиными криками.

— Банда! — спохватился ротный, отстраняя от себя Килину. — Оставайся здесь, я скоро вернусь!

Проглотила солдата ночь, как водоворот песчинку. Это была воробьиная ночь, слепо скрещивались зарницы, тучи низко ползли над сенокосами и садами, вздрагивали деревья, пригибались кусты, и казалось, все село потонуло в вязком иле.

Не вернулся.

Не взошло солнце.

— Лезь, окаянная, говорю, на чердак, да поскорей: везде уже шарят по хатам, ловят солдат, что будет с нами, не знаю.

В пыль, в паутину забилась Килина, и под ней, и над ней — сажа, липкая чернота, душит мышиный помет, дерет соломенная труха; ни вздохнуть, ни пошевелиться — лежи, замри, Килина.

Топот. Идут к сараю. Кованые сапоги. Шаги приближаются — и прямо туда, где ночевал солдат, где она стелила ему постель:

«Саня, слышишь меня, спасайся!» К чердаку она припала, точно хотела девичьим телом закрыть еще теплое его гнездо.

— Дэ ета шлендра, что ласкала ихнего командира?

— Ой, боженько... Мы ж били ее, мы не пускали, а он же схватил несчастное дитя да на коня, и куда он подался, чтоб он провалился, и откуда он взялся на нашу голову!..

— Не морочь, старая ведьма, голову, сейчас факты проверим.

Внизу, в пустом хлеву, затрещали прогнившие доски, испуганно зашуршала солома, они разоряли его гнездо, словно выворачивали девичью душу, и Килине показалось, как зашевелилась черная паутина, нет, это не паутина, это у Ганки развеваются косы, а вот и она сама, босая, взлохмаченная. Явилась, как привидение. Подошла к ней, мертвой рукой зажала губы и рассмеялась в лицо: «Ха-ха!.. Теперь мы вдвоем... У тебя на спине звезда и у меня». — «Пусти!» — захлебнулась Килина.

«Цок-цок, цок-цок» — сердито простучали шпоры.

— Что вы здесь, братцы, блох ловите?

— Шлендру одну бессарабскую, ваше благородие, ищем.

— Некада, Чмырь! Выставить наряды, усилить охрану. Они отступили, но завтра могут чертей нам навешать.

Во дворе фыркали сытые кони, звенело ведро, ударяясь о колодезный сруб, плескались водой и гоготали налетчики; там начинался жаркий летний полдень, а здесь, в мышиной норе, притаилась ночь; это был сущий ад: от огня нагревалась сажа, жгло высохшее горло, и Килине чудилось, что глотала она огонь — не могла проглотить, путались мысли, и она куда-то гнала телят, полыхало желтое море пшеницы, гудело в голове, телята лезли в самое пекло, а она их отгоняла, вытаскивала из огня, сколько она помнила себя — телята топтали ее, она сызмальства в наймах и в наймах, и нигде не была, и ничего, кроме коровьих хвостов, не видела.

Дым застелил ей глаза.

В забытьи промелькнуло детство, девичьи годы, на вороном коне куда-то умчалось недосягаемое счастье. Дым...

«Тах, та-та-тах» — глухо отозвалась доска.

Вскинулась Килина. Сразу поняла: глубокая ночь и кто-то стучит в чердачные дверцы.

«Он. Это он, Саня!»

Точно сквозь сон:

— Киля, сюда! — Сильные руки схватили ее, она уже в седле, в крепких объятьях любимого, девичье сердце в надежных руках, и никто их не разлучит, они теперь вместе, слились воедино для одного броска.

Черный конь рванулся в черную ночь. Бьются копыта о землю, звонко стучат, а из-за плотов, канав и рвов:

«Бей!» — сыплется искрами,

«Стой!» — несется берегами,

«Лови их!» — ухает по степи.

— Черта вам лысого! — хлестал солдат коня, разрывая на куски яростную темноту. Разве ему теперь что-нибудь страшно — рядом

бьется ее сердце, и несет он ее в степь, все дальше и дальше от дома, от чердака, от бандитской погони. — Держись за жизнь, Килина!

И летят они, как в пропасть, крепко обнявшись, летят в полынный горчак, а сзади погоня, стучат копыта, свистят пули и звенит под копытами утоптанная земля, а она смеется, она крепко прижимается к дорогому ей человеку: «Мой!.. Если падать, то с ним, умирать, то с ним, и больше ничего не надо».

Подковой в полнеба выгнулся холм, они скакали к нему, и склон высоко и круто поднял их над степью.

Ротный остановил коня. Прислушался.

Тихо шепталось звездное небо.

Тихо шелестела трава.

Еле слышно доносилась далекая стрельба.

— Убежали! — сказал ротный и спрыгнул на землю. — На свободе, Килина! — И он ссадил из седла степнячку, легкую и горячую.

— Ох, как кружится голова, как я счастлива! — Она широко раскинула руки, словно собиралась взлететь. Санька смотрел на нее добрыми и чистыми глазами, а девушка доверчиво коснулась длинной косой Санькиного лица. — Как много звезд в степи, разве их было когда-нибудь столько? Теперь я ничего не боюсь, лишь бы вместе, лишь бы с тобой — хоть на край света пойду. И буду готовить вам, стирать белье, лечить раны, я все умею, и присмотрю за тобой, и заслоню от беды...

Бледнел небосклон, и на его фоне угольком августовской ночи было нарисовано: темный гребень степи, неподвижная тень от коня и две юные фигуры — как одна.

— Едем, — сказал солдат, подсаживая в седло свою пленницу. — Едем, Килина, в Богодары, там ждут нас хлопцы.

«В Богодары? В какие Богодары?» Только сейчас, когда немного успокоилась, она поняла: все, что произошло, точно вихрем вырвало ее из отчего дома, из привычной жизни. А что ждет ее дальше? Что там за далекими и чужими курганами? Девушка обернулась. Дороги назад нет, ее затопил мглистый разлив летнего предвесеннего утра. Куда и подевалась ее неожиданная смелость, в груди закололо от страха...

БЕЛЫЙ ХЛЕБ

— Ну и погода! — сказал Гарба.

— Н-да, ночь в самый раз для мазуриков, — сострил Клим Басман. — Дай закурить, Гарба. Глаза слипаются...

Казалось, они ехали по пашне. Топкая грязь, темень, нигде ни огонька, никакого просвета.

Такие ночи бывают только ранней весной. С курганов и терриконов чешуей сходили снега, земля раскисла, стала черная и жирная, как мазут. Еще вчера вечером степь затянуло тучами, и все вокруг словно потонуло в болоте. «Ну и погода! — ворчал Гар-

ба. — Точно мочалой заткнуло зенки. Не то что коней, вожжей в руках не видно». Моросил холодный дождь, колеса подводы чавкали в болоте, но и шум дождя, и поскрипывание подводы, и голоса мужиков — все тонуло во влажной тьме.

Продармейцы ехали добрый час, если не больше. Где они сейчас, далеко от Айдара или близко, никто не мог сказать: дорога незнакомая и кромешная тьма, цигаркой в рот никак не попадешь. Братья Басаманы, Клим и Кузьма, устроившись на соломе, лежали на боку почти нос к носу. Так удобнее было курить по-цыгански — одну козью ножку на двоих. Затягивался Клим — передавал цигарку Кузьме, а тот в свою очередь брату. Курили экономно, так, чтобы не слюнявить бычок, огонек бережно защищали от дождя. И между затяжками о чем-то вполголоса разговаривали. Гарба не слышал, о чем. Гарба сидел на передке, правил ленивыми ревкомовскими «рысаками». А впрочем, разве можно управлять лошадьми в такую ночь? Он давно отпустил вожжи: пускай ползут сухоребрые, куда глаза глядят. Лучше не дергать их, только с дороги собьешь. Конь — это, брат, разумное животное, нюхом отыщет, где наезженная колея. Тем более, если эта колея ведет к волостному правлению, где можно поживиться реквизированным фуражом.

В такой темноте трудно разобрать, где ты сидишь, где твои ноги, куда ты едешь. Одно чувствуешь: что-то под тобою шаткое, что-то покачивается, то вдруг подбрасывает тебя вверх, то неожиданно проваливается куда-то вниз или пригибает твое тело к самому днищу. И только по этим рывкам догадываешься, что подвода все же едет, преодолевает колдобины и водомоины, что под тобой земля, а не какая-то пустота. С левой стороны шпарил мелкий, въедливый дождик, и Гарба натянул капюшон плаща на глаза, чтоб укрыться от ветра. Позже почувствовал, как медленно приливает кровь к онемевшей щеке, нудно и сладко ломит кости, как укачивает темнота и без того сонное его тело, как она баюкает. Он сидел, уставив взгляд в черную бездну, где хлюпало жидкое месиво, будто взбивали там масло, прислушивался, как скрипит мокрый брезент, как устало фыркают кони, выбирая дорогу. И вдруг обернулся — на огонек, что сверкал в зубах у одного из Басаманов.

— Это, братцы, еще ничего... — сказал он о том, что, наверное, давно вертелось в его голове. — В степи да еще на подводе не пропадешь. Если и собьешься с пути, не беда: встал, поспал, а утром двигайся дальше. Это ерунда. А вот у нас на шахте было... — Он умолк, вглядываясь в темноту. Глухая, чавкающая ночь, по-видимому, вызывала щемящую тоску одиночества, поэтому и Гарбе, скупому на слово, хотелось поговорить, только бы убедиться, что кто-то есть рядом. — Вы слышали, братцы, как загнал Каледин наших хлопцев в штольню? Ну, лупит шомполами — идешь, как вол в ярме, кому умирать охота? Спустили под землю, развели нас по штрекам: «Давай — рубите!» Мы к фонарям — пустые... Нечем зажигать. А людей в забоях полно, блуждают на ощупь,

скликаются, собираются все вместе. «Что же это такое? — спрашивают. — Может, специально? Чтоб подушить нас, как червей?» Сидим в глухом забое, к стволу — версты две, а ходов, переходов столько, что без огня и черт голову сломит. День сидим, другой, тьма — куда этой паршивенькой слякоти. Вода хлещет, обвалы. «Спасайте!» — слышно, как доносится где-то из колодцев. И началась, братцы, паника: «Затопят!» Кто слабонервный, бросился прочь — и ползком в отвалы, в выработки. Где-то близко, говорили, был запасной вентиляционный ствол. Их там, безумных, и через месяц находили. Одни кости... Насмотрелся я страхов.

— Дай закурить,— сказал Басаман. — От твоих разговоров, Гарба, все равно глаза слипаются.

Еще какое-то время Гарба бормотал во тьму. Потом снова обернулся: где же Басаманы? Не курят, не дымят один одному в нос. Не вытряхнуло их из подводы?

— Братцы, спите?

Молчат. Кто-то только нежно посвистывает.

Ишь, уснули, мешочники!

Гарба поплотнее зажал между коленями винтовку. Нащупал патроны в пиджаке, перебрал их по одному: не подмокли? Нет, кажется, сухие. А плащ топорщился, как будка, а в петли, за воротник затекала вода, и холодные струйки щекотали дремотное тело. «Ну и погода! — глотал Гарба холодные капли, что ветер сдувал с капюшона. — И не опомнишься, как бандиты сцапают. Сонных подушат — не пискнешь». С трудом Гарба размыкал затуманенные глаза, чтоб и самому не заснуть. Пускай Басаманы всхрапнут, им что? Им хоть трава не расти. Сказано — мешочники.

На братьев Клима и Кузьму Гарба не очень-то надеялся. Рвачи они, как и все грузчики с товарной станции. Это дикое племя проживало в так называемом «Шанхае», в гнилых деревянных бараках, где всегда процветало пьянство, кулачные бои, поножовщина. Оба низкорослые, с рыжими лицами, широкими ноздрями и таким же твердым переносьем, словно порядком клепали его молотком, были Басаманы отчаянные, были забияки, ни за что отлупят первого встречного, лишь бы только посмотрел тот не так, как им, Басаманам, хотелось. Правда, в работе оба злые, не один вагон цемента перетащили на своих костлявых плечах. Но вот интересно: как они поведут себя завтра, когда вдруг окажутся в трудной обстановке? Гарба точно не знал, однако для себя наперед уже решил: будет одергивать хлопцев, слишком горячих в вопросах «кто кого?».

Дождь понемногу утихал, но теперь стало еще холоднее. Застучала по брезенту крупа, потянуло из черной степи морозцем, ледяной сыростью. Вконец окоченели руки, и Гарба в потемках нащупал рожок люшни[1], чтобы повесить намокшие вожжи. Как сонные муравьи, плутались его мысли, однако и сквозь сон Гарба продолжал прислушиваться, как чавкает по болоту подвода. Кони бежа-

[1] Люшня — упорка в арбе, прикрепленная к оси.

ли трусцой, потом взяли рысью, воз наклонило и понесло с горы все быстрее и быстрее. «Наверное, к реке»,— безразлично подумал Гарба. Рвануло передок, застучали колеса по доскам. Видно, кони понесли галопом, вскочили на мост, доски вдруг застрочили, как пулемет. Еще раз рвануло возок — и хряск!

Гарбе показалось, что кто-то подбросил его, ударил камнем по голове. Он так и лежал бы, прибитый, распластанный, в черной яме, да вдруг почувствовал: что-то холодное течет за голенища, в штаны, под сорочку. Вода! Жгучая холодная вода. Вот тебе, кум, и речка Айдар! Что, много наловил раков? Было бы не дремать.

— Черт! — выругался Гарба.

— Тьфу, такую мать! — пырхнул один из Басаманов, и этот Басаман лежал почему-то на Гарбе.

— Клим, это ты? — тряхнул плечом Гарба и убедился: братья и тут неразлучны — оба навалились на него. — Эй, вы! Слазьте! Что я вам, мешок с соломой?

Тут же, рядом в воде или в тине барахтались лошади. Темное болото, темная куча, и что-то фырчит и ворочается в той куче.

Гарба вскочил, подхватились и Басаманы, бросились наугад к подводе. Наконец смекнули, где они и что с ними.

— Братцы, так мы ж под мостом!

— Ну да, понадейся на Гарбу, костей не соберешь.

— Что-о понадейся! Вот пощупай — доски висят. Какая-то бандитская морда разобрала мостик.

— Попались... А еще как шарахнут гранатой.

— Помолчи, браток!

— Сюда! — позвал Гарба. — Слышите? Конь храпит. Еще, чего доброго, задушится к бисовой матери.

Осторожно полезли в речку, обшаривая темноту руками. Подвода, оказалось, по самые втулки сидела в воде, а лошади где-то здесь, запутались в постромках. Один конь лежит на спине и сильно бьет ногами, стараясь высвободиться из упряжи. Вода заливает с головой, конь изо всех сил тянет к берегу, на песок и стонет, точно человек.

Гарба и Басаманы за уши, за гриву тащили мокрое и скользкое животное. А темнотища, черти бы ее побрали, ну разве разберешь, что с тем конем: фырчит, трясет мордой,— может, повернуло хомут и горло сдавило.

— Режь постромки! — предлагает Гарба.

Распутали одного коня, вытолкнули на берег. Второй, косолапый Марат, стоял на коленях, не подымался.

— Очумел, дурной, или ногу подвернул?

— Оставь! Потом разберемся. Давай воз тащить.

Снова полезли в речку. Благо место под берегом было неглубокое, вода едва ли достигала выше пояса. Но течение было быстрое, и холодная вода аж сычала, затягивала в круговорот. Словно бурлаки, они потащили воз, вцепились руками за люшни, поддали плечом: «Взяли, братцы!» — и пошли рывками, покатили подводу на берег. Громыхнуло дышло, уперлось будто бы в стену. Клим

Басаман исчез в темноте, повозился там и безнадежно присвистнул: ох и подъем! Высокий шесток, почти на полный рост человека. Куда там, руку вверх подымешь — с трудом достанешь до дерна.

— Ну и ну, вскочили!

Поругались, покричали один на другого, пока Гарба не вскипел:

— Тьфу на вас, бабы! Раскисли!.. Нас трое, разве не вытолкнем этот тарантас?

Что ни говорите, здоровые были мужики, дружно взяли грязный воз, ухватили за днище, подняли над головой. И так, держа в руках, потащили в темноту, на черный невидимый обрыв. Казалось, вот-вот вытолкнут эту чертовину наверх. Но воз, хоть умри, не поддавался. То во что-то уперлось дышло, то сорвался шест, а то нечаянно поскользнулся Кузьма. Не удержали, бросили тарантас в грязищу.

Потом стояли, тяжело дыша, поминали всех святых и праведных. Уже, кажется, и привыкли к темноте, но все-таки неприятно: рядом стоишь — и ничего не видишь, даже серого пятна. Тьма становилась еще гуще, скрывала все очертания и звуки.

Где-то над головой у них фыркнул конь.

— Гляди, как он взобрался на кручу!

— Скотина умнее нас. Здесь грязи по колено, а там, видно, посуше.

(Неудачники продармейцы утром еще не так удивятся: почти рядом, саженей за десять от моста, был пологий подъем, можно было без хлопот выкатить воз и вытащить коней. Но их или ошарашило, или память им отшибло — никак не додумались поискать подъем, тупо и упрямо толкались в кручу.)

Только тогда, когда, подсаживая друг друга, выбрались на гору, когда с горем пополам разожгли огонь (вытащили солому из передка и оторвали доску из перил), только тогда почувствовали: порядком замерзли. До костей, до ниточки промокли, и лихорадит их теперь, аж зубы стучат. Клим и Кузьма Басаманы жадно смотрели на огонь, грели над пламенем озябшие руки, и глаза их блестели по-волчьи холодно и зло.

— Что, Гарба? Так и будем трястись до утра?

Гарба вымучил из себя что-то наподобие улыбки. Мама родная! Ну и разрисовало хлопцев, только сейчас, у костра, разглядел: лица черные, как деготь, на бровях, под носом — большие комья грязи.

— Чего склабишься, углеед? Думаешь, ты лучше? Если бы выглянул сейчас из окна, целый год собаки лаяли бы.

Они ссорятся,— правда, незлобиво, но надо же что-то придумать. Не сидеть же им здесь до утра, пока подъедет обещанная из ревкома подвода. Да и новый отряд пришлют не для того, чтобы вытаскивать их из болота. Это же курам на смех — свалились три болвана с моста!

Гарба завернулся в плащ, раздраженный этими мыслями.

Подошел к костру конь, сверкнул фиолетовым глазом. Из темноты, высоко вскидывая голову, скакал прямо к костру Марат. Ишь, подломил все-таки ногу, прихрамывает. И как он на гору вскарабкался?

— Братцы,— сказал Гарба,— а вон еще какой-то огонек.

— Где?

— Прямо, прямо смотрите.

В глубине темного подъема, кажется, на горе, мигал маленький желтый огонек. Он то вспыхивал, то затухал, то вновь загорался, словно кто-то посылал тревожный сигнал в холодную, гнетущую ночь. Гарба вспомнил, что говорили еще в ревкоме: если ехать старобельской дорогой, то первое за Айдаром село будет Бутово. Очевидно, огонек и видиелся с крайней бутовской хаты.

Гарба встал, взял винтовку.

— Вы того... посидите здесь, а я схожу разживусь у мужиков лопатами. Будет инструмент — быстренько завалим обрыв и тарантас вытащим.

С «куренем» на голове и еще выше от этого, двинулся Гарба во тьму. Винтовку держал под мышкой, как вилы. Шел осторожно, нащупывая в темноте дорогу. Земля ускользала из-под ног, то уходила канавой, то вырастала горбом, и тяжеловесного шахтера слегка пошатывало из стороны в сторону. В сапогах чавкала вода, мокрая сорочка прилипла к груди. Он шел напрямик, ориентируясь на тусклый огонек. Почему-то представилось ему, что в хате сидит старая женщина-крестьянка, такая же худущая и седая, как его мать, и нянчит больного ребенка, возможно своего внука. Чего бы иначе люди так поздно не ложились спать? Пожалуй, скоро начнет светать.

Огонь приближался, округлялся, а вскоре желтым пятном обозначилась оконная рама.

Вокруг было глухо и темно, плескалась вода в лужах, тяжелая и угнетающая мгла давила на плечи.

Гарба увидел какой-то плетень, обошел его. Комнатный дух, теплый и немного кислый, привел его к порогу. Ага, вот и шершавый косяк.

Направился в сени.

Дверь в хату была приоткрыта. Падала на пол белым косяком тень от огня. Как пламя в печи, гудела густая, басовитая речь.

Гарба даже не обратил внимания на те голоса.

Спокойно просунулся в дверь. Без стука.

И замер прямо на пороге.

Если бы под ним разверзлась земля, не так бы остолбенел. Может, ему все показалось? Обычно, когда с темноты входишь в избу, свет в первое мгновение слепит глаза.

Встряхнул головой. Нет, не показалось. В хате... белоказаки. Живые, натуральные беляки. Сидят за столом. Едят или собираются есть.

Гарба стоял на пороге, обалдело таращил глаза на беляков.

А казаки, тоже ошарашенные и растерянные, смотрели на Гарбу.

Двухметровый детина вырос нежданно, как привидение. Как болотное чудовище. Сапожищи в грязи, плащ в грязи, грязью залепило зенки. И торчит из-под мышек винтовка.

Казаки так и замерли. Застыли — кто с мясом в зубах, кто с чаркой на пригубье.

Глаза полезли на лоб.

И у Гарбы тело обмякло. На что угодно надеялся, только не на встречу с кубанцами. И где? В нашем тылу, за сотню километров от фронта... Руки его сами потянулись вверх. Но вместо того чтобы сказать «сдаюсь», Гарба, неожиданно и для самого себя, гаркнул во все горло:

— Встать! Руки вверх!

Разом вскочили беляки, все как один подперли руками потолок.

«Вот тебе и на! — собственным глазам не поверил Гарба. — Что же дальше?»

Рассудок, казалось, сейчас действовал автоматически. Один, два, три и в углу еще двое,— значит, их пятеро. Бравые хлопцы, в кубанках, в новенькой форме. Старший, по-видимому, есаул, тот, кругломордый, с геройскими усами. Смотри, как таращит глаза. И усом нервно подергивает. Вот он за спиной другого — тихонько! — сунул руку за пояс.

— Назад! — крикнул Гарба, щелкнул затвором, хотя знал, что в магазине ни одного патрона.

Гарба смотрел прямо, не спускал глаз с беляков, но бог знает как,— может, внутренним чутьем — уловил, что было у него с флангов. И первое, что он заметил,— это винтовки и сабли, оставленные возле двери, в том углу, где женщины, как правило, ставят ухват. Ага, выходит, голубчики, сами себя разоружили! И такие шелковые, хоть веревочку из них сучи!

Ободренный Гарба вспомнил старую солдатскую уловку, про которую слышал не раз от шахтеров-ополченцев. Не особенно мудрая хитрость: надо показать, что ты не один. Ну что ж, помирать так помирать. И Гарба — хорошо, что стоял вблизи окна,— ударил прикладом в раму. Зазвенело выбитое стекло, гнилая рама полетела, а в дыру повеяло черной сыростью.

— Клим! — крикнул в темноту Гарба, будто тот Клим стоял за окном, только и ждали сигнала. — Сейчас буду выводить. Если того... кончайте на месте.

Дулом под самые морды:

— Выходите!.. По одному! Руки не опускать!

Каждого так пропекал взглядом, чтоб с «запасом» нагнать страх. Пропустил мимо себя, не удержался, загреб две новенькие винтовки и выскочил во двор.

После комнатного огня вновь ослепило его, на этот раз непроглядным мраком. Моросил дождик, и где-то вдалеке теплился маленький огонек,— по-видимому, около моста.

Командирским тоном, который не знал пощады, Гарба скомандовал:

— Идти на огонь!.. Братцы, не зевать! Кто хоть шелохнется — стреляйте.

Пошлепали пленники. Как гуси, табуном, вознесши руки в черную высь.

(Усатый есаул уже возле костра, когда раскумекал, как обманули его, бывалого вояку, сплевывал в темноту и по-кубански сочно ругался: «А мне ж, так-растак, сослепу показался целый конвой. Ей-богу, слышал, ну, своими ушами слышал — храп коней, и скалила зубы на коне комиссарская морда!»)

Братья Басаманы шарахнулись от костра, когда из темной ночи, прямо с болота, вышло к ним пятеро беляков. Гарба крепким словом привел своих хлопцев в чувство, и они помогли управиться с вольным казачеством. Сняли с кубанских гостей ремни, скрутили руки пленным и:

— Садитесь, господа, садитесь в грязь! Чирьи не повыскакивают, зады у вас жирные.

Тут же произвели краткий допрос. И узнали не особенно утешительную новость. Двинулся на Донбасс генерал Деникин. На Острой Могиле разбил шахтерский полк. Стотысячное войско бросил на Луганск. А они, эти пятеро,— армейская разведка.

Кончился, братцы, отдых. И передышки той на одну затяжку.

Только что замели следы немцы. Выгнали зеленую рать — объявилась белая. Крепким узлом завязался девятнадцатый год!

Басаманы отозвали Гарбу в сторону. Зеленым глазом сверкнул Кузьма на костер, где сидели насупившиеся кубанцы.

— Что будем с ними делать? Сразу прикончим — и шабаш...

— Как? — вспыхнул Гарба.— Без суда и следствия? Незаконно!

— А чего возиться? У нас же своя работа. Мы здесь слюни будем распускать, а тем временем комбед в Бутовой посадят на вилы. Слышал, что в ревкоме говорили? Всех комбедовцев бросили в погреб.

— И все равно незаконно! Надо, как положено, передать их в руки военкому.

— Глупый ты, Гарба! Не зря говорят: вырос до неба...

— Замолчи, Басаман, а то как двину! И богу душу отдашь.

— Ну так что делать?

Долго препирались, но Гарба настоял на своем: подождем до утра, пока подъедет новый отряд, там видно будет.

Воровски, незаметно, выступали из темноты прибрежные холмы. Будто в первый день миротворения, темнота подымалась, отделяла землю и небо, и уже на востоке засерела тоненькая светлая полоска, вырисовывался темный волнистый горизонт. Засерел деревянный мосточек, засерели извилистые плесы Айдара.

Наступало холодное утро.

Кубанцы, освоившись, подняли шум. Мол, люди вы или звери, посадили в лужу, ни шинели нет, ни попоны, это явное издевательство. Хороший хозяин собаке и той бросает подстилку...

Самым смелым был есаул, он раздраженно подергивал геройскими усами, говорил о каких-то международных правах, угрожал, что им, шахтерам, от своих же попадет за такое азиатство.

Басаманы криво улыбались:

— Молчи, усатый... Мы бы тебе показали права.

Братья сидели возле пригасшего костра, любовно гладили затворы новеньких винтовок. Спасибо, Гарба, хорошие штучки раздобыл. Никогда еще в руках Басаманов не было заграничных карабинов с широкими тесаками-штыками. Видно, крупповская сталь, марочная, так и просится, чтоб воткнуть ее в панское брюхо.

А Гарба, устроившись на обломке доски, присматривался к пленным: в хате как следует и не рассмотрел их. Почему-то привлек его внимание лопоухий молоденький казачок, лет семнадцати, не больше. Из-под кубанки выбивались мягкие кудряшки, лицо худощавое и печальное. И сидит он в луже как-то обреченно, до пояса подплыл черной жижей. Ишь, новые галифе, впервые, наверное, надел, а так загрязнил.

— Подстелите им соломы,— приказал Гарба Басаманам.

Те помешкали, однако выгребли из повозки охапку соломы. Подостлали господам, ворча:

— Чтоб вам добра не было!

— Дай закурить, Гарба!..— сказал Клим Басаман.

Махорка промокла, Гарба выскреб пригоршню рыжей, слипшейся трухи, кое-как скрутили по цигарке.

И тогда нетерпеливо завозился есаул, снова принялся за свое.

— Развяжите нам руки! — Он не просил, а просто приказывал, и в голосе его чувствовалась уверенность, что он имеет право требовать, больше того — распоряжаться этими людьми из грязи, которые волею случая временно взяли верх над ним, потомственным казаком.— Развяжите руки: суставы свело. Ух, морды, скрутили!.. И дайте, хохлы, закурить, когда-нибудь рассчитаемся.

Шуткой сгладил усач слишком неприкрытую наглость.

Ишь — хохлы... И на шахте называли хохлами тех, кто приезжал из других местностей, скажем из Полесья. Гарба привык к этому, притерпелся. Привык и к ругани, и к насмешкам, и к грубым начальственным окрикам. И уже не усматривал в этом обиды. А если бы и кидался с кулаками на каждую брань, то что бы из этого вышло? Психом стал бы, да и только. Слава богу, кожа у Гарбы толстая, бычья, не пристают к ней никакие удары. Вот и сейчас пропустил он мимо ушей есаульского «хохла», пускай себе злословит. И раз уж просит закурить, почему бы не дать, табачок есть, хоть и плохонький, разве жалко?

Освободили пленным руки, всем пятерым дали табак, вместе закурили.

Так и сидели они вокруг угасшего костра. Неудачники разведчики по одну сторону, неудачники продармейцы — по другую. Те в кубанках, в теплых ватниках, в хромовых сапогах, с виду опрятные, подтянутые. А эти в такой грязной, рваной одежде,

пригодной разве что на тряпье, что их и не узнать. И если бы не держали луганцы между колен винтовки, трудно было бы сказать, кто кого караулит.

Пока жадно затягивались махрой, над речкой рассвело.

Гарба пошел к обрыву, ему захотелось посмотреть, где приключилась с ними ночная оказия. И еще раз убедился, что кони, ленивые ревкомовские кони, были умнее их. Значит, с той горы они галопом влетели на мост, но каким-то образом почувствовали (и вовремя), что близко пропасть, что мостик обрывается под ногами. И бросились не прямо, а на перила, поломали их и с возом полетели на мель. Если бы понеслись туда, где торчат деревянные опоры, не собрали бы хлопцы костей.

Гарба посмотрел на воз, перевел взгляд на то место, где они месили ночью солому с грязью. Ну, ясно, разве можно было поднять гроб с колесами на такую отвесную кручу! Вот непутевые, нет чтобы поискать подъем — под самым же носом!

Сейчас возле кручи паслись кони. Далеко они не ушли. Может, потому что Марат прихрамывает. И сильно, бедняга, прихрамывает на левую переднюю ногу.

Потоптался Гарба над обрывом, отваливая комья земли, что поналипали на сапоги. Потер заскорузлые полы плаща, где подсыхала рыжая грязь, и, угнетаемый безвыходным положением («Надо было, понимаешь, еще и белякам подвернуться в недобрый час!»), окинул Гарба противоположный берег, черную, безлюдную степь, где извивалась илистая дорога-канава. «Когда же придет помощь?» Ни подводы, ни живой души не было видно по всей горе.

— Гарба! — крикнул Клим Басаман. — Послушай, что господам захотелось.

Басаманы, оба широкоскулые, с рыжими комками земли на щеках, на густых надбровьях, походили на бродячих дедков, которые присели к компании поточить лясы на дорогу. Только глаза, зеленоватые отчаянные глаза, выдавали их возраст. Из этих молодых глаз полыхали на Гарбу озорные босяцкие огоньки.

— Чего они хотят?

— Хлеба! Хлеба с маслом, не меньше! Говорят, держим их впроголодь, а в хате осталась выпивка, колбаса, ветчина, только собрались ужинать, как ты их и сцапал. Непорядок!

— А почему бы! — потянулся Кузьма, похрустывая суставами и аппетитно причмокивая при этом. — Не мешало бы перекусить, а? Музыка, брат, в животе, траурные марши. Вчера как понюхал пустой котелок, так до сих пор ни грамма.

Зашевелились кубанцы, очевидно, сообразили, что доброе дело наклевывается! Пан есаул заверил, что компания честная, может головой поручиться, будет сидеть чинно, благородно. И он подморгнул своякам, распушив геройские усы. (По правде говоря, Гарба не обратил внимания на эти подмигивания, на недоговорки и полунамеки.) Просто шахтер подумал, что люди и в самом деле голодные, вот и лопоухий смотрит на него умоляюще, как на

спасителя; он казачок, худой и избалованный, наверное, не привык к грязи, губы посинели, и сам дрожит, как щенок.

— Сходи, Гарба,— сказал Басаман. — Голод не тетка, а застряли здесь, вижу, надолго.

— Смотрите мне,— буркнул Гарба, запахнулся плащом и зашуршал скрипучими полами. Метров через сто оглянулся: сидит у дороги небольшая группа людей, видны спины и кубанки, а над ними, как два рожка, торчат штыки.

Пошел Гарба в гору не торопясь.

Ночью казалось, что огонек мигал с тридевятого царства, а к первому двору на пригорке рукой подать. Одинокая белесая хата была под стрехой, по самые окна спряталась за старым камышовым плетнем.

И снова припомнилась мать, полузабытое полесское село, которое он покинул давно, был Гарба тогда еще подростком. Да и мать, собственно, забыл; вместе с копотью, с угольной пылью, с подземными сквозняками выветрилось все из головы. Только и осталось в памяти: мать приходила домой нервная, била детей, разгоняла по углам, укладывала голодными спать. Всю жизнь она прожила прислугой у барина-лесозаводчика. Некоторое время Гарба не обращал внимания на ежедневные материнские побои. Подумаешь, толкнет со злости в спину — на то она и мать. Но потом стал с ней ходить к барину, кое в чем помогать. И увидел, что мать бывает другой. Только переступит барские покои — сразу меняется. На лице улыбка, тихая и покорная, и ходит она мягко, неслышно, наряжает, обцеловывает барчуков, с каким-то вожделением несет в тазике воду: может, вам ножки помыть, может, вам то, может, это? А те, изнеженные, обцелованные, еще и капризничают, привередничают, тащат ее за косы, а она только спину им подставляет: «Нате, ударьте, ударьте тетю, отак, отак, вот, мои умнички!» Гарбе становилось гадливо тогда на душе.

И сейчас гадливый червячок по-прежнему шевелился под сердцем. Он почему-то подумал: вот если бы Басаманам захотелось бы есть, пошел бы он за хлебом? Да ни в коем случае! Послал бы их: «Идите к чертям! Невелики господа, потéрпите!» Чего там церемонничать с нашим братом!

Гарба остановился, перебирая тяжелые мысли. В самом деле, рассуждал он, разве мы церемонились друг с другом на шахте? Если свой человек, если темный работяга, можно его и по матушке послать, можно и по физиономии съездить. Это свое кодло, рабочее. Другое дело — те, «сверху», в белых перчатках. Это люди особенные. И мы стоим перед ними, как овцы, стыдливо опустив глаза. А не дай бог нагрянет какая-нибудь важная персона из губернии или еще повыше. О, как тогда засуетятся на шахте, какие масленые улыбочки, какие поклоны: «Рады видеть, счастливы приветствовать...» Холуйская кровь!

Ну что ты остановился, Гарба?

Иди быстрей, у господ слюнки текут! Мы, черная кость, можем терпеть и мат и голод. Так на роду у нас записано. А они,

эти чистенькие и благородные? То другая порода, благородная. Им нельзя терпеть. Они, видите ли, на белых хлебах выросли, на белых перинах изнежились. Не дай бог на них дунешь — чихать будут.

Что же выходит?

Сознательно или несознательно ты, Гарба, признаешь их превосходство, признаешь, что они чем-то выделяются среди нас, смертных, признаешь необходимость особого (делика-а-тного!) к ним обращения.

Гадливый червячок шевелился под сердцем, но Гарба все-таки шел, и пошаркал грязными сапогами в хату, и сгреб со стола флягу, пихнул за пазуху кольцо колбасы.

С белыми буханками под мышкой вышел на улицу. Обернулся, посмотрел на мост: что-то не видно людей. Может, Басаманы (об этом они говорили еще ночью) погнали беляков к обрыву,— дескать, пускай господа вытащат воз.

Встревоженный неизвестно чем, Гарба ускорил шаг.

Заметил, что у берега стоит один только конь, толстобрюхий Марат. Конь стоял как-то странно, уткнувшись мордой во что-то мешковатое, распростертое на земле. Это еще больше встревожило Гарбу. Он почти побежал.

Потом вскрикнул, взмахнул руками.

Плюхнулись буханки в лужу. Покатились, будто догоняли Гарбу.

Он бросился к лошади, увидел торчащую винтовку. Торчала, как шест, штыком вниз.

— Клим! — припал Гарба под коня, неистово затряс мертвое тело товарища.

Клим лежал навзничь, приколотый к земле штыком. Лежал, раскинув руки, и в грудь по самый ствол вошла винтовка. Изо рта пузырилась кровь.

И у Гарбы пальцы были в крови, и ноздри коня в красной пене. Марат нюхал горячую кровь и одичало фыркал.

— Клим! — исступленно тряс Гарба свояка за плечо, тряс изо всей силы и кричал: — Клим! Клим, вставай.

У Клима вздрогнуло мертвое веко, в щель глянул тусклый, застывший глаз. Он слегка двинул головой, словно хотел подняться.

— Он там... погля... — прохрипел он, из горла фонтанчиком брызнула кровь, и он захлебнулся ею. Голова его плюхнулась в канаву, как та буханка, которой он не дождался.

Там? Он, казалось, последним взглядом показал на мост. Что там?

Оставив его, Гарба ошалело бросился с обрыва, упал, подхватился — и быстрее к возу.

Н-да... Наверное, долго и яростно отбивался Кузьма. Его смяли, втоптали в грязь, скрутили в узел. И эта бесформенная куча была забрызгана кровью, кровь сочилась из разбитой головы.

— Гады! Гады ж вы! — присел, застонал Гарба, готовый бежать, кричать, бить и крушить все, что попадется на его пути.

Но было поздно. Уже илом затянуло следы тех четырех, что, как волки, бежали трусцой за верховым есаулом.

Черно и пустынно было над Айдаром. Только в луже белели две буханки и стая воробьев наперебой клевала раскисшую корку.

Гарба, говорил мне отец, не любил вспоминать эту айдарскую историю. А если и вспоминал, то скрипел зубами: «Все во мне перегорело тогда. Все... до последней кровинки. Ты знаешь, какой я стал».

ПОХМЕЛЬЕ

> Рабочие и крестьяне — к оружию!
> Спасайте Донецкий бассейн!
> Донбасс наш в опасности. К изголовью каменного гиганта подкрался золотопогонный бандит Деникин. Отточен его нож, который он собирается всадить в сердце революционной Украины. Пал Луганск, пала Юзовка.
> Много труда и крови принес донецкий рабочий на алтарь пролетарской революции, а поэтому он имеет полное право требовать: на помощь, братья по классу!
>
> *Из воззвания наркомвоенмора Украины Н. Подвойского, июнь 1919 г.*

— Товарищи! — сказал Мамай. — Наш пролетарский полк только формируется. Вы собрались сюда, на знойный юг, со всех концов Украины, и вы хорошо знаете, не мне вам говорить, что творится сейчас на нашей земле. Украина — в огне, ее разрывают на куски царские изуверы. Кулацкий ублюдок Григорьев уже объявил себя всеукраинским атаманом; Симон Петлюра, немецко-австрийский приспешник, зубами вцепился в Подолье; мужицкой кровью залита Придунайская республика, измученные Бессарабия и Буковина взывают о помощи; и вот здесь, в самом сердце Украины, стонет Донецкий бассейн под пятой Деникина, и я вам скажу, товарищи, что это самый опасный наш классовый враг, потому как у него на одного солдата по два офицера, и Деникин так заявил: сколько в бассейне столбов с фонарями, столько будет повешено рабочих,— об этом и Гарба вам скажет, он прибыл сюда из угольных шахт. А вы посмотрите, товарищи, на восток, видите пыль на дорогах? То бесконечные обозы беженцев, шахтеры целыми семьями бросают города и села, весь край опустел, история не забудет такого неслыханного изгнания народа; бедняки все как один бегут к нам, потому что мы армия великой на-

дежды и пока что первая и единственная в мире армия трудового люда.

Наш полк, товарищи, формируется; личный состав малочислен, но пополнение прибывает, работы у нас невпроворот; махновская бригада разложилась, оголив Донецкий фронт, и мы новым, только что созданным полком защитим неугасимое пламя пролетарского Харькова, но не об этом, товарищи, сейчас разговор...

Мамай стоял на подводе посреди базарной площади; тесная площадь в центре села, запруженная подводами, походила на цыганский табор. Между колесами дымились костры, кто-то варил кулеш, кто-то сушил портянки, лошади спокойно жевали сено, солдаты сидели на конях и на подводах и слушали комиссара. Он стоял на телеге и, сказав: «Но не об этом, товарищи, разговор»,— улыбнулся, улыбнулся совсем по-мальчишески, потому что у него были выбиты зубы, два передних и два немного глубже, вот почему и улыбка получилась щербатой, и он прятал тот детский смех: пытался скрыть следы гайдамацкого допроса. А еще он стыдился своих неполных восемнадцати лет и реденького чубчика, который ржаным пучком выбивался из-под фуражки: а за рваные сапоги, трофейные, был спокоен, благо стоял по колено в сене.

— Товарищи! — продолжал дальше комиссар. — Но сейчас разговор не о том, что вам трудно, нам всегда было трудно, а жизнь идет, в великих муках рождает любовь, вот я смотрю туда, на фургон, а оттуда, из шатра, выглядывает чернявая красавица.

И бойцы повернули головы к шатру и вслед за Мамаем рассмеялись: кто кулеш ел, смеялся, так и не прожевав пищу, кто курил самосад, смеялся с бычком в зубах. Килина вспыхнула под обстрелом мужских взглядов и спряталась в шатер.

— Вот видите,— под общий смешок сказал комиссар,— с виду пугливая, но она из батрацкой семьи, дивчина смелая, не далась офицерам в руки, на коне прискакала из Михайловки, это вам не в романе написано, а наяву. Верно говорю, Фомович?

Фомович, командир третьей роты, ел спелые вишни, и губы его были в вишневом соку: бант в его петлице краснел от лукавых взглядов, и командир не знал, продолжать ли есть ягоды или выпустить веселую шутку, авось заткнутся зубоскалы. «Не дрейфь, Килина!» — стрельнул он вишневой косточкой прямо насмешнику в лоб.

— Одним словом, товарищи,— заканчивал Мамай,— наша забота такая: как поженить молодых? Будет она женой командира, а для нас — повар и сестра милосердия, так что необходимо обвенчать их по-нашему, по-пролетарски, только как это сделать, ума не приложу, потому что сами знаете — полк формируется, жалованья никакого, провизия запаздывает, через три дня выступаем на фронт, тогда уж будет концерт с орудийной музыкой, а сейчас не мешало бы отпраздновать свадьбу, пусть запомнит

каждый солдат, как создавался новый полк и новая солдатская семья. Что вы на это скажете, товарищи бойцы?

Был конец июня. Дневное солнце добела накалило высокое небо, и воздух медленно струился синим пламенем. Площадь в селе Богодарах, где расположился полк, парилась от пота и навоза, над возами стлался дым и разносился гомон, призыв: «Даешь красную свадьбу!» — всколыхнул толпу, и уже кто-то торопливо наматывал портянки, кто-то на ходу подтягивал штаны, где-то заиграла гармошка: «Эх, яблочко!» — и раздался круг, усатый парень ударил себя по голенищам. Тогда вскочил на подводу, где стоял комиссар, длинный, как жердь, мужчина; он был в темном пиджаке железнодорожника, голос его хриплым баском прокатился по площади.

— Тише, братцы! — крикнул он и поднял в воздух черный кулак. — Что это мне, скажите, за свадьба такая, когда даже воды нет, богодарское кулачье все колодцы на замки заперло? Вот я и говорю: в Лозовой стоит махновский поезд, один из дружков Нестора, казначей Милюха именины справляет, там пьют уже третий день, под вагонами на четвереньках ползают, мать их в анархию... А у нас даже воды нет, чтоб коней напоить. Вот предлагаю: давайте устроим Милюхе поминки и угоним вагон-ресторан?

— В Лозовую! Даешь Лозовую! — всколыхнулась площадь, затрещали возы, третья рота качала своего командира. — Ставь магарыч! За счет Махна магарыч! Эх, угощает жених на поминках анархии!

Бойцы смеялись, ротный взлетал над толпой, а кто-то во все горло орал:

— Горько!

— Горько! — подхватили солдаты. — За патлы Махна, горько!

Над той смеющейся толпой неожиданно выросла осанистая фигура. Это взгромоздился на бочку отец Сероштан. Он причесал кудлатую бороду, добродушно покашлял, глядя на взволнованное море людское: «Ишь бисовы дети!» — и сразу покрыл беспорядочный гвалт басом:

— Сынки! Дьяволы мои возлюбленные! Послушайте, что вам скажет грешный отец Сероштан.

Все обернулись к оратору. Кто еще возился или пытался ввернуть острое словцо, тех толкали в спину: «Замолчи! Не видишь — махновец говорит». Но в этом «махновец» не было ни тени издевательства. Отец Сероштан, артиллерист и полковой писарь, был общим любимцем в полку.

Объявился Сероштан в полку не один, он привел с собой, из-под самой Херсонщины, целый отряд бородатых, как и он сам, обожженных ветрами и закаленных в боях партизан. Говорят, что у него была целая крестьянская армия, но по пути к Харькову побили и потрепали ее, осталось не больше полусотни ружей. Земляки его, здоровые, немного неуклюжие мужики, принесли в полк невероятные легенды о своем вожаке. Отец Сероштан, рас-

сказывали они, когда-то был духовным пастырем в великой слободе на Ингуле. Но в церкви батюшка не любил сидеть, брал коня и верхом уезжал в отдаленные хутора и села, а церковный приход его занимал без малого полгубернии. Обычно приедет он в село, завернет во двор к дядьке — везде у него добрые знакомые. Если хозяин строит сарай или роет колодец, батюшка сбросит свою рясу: «А ну, Тимоша, подай лопату!» — и за работу. Здоровье у пастыря дай боже, самому черту рога скрутит, и за час столько земли перелопатит, что дядька и за день не справится. После трудов праведных, известно, появлялась на столе бутыль доброго пшеничного первача — батюшка никогда не откажется, торопиться некуда, пока там еще православные соберутся. А когда прихожане усядутся возле вишни — хмурые, уставшие от полевых работ мужики и бабы, обвешанные детьми,— оглядит всех батюшка проницательным взглядом и скажет: «Так как вам, братья мои горемычные, по-церковному праведное слово говорить или по-нашему, по-крестьянски?» — «По-нашему, по-нашему, батюшка!» — просят мужики. «Ну, так слушайте, дети мои (и — веселее, чего печалитесь!), расскажу я вам про царство грядущее, которое избавит нас от подлых, и лукавых, и жадных, чтоб им, антихристам, добра не было и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». После этого батюшка разворачивал тоненькую, пожелтевшую от времени книжечку. «Вот как говорит в своем писании апостол правды земной. Вдумайтесь! — И дальше читает: — «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Читает пастырь не торопясь, с чувством, с перерывами. И это вам не какие-нибудь побасенки о житии святых, о бестелесных архангелах да херувимах. Это вам сущая правда, земная, мужицкая — с потом, с кровью, с нуждой, с вечной слепотой. «Ну и дает отец! Прямо за душу хватает!» — довольные покрякивают мужики в прокуренные рукава, и бабы слушают Сероштана, пока не уснут дети у них на руках. Любила беднота праведное слово пастыря, тянулась к нему со своей нуждой, заботами и печалями.

А когда подошло к Ингулу немецкое войско, ударил отец в набат, созвал всех мужиков и раздал им оружие, которое он прятал в церковных подвалах. Так появилась в степи армия Сероштана. Это была необычная армия. Днем она косила и молотила, отбывала конскую повинность, под конвоем немцев вывозила хлеб на станцию. А ночью, только раздастся тихий свист, собиралась армия защитников в глухом буераке, выстраивалась поэскадронно, и степь дрожала под копытами, темным крылом развевалась ряса за плечами атамана: «Руби немчуру!.. Во имя отца и сына!» И пылали вагоны на станции; словно летучие мыши, разлетались в темноту оккупанты, и всю ночь скрипели подводы, развозившие хлеб по селам, тот самый хлеб, который днем выгребали немцы у бедняков.

Обрастал силой Сероштан. Было у него несколько пушек, был пеший отряд и своя конница. Тогда-то он и решил — вывести партизанскую армию из немецкой зоны. Быстро захватил Долинскую,

забрал Пятихатки. Но здесь-то и попал в окружение. С севера наседал Петлюра, с запада — немцы, с юга — генерал Деникин. В этом кольце, оказывается, носился и батька Махно, заметая свои следы. На одном перегоне и встретились они, два атамана — Махно и Сероштан. И решили вместе с боями пробиваться на Харьков. Пьяный Нестор, целуя батюшку в колючее лицо, клялся, что такого друга у него не было и не будет, пока существует анархия, и: «Выпьем, отче, по полной кружке за вечное братство!»

За чаркой Махно поведал о том, что в благословенном Гуляй Поле он организовал новую, народно-повстанческую Сечь и здорово-таки насолил вам авантюристам, до Нового завета будут помнить батьку Махно. Немцы не забудут международного позора: не генерал, не полководец, а, по сообщениям берлинских газет, «скиф, дерзкий вождь таврических кочевников» ворвался на станцию Синельниково, уничтожил бронированный эшелон, из-под носа увел императорский сейф (подумать только — два миллиона валюты!), потом разбил, как ломовой извозчик пустые горшки, кайзеровский гарнизон в Павлограде. Симон Петлюра тоже не простит батьке январской припарки, когда Махно, объединившись с красными, одним ударом отбросил его за екатеринославские валы. Генерал Деникин... О, к его сиятельству затаил Нестор особую любовь! Он никогда не забудет, как ему царские ключники отбивали печенки в московской Бутырке!

Если Махно и признает кого, так разве что самого себя, вождя крестьянского, и еще одного вождя, революционно-пролетарского, но последнего признает с одним условием: ваше — до степи, а мое — все низовье, где вечно будет стоять пшеничная, белогривая, вольная степная республика — без тюрем, без городской чумы, без скорпионовых щупалец закона. Сей пшеницу, гуляй на конях и живи, как ветер...

Сероштан уважал таких, которые мыслят решительно, по-своему, впадая даже в крайность, отчаянно пьют и смело смотрят смерти в глаза. А смерть пикетами стояла за темными курганами, за хмурыми полустанками, подкрадывалась к ним и пеше и конно, спастись от которой можно было только решительным прорывом, и в создавшейся ситуации лучшего союзника, чем Махно, Сероштан не видел.

Двое суток с боями выходили они из окружения. А за Павлоградом в грозовую ночь, узнав, что их окружают эскадроны Краснова, Махно тихо снялся, сел на тачанки — и ходу, тем самым, хотел или не хотел, поставил друга и брата своего под сабельный удар. Бой был неравный, бой раздетых и сонных людей с озверевшим казачеством. Костьми легла армия Сероштана, только полсотни бойцов спаслось от сабель, их-то и привел Сероштан в Харьковский полк.

В новом полку, который только формировался, ингульских партизан распределили по ротам, а вот с батюшкой не знали, что делать. С одной стороны — духовная особа, явно буржуазный эле-

мент. С другой стороны — смелый атаман, пол-Украины прошел с боями. Думали-гадали, да и назначили писарем в штаб. Но батюшка категорически заявил: «Только артиллеристом! Люблю, братцы, чтоб гремело над землей... А орудийное дело знаю, так бил немчуру, что щепки летели». Так и порешили: писарем и пушкарем.

И в полку ходил батюшка в черных широченных штанах, которые висели на нем, как ряса. На грудь вместо креста повесил крупнокалиберный наган в тяжелой деревянной кобуре, наган болтался на кожаном поясе и во время ходьбы приятно постукивал в грудь. Поначалу кое-кого смущала его густая поповская борода и длинные, до плеч, черные волосы. Хотели было остричь лохматого пушкаря: ты, дескать, не махновец, а боец красного пролетарского полка. Услыхав это, святой отец сразу же выхватил наган: «А ну, подойдите, цирульники, пулями буду платить!» Отстали: лучше не связываться с батюшкой. А потом так привыкли и к его бороде, и к густому басу, что другим уже и не представляли отца Сероштана. Был он разговорчив, знал множество поповских анекдотов, а как затянет «Реве та стогне», так действительно и ревет и стонет Днепр в темных кручах степных поселков.

И вот сейчас, на разбушевавшейся площади встает отец Сероштан и говорит:

— Сынки! Дьяволы мои возлюбленные! Как бывший поп, а ныне красный писарь пролетарского полка, я хочу сотворить обручальный обряд и благословить молодых на совместную жизнь, это дело обычное... Только я слышу глас толпы: «За волосы махновцев!» — и хочу надоумить чересчур горячих. Не будьте, братья, самоедами! Против кого и против чего мы воюем, не жалея живота своего? Мы убиваем убийц, мы воюем против войны. А кто те, которые побрели, яко стадо слепое, за фарисеем Нестором? Это такая же голь, как и вы, только обманутая обещаниями призрачного царства, где не будет ни отца, ни брата, ни порядка, ни закона — пей, гуляй, расхристанная душа! Опасная, братья, трясина анархизма! И честных людей, которые заблудились в дебрях классовой борьбы, тонут в этой трясине, мы должны вырвать из болота, склонить к себе, а не толкать дальше, не разжигать самоуничтожения нашей растерзанной нации.

Солнце поднялось уже высоко. Был жаркий день. Богодары будто вымерли, улицы стояли пустынные, даже куры не копошились на дороге, а где-то сидели в чертополохе, и добротные хаты с черепичными крышами прятались в тень, под густые ветки вишен. Было тихо, ворота наглухо заперты, колодцы на замках, только деревянные журавли — они неподвижно стояли возле каждого двора,— высоко задрав в небо свои носы, казалось, удивленно глядели: что же происходит на площади? А здесь шумел народ, слова Сероштана зажгли толпу, как искра кучу сухого хвороста, спор разгорался, кто-то щелкнул затвором: «С Махно, чернорizец, снюхался! Вишь как защищает контру! В расход

его!»—«Я те дам в расход, темнота! Лучше послушай, что люди говорят!»

Мамай, который стоял на подводе, по-мальчишески улыбался: «Ну и заваруха!» Это было едва ли не первое выступление комиссара перед солдатами, и он немного терялся. Но впереди будет у него Каховка, и Бузский плацдарм, и полк пойдет за ним в огонь и воду. А сейчас Мамай смотрел на шалаш, откуда испуганно выглядывала быстроглазая Килина; она растерянно разыскивала кого-то в толпе, наверное, своего суженого искала, боялась, чтоб он случайно не затерялся среди чужого и страшного для нее народа. Что-то не совсем ясное,— возможно, жалость к девушке, к ее сиротливому взгляду, а может, боязнь за ее судьбу (разве ей под пули лезть?),— словом, что-то тоскливое сдавило грудь Мамая. Сердцем понимал он девичий страх, ибо такое же чувство — предательский, неприятный холодок — закралось и в его душу, когда грудью напирала на него эта, казалось — неуправляемая, неудержимая в своих страстях человеческая масса. Вот она хлынет: «Даешь Лозовую!»— покатится лавиной, сметая все на своем пути, и кто ее остановит?

А что Сероштан? Крутоплечий, могучий, он стоял неуклюже над криком, над табачным дымом, над вспотевшими от волнения солдатами, стоял твердо, пряча снисходительную улыбку под густыми бровями. Он был спокоен: пускай пошумят. Дело обычное, напоминает чем-то горящую солому: вспыхнет пламя — и нет ничего. Главное — выждать, пока бойцы успокоятся.

Выбрав момент, когда охрипли голоса у самых горластых, Сероштан встряхнул черным чубом и сказал:

— Что я предлагаю, граждане? Предлагаю обойтись без крови и без помилок, а использовать, так сказать, местные резервы.

Площадь притихла. Сотни глаз уставились на батюшку-писаря: куда он клонит?

— Взгляните на село, дети мои! — произнес Сероштан. — Сами видите, богатое кулацкое гнездо. Дома кирпичные, у каждого свой журавль, колодцы на замках, попрятались от нас богодаровские добродии, правду говорил тут один — воды не достанешь, не заикаюсь уже о фураже или солдатском довольствии. Но прикиньте, братья,— входя в роль, все зажигательнее провозглашал Сероштан,— прикиньте, братья, что и им, боговерным скрягам, нелегко живется. Видите церковь? Вон на горе высокая церковь, каменная, о трех главах, и в ней больше года служба не правится. Поп-шкурник сбежал к Краснову. Бросил паству на произвол судьбы. Мучается, страждет паства. Двадцать детей некрещеных, восемь пар молодоженов не повенчаны, пять умерших до сих пор не помянуты...

Засмеялись бойцы. Плотнее придвинулись к Сероштану:

— Давай, батька, концерт!

— А откуда у вас, отче, такая точная арифметика?

— Опыт и практика — великое дело,— сказал лукаво Сероштан, подморгнув мохнатой бровью. — Тут приходил ко мне цер-

ковный староста. Разнюхал, поповский лис, что я бывший духовный пастырь, подбивал меня, старика, на грех: так и так, мол, батюшка, втайне от своих антихристов (это вас, возлюбленные грешники, он так непристойно обозвал), говорил, потихоньку от своих отслужи, батюшка, божью службу, утешь праведные христианские души, потому что в святую неделю, то есть завтра, большой праздник в Богодарах — престольный храмовой день. Вот я и спрашиваю вас, бисовы дети: а почему бы не справить службу, (конечно, с революционным поворотом), а даприношение кулацкой паствы — на общий стол, за которым и почествуем наших молодых во имя отца, и сына, и нетленного пролетарского духа?

И снова всколыхнулась площадь, заиграла гармошка «Эх, яблочко!», раздвинулся круг, и усатый парень под крики «браво!» пустился вприсядку. А Мамай думал о том, как быстро и неожиданно меняется настроение солдатской массы, которая не спаяна еще крепкой революционной дисциплиной; через три дня выступать на фронт, боеприпасов на несколько выстрелов, продовольствие запаздывает, бойцы неделю не ели горячего, а в Богодарах глухой саботаж — кулачье попрятало добро и притаилось, бедноту погромом запугивает; в такой ситуации, думал Мамай, маневр Сероштана, возможно, тактически и оправдан.

(Здесь мы опускаем длинную дискуссию в штабе полка,— а он находился под тем же шалашом, где жил ротный с невестой; опускаем горячие споры о том, имеет ли право наш красный писарь совершать буржуазно-религиозный обряд даже из тактических соображений. Скажем только, что Сероштан благодаря своему красноречию да могучему басу добился наконец разрешения, а заодно уговорил шахтера Гарбу выступить в роли дьякона, ибо, во-первых, он надежный помощник, а во-вторых, длиннющая ряса, пятьдесят восьмого размера, которая была в запасе у Сероштана, больше никому не подходила. Опустив все это, мы сразу перенесемся на сельскую улицу в погожее воскресное утро.)

Утро было тихое, солнечное. Дремало притихшее село, серым туманом дымились вишневые сады, тяжелые от дождя листья роняли на землю дрожащие капли росы. Возле ворот, словно деды-сторожа, стояли на скрипучих костылях одинокие журавли. На улице, как и вчера, ни души, но село уже проснулось, голубые столбы дыма возвышались над хатами, и каждый дымок выносил из печи свои неповторимые запахи — то свежей кровяной колбасы, то холодца с чесноком, горчицей и лавровым листом, то аппетитный запах пирогов, то испарение хмельной браги. Богодарская паства, очевидно, собиралась праздновать престольный праздник тайно, в своих темных углах, окна занавесив рядном, а ворота заперев на железные засовы. Одни воробьи веселились открыто, они хохлились на плетнях, и их громкое чириканье наполняло тишину праздничным беспокойством.

И вдруг раздался тревожный церковный звон.

«Бам-бам, дирли-бом! Бам-бам, дирли-бом!» И покатился над безлюдным селом, над одинокими журавлями: «Дирлинь-дирлинь-дирлинь-бем! Дирлинь-бем! Бем-бем-бем!»

Захлопали двери. Воробьи врассыпную. А между оградами — сонные настороженные глаза. «А ну, посмотри, жена, и скажи, не ослеп ли я? Эвон по улице батюшка идет. Батюшка, с ним дьякон, оба направляются в церковь».

Они, Гарба и Сероштан, слышали шепот за заборами, но не останавливались, не поворачивали головы, важно, торжественно шли в церковь, навстречу праздничному звону. Оба были как на подбор: поп высокий, дьякон еще выше, у одного лицо иконное, чернобородое, и у другого такое же смуглое, к тому же изъедено оспой; один в высоких сапогах, другой в кожаных постолах — гамаках. Они ступали широко, вдумчиво, точно меряли грешную землю, а батюшка еще и окуривал улицу благовонным дымом из медного кадила.

Как только они проходили хату, там, во дворе, начиналась суматоха. Бегала, суетилась родня; пухленькие молодки с трудом натягивали на себя праздничные юбки, аж трещали пуговицы; хозяева кряхтели, намазывая дегтем сапоги; дородные хозяйки не знали, за что им хвататься: и дочек причеши, и узелок собери, и бутылочку прихвати, да и самой принарядиться, как-никак на люди выходишь. А у невест свои заботы: напихают сундуки, быстро собирают подружек, вот сосед-жених уже коней запрягает и батюшку-тестя хватает за грудь,— кажется, магарыч выторговывает.

Все встревоженное село высыпало на улицу. В цветах лошади, подводы с узлами и кошелками, там визжит поросенок, там — «Со святой неделей, будьте здоровы!», там белые платки и жилеты парней, там трескотня молодух, и уже под хмельком кто-то выводит: «Туман яром, туман долиною...» — все спуталось, слилось воедино и свадебным потоком неслось к церкви, что стояла в конце села, на пригорке.

Широко распахнулись двери белокаменного храма. Его стены отсвечивали бирюзой, и башня с тремя куполами, покрытая цинковым железом, была небесно-голубой, высокую колокольню увенчивал золоченый крест. Толпа мальчишек предупредила старосту, что батюшка с дьяконом идут на богослужение, и церковный староста, он же звонарь, вдохновенно бил в колокола, созывая прихожан: «Храм, храм, храм! Все на храм, деньги — нам!» Толпа людей повалила в церковь, под темные и прохладные своды. Хозяева оттесняли на задние ряды тщедушных мужиков, проталкивались вперед, ближе к алтарю, за ними, греховно ругаясь, толкались дородные бабы, они старались выбрать самое удобное место и себе, и своим узлам, и нерасторопной дочке, и родненькой свахе.

Кое-как разместившись, опустились люди на колени, уставили молитвенные взгляды на украшенный золотом алтарь. За алтарем было темно, пахло воском и ладаном, и из этого мрака, будто из

потустороннего мира, вдруг явилась черная, взлохмаченная фигура, и от высокого баса Гарбы задрожали церковные своды.

— Благослови, владыко!

Вышел из тьмы такой же кряжистый священник, дымом окурил святую трапезу и, осенив близстоящих прихожан до блеска начищенным крестом, начал править службу:

— Благословенно царствие твое... и ныне, и присно, и во веки веков.

— Господу богу помолимся,— тянул Гарба.

— Миром помолимся, яко подобает,— вторил ему Сероштан, время от времени поглядывая на шахтера, чтоб тот случайно не испортил обедню: «Бисов Гарба, гласит, как настоящий дьякон!»

— Приидите, братья и сестры мои, во очищение грехов своих господу богу поклонимся...

Голос батюшки гремел под сводами церкви, падал на сгорбленные спины, на низко опущенные головы, на повисшие чубы; и от этого рокотания, от самого воспоминания о содеянных грехах и земных провинностях («Господи, прости!») холодная дрожь охватывала богобоязливых сельских мироедов, и они щедро крестились и били низкие поклоны, между тем мысленно прикидывали, хватит ли сала и колбасы для дароприношения.

После литургии снова заходила ходуном церковь, и все устремились к батюшке, потому что он одновременно и крестил детей, и венчал молодых, и поминал души усопших; не забывал Сероштан освятить дары, а его завалили печеным и жареным, здесь были и гуси, и колбасы, и белые булки, и бутылки святого первача. Все это, трижды освященное крестом: «Благослови, господи, дар сей во славу тебе!»— батюшка передавал неутомимому Гарбе, а тот через служебный ход выносил дары за церковь, туда, где стояла солдатская подвода. Парни принимали из рук Гарбы богатую живность и, облизываясь, причмокивали: «М-да, вот это ветчина! А какие огурчики! Вот если бы сальца еще...»

В церкви — суматоха и шум. Плачут новокрещеные, всхлипывают невесты, одних оттесняют назад, другие лезут к батюшке, дергают его со всех сторон, просят: «И моего окрестите! И мою обвенчайте, полгода сохнет!» Сероштан совсем обалдел от крика, смотрит на Гарбу молящим взглядом: «Может, кончать пора эту комедию?» После одного из походов на задворки церкви Гарба смилосердился:

— Если по-скромному, то и хватит.

И тогда Сероштан, на полуслове прервав службу, обратился к прихожанам.

— Граждане! — сказал он торжественным басом. — Все, что я до сих пор вам говорил, и все, что говорили раньше попы,— все это брехня! А теперь послушайте правду. — И Сероштан одним движением сбросил с себя рясу и предстал перед паствой в солдатской гимнастерке, с черным пояском на шее, с оттопыренной от чего-то тяжелого пазухой.

Точно громом ударило в толпу людей. Кто где стоял, там и замер. Аж звенела тишина в стынущих ушах. В эту напряженную тишину Сероштан собрался было кинуть самые искренние слова исповеди, правды о том, как сызмальства забивали ему голову страшным религиозным дурманом, как он пошел поповской стезей, но вовремя опомнился, что он обманывает себя и обманывает людей, что он, хочешь не хочешь, помогает ослеплять слепых и угнетать угнетенных, и вот, прозрев сам, перед собственной совестью поклялся...

— Бабоньки! — взвизгнул кто-то.

— Дьявол! Сатана! Спасайся!..

С криком бросились врассыпную женщины. Точно ветром подхватило толпу. Узлы, юбки, жилеты — все устремилось в одну дверь: «Убегайте!» Кого-то свалили, передние задержались, а сзади напирали, взбирались на кучу, швыряли огурцы и осатанело плевались: «Тьфу, тьфу, нечистая сила!»

«Вот люди! — удивленно повел плечами Сероштан. — Нес небылицы — слушали, правду хотел сказать — убегают». А из храма вылетали, как кули из молотилки,— один без шапки, другой с оборванным рукавом. Сельские богатеи последними потянулись к выходу, у кого-то сверкнуло из-под полы черное рыльце обреза. Бем! — будто ударил короткий звон. И затих. Пуля просвистела над самым ухом пастыря и попала в икону божьей матери.

— Контра! — гаркнул Сероштан. — Кто уничтожает, варвары, древнюю культуру?! А ну давай еще раз, я помяну того вот этой штукой. — И разгневанный отец выхватил наган из-за пазухи. Только затопало за церковью.

— Хух! — тяжело вздохнул Гарба, вытирая пот с крутого, изъеденного оспой лба. — И в шахте так не упревал, как на этой паршивой дьяконовской службе.

Когда Сероштан и Гарба, немного обескураженные тем, что не удалось закончить службу с «революционным поворотом», пришли на площадь, здесь уже все бурлило. Подводы выкатили на конец площади, поставили их рядом, вот и освободилось место для солдатского стола. Деревянные лавки, на которых молодухи продавали молоко и сметану, накрыли брезентом. На брезент выставили бутылки, скромную закуску — по луковице да по кусочку сала или мяса на брата. В центре, где красным полотном был покрыт единственный в полку фуражный сундук, усадили суженых. Но не успели выпить и первой рюмки, как на площадь донеслась песня: «Ой, свату ж, наш свату, та пусти нас в хату...» Где-то недалеко, в ближайшем дворе, глухо ударил барабан, а из другого конца улицы донеслось:

Раздавайте миски, тарилки
Да налейте стаканы горилки,
Будем песни спиваты,
Голос вытягаты.

Ожило, зашумело село. Там и тут раздавался смех парней, вырывалась музыка, ей отвечали звонкие девичьи голоса. Навер-

ное, богодаровцы быстро опомнились после конфуза в церкви, и, бог с ним, с тем переполохом, все приготовлено, дети повенчаны, почему бы и не погулять в престольный день?

А вскоре на площадь с хлебом-солью пришла делегация мужиков,— видно, представители от беднейших крестьян, от тех, о которых поется: рубашка одна, и та не грязна. Мужики, уже навеселе, полезли целоваться к батюшке: «Ах ты, анафемский сын! Ловко обкрутил мужиков! А как басил — аж слезу вышиб... Ну, извиняй, отче, вконец одурели наши бабы, откуда у них понятия, что это новая служба, а тут еще кто-то бабахнул сдуру (не иначе как из кулаков-бандитов), ты уж извиняй нас, отче, приглашаем тебя и ваших молодых до нашей компании». Подошли еще молодки, окружили они жениха и невесту, а кто-то даже обнял маленькую чернявку и ласково сказал:

— Говорят, ты из наших краев, одна-одинешенька в полку. И негоже отдавать тебя замуж по-сиротски, вот тебе и свахи и подружки.

А одна толстуха повела, как цыганка, плечами — и к бойцам:

— Эй, коней запрягайте, вояки! Чего стоите? С ветерком прокатите жениха и невесту! И мы погуляем с вами, гляди, кто и нас засватает!

Украсили девушки, оживили скучную солдатскую свадьбу. Выскочили бойцы из-за скамеек. Забегали глазами: «Чем мы не хлопцы, чем мы не казаки?» Бросились к лошадям. Запрягли пару вороных — облепила молодежь подводу. Запрягли вторую пару лошадей — куда там, тесно! Запрягли третью и четвертую. Ротного с Килиной посадили на первую подводу, туда же гармониста и посаженого отца Сероштана, остальные, кто как мог, прицепились по бокам, повисли на бортах. Свистнули возчики, широко развернула мехи гармошка, взяли кони в галоп, помчались по ухабистым улицам села переполненные подводы, ленты развевались в гривах, пыль и смех — коромыслом, молодежь качало из стороны в сторону («Эх, держись, кума!»), еще теснее сплетались руки, и, оплетенная руками, прижималась Килина к своему суженому: замирало сердце ее от страха, она смеялась и плакала; разве думала-гадала, что так будут почитать ее люди, если бы мать видела, как везут ее, невесту, по селу...

Неслись лошади, как ветер, гармошка сыпала жаром. «Эх-ха-ха!» — качались парни на подводах, а кто-то там, за журавлем, быстро выносил стол и уже загородил дорогу. «Стой! — кричали мужики. — Стой, выкуп давайте!» Женщины и дети выбегали из дворов, и, когда остановилась подвода с невестой, коней взяли за уздечки: «Не пустим дальше — выкуп!» Живая изгородь полукругом окружила «пленников», и свахоньки, раскрасневшиеся от быстрой езды молодые женщины, не запели, а словно запричитали:

Что стоишь, зять, за плечами?
Что ты хлопаешь очами?
Про кармаи не забывай,
Деньги горстью доставай,

Девка красна — что за чудо?!
Выкуп свой клади на блюдо.

Ротный сыпанул на блюдо полную горсть яровой пшеницы,— дескать, золото потом, когда отвоюем,— но и этого выкупа было достаточно, молодым поднесли по рюмке водки, лошадей повернули во двор: «Милости просим! Будьте гостями, и у нас свадьба сегодня, Павлина выходит замуж, вон тот, бородатый, повенчал...»

Гуляли по всему селу, одни за высоким забором, другие просто на улице, и где бойцы пролетарского полка, а где коренные богодаровцы, которые боялись солдатского погрома, где свои, где чужие — никто и не думал об этом. «Горько!.. За ваше здоровье, кума!.. Будьте счастливы, свашенька!» — всех объединяло общее веселье. Только Мамай, пряча в ладони улыбку, а рваные сапоги под стол, сидел и думал свое: не заслонили ли ему разгоряченные молодки революционный горизонт? Эта мысль его мучила еще и потому, что на сельском гулянье всегда как у черта за пазухой: попробуй провести здесь классовую грань между людьми, когда все добрые, все чокаются, а затянут песню — душа к душе клонится. «Ох, хмелю ж, мий хмелю, хмелю зелененький!» — даже слезу вышибает, и чужак братом тебя называет. (Комиссар не знал еще тогда, что, пока местная беднота братается с его бойцами, во все горло распевая свадебные песни, кулаки послали своего гонца в Лозовую, и уже с гиком и свистом несутся по степи махновские тачанки, и ревет опьяневшая анархия: «Аллюр три креста, красной свадьбе гроб с музыкой!»)

...В небе сгущались тучи. Весь день палило солнце, было душно, а к вечеру потянул ветер, черные облака вздыбились на западе, за ним вставали еще чернее, с багряными подсветами внизу, и вот между ними словно взорвался динамит, красные кнуты опоясали ползущие тучи, и они с тяжелым грохотом раскололись, и запах горелой пыли стлался над степью.

В небе сгущались тучи, а под тучами, в высоких хлебах, бились отряды. Там докипал короткий бой. «Господи, спаси его!» — шепчет Килина; она одна на площади, одна в шалаше, грозовые тучи окутали село, навевая страшные мысли; все, что произошло и продолжается сейчас, смешалось с темными тучами. Ей запомнилось одно: «Махно! В атаку!» — и загрохотали подводы, сверкнули подковами кони, все двинулось, понеслось в степь, и он сердито и отчаянно вырвался из ее объятий, из ее молящих рук, хлестнул коня, низко, как чайка перед грозой, пронесся над морем пшеницы и исчез из виду. То ли горела рожь, то ли горело небо — от огненных вспышек темными волнами развевались гривы, ржали кони, и падали в рожь, и снова вставали на дыбы, и тогда трещали солдатские кости и стоном наполнялась вытоптанная рожь.

Бой, как майская гроза, грянул неожиданно, покатился далеким эхом, уже и утих, а все еще клекотало в глухих буераках. Бойцы возвращались в лагерь, обходя стороною шатер, осторожно клали раненых и убитых на темный брезент, и те, кто был еще

живой, просили во тьме: «Пить!.. Дождя бы на землю!» Бойцы тихонько разговаривали, кто-то на ощупь разнуздывал коней, кто-то подбрасывал им сена, тучи тяжело ползли над селом, темень сгущалась, между возами сновали неясные тени. Килина легла на край повозки, прислушалась: «Где он? Что с ним?» Никто не подходил к ней. Страх и подозрение холодным комом свернулись в душе, ее тянуло к людям, и вот... о нем!.. о нем, кажется, говорят: «Упал, затоптали махновцы... Может, найдем утром».

Килина посмотрела в сухую мглу; ночь была темная, в глубине ее вспыхивали молнии, при ярких вспышках Килина видела: вдали, за селом, мечется тень коня. Конь без всадника, он скачет по высокому кургану. Скачет под заревом, несется ошалело в одну сторону, блеснет красной стрелой молния — несется в другую сторону. Конь был точно облит огнем, грива и спина его полыхали, вот он, казалось, сейчас вспыхнет, как сухой лист. То ли от боли, то ли с перепугу ржал одичавший конь, и тоскливое его ржание будоражило ночной покой. Килине даже показалось: развеваются на ветру черные поводья, будто ловят кого-то,— может, того, кто упал в вытоптанную рожь.

И Килина звала его, это был немой, притаившийся в глубине ее души крик; синие вспышки молнии и горячие слезы слепили ее, она не замечала уже ни слез, ни рыдания, ничего.

Вышел из темноты Мамай, положил на ее плечо руку, почувствовал судорожное всхлипывание беспомощной девушки. «Не плачь,— сказал Мамай. — Мне бы сейчас поплакать, да что слезы — не свинец, пули из них не выплавишь. А нам, Килина, ох как нужны патроны и революционная сознательность, мы еще плохо организованы, потому и потеряли сегодня лучших товарищей. Но полк будет, и ты будешь гордиться им, и тобой будут гордиться, ты не одинока, не надо слез». Мамай умолк, снова послышалось ржание лошади, и тогда Мамай с болью произнес: «Глупо, глупо все получилось» — и быстро пошел. Во мгле не видела Килина, как вздрагивают его худые, по-мальчишески острые плечи.

Лагерь замирал. Изредка в темноте попыхивали цигарками часовые, чернело несколько силуэтов возле угасающего костра, между возами вповалку спали солдаты, после боя беспокойно фыркали кони, а то начинали стучать ногами, звякать поводьями, и тогда слышалось: «Ну-у!.. Чего дуришь?» Лагерь замирал, лишь тишину будоражил стон раненого, он рвал на себе гимнастерку, кто-то его успокаивал: «Браток, не надо... Хлебни чайку, браток...» А в степи бушевала гроза, высокая синяя туча, заслонявшая чуть ли не все небо, с грохотом раскалывалась от ярких вспышек молний, и летал в зареве одичавший конь.

Не помнила Килина, то ли уснула, то ли бредила во сне,— горел лес, она никогда не видела леса, да еще в таком огне. И вот падали на землю сосны, охваченные жарким пламенем, а он, простоволосый, бежал тем лесом, рушились на него

деревья, что-то ударило в фургон, и Килина проснулась. Она почувствовала, как коснулись ее лица горячие лошадиные ноздри, они были в липкой мыльной пене, от быстрого бега они раздувались, на Килину глядели два кровянистых белка — глаза вороного. Девушка встала на колени, что-то спросонок пробормотала с вымученной лаской, нащупала скользкие удила, от ее прикосновения нервно подергивались лошадиные ноздри, и девушка шептала: «Не буду, не буду»,— и потянулась рукой дальше, к мокрой, вспотевшей гриве, чуткие пальцы ощутили что-то неприятно-липкое: «Кровь?!» Конь оттолкнул ее мордой, горячо понюхал косы, шею, понюхал солому — нет! Не тот, кого искал. И тогда вороной храпнул, шарахнулся от чужого запаха и, круто повернувшись, ударил копытами — и понесся, застучал по укатанной дороге, будоража ночь раскатами громкого лошадиного ржания.

Конь разрывал темноту, и Килина не почувствовала, как выскочила из фургона, побежала за ним; босая и исступленная, она бежала за лошадиным топотом, а куда и зачем — сама не знала, только бы что-то делать, пускай спотыкаться, падать в полынь и в воображении видеть его, раненого или убитого, среди вытоптанной ржи. Одним словом, она бежала, чтоб заглушить в себе страх и бессилие.

ДОРОГИ. ИЩИТЕ, ДА ОБРЯЩЕТЕ

ИНТЕЛЛИГЕНТ ПРИЛЕСНОВ

— Землячок, на выход!

Они сидели в подвале. Наверху, по-видимому, была котельная, там день и ночь шуровали кочегары, в трубах что-то сердито рычало и полязгивало; стены подвала, обвитые трубами с толстыми наростами из ржавчины, дышали огнем, ни сесть, ни дотронуться нельзя, и пленные (их было семнадцать), полуголые, кто в галифе, а кто в одних подштанниках, лежали на цементном полу. Но и цемент был горячий,— наверное, и под ним проходили трубы,— затхлый воздух и сама темнота были до предела накалены. Только один раз в неделю давали красноармейцам воду. Звякнет железный засов, и просовывалась в узкую щель рука с кавалерийским мешком. Затем шлепался мокрый брезент на пол, и сразу голые и потные тела сбивались вместе, одни тянули теплое и вонючее пойло прямо из рук, другие жадно лизали воду из грязных лужиц. Часовой ругался: «Отродье!.. Назад!» — бил сапогом под ребра тех, кто лез на кучу, и отбирал мешок. Постепенно смеркалось, шипело и ворчало в трубах, и молоденький солдат, щупая в темноте горячий пол, в который раз пробовал запеть: «Ой, летела горлица...», да и обрывал песню на полуслове, засыпая.

— Землячок, на выход!

В дымно-желтом квадрате дверей стоял Аникий Чмырь, рядовой конвойного отряда пятого кавалерийского полка Войска Донского генерала Деникина. Как и отец, как и все Чмыри, он был щупленький, незаметный мужичонка мышиного цвета — в рыжих от грязи гофрированных сапогах, в потертой, жеваной шинели, в шапке-ушанке, одно ухо задрано вверх, другое опущено. Он стоял на ступеньках с карабином за спиной и быстрыми глазами выискивал в темноте землячка. Землячком Аникий называл своего односельчанина Саньку, который когда-то ходил с его братом Енькой в лес за вощинами, да ишь, черти ему в печенку, выжил тогда, а сейчас попался с поличным, и будет ему нынче полный расчет.

— Эй, землячок, на выход, говорю!

— Опять на допрос? — отозвался ротный.

— Никак нет. На милую беседу с их вшеблагородием поручиком Прилесновым.

Чмырь деловито завязывал руки земляку, туго-натуго, в три обхвата, стягивал их за спиной шпагатным путом. Треножить людей он умел по-хозяйски, не одну сотню связал, и еще никто из пленников живым не выпутывался.

Идя длинными коридорами мимо котельного цеха, они, как правило, перебрасывались одними и теми же словами:

— Ну что, собачью шкуру надел? Подметки офицерам вылизываешь?

— Так точно,— отвечал Чмырь. — Верой и правдой служу генералам, они и кормят меня, бывает, и рюмочку изволят поднести. А ты, земляк, допрыгался, значит, со своими комиссарами, наготу свою нечем прикрыть.

Чмырь по-свойски штыком подталкивал сзади конвоируемого, любуясь глубоким шрамом на его спине. Ишь какая знаменитая борозда — от плеча до бедра. Ровная, словно плугом вспахали. Знай, браток, нашу гвардейскую руку!

Повторялась еще одна сцена. В дверях котельной, будто случайно, их встречал конопатый паренек лет семнадцати, черный от угля; в грязном фартуке, в засаленном берете, он небрежно опирался на тачку, чадил «козьей ножкой»,— дескать, шлепайте, вояки, своей дорогой, мое дело кочегарское, загрузил печь и могу теперь спокойно покурить. Но в то же время он жадно украдкой ловил взгляд ротного, и в печальных глазах юноши скрывалось что-то недосказанное. «Не дрейфь, браток! — как старому знакомому, подморгнул ему ротный. — Не проглотит свинья чугун с отваром, а проглотит — сдохнет».

Рядом с котельной находился железнодорожный вокзал. Темными коридорами пришли они в большой мрачный зал, пустой и заброшенный, на стене висел покосившийся фанерный щит с яркой надписью: «На путях не лежать», а кто-то углем на нем написал: «Дуй во все пары!» Они поднимались на второй этаж, где когда-то находилась станционная контора, а сейчас здесь копошилась безликая штабная братия, которая курила махорку и резалась

в очко; штабисты, которых донимала бумажная скука, оживленными глазами провожали «мозоля», человека с «другого берега», тем более в таком экзотическом наряде — босого, в галифе без ремня. Проходя мимо них, Чмырь принимал почтенный вид, еще веселее подталкивал штыком в спину своего земляка. «Ать-два!» — командовал Аникий, демонстрируя перед офицерами, как босой большевик умеет маршировать по холодному кафельному полу.

— Позвольте, ваше благородие, войтить? — Чмырь просовывал голову в один из кабинетов.

— Пожалуйста,— доносился оттуда приглушенный баритон.

Поручик Прилеснов, стройный, высокий штабной офицер с нервно-бледным лицом картежного игрока, быстро поднялся из-за стола, загасив папиросу в пепельнице. Коротким жестом указал пленному на стул. Но, вовремя опомнившись, досадливо вспылил:

— Развяжите ему руки! Сколько раз предупреждал — связанными ко мне не приводить.

Чмырь отчеканил:

— Слушаюсь, ваше благородие! Он, знаете, какой-то оглашенный, на наших кидается... — быстренько развязал своего землячка.

Ротный сел в глубокое клеенчатое кресло; после котельной, после душного воздуха на раскаленном цементе его знобило, холодный пот разъедал зудящие раны, свежий шрам на спине сильно стягивал кожу и мучительно подергивал. Но вместе с тем он каждым нервом готовился к словесной дуэли.

— В регулярной армии не служил,— упрямо повторил ротный заученную фразу,— я из партизанского ополчения.

— Хватит об этом! — сморщился Прилеснов, устало откинувшись на спинку кресла; у него были красивые темно-русые волосы, кое-где схваченные сединой. — Разговор сейчас о другом.

Поручик — человек, вероятно, энергичный, он ни минуты не мог сидеть спокойно: то закидывал ногу на ногу, то стряхивал пепел в пепельницу, то вдруг, будто по клавишам, пробегал гибкими белыми пальцами по пуговицам офицерского кителя. Но что бы ни делал Прилеснов, он не спускал с пленного цепких, пронизывающих холодом серых глаз, словно хотел прошить его насквозь: «Что там, мужик, у тебя в широкой костлявой груди? Черная, от земли, плебейская ненависть к высшему сословию? Это я знаю. Черная, от невежества, страсть к разрушению? Тоже знаю. А еще что?» Поручик как будто бы хотел до конца распознать своего врага, но тот ускользал из его цепких рук, избегал его холодного, пронизывающего взгляда.

А ротный и в самом деле смотрел поверх стола, который отделял его от деникинца, поверх надушенной одеколоном аккуратной прически Прилеснова. Он смотрел на карту, висевшую за спиной поручика. Это была карта Украины, испещренная красными линиями железнодорожных путей. На карту Прилеснов повесил свою саблю, переливающуюся черным лаком ножен. Сабля пополам

рассекала землю Украины, как раз по Днепру... «Символ контрреволюции? Нет, не выйдет, пан поручик!» — передернул плечами ротный, стряхивая с себя озноб и холод, и мелкие мурашки пробежали по всему телу.

Поручик снова откинулся на спинку стула, погрузившись в свои мысли, зажмурил уставшие, подернутые меланхолической ленцой глаза. А потом вдруг спросил:

— Вы когда-нибудь выступали на сцене? — Как человек культурный и благовоспитанный, ко всем, даже к военнопленным, он обращался только на «вы».

— Я не служил в регулярной армии,— повторил ротный.

— Извините, даже попугаю надоедает твердить одно и то же. — Прилеснов поморщился, нервная дрожь пробежала по его жестковатым губам. Но поручик умел владеть собой и потому продолжал с достоинством настоящего дворянина: — Я спрашиваю вас: вы когда-нибудь выступали на сцене? Ну хотя бы на любительской? Скажем, в эпизодической роли или просто с декламацией стихов?

Ротный мысленно дернул штабиста за гладко прилизанный чуб: «Что же ты хочешь, контра?!» Но игра игрой, и он спокойно, тоже с достоинством, сказал:

— Выступать приходилось. Читал на память лесорубам... сказку Ершова.

— Прекрасно,— едва сдержал поручик ироническую улыбку. — А как вы посмотрите на то, если мы вам предложим выступить в роли большевистского комиссара?

Что-то новое! Во всяком случае, на предыдущих допросах деникинцы не очень-то церемонились, рубали сплеча и пускали в расход, а этот, артист... Что ему нужно? Ротный напряженно припоминал: кажется, это уже было в его жизни... вот так же сидели они вдвоем... тасуя слова, как карты... мелкий, бисерный пот на женских, немного отекших щеках... Бобринский! Ей-богу, все повторилось до мелочей!

— Не понимаю вас, господин поручик. Говорите лучше напрямик.

— Не знаю, как и объяснить. Вещь очень сложная, она исходит от характера и духа русского дворянства (а значит, и офицерства), которое было и будет добрым гением, совестью нашей, и не только нашей, нации. Мы, офицеры, люди совсем иного склада. Мы воспитаны на античной литературе, на высокой поэзии Тютчева, на бессмертной музыке Чайковского, мы все в душе немного поэты, сентиментальные и чуточку расслабленные люди. Я сам в молодости пописывал стихи, и водился такой грех за мной,— Прилеснов даже покраснел, вспомнив невинные увлечения своей юности,— и водился такой грех за мной, написал в порыве вдохновения романтическую пьеску, называлась она «Дама трех кавалеров». Пьеса, представьте себе, имела успех в Ростове, мне бурно аплодировали. Мы все, повторяю, люди сентиментальные, любовь, красота, поэзия — вот наша вера, наша религия, перед

которой мы преклоняемся и ради которой приносим себя в жертву.

...Дожди размыли дорогу, и, утопая по колено в грязи, шли пленные под конвоем белоказацкой сотни. Наверное, ночью здесь пронеслась буря с дождем, прибила к земле неубранный хлеб, сорвала телеграфные провода, повалила столбы на косогоре, и теперь они, как пьяные, качались на ветру, точно тянулись друг к другу, чтоб чокнуться фарфоровыми чашками. Дорога круто спускалась к Северному Донцу; узкая и болотистая, она напоминала грязную канаву, и солдаты шлепались в липкое месиво, падали и ползли вниз по скользкому спуску, хватаясь руками за придорожную полынь, а казаки на конях хлестали по рукам нагайками. Вдруг из колонны кто-то тихо сказал: «Посмотрите — яблоки!» И в самом деле, тот тут, то там из грязи выглядывали яблоки — еще зеленые.

Сначала выскользнули из-под ног только яблоки, потом и сливы, и помидоры, и черепки битой посуды. Удивленные, пленные стали осматриваться: гляди, да вот и домашняя утварь, смешанная с грязью, стоптанные башмаки, грязное тряпье, рассыпанные сухари, плавает в луже пшенная крупа. А дальше — поломанные, перевернутые вверх колесами подводы и тачки, даже подушка с отпечатком конской подковы. И занесенные илом трупы... в канаве. Колени. Спины с волдырями. Остекленевшие от испуга глаза. Женщины, старики, застывшие ребячьи улыбки,— и все это втоптано в болото совсем недавно, из-под порубленных тел течет желтая кровяная пульпа.

Ротный увидел: что-то зашевелилось в канаве. Заворочался комочек, поднялась белобрысая головка девочки — с мотыльками белых лент, вплетенных в косу,— малышка, размазывая слезы и грязь на щеках, позвала: «Ма-а-ама!» Ротный остановился. Остановилась и колонна. Бойцы как один уставились на девочку. Эта немая сцена длилась всего лишь мгновение, но ротному показалось — мучительно долго. Так долго, что на губах его высохли капли грязи. Все прикончил, господин поручик, человек вашего сословия, последыш дворянского рода. Конвоир-есаул с пышными геройскими усами на круглом, как полная луна, лице повернул коня и, налегая на правое стремя, рубанул шашкой наотмашь — покатилась, точно мяч, белокурая головка, подрагивая белыми ленточками. Санька умел одним коротким рывком подвернуть ногу лошади, чтоб та упала на землю; он бросился на есаула, на секунду представил себе, как он толкает его в болото, лицом в ил, в грязищу, до тех пор, пока тот, гад, совсем не захлебнется в тине. Он рванулся с места, но его отбросило назад, лопнула гимнастерка, будто напополам разрубило молнией спину, и в ту же минуту чьи-то сильные руки грубо толкнули его в колонну...

— ...любовь, красота, поэзия — вот наша вера, наша религия, перед которой мы преклоняемся и которой приносим себя в жертву. — Поручик Прилеснов говорил все более и более увлеченно, нервно-бледное лицо его светилось чистым огнем вдохновения,

тонкие и чувствительные кисти рук будто добывали из холодных досок стола музыку самого благородного звучания. — Но наше проклятье в том,— размышлял поручик,— что, уходя в мир неземных фантазий, мы забыли о мире реальном, о том жестоком и темном, что нас окружает. Мы повторили (думаю, не до конца) фатальную ошибку Древнего Рима, который погубили античная роскошь и чары искусства, это был золотой сон, самозабвение детей природы, а между тем словно из пещер выползали дикие орды, и Рим, великий Рим, гордая колыбель человеческой цивилизации, рухнул под пятой варваров. Разве не то самое происходит сейчас в России? Гибнет древняя культура, гибнет мораль, затоптаны в грязь такие идеалы, как честь, благородство, чувство святого долга...

Рядовой конвойного отряда Аникий Чмырь, который стоял за спиной ротного, стоял навытяжку, с винтовкой у носка, в такую серьезную минуту весело хохотнул; рассмеялся себе человек ни с того ни с сего, и от легкого смеха задрожала его редкая бороденка, засверкали пожелтевшие, прокуренные зубы, заблестели быстрые слезливые глаза.

— В чем дело? — прервав разговор, с явным раздражением посмотрел на Чмыря интеллигент Прилеснов.

Аникий щелкнул каблуками:

— Здорово, говорю, вшеблагородие, наш есаул распорол ему спину. Червь завелась.

— Дурак! — вскипел, наливаясь гневом, поручик и большим усилием воли погасил неожиданно возникшее чувство брезгливости, лицо его застыло, налилось обычной бледностью. Поручик закурил и, выпуская сизыми кольцами дым, с ударением на каждом слове произнес: — Рану промыть. Обмундирование вернуть. Что за манера устраивать цирковые представления!.. Ясно?

— Слушаюсь, вшеблагородие! Раз приказано, будет промывка и полный порядок.

— А теперь выйдите, Чмырь или как там вас... подождите за дверями.

— Есть подождать за дверями! — Чмырь козырнул, но не ушел, потоптался на месте и, жадно облизывая губы, попросил: — Извольте, вшеблагородие, папироску. Так жжет, что печенка высохла.

— Пожалуйста. — Поручик пододвинул серебряный портсигар, и вновь нервная дрожь пробежала по его щекам, выбритым до синего блеска.

Они остались вдвоем — темно-русый подтянутый офицер с длинными, немного нервными руками и кряжистый, налитый упругой силой командир краснострелковой роты, на губах у которого всегда блуждала уверенная, немного лукавая улыбка.

Поручик долго стряхивал пепел в пасть медного льва, и делал он это так тщательно, будто стряхивал туда и свою меланхолическую задумчивость. И вдруг, неожиданно вздрогнув, офицер нацелился пальцем в ротного:

— Вы и все ваше отродье заставили нас защищаться. Вы толкнули Россию в пропасть безумства, дикого разгула анархии и беспорядка. Вы начали первые, и мы помимо своей воли были втянуты в жестокую войну. Разве я, русский интеллигент, думал о том, что придется мне писать не романтические пьесы, а кровавые драмы о геростратах двадцатого века? Но, защищая свою честь и достоинство, мы не опустились до уровня темной силы, которая занесла над нами дикарский нож. Нам чужда, нам противна безумная жестокость, уже самое представление о том, как проливается невинная кровь, отталкивает нас, и вот вам красноречивый тому пример... — Поручик резко, с хрустом, закинул руки за шею, откинулся назад, немного манерно, казалось, показывал ротному белый накрахмаленный воротник и белый, благородно округленный подбородок. — Представьте себе: на военной сцене идет спектакль «Кровавая месть». Действие происходит в доме княгини Разумовской. Музыка, бал. Княгиня выдает замуж свою единственную дочь Роксану. Гремит гром, и врывается в дом одичавшая толпа, ее ведет большевик-комиссар, он прерывает музыку... Одним словом, этого комиссара будете играть вы.

— Шутите, господин поручик?

— Нет, я не шучу, это борьба в реальном представлении. Уважающий себя офицер не может, не способен оскорбить свою честь ролью большевика даже на сцене. А вам, как говорится, и карты в руки: поругание всего святого — вот ваше амплуа. Вы скажете только одну фразу: «Мы распяли Христа и вас казним на кресте».

— Это слова Иуды, а не большевистского комиссара.

— Мы заставим вас играть, силой заставим, вы дали нам право на такое насилие.

— А если я откажусь?

— У военного преступника две перспективы: или — или... Наша гуманность не бесконечна.

— Разрешите, господин поручик, подумать.

— Хорошо. Даю вам на размышление одну ночь.

...Подвал. Шумит, бурлит, распирает трубы кипящая вода. Если бы хоть один глоток... А между тем она здесь, возле тебя и под тобой, слышишь, как она течет, будто раскаленное добела железо, лучше не было бы ее так близко; она жжет, сушит, она бесит тебя дразнящим шумом, и вот уже кто-то не выдержал, стучит кулаком по трубе:

— Разорву!.. Больше не могу, братцы!

Одного успокоили, другой забился в припадке:

— «Ой, летела горлица...»

— Молчать! — крикнул Гарба, и даже те, что оглохли от невыносимой жары, затаили дыхание. — Скисли, братцы, а? А если бы вы повкалывали на шахте, в газах, где и кони дохнут?..

И начал Гарба, никогда так долго не говорил: сейчас, мол, не так уж плохо, сидим в тепле и в добре, совсем как у тещи на именинах. (Шахтера накрыли ночью, когда он тащил «языка», и

уже здесь, в подвале, он встретился со своим командиром — Санькой.) Вздрогнула земля, затрясло всех на цементе; тяжелым, все нарастающим грохотом пронеслось, отгремело что-то свинцово-грязное. Наверное, промчался наверху груженый товарняк.

— Товарищи! Когда нас поведут?

— Это ты, ротный? — спросил Гарба.

— Я... Когда нас, спрашиваю, поведут к стенке?

— Еще один раз, обещали, обкрутят на допросах — и в расход.

— Не дождемся, наверное, нового мешка воды.

— Хотя бы быстрее, сюда или туда.

— А чего спрашиваешь, ротный?

— Думу думаю: сколько стоит теперь мужицкая жизнь? Чтоб не продешевить.

...Кабинет Прилеснова. Карта «Железнодорожные пути Малороссийского края», пополам разделенная саблей. На фоне карты — четкий, суровый профиль штабного офицера. Бледное, уставшее лицо,— наверное, от постоянного недосыпания.

— Почему, скажите, именно мне выпала честь развлекать панскую публику?

— О-о-о! Я вижу, мы приобщаем язычников к тайнам христианской веры, точнее — к искусству. Сейчас я объясню. В ваших глазах есть тот фанатичный огонь, та воинственная самоуверенность, которой не хватает нам, мягкотелым интеллигентам. («Какой ты интеллигент?» Ротный с трудом сдержал непрошеную улыбку.) Пускай увидят,— продолжал офицер,— пускай сами убедятся благодушные и самоуспокоенные собратья мои, какая сила поднялась против них и на что она способна, эта сила.

— Где решили играть вашу комедию?

— Вы хотели сказать — драму?.. Разыграем здесь, в здании вокзала. Там уже готовят сцену. Чмырь, отведите пленного вниз, укажите ему, как и откуда он должен будет появиться.

— Слушаю, ваше благородие!

— Только предупреждаю: не вздумайте шутить с нами. На сцене и за сценой будут вооруженные люди, сабли обнажены, и, если с вашей стороны будет малейшее сопротивление или самовольное движение, я не ручаюсь, что кто-нибудь — в порядке защиты — не применит оружие. Вам ясно?

— Как божий день.

— Со всем остальным вас познакомит помрежиссера.

Чмырь повел землячка в билетный зал, где висел плакат: «На путях не лежать». В зале шатались денщики-кавалеристы, они составляли ряды из старых деревянных скамеек. Больше десяти скамеек были вплотную сдвинуты к глухой стене, получилась крепкая, широкая сцена, плотники (по-видимому, из местных мужиков) сбивали и укрепляли ее досками. Возле стены на двух вертикальных опорах уже натягивали брезент, вырезали в нем «двери». И смотри, нашелся ж художник-монархист, жидкой золотистой краской он сотворил двуглавого орла, две скрещенные

сабли над ним и призыв: «Казачий Дон! На защиту России!» Ротный оглядел деревянную сцену, заметив себе, что она прилегает к боковым окнам,— одно выходит на перрон, второе на привокзальную площадь. «Ой, летела горлица...»— замурлыкал ротный песенку, которая привязалась к нему, как наваждение.

После осмотра Чмырь погнал своего пленника в подвал. Они шли темными коридорами; внизу неизвестно откуда тянуло пронизывающим сквозняком, повевало сырым, настуженным ветерком. В глубине коридора, где пахло плесенью и мышами, густую, холодную темноту проткнула светлая полоса — это была дверь на улицу, и ротный сбавил шаг: давно уже не видел, что творится за стенами. «Ф-ю-у! — присвистнул он удивленно. — Когда же он выпал?» Во дворе лежал мокрый снег, да, собственно, и не снег, а бурая жижа, лошади успели хорошо перемешать ее с грязью. А ведь ротный думал, что осень только в разгаре, а тут выпал ранний снег, выпал на зеленые листья, на живую и по-живому теплую землю. Задумчиво смотрел ротный на улицу, не чувствуя, как подталкивает его в спину острым штыком своячок, не в силах был оторвать взгляда от бурой грязи, истоптанной копытами, и вдруг ему показалось: кто-то смотрит на него. Кто? Откуда? Пробежал глазами по снегу, остановился: странно — какая-то молодая женщина. Нет, деревенская девушка. В калошах. Ноги красные-красные,— видно, замерзла. Выскочила с узелком белья, в коротенькой юбчонке, в одной кофте, рукава подвернуты выше локтей, на холоде от рук идет пар, и дымит мокрое белье, кофта облегла тугой девичий стан. Повернула смуглое лицо, смотрит на него. Еще мгновение — и взгляды их встретились.

«Килина, это ты?!»— вздрогнув от неожиданности, спросил глазами ротный.

«Молчи. Молчи».

«Как очутилась здесь?»

«Искала тебя. Нашла».

«Где наши? Где полк?»

«Там, за горой».

«Килина!..»

— А-а, едрена мать, чего ты уставился?.. Ать-два! — Чмырь штыком толкнул землячка, оттеснив его от дверей. — Шлендру бессарабскую не видел? Такая же вражина, как и ты. Кальсоны офицерам стирает, а губы дует — куда там. Хотел было подъехать (живет она там, в котельной) — хи-хи, ха-ха — к ней, сухари тычу, так она, краля, как двинула в плечо, чуть было в котел не угодил. Как сукин сын ошпарился бы... Тьфу!

И снова подвал. Он еще зловещее стал, еще удушливее после вынужденной прогулки. За стенами скребутся и пищат крысы. Наверное, они чувствуют поживу, подбираются все ближе, грызут цемент, не сегодня завтра нападут целой стаей. Писк и грызня голодных крыс доводят до исступления и тех, у кого самые крепкие нервы.

— Гады!.. Сволочи! Откройте, говорю! — И кто-то бешено сту-

чит, бьет ногами в дверь, на ступеньках раздается выстрел, пуля выбивает из доски смолистые щепки.

В подвале стихает. Друг к другу подползают вспотевшие, горячие тела.

— Тише, хлопцы. Не надо,— успокаивает чей-то приглушенный голос.

— Товарищи, развяжите мне руки.

— Это ты, ротный?

— Я, Кондрат.

— Нас всех связали. Наверное, поведут.

— Слушай, Кондрат, развяжи меня. Хоть зубами перегрызи. Меня скоро позовут.

— Садись поближе. Так. Наклонись.

Путы были из шпагата, и Кондрат, стрелок третьей роты, в прошлом пастух из херсонских степей, хорошо мог справиться с этим делом — зубами ворсинку за ворсинкой грыз, перекусывая сухую веревку, а она, проклятая, въелась в отекшие руки. Он упрямо грыз и в темноту сплевывал соленый ворс, он материл всех надзирателей, которые были, есть и будут, он сопел и ругался до тех пор, пока наконец не освободил командиру руки.

— Всё. Теперь можешь строевым пройтись перед офицерами, дышло им в зубы!

— Да уж строевым, Кондрат.

Шипела, булькала в трубах вода. Горячий воздух, пропитанный пóтом и влагой, высушивал легкие: пленные дышали тяжело и прерывисто, часто кашляли, то и дело сплевывая сгустки крови. Где-то вверху, во влажной темноте, набухали тугие капли воды и — дзинь! — срывались на цемент. Молоденький солдат приловчился языком ловить те капли с привкусом плесени, чтобы хоть как-нибудь проглотить липкую горечь.

Ротный сказал:

— Товарищи. Хочу попрощаться... Это ты, Иван,— по надбровному шраму узнал,— ничего, девушки меченых любят... Это ты, Федя,— как поп глаголил, землею пахнешь: что-то, брат, опустился, потом весь обливаешься, не иначе как от слабости. Не годится, держись, браток... Это ты, Гарба,— выглядишь что надо: сухой, как порох, и в жилах злость; вот что значит шахтерское семя, в землю брось его, затопчи — все равно прорастет... Это ты, Кондрат,— дай бог каждому такие зубы, контру давно бы перегрызли. — Ротный обошел всех смертников и пожал всем руки.

...Кто понюхал пороху, тот знает, что это такое — чувство неизбежной и неотвратимо близкой атаки. Нервы собраны в один кулак, тело напряжено до предела, и весь ты как граната: стоит только сорвать предохранительную чеку, сразу зашипит запал, мгновение — и взрыв.

Б-бах! — ударил под солнечное сплетение ротный, одной рукой зажал Чмырю глотку, плечом прижал его к стене, другой быстро нащупал у пояса чехол с «лимонкой» Мильса, ротный приметил ее еще раньше.

— Ты чего? Ты чего? — заметался Чмырь. — Отстань, вражина...

— Тс-с-с! Не пищи, а то амба.

Темный угол, паутина, сердце учащенно бьется: куда? Бежать назад — часовые, за ними еще часовые, тут и там стена, выход один — вперед, на сцену. На сцену, потому что там...

— Веди. Молчи. Моргнешь — взлетим оба.

Ловко пихнул «лимонку» за пазуху, под мышку, зажал ее, точно яблоко. Под ногами была пустота, он шел словно в дыму, кровь прилила к голове, каждым нервом чувствовал он, как гудит переполненный зал, как сзади пыхтит Чмырь, как скрипят деревянные ступеньки... «Через то окно, что выходит прямо на площадь. Конь в сквере. От Кили привет», — шепнул ему конопатый кочегар, он стоял у дверей котельной, а другой, товарищ его, угощал махоркой конвоира, жадного до курева. Вот и окно вровень со сценой: черная осенняя мгла на улице... Выдернул предохранитель, шипит запал. «Ты что, ты что, вражина?» — «Молчать! Еще один писк — и амба». Осталось в памяти: затемненный зал, постепенно почти к самому потолку поднимались золотые погоны, сверкающие огоньки глаз, смеющиеся лица: «Ха-ха-ха!.. Большевик на сцене!.. Цирк!» Проплыли, как в тумане, геройские усы есаула («Это ты, недоносок?»), мелькнуло бледное лицо Прилеснова, а здесь, на сцене, какие-то тени, какая-то солдатня, поблескивают штыки, единственная лампа в углу, вокруг нее желтый свет на ковре.

Наклонился, будто готовился к прыжку.

— Ага-а!.. Вы хотели потехи? Вот вам, выкусите! — И он обвел притихший зал выразительной фигой. — Наз-зад, царское отродье! — И бросил гранату.

Бросил гранату, целясь в лампу, и сразу в наступившей темноте раздался взрыв («Бейте пуду!»), а сам кинулся к окну, грохнул выстрел, зазвенели стекла, он полетел в грязь, сгоряча метнулся туда, сюда — в тьму, в лужи, — а из окна уже прыгали солдаты, сверкали частые огоньки; ротный растерялся, не зная, куда бежать; но вот он заметил стоявшего под деревом коня.

— Сюда! — послышался шепот, и кто-то подсадил его, подал поводья.

Ротный припал к гриве коня, над ним просвистели мокрые ветки, брызнула вода из темных луж, стучало сердце, и он с каждым лошадиным прыжком все сильнее подбивал ногами коня, не чувствуя, как заплывает на нем рубашка горячей кровью.

ВСТРЕЧА

Кто-то затормошил ее, стащил шинельку:

— Вставай, Килина.

— Господи, не дадут согреться! — проворчала она, подбирая под себя ноги, хотела глубже зарыться в мокрую солому, пропахшую сопревшим солодом.

Только под утро Килина добралась в лагерь; она бежала верст пятнадцать, была глухая ночь, болото и ветер, продуло ее до костей. Прилегла в фургоне — и вот:

— Вставай, Килина. Он здесь...

Треугольный лаз походной палатки, свинцовое небо осеннего рассвета, брызжет синими искрами высокая, холодная звезда. «Господи, все тело ломит. И куда девалась шинель?»

— Он здесь, Килина. — Голос, кажется, Мамая, хриплый басок. — В палатке лежит... С коня стащили еле живого, без сознания, много крови потерял, а так ухватился за гриву — намертво, с трудом оторвали.

— Кто?! Он здесь? Чего не разбудили?

Она прошмыгнула мимо комиссара, забыв с ним поздороваться, побежала между возами, где притаился утренний туман, промелькнула мимо дремлющих лошадей — и с разбегу в палатку, в темный шатер с красным крестом у входа. И здесь она вдруг остановилась, чего-то испугалась — первой минуты, первого слова или прикосновения. «Где же он... господи?» Темнота, запах лекарств, какие-то силуэты в белых халатах, а на кровати (и не кровать вовсе — слежавшееся сено) длинный-предлинный сноп, покрытый шинелью, из-под нее виднеется голова, вся в бинтах. Она припала к худому лицу, замерла... «Он, он, он!» — выстукивала кровь в висках. Почувствовала дыхание его с запахом табака, почувствовала колючую щетину бородки, губами почувствовала, как шевельнулись его обветренные и потрескавшиеся губы, как они потеплели и теплым дыханием щекотнули ее: «Ты... Килина?..» В ней проснулась мать, проснулось желание баюкать и ласкать его, она укрыла его шинелью, подоткнула с боков рукавами, даже немного, незаметно, покачала его. Ротный сощурил уставшие глаза, которые в темноте казались не серыми, а светло-белесыми, улыбался. Она погрозила пальцем: «Спи, говорю тебе!» — взяла тампон, легонько провела по жесткой щеке, чтоб вытереть полоску грязи, но то была черная, высохшая кровь, и, наверное, ему стало больно, потому что он вдруг дернулся, отчужденно посмотрел и спросил:

— А как те... что там?

— Лежи, лежи... Успокойся. Ночью послали отряд добровольцев, может, вырвут их. Ты и не знаешь, что они, беляки, задумали. Приказали кочегарам: так и так, мол, сделайте, чтоб полопались трубы в подвале, и потопите их, связанных, как крыс. Это тот приказал, гнилокровный, который в кабинете над тобой издевался.

— Прилеснов?

— Он... Я у него убирала и ко всякому разговору прислушивалась.

Ротный задумался, потемнели глубокие обводины под глазами, белая марлевая повязка еще резче оттеняла болезненную черноту лица.

— Послушай... А не поздно?

— Кочегары — это наши люди — сказали, что будут как-нибудь тянуть, пока помощь подоспеет, а меня бегом послали сюда. Веришь, бежала всю ночь, как безумная. А сколько страху натерпелась — и не спрашивай. Только увижу холмик или куст — душа вся в пятки уходит: леший! — И она фыркнула (вот какая у тебя трусишка!) и, по-детски смущенная, ладошкой прикрыла рот.

Он сбросил с плеч шинель, потянулся к ней, зрачки влажно светились, рука дрожала, прижал ее к груди, коснулся горячих, плотных губ.

— Скажи... как ты жила?

— Не надо. Потом как-нибудь. Лучше скажи, как ты. Где болит? Здесь или там?

— Пустяки. Под мышкой. И еще — в затылок. Только наискосок, волосы с кожей вырвало. Заживет, засохнет, Килина.

— Не говори больше. Тебе нельзя. — И она снова укрыла его шинелью, и незаметно покачала, и только потом отвела взгляд. Щеки быстро зарделись: в шалаше находились посторонние люди. Сама не знала, почему смутилась. Так, как смущалась тогда, когда отец заставал ее, уже взрослую батрачку, с детскими игрушками.

...У них был день, была ночь и долгая беседа, тайный разговор влюбленных, когда не надо слов, не надо объяснений, а достаточно испуганно-трепетного прикосновения рук, шепота ресниц, одного на двоих неразделимого дыхания. «Килина, как ты жила потом? После налета махновцев?.. Помнишь, грохнул бой, и мы прямо со свадьбы пошли в атаку?» Она сидела возле него, черная расплетенная коса укрыла их лица, и все вокруг исчезало, здесь был только он, и она говорила только с ним.

Надвигалась гроза, молнии выстегивали колосящуюся степь, носился конь в пожаре, и я бегала во ржи, ясно, не с доброго разума. Разве можно в такое ненастье кого разыскать? Тучи к утру постепенно рассеялись, и я увидела сначала одного, потом другого, они лежали, растоптанные лошадьми, страшно глядеть на них... Слышу: идут бойцы из нашего полка, они цепочкой прочесывали рожь, подобрали троих, а тебя не нашли. Один (помнишь — железнодорожник из Лозовой, длинный такой) сказал, будто сам видел, как схватили тебя махновцы, привязали к седлу, увезли с собой. Я вся окаменела. Хоть и маленькая я, а упрямая, это мать хорошо знает. Решила: надо искать. Искать до тех пор, пока не отыщу, хоть на край света пойду. Тихонько сбежала с лагеря. И пошла неизвестно куда, степями, селами, расспрашивая людей, куда поехали махновцы. А они как раз убегали из Донбасса, Деникин поджимал их, все на подводах и на конях, а я — пешком. На мне платье вот это, в горошек, были и туфли — износились, так я босая. Придешь в село — женщины говорят: налетели махновцы, тут были, тут тебе и сплыли. Похозяйничали в волостной конторе, распотрошили столы с документами: «Жгите

бумажные пута!»— и наутек. А я за ними, за клубившейся по дороге пылью. Где только не блуждала, какого только горя не насмотрелась! Куда ни сунешься — везде нищие, калеки, сироты; вагоны мешками обвешаны, мешки и на вокзалах, и на дорогах, и в канавах, и в мертвушках. Думаю: «Господи, что творится? Не весь ли народ пошел пó миру с сумой?» И везде нашептывают: бандиты. Одного зарезали, другого под колеса бросили, среди белого дня грабят. Тянулась к людям — и боялась людей. Обходила станции, людные места, шла глухими поселками или хуторами. За лето обносилась вся до ниточки, почернела от солнца, кто встретит, скажет: «Погадай, цыганка». Говорю, как паслен почернела, потому что все на Азов шла, против солнца. Махно из Лозовой убегал к себе в Гуляй Поле. Никогда не слыхала, что есть такая река Самара, а вот пришлось ее вброд переходить, промокла насквозь, не успела и высохнуть, как ночь подступила. Нашла в камышах старенькую лодку, положила в нее немного травы — и спать. Но разве уснешь? Набросилась мошкара, и мысли тревожные, как те комары, едят тебя поедом. Страшно... сама в камышах, что-то будто стонет, храпит в болоте, дрожу от страха и шастаю глазами в потемках. «Где же он? — думаю о тебе. — Может, в сырой земле, а я, как проклятая, топчу эту землю, неизвестно кого ищу...»

Ты знаешь, я на свадьбе не пил, только рюмку пригубил, а когда пришел в себя, болит голова, никогда так не болела, точно обухом по ней ударили. Где я, что со мной случилось — не помню. Потом вижу: какая-то темная хата, бочки у стены, скамейки стоят, дым коромыслом. Корчма не корчма, бог его знает. И вижу: полна хата народу, мужики крепкие, все подвыпившие, в глазах змеи зеленые. Смеются: «Ну как, жених, протрезвел? Мы тебя вниз головой мчали на лошади, чтоб ветром продуло». Ага, думаю, махновцы. Напротив меня здоровенный такой казачина, в хромовых сапогах, в синих шароварах с напуском, в ярко вышитой рубашке на крутой спине. Лицо, скажу тебе, молодое и красивое, усы подкручены, черные волосы до плеч. Сначала подумал — Махно. Позже узнал, что это Каплуненко, адъютант Махно. А Нестор сидел рядом. Такой незавидный мужичишка, вид у него не ахти какой, монашеский, и гимнастерка серая, и никакой тебе шевелюры — чуб как чуб. Он опирался на посох, одна нога в сапоге, вторая черт знает в чем, в старом башмаке, кажется, обмотанная бинтом. «Ну и ну! — присвистнул я сам себе. — Вот это за таким дохленьким вся анархия пошла, степные головорезы под винтовку встали?» Удивляюсь, а сам стал замечать: пьяная компания шумит, веселится, Махно — ни слова. Сидит хмурый, вид, говорю, страдальческий, на сухом лице тяжелое и скорбное раздумье. Здесь и свист, и смех с матерщиной — он ко всему будто безразличный, словно замучила его старая болезнь и Махно занят только собой. Но не так оно, примечаю, на самом деле, как

сначала кажется. Только бровью поведет атаман (а взгляд!.. жгучий, насквозь пронизывает), только бровью поведет — сразу стихает казачня. И Каплуненко извивается перед ним: «Вы что-то хотели, батька?» Адъютант как биндюжник, жеребца, наверное, кулаком повалит. А видела бы ты, как он перед Нестором гнется. «Ого, думаю, зануздал Махно свою братию!»

Едва стою на ногах, голова раскалывается надвое, кто-то за локти меня поддерживает. Вдруг подходит Каплуненко, поиграл бантом моим (а бант крепко сидит в петлице, зубами не оторвешь), поиграл бантом, шаркнул ногой: «Женить его, хлопцы! По-нашему! С Марфой повенчаем. Эй, Марфутка!» — «Марфа! — орет гоп-компания. — Куй железо, пока горячо!»

И что я вижу? Плывет ко мне, ну как бы тебе сказать, белогрудая копна, и где только они такую откопали? Плечи во!.. Руки во-о!.. Толстая и белая, словно кадка с квашней, тело так и пышет жаром. Плывет ко мне, улыбается на все тридцать два зуба, сладко жмурится: «Ах ты мой красненький! Иди-ка в мои объятия!»

Корчма ложится от смеха, анархия орет, надрывается: «Горько!»

От этого лошадиного ржания, скажу я тебе, помутилось у меня в голове; как стоял передо мной стол с бутылками, так я изо всей силы и ударил его ногой — стол полетел вверх тормашками. Марфа с криком вон, а меня смяли, и лежу я, уткнувшись носом в окурки, а на мне верхом с десяток верзил, я отплевываюсь, а сам даю такую агитацию, от которой сыплется штукатурка с потолка. «Ах вы, говорю, басурмане, с кого шкуру дерете? Своего же бедняка крестьянина втаптываете в грязь, а подумали вы, что, затоптав меня, красного, белую сволочь пустите в хату и она, панская свинья, поиздевается над твоей женой и твоих же детей четвертует? Или вам, говорю, глаза помутило, или вы совсем ослепли: кому пособляете?»

Даю агитацию, а сам вижу, снизу, между колен, вижу, как Махно повел бровью (не по вкусу пришлась ему моя речь), круто повел бровью и сказал: «А ну, подтащите его поближе. Пускай запомнит: буду бить белых, пока покраснеют, буду бить красных, пока побелеют. Вот моя программа». Отрезал Нестор с твердой уверенностью, поднялся со скрипом и заковылял к выходу. А я вдогонку: «Не разорвешься ли надвое, Махно, стоя над пропастью — одной ногой за народ, другой против него?» Махно повернулся, точно его собака укусила. «Выбейте из него, сказал, красный пух. Выбейте так, как мы из немцев выбивали волчью шерсть». Я хотел было рикошетом: «Свой своего, выходит, чтоб чужой и духу боялся?» — но Махно хлопнул дверью, а мне в рот кляп, здорово потрепали, пух не летел, но окопную пыль до последней песчинки вытрясли.

С тех пор я больше Махно не видел. Изредка приходил то Каплуненко, то Милюха; подвыпив, они склоняли меня к своей вере. Послушаешь их: анархия — это истинная свобода тела и

души, спасение рода человеческого от великодержавной муштры, от каменных законов, от рабских пут подневолья. Но я стреляный воробей, не проведешь меня на мякине. Говорите, не будет насилия? Черта с два! Мы за насилие, только за какое? За такое насилие, которое оградит мужика и рабочего от новых божков и царьков, от нового панства и еще более опасного — казенного свинства. А власть, мы уже видели, очень лакомый кусочек: одному в морду дашь — другой к престолу ползет на четвереньках. А как же, кому не охота на чужом горбу покататься... Словом, говорю тебе, отстали от меня махновцы: как ни верти, а из большевика не сделаешь анархиста.

Прошло недели две, и погнали меня да еще семерых красных в Александровскую слободу. А слобода находилась тогда на «нейтральной зоне». И вот здесь, где раньше продавали скотину, теперь каждое воскресенье торговали людьми. Махновцы выставили нас, красных, деникинцы выставили столько же пленных махновцев. И начался торг — штука за штуку, голова за голову. Торговались долго и упорно, расхваливали на все лады свой товар, щупали бицепсы, разглядывали зубы. Стоишь ты, как скотина, и лезут тебе в рот с кнутовищем: «А ну, покажь клыки...» Я и показал. Одному шкурнику донскому саданул ногой в живот так, что тот растянулся на земле... Как там ни было, выменяли меня на вишневенького анархиста. И попали мы, что называется, из огня да в полымя: нас, пленных, сразу погнали по этапу, водили под конвоем по всему Донбассу, от тюрьмы к тюрьме, от допроса к допросу.

Слушаю тебя и думаю: какая судьба! Я бродила теми же дорогами, что и ты, точно тень ходила за тобой — и что ж? Только однажды напала на след в Павлограде: был, мол, такой — и нет его. Подалась в Синельниково — то же самое: дальше погнали. Я в Славянск — и там: прискакал Махно и исчез. Будто леший запутывал следы, чтобы мы никогда не встретились.

Вот ты говорил о Марфе. А она стоит перед моими глазами, эта несчастная женщина. И если смеялась она в корчме, не удивляйся: смеялась не она, а ее горькая доля. У Просяной, возле Волчьей реки, я все-таки догнала махновцев. Отаборились они за поповской левадой, на широком лугу. Брички и подводы в кусты закатили, коней пустили на выпас, а сами кто куда: кто в село, кто под стог сена, одни только часовые, как те суслики, повысовывали свои носы из луговой травы. Я иду прямо в лагерь: будь что будет. Прикинулась несчастной, бездомной нищенкой (разве в такое трудно поверить — вся изорвалась), вот и пожалели меня, определили на кухню. Здесь-то и встретила я Марфу, она у махновцев была за повариху. Как настанет вечер, в кустарниках разложим костер, кулеш или галушки варим и, пока закипит вода, о том и о сем воркуем с Марфой. Вижу, душевная женщина,

сколько полноты, столько и доброты, но что-то очень поломало ее: то она смеется — и слезы на глазах, то она плачет и сквозь слезы смеется, точно разума лишилась... А еще приметила — частенько прикладывается Марфа к самогону, бутылка свекловичной всегда у нее под рукой. Я и не спрашивала Марфу, она сама рассказала: мужа ее, паровозного машиниста, красновцы мучили на ее глазах, потом саблями порубили; повезла похоронить изуродованное тело, а дома ждала беда еще страшнее — двое детей было, и оба от тифа умерли. Разве удивительно, что заливала горе зельем и стала солдатской девкой?

Как-то разговорились с Марфой, а я возьми и намекни ей о тебе, а она говорит: «Был такой, молодой и горячий, понравился Махно, батька обещал: «Опомнится — в сотники произведу». Но тот, с красным бантом, отказался наотрез: кому череп с костями, кому серп с колосьями. На своем стоял, вот и спровадил его к белым, а те, кажется, погнали красных на Лозовую или Змеев...» Марфа все говорит да приговаривает, а я уже ничего не слышу, свет мне не мил. Думаю: господи, сколько дорожной пыли истоптала! И все напрасно! Я сюда плетусь, в Гуляй Поле, а тебя назад погнали, на Харьков. И за что мученье такое? Чем я перед людьми провинилась? Обзываю тебя всякими словами (где ты взялся на мою голову), вспоминаю, как мать меня уговаривала: «Оставь этого бродягу, держись родителей, а то как сорвешься с корня, всю жизнь будешь пó миру мыкаться...» Ругаю тебя, а мысли одни и те же: надо искать. Как и чем помогу тебе, ума не приложу. Но из головы не выходит: если разыщу — обоим полегчает! А не встречу... куда я без тебя? Не возвращаться же в село, на позор родителям, на смех людям? От одной этой мысли меня бросало в жар, откуда и сила бралась — искать!

Утром тихонько оставила лагерь, сказала: пойду, мол, за хворостом,— да так и не вернулась к махновцам. Теми же дорогами подалась назад, думаю: посчастливится — на поезде подъеду, а нет — пешком; обошла стороной нашу Михайловку (а так хотелось посмотреть на родную хату, хотя бы одним глазом повидать стариков), обошла стороной Михайловку и за Лозовой, в окопах, нашла свой полк, он как раз отбивал наступление Деникина... Мамай сначала и не узнал меня. Увидел — руками развел. «Это, говорит, наша скиталица? А-яй, что осталось от тебя — высохла, одни глаза светятся». Знаешь, встретил меня, как сестру, бегает, суетится, не знает, где обувь раздобыть, где жакетку найти,— ночи-то стояли холодные. Долго с ним разговаривали, он все «оставайся», а я настояла на своем —«пойду», говорю. «Ладно,— согласился Мамай,— решила идти — иди, но только с пользой для дела». Подсказал, с какими людьми держать связь, что нужно примечать на станциях и среди белых. Снарядил меня Мамай в дорогу, сказал на прощанье хорошие слова, и я пошла. Узелок с продуктами, в руках палка от собак, в длинном пиджаке, в парусиновых туфлях — иду, к тебе тороплюсь. А дороги какие? Куда ни придешь — всюду бои, куда ни свернешь — везде стреляют; что

ни рощица, то банда, что ни городишко, то другая власть. Всякое повидать пришлось. Где пешком, где ползком, степными оврагами, глухими тропинками, окольными путями пробиралась на Змеев... Много пришлось пережить в дороге, разве все упомнишь? Но одно запомнила на всю жизнь, никогда не забуду.

Я шла дорожкой, которая терялась в высокой пшенице. Хлеб давно перестоял, никто его не косил, и зерно уже осыпалось. Возьмешь колос в руки — пустой. А земля вся белая от зерна, и дорожка белеет, и стебель, обвеянный на солнцепеке ветром, дымчато-белый. Казалось, белая печаль окутывает поле. Иду и думаю: совсем обезумел мир. Люди рубят друг друга, мрут от голода, а здесь гибнет чистый-пречистый хлеб. Бредешь полем — дорожка, будто желобок, наполнена пшеницей, скрипит под ногами сухое зерно. Хлеб под ногами голодных...

Было тихо. Воздух чуть-чуть синеватый, какой бывает в конце лета. И вдруг в одно мгновение потемнело в степи. Подул влажный грозовой ветер, небо сразу почернело, и все вокруг завертелось в круговороте. Тучи опустились на землю, над самыми колосьями, так и расчесывают лохматые гривки пшеницы. И только на западе — красные круги заходящего солнца. Мне стало страшно, я побежала по узкой тропинке. Тучи сгущались. Там, где кончалось пшеничное поле, синел кусочек неба, и на синем фоне четко выделялись темные шесты телеграфных столбов. Между ними двигался длинный, нескончаемый караван. За стеною хлебов то появлялась лошадиная морда, то проплывала копной фура, то показывались сгорбленные фигуры. «Войско,— сразу решила я.— Наверное, кто-то отступает». Но нет. Подошла поближе, прислушалась — женские голоса, детский плач. Догнала тот караван. Беженцы... рабочие семьи из Донбасса. Бредут дорогой, конца им не видно,— как муравьи, выползают из сумрачной балки и теряются в облачной дали. Изредка появятся конские упряжки — и на них горой перины, подушки, но подвод мало, больше «ручного» транспорта — самодельные тачки, коляски, тележки. Идут толпой,— наверное, семья за семьей,— женщины с детьми, с узлами, с ведрами, с посудой. Старуха тянет за собой козу, несчастное животное упирается, пытаясь вырваться из рук, бабка бьет его хворостиной, плачет и проклинает мужиков: «Чтоб вы, пропойцы, околели с вашей войной...» Хромой дед с трудом поспевает за толпой, тяжело ему, потому что несет он в руках плотненький снопик табака. Все черные, оборванные, покрытые пылью, только глаза одни блестят, будто сейчас они из ада.

Я пропустила несколько групп беженцев и лишь потом заметила молодую женщину, высокую и худую. Катит она перед собой тачку, в которой среди домашнего скарба сидит беленькая девочка с белыми ленточками. Малышка голос сорвала и уже больше не плачет, а сипло икает, растирая кулачком отекшие глаза, и что-то просит,— наверное, пить. Мать будто не слышит тот беско-

нечный всхлип, из последних сил налегает на тачку, страшно, ей-богу, смотреть на женщину, как она напрягается. Вижу — сейчас упадет, ноги у нее уже заплетаются. Бросилась я помочь ей, она и не заметила сначала меня — ослепла, что ли, от напряжения.

Горе быстро сближает людей. Прошли версту или две — и я уже знала, что бегут они из Луганска, красновский полковник Белов приказал: возьмите, казаки, Луганск — и каждому выдам награду две тысячи рублей и на целые сутки отдам город победителям в отместку рабочим за то, что набивали патроны песком. Но белые казаки, захватив Луганск, грабили не сутки, а целую неделю.

Катим тачку вдвоем, шахтерка душу свою изливает, гутарит про мужа-большевика, которого послали в Одессу на секретное задание. Все жалуется: ушел с весны — и до сих пор ни слуху ни духу. Может, уже и могила травой заросла? Вот и пристала она с дочерью к беженцам, была мысль податься на Харьков. Да, говорят, и Харьков уже взяли деникинцы, по нашим тылам шныряют белоказацкие сотни, и куда их, бездомных шахтеров, беда гонит, сами не знают... Со всех сторон тучи обложили небо, ветер усиливался, запахло дождем, и караван потянулся быстрее, то тут, то там сбивались в кучу подводы, женщины ругались и торопливо расхватывали свои узлы, задние обгоняли тех, которые мешкали на дороге, спросить бы людей, куда и зачем они торопятся,— ведь нигде не спрячешься от грозы: кругом одна степь. Любочка — так звали белокурую девочку — совсем крохотная, а быстро почувствовала: что-то недоброе творится. Притихла, стала серьезной, завернула платком толстенькую гильзу от снаряда (это была «дочка» ее) и принялась, будто взрослая, отчитывать куклу: «Замолчи, не плачь, а то услышат солдаты — зарежут».

Забурлило в степи, неожиданно налетел бешеный шквал, погнал тяжело груженные повозки, покатил в пшеницу ведра, понес чью-то одежду, караван остановился, и накрыл его черный, как смола, ливень. Мы бросились под тачку, женщина концом юбки обернула дочь, я обняла шахтерку за плечи, мы прижались друг к другу, словно щенки, а нас стегал ветер, а ливень сычал и хлестал, течет вода по спине, выполаскивает глаза, ручьями разливается по шее, по груди — от этого холодного купания окоченела душа. «Ма-а-ма, мам-ка...»— тянет девочка, дрожат ее косточки, укрываем мы кроху, а сами на коленях стоим в грязи, наши волосы слиплись, и мы все трое слиплись в одно скорченное тело.

Что-то невероятное творилось вокруг. Потоки воды да яростный свист ветра. И среди этого мутного водоворота время от времени доносился надрывный крик ребенка, где-то рядом бился в упряжке конь, трещал деревянный возок, кто-то протяжно звал: «Сте-е-фа-а! Рядно-о... вай сюда-а-а!»

Ливень бушевал часа два. Мы так и сидели, тесно прижавшись друг к другу под низеньким дном возка, нас занесло илом. Любочка уснула на руках у матери, синяя-синяя, как баклажан. Наконец наступило утро, небо очистилось, посветлело, я хотела

встать — не могу шевельнуться: к земле меня присосало... а ноги точно бревна. Задымилось в степи. Закопошился людской муравейник. Измученные, мокрые и грязные, беженцы были похожи на мертвецов. Медленно возились в грязище, из луж вылавливали черепки и зеленоватые яблоки, помогали подняться старым и беспомощным людям. Только сейчас я заметила, как похозяйничала ночью буря. Повалила телеграфные столбы, разбросала мешки и узлы беженцев, откатила в канавы тачки. Глубокие рытвины покрыли дорогу. А пшеницу всю прибило и вымолотило, живого места не осталось — там размыло пашню до самой глины, там нанесло целые острова черного плотного ила...

Повисло в тумане солнце, бескровное, молочно-белое. Сыро и угрюмо было в степи, и караван печально двинулся дальше. Дорога, зажатая двумя холмами, круто спускалась к реке, это была не дорога, а узенький илистый ров, колеса по самые втулки утопали в грязи, и люди месили болото: ни отступить, ни обойти его — по обе стороны скользкая и высокая стена косогора, свежее обрывистое глинище, изрытое недавним ливнем. Вот тогда, когда беженцы столпились в тесном проходе, с трудом пробираясь к мосту, самое страшное и произошло... «Казаки! Казаки!» — послышался говор. На мгновение замер, остановился людской поток, беженцы растерянно оглядывались: где казаки, что делать? И вдруг: «Бегите!» — разнеслось, как эхо, караван рассыпался, засуетились люди, и стар и мал — все лезли, карабкались на высокую кручу и, срываясь, падали вниз. А из-под моста, из кустов тальника, как орда из засады, тучей выскочили конники. Они взлетали на холм, рассекая небо саблями, и на конях скакали в гущу людей: «Ату их!.. Дави!..»

Я и не заметила, куда девалась шахтерка с девочкой, сама обезумела от страха, только и помнится — лезла на обрывистую кручу, глина осыпалась, а я все карабкалась и карабкалась, пока не взобралась на гору, а там скорее в пшеницу да под гривку, взъерошенную бурей; как мышонок, присела, затаила дыхание, а рядом скакали лошади, с гиком проносились беляки: «В грязь совдепов!» — овраг захлебывался от крика, и этот исступленный крик катился по степи...

— Я видел, Килина, что осталось от каравана беженцев. Видел, как усатый есаул прикончил твою маленькую спутницу... До сих пор перед моими глазами трепещет ее белый бант. Одного только не знал: что и ты прошла через эту мясорубку...

Напротив палатки, в канаве, наполненной водой, стоял санитарный фургон. Дышло его торчало, точно ствол пушки; крепкий, обитый железом передок напоминал лафет дальнобойного орудия. Никто не догадался откатить фургон, и эта неуклюжая махина, торчащая перед самым носом, сначала раздражала и угнетала совсем ослабевшего бойца. Потом он к нему привык и даже был доволен: есть что рассматривать...

Ротный лежал в палатке, на приземистых иарах, и, когда он снизу смотрел на фургон, ему казалось, что кто-то выкатил чумацкий воз в высокое небо и теперь он плывет над серой степью, над летящей дымкой всклокоченных туч. Ленивое осеннее солнце, как рыжий жеребенок, тихо плетется за возом, то теряется, то выплывает из тумана; в спицах колес мелькает, пересыпается холодный песок лучей.

Плывет колесница по хмурой быстрине времени.

И ротному показалось, что на той колеснице уезжает год девятнадцатый со всеми его тревогами и сумятицами, с первыми боями и не последними потерями. Отбарабанил горячий, суетливый август, отвихрил багряными листьями сентябрь, в артериях революции, как в виноградных лозах, отшумела бунтарская зеленая кровь, а теперь наступает новая пора — пора возмужания, пора зрелых, весомых решений. Для него, для всего полка наступает что-то новое, что именно — ротный пока не мог понять, но он жил и лечил раны, надеясь на великие и решительные перемены.

Ветер стелился понизу палатки, выстуживая лицо мятным запахом поздней зелени, прихваченной первыми заморозками. Килина, склонившись над мужем, тихонько напевала ему печальную девичью песню. Ротный никогда не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Закрыв глаза, он медленно уходил в детство, точно опустился в теплую воду, забрав с собой и робкий шелест ветра, и грустную песню о девушке-тополе... Он вдруг уснул, унялась у него и ноющая боль, затихли и раны под туго стянутыми бинтами; но даже и во сне не покидало его чувство, будто он плывет, будто быстрое течение несет его по широкой долине, что-то новое, тревожное ждет там, за далеким горизонтом.

Он спал крепким, здоровым сном человека, который уже начал поправляться. После всего пережитого — этапы, допросы, побег — брезентовая халупа военного лазарета показалась ему райской обителью, а дубовый топчан пуховой периной. Ротный сейчас блаженно отдыхал, раскинув уставшие руки, как пахарь посреди пашни; сердце его было переполнено счастьем, той освежающей радостью, которую дают молодым супругам выстраданная встреча и хмельное празднование встречи. Ротный спал, приятно сознавая, что Килина рядом с ним. Она здесь, она охраняет его покой: живет — для него, расчесывает длинные косы — для него, пучком волос щекочет сонные губы — его. Он чувствовал каждое ее движение, каждое ее прикосновение и отвечал тем же: сквозь сон улыбался — ей, забавно двигал бровью — ей, ловил губами пальцы — ее. И эта трепетная близость, этот тайный разговор влюбленных, как само присутствие родного тебе человека, наполняло тело и душу гордой мужской силой, уверенностью в себе, в своей необходимости.

Ротный спал в палатке, спокойный за себя, за жену и за будущее обоих. Все страшное — позади. Точно летние короткие ливни, схлынули, отошли в прошлое первые несмелые бои с отступ-

лениями и переходами; революционный полк вырос, на поражениях выковал свою силу и классовую ненависть. После пополнения (а ему придали две батареи орудий и броневик «Смерть капиталу!») полк окопался за Валуйками, врос в землю намертво, и, как сказал Мамай, теперь, в переломный момент борьбы, он готов выдержать какой угодно натиск золотопогонной деникинской орды. Словом, мужает и крепнет пролетарский полк, ротный в своем полку и рядом Килина. Она здесь, чернявая упрямая скиталица, его второе естество, его недремлющая совесть. Она охраняет его покой. Когда теплые девичьи пальцы легонько касаются губ мужа, он, улыбаясь, щурится, берет ее в свой дремотный покой, ловит шепот ее, как легкий шелест листьев, и быстрое течение уносит их все дальше и дальше за караваном журавлей.

Сновидения и действительность причудливо переплетаются. Точно за глухой стеной сразу басовито зашумела река. Где-то за палаткой протопали уставшие кони, засуетились солдаты, закричали: «Братцы! Наших привезли!» Наверное, много собралось бойцов, среди шума и суеты раздавались возбужденные голоса, на радостях шутили, боролись, весело подбадривая друг друга: «Так его, так!.. Клади на лопатки!»—«Пустите, черти, задушите!» Запахло конским пòтом, сопревшим войлоком, и этот запах долго еще висел в воздухе, а шум и человеческие голоса убегали куда-то по течению, и ротный проспал самое интересное — встречу с пленными. С теми, которых допрашивал интеллигент Прилеснов и которые ждали в подвале смертного приговора.

Ротный отсыпался, но постепенно в его душу заползало беспокойство. Казалось, будто сквозь теплую, застоявшуюся воду кто-то пристально глядит на него. Неизвестная сила подняла его с сонной глубины, вытолкнула на поверхность, и ротный проснулся. Где он, что с ним — не сразу сообразил. Провел по лицу рукой, протер глаза — над топчаном качались два солнечных зайчика. Лица. Знакомые лица. Вон Килина, маленький загоревший цыганенок, на губах сдерживаемая улыбка. «Гляди, кого привела!» Кого? Неужели Гарбу? Чтоб я умер, это его, его изъеденное оспой лицо, его подгоревшие уголки бровей!

— Гарба, это ты?

— Как будто я.

— С того света вернулся?

— Как видишь. Подвела комплекция — не пролез в райские ворота.

— А наши? А остальные подвальщики как?

— Считай, что здесь. Тринадцать человек, как раз чертова дюжина, одним махом прилетели в полк, давеча спешились, еще и песок на зубах скрипит.

— Тринадцать? Значит, не все?

— Как видишь! Федор (помнишь — тот, обескровленный) как выскочил из подвала, так сразу за котлы,— думал, что спрячется,— там его охранники и добили. А Кондрат, из бывших пастухов,

да еще Иван рубцеватый, они бежали за нами, но сам понимаешь, ночь, перестрелка, белые, а может, и наши по ошибке уложили...

— Ну, давай, Гарба, выкладывай все по порядку.— Ротный приподнялся на локтях, его забинтованная голова резко выделялась на темном фоне брезента; он с нетерпением заглядывал в длинное, чугунно-серое лицо шахтера, на котором не было ни удивления, ни волнения — одно спокойствие и угрюмая сила.

— А что тут рассказывать? — Гарба двинул кряжистым корпусом, под ним скрипнули нары.— Было как было. В самое сердце долбанули Деникина. Там железнодорожный узел, их ставка и вся сучья канцелярия, а уж офицеров как червей в навозе. Потому что, говорю, позиция надежная: тыл, сидят себе на рельсах, пьют и грабят. Для порядка выставляют одиночные караулы. Это, конечно, нам не помешает знать: по тылам бить гадов удобнее. Такая, брат, создается паника, что свой своего душит, кругом все трещит. Ну, значит, наши (на рассвете, когда и птица спит) как ударили! Пулеметным огнем отрезали вокзал от котельной, чтоб не было подступа; одни строчат по окнам, другие бегом в подвал, где из нас галушки варили; сняли охрану, высадили дверь с петлями — и: «На свободу, братва!» Мы сыпанули во двор, кто в чем был, босые, полураздетые, а вокруг темным-темно, как в глухом забое. Картина, скажу, библейская: ночь, осеннее болото, мгла — точно смола, и прыгают во тьме Адамовы дети. Вокзал дрожит, из окон так и сверкает — по нам, голодранцам, стреляют. И так здорово бьют, словно горохом по стенам. Мы, значит, пригнулись, короткими перебежками, по лужам да к скверу. А там на коней — и до свидания, кума! Один ветер свистит в ушах... Только в степи я увидел, что отец Сероштан (он вместе с добровольцами совершал налет на станцию) прихватил с собою еще и «языка». Ты его знаешь: того конвоира, который называл тебя землячком.

— Чмырь?

— Чмыря или Чмура, не знаю. Плюгавенький такой, с желтыми заедами.

— Он самый. Землячок наш. Правильно сделали, что прихватили деникинскую гниду. У меня с Чмырями старые счеты. Будет, как сам Аникий не один раз говаривал, очень милая беседа...

ГОРСТЬ МЕРЗЛОЙ РЖИ

— Да, представляю, отец, как мать искала вас. Знаю сам, голодной жизнью дознался, как она умеет искать. Это было зимой в сорок третьем. Морозы здорово тогда досаждали немцам; помню, на сапоги натягивали они большущие соломенные постолы, у нас такие гнезда для гусей устраивают. Морозы здорово досаждали немцам, а что уж нам, ни живым ни мертвым...

Надо идти...

Мать проснулась с новой думкой: в мире что-то изменилось. Но что именно, она еще не понимала,— может, светлей и просторней стало в хате? У окна, как бревно, стояла большая ступа, на столе кучкой валялась шелуха от проса, старший сын раздобыл ее на конюшне,— наверное, наскреб на чердаке. Шелуха была двухлетней давности, зеленоватая от плесени, она, как коровий кизяк, слиплась в твердые коржи; ее сушили и толкли, над ступой вздымалась пыль, едкий грибковый дым оседал по углам; а когда из той просяной трухи лепили хлебцы, они рассыпались, словно песок, и скрипели на зубах, сухие и жесткие, они царапали горло — не проглотишь.

Мать проснулась, уже рассветало: она знала — надо идти.

Надо идти, потому что не может она лежать без дела, песок дерет ей горло, пугают страшные мысли, лучше идти куда-нибудь: пять голодных ртов под боком. Они уже не просят есть, наверное, нет сил вымолвить слово, вот и лежат тихонько: трое на печи, в холодной золе, старший на лежанке, под тряпьем, а самая младшая — в кровати, где спит и она, мать. Но она и не спит: то полусонная слоняется по хате, то дремлет в полузабытьи, часто просыпается в холодном поту, а то уставится неподвижным взглядом в темный угол, все прислушивается: «Дети, господи, живы ли они еще?»

Надо идти...

Все эти дни, когда сильный ветер хлестал по стенам и, казалось, вот-вот опрокинет хату торчмя в сугробы, когда гудело под стрехой и мела метель, гудело в ее голове и мело в глазах. Набросив фуфайку, продрогшая, она присела у стола, усталыми глазами глядела в замерзшее окно. «Не конец ли свету? — вздыхала мать. — Не засыплет ли избу снегом?» Она ждала: немного успокоится метель — надо идти.

Надо идти, сначала дети просили есть, особенно самая меньшая. Ветер гулял в печи, в дымоходе будто стучал домовой зубами — дребезжала вьюшка, и под стон бури тихонько попискивал мышиный голосок: «Е-е-есть...» Мать бездумно смотрела в окно, сонно и бездумно, потому что все окаменело и замерло в ней, но когда начинал кто-нибудь тянуть: «Е-е-есть...» — не могла этого слышать, жгло ей в груди, и, чтоб подавить крик, сердито покрикивала на детей:

— Перестаньте же! Что я вам дам — жилы свои?

И затихали дети, и кровь стучала ей в виски, она виновато прятала глаза, готовая сквозь землю провалиться. «Разве ж они виноваты?»

Надо идти...

Что-то в мире изменилось,— вишь, посветлело в хате. Слишком долго, точно целую жизнь, она ждала этого. Обдумала и приготовила все — и ведерко, и совок, и веник. Все обдумала и приготовила, а оно пришло нежданно. И казалось, только чуть-чуть прилегла, еще не прошел и холод, тот холод, которого набралась

она, сидя у окна. Она и не спала, и дети ее не спали, дней и ночей не было, была метель, взъерошенная мгла и похоронные песни вьюги; было одиночество и долгое, мучительное ее ожидание.

Надо идти...

Почему так светло? Мать облокотилась на постель, дочь холодным тельцем прижалась к ней и тихо прошептала: «Не вставай, мама, вдвоем теплее»,— мать спрятала под рядно коленце дочери и встала. Она встала, едва удержалась на ногах, прислушалась: тихо... Не гудит в трубе, не скребется под дверью, не скрипит снег. Эта неожиданно наступившая тишина поразила мать. Значит, улеглась буря.

Надо идти.

Одевалась она вдумчиво, не торопясь. Из духовки достала голенища, от них несло горелой ватой; когда-то это были валенки из доброго сукна, густо простроченные; в этих валенках где только она не ходила — и в грязище, и в навозе, и в мокром снегу. Снизу валенки сгнили, мать отрезала их, а голенища оставила — вот теперь натянула их, до самых колен. Ноги обмотала тряпками, делала она это ловко: туго, как куколку, спеленала одну ногу, затем вторую, спеленала так, чтоб на подошве не было рубцов. Потопталась в обувках — удобно, нигде не мешает, не жмет. Сейчас самое главное — осторожно надеть чуни, глубокие, тупоносые, из толстой черной резины, надеть аккуратно, чтоб не сдвинуть обмотки. Да и с этим, слава богу, справилась, обулась благополучно и натянула голенища на чуни. Потом взяла платок, обвязала грудь, а грудь, увы, к спине присохла, платок обошелся дважды, мать обвязалась им накрест и поперек обхватила, теперь не надует. А затем на платок надела заскорузлую фуфайку.

Она подошла к старшему сыну, который, согнувшись, спал на лежанке. Разобрала тряпье у его изголовья, наклонилась над гнездышком. Господи, лицо точно остекленело — холодом веет. Лицо побледнело, нос заострился, так и светится, и кожа воском затвердела. Закрытые глаза как две черные ямки. Она дыхнула в лицо сына. Веки вздрогнули, чуть-чуть приоткрылись, и в ямках холодно сверкнули слюдяные кружочки. Жив...

— Сынок,— сказала мать,— не вставайте. Лежите, не двигайтесь, так и теплее, и есть меньше хочется.

— Ты идешь, мама?

— Иду, сынок. Надо идти.

— Ладно. Мы полежим тихо.

Мать залезла на печку. Ей нелегко было поднять свое тяжелое, дремотно-равнодушное тело, да она поднялась, в глазах потемнело, проморгалась и заглянула на печь. Стриженные под гребенку, на краю печи темнели три лысые маковки. Три тельца — три кулачка — свернулись под одним плохоньким пальтишком. Мать плотнее укутала детей тряпьем, с боков обложила их пеплом и слезла с печи. Потом подошла к дочке. Ей тоже поправила рядно. Но дочь высунула руку.

— Мам... Посмотри, я уже выздоровела.— И лицо девочки

озарила тихая, немного старческая улыбка. — Посмотри... Вчера была худая-худущая рука, я свои косточки вот здесь и там считала, а теперь вишь какая толстая...

Мать пощупала руку дочери. И правда, холодная и толстая рука: разогнало ее водянкой и натянуло синеватую кожу, даже пальцы грузнут в синюю мякушку. «Пухнет с голоду ребенок», — подумала мать.

— Не вставайте, — еще раз предупредила мать, фуфайку повязала веревочкой и, маленькая, сгорбленная, пошаркала в сени.

Там, в темноте, нашла ведро и совок, отодвинула щеколду. Скрипнули глухие от мороза двери, под ноги упал валик твердого снега. Мать зажмурилась, выждала, пока глаза свыкнутся с ярким светом, пока перестанет кружиться голова от крепкого морозного воздуха, и из-под руки посмотрела на улицу. Кругом лежал ослепительно чистый глубокий снег, такой белый, что жалко и топтать. И белая тишина залегла над селом, и белые стрехи присели и притихли под белыми стожками наносов.

Было еще рано, в это время мороз как раз набирает силу, он всплескивал синим огнем на снегу, синим миганием выцвечивал небо. От холода у нее запершило в горле, она закашляла, повесила ведро на локоть и, откашлявшись, неторопливо пошла. Ступала будто по тонкому льду на реке, двигаясь как можно легче и неслышно, точно сама себя несла, но все равно проваливалась в снег, купаясь по пояс в белой жгучей купели. Снег забивался под голенища, разъедал и обжигал ей натертые щиколотки.

Чем дальше шла она в степь, тем выше становились сугробы, они вставали один за другим, крутые сугробы и синие, притаившиеся тени за ними; вблизи чисто-белая, степь постепенно темнела и мрачнела вдали — становилась светло-серой, серо-смушковой и темно-синей аж там, на горизонте. Снег сровняло и засугробило, и мать шла наугад, не разбирая дороги, не обращая внимания на снег и мороз. Иногда она оглядывалась назад, смотрела на протоптанную ею тропинку, которая одиноко и беспомощно петляла между заносами; эта узенькая дорожка убегала за холм, вон и белая крыша хаты, окна, точно голодные глаза сына, с холодным блеском слюды. «Мама, ты идешь?» — слышала она голос. «Иду, сынок. Надо идти». Она вся продрогла и, чтоб не растерять последнее тепло, сунула руки в рукава, сжалась в комочек и, глухо кашляя, прибавила шаг.

Рассветало. Широко раскинулась безмолвная степь, мороз усиливался — со скрипучим, сухим ветерком. Он поддувал с левой стороны, бил под самое сердце, и мать часто останавливалась — что-то давило грудь, мешало ей дышать. Тогда она открывала горячий рот и так стояла, полумертвая, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть; слезы катились по ее морщинистым щекам и тут же замерзали. В такую минуту никто бы не дал ей сорок, а, наверное, все семьдесят или девяносто; так выглядят только в глубокой старости: глаза ее провалились, рот запал, лицо серо-землистого цвета высохло, как сушеная груша. Да и вся она такая высохшая

и состарившаяся; казалось, если бы не фуфайка и не подвязки, так бы прямо здесь, на морозе, и рассыпалась.

Надо идти...

Стряхнула усталость, прокашлялась и снова пошла. Пошла как-то боком, степь одним концом своим будто упиралась в небо, и голые кусты лесозащитной полосы убегали за белую гору, ее заносило в сугробы, она ползала по снегу, цеплялась, вставала и снова шла в завьюженный мир. Сейчас она смотрела только туда, где темнели верхушки молодых деревьев, за которыми вставал высокий горбатый занос с черным гнездом,— то была скирда соломы. Мать своими руками укладывала эту скирду, и она ей снилась в страшную метель, во сне пахла хрустящая ржаная солома, пахла недопеченным хлебным мякишем, тем спасительным зерном, которое просыпалось из решет на дорогу. Мать все обдумала... А вот веник взять забыла. Ну ничего, как-нибудь обойдется, самое страшное позади — доползла. Последние метры она почти бежала, снег сыпал и за пазуху, и за голенища, и за рукава.

Остановилась, отдышалась. Господи, и не видно той скирды — замело. Белая гора с навесом, с белыми стенами. Только в одном месте выдуло глубокую яму — будто душник для соломы. Яма черным глазом зловеще смотрела на мать. И мать испуганно глядела в ту черную яму. Как бы поудобнее подступиться к скирде? Хотела подползти — провалилась по шею в снег, заахала — ошпарило, обожгло морозным огнем, даже судорога свела ей жилы под мышками. Повозилась, подула за пазуху и снова принялась разгребать снег. Руки ее были привычны ко всякой работе — и семечки они бросали в лунки, и замазывали любую трещину или щель в хате, и отыскивали насекомых в головках детей, вот и сейчас, отложив в сторону совок, она мозолистыми пальцами разгребала канаву. Сверху снег мягкий, еще не улежался, и мать пригоршнями, как совком, отбрасывала его в сторону. Ветерок легко подхватывал белую порошу, рассеивал у скирды. Мать как будто согрелась,— может, в канаве было потише, а может, кровь разогнала по телу: она все клевала и клевала носом в сугроб, ногами выдалбливала яму, а стронутый снег выгребала. Потом она решила, что ведром будет лучше, взяла жестяную посудину, руками наскребала снег в нее и отбрасывала подальше; канава позади все увеличивалась и углублялась. Мать и не чувствовала, как прилипают пальцы к железу, как по всему телу пробегает лихорадочная дрожь. Наконец она подобралась к скирде, из-под снежного покрова выдернула пучок соломы. Наверное, еще с осени скирда затекла, солома слежалась и пожухла, а когда подморозило, остья и полова свалялись и смерзлись. Мать попробовала провеять на ветру солому (не завалялось ли где случайно зерно), но ничего из этого не вышло: солома слежавшимися комьями падала на снег.

Она опустилась на сугроб, так и сидела — склонила голову, положила на колени тяжелые, налитые свинцом руки; одежда, будто панцирь, дыбилась, трещала, ветер носился по всему телу,

она уснула, слабая и беспомощная. Но по-прежнему где-то в глубине задремавшего сознания шевелилась не то мысль, не то боль в сердце — воспоминание, и ей показалось, как там, за снежным заносом, за большой горой, тихо трещит молотилка, рожь осыпается на дорогу (степная дорога проходила как раз тут, около лесозащитной полосы), и отборное зерно падало на землю, в теплую, мягкую пыль... «Мама, посмотри, я уже поправилась...» Надо вставать.

Надо вставать, и она поднялась и вдруг зашаталась, снег желтыми кругами поплыл перед ней. Чтобы быстрее прийти в себя, мать начала разбирать место под скирдой, руками и ведром отшвыривала снег, верхний слой взламывала чунями и коленями, белую массу разгребала локтем. Уже совсем было очистила местечко под скирдой, сходила на межу, где чернели верхушки бурьяна, наломала сухой полыни (даже глазам стало горько) и обмела веником свое место. И все было бы ладно, если бы под снегом не лежал толстый слой осеннего льда, зеленоватого от всходов, поклеванного дождем. Мать старалась отковырнуть лед пальцами; черные граблистые пальцы не слушались ее, ногти ломались, из-под них вытекала густая, будто деготь, кровь и тут же замерзала тугими дробинками. «Вот дура,— ругала себя мать,— не взяла ни крюка, ни палки».

С трудом разогнула спину. Неподалеку виднелся лес; вернее, не лес, а чахлая лесозащитная полоска, занесенная снегом; сквозь ее темные редкие ветки просачивалось синее поле и такое же синее, холодно-искристое небо. Небось уже обеденное время, но мороз не спадал, по-прежнему высекал на снегу синие языки пламени.

Надо идти. И мать пошла к лесной полоске, и опять проваливалась, вздыхала, и хлебала жгучий холод, и куда-то проваливался вместе с ней сухой, чахлый клен, к которому она с надеждой тянулась; мать быстро вынырнула из снега и ухватилась за толстую сучковатую ветку. Потянула ее к себе, ветка треснула, но не оторвалась — клен был старый и жилистый. Долго крутила и вертела она сухие, скрипучие жилы, злилась и ругалась, пока не рухнула в снег с веткой в руке.

Теперь мать уже палкой долбила лед, сгребала в одну кучу мелкие и острые осколки, разбивала ледок и вспоминала: шли дожди с гололедицей, и дорога, которая проходила мимо скирды, еще с осени обледенела. Сквозь темный слой льда кое-где виднелись желтые зерна. Рожь проросла, выбросила бледно-зеленые побеги, и так, прорастая, она и замерзла на корню. Мать отбила кусочек льдины с землей, размельчила и растерла ее в ладонях, а потом осторожно выкатила зерно. Попробовала на зуб — сладкое... Хотя бы не раскрылась дочь, а то к вечеру замерзнет. Сладкое зерно и пахнет весенней пахотой...

Мать встала на колени, потянула ведро за ручку — дно примерзло, словно всосалось в лед. Потянула сильнее, и ведро, глухо

звякнув на морозе, подъехало к ней, а там, где оно стояло, остался след от круглого ободка. «Трещит мороз»,— подумала мать. Но ей было не до себя, она ползала на коленях по растревоженной гряде — черный холмик за высоким сугробом; она мяла и перетирала каждый комочек земли, слабым дыханием согревала ладони, но потресканные и скрюченные от мороза пальцы не чувствовали ни тепла, ни холода, они уже не повиновались ей, не сгибались и не могли очистить зерно,— ну ладно, пускай будет и со льдом и с землей, дома промоет в решете, это тебе не шелуха из проса, это — хлеб.

Мать стояла на коленях, ей свело судорогой спину, ровно колом поставило, волосы смерзлись, тело озябло, одеревенело, она впервые простонала, хотела вытянуть ноги, вдруг резкая боль передернула ее всю, она вскрикнула, упала на бок. Сейчас бы снегом растереть поджилки, да разве доберешься, ни передохнуть, ни пошевелиться нельзя. Ну ничего, она полежит немного, может, само отпустит. Ее дергало и тянуло за жилы, что-то вроде бренькнуло и оборвалось, и почудилось ей: дикая, горячая кровь разлилась по телу, в груди стало пусто и холодно, но немного остывала, унималась боль и вот совсем утихла...

Самое время подняться, вроде бы и дня не было, а уже темнеет, небо покрылось тучами, затянуло серой пеленой; но мать уже не пробовала встать на ноги, она баюкала, укачивала глухую боль. Наконец решила — едва-едва приподнялась на правый бок. Прислушалась к стуку сердца: кажется, немного отпустило. И тогда пододвинула ведро. Кулаком усадила мягкие, как помет, зерновые осевки. Мало. Сколько же того зерна с отходами? И до ушка не достанет. А промоешь, просушишь — останется одна горсть. На большее не хватит сил, это она хорошо знала, ведь еще топтать да топтать снег, где то село, вон там, за холмом, едва виднеются стрехи хат.

С трудом пересилив боль, поднялась. Надо было бы переобуться, портянки совсем сбились, затвердели лохмотья, в голенищах и в чунях — ледяная крошка, она примерзла к голому телу. Мать потянулась к носкам — не пускает, будто колом подперло грудь. «Бог с ним,— подумала она,— как-нибудь и так доберусь». Едва перевела дыхание, со стоном поднялась, хотела расправить спину, но не смогла и так, скованная болью, пошла.

В холодном небе дрожала одинокая звезда, и мать подумала: «Какая далекая звезда, и как она печально светит». Ей показалось, что уже и мысли ее замерзают на ветру, чуть-чуть шевелятся... Что-то далекое и забытое, словно сон или тень из другого мира, вспомнилось ей. Ночь. Двое в степи: Санька и она, беженка. Над ними звезды южной степи, и он шепчет ей о чем-то хмельном — о бегстве, о походах, о свадьбе... Те видения, как пушинка снега на ресницах, сверкнули и исчезли: разве то было? Только в небе холодная одинокая звезда и в степи она, продрогшая и одинокая женщина... Надо идти.

И мать, слепая и сонно-безразличная, пошаркала дальше, уже ни о чем не думая.

Скрипел под ногами снег, ноги были чужие, как чугунные колоды, они даже из земли вытягивали мороз и обжигали ледяным огнем бедра, онемевшее сердце, воспаленный мозг. Ее качало, и степь качалась, наплывали, накатывались на нее высокие гребни снега, то выплывал, то вдруг исчезал за сугробами обгоревший скелет ветряной мельницы (ее взорвали немцы); поверженная громада ветряка[1] лежала на земле, опрокинутая навзничь, длинная и черная, распластав на снегу скрюченные и помятые крылья. Мать прошла мельницу, откашлялась и ускорила шаг; с горы видно было конюшню — огромный холм снега с темными душниками у самой земли, с темной пастью дверей; у двери конюшни стояли мужики, среди них староста и еще кто-то, но мать никого не замечала, она смотрела вперед.

А вот и хата. Возле хаты будто рядок снопков. Дети... Стоят, смотрят в вечернюю степь, откуда должна вернуться мать, и это подхлестнуло ее, и злоба охватила изболевший мозг: «Господи! И чего они все на мороз высыпали? Сама еле жива, а они горя еще добавляют, помрут, как мухи». Злость на детей подстегивала ее, и она уже представляла себе, как затолкнет в хату своих мучителей, как опустит руки в холодную воду и криком будет выгонять холод из окоченевшего тела.

Вся она смерзлась в ком, и ведро примерзло к ней, и кожа примерзла к обледеневшей фуфайке; казалось, она окаменела, оглохла и не слышала, как кто-то звал ее со стороны конюшни. И все-таки приглушенные звуки заставили ее повернуть голову, и она сквозь белое сито увидела конюшню, черные проемины дверей, болтающиеся рукава... Кажется, ей староста машет...

Староста. Она знала его еще бригадиром; весельчак был парень, балагур и, как все парни, любил хорошо поесть, частенько забегал к ним, к ее мужу, председателю колхоза, мать обоим наливала борщ в глубокие миски и всегда радовалась, видя, как он с аппетитом уплетал горячее, аж за ушами трещало; он ел и нахваливал, никто, говорил, не приготовит такого борща, и она, довольная, все подбавляла и подбавляла ему самую гущу. Мать была довольна, а муж нет-нет да и посматривал искоса на парня, который потел за миской. Потом муж извинялся: «Не сердись на меня, Килина, прости, знаешь, что-то у него от Чмырей...»

Не сразу сообразила мать, зачем он, староста, зовет ее. Надо бы загнать быстрей в хату ребятишек; уже смеркается, холодно, а они раздетые стоят на морозе. Но раз зовет староста, надо идти. И она не спеша направилась к конюшне.

Дети, точно снопики, торчали у хаты, черные снопики на фоне белой стены...

— Где ты была? — спросил староста; молодой, с карими глазами, он стоял у дверей конюшни, заложив одну руку за спину,

---

[1] Ветряк — местное название ветряной мельницы.

а другой развернул мохнатую полу тулупа, точно закрывал от нее тепло, идущее из конюшни; из-под спины выглядывало несколько раскрасневшихся лиц с цигарками в зубах.

Мать не слышала, о чем ее спрашивали, она подошла поближе, чтобы увидеть тех, кто там стоит,— все никак не могла разглядеть: глаза ее слипались, иней засыпал лицо.

— Ты где была, я спрашиваю? — Староста не повышал голоса: на кого здесь кричать? Он остановил нищенку, вот позабавится немножко и отпустит ее; через плечо он подморгнул улыбающимся дружкам, и желтые бычки в их зубах загорелись еще веселее.

Мать стояла перед ним, слепая и озябшая, прижимая к себе ведро; она боялась одного — только бы не упасть, ее обдувал теплый, идущий из конюшни ветерок вперемешку с запахом навоза и взопревших отбросов.

— Чего молчишь, ну?

Староста оскалил белые, молодые зубы и высоко задрал ногу, так высоко, что мать увидела широкую подошву сапога с шипами. Он задрал ногу и перешагнул через сугроб. Вот он уже совсем рядом: она видела раскрасневшееся лицо, блудливые зрачки его расширялись, он точно хотел вспугнуть женщину своей осклабившейся гримасой. Но мать стояла немая, вместо лица — белые колючки, смерзшаяся шапка инея, из глубины лица проглядывала темная дырка, рот не рот, глаза не глаза, староста сам испугался этого безликого существа и испуганно расхохотался:

— Га-га-га!.. Мать!

На нее понесло пьяным перегаром, она увидела: ощеренные зубы, вокруг их черные рубцы, запекшуюся пену у рта. «Да ты же пьяный,— подумала она,— шел бы лучше домой, проспался бы, а то, чего доброго, брыкнешь где-то в снег, замерзнешь, вы ж, молодые, не бережете себя».

— Значит, ты воровала! — не отставал староста и с силой вырвал из женских рук примерзшее ведро, и мать покачнулась за ним, но староста оттолкнул ее, не сильно, а так, чтоб она еще держалась на ногах. — Ну вот, господа, посмотрите! — повернулся староста к дружкам, стоявшим за его спиной, и показал рукой на ведро с отходами и мерзлой землей. — Посмотрите, как нас грабят. И кто? Бывшие активисты, вашу мать, ч-честные!

Сытый, он гикнул, и те, кто стоял с бычками в зубах, сверкнули огоньками; в конюшне было темно, били копытами кони в сырой пол, и теплый навозный пар валил из дверей. Мать стояла вся в снегу, похожая на черный холмик под шапкой снега, она замерзла стоя, а те, с тепла, дымили на нее цигарками.

Староста пододвинул кому-то под ноги ведро и властно приказал:

— Высыпать коням! — А потом уже обратился к матери: — Марш домой, за воровство полиция стребует...

Как ведро опять оказалось в ее руках, мать уже не помнила; бережно обняла его, как горшочек, прижала к груди и, покачн-

ваясь, пошла от конюшни. И не домой, а почему-то в степь, в заносы. Или она уже не видела дороги, или, может, опять направилась к далекой скирде. Только ей казалось, что ведро совсем не пустое, а в нем по-прежнему лежит теплое зерно. Чистая обмолоченная рожь, льется она целым ворохом, пересыпается, течет ей прямо в глаза, в пересохший рот. Ей забило дыхание, и она упала. Глухо звякнуло и куда-то покатилось ведро. Последнее, что осталось в ее памяти,— сорвались из-под хаты маленькие снопики и побежали, запрыгали к ней по снегу.

Это было последнее.

Рожь придавила ее черной кучей. Черная рожь.

— Не вспоминай, отец, как искала мать. Она искала всю жизнь — и в молодые годы, и в старости. И всегда ей чудилось зерно — в полове, в мусоре, в отбросах.

К ПЕРЕКОПУ

В молодости быстро заживают раны. Уже через два дня ротный вставал, а спустя неделю ходил между траншеями, принимал нехитрое ротное хозяйство.

Надвигался октябрь. То лил холодный дождь, то шел мокрый снег, земля раскисла и больше не впитывала в себя влагу — в окопах по колено стояла густая, словно кисель, вода, бойцы не успевали сушить свои лохмотья и, чтобы немного согреться, в Христа-бога ругали небесную канцелярию: «Видать, контра наверху засела. Ишь, льет и льет как из ведра, конца этому нет». — «Ничего,— отвечали другие,— прикончим контру на земле — и до небесной доберемся».

Ротный ходил из траншеи в траншею, прислушивался к разговору и не узнавал свой полк. Недаром говорят: беда научит, как коржи с маком есть. На собственном опыте убеждался ротный, как вооруженные рабочие и крестьяне ценой жертв и поражений приобретают боевые навыки. Первое, что приятно удивило его,— это хорошо продуманный выбор позиции. Полк занял оборону над крутым берегом Оскола, на высоких холмах, которые, выражаясь языком военного устава, господствовали над всей окружающей местностью. Речка была неглубокая, но болотистая, правый берег отлогий, равнинный, с большим количеством заливов и топей; форсировать Оскол можно было только пешим строем, по вязкому болоту, под шквальным огнем стрелковых рот. Несколько раз деникинцы пытались обойти полк с левого и правого флангов, но там подковой замыкали укрепленную зону первый и третий батальоны, которые каждый раз огнем и сабельными контратаками отбрасывали белых за реку. А тыл красного полка надежно прикрывал густой Валуйский лес, где в шалашах и в землянках разместились обозники со всем своим подсобным хозяйством — с походной кухней, каптеркой, конным двором.

Второе, что приятно удивило ротного,— это, как бы точнее выразиться, военная переплавка людей. Он хорошо помнил, как создавался полк и как крепок был дух партизанщины. В красные отряды вливалась или бедная бунтарская масса, никогда не державшая в руках винтовки, или фронтовики, которым печенки проели муштра и офицерская брань. Тогда многим казалось, что порядок, внутренняя дисциплина — буржуйские пережитки; фронты качало от митингов: «К черту начальство!.. Наелись!.. Даешь вольную жизнь!» Даже военные специалисты считали, что новая армия должна воевать только по-новому: коротким стремительным штурмом, ночными налетами, обходными кавалерийскими рейдами. Кое-кто совсем отказывался от тактики обороны, по-своему истолковывая лозунг: оборона — смерть революции. А сейчас... Прошло всего полгода, наставил Деникин синяков, загнав полк в глухой угол, и солдаты с головой зарылись в землю, копали запасные ходы и траншеи, строили оборонные валы и укрепления. Это был уже не беспорядочный цыганский табор, а настоящая регулярная военная часть, которая жила по всем правилам гарнизонной службы: караулы, дозоры, наряды, связь, разведка — все звенья работали четко и согласованно, во всем чувствовался армейский порядок. Не было шума и суеты (ибо, как сказал Мамай, сократили должность начальника паники), были спокойствие и уверенность, полк держит высоту второй месяц и, если прикажет реввоенсовет, будет держать до последнего патрона.

Ротный ходил среди солдат, присматривался к новым людям, и почему-то ему припомнилась маленькая худощавая женщина, которая тихо и незаметно по-хозяйски управляла домом, каждому находила работу, держала в своих искусных руках всю чубатую семейку... Кто командует полком, ротный уже знал, когда побывал на военном совете. Возле кирпичного здания, что одиноко стояло в выгоревшем саду возле Оскола, собрались члены совета полка — агитпроповцы и выборные от окопных солдат, командиры и связные. Человек двадцать бойцов, кто в шинели, кто в кожанке, а кто в пиджаке, стояли тесной толпой, дружно тянули из рукавов едкий махорочный дымок; их мокрые козырьки, кожаные портупеи блестели от влаги, и хмельно сверкали глаза, ибо дождь дождем, а интересно, мать его в печенку, как чешет в хвост и в гриву мировую контру наш полковой комиссар. Вот он, щербатый парень, взобрался на крыльцо, плащ дырявый и фуражка прострелена пулями, но послушай, как он чешет басурманов,— лучшей не надо артподготовки.

Ротному казалось, что Мамай даже подрос за лето, загорел и вытянулся. Он стал скупее на слова, держался свободнее и увереннее. По всему было видно, что солдаты приняли Мамая в свой коллектив, полюбили его речи и щербатую улыбку, его мальчишескую застенчивость и комиссарову твердость.

— С таким полком не пропадешь,— сказал жене ротный, когда вернулся в свой «семейный» шатер. Он пришел из окопов

мокрый и усталый (раны давали о себе знать, особенно в дождливую погоду), но полный уверенности в близкую победу.

...В саду, возле опустевшего дома, чернела покинутая рига — без окон, длинная и слепая; обшитые досками стены поросли ядовито-зеленым мхом. Дверной косяк был скособочен, и, когда ротный выдернул засов, дверь не открывалась. Заклинило. Сильнее рванул за скобу — затрещали двери. В сарае было темно, пахло горьковатым мышиным пометом, плесенью и сырой паутиной. День выдался пасмурный, и в низенькой каморке, где и без того было темно, ротный сначала ничего не увидел. Прошел в дальний угол, постоял. Здесь, как в погребе, было сыро, неприятно несло остатками гниющей пищи. Когда глаз привык к темноте, ротный различил что-то неуклюже-лохматое. Оно задвигалось, подминая под себя слежавшееся сено, горбом выгнуло спину и спросонок выругалось. По голосу ротный узнал: Чмырь, Аникий Чмырь, конвоир Войска Донского, а теперь заключенный-нахлебник пролетаркого полка.

Узнав своего землячка, Аникий икнул от неожиданности. Какое-то время он сидел с раскрытым ртом, точно пытался понять: приснилось ему или на самом деле перед ним предстал призрак с того света? Чмырь сидел неподвижно, глубоко вобрав голову в плечи, чуб его походил на воробьиное гнездо — весь в щепках и листьях. И помятая шинель, и штаны в гармошку — все было в паутине. И несло от него мышами.

Опомнившись, он оглядел, словно ощупывал землячка, острыми быстрыми глазками:

— Победитель! Ха! Живой?

— Живой. Я живой, и наша революция жива. А тебе с недоносками генералами — последний аллилуй.

— И как я маху дал, твою мать, надо было потуже связать! — сверкнул Чмырь из угла зеленовато-холодными огоньками; со звериной тоской он посмотрел на руки большевика, будто до сих пор не верил, что тот высвободился из его надежных шпагатных силков. — Судить пришел, красный голодранец?

— Судить! За Грицая и Марфу, которых вы молвой убили. Забыл?

— Ишь печальник нашелся! Всех не пожалеешь. Отец мне говорил: спорыш для того и растет, чтоб его топтать...

— Ядовитый ты, Чмырь, как грибковая плесень. Сам из злыдней, а злыдня поедом ешь. Кого ты связывал и к стенке ставил? Хлебопашца, который кормит всех и тебя, лишая ползучего... За мертвых судить пришел. За то, что ты в собачью шкуру вырядился, продал совесть и революцию за объедки с генеральского стола.

— А ты, красный голяк, не тыкай мне в зубы своей революцией. Что она, колбаса, твоя революция, что ты в зубы тычешь?

Аникий подпер коленями сухую, прокуренную грудь, в которой, точно сажа, годами оседала жгучая голодная злоба; эта ненасытная, неистребимая злоба выжигала душу, сухими лишаями

покрывала кожу, точила и разъедала мозг. «Дай!» — требовало нутро, и он вырывал последний кусок из рук отца, братьев, соседей — везде и всюду, где плохо лежало. Но в жизни выходило так, что дармового, готового не хватало; только протянешь руку — бьют тебя, гоняют, как собаку, и это еще больше озлобило Чмыря — до исступления, до слепоты. «Ух-ух, ненасытные! — проклинал он тогда всех ненавистных ему людей. — Жалеют, понимаешь, хлебную корку для человека». Чмырь не мог (да и не хотел) понять простой истины: даже она, хлебная корка, сама не растет, и, чтоб иметь ее, надо положить в землю хотя бы одно зернышко.

Голодная ненависть ослепила его и сейчас. Сжав себя локтями, Чмырь весь напружинился, точно собирался вот-вот прыгнуть и когтями вцепиться в горло своему противнику. Но чувством мести он упивался только мысленно, ибо знал, что ротный может скрутить его в бараний рог («Ишь нахохлился, вражина!.. А мускулы как пышки!»). И Чмырь затравленно прикипел к стене, поблескивал из темноты горящими угольками, обкуривая земляка угарным дымом словес.

— Ты мне отвечай, печальник: что она дает солдату, ваша революция? Беляки хоть сухарями кормят, а твои комиссары чем? Красными словами? Обещаниями-посулами? Нет дураков, ешьте сами посулы...

— Вы, Чмыри, сами себя хотите перехитрить. Как тот цыган: вот купит сосед кобылу, кобыла принесет лошонка, а мы украдем его и покатаемся... Но, известно, на ворованной телеге далеко не укатишь...

— А ты, голь перекатная, не учи нас, как жить. Мы, Чмыри, толк в жизни понимаем. Мы люди крепко грамотные, кого хошь на разум наставим... Ты вот чертом на меня смотришь, думаешь, самого бога за бороду ухватил, но послушай, что тебе Чмырь скажет. Была тьма войн, была холера и чума, был голодный мор по всем краям и землям, какие дубы стояли — повалило и поломало, а мы ниже травы и тише воды, живем себе, живем и плодимся, слава богу, еще глубже корни пускаем, а если и в самом деле произойдет потоп — мы, Чмыри, сухими из воды выйдем. Потому что так понимаем жизнь: за большим не гонись, малого не упускай. Или как отец поучал: пока дождешься у моря погоды — штаны потеряешь, а ты не жди, хватай, что плохо лежит, а то другой ухватит.

Ротный подошел поближе; в темноте его худое, болезненное лицо казалось еще бледнее, глаза были с лихорадочным блеском; он смотрел в упор на Чмыря, будто хотел своим взглядом пригвоздить его к стене.

— Не для того,— сказал ротный, наступая на Аникия,— не для того мы революцию засеваем, чтоб Чмыри наш посев зеленым потравили.

— Ты, вражина, не тово... полегче, полегче... — Аникий попятился назад, в угол, где блестели плесень и паутина и где пахло мышами, но дальше отступать было некуда, и он, поджав под себя

ноги, съежился, жалкий рыжий человечишка, которому страх за свою жизнь придавал злую решимость.— А насчет посева,— пробовал вывернуться Чмырь,— я тебе напомню отцову притчу. Слушай, печальник, слушай и на ус мотай евангельскую мудрость. Вот, говорил мне отец, создал господь человека, который сеял зерно на своей земле. Создал и дождик послал. А когда люди спали, пришел сосед-завистник да и разбросал куколь между пшеницей. Ну, взошло зерно, взошел и куколь. Прибежали слуги к хозяину и говорят: «Пан, разве ты недоброе зерно посеял? Откуда же взялся куколь?» «Эх,— подумал хозяин,— это же сосед сотворил порчу»,— и решил отомстить ему. А слуги свое: «Хочешь, хозяин, мы пойдем и вырвем до единого стебелька тот куколь?» Здесь господь и подсказал ему: «Разве ты не знаешь, какие у тебя усердные слуги? Выпалывая куколь, они и пшеницу к бесовой матери вытопчут. Пускай растет и то и другое,— говорит господь,— а во время жатвы прикажи своим жнецам: сначала соберите куколь и повяжите в снопы, чтоб сжечь, а пшеницу уложите в амбаре». Вот как учил господь! — закончил Чмырь, и будто подрос в собственных глазах, и даже колючую бородку вскинул с таким, знаете, петушиным вызовом.

— Ну и что? — снова наступал ротный.

— А то, комиссарский голяк, с тобой и с твоей революцией будет, что с этим библейским дураком, который не послушался божьего слова. Бог ему свое, а ему неймется: послал он слуг в поле прорывать куколь, и те уж так постарались — ни пшеницы, ни травы, одна черная полоса, будто все выгорело. Разозлился тогда бедняга и давай своих полольщиков и жнецов на капусту сечь... и пошел с сумой по миру, а за ним и сосед с ножом. И что ж он заимел, дурак чумовой? — Аникий потянулся колючей бородкой к земляку, словно собрался открыть ему еще какую-то важную тайну, вид у него был заговорщический, быстрые глаза бегали, словно капли воды на горячей жаровне. Он оглядел темные углы риги, хотя здесь, кроме них, никого не было, и доверчиво прошептал: — Слушай, что я тебе скажу. Убегай, пока не поздно, от своих комиссаров, они обманывают людей обещаниями. Обманывают и натравливают слепых на законную власть. А отец учил меня: «Никогда не иди против власти, не зли сильных, они тебя же и съедят». К сильным надо с подходом: «Здравия желаю... Что изволите, ваше благородие?» Начальство — оно любит уважение. Ты поклонишься ему, оно погладит тебя, а ты тем временем, пока оно гладит, не зевай, лезь ему за пазуху да к живому... Понял? Плюнь на всякую политику, от нее сыт не будешь, бежим вдвоем, я научу тебя, как жить...

Чмырь смолк, поднял из угла настороженные глаза, в которых теплилась надежда: клюнет или не клюнет? Но на лице ротного он прочитал только одно — гадливость. Омерзительную гадливость, больше ничего. И, даже сообразив, что наступает развязка и что все его красноречие напрасно, Аникий судорожно противился всем

своим существом, своим озлобленным нутром, точно пойманный стриж, исступленно метался в тугой петле.

— Ты чего?.. Ты чего наступаешь, вражина? Я добра тебе желаю, как-никак свояки, а ты зубы точишь. Не хочешь — оставайся со своими голяками, подыхай, только душу мою отпусти. Отпусти меня, все равно всех Чмырей не уничтожите: вы, красные, сеете, но, истребляя один одного, и жнецов не оставите. А мы, Чмыри,— помяни мое слово — доживем до жатвы, и еще ваши дети хлеб у нас будут просить.

— Так вот, Чмырь,— сказал ротный с ударением, с нервной дрожью в голосе. — Так вот. Чтоб чмыревское отродье не сожрало труды наши кровавые, революцию нашу в самом зачатии, выношу тебе приговор — смерть. Это аминь и мое последнее слово.

Ротный выхватил наган. Чмырь инстинктивно закрыл лицо руками, спрятал зацепеневшую жизнь, как ворованную булку, и ротный всадил пулю в скрещенные пальцы. Синяя короткая вспышка на мгновение разорвала темноту, фосфорически сверкнула плесень по углам.

Чмырь сидел у стены, скорчившись... Свинец припаял его к стене.

Он так и умер, закрывшись от света руками.

Ротный вышел во двор, в глазах было сухо и мерзко. Смахнул со лба паутину, да только размазал слизь: губы, ладони, рукав шинели — все было склизкое и грязное, он брезгливо сплюнул, но плевок не освободил его душу от нарастающей брезгливости к себе... Убил. Лицо сразу помрачнело и осунулось, он прибавил шаг, как-то нервно укрыл голову воротником и пошел прочь от сарая, опустошенный взрывом наивной жестокости. Шел погубленным садом, который объели кони и затоптали бойцы, и на ум приходили слова, не то слышанные, не то прочитанные в книге: «У меня такое чувство, словно ваша милость... трет мою руку теркой. Не обращайтесь с ней так жестоко: ведь она ни в чем не виновата... бессердечно срывать свою злость на такой маленькой частице тела...»[1] Ротный пытался припомнить, где он мог слышать эти слова, пробовал догадаться, почему именно такие мысли пришли ему сейчас в голову, но что-то мешало ему, и это что-то была карта с красными нитями железных дорог, и карту Украины как раз пополам рассекала сабля поручика в черных ножнах...

— Товарищи! — сказал Мамай. — Это будет самая короткая речь. Не такое время, чтоб митинговать, за нас говорит сама революция. Она говорит миллионами жертв, морем народной крови, вы хорошо знаете, сколько полегло молодых и буйных голов, полегло с извечным вопросом: «За что умираем?» До сих пор история подло и жестоко смеялась над легковерными: обещала медпиво, молочные реки, а чем потчевала? Свинцом, еще более хит-

[1] М. Сервантес. Дон Кихот, XIII.

рыми кандалами, еще более коварной ложью. Так было до сих пор, пока легковерные давали себя усыпить, а тем временем новые главари и воители подбирались к горлу народа, чтоб потуже затянуть петлю... Мы, товарищи, раз и навсегда должны сказать: хватит! Никакие мудрецы, никакие апостолы не будут больше сидеть на спине рабов. Революция убила самое страшное чудовище — веру в царя-батюшку, в Верховного отца и защитника народа. Отныне царствовать и защищать себя должен сам народ.

Впереди у нас валы Перекопа, это тот рубеж, за которым возникнет фатальное: куда? Куда, в какую сторону двинется лавина революции — назад, к праху Спартака, Пугачева, всех прежних восстаний, или дальше, к первой на земле, к окончательной победе народных масс?

Ехал в строю обычный земной человек. Вырос он в глухой деревеньке, в детстве ел и спал в песчаной борозде, не один раз тонул в полесских болотах, не раз блуждал в волчьих чащобах. Как и многие его одногодки, провел он свою молодость в окопах, понюхал солдатского пороха. Не впервые было ему отправляться в поход, двигаться в конном строю. И нужно было особенное душевное потрясение, чтоб и этот простой, огрубевший солдат обратился к небу, к ветру, к солнцу с необычным для него, возвышенным словом:

На развилке военных дорог
Ветры буйные нас обвевали,
Степь ложится у наших ног,
Точно флаги, что в битвах бывали...

Ротный шептал эти слова, пораженный величием завершающего похода и того мира, который открывался перед ними.

Широко раскинувшись на все стороны, лежала впереди бесконечная таврийская степь. Словно с высоты орлиного полета было видно, что земля круглая, что плывет она, как Ноев ковчег, по необъятным водам вселенной... Было видно, как степь зацепила за горизонт свое широкое крыло, как садилось солнце в далеких водах, а из-под солнца, из пылающих волн, всплывали, выходили батальоны, полки, дивизии; они выходили, словно из огня, и горели на солнце буденовки, сверкали штыки, кумачом пламенели знамена.

На штурм Перекопа шла армия Южного фронта.

Ротный ехал в конном строю, рядом с ним ехала Килина; она уже не походила на оборванного цыганенка, она была бойцом сангруппы, новенькая военная шинель плотно облегала ее тонкую девичью фигуру, и в кожаной фуражке она была похожа на казачка. Они ехали, подсвеченные солнцем, изредка переглядывались, и ротный гордо кивал:

— Говорил же, будет поход к морю, и мы пойдем с тобой вместе...

Комиссар Мамай ехал следом за ними и, глядя на молодую чету, щербато улыбался. Счастливые... Это для них, ради человеческого счастья, свершается на земле революция.

В суровых шеренгах полков и дивизий не было обособленных подразделений, не было разобщенных боевых единиц, различаемых по чинам и рангам. Все были сплочены воедино, всех увлек наступательный ритм походных колонн. Каждый, от командарма Фрунзе до полкового писаря Сероштана, чувствовал решающую значимость событий, которые ожидали их за Турецким валом. Каждый понимал, что отныне круто изменится судьба страны и его собственная жизнь.

Они не могли предвидеть все сложные повороты своей нелегкой судьбы, но они твердо верили: что бы там ни было, лавина, которую они сдвинули, уже не остановится.

Таврийская степь, багряный закат солнца, стремительный марш наступающей армии — это была необыкновенная картина. И взволнованные слова поднимались из глубины потрясенной души рядового солдата:

...Степь ложится у наших ног,
Точно флаги, что в битвах бывали...

1968

СТАРЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК

1

Представьте себе: впервые вы приехали в село Кривичи, затерявшееся среди белорусских лесов. Выходите из хаты, и вас слегка покачивает, словно еще едете в поезде. В небольшой комнате было жарко натоплено, и вы только во дворе наслаждаетесь прохладой. Ну как тут, какой воздух на Полесье?.. Уже поздний вечер, на улице подмораживает, легонько хрустит под ногами подернутая льдом земля. И вы, по крестьянской привычке, стоите и неторопливо думаете: не рано ли хозяин бросил картошку в эту песчаную землю за погребом? Правда, на дворе май, но холодно, хоть надевай шубу.

Со двора видно высокую изгородь, заставленную штабелями дров. А дальше выглядывают темные крыши крепко сбитых деревянных хат, за хатами — лес, глухая белорусская пуща, над которой то здесь, то там высвечивается факелами небо. Мне сказали: это горит в лесу газ над новыми буровыми скважинами; выгорит метан с верхнего слоя, тогда добывают нефть... Тревожное и какое-то неземное зрелище: ночь, темная-темная полоса соснового бора и над лесом — неземные столбы газовых факелов. Когда я ехал в это село, к родственникам отца, то видел, как по железной дороге движется много нефтевозов — бесконечных эшелонов мазутно-черных цистерн. Думал ли когда отец, что припрятано здесь, под этой бездонной топью? Полесье, гнилое, извечное болото, зеленый мох, грибная тишина полян и вдруг — нефть! Черное золото глубин! Потянулись к ней — через лес и трясину — линии электропередач. Пролегли — по бревнам, песку, щебню — автодороги. Словно океанские суда, врезались в сосновый лес высокие белые корпуса общежитий, столовых, гастрономов. На «Жигулях», мотоциклах, велосипедах едут каждое утро с ближайших и далеких сел (и все туда, к нефти) молодые, веселые полещуки[1], оглашая тихие окраины транзисторной музыкой... Теперь совсем другое Полесье, не то, каким оно жило в рассказах моего отца. В Кривичах он родился, здесь работал и землекопом, и лесорубом, и Полесье возникало в его воспоминаниях как полотняная, грибная, березово-белая идиллия.

---

[1] Полещук — житель Полесья.

...А теперь я слышу сквозь почь, как гудят и гудят моторы, со всех сторон подступая к болотной прорве.

Насмотревшись на высокие зарева в небе, подхожу к дому и вдруг — в отблесках тех же нефтяных факелов — вижу уголок старого полесского села. Оно стоит притихшее, словно прислушивается к лесу, к тишине. Тес на хатах почернел, и вся улица сливается в темноте с хвойником, с горбами серого песка. Между дровами много пустырей, от них веет холодом и запустением. Когда-то на этих местах стояли добротные срубы, но снесло их пожарищем войны. Изредка ютятся маленькие, просто миниатюрные грибки-каморки. Здесь их называют хатульками. Окна не светятся, двери закрыты наглухо. Дорожек во дворе нет, трава стоит нетоптаная, зеленый вьюнок стелется по стенам. Это тоже память войны. В некоторых из них доживают свой век старые, одинокие женщины, партизанские вдовы.

Днем я проходил по Моховой улице и видел: возле своего «грибка» стояла женщина вся в черном, сгорбленная и высохшая. Казалось, горе иссушило ее, день и ночь стоит здесь, среди запустевшего двора, лицо у нее какое-то неживое и только глаза кого-то ждут. Глаза этой старой больной женщины поразили меня больше всего: по лицу текли слезы — и сквозь слезы, с каким-то жутким напряжением старая белоруска смотрела в лес. «Там у нее сгорели дети и муж»,— сказал мне Саша Козур, когда мы проходили мимо. Я заметил: в ее распухших, бездонно-скорбных глазах и до сих пор что-то горело. Наверное, вот те, военные пожары.

...Фашисты три раза жгли Кривичи, потом добивали женщин и детей в землянках, в ямах. И сейчас в памяти людей, в их душах и сознании страшно все переплелось, прошлое и настоящее, яркие факелы над пущею и совсем иные зарева.

2

Меня будят рано и приглашают к столу. Умываюсь, быстро окидываю любопытным взглядом хату. Ничего, хорошо живут Козуры.

Жилище у них типично полесское, сложенное из бревен. В сенях вы видите крепко подогнанные сосновые кругляки; они законопачены только ватой и паклей. А стены в двух комнатах обклеены обоями, пол — свежевыкрашенный густо-красной краской и блестит. Это вам не курная полесская хата, это веселая и чистая горница, не хуже киевской. Еще я заметил: плита побелена, как и у нас, на Украине, но Козуры сделали похитрее: по белой глине прошлись белилами. Очень удобно: и глина не пристает, не мажется, и стены сверкают на солнце, как будто лаком покрыты. (Думаю: может, написать матери в село, на Кировоградщину, пускай и она так сделает, чтоб не вытирались стены?)

Шура сидит за столом в нарядном костюме, в белой рубашке, на скорую руку завтракает и говорит мне:

— Сегодия в школе у нас необычиый день. Последиий звонок. Младшие классы отпускаем иа летние каникулы. Собирайся быстрей. Тебе интересно будет посмотреть.

Шура — мой двоюродиый брат по отцовой лииии, ио мие трудно иазывать его Шурой, ие поворачивается язык. Ои — директор школы, а я еще с детства зиаю, что учитель, а тем более директор рождается ие Шурою, а Алексаидром Ивановичем. Да к тому же ои старше меия, с автоматом в руках прошел войну. У него, партизаиа, и памятная метка осталась: когда ест, то правую руку под локоть поддерживает — она у иего простредеиа. В разговоре я все время сбиваюсь: то иазову его Шурой, то Александром Иваиовичем... Он очеиь похож иа моего отца: высокий полещук, лицо большое, светлое, иемиого продолговатое, глаза серые, спокойиые и такая же приветливая добрая улыбка.

Мы собираемся и идем в школу. Школа совсем близко. Вот кончился иебольшой огород директора и сразу — школьиый двор. Крестьяие называют свои огороды плаиами или картами. Земля здесь песчаиая, скупая, без иавоза совсем ие родит, поэтому огороды иебольшие, хорошо ухоженные; они и в самом деле лежат ровиыми картами, словио кто-то их расчертил под лииейку. («На моем плаие,— говорил утром сосед,— очень хорошо бульба выклевывается».) Шура, то есть Александр Иванович, ведет меня не в классы, а в школьный сад. Можно понять человека: хочет похвалиться. На Полесье фруктовый сад — в диковинку. Только сейчас я заметил: село обступает густой сосновый лес, ио в Кривичах — ни одного деревца. Потому что под ногами сплошь песок и торф, яблони и вишии сроду здесь не росли. Зато в школьном саду, на радость детям, растут и яблони, и вишии, и груши. Из окон школы видно, как красиво цветут молодые деревья и как рьяно трудятся иад белым цветом пчелы. Мы идем по тропинке, директор рассказывает, где он достал молодые саженцы (ездил в Чернигов к другу-ботанику), и как они все вместе, классом, копали ямы, завозили перегной, а потом... И директор кивком головы показал на колодец в саду (сами выкопали!) и на девочек, которые ведрами таскали воду и поливали деревца. «Наши дежурные, юннаты!» — удовлетворенно произнес Козур. В белых передниках, маленькие поливальщицы чем-то походили иа пчел, озабочеиио сновавших среди белого весеннего цветеиия.

Но самая большая гордость директора — новая школа.

Это красивое деревяиное здание выросло в центре села, развернув под прямым углом два своих крыла. Для меня, степного жителя, оио выглядит иесколько иеобычио: во всем облике школы чувствуется какая-то тяжеловесность, хмурость. Вместо легкой белой стеиы или кирпичной кладки — сруб из тяжелых бревеи. Крепкое стругаиое дерево, иекрашеное, потемиело, подтекло смолой, и теперь отчетливо видно, как стяиуты и сшиты углы, как сложены стеиы, как вырезаны кариизы и иаличники. Словом, видиа вся душа дерева, вся его плоть — до мельчайших сучков и трещин. Живое, почти необработаиное дерево стало строением, шко-

лой. В деревянной старой полесской архитектуре есть своя суровая первозданная мощная красота — и глаз должен к ней привыкнуть.

В школе (не без влияния директора, как я понял позже) все делается так, чтоб и сегодня дети не отрывались от земли, чтоб и у них была извечная радость человека, который неотделим от природы и с самого раннего детства открывает для себя и эти тихие речушки на лугах, и вечерние звезды над лесом, и запах сена — неповторимый запах детства, что снится нам потом всю жизнь...

В школе не просто сад. Первоклассник (так заведено директором) приносит с собой куст сирени или саженец черешни, сажает его, поливает, ухаживает за ним до восьмого класса, до самого выпускного вечера. На каждом дереве табличка, где аккуратно написано, кто и когда посадил его. Ты хозяин, ты отец этой тоненькой грушки или яблоньки и ты не захочешь, чтоб она засохла, когда рядом зеленеют саженцы твоих друзей-одноклассников. Ты уйдешь в армию, уедешь учиться в институт, а твое деревцо (с букварем принесенное в школу) будет поливать тот, кто потом придет в школу и напишет тебе: приезжайте, на вашей яблоньке хорошо завязалось этим летом... целых пять яблок!

В школе на окнах не просто цветы. Их принесли из дома ученики и ухаживают за ними. В школе — не просто теплица — там проходят уроки ботаники, и дети проводят опыты: скрещивают, опыляют, культивируют дикорастущие травы и ягоды.

Александр Иванович приглашает меня на свой урок (он ведет естествознание), и я услышал от него не очень мудреный, но, наверное, вечно мудрый секрет воспитателя, заимствованный нами еще из натурфилософии. «Что такое, друзья, наблюдать за природой? — спрашивает директор учеников. И сам отвечает: — Это значит: выкопать в земле ямку, посадить в нее семечко, поливать его и следить за чудом, которое вскоре произойдет».

Секрет, как видите, прост. Посади! Вырасти! Ухаживай! И тогда наблюдай — в школе, на улице, у себя дома. Живое, активное наблюдение, а не любопытство, вызванное бездельем, не душевная лень.

После урока мы пошли на праздник последнего звонка.

Праздник как праздник. Все было просто, но очень сердечно. Здесь же, под окнами школы, собрались самые младшие. Пионервожатая выстроила отряд, вынесла стол и поставила его посреди школьного двора. Стол покрыла скатертью и положила небольшой колокольчик. Я давно не видел такого колокольчика: старый, немного погнутый, с налетом зеленой ржавчины, да еще и выщербленный. Но ребята посматривали на него так, словно это сидела причудливая птичка, которая сейчас вспорхнет и куда-то улетит. Они толкались, тихонько смеялись, перешептывались. Я хорошо их понимал. Наконец! Наконец закончился учебный год. Они с нетерпением ждали, когда прозвенит последний звонок, и тогда — в лес, по сон-траву, по ранние грибы!

С нескрываемым интересом всматривался я в их живые, милые мордашки. Здесь были и знакомые ребята, те, что отвечали на уроке ботаники. В душе у меня и до сих пор звенит белорусская речь, которая так напевна, так мелодична: «зя-зуль-ки, кве-тки, птушки, молодые древцы»... Посмотришь на них и сразу скажешь: это крестьянские дети. Руки — потрескавшиеся, ботинки в пыли, щеки обветренные; они рубят дрова, чистят картошку, сажают огород, носят воду из колодца; многие — единственные помощники в семье. А немного поодаль стояли старшеклассники — в плащах болоньях, модно причесанные, рослые, немного уставшие. Они свысока посматривали на малышей, как на свое далекое прошлое...

Директор произнес краткую речь. Девушки-старшеклассницы, загадочно прятавшие руки за спины (хотя все видели в их руках цветы), вдруг подбежали к малышам, галантно поклонились и преподнесли им цветы, и не какие-нибудь цветы, а ранние тюльпаны, выращенные в школьной теплице.

Вот тогда-то и улетела долгожданная птичка-колокольчик со стола.

Пионервожатая вывела из толпы вихрастого мальчика (он, кажется, был самый маленький, но крепкий, толстощекий, настоящий колобок). Мальчик взял колокольчик, поднял его высоко над головой и что было силы зазвонил, обходя ряды школьников. Лицо его светилось от счастья.

— Ура! — закричали, подпрыгивая, дети.

Вверх полетели шапки и фуражки, толпа в одно мгновение рассыпалась, разлетелась, кто-то на ходу бросил через заборчик свой помятый, залитый чернилами портфель: ура-а!

Уже сидя за столом у себя дома, Александр Иванович, ревниво заглядывая гостю в глаза, спросил, понравился ли ему праздник. Я сказал: хороший праздник. Особенно запомнился этот маленький чернявый мальчишка, который с такой радостью звонил каждому над ухом, и на его раскрасневшемся личике было написано: «Лето! Каникулы!»

Александр Иванович устало улыбнулся.

«Странные дети! — можно было прочитать его мысли. — Рвутся из школы, а пройдет неделя, другая — и снова начинают бегать в школу, кто в сад, кто на спортивную площадку, а некоторые, смотришь, уже заглядывают в свои классы, тянутся на цыпочках к окнам. И, наверное, там, в притихших, настороженных классах, им представляется иной мир, полный тайнств и волшебства. Истосковались они по нем».

— А ты обратил внимание на наш колокольчик? — неожиданно спросил директор.

Он понимающе переглянулся со своей супругой Аней, учительницей той же школы. Было видно: они о чем-то своем думали и надеялись, что гость догадается.

— Колокольчик? Обыкновенный колокольчик, может несколько архаичный, теперь такой не часто увидишь в школе.

— Ну нет! — весело возразил Саша. — Колокольчик у нас не

простой! Можно сказать, исторический. Мы им звоним два раза в год, в торжественные дни: первого сентября, когда начинаются занятия, и в мае, когда заканчиваются. Очень дорогой он для нас.

Саша снова переглянулся с Аней, только улыбки как не бывало. Он приумолк, нахмурился, по-видимому, нахлынули какие-то тяжелые воспоминания, и он совсем иным голосом, несколько приглушенным, сказал:

— В этом стареньком колокольчике — целая история. Тяжелая, брат, история, с кровью. История о том, как мы выжили и с чего начинали на пустыре.

3

Раненный и оглушенный взрывом, он долго лежал в лесной землянке. Не видел, как сошли снега, как зазеленела первая трава в урочище. Когда вышел на улицу — а улица в лагере была необычная, лесная, просто между деревьями стояли высокие, опустевшие партизанские курени,— вдохнул сырой, с душком весенней плесени воздух, голова сразу закружилась, и он быстро, чтоб не упасть, оперся на вкопанную жердь: раньше на ней торчала метелка радиоантенны. Почувствовал слабость во всем теле, дурноту. От бинта, на котором висела перевязанная правая рука, несло йодоформом, сквозь марлю просачивалась кровь. В лагере громко разговаривали, лес теперь свой, можно кричать и громко смеяться, никто не пустит тебе автоматную очередь в спину. Партизаны складывали на подводы последнее имущество, сдавали оружие и взрывчатку армейским офицерам.

Подошел черноусый Гордиевич. Еще недавно он был комиссаром отряда, теперь его избрали председателем сельсовета:

— Вот что, товарищ Козур. Хорошо, что ты выздоровел. Направляем тебя в Кривичи, в твое родное село. Детей собрали и привезли со всех партизанских баз. Сам знаешь, много среди них сирот, переростков, покалеченных войной ребят. Их всех учить надо. Берись, организовывай школу.

Козур имел двухметровый рост, хотя вырос на постной картошке и не дотянул немного до восемнадцати лет. Долговязый и тонкий, как жердь, он свободно пролезал под колючей проволокой и между досками привокзальных заборов. Он еще не твердо стоял на ногах и покачивался от легонького ветерка. И своему комиссару мог бы сказать: мне бы самому, товарищ комиссар, сесть за парту, у меня у самого грамоты — кот наплакал... Но он знал: война еще не закончена, фронт откатился на запад, к Польше и Пруссии, и все боеспособные люди села, и учителя тоже,— там, на передовой...

Боец подрывной партизанской группы, Козур привык точно и быстро исполнять приказы.

— Слушаюсь! — ответил коротко.

Вздохнул, подумав про себя: пропал ты, Сашка! Какой из тебя учитель! Это ж, брат, не мину подложить под шпалу — и двадцать вагонов летят под откос. Здесь быстрей сам полетишь с рельсов;

все, что знал, давно забыл, даже не помнит, чему равняется квадрат катетов...

Спросил только об одном: а где будет школа? Старая ведь сгорела дотла, даже пепла не осталось.

Комиссар посмотрел на весеннее солнце, которое мягко пробивалось сквозь сосны, и, словно снял с серого землистого лица усталость, сказал:

— На квартирах будет школа. У тех людей, что поставили коекакие хибары. Война, голубчик! Ко всему приходится привыкать. Партизан — больных, обмороженных — и то некуда девать. Пожгли села... Такая ситуация, брат. Мы с тобой, считай, двое мужчин в строю, на всю окрестность. Так что прошу тебя, сынок, берись за дело, организовывай школу. Больше некому.

Саша горестно подумал: «Все! Отвоевался! Усы не брил, а уже инвалид. В тыл тебя списывают!..» Вспомнил, как берег в землянке, прятал под нарами автомат, мины, детонаторы, все то, что тащил на себе от станции, тащил одной рукой, потому что в другую был ранен. Думал, что пойдет с товарищами на боевое задание. Не пошел, не смог. Прибинтовали его на всю весну к голым доскам. Что ж, автомат сдал, придется вооружаться мелом и деревянной указкой.

4

Школа на квартирах, фронтовая школа...

Прошло ни мало ни много тридцать лет, а Саше, то есть Александру Ивановичу, порой кажется, что все это было недавно, было вчера.

Тесная приземистая крестьянская хата. Душно и темновато в ней, всего одно окно — и то запотевшее. Горит в печи огонь, хозяйка готовит обед, а дети-школьники учатся. Парт нет, вместо них стоят деревянные «козлики». Сбитые из грубых нетесаных досок, укрепленные на раскосых ножках — две планки накрест. За «козликами» ученики сидят по четверо.

Класс у Александра Ивановича смешанный. Здесь и малыши, которые совсем еще не ходили в школу (выросли они в лесу, в куренях беженцев); здесь и переростки, которые еще до войны учились в школе, а потом — три года скитались в лесах и по чужим селам. Старшие записались в разные классы: одни во второй (те, что забыли грамоту), другие — в третий, а кто посмелее — и в пятый. Однако все они, малыши и переростки, сидят вместе. Вон Павлик Гриб — у него под носом начал пробиваться светлый пушок — не отпускает от себя младшую сестричку. Так ему приказала мать, он и держит ее, маленькую и редкозубую, рядом с собой, сердито одергивая: «Цыц! Сиди!.. Еще чего захотела, потерпишь...» После того как Павлик с сестрой чуть было не затерялся в оцепленном фашистами лесу и ночью, сквозь немецкое окружение, кто знает как пробрался с малышкой через глухие болотистые места в соседний район, мать боялась за детей, не хотела отдавать их в школу, просила директора: смотрите, не отпускайте их далеко от себя.

А долговязый парень-директор, не намного старше кое-кого из своих учеников, стоит сейчас возле дверей. Эти тяжелые, обгоревшие двери ребята притащили с пепелища, и они служат вместо классной доски. Кусочком мела Александр Иванович пишет на двери теорему, доказывает скорее себе, чем детям, что квадрат одного катета плюс квадрат другого катета равняется, если не напутал старик Пифагор, квадрату гипотенузы. Он пишет левой рукой, буквы ложатся косо (мел рассыпается, и весь пол под ногами белый), а на правой руке старая рана под повязкой зудит, мелкие острые осколки его раздражают, хочется разорвать бинт и чем-то их вытащить.

На него смотрят суровые детские глаза — большие, влажные, голодные. Класс словно вымер, даже не слышно, чтоб кто-то пошевелился или перевел дыхание. Все внимание детей — на доску.

Идет урок математики, истории или литературы — дети все вместе.

Здесь же, недалеко от парт, горит вовсю огонь в печи, шипит вода в чугуне, и возле огня хлопочет тетя Мокрина, партизанская мать. Она разрешила всей школе заниматься у нее. Мокрина — небольшая приземистая женщина, до самых глаз повязанная платком, все лицо ее покрыто тоненькими золотистыми морщинами. Несмотря на свои немолодые годы, она еще энергичная и подвижная. Со словами: «Извините, ребятки!» — гремит в печке рогачом, а потом тот рогач летает над головами учеников. Что-то приговаривая, она достает из печи черный чугун, и на всю хату разносится теплый сладкий запах вареной картошки. У голодного Александра Ивановича плывут куда-то катеты и гипотенуза, в струях пара пританцовывают стены, все путается в голове, и он только видит, как дети его поворачивают головы на тот чугун, с которого валит горячий пар. Пифагор и учитель забыты, детей не оторвешь теперь от сладкого крахмального запаха. А тетя Мокрина, обжигая себе пальцы, выхватывает из чугуна картошку, сваренную в мундире, фукает на нее, перекидывает с ладони на ладонь и дает детям. Она при этом что-то приговаривает, однако учитель ничего не слышит, он прислонился к двери, закрыл глаза, боясь только одного — чтоб не потерять сознание, не упасть здесь же, на глазах у детей, от постоянного недоедания.

Наконец и ему тетя Мокрина дает две картошки. От усталости закружилась голова, и он едва слышит веселую ее прибаутку: «Тепленьким, тепленьким согрей свою душу: кровь твоя не греет, стоишь весь белый как мел...» И в самом деле, пальцы у него холодные, и даже горячая картошка его не согревает.

Оторвавшись от теоремы про квадрат гипотенузы, дети немного поели хорошо сваренной картошки и снова за учебу.

А тете Мокрине даже и присесть некогда. Она берет миску и скорее за ширму, там у нее еще один квартирант. За печью, в глухом углу, за занавешенным рядном, тихонько стонет, просит воды тяжело больной партизан — ездовой Григорий. Ему всего двадцать

четыре года. Привезли его в Кривичи недавно, что-то нехорошо у него с легкими, попал в бок осколок, да к тому же еще и простудился зимой, когда партизаны прятались в болотах от карателей. Ему тяжело и скучно одному в темноте, за перегородкой, хочется курить, а тетя Мокрина сердится, не дает, говорит, ты и так весь желтый, как воск. От долгого лежания у него открылась рана на спине. Тетя поворачивает его на бок, чтоб теплой водой промыть рану, а он скрипит зубами, ругается.

Дети притихли за партами, сжались в комочки. Директор кивком головы указывает им на дверь: выйдите... подождите минутку.

Молча они выходят в сени. Постояли немного и тихо возвращаются в класс.

5

Школа эта была необычная.

Первое время учились только на слух. Учитель рассказывал — дети слушали. Дети рассказывали — учитель слушал. Если бы кто и захотел что-то записать, не было чем и на чем. Голые стены, ручонки на столе — ни книжки, ни листочка бумаги. Три года страшной оккупации... Крестьяне возвращались из леса оборванные, в лаптях из лыка, в рогожинах, придавленные неслыханным горем: крик детей, женщин, стариков, которых фашисты облили бензином и подожгли в колхозном амбаре, и до сих пор раздирал им душу. Возвратились они в сожженное село, застали одно пепелище, и не до грамоты было.

...Но детей отдали в школу.

«Как их учить? Где взять учебник или хотя бы плохонький конспект?» — вот что не давало покоя в те дни долговязому, бледному от недоедания Саше, то есть Александру Ивановичу. Он напрягал свою память и со страхом убеждался: Пунические войны, законы Бойля — Мариотта, чашелистики, условные рефлексы, проливы и архипелаги — все это едва вспоминалось. И таких учителей в селах было немало, поэтому их начали собирать в районе, учить, рассказывать и показывать почти на пальцах, как вести уроки, что конкретно преподавать по каждому предмету.

Представьте себе состояние человека, жаждущего передать свои знания: вот учитель торопится в село, к своим ученикам, его малыши и переростки уже стоят возле школы, ждут своего учителя, торопятся за ним в класс, внимательно слушают каждое сказанное им слово, стараются запомнить каждое правило арифметики или грамматики, если и не понимают всего сразу, то схватывают своей памятью — цепкой, жадной памятью детей, изголодавшихся и по хлебу, и по учебе.

Саша понимал: нужна бумага. Дети или совсем не умеют писать, или забыли грамоту за годы войны. А потом: сколько их можно учить на слух? Месяц, два, три... По себе Саша знал: пальцы иногда чешутся, хочется записать, сделать пометку, задержать на бумаге то, что прозвучало, и вот... ни пера, ни листика бумаги.

О книгах и говорить не приходится: некоторых учебников не было во всем районе, «конспект» передавался предметниками из уст в уста.

Когда Саша приезжал в район на методучебу, он заходил во все районные конторы — в финотдел, потребсоюз, на почту, выпрашивал там картон, старые бумажные мешки, а то и стопку старых, пожелтевших на солнце газет. Все складывал, связывал и с трепетом, как драгоценный товар, приносил в школу. (Рассказывал мне, как однажды его встретили в лесу два разбойника с ножами, ограбили, думали, что несет он и в самом деле какое-то добро, ибо узел у него был большой, и как они скверно ругались, когда высыпали на землю... целую кучу газетных обрезков. Хоть и напугался Саша, но потом всю дорогу злорадствовал: поживились разбойнички!)

Здесь же, в полутемной хате, они разложили на «козликах» бумагу и принялись за работу. Разрезали картон, разделили на кусочки газеты, распороли и разгладили рыжие, сделанные, видно, из соломы, бумажные мешки (кое-где торчали золотистые кусочки от пшеничных стебельков). А потом из того добра, из газет и картона, сшивали, клеили что-то наподобие блокнотов, школьных тетрадей.

Директор наблюдал, как работали дети: головы низко склонили над партами, тихо шуршит грубая сухая бумага, кто-то сосредоточенно посапывает в углу. А Павлик Гриб, высунув язык, шилом прокалывает дырки в плотном картоне; маленькая сестренка возле него притихла, не шелохнется, смотрит, как он шьет, личико белое и прозрачное от неподвижности. Девочки постарше собрались вместе, шепчутся, советуются, как лучше сшить нитками тетрадь, и только сделают одну, сразу же кладут на парту, всем подряд, начиная с первого ряда. Директор тайком поглядывал на их руки, а руки были худенькие, бледноватые, с синими прожилками, смотрел, как детские пальцы быстро и привычно все делают, и думал с гордостью про себя и своих земляков: «Этот народ нельзя убить. Этот народ все переживет, даже самое страшное...»

6

Он часто вспоминал лесной лагерь, где пряталась и его мать с малыми ребятишками. Гнилое урочище, овраг, старые, поросшие мхом обвалы. Сюда по одному, по двое приходили те, кто убежал из-под огня, кто спасся от фашистских автоматчиков.

Первые дни — самые страшные... Казалось, люди не выживут, погибнут в болоте. И зима приближалась. Сначала спали на листьях, из-под которых проступала вода. Мерзли, просыпались от холода, жались друг к другу. Однажды мать встала на рассвете, почувствовала, что спина одеревенела совсем; протянула руку, чтоб укрыть двухлетнюю дочку, и от испуга вскрикнула: змея лежала у малышки на груди! Пригрелась, выползла, наверное, изподо мха.

Женщины вставали с мокрой холодной постели, местами покрывавшейся ночью изморозью, и терпеливо принимались за свой нелегкий труд. Надо побыстрее обогреть и чем-то накормить детей, особенно самых маленьких, таких беспомощных и беззащитных. Они мучились и страдали больше всего.

Лес и раньше давал им огонь, тепло, приносил грибы и ягоды, лечил кореньями и травами. А теперь он стал единственным защитником от смерти и единственной надеждой — выжить. Люди быстро привыкали к суровой полуокопной жизни. Даже дети ничем не отличались от взрослых.

В холодные военные зимы ребята научились плести корзины, а из тонких лубков — коробки. Выстругивали простенькие лыжи, мастерили санки, не для катания, конечно, а для того чтоб привезти дров, воды, торфа (торфом обкладывали и утепляли землянки). Научились вырезать из дерева ложки, ручки для ножей, пуговички (деревянные пуговицы Александр Иванович видел и сейчас кое у кого на обгоревших пальтишках). Мальчишки постарше мастерили себе самопалы, был у них большой запас самодельных железных крючков, петель, пружинных ловушек; все это ставили потом на рыбу и на мелкую лесную дичь.

В лагере можно было наблюдать такую картину: выкопав ямку, сидит возле шалаша мальчишка, словно гномик-дедок. Огромная шапка-ушанка закрывает ему глаза, рукава высоко завернуты и все равно длинные. «Дедок», как видно, замерз, окоченел от холода, подтягивает прозрачные капельки под носом, сосредоточенно, как-то по-стариковски что-то стругает, что-то вырезает самодельным ножом. Он делает что-то очень необходимое для хозяйства — кухонную деревянную лопатку, кружок-подставку, колодочку для топорика. Этому «дедку» не больше восьми-десяти лет.

...Морозы стояли суровые. Саша, притащив вязанку хворосту в курень, разжигал огонь в земляной печке и, сидя у огня, подолгу размышлял о войне и о народном горе. Война и народное горе, которое он видел, всколыхнули людей, вселили в них новые силы. «Кто б подумал, что во мне, что у наших людей,— рассуждал он,— так много от пращуров-лесовиков, столько дремало в душе скрытых привычек, терпеливости, знаний, накопленных еще нашими предками, так глубоко переплелось новое, советское, с тем далеким, прошлым. Взять хотя бы эту близость к лесу, к природе, а вместе с тем такая уверенность, такое непоколебимое чувство: мы не одни здесь, в лесных завалах, с нами — вся наша страна — от Урала и до Амура. И возмездие врагу наступит, и будет оно беспощадным!»

Когда с группой подрывников Саша шел на задание к железнодорожной станции, он брал с собой только самое необходимое: трут и кресало — в карман, автомат — за плечо. Трут и кресало сделал ему дед Шапутько, старый и седой как лунь, до войны был самым лучшим столяром в колхозе. Новый автомат с клеймом Тульского завода вручил ему перед строем комиссар Гордеичев. И когда в вспышке молний среди ночи летели под откос фашист-

ские поезда, Саша прыгал в канаву (а вокруг падали, глухо ударяя о землю, тяжелые мерзлые шпалы и обломки рельсов с железнодорожного полотна), он тогда, торжествуя, говорил: «Ага, это вам гостинчик, выродки!.. От меня и от всех белорусов!»

...В новой хате, в нарядном костюме, в белой рубашке сидел учитель и вспоминал трагическое прошлое. Рассказывал о детях, живших в партизанском лесу, которые бесстрашно, словно зверюшки, могли пройти везде: по болотам, кабаньим логовам, по диким зарослям, разыскивая себе еду и не боясь опасностей, а я слушал и думал: «Так вот оно откуда началось!..»

Косые вечерние лучи мягко золотили окна в школе, когда мы с директором зашли в кабинет ботаники. «Посмотри, у нас неплохие гербарии»,— показал на стены Александр Иванович. «Неплохие гербарии» — скромно сказано. Гербарии были большие и просто прекрасные для восьмилетней школы. Крепкие листы картона на полстены, и на них, словно живые, и цветы, и травы — все богатство полесской флоры. Растения собраны и наклеены с большой любовью, вот они — белые пучки корней, плотные стебельки, аккуратно засушенные и раскрытые листья, чашечки цветов, в которых сохранилась даже желтая пыльца. От гербария слегка пахло горьковатым ароматом трав — так пахнет в конце лета хрупкий, выстоянный на горячем солнце чебрец.

Можно было бы долго ходить по кабинету ботаники, рассматривая то одну живую картину, то другую, но на столе уже выросла порядочная стопка проштемпелеванных почтовых конвертов (директор не мог не показать их), и я с удивлением читал и рассматривал адреса людей, которые пишут детям в школу. Омск, Сахалин, Карелия, Днепропетровск, Душанбе... В маленькую лесную школу приходят письма с самых далеких аулов, районных центров, станций. Пишут больные женщины, пишут летчики, пенсионеры, бухгалтера, железнодорожники, просят детей выслать им сушеной ромашки, можжевельника, березовых почек, шалфею, адамова корня, а больше всего — очень популярной сейчас облепихи. Секрет переписки, как я понял, очень простой: в одной центральной газете была напечатана небольшая заметка о том, что Кривичанская школа на Полесье собирает, сушит и сдает в аптеку много лекарственных трав. Каждый год она занимает первое место в области по собиранию трав и даже имеет благодарность от Министерства здравоохранения. Это сообщение сразу нашло отклик в человеческих сердцах; поэтому ничего нет удивительного в том, что в неизвестную прежде сельскую школу сразу стали поступать письма со всех концов страны.

Александр Иванович, перебирая старую почту, рассказывает, с кем они переписываются пятый год, с кем седьмой. Старая башкирка из города Салавата (она называет учеников «мои дорогие сыночки и доченьки») пишет, что полесские травы, а еще больше любовь и забота белорусских детей помогли ей вылечиться (у нее отекали руки), вернули ее, старую женщину, к жизни. Гидролог с

острова Диксона в знак благодарности за посылки с травами прислал детям в школу... большой клык моржа.

Директор тепло говорил о трудолюбивом Костусе, сыне лесника: больше всех он собирает лекарственных трав и кореньев, сам отправляет сверточки и на Восток, и на далекий Север. Из рассказов Александра Ивановича выходит, что и сад, и цветы в классах, и теплица, и гербарий — все это сделали дети, юные сябры[1] природы, как он говорит, сделали собственными руками. И только теперь я понял: с чего все началось. А началось все с куреней, с жестоких морозов, началось с долговязого парня-подрывника, который, вдоволь наголодавшись и вылечив свои раны, запомнил: этот лес, эти травы, эти мерзлые ягоды из-под снега спасали от смерти детей и партизан тогда, в те страшные холодные зимы.

7

Лесные гавроши. Они все знали и все умели делать в свои десять — двенадцать лет. Они были знахарями, были водовозами и няньками у своих маленьких братьев и сестер. Они знали множество маленьких секретов (где растет дикий чеснок и заячья капуста), по каким-то незаметным бугоркам на снегу угадывали, где лежат припрятанные зверем лесные орехи. Они знали даже, как вылечить себе руки от сухого лишая.

...Тетя Мокрина, что-то приговаривая, озабоченно хлопотала у печи, стонал Григорий за перегородкой, а у детей, как заметил учитель, немного оживились, повеселели глаза. Теперь у них лежали на партах-«козликах» — пускай и самодельные, пускай и собранные из грубой бумаги — школьные тетради. Задумались ученики над другим: а чем же писать?

Еще страна воевала с фашистами, еще нужны были фронту снаряды и самолеты, а в Карелии и в Сибири некоторые оборонные заводы переводили на изготовление учебников, тетрадей, карандашей, циркулей. В сожженную Белоруссию и на Украину уже мчались эшелоны, на вагонах которых было написано: учебники, принадлежности для школ... И когда еще — через пески, болота, взорванные мосты, глухие лесные дороги — привезут эти новенькие ручки и чернильницы в далекие белорусские Кривичи?!

Директор заметил: его ребята сгрудились, тихо перешептываются, передают друг другу маленькие пилочки, ножи, рашпили. Видно, что-то придумали.

До войны в Кривичах кое-кто прибивал стекла в окнах не гвоздями, а старыми, негодными иголками и ученическими перьями. Детишки покопались на пепелищах в селе и принесли полную коробку ржавых, жженых железок. И снова можно было видеть ту же картину, что когда-то в лесу: за «козликом» или

[1] **Сябры** — друзья *(бел.)*.

на завалинке сидит серьезный, словно старик, мальчишка-полещук (шапка у него нахлобучена аж до плеч) и что-то трет о кирпич. Это он поправляет ржавое перо...

Потом появились самодельные ручки — с деревянными палочками, к которым перо привязывали или прикручивали тонкой медной проволочкой, найденной на пожарищах. А вскоре появились на партах и чернильницы — из гильз, баночек, из дубовых желудей, слепленные и выжженные из глины. Маленькие алхимики изобрели и свои чернила. Их приготовляли из тертой сажи, из свеклы, калины, жженого кирпича, ягод бузины, луковичного отвара и еще кто знает из чего! Каждый приносил в школу какие-то свои чернила какого-то своего необыкновенного цвета. В тетрадях все пестрело серо-буро-малиновыми каракулями и кляксами.

Наконец настал день, когда ученики разложили перед собой тетради из газетных обрезков, и Александр Иванович, немного волнуясь, произнес:

— Дети! Сегодня напишем первый диктант...

Два десятка голов склонились над низенькими «козликами». Заскрипели тупые, широкие, исправленные перья. Надо было уметь писать такими замысловато сделанными ручками. Каждое перо не только скрипело и по-своему пело, но и царапало, рвало, ковыряло, драло бумагу. Александр Иванович понимал, что ребятам трудно писать, поэтому диктовал по слогам, не торопился, ходил между рядами и поправлял худые, упрямые, грязные кулачки, которые кое-как лепили свои корявые буквы, особенно такие сложные, как «ж», «ш», как прописная «д» с хитрыми спиральками-завитками. И, вытянув шею, малыши старательно выводили строку за строкой в своих самодельных тетрадях.

Первый диктант назывался (директор и до сих пор его помнит): «Весеннее утро в лесу»...

...Был в отряде подрывник, прислали его из штаба как специалиста по детонаторам. Лысый, немолодой мужчина, лет за сорок ему; всю жизнь он просидел в лаборатории, возле своих пробирок и реактивов, был добрый, как ребенок, наивный и беспомощный. Он страшно страдал из-за незнания леса, блуждал между тремя соснами, часто отравлялся: пил не там, где надо, и не ту воду. Он проклинал лес, говорил, что это пекло, змеиное гнездо, что здесь если не придавит тебя дерево, то сам провалишься в мох, утонешь в трясине. И в самом деле, он погиб как-то глупо: в бою подвернул ногу (зацепился за пенек), упал — и его догнали каратели, убили.

Сам из лесных гаврошей, Александр Иванович больше всего хотел, чтоб и эти дети, которые вырастают в укромных уголках своих хат, знали и любили пущу, чтоб лес для них был не змеиным гнездом, а грибным, ягодным царством, белым березовым другом. Другом, который, если надо, накормит и защитит тебя в трудную минуту.

Это была необычная школа, и дети здесь учились необычные.

Каждое утро, поздоровавшись с учениками, Александр Иванович бросал взгляд в дальний угол, туда, где сидела Варя. Он боялся за нее, а вдруг она бросит школу. Эту русоволосую, болезненно бледную девочку учитель сразу посадил возле ширмы, в угол потемнее, подальше от огня. Варя лицо закрывала платком: руки и половина лица у нее были сильно обожжены. Она и сейчас не могла без страха смотреть на огонь, что пылал в печи.

Директор знал, что Варя чудом спаслась от смерти: она чуть не сгорела в последнее лето оккупации, когда люди из леса осторожно пробирались в уничтоженное фашистами село, к своим огородам, чтоб бросить в землю хоть какую-нибудь картофелину. На Полесье, где пески и гнилое болото, приходилось годами удобрять землю, чтоб она хоть немного давала урожай. Ради картошки, ради детей люди тащились на выгоревшее, проклятое место, где столько перенесли горя. Здесь же, на огородах, оглядываясь и прячась по бурьянам, они копали землянки, прикрывали их ботвой, маскировали ветками. В теплые летние ночи иногда оставались ночевать на огородах, одни или с детьми. Фашисты, по-видимому, наблюдали за селом и заметили, как возвращаются домой оставшиеся в живых партизанские семьи. Они давали возможность кривичанам привыкнуть к тишине, успокоиться. А потом бросались на огороды, производили облавы, еще ожесточеннее прежних, как правило, под утро, когда начинало только рассветать и люди крепко спали. Шли цепочкой. Керосином обливали землянки и поджигали... Варя сгорела бы в тот раз вместе с матерью, но в их землянке была ниша, вроде бокового погребка, выкопанного специально для картошки. В последний момент, когда топот, ругань, звон ведра или канистры пронесся у них над головой,— мать быстро, в отчаянии, онемевшими руками толкнула девочку в боковой погребок, закрыла своей спиной, своим телом. Девочка задыхалась от дыма, потеряла сознание, но осталась жива. На другой или на третий день она выбралась из-под тела матери.

Александр Иванович не вызывал Варю к доске, не спрашивал ее при детях, видел, как она страдает, как прячет руки, как сводит ей рот, когда она пытается что-то сказать. Он подсаживался к ней на перемене, проверял ее тетради, хвалил ее, говорил — золотые у нее руки, так красиво и чисто она пишет. Он смотрел на ее обожженное лицо и с любовью, с болью и лаской говорил: «Ничего, Варя, все у тебя пройдет. Все заживет, ты сильная, умная девочка, ты будешь счастлива, и я еще побываю у тебя на свадьбе, вот увидишь». Но случилось так, что только в Гомеле, лет через двадцать, неожиданно встретил на улице, среди пешеходов, молодую, красивую женщину с небольшим следом ожога на лице. Женщина узнала своего учителя. Расталкивая прохожих, она подбежала к нему, обняла, а затем, уткнувшись лицом в грудь, дала волю слезам. Задыхаясь от нахлынувших чувств, она произнесла: «Спасибо вам, Александр Иванович! Большое спасибо. Вы сами

не знаете, что вы сделали для меня... Я теперь учительница, у меня есть дети — две хорошенькие дочурки...»

Недалеко от Вари сидел Костя — переросток. Как и все партизанские дети, он три года не ходил в школу, сейчас учился во втором классе, хотя был ростом по самое плечо директору. Костя часто садился возле окна, подставлял солнцу свое бледное, морщинистое, с темным пушком лицо и о чем-то долго думал. Думал или, может, просто дремал. А учитель неожиданно останавливался, мысли путались, что-то мешало ему говорить, и осколки еще больше давали знать о себе в раненой правой руке. Александр Иванович спрашивал себя: «Кто бы мог подумать?.. Ну вот зашел бы посторонний человек, не кривичанин, никогда бы не поверил, что этот мальчик, подросток, своими руками... задушил раскормленную немецкую овчарку... Тогда, в одну из облав на огородах, в соснячке у леса. И сам упал возле пса ни живой ни мертвый, с клубком шерсти в руках...» Сейчас Костя долго смотрел в окно, только изредка, словно во сне, резко двигал плечом. Что он видел за окном, кто знает...

А Павлик Гриб с маленькой кнопочкой-сестренкой, с которой нянчился с пеленок? (На ней была длинная, до пят, фуфайка и такие же бездонные мужские валенки: в одном таком валенке она могла спрятаться вся с головой.) Когда второй раз фашисты жгли село, они вдвоем, убегая от пожара и стрельбы, потеряли своих и забрели в глухие чащи. В холодный осенний дождь, голодные, в одних рубашечках, надетых впопыхах, они целую неделю бродили в глуши по болотам, по лесным урочищам, прятались от полицаев и фашистов, пока в соседнем районе, за сорок километров от своего села, не напали случайно — уже совсем обессиленные — на отряд партизан...

Этих детей не надо было приглашать в школу. Они сами приходили сюда — за час, а то и раньше, группками стояли во дворе, переминаясь с ноги на ногу, с нетерпением посматривая на окна, пока не выходила тетя Мокрина и не приглашала: «Да заходите, заходите же, мои погорельцы, погреетесь возле печи, а то вы совсем окоченеете на ветру».

Тетя открывала дверь и впускала их в хату, а потом угощала каждого горячим картофельным оладушком, приговаривая, что от таких оладушков душа у человека добреет и тает как воск. Чтоб хоть на время забыть о пережитом, дети бежали в школу, в свой тесный класс послушать Александра Ивановича, который щедро рассказывал и про комбрига Котовского, и про большой Днепрогэс, и про московское метро с подземными чудо-дворцами и лестницами-чудесницами, и дети оживали на уроках, каждый чувствовал сердцем, что есть на свете великая советская земля и есть на советской земле красивые, не сожженные врагом города, а в тех городах — счастливая жизнь, с магазинами, с песнями под патефон, как было и у них до войны, и что та большая жизнь непременно вернется к ним, в уничтоженное фашистами село...

Стенных ходиков, а тем более каких-нибудь стоящих часов в школе еще не приобрели (да, наверное, их не было и во всем селе, люди жили по солнцу), и Александр Иванович вел урок, как ему подсказывала душа: не долго и не коротко, так, чтобы не особенно уставали дети. Когда он видел, что кое-кто из учеников начинал сладко зевать, пригревшись возле теплой печи, он тогда говорил:

— Ну, ребятишки, перемена! Айда на улицу.

Ученики без шума, потихоньку выходили во двор. Все были какие-то вялые, сонные, словно недавно проснулись от зимней спячки, и не бежали играть. Немного постояв в затишье, они усаживались на завалинке, грелись на солнышке и вскоре начинали дремать. Тетя Мокрина сначала побаивалась, что ее квартиранты (дети есть дети, думала она) полезут на огород, за полы их не удержишь, и, смотришь, вытопчут ее грядки, где так хорошо взошли и первый лук, и первая редиска. Хозяйничая возле печи, она подбегала к окну, тайком посматривала во двор. И удивлялась: что это за дети, что с ними сделала война? Ни шуму, ни смеха, ни беготни, от которой содрогалась когда-то школа. Стоят, словно сироты. Или сгрудятся у боковой стены, греются. Нет, такие квартиранты на огород не полезут, тетя сама в этом убедилась. Они еще с землянок знают, что такое картошка. Они с молоком матери познали: ходи осторожно, тропинкой, не трогай то, что взошло: это наш хлеб, это наша жизнь.

Если и выходили дети куда-нибудь, так это на выгон, за ворота, и там бродили небольшими группками. Как голодные гуси, выщипывали весеннюю зеленую траву. Искали козлобородники, молочай, одуванчики, собирали молодые, покрытые росой листья щавеля.

В школу не раз приезжал на двуколке Гордеичев, председатель сельсовета. Черные усы у него словно полиняли и грустно обвисли, щеки совсем запали, он только качал головой и говорил Саше, своему подрывнику: разруха, тяжелая, брат, разруха в колхозе — все пожгли фашисты. Ни плуга, ни бороны в хозяйстве нет, стыдно признаться — посылает он женщин в чужие села, чтоб одолжить семена для посева и посадки. Весна же, время сеять и сажать, фронту, фронту нужен хлеб!

Гордеичев расспрашивал про школу, про ребят, не нужно ли еще подвезти дровишек, отзывал в сторону Мокрину и, сурово глядя ей в глаза, говорил: мол, не успокаивайте меня, честно скажите, что с Григорием, долго ли он будет еще мучиться от ран... Тетя Мокрина стояла возле ворот, такая маленькая, спрятав руки под передник, грустно отвечала и что-то переспрашивала, а с луга тянуло теплым ветром, и относило ее слова куда-то вдаль. Потом Гордеичев, повозившись в сене, которое лежало в двуколке, достал оттуда кошелку с картошкой и подал хозяйке. «Пеки, Мокрина, подкармливай наших детей. Беречь их надо, видишь — не-

много осталось, одна малость возвратилась из леса. А было ж сколько!.. В каждой хате улей... и у меня восьмеро». Гордеичев неожиданно умолк, провел кулаком по сухой щетине, сгорбился и уехал, чтоб никто не видел, как горькая гримаса исказила его лицо.

А дня через два Гордеичев снова приехал в школу. Его никогда не видели таким веселым. Он сам окликнул детей, игравших на лугу, помахал им рукой: сюда идите, да побыстрее, привез американские подарки, передали для вас из области! Дети накинулись на яркие пакеты, глазенки горели от радости: такого чуда, в таких золотых и серебряных обертках они еще никогда не имели в жизни! Знал ли Гордеичев, что через эти ленд-лизовские подарки ему стыдно будет показываться детям на глаза... Раскрывая золотые и серебряные пакеты, истощенные войной кривичанские дети — уже потом, в классе, доставали себе гостинцы: порошки для дезинфекции воды, жевательную резинку, зубную пасту, крем для загара, только в некоторых, поскромнее оформленных, было что-то пригодное для еды, а именно: консервированные галеты, которые походили на брусочки темного желатина или на брикетики сухого торфа, без вкуса и запаха.

«Какие негодяи!» — не мог успокоиться Гордеичев, подкручивал черные усы, ругался, обиженный за детей. — Нас водили за нос сколько времени со вторым фронтом, а детям... а детям всучили как будто для насмешки!»

Словом, отпустить учеников на перемену было нетрудно. А вот пригласить в класс... Директор ходил вокруг дома, звал и собирал их так, как собирает хозяйка маленьких цыплят, забравшихся куда-то в траву.

Однажды во время урока Александр Иванович погоревал об этом вслух и обратился ко всем:

— Где бы нам, дети, найти колокольчик? Плохо без него. Да что это за школа, скажем прямо, если не слышно в ней звонка, правда?

Класс молчал. Ребята задумались: а где же его взять? Тетя Мокрина вытащила из печи большой чугун с водой, она собиралась помыть больного партизана. А Григорию было плохо, знобило, лихорадило, и он шутя отозвался из-за перегородки:

— Зачем вам тот колокольчик? Я вам буду зубами вызванивать, слышите, как меня трясет и колотит?

Григорию становилось все хуже, дети об этом знали и еще больше приуныли.

Молчали.

А потом встал из-за «козлика» Павлик Гриб, тот самый Павлик, что вдвоем с сестрой-малышкой, как вы уже знаете, забрел осенними лесами кто знает в какие края, аж на Гомельщину.

— У нас дома есть колокольчик,— еле слышно произнес Пав-

лик и сразу покраснел. — Только он, Александр Иванович, не человеческий, а конский.

— Какой, какой, Павлик?

— Ну такой... Конский, — смущенно повторил мальчик. — Еще от деда Филона остался. Я его на своего Буянчика вешал.

— Принеси, посмотрим, — скрыто улыбнулся учитель и не стал расспрашивать мальчика ни про деда Филона, ни про его Буянчика.

Павлик быстро сбегал домой и влетел в класс разгоряченный от ветра и, едва переводя дыхание, выпалил: «Вот!» — и подал Александру Ивановичу на ладони что-то бугорчатое, словно живое, похожее на воробья. Всем своим видом Павлик как бы говорил: берите, только осторожно, а то штучка такая, что может вылететь в окно!

Директор взял. Это был старый, небольшого размера колокольчик, медный, густо покрытый зеленоватой ржавчиной. По-видимому, он долго лежал в земле.

— Где ты его взял? — спросил учитель.

И понял: напрасно спросил, мог бы сдержаться, не оттолкнуть мальчика, а то Павлик сразу сник, вспомнил, наверное, пережитое, у него даже лицо покрылось темными пятнами... Дней через пять на уроке, когда дети рассказывали о своей жизни в лесу, поднялся и Павлик. Он твердо (такая привычка была у него) оперся обеими руками о стол, как опирается мужик о подводу или о подоконник, опустил голову и тихо, словно сам с собою, заговорил. Заговорил о самом страшном для всех них.

...Он слышал: машины едут по улице, все вокруг горит — соседние дворы, сараи, сено; в хате у них светло стало, как днем, мать носится из угла в угол, тихо охает, не знает, что брать с собой. «Аня, одевайся!» — крикнула она дочери, сестре Павлика (той, с которой он блуждал в лесу). А маленькая девочка, перепуганная криками, доносившимися с улицы, и заревом пожара, стояла в кроватке, потом набросила на себя подушки, притихла и, выглянув в маленькую щелочку, сказала:

— Ма-а! Я уже спряталась. Немцы меня тут не найдут.

Эти наивные детские слова потом передавались из уст в уста в лесу, как горькая шутка.

Доносились грубые голоса и команды, фашисты выгоняли на улицу скот, запирали хаты и сараи, поджигали все.

Павлик выпрыгнул в окно. (Уже потом, в лесу, он осмотрел себя: на голое тело накинул пиджак, а ноги босые, поцарапал их до крови, подошвы огнем горят.) Сначала он бросился к сараю, хотел отвязать Буянчика, своего коня-двухлетка, веселого, тонконогого, с мягкой и длинной серебристо-серой гривой. Лошак приблудился к селу. Павлик поймал его за сожженным хутором, привел домой и все лето ухаживал за ним, прятал от немцев. Лошаки, как правило, горячие, норовистые, не подпускают к себе мальчишек, которые любят покататься верхом. Но Буян был добрый и спокойный, он давал себя взнуздать, любил мягкими губами ловить и обфырки-

вать ухо Павлику, и Павлик не раз убегал на своем молодом коне от полицаев, от ночных облав.

Павлик стремглав бросился к сараю, толкнул дверь, но мать, как на грех, закрыла сарай болтом. (Она уже выскочила из хаты, в одной руке держала подушку, в другой — девочку. Кроме подушки, ничего не сообразила взять. Не захватила даже сандалии для малышки, потом ругала себя в курене. Огородом, через сухие початки кукурузы побежала мать к лесу, прижимая к груди онемевшую от страха дочку, льняная белая сорочка на матери была далеко видна; фашист, заметив ее, вдогонку послал длинную автоматную очередь.) А Павлик бил ногой в дверь, дергал болт, кровь сочилась из разбитого пальца, и чуткий Буян отозвался в сарае, тревожно фыркал и стучал копытом об пол: дым и зарево горячили молодого коня.

— Где ключ? Ну где ключ? Куда она его положила? — плакал и дергал за болт Павлик.

Он услышал, как, буксуя в глубоком песке, подъехала машина к их двору. Мотор глухо рявкнул и стих, фары осветили стены, фашисты ударили прикладами по деревянным воротам — затрещали доски.

И тогда, долго не раздумывая, Павлик бросился в огород, пополз к канаве, к красноталу и ивняку.

Пробежал далековато, оглянулся. Возле старой липы, где находился их двор, бушевало пламя. Горела хата и сарай, огонь двумя языками подымался в холодное ночное небо. И вдруг мальчишка замер. Он услышал в пламени пожара жалобное, полное отчаяния и боли ржание Буяна. Смертельный, словно человеческий, голос раздирал ночную темноту. Конь звал к себе — спасти, помочь, освободить его от адской пучины огня.

Павлик заметался на месте. Его самого словно обдало жаром. Он не знал, куда ему бежать: назад, к Буяну, или дальше, в лес, к партизанам?

Вокруг свистели пули, а он плакал, перебегая от куста к кусту, с ужасом смотрел на огонь и шептал сквозь слезы: «Гады... Гады... зачем же вы коника мучаете!»

Проходили дни, месяцы в лагере, а Павлик не мог забыть Буяна, просыпался мокрый от сильной испарины. Среди ночи его будил один и тот же голос: далекое, приглушенное расстоянием, предсмертное ржание коня. Мальчик молча смотрел в темноту и за стеной осенней чащи видел, как посреди огня, привязанный к желобу, бьется один с пламенем, с дымом, с обрушенным на него бревном его верный и добрый Буян. Это они — эти грязно-зеленые, ненавистные чудовища в касках, эти бесчеловечные пришельцы-убийцы, превратившие все в кровь и пепел... Как их ненавидел Павлик! Он упрашивал комиссара отряда: «Дайте и мне автомат, дайте, я буду мстить!»

9

— Вот этот колокольчик. Моего Буянчика,— сказал Павлик, подавая директору свою находку, которую откопал на пожарище, там, где когда-то находился их деревянный сарай.

Из-под Павликова рукава выглядывала маленькая и остроглазая сестренка. Девочка тоже хотела что-то сказать, но Павлик одернул ее, сурово повел бровями «цыц!» и заговорил сам, негромко, глядя не на класс, а на парту:

— Ну вот... тогда, до пожара, я вешал колокольчик на своего Буяна. Пускал его в лес и не боялся, что он заблудится. Он пасется, а я лежу на траве и слушаю. Далеко он забирался в глушь, а мне все равно слышно: ходит конь, а колокольчик слегка ударяется о его грудь (я повесил колокольчик на длинный шнурок) и тонко вызванивал: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Словно маленький птенчик отзывался из чащи. Вот, возьмите, Александр Иванович. Может, пригодится...

Александр Иванович взял колокольчик, тихо зазвонил над своим ухом и улыбнулся: хорошо звонит! Голосок серебристый, чистый. Так поет весной в лесу маленькая серенькая птичка. Нетрудно представить себе это мгновение: мир, тишина вокруг.

Лежит себе мальчик в траве, руки заложены под голову и слушает, слушает, как шумит лес, как мирно пофыркивает конь за деревьями и издалека доносится: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь...

— Дорогие мои гавроши, мои погорельцы! — глядя на ребят, заговорил директор, охваченный каким-то щемящим чувством; он сам легко ранимый душой и не намного старше своих воспитанников. — Вот что я хочу вам сказать. Детства я не видел. Сгорело оно, с перебитой рукой оно, с осколками гранат оно, и эти проклятые осколки вылезают через кожу, не дают спать ночью. Да знаете, что бы я хотел, всем сердцем хотел бы? Чтоб к тебе, Варя, и к тебе, Павлик, и к тебе, Костя, чтоб ко всем вам, ребята, возвратилось хоть немного детства, нашего простого крестьянского детства — с лугом, теплой речкой, с веселыми походами по грибы. Еще не поздно вам.

Вот война скоро закончится, и пускай для вас раскроется лес, только уже без сырых бревен и тяжелых связок дров, которые до крови режут плечи, а просто чтоб вы забрели на полянку, легли на траву и слушали, завороженно слушали — каждый свой колокольчик. Вот что я хочу для вас, мои дорогие гавроши!

10

Два года находилась школа на квартире. От тети Мокрины, которая гоняла рогач над их головами и угощала детей на уроках печеной картошкой, оладьями, березовым квасом и которая вылечила больного Григория (он стал бухгалтером в колхозе), ученики перебрались в хату посвободнее, а потом кривичане всем колхозом построили небольшую деревянную хату, всего на два класса,

где расположилась школа. А тем временем в центре села возводилось новое капитальное здание — будущая школа. Уже появился сторож-завхоз, великий философ и хозяйственник дядя Петя. Он говорил, как бог, и при этом стучал своим прокуренным пальцем вам в лоб. «Главное что? — произносил он сурово. — Главное — иметь свое соображение жизни в голове». Дядя поехал в Гомель и там купил две необходимые для школы вещи: бачок для воды и иовый колокольчик, бачок понравился всем, дети подбегали к нему иа перемене и не столько пили, сколько разливали воду, смотрели, как бьет веселый светлый фонтанчик.

А вот новый колокольчик...

Директор взял его в руки, слегка позвонил и сморщился: нет, не тот голос, какой-то писклявый.

Потом дядя Петя привел в школу молодых энергичных монтеров, и они установили новые электрические звонки во всех коридорах. Теперь в учительской нажимали кнопку — и сухое дребезжание проносилось под сводами школы, точно и строго по часам объявляя перемену.

Дядя Петя победил. Ои при всех, в той же учительской, взял старый колокольчик и уже было собрался его выбросить.

— Петр Петрович! — остановил его Александр Иванович. — Зачем вы? Не надо. Это наша реликвия. Очень памятная вещь — для меия и для наших первых воспитанников. Прошу вас, поставьте его иа место.

Старый обгоревший колокольчик поставили в шкаф за стекло. Прошло уже тридцать лет, а традиция не нарушается: первого сентября и в мае, в начале и в конце учебного года, выносят во двор столик, покрывают его красной скатертью и тогда... Тогда над школой проносится голос медного, немного погнутого и выщербленного ветерана-колокольчика, который горел в огне войны и не сгорел, сберегся сам в земле и сберег свой чистый звонкий голос.

Наступают сумерки. Я пришел сюда, чтоб проститься со школой. Длинный коридор, эхом отдаются шаги; тихо и безлюдно. Только в глубине тускло горит электрическая лампочка. Я иду туда, чтобы еще раз постоять в краеведческом уголке. В который раз перечитываю слова, с такой любовью написанные детской рукой: «В сентябре 1931 года в нашем селе Кривичи был организован колхоз «Пионер». Первым председателем колхоза был...» И тут мое горло сжимают спазмы, слезы радости и боли застревают комком, мурашки пробегают по телу. Отец... Мой отец... Он лежит сейчас в степи, на юге Кировоградщины. Маленькое сельское кладбище, скромный обелиск и надпись: «Участнику гражданской войны». Думал ли он перед смертью, что там, на Полесье, в его родном селе, не забыли его, помнят, вспоминают на уроках в школе вот уже полстолетия.

...«Кали б не было на свете древцев, иичего б иа земле не расло», — так мудро и певуче отвечали девочки на уроке ботаники.

И вдруг директор встал и спросил: «А кто, мои дорогие сябры, вместе с вашими дедами боролся против кулаков в нашем селе и стал первым председателем колхоза?»

Те же мелодичные голосочки, что так мило и звонко произносили слова: зя-зюль-ки, птушки, кветки, назвали почти хором отцово имя.

Это потрясло меня, растревожило до слез.

И тогда на уроке подумал я: как глубоко все переплелось в нашей жизни!

Молодой полесский парень, лесоруб, он становится конногвардейцем Красной Армии, воюет на Южном фронте против Деникина и где-то под Лозовою, в селе Михайловском, знакомится на постое с худенькой, чернявой, как цыганочка, батрачкой-украинкой. Огонь любви в юных сердцах, несколько вечеров — на двоих — под летними звездами, а потом бои, и молодой, исступленный в отчаянии конник спасает свою девушку-судьбу от белогвардейской расправы, верхом на коне выхватывает ее из окружения. А потом новые бои, вдвоем проходят они Южным фронтом к Перекопу, с полей гражданской возвращаются поездом в родное село на Полесье. И там недавний фронтовик, командир эскадрона борется с кулаками, создает крепкий колхоз в глухом лесном селе, а его супруга становится в том колхозе первой стахановкой. И снова их посылают на Украину, в голодные степи, где нужны крепкие руки и большевистское сердце, чтоб возродить сухую непаханую землю; они создают новое село с прекрасным названием — Владимировка, и растут у них дети, в свидетельствах которых записано, что старшие, которые родились в Кривичах,— белорусы, а младшие, родившиеся в степи,— украинцы...

Я стою в школе перед стендом, горит лампочка, мягко освещая выписанные детской рукой слова: «Первым... был...» За окном уже ночь, глухо шумит весенняя пуща, большие просторы раскинулись между степью и Полесьем. Но нет того угнетающего чувства, что ты забрел куда-то далеко, в чужой край. Здесь все до боли трогает, трогает памятью сердца, памятью крови, памятью моих родителей. Я думаю: давно, во времена древлян и кривичей, во времена степных моих предков, еще тогда так глубоко переплелись наши корни, наша общая судьба и наша история. В горе, в нашествиях, в пожарах мы были вместе, вместе с испокон веков и до сегодняшнего дня, наши песни и языки неразделимо переплелись, и наша общая советская судьба выколосилась на юге золотистой колхозной пшеницей, а на Полесье — яркими факелами над белорусской пущей.

Возвращаюсь домой, наполненный самыми святыми чувствами. Вспоминаю Сашу, вспоминаю его школу в хатах, вспоминаю историю обгоревшего колокольчика... Поезд стучит и стучит на стыках, прорезает светом весеннюю ночь, а я не могу забыть слова: зязюльки, кветки, малые древца...

Я везу тебе, отец, простенький подарок детей — веточку сосны. Из твоего синего березового края. С твоей и моей родины.

1976

НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ СИЛЫ ДОБРА

Нельзя забыть те годы, когда в украинскую литературу пришло новое поколение, которое и по сегодняшний день называют «шестидесятниками». В то время были широко известны и всенародно признаны наши выдающиеся писатели старшего поколения, чье творчество овеяно революционной романтикой Октября. Это Павло Тычина, Максим Рыльский, Петро Панч, Андрей Головко. Их традиции развивали представители среднего поколения — Андрей Малышко, Платон Воронько, Михайло Стельмах, Олесь Гончар. В полный голос заговорила муза и таких, непохожих друг на друга литераторов, как Дмитро Павлычко и Лина Костенко, Василь Земляк и Павло Загребельный, проложивших с годами свои глубоко индивидуальные борозды на общелитературном поле. И вот на таком фоне — яркая плеяда новых имен, совсем молодых талантов, которые сразу были замечены и читателями и критикой. Среди них — Микола Винграновский, Иван Драч, Борис Олейник, Виталий Коротич, Борис Нечерда, Роман Лубкивский, Григор Тютюнник, Юрий Щербак, Владимир Дрозд, Виктор Близнец, Валерий Шевчук, Микола Кравчук, Нина Бичуя, Владимир Яворивский...

Сегодня представители этой плеяды подошли или подходят к своему полувековому юбилею, волею времени они уже являются средним поколением, на плечи которого так много возложено и с которого так много спрашивают и литература и общество.

Это поколение талантливых мастеров — дети войны, для которых в ту далекую пору Великой Отечественной вечные философские проблемы жизни и смерти были совсем не абстрактны, а до боли осязаемы, реальны, повседневны: проблема жизни — вернулся твой отец или старший брат с фронта, пусть контуженый, пусть раненый, пусть на костылях; проблема смерти — сложил голову в концлагере, погиб под вражеским танком, умер в госпитале от ран.

«Дети войны» сохранили в памяти ее героические и драматические события. Минувшая война опалила их чувствительные души, навалившись тяжестью потерь и испытаний на юные сердца, ранит она и сегодня.

Писатель Виктор Близнец (1933—1981), который пережил в родном селе Владимировке Кировоградской области тяжелые месяцы фашистской оккупации, который радовался приходу Советской Армии — армии-освободительницы, который перенес суровые испытания послевоенной поры, представляется мне именно жертвой войны. Эта война ранила его чувствительную душу, подорвала здоровье, нагнала его уже в начале восьмидесятых годов и преждевременно вырвала из наших рядов.

Виктор Близнец в одной из своих статей («Дети войны и книги о них») писал: «Мне, можно сказать, повезло: я принадлежу к тому поколению, которому достался кусочек бесконечно радостного довоенного детства. Речушка, наши постоянные игры в «белых» и «красных», в войну, а в воскресенье — скачки на лошадях, раздолье в степи, где мы, мальчишки, скопом пасли колхозных лошадей. Но всю эту радость, как потом и множество событий жизни, заслоняет

одно — нашествие фашистов, война. Голод, мытарства, страх и боязнь расстрела. Три долгих года народных бедствий и страданий, три холодных зимы в оккупации, которые мне казались бесконечными. Вспоминаю: снег был тогда для меня не белый, а какой-то пепельно-черный, мрачный.

К этой теме — теме искалеченного войной детства — мои сверстники по перу будут обращаться в будущем не раз».

И не только возвращались и возвращаются, возвращался и он сам, Виктор Близнец. Опубликовав в 1963 году сборник рассказов для детей младшего школьного возраста «Ойойковое гнездо» (здесь он нарисовал беззаботный мир детства, которому присущи веселость и озорство, который воспринимает действительность в лирико-поэтической тональности, любит загадочность и сказочность бытия), он уже в самые ближайшие годы памятью своего сердца возвращается к отшумевшей войне.

В 1965 году появляется повесть «Паруса над степью», где в волшебный мир детства вторгается война. Вскоре писатель публикует повести «Землянка» (1966), «Молчун» (1971), «Старый колокольчик» (1976), «В ту холодную зиму, или Птица возмездия Симург» (1979). Юные герои этих произведений впечатлительны, они полны фантазии и живут в атмосфере чисто детских отношений — и одновременно исключительные условия всенародной борьбы с фашистскими захватчиками пробуждают в них высокие патриотические чувства, зовут совершать героические поступки.

Безусловно, среди произведений Виктора Близнеца о войне заметно выделяется повесть «Молчун». Написанная в сурово-реалистической манере, с хорошим знанием жизни оккупированного врагами украинского села, она привлекает драматизмом человеческих судеб. К повести «Молчун» полностью подходят такие слова автора выше упомянутой статьи «Дети войны и книги о них»: «Тяжело начиналось наше детство. Но и тяжелое, горькое, оно для нас самое дорогое. Скрывать, а тем более «ретушировать» правду нельзя: война — это кровь, это жестокость. Однако, как мне кажется, война не озлобила наши сердца. Нет, наоборот. Смертельное зарево, нависшее тогда над нами, разбудило в людях неисчерпаемые силы добра: чувство локтя, родства, готовности помочь человеку в беде. Только так можно было выстоять и выжить».

Неисчерпаемые силы добра... Эти силы добра Виктор Близнец носил в самом себе, и они не могли не продиктовать ему его отношения к жизни. Какой, оказывается, мощный заряд дал ему тот «кусочек бесконечно радостного довоенного детства». Этот кусочек напоминает магический кристалл, с помощью которого он стремился понять юных героев, родившихся после войны и знавших о войне лишь из рассказов отцов, из книжек и кинофильмов.

Поэтическая повесть «Звук паутинки» (1970) словно рождена «неисчерпаемыми силами добра» писательской души и не случайно посвящена «майским жукам, кузнечикам, летнему дождю, теплой неторопливой речушке с деревянными мостиками и кладками — самым удивительным чудесам на земле, которые мы открываем в детстве». Герой повести, маленький мальчик Леня, живет в глухой украинской деревеньке, без приятелей-сверстников, предоставленный самому себе. Леня — мечтатель, фантазер. Он добр, отзывчив, любит все живое и прекрасное. Все, что видит Леня вокруг, с чем сталкивается, преисполнено таинственности и оставляет в душе мальчика неизгладимый след.

Реальные и фантастические приключения ожидают героев повести «Женя и Синько» (1974), где изображена школа с некоторыми ее насущными проблемами.

Следует отметить ироничность стиля, юмористические нотки, которые придают и мягкий колорит и щедрое тепло объективно-конкретной фразе, одновременно сближая нас с героями повествования.

Достаточно широк и историко-тематический диапазон творчества Виктора Близнеца. Об этом свидетельствует не только знаменитая летопись «Повесть временных лет», которую прозаик перевел на современный украинский язык и которая была издана с прекрасными иллюстрациями художника Г. Якутовича к 1500-летию Киева. О широте историко-тематического диапазона писателя свидетельствуют, в частности, и произведения, составившие эту книгу.

«Подземные баррикады» — первый и единственный роман Виктора Близнеца. В основу его положены достоверные факты революционной борьбы рабочих города Николаева с царским самодержавием в 1908 году. Это своеобразное художественное произведение, в котором перед нами разворачивается широкая панорама борьбы рядовых рабочих юга царской России против капиталистического строя.

В повести «Древляне» охвачено значительное временно́е пространство — от предреволюционного времени, через революцию и гражданскую войну до Великой Отечественной войны. Здесь судьбы героев переплелись с судьбой народной, здесь бьет свежая струя романтического пафоса, здесь какая-то удивительная панорамность в воспроизведении событий, можно сказать, масштабность перспективы. Эти панорамность и масштабность перспективы проистекают как от нарисованных в повести бесконечных украинских степей, где родился прозаик и где в основном действуют его герои, так и от влияния знаменитых «Всадников» Ю. Яновского, земляка автора «Древлян».

Лирико-романтические мотивы (хотя и не только они) характерны и для повести «Взрыв». Центральный герой произведения Петя Галайченко — натура впечатлительная. Поэтически возвышенный, способный влюбиться с первого взгляда и совершить самоотверженный подвиг во имя революции, он привлекает читателя душевной глубиной, романтическим восприятием жизни. Как известно, историческим поводом к написанию «Взрыва» послужило покушение на главнокомандующего немецкими оккупационными войсками на Украине фельдмаршала фон Эйхгорна в Киеве в 1918 году. Однако повесть не является строго документальной, это художественное произведение, где мы встречаемся и с вымышленными образами, и с интересными реальными героями того сложного времени.

Неисчерпаемые силы добра мы находим в книгах Виктора Близнеца, который сам был активным строителем нашей действительности и призывал своих друзей-ровесников, товарищей по перу: «Нам бы засучить рукава да в бурю жизни!»...

Приглядываясь к духовному облику детей, их развлечениям, он словно продолжал свое детство, словно добавлял к нему то простое земное счастье, которое было украдено у него войной. Можно утверждать, что, взрослея и мужая, Виктор Близнец бережно хранил то прекрасное, детское, что придает его героям радостный, одухотворенный взгляд на жизнь, которая так загадочна, красочна, цветиста, у которой, собственно, не может быть разгадки и конца, как не может быть разгадки и конца у природы.

Евген Гуцало

Киев

СОДЕРЖАНИЕ

Близнец В.

Б 69 Древляне: Роман. Повести. Пер. с укр. — М.: Сов. писатель, 1984. — 512 с.

В книгу известного украинского писателя Виктора Близнеца (1933—1981) «Древляне» вошли его лучшие произведения — три повести и роман «Подземные баррикады».

Повесть «Древляне» издавалась в «Советском писателе» в 1973 году, роман «Подземные баррикады» в 1980 году. Они посвящены историко-революционной теме. Настоящая книга дополнена двумя новыми повестями писателя — «Взрыв» — о событиях на юге Украины в годы гражданской войны, а также автобиографической повестью «Старый колокольчик».

Б $\frac{4702590200-115}{083(02)-84}$ 344—84 ББК 84. Ук 7

Виктор Семенович Близнец

ДРЕВЛЯНЕ

М., «Советский писатель», 1984, 512 стр. План выпуска 1984 г. № 344. Редактор *Т. Я. Горбачева.* Худож. редактор *А. С. Томилин.* Техн. редактор *С. Л. Шереметьева.* Корректор *Е. А. Омельяненко.*

ИБ № 4097. Сдано в набор 21.07.83. Подписано к печати 5.10.84. А 11244. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Печать высокая. Усл. печ. л. 32. Уч.-изд. л. 37,63. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1003. Цена 2 р. 70 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

2 р. 70 к.